

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке BooksCafe.Net

Все книги автора

Эта же книга в других форматах

Другие книги серии «Золотая классика»

Приятного чтения!

**Юрий Павлович Герман.
Россия молодая.
Книга 1**

Была та смутная пора,
Когда Россия молодая,
В бореньях силы напрягая,
Мужала с гением Петра...
Суровый был в науке славы
Ей дан учитель: не один
Урок нежданный и кровавый
Задал ей шведский паладин.
Но в искушеньях долгой кары,
Перетерпев судеб удары,
Окрепла Русь. Так тяжкий млат,
Дробя стекло, кует булат.

Пушкин

Твердость в предприятиях, неутомимость в исполнении суть качества, отличающие народ российский. И если бы место было здесь на рассуждения, то бы показать можно было, что предприимчивость и ненарушимость в последовании предприятго есть и была первою причиною к успехам россиян: ибо при самой тяготе ига чужестранного сии качества в них не воздремали. О народ, к величию и славе рожденный, если они обращены в тебе будут на снискание всего того, что соделать может блаженство общественное!

Радищев

ПРОЛОГ

Я видел море, я измерил
Очами жадными его;
Я силы духа моего
Перед лицом его поверил.

Полежаев

Весной 1688 года, к Егорью-вешнему, что праздновался на Руси в конце апреля, двинские полые, разливные воды уже успели вынести весь речной лед в Белое море. Тотчас же задули ровные теплые ветры, разогнали низкие тучи, выглянуло солнце, заиграло на воде, на мокрых серебристых стволах берез, на куполах церкви Сретенья в Николо-Корельском

монастыре, что издавна стоит над Никольским устьем Северной Двины.

Под теплыми сырими ветрами лопались березовые почки, наливались соками листы ивняка; двинские луга день ото дня все обильнее заливало густозелеными травами.

На Иоанна Богослова, в погожее утро, прибрежной дорогой из монастыря в город Архангельск проскакал всадник – за служниками обители, промышленниками и рыбаками, морского дела старателями, нанятыми монастырским келарем для дальнего плавания на Новую Землю – на Матку. Еще зимою служники получили от монастыря по мешку хлеба, крупы, соли, уксусу, масла да деньгами по пять алтын на душу. Нынче наступало время расплаты.

Отгуляв в Архангельске два прощальных дня, морского дела старатели, под вой и причитания баб, большой ватагой человек в полста отправились править службу. Сзади, чтобы кто не сбежал дорогою, ехали на конях два монаха с длинными плетями, зорко поглядывали на шагающих с песней поморов. Народ постарше шел степенно, с посошками, закинув за спину берестяные коробы со снедью. Молодые перешучивались, дразнили монахов, прикидываясь, что убегают...

В попутных деревеньках артель отдыхала неподолгу, толковала с мужиками, смолившими по берегам свои лодьи и карбасы, о пути на Новую Землю, о тамошних промыслах, о том, как бить моржа. Мужики рассказывали были и небылицы о монастырских лодьях, что изготовил к спуску лодейный мастер Тимофей Кочнев, по кличке Редька. Одни говорили, что лодьи трехмачтовые, тысяч на десять пудов, другие божились, что поболее, третьи рассказывали, что поведет всю ватагу в море нынче не дед Мокий, а другой кормщик, из молодых, кто – доподлинно неизвестно.

У белых стен обители, возле ворот, служников встретил монастырский келарь отец Агафоник, с ним стояли старик кормщик Мокий и маленький жилистый Кочнев. Служники оборвали песню, поклонились. Поклонился и Агафоник. Знал: поморы спину гнуть не любят, на поклон отвечай поклоном; коли не ответишь чинно, с уважением – пеняй на себя.

– По-здорову ли дошли, детушки? – спросил дед Мокий, радостно оглядывая статных, плечистых рыбаков, многих из которых он знал еще ребятишками-зуйками.

– Дошли – ничего! – сильным и низким голосом ответил за всех молодой кормщик Рябов. – Ты-то здоров ли, дединька?

Мокий снизу вверх посмотрел на Рябова, улыбаясь покачал простоволосой сивой головой.

– Чего качаешь? – тоже улыбаясь спросил кормщик. – Али чем не угодил, дединька?

– Здоров же ты, внучек, – любуясь молодым кормщиком, произнес Мокий. – Ишь, здоров! Сиротою, на тресочке да на хлебушке, а как взошел. Вон вымахал, что сосна мачтовая...

Он обернулся к Агафонику, сказал ему со значением:

– Об нем и говорено было давеча, отец келарь. С малолетства в море, хоть и молодешенек, а всего хлебнул, компас знает, по звездам хаживал, артель за ним куда хочешь пойдет...

Агафоник кивнул, велел народу сложить котомки и идти на работу. В монастыре служников даром не кормили...

К вечеру из ворот монастыря вышел игумен в облачении, сопровождаемый братией. Монахи шли попарно, опустив головы в клобуках. Сладко запахло ладаном. Игумен кропил суда, назначенные к спуску, святой водой, позвякивал кадиллом, монахи пели сытыми голосами. Морского дела старатели в белых чистых рубахах, в сапогах, бахилах, усталые за день, стояли поодаль, позевывали. Подручный мастера Кочнева – дядя Ермил, чернобородый, всклокоченный, измазанный смолою мужик, – негромко жаловался Рябову:

– Монастырю служить – помереть легче. Казны полны амбары, а они все скупаются. Корелин Иван Кононович четыре дня с ними ругался! Кочнев вовсе извелся с ними, с живоглотами. Говоришь Агафонику, черту злomu, что-де для океанского хода суда, на Грумант идти, на Матку, на другие дальние земли; большой-де прибыток обители будет, – не

слушает! За каждый железный гвоздь душу вытрясет. На эдаких лодьях сколь вы одного рыбьего зуба монастырю привезете...

– Не им в море идти! – сказал кормщик. – Им на бережку сидеть, богу молиться.

Молебен кончился, Ермил побегал к мастеру Кочневу, понес ему топор на длинном топорище – выбивать подпоры. Лодьи, назначенные к спуску, без мачт и без оснастки, стояли на городках из бревен у самой воды на пологом берегу Двины. Чреватые, просмоленные огромные днища словно просились, чтобы скрыли их в море.

– И то пора! – сказал дед Мокий. – Лодьи Тимофей добрые выстроил, река в заливной воде убывать начала, самое время к спуску. Оснастим, да и пойдешь, Иван Савватеич, в море; люди говорят, от льда очистилось, живет наше морюшко...

Кочнев взял у Ермила топор, поплевал на ладони, вздохнул. Оба – мастер и подручный – вместе подняли топоры, в лад ударили по бревнам, подпирающим корму судна. Лодья качнулась на огромных, смазанных ворванью, деревянных полозьях, поползла кормою к воде. Морского дела старатели затаив дыхание, без шапок, смотрели, ладно ли спускается судно. Ловко спущено – жить год без горя. А случись что при спуске – готовься к беде.

– Ладно закачалась! – сказал дед Мокий. – Добрый тебе путь будет, кормщик!

Едва спустили первую лодью, как плотники начали поднимать на ней мачту. За первой спустили еще – двухмачтовую, за ней – третью. Над рекою вперебор, весело застучали топоры, еще многое надо было доделать на плаву. Пригнанные из города служники вместе с монастырскими плотниками работали белыми ночами, не только днем. Тимофей Кочнев, исхудавший, с бородашкой торчком, сухой, жилистый, быстрый, сам снастил суда, ругался с келарем Агафоником, грозил ему, что вот-де приедет от Москвы Иван Кононович, быть большому шуму. В оснастке Кочневу помогал Рябов; дед Мокий более сидел на бережку, глядел на белокрылых чаек, размышлял. Ноги уже худо слушались старика, подниматься на лодьи ему было трудно.

Когда у Рябова выдавалось свободное время, он подсаживался к старому кормщику, выпрашивая его обо всем, что тот испытал на своем веку, внимательно слушал поучения.

– Во льды попадешь – не робей! – учил Мокий. – Что плохому по уши – удалому по колена. Ты льдов берегись, а коли попал – не робей. Торосья идут, визг, стон, одна дума – живым не протолкаться. А ты той думе ходу не давай. Лодейные наши мастера люди головатые, от дедов строят суда так, что раздавить их трудно, днища-то примечал, какие? Словно яйцо! Вот и размышляй. Да ведь не впервой тебе – бывал тертым, тогда вместях попали... Далее слушай: ежели зазимуете, мой тебе совет, детушка: всю ватагу в великой строгости держи, чтобы люди сном не баловались, али тоской-скукой. Пожалеешь – похоронишь. Народ наш промысловый недаром об зимовьях со скорбью рассказывает: люди мрут – нам дорогу трут, передний-де заднему – мост на погост. Строгость, Иван Савватеич, в беде первое дело.

Рябов вдруг засмеялся.

– Чего веселишься? – удивился дед Мокий.

– Как мы в запрошлом году с тобой, дедина, зазимовали, вспомнил! – сказал Рябов. – Повалился я тогда спать, а ты меня веревкой, веревкой...

Дед тоже засмеялся, добрые морщинки собрались возле его глаз.

– Осерчал ты в ту пору...

– Осерчал, да живой остался. А ты меня, дедина, погнал моржовое сало беречь...

Мокий засмеялся пуще:

– Было, было. Повадился к нам ошкуй моржовое сало пить...

– Пудов пять зараз тот медведь выпил! – сказал Рябов. – Я его, клятого, свалил, а ты сразу с бочкой. Переливать, дескать, обратно, пока горячее...

Подошел Кочнев, спросил:

– С чего смехи-то?

– Да вот ошкуя вспомнил! – сказал Рябов. – На Новой Земле дело было. Что ж, скоро ли пойдём, господин лодейный мастер?

Кочнев подумал, ответил не сразу:

– Надо бы к воскресенью.

...В ночь на субботу все шесть людей – три новые и три старые – были готовы к дальнему морскому пути. Монастырский отец оружейник выдавал служникам-промышленникам снасть для боя моржей по счету, – железо ценилось дорого. Другие служники вереницей несли на суда двухгодичный запас – муку в кулях, бочки с крупами, соль, масло. На лодьях в каютах-казенках ради сырой погоды топились печи; люди, готовые к выходу в море, уже жили не на берегу, а на судах.

Рябов, в накинутом на широкие плечи суконном кафтане, в рыбацких, до бедер, юфтовых, промазанных ворванью сапогах-бахилах, в вязаной фуфайке, стоял у сходен, негромко разговаривал с мальчиком подростком лет четырнадцати. Мальчик был в порыжелом подрясничке, в скуфейке, черные его глаза горячо смотрели на Рябова.

– За кулями и схоронишься! – говорил Рябов. – Никто тебя, детка, не приметит. Заснул на лодье, а как в море выходили – не услышал. Всего делов...

Мальчик кивнул черноволосой головой и спрыгнул на лодью.

– На корму иди! Слышь, Митрий? – крикнул Рябов.

Мальчик, хромая, скрылся за бочками и кулями.

– Загрызут его здесь! – сказал Рябов Мокию. – Толмачит на иноземных кораблях, а какая парню польза? Он толмачит, а что денег заплатят, то – на монастырь. Прощлое лето, как мы в море ушли, он здесь вовсе оголодал...

Мокий вздохнул:

– Сирота, кому не лень, тот и по заливку. Выучится – добрым мореходом станет.

– Он и то грамоте обученный, – сказал Рябов. – И письменный, и компас знает. Где в море перевал, где курс сменяем, глядишь, напишет, а после и прочтет. И себе добро, и другим не без пользы.

Утром, в воскресенье, после того как отстояли молебен для плавающих и путешествующих, келарь подошел к толпе служников, поклонился, попросил к отвальному столу – не побрезговать дедовским обычаем. Стол был поставлен в монастырской трапезной – это означало выход в море, прощание со своей землей надолго. Под образами в красном углу сел только нынче приехавший лодейный мастер Корелин Иван Кононович, славящийся своими лодьями по всему Беломорью, справа от него келарь Агафоник, слева дед Мокий, рядом с ним Кочнев – ученик Ивана Кононовича. Инок у наоя прочитал молитву, Рябов шепнул Кочневу:

– Все молятся монаси! А как вдовам рыбацким мучки али маслица – не дождешь!

После молитвы послушники, опустив глаза, налили из глиняных кувшинов водку в кружки – рыбакам и промышленникам, кормщикам и лодейным плотникам. Выпили по единой – первой, народ заговорил бойчее, языки развязались, посыпались шутки.

Попозже, когда народ расшумелся, дед Мокий громко спросил у келаря Агафоника:

– А ведаешь ли ты, отче, как гуси летят в поднебесье?

Монастырские служники сразу затихли, ожидая шутки, но дед смотрел на келаря невесело, почти сурово.

– Летят и летят, как от господана велено! – ответил келарь.

– То-то, как велено! Крылья раскинут, носы вперед, ну и летят! Верно, летят напрямиком! И артель свою, ватагу, завсегда вожак ведет...

В трапезной стало совсем тихо, народ посматривал то на Мокия, то на молодого Рябова.

– И быть вожакон в ихнем деле – самому сильному, ловкому, смышленому, иначе вожак первым в океане-море от устатка повалится, – так говорю? Далече лететь из теплых краев, отче, к нам – на Колгуев, да на Моржовец, да на Вайгач, ох, далече. Суди теперь сам – куда обитель твоя нас посылает! Не в близкие места. На Новую Землю идти морского дела старателям, на Матку. Тебе отсюда-то все видится близко, а мы знаем – не впервой туда парусом бегаем... Вожак ватаге надобен.

– Тебе и быть первым кормщиком, – осторожно ответил Агафоник. – Как хаживал – так и ныне пойдешь.

– Нет! – покрутил сивой головой Мокий. – Отходил я свое, отче.

И, оглядев застолье, дед громко, суровым голосом спросил:

– Люб ли вам, братцы, первым кормщиком Рябов Иван сын Савватеев?

Люди отвечали не торопясь, один за одним, спокойно, вначале старики, потом кто помоложе.

– Люб Иван Савватеевич! – сказал рыбак Копылов.

– Хорош малый, люб! – кивнул черный, с острым взглядом кормщик Нил Лонгинов.

– Люб!

– Ставить кормщиком над ватагой!

– Люб нам Иван сын Савватеев!

– Отец его первым кормщиком ходил, нынче – ему...

– Пусть ответ говорит!

– По обычаю, как повелось!

– Как от дедов на Беломорье заведено!

Рябов встал с лавки, упершись могучими руками в стол, поклонился народу на три стороны, поблагодарил всех тех, с которыми не раз хаживал в море, сказал, что велика ему честь. Народ загудел, что просит честь принять. Рябов молча повернулся к деду Мокию, который с волнением ждал этой минуты. Много лет тому назад другой старый кормщик так же передавал артель молодому Мокию, как нынче дед Мокий будет передавать ее Рябову.

Не торопясь, негромко Мокий начал задавать вопросы:

– Спутутие ведомо ли тебе, Иван Савватеевич?

– Ведомо, дединька! – спокойно и уверенно ответил Рябов.

– Глыби морские, луды, кошки, мели – ведомы?

– Так, дединька, ведомы.

– Волны злые, ветры шибкие, волны россыпные ведомы ли?

– Ведомы, дединька!

– Пути лодейные дальние на Грумант, на Матку, на Колгуев, в немцы, вверх в Русь ведомы ли тебе, кормщик?

– Ведомы, дединька!

– Звезды ночные, компас ведаешь ли?

– Ведаю.

– Поклонись ли честным матерям рыбацким, женкам да малым детишкам, что покуда жив будешь – не оставишь рыбацей в морской беде?

– Поклонюсь, дединька!

Дед Мокий расстегнул сумочку, что висела у него на поясе, достал оттуда старый, вделанный в пожелтевшей кости компас, положил его перед Рябовым, сказал строго:

– Артельный!

– Ведаю.

– С ним и пойдешь. Компас добрый...

Лицо старика совсем посуровело. Рябов опустил голову, легкая краска заиграла на его скулах.

– Кажись бы, и все сказано, – произнес Мокий, – да еще об едином надобно помянуть...

Он вздохнул, вздохнули и другие, – многие из сидящих за столом знали, о чем речь.

– Я тебе не в попрек, – не глядя на кормщика, сказал Мокий, – я для бережения сказываю и по обычаю: полегче бы, Иван Савватеевич, с зеленым вином. Куда оно гоже?

Рябов молчал.

Дед еще вздохнул, мягко, без укора добавил:

– Набуянишь во хмелю – и пропала буйна голова. Ты вникни, детушка, рассуди: горю оно, проклятущее, никак не поможет, а сколь многие наши Белого моря старатели на нем жизни лишились...

– А ежели она не в радость бывает, жизнь, – тогда как? – негромко спросил кормщик и помолчал, ожидая ответа.

Мокий хотел было что-то сказать, даже пошептал губами, но вдруг махнул рукой и поднялся. Сразу зашумев, поднялись остальные...

Из трапезной морского дела старатели вышли после обедни. Небо затянуло, шел мелкий дождик, чайки, широко распластав крылья, с криком носились над Двиной. Народ рассыпался по лодьям, заскрипели ворота, подымая якоря.

– На Новую Землю все шесть? – спросил Иван Кононович, оглядывая суда.

– Туда! – ответил Кочнев.

– Много нынче.

– На Грумант от Пертоминской обители, слышно, ныне побегут четырьмя лодьями. На Колгуев посадские с Онеги собираются – лодей не менее семи...

Иван Кононович поправил очки на мясистом носу, сказал с умной усмешкой:

– Давеча, на Москве, был я на полотняном заводе, говорил с мастерами, как для нас, для поморов, добрую парусную снасть ткать. После, для ради прогулки, забрел на берег речки Яузы. Гляжу – бегают там суденышко малое, не более нашей двинской посудинки, что женки молоко возят. Челнок! А народу кругом – и-и-и! Силища! Чего, спрашиваю, у вас, православные, стряслось? Тут один с эдакой бородищей, в шубе, в шапке высоченной, мне отвечает: «Царь-де государь Петр Алексеевич от аглицкого ученого немца морские художества перенимает и для того на сем корабле, именуемом бот, упражняется!»

Корелин захохотал, закашлялся, махнул рукой:

– На корабле! Вон оно как! Бот именуемом! Слышал, Тимофей? Хотел я тому боярину слово молвить, да раздумал, ему с коня-то да в горлатной шапке виднее, где корабль и где аглицкий ученый немец...

Они еще постояли на берегу, провожая взглядами лодьи, кренящиеся под парусами на свежем ветру, помолчали, потом пошли к тележке, что поджидала их у ворот обители...

– А какое слово ты, Иван Кононович, хотел боярину молвить? – спросил Кочнев, когда тележка тронулась с места.

– А такое, друг мой добрый, – не сразу ответил лодейный мастер, – хитрое слово: поклонись-де царю, боярин, дабы не от аглицкого ученого немца морские художества перенимал, а к нам бы приехал – в Лодьму, али в Кемь, али в Онегу, али к Архангельскому городу. Недаром-де говорится – Архангельский город всему морю ворот. Есть у нас чего посмотреть...

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ В АРХАНГЕЛЬСК

Избавь меня от хищных рук
И от чужих народов власти...

Ломоносов

Ступай и стань средь Океана!
Державин

Сии птенцы гнезда Петрова.
Пушкин

Не от росы урожай, а от поту.
Пословица

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1. ПОТЕШНЫЕ

Душным июньским утром царский поезд под густой звон колоколов, благовестивших к ранней обедне, миновал Земляной город и не спеша двинулся к Троицкому монастырю. Москва только еще просыпалась: ночные сторожа убирали рогатки, что перегораживали улицы от лихих людей; уходили невыспавшиеся караульщики с алебардами и бердышами; сапожник, еще не вовсе проснувшийся, зевая и крестя рот, вывешивал сапог над убогой своей будкой; портной раскидывал забористых цветов кафтан; рыбак здесь же на ходу выхвалял своих карасей да лещей, еще шевелящих жабрами в берестяном коробе. Под ровный невеселый бой бубна плясал среди торгующих облыселый медведь в шляпе с пером. Из шалашей дебелие тетки тянули руки, предлагали свой товар – белила да румяна, да вареную сажу – подводить брови. Тут же бранились и толкались безместные попишки и пропившиеся дьяконы, предлагая сотворить незадорого литургию, обедню али панихидку. Среди них совался туда и сюда высокий детина – искал пропавшие сапоги да шапку. В орешном ряду щелкали на пробу орехи, в медовом отпивали меда. Брадобреи у стены, в холодочке, стучали ножами, зазывая народишко брить головы, стричь волосы, выхваляя скороговорками каждый свое искусство:

– У нас бритовки вострые, молодчики мы московские, мыльце у нас, пожалуйста, грецкое, вода москворецкая, ножи вострые, ручки наши ловкие...

– Ах, побреем, вот побреем...

– Стрижем, бреем, вались народ от всех ворот...

Бородатый мужик с веником, с плутовскими окаянными глазами, ходил, улещивал сладким голосом:

– Помыть-попарить, молодцом поставить, кто смел, да ко скоромному приспел, айдате со мною, не пожалеешь ужо...

Царские потешные, Луков да Алексашка Меншиков, перевесясь с седел, спрашивали у мужика:

– Дорого ли веселье твое, дядя?

Мужик отмахивался:

– И-и, соколики, полно вам пошучивать. Езжайте своей дорогой...

– Да наша дорога к тебе в баньку...

– С богом, с богом...

Алексашка Меншиков вздыбил коня, уколол шпорами, догнал прочих потешных. Шум и разноголосый гам торговых рядов остался далеко позади; царский поезд, скрипя осями, вился из переулка в переулок; возницы лениво подхлестывали коней, негромко перебранивались, перешучивались друг с другом. Луков скакал сзади, кричал Меншикову:

– Гей, пади, расшибу...

В голове поезда чинно ехали Чемоданов, Якимка Воронин, Сильвестр Иевлев, дразнили царского наставника Франца Федоровича Тиммермана. Тот, неумело сидя в высоком сафьяновом седле, с опаской дергая богатыми поводьями и держа сапоги носками внутрь – чтобы ненароком не пришпорить мерина, – удивлялся:

– Разве я мог так думать? Я предполагал: забава есть забава. Когда его величеству благоугодно стало развлечь себя плаванием по Яузе...

– Пропал ты теперь, Франц Федорович! – сказал Яким Воронин. – Строить тебе корабли...

– Да он и не ведает, каков есть корабль! – засмеялся сзади Луков. – Небось, забыл, Франц Федорович?

Алексашка Меншиков, скосив на Тиммермана прозрачные глаза, пообещал с веселой угрозой в голосе:

– Вспомнит! А не захочет вспомнить – сам и ответит. Верно, Франц Федорович? У него

и подручные есть – старички голландские. Втроем вспомнят...

Тиммерман робко улыбался, потешные хохотали над его испугом.

К полудню, далеко оставив царский поезд, вместе с Тиммерманом миновали заставу. Московская черная пыль с золою, шум кривых улиц, городская духота – остались сзади. Луга и подмосковные рощи дохнули в разгоряченные лица запахом скошенных трав, нагретой солнцем листвою, доброй тишиной.

Неслышно текла река, манила прохладой, отдыхом.

Алексашка Меншиков крикнул купаться, скинул саблю с чернью и насечкой, нынче пожалованную царем, дорогой терлик, сапоги на высоких каблуках, размахисто перекрестился и, выгнувшись дугою, бросился в воду. За ним, разбежавшись, визжа на бегу, бросился в речку Воронин, за Ворониным – Иевлев. Покуда все купались, Франц Федорович сидел на бережку, под ракитю, думал свои грустные думы: как, действительно, делается, ежели надобно будет строить корабли для царевой потехи? Легкая ли работа – выстроить корабль, даже самый малый? И кто будет помогать?

Потешные кричали в воде, брызгались, играя топили друг друга. Всех больше буйствовал Меншиков. Франц Федорович, глядя на него, даже головой покачал: вот судьба! Только из царской конюшни, из конюхов, а уже с князьями запросто, и даже Апраксина не боится...

Купались долго, как купаются ребяташки, пока не посинели. Чтобы согреться, стали гонять друг дружку по берегу; падали, вздымая тучи песку; боролись с кряхтением и оханьем. Меншиков, с хитрым лицом подмигнув Тиммерману – «молчи, дескать, старичок!» – завязывал крепкими узлами рукава сорочек, поливал водою, присыпал песочком; сразу эдакий узел не развязать, а который умник потянет зубами – наберет в рот песку. Франц Федорович улыбался – дети и есть дети!

Отогревшись, все опять кинулись в речку – отмываться. В это самое время на дороге за рощицей слышались крики, свист кнутов, скрип осей. Измайлов – толстенький, розовый, сердитый – на крупном вороном в белых чулках жеребце ветром вылетел из-за деревьев, закричал, осаживая коня над рекою:

– Мы там мучаемся, почитай, битый час, а они, срамники, вот чего делают? Ладно, сведает Петр Алексеевич, будет вам ласковое слово! Одевайся все сейчас!

Поднял жеребца на дыбы, ударил шпорами и пропал в роще.

Франц Федорович поднялся, забыв про своего мерина, обдергивая на круглом животике кафтанчик, поправляя на шее всегдашний белый шарфик, бочком побегал за Измайловым. За ним, быстро одевшись, вскочил на своего солового Меншиков. Другие в отчаянии теребили узлы, ругали последними словами Алексашку, бежали к лошадям полуголые...

На дороге, идущей в гору, в песке по самые ступицы увязла подвода о пяти осях, на которой пеньковыми веревками был привязан царев потешный струг. Стрельцы, рейтары, плотники, свитские, мешая друг другу, толкаясь, подвживали колеса деревянными слегами, подкладывали брусья, нахлестывали кнутами измученную, тяжело дышащую упряжку...

Узнав царя издали по его огромному росту, Меншиков почти на скаку спешил и закричал из-за спины Петра, будто никуда не отлучался и всегда тут был:

– А ну, раздайся, не столбей! Э, слышь, народ, не мешай мешать, тут и одному делать нечего! Повозочные, разом бери, не зевай, с ходу наваливайся!

Петр Алексеевич закатал рукава разорванной и испачканной дегтем рубашки, погрозил Меншикову кулаком, устало утер ладонью потное лицо. Александр Данилович оттолкнул Петра плечом, ухватил храпящего коренного за недоуздок, другой рукой повернул к себе дышло, закричал лешачьим голосом, да так, что упряжка из тридцати лошадей рванула разом. Струг вздрогнул, подводы выбрались из песка. Петр, улыбаясь на вечные Алексашкины хитрости, надевая на ходу кафтан в рукава, пошел вперед.

К вечеру царский поезд догнал Борис Алексеевич Голицын – привез Петру благословение царицы Натальи Кирилловны и ее слова, чтобы-де Петруше непременно быть у Троицы и помолиться чином. Петр блеснул карими глазами, весело ответил:

– Для того и едем, Борис Алексеевич...

– Ой, Петр Алексеевич, не для того, я чай, едем! – покачал головою Голицын.

– Как управимся, так и помолимся! – начиная сердиться, сказал Петр.

В лесу, в благодатной предвечерней свежести, раскинули ковер – ужинать. Иевлев, Федор Матвеевич Апраксин и Луков неподалеку собирали крупные ягоды земляники, переговаривались усталыми голосами. Яким Воронин, затаившись, кричал филином.

– И несхоже! – громко сказал Апраксин. – Собакой лаять может наш Яким, а филином – несхоже...

Воронин загавкал собакой.

– А Меншиков прячется от нас! – сказал Иевлев. – Бойтся! Ничего, Федор Матвеевич, доживем мы до своего часу, помянет, как узлы вязать да песком посыпать...

Меншиков крикнул:

– Давай все против меня боем! Все на одного? Выходи, не забоюсь!

Покуда ужинали, мимо, по дороге, грохоча на корневницах, со скрипом и грохотом ехали подводы с корабельным припасом – строить на озере потешный флот. В бочках и бочонках везли ломовую смолу, клей-карлук, навалом, перетянутые лыком, липовые, дубовые, сосновые москворецкие доски, в мешках – козловую шерсть – конопатить суда, в коробьях – канаты, нитки корабельные, парусину...

Свесив ноги с грядки, на подводе проехали корабельные старички голландцы, у обоих были ошалелые лица – то ли от быстрой и тряской езды, то ли оттого, что предстояло строить потешный флот...

Борис Алексеевич Голицын проводил голландцев взглядом и, вертя дорогой с алмазом перстень на тонком пальце, промолвил:

– Давеча спрашивал у старичков – довольны ли, что возвращаются к своему мастерству. Переглянулись – ответить не посмели...

И засмеялся лукаво.

Петр, не слушая, жадно жуя пирог-курник, глазами пересчитывал подводы, не мог отыскать той, на которой везли жидкую смолу.

– Да вот она, государь! – сказал Иевлев. – Вон, шесть бочек...

Царь, прихлопнув на шее комара, велел подать роспись для кормового двора – весь ли припас взят, не забыто ли чего. Сильвестр Петрович Иевлев взял вторую роспись. Царь читал, Иевлев помечал крестиками все, что при нем укладывали.

– В сию вечернюю пору, господа корабельщики, надлежит нам выкурить по трубке доброго табаку! – сложив роспись, сказал Петр.

Потешные потащили трубки из сумок и карманов. Петр набил свою трубку первым, закурил, закашлялся. У Чемоданова на глазах проступили слезы. Луков курил истово, сидел весь окутанный серым дымом.

– Корабельщики курят некоциант в тавернах и в австериях! – сказал Петр. – Так, Сильвестр?

– Так! – давясь дымом, ответил Иевлев.

– Нет такого корабельщика истинного, чтоб не знался с трубкою! – изнемогая, сказал Петр. – А который трубку не курит – не корабельщик, а мокрая курица!

Он задыхался, но смотрел твердо. Впрочем, все они смотрели твердо друг на друга, только глаза у них были подернуты влагою да в ушах звенело. Ежели они корабельщики, то и курить надобно табак!

Внимательно глядя на корабельщиков, на то, как мучаются они со своими трубками, как таращат налитые слезами глаза и как кашляют, улыбался красивый Голицын, ласково думал: «О, юность, юность! Чего не делается в сем возрасте? Небось, предполагают, что и впрямь они мореплаватели истинные!»

– Ты об чем это? – голосом словно из-под земли спросил Петр.

– Размышляю, государь, – спокойно ответил Голицын.

Якимка Воронин встал, пошатываясь ушел в кусты справляться со своей дурнотой.

Никто не засмеялся ему вслед, никто не проронил ни единого слова. Только Чемоданов прошептал:

– Ох, смертушка моя...

2. ВАМ СТРОИТЬ КОРАБЛИ!

Сто с лишним верст от Москвы до Переяславля-Залесского царский корабельный поезд прошел за двое суток. У торгового сельца Ростокина много подвод застряли, их не стали дожидаться. Петр, нетерпеливо ругаясь, торопил повозочных, чтобы к озеру поспеть до вечера. Так и сделалось – к ночи народ повалился спать у самого берега, тяжелая дорога и удушливая жара сморили самых выносливых.

На заре Петр, опухший от злых комариных укусов, приказал бить тревогу. Потешные, словно и не было барабанного боя, завывания рогов, продолжали сладко спать на росистой траве. Денщики будили своих бар, дергали за ноги, плескали озерной водой в лица.

– Ох, батюшка, и нетерпелив же ты! – посетовал Голицын Петру.

Петр не ответил, только сплюнул далеко в сторону. Над едва плещущим озером стоял туман, в тихом, теплом воздухе занимающегося дня зудели комары...

Из лесу все еще тянулись отставшие подводы с бревнами, тесом, пилеными досками, битым камнем. Стреноженные кони потешных фыркали на лугу...

– Строить флот на озере останутся Апраксин с Иевлевым! – сказал Петр, подходя к столбнякам и потешным, среди которых у самой воды стояли Голицын, старенький Тиммерман, Апраксин и голландские мастера Коорт и Карстен Брандт. – Строить флот, а для того – верфь корабельную. Строить еще на сваях, как давеча думали, пристань приличную для кораблей. Еще строить батарею на мысу Гремячем. А тебе, Воронин, учить для флота матросов...

Якимка Воронин поморгал, Иевлев с Апраксиным незаметно переглянулись. Борис Алексеевич Голицын молча глядел на тихое озеро, будто видел там и флот, и батарею на берегу, и верфь. У Тиммермана лицо было испуганное.

Стрельцы, рейтары и повозочные, обстиравшись и помывшись в озере, ушли к Москве. Петр Алексеевич прогостил всего несколько дней, пытался с Тиммерманом и голландцами починить старую яхту, но не добившись толку, ускакал с Голицыным, Меншиковым, Измайловым домой – командовать сухопутными потешными сражениями.

Вскоре царь прислал мужиков бить сваи, строить пристань, тесать лесины для будущих кораблей. Старшого над мужиками не было; какая будет пристань, никто толком не знал; что за тесины надобны для кораблей и какие будут корабли, даже Франц Федорович Тиммерман сказать не мог. Апраксину, Иевлеву, Воронину и Чемоданову с голландскими старичками деревенские плотники поставили хибару – два слюдяных окошка, пол земляной, печка. Тут же и варили в чугунах что придется – щи с ветчиной, уху, жарили озерную рыбу...

Нагнанные мужики – некормленные, злые, оторванные от своего дела нивесть для какой причины, искусанные комарами – повадились ходить в сельцо Веськово – от своих нужд кормиться чем промыслят.

Тиммерман со своими старичками – Карстеном Брандтом и Коортом – каждый вечер беседовали подолгу, писали на грифельной доске, чертили, но начертить толком ничего не могли. Субботним вечером, когда Иевлев с Апраксиным вернулись из веськовской бани, Франц Федорович сознался, что верфь начертить не может, ибо такого дела не знает. Старички Брандт и Коорт закивали – да, да, не можем, не знаем, раньше знали, а теперь забыли, да и верфь тут построить трудно.

– Чего ж так? – спросил Апраксин. – Трубки курить знаете и нас учите, а верфь забыли...

Сильвестр Петрович сел на лавку, задумался. Апраксин ходил по избе – от стола к углу, от угла к столу. Яким Воронин грыз ногти, вздыхал.

– А не будет того, что Петр Алексеевич сию потеху вдруг возьмет да и позабудет? –

спросил он негромко.

Иевлев так же негромко ответил:

– А то тебе станется в радость, Яким? Или не толковали мы о том, какими знатными будем с прошествием времени моряками? Или не видели мы в воображении нашем фрегатов и галер? Забыл?

Недоросль Васька Ржевский прыгнул с печи, накинул на зябкие плечи кафтан, сказал брюзгливо:

– То дело не наше – флот. Батюшка мой так мне и толковал. Флот – дело иноземное. Не было у нас того в заводе, и не надобно нам. Пристань на сваях! Да какой такой пристань, откуда он взялся на нашу голову? Верфь, пушки на озере...

– Не выспался, что ли? – жестко спросил Апраксин. – Поди доспи. Там, небось, теплее, на печи... Иди, иди, Василий Андреевич, больно болтлив стал, как я погляжу...

Ржевский, испугавшись, что сказал лишнее, тут же заврался:

– Да бог с тобой, Федор Матвеевич, где мне знать. Я едва приехал, молодешенек, куда мне...

– Вот и сиди на печи...

Василий закутался поплотнее, посмотрел на Апраксина исподлобья, заложил русую отросшую прядь за ухо. Рассудительно заговорил Франц Федорович Тиммерман:

– Надо строить корабль, ибо господин Питер может нас далеко не одобрить, если мы ему не построим фрегат. Батарея на мысу Гремячем – это хорошо. Боевые часы – тоже хорошо. И пристань мы выстроим, – то дело нетрудное, выстроим просто, без всяких затей. Но если, господа, хотим мы угодить нашему государю, то надлежит нам сделать то, для чего будет палить игрушечная батарея, для чего будут идти боевые часы, для чего будет стоять наша маленькая пристань. Надо построить со всем изяществом и хитростью маленький потешный, веселый кораблик. Не правда ли?

Федор Матвеевич, снял со свечи нагар, пристально посмотрел на Тиммермана.

– А что, ежели сия потеха и не в потеху обернется? Не вижу я, Франц Федорович, резону, чтобы только лишь угождать Петру Алексеевичу, а не самим малость умом пораскинуть. Государю еще и осьмнадцати лет не исполнилось, многим из нас куда поболе. И не холопи мы ему, а добрые советники...

Тихо стало в хибаре. Тиммерман будто с удивлением смотрел на Федора Матвеевича. Яким вновь принялся грызть ногти. Только один Чемоданов, ничего не поняв, заговорил утешительно:

– Други, други, для чего нам не наше мозговать? Что нам государь наш повелел, то и сделаем со всем прилежанием, а на потеху али не на потеху – то до нас некасаемо. Живенько надо пристань строить, и верфь, и корабль, да такой корабль, чтобы не потонул он, спаси господи, а поплыл, да чин-чином, с парусом со снастью, и чтобы пушка на нем палила. Ротмистр, даром что на Москве, об деле мореходном только и думает; надобно нам сделать что можем. Не поспеет – взыщется с нас, того и гляди попадем в опалу. А поспеет – пойдет наш корабль с пальбой по озеру, да с громкой пальбой. Государь-ротмистр страсть любит, чтобы пушка громко палила...

Иевлев перехватил взгляд Апраксина: искоса, со скрытой насмешкой смотрел Федор Матвеевич на Чемоданова. А ложась спать, негромко сказал:

– Смердят дружки-то наши! Муторно с ними. Иного в помыслах не имеют, как только угодить да подольститься...

– Молоды еще! – примирительно ответил Сильвестр Петрович.

– Для чего молоды, а для чего и стары: как ручку Петру Алексеевичу чмокнуть али поклониться земно – на то мастера... Ваську Ржевского возьми.

– Не в добром ты духе нынче...

Апраксин сердито молчал. По стенам с шелестом ходили тараканы. Дождь непрестанно барабанил в слюдяные окошки. Ровно, спокойно, как после исполненной трудной работы, храпели голландские тихие старички. Иевлев шепотом окликнул:

– Спишь, Федор Матвеевич?
– Не сплю. Какой тут сон...
– Книжки есть добрые, от дядюшки я слышал, достать бы: о строении корабельном, о навигаторстве, некие достославные мужи сии книжки написали...

Федор Матвеевич не ответил, погодя вздохнул:

– Достать много чего надо...

Погодя, поздней ночью, Иевлев горячо говорил:

– Дядюшка мой, муж высокого ума, окольный Посольского приказу Полуектов Родион Кириллович, давеча, как был я на Москве, сомневался об нашей верфи и сказывал, каково было, когда Ордын-Нащокин в Дединове «Орел» строил: железа ни один заводчик не давал, Пушкарский приказ блоков не мог поделывать, а когда кузнец занадобился, то отписали грамоту – есть-де один посадский, да и его нет, ибо велено ему ковать язык к большому Успенскому колоколу.

Апраксин засмеялся в темноте:

– На Руси кузнеца не могли сыскать?

– А для чего им, Федор Матвеевич, гузно свое тревожить? – в тоске воскликнул Иевлев. – На том Василий Васильевич князь Голицын и сидит: так повелось, так есть, так тому и быть.

Федор Матвеевич задумался, потом спросил:

– Как располагаешь, Сильвестр, для чего Нащокин суда строил?

Иевлев не ответил.

– Поспрошал бы Полуектова, он со скольких годов летописи читает... Да как будешь на Москве – сходи в Приказ, может там и чертежи есть, как корабли строить, какой им припас надобен, как пристань делать.

Поутру, еще не рассвело, как Иевлев взбудил Франца Федоровича. Тот поднял с кожаной подушки измятое сном лицо, поправил на лысой голове ночной колпак с кисточкой. Сильвестр Петрович сказал жестко:

– Будет спать, господин мастер. Знаем мы мало, ты знаешь поболее! А дни проходят без толку. Вставай да бери грифель, учиться будем!

Тиммерман вскочил, умылся, сел за стол. Апраксин, Иевлев, Луков со строгими лицами поджидали. Франц Федорович пододвинул к себе аспидную доску, прокашлялся, задумался, еще прокашлялся.

– Вот чего! – сказал Апраксин. – Ты, Франц Федорович, удружи нам, вспомни, чему сам в старопрежние годы учился. Сиди и нынче и завтра – вспоминай. Нам не шутки шутить, нам дело надобно делать. Нынче вторник, в четверг за сей стол сядем, и тогда не кашляй.

Днем пригнали колодников. Один из них – большого роста, худой, с шапкой выющихся седых волос, с бородой – долго смотрел, как работают на верфи Иевлев с Апраксиным, потом крикнул Сильвестру Петровичу:

– Э, господин, подойди-кось! Мне неспособно, ноги натружены...

Сильвестр Петрович с размаху всадил топор в бревно, подошел к колоднику. Тот сидел на взгорье, смотрел строгим взглядом глубоко ввалившихся глаз.

– Чего строите-то?

– Верфь строим! – недружелюбно ответил Иевлев.

– Кто ж ее так строит? Нагнали народищу, все без толку. Ямы-то зачем накопаны? Ты вот чего: бери ноги в руки да ступай в город Архангельский, что на Двине близ Белого моря. Архангельский город всему морю ворот. Там мастера ищи, умельца, хитреца...

– Ты оттудова, что ли?

– Зачем оттудова? Я – отсюдова, да там бывал, океан-море видал. Строят корабли и в Архангельске, и в Кеми, и по всему Беломорью.

– А сам ты в сем деле понимаешь?

Колодник ответил угрюмо:

– Мое дело помирать...

И отвернулся – смотреть на тихое холодное осеннее озеро.

В ночь на воскресенье более сотни мужиков, пригнанных строить верфь, пристань и корабли, – ушли. С ними бежали и колодники – человек десять. Сваи били теперь пореже, бревна тесали потише. Шумели длинные унылые дожди. Тиммерман, сам вспоминая то, чему когда-то учился, учил математике Апраксина, Иевлева и Лукова. Ржевский и Воронин учиться отказались наотрез, сказали, что не так у них вотчины бедны, чтобы головы себе натруждать...

На Кузьминки все работы на озере остановились. Мужики четвертый день не получали хлеба. Варить было нечего, люди молча лежали в сырых землянках, иные копали в лесу корни, третьи христом-богом просили подаяния в Веськове. Волей-неволей пришлось бросать строящуюся верфь – ехать в Москву.

Дьяк Пафнутий Чердынцев, скребя ногтями в бороде, нудно стал толковать Апраксину и Иевлеву, что потехи на озере не в пример дорого обходятся казне, что более давать кормовые не велено, а ежели князь-оберегатель скажет, тогда он, дьяк, и отпишет роспись.

Иевлев, теряя власть над собой, крикнул, что Василий Васильевич Голицын великому государю пушек не дал, то дьяку ведомо, и потому он вновь шлет к Голицыну. Дьяк смиренно молчал, выжидая, пока приезжий с озера перестанет гневаться. Толковать с ним не было смысла. «Софьин! – решил Иевлев. – За нее стоит! Что ж, попомним!»

В Москве ни на Кормовом, ни на Сытеном, ни на Хлебном дворах ничего без указа князя-оберегателя не давали. Иевлев и Апраксин вновь сели в седла. Весь день искали царя – его не было ни в Коломенском, ни в Воробьеве, ни в Преображенском. Измокли, оголодали, загнали коней и только к ночи отыскивали Петра Алексеевича в немецкой слободе – на Кукуе, в доме Лефорта.

Царь сидел в низком чистом теплом зале со множеством зеркал, отверткой развинчивал немецкий мушкет короткоствольный, с легким, отделанным серебром ложем. Лефорт, в кружевах, любезно, с поклоном попросил прибывших присесть, отдохнуть, быть гостями в его скромном доме, отложить дела до завтра. Но ни Апраксин, ни Иевлев не присели. В два хриплых горла, перебивая друг друга, заговорили, что более так не может продолжаться – либо строить корабли на Переяславле-Залесском, либо бросать сию затею и не тратить время попустому.

Петр свел круглые брови, крепко сжал маленький мальчишеский рот, не попадая в рукава, долго натягивал кафтан. Лефорт с шандалом в руке пошел провожать, утешающе пожал локоть Петра, сказал, что хоть до утра, но будет ждать его величество ужинать.

– Жди! – велел Петр.

Когда садились на фыркающих под проливным дождем коней, в мокрые седла, вдруг стало жалко теплых огней Лефортова дома, жалко, что не поели там горячего, не обогрелись...

Молча, нахлестывая коня татарской камчой, Петр Алексеевич гнал в Китай-город, к Китайской стене, где возле церкви Зачатья жительствовавший в своем доме дьяк Чердынцев. Уже в городе, придержав коня, Петр подождал Апраксина и Иевлева, спросил, что на озере. Федор Матвеевич рассказал все без утайки, как всегда – прямо и спокойно. Иевлев рассказал об Архангельске, будто есть там добрые мастера корабельного дела. Петр живо оглянулся на Сильвестра Петровича, спросил:

– Верно ли?

И добавил:

– Узнай доподлинно, коли так – ехать тебе туда за мастерами. Вези их на озеро...

Дьяк Чердынцев, запершись на все засовы, под лай и хрипенью цепных псов, играл с гостями в запрещенную игру – зернь, когда в ворота застучал царь Петр Алексеевич. Игру спрятали, дьяк кинулся на лавку – показаться немощным, но царь ударом ноги свалил лавку и потащил Чердынцева в Приказ, пиная его сапогом и творя на ходу расправу. Зайдясь от ужаса, словно онемела дьякова супруга, даже не нашлась подать Пафнутию шапку. Дьяк, не привыкший к побоям, сразу же покаялся в страхе своем перед оберегателем Голицыным и

обнес других дьяков – и Хлебного и Сытенного. Петр пошел далее с Апраксиным, а Иевлева оставил с Чердынцевым – писать росписи для озера.

Всю долгую ночь Пафнутий прикладывал к опухшему лику третий хрен, считал четверти и лопаты, бочки и ведра – горох, муку, масло, крупу, охал и на рассвете погнал на озеро обоз.

– А говорили, потеха у них на Переяславле, – молвил дьяк, провожая Сильвестра Петровича. – Хороша потеха – коли эдакими обозами жрут...

– Ты, Пафнутий Никитич, казне дороже обходишься! – заметил Иевлев. – Куда дороже...

– Так зато ведь голова какая! – самодовольно согласился дьяк. – Меня хоть пытай, хоть режь, хоть огнем жги, хоть на виску вешай – не откроется вот ни столечко...

И показал на ногте, как ничего не откроется.

– Умен, за то и держат!

3. ДЯДЮШКА И МАША

Не сомкнувший глаз всю нынешнюю ночь, Иевлев задумался – где бы поспать хоть часок, и сразу же решил: поеду к дядюшке Полуектову – там всегда рады мне. Да и некуда было более ехать: матушка давно померла, батюшка чудит в дальней деревеньке. К богатым из друзей потешных – не хотелось. Куда худородному в расписные палаты. Да и друзья они, покуда в потешных, а дома – какие друзья! Там своя жизнь...

Задремывая на ходу, думая о том, что надо спросить у дядюшки, ехал медленно в давке кривых московских улочек, покуда не замахнулся на него дюжий детина кистенем, покуда не закричали луженые глотки – пади, поберегись, ожгу!

Конь встал на дыбы, рванулся в сторону. Мимо, в Кремль, думать боярскую думу – ехали бояре, кто верхом, кто в колымаге, дородные, бородатые, все со стражей, а стража – кто с протазаном, кто с кончаром, кто с алебардой. Торопились, били в литавры, разгоняли народ кнутами, а зачем торопились?

Иевлев, охладившая коня ладонью, усмехнулся: торопились ждуть в сенях, браниться у постельничьего крыльца, ябедничать, выхваляться, подлещиваться к слабоумному Иоанну, креститься в испуге, когда прогремывает сапогами Петр Алексеевич...

Возле Печатного двора Иевлев спрыгнул на бревно, положенное у ворот, отворил калитку, переговариваясь с древним стариком-воротником, сам задал коню корм, вымыл руки у колодца, вошел в чистые сени дядюшкиного, в два жилья, дома. Сердце на малое время застучало, испарина выступила на лбу, но Сильвестр Петрович устыдил себя, встряхнулся, вошел в горницы, все уставленные цветами в горшках и горшочках, устланные половиками, тихие, светлые...

Родион Кириллович сидел в низком креслице у широкого слюдяного окна, читал толстую на застежках книгу. Увидев вошедшего, спросил дребезжащим старческим голосом:

– Кого бог послал? Поди ближе!

Иевлев назвал, сердце опять заколотилось – сейчас выбежит она. Но она не шла. Старик, схватив костылек, мелко переступая слабыми ногами, захромал навстречу, обнял и долго с нежностью всматривался в обветренное, посеревшее от усталости юное еще лицо.

– Сильвеструшко! Вот бог радости послал...

И захлопотал:

– Кафтан долой! Застудишься, горячкой занеможешь! В сухое переоденься. Маша, да куда ты запропала, беги скорее, неси платье сухое...

Марья Никитишна, дядюшкина названная дочка, сирота – родственники ее сгорели вместе с избой в Белом городе в летний пожар, – вся зардевшись, не поклонившись даже Сильвестру Петровичу, принесла сухое дядюшкино платье – турецкий кафтан с меховой опушкой, сафьяновые шитые туфли с загнутыми носками, белье, охнула, убежала. Иевлев стоял неподвижно – до чего красива стала названная сестра. Дядюшка взглянул на него,

проводил Машу взглядом, вздохнул, сказал:

– Идет, идет время, вот и в невесты выросла Марья...

– Сватают? – спросил Иевлев и испугался того, что спросил.

Родион Кириллович покачал головой:

– Кто сироту посватает? Был бы я богат, а то ведь, сам знаешь, всего и имения, что рухлядишки вот в дому...

Говорил, а глаза смотрели пристально, словно бы испытывая.

Переодевшись, Иевлев сел на лавку, улыбнулся вдруг всему обличью дядюшки, с детства знакомым и любимым запахам трав, что пучками висели по горницам, книгам и листам летописей, что лежали повсюду, веселому пению пушистой желтой птички, что скакала в клетке на окошке. На душе сделалось спокойно, легко, как всегда бывало под дядюшкиной кровлей. И мило, весело стучали наверху Машины легкие ножки.

– Ну? – спросил дядюшка. – Чему радуешься, корабельщик? Сидит и весь расплылся! Построил корабль?

– Не построил.

– Что ж голландцы твои?

– Не могут, дядюшка. Они ведь давно ничего не строили. Матросами были, потом двадцать лет назад «Орел» царю Алексею работали, а кто чертежи делал, теперь не узнать. Оба они, и Коорт и Брандт, в большой упадок пришли, сколько лет не своим ремеслом промышляли, нивесть чего делали: щипцы вот – свечной нагар снимать, панцири кожаные, пуговицы, ножны сабельные, пряжки для башмаков...

Родион Кириллович слушал, оглаживал белыми, худыми пальцами редкую бороду, потом вдруг встрепенулся:

– Да ты что, голубок, словно бы защищаешь старичков своих. Разве я им судья? Не в них дело-то, не в них, не в старичках. Пристань-то построили?

Иевлев сказал, что нет, не построили.

– А верфь?

– Строим, дядюшка. Дело новое, небывалое...

– Небывалое, говоришь?

– Небывалое, дядюшка...

– Так, так... ну, небывалое – значит, небывалое...

Старик улыбался загадочно, смотрел в глаза племяннику, иногда пальцы его перебирали старые, темного янтаря четки. Маша носила сверху стопы, оловянные сулеи, тарелки, полотенца – утирать руки. Вкусно пахло жареной говядиной, глухарем, что подавался здесь в черной со сливами подливе. Иевлев говорил невразумительно, через пень в колоду, более слушал Машины шаги, нежели то, что отвечал ему Родион Кириллович. Потом вдруг подумал: «Ужели поклонится и уйдет! И что за обычаем глупый – порознь обедать!»

Но дядюшка, словно читая его мысли, велел Маше садиться здесь – с ними. Глаза Марьи Никитишны весело заблестели.

За обедом Сильвестр Петрович вспомнил поручение Апраксина, спросил, как бы поискать в Приказе, или где дядюшка велит, чертежи кораблям, что строились на Двине и на Волге.

– Поищем! – ответил дядюшка, наливая себе и племяннику фряжского вина в старые тяжелые кубки. Отпил, подумал, потом заговорил, посмеиваясь: – Бешеный мужик, сербин Крижанич не без правды писал: – «чужебесие», помнишь ли? Или не слыхивал ты такого сербина? Вздору много из-под пера его шло, но некие мысли запомнились мне надолго; чужебесие али глупость, от которой иноземцы над нами господствуют, обманывают нас всяко и делают из народа нашего чего захотят – вот как сербин писал. За бешеные свои рассуждения скончал сербин живот свой в Сибири, но слово его «чужебесие» ты попомни, племянничек...

Родион Кириллович усмехнулся:

– Верфь вам дело новое, небывалое. Корабль – вовсе не бывшее. Ботик, что царь Петр

Алексеевич в амбаре на Льяном дворе отыскал да на речку Язу спустил, тоже было дело новое, неслыханное, невиданное. Так ли?

Сильвестр Петрович ответил:

– Еще бы старое!

– Вишь, еще бы! А то неведомо тебе, детушка, что эдакое новое есть не более, нежели крепко забытое старое, – уже не улыбаясь, всердцах сказал дядюшка. – Забывать свое доброе – мы умельцы, а помнить – вряд ли такого сыщешь. Неведомо нам нынче, что многое было на Руси, было да прошло, да былшем поросло. Погоди, вот нынче отдохнешь, а завтра поведу тебя в Приказ, положу пред твоими очами книги да листы рукописные, – ахнешь! И многое, детка, откроют тебе летописи да хронографы...

Маша подняла тонкие брови, сложила руки на высокой груди, силилась понять, о чем толкует дядюшка, глаза ее то вспыхивали, то погасали...

Мелкими глотками попивая фряжское, глядя перед собою сосредоточенным взглядом, окольников по памяти читал.

«В лето шесть тысяч четыреста сорок девятое иде Игорь на греки, яко послаше болгаре весть к царю, яко идут руссы на Царьград скедий десять тысяч». Ске-едий!

И спрашивал:

– А что в Несторовской летописи скедия означает? Ведаешь ли?

– Скедии – лодьи древних руссов!

– То-то, что древних руссов. Ты размышляй – скедий десять тысяч! Флот! Да еще какой флот! Гастингс – король морской, тот, что полчища норманов важивал, имел ли столь могучий флот, как наши предки? Не имел Гастингс такого флота. А ты – новое дело верфь, небывалое! Корабль и вовсе неслыханное! Татарин порушил нашу жизнь – встал своими чамбулами, конными полками, между нами и морем, стеной встал, а было, да как еще было. И не токмо было, но есть, есть, племянник. Найти надобно, где бьют сии ключи животворящие...

Свечи тихо потрескивали, желтый воск обливал медные, потемневшие от времени подсвечники. Марья Никитишна вдруг подняла взгляд, встретила глазами с Сильвестром Петровичем, вспыхнула до корней волос. Иевлев тоже покраснел нивесть отчего. За окнами, за закрытыми наглухо ставнями караульщики били в железные доски, отбивали часы. Родион Кириллович, усмехаясь своим мыслям, говорил:

– Ты, племянник, не подумай, что дядюшка твой отсылает тебя моряков искать в давно минувшие времена. О тех временах беседа особая. Лет десяток назад довелось мне быть в городе Архангельском, повидал я Терский берег, Зимний, в Коле был, на островах Соловецких, в Кеми. Для того тебе о летописях старопржежных нынче и сказываю. Ищущий да обрящет. Морского дела старатели, истинные мореходы, потомки славнейших новгородцев, смелые духом, сильные, разумные – там. Коли задумали морскую потеху делать – делайте как знаете, да только не в потеху сие может обернуться. А коли так – ищите на Севере тех людей, от коих истинно морским художествам можно научиться...

– В Архангельске искать? – спросил Иевлев.

– Там, племянник... О Севере думай денно и ночью, там людей ищи, о том расскажи государю. Взавтрева в Приказе поглядишь, как русские люди на Мангезею хаживали, да заодно увидишь, как бараньи головы тем смельчакам путь закрыли. Многое тебе покажу, а нынче спать пора, утомлен ты...

Укладывая племянника и ставя ему на ночь мятный квас, дядюшка вдруг спросил:

– Андрея Яковлевича князя Хилкова знаешь ли?

– Не знаю, дядюшка.

– Взавтрева сведу тебя с ним. Отменный юноша. Студирован в науках, подолгу беседую с ним о прошлом Руси. Денно и ночью рыщет по монастырям, летописи отыскивает, замыслил написать книгу под именем «Ядро истории российской» для всех, кто возжелает о российской истории понятие иметь. Одержим мыслью, что мало мы знаем своего прошлого, мало думаем о прошедших днях, мало там ищем путей для будущего, для

грядущего...

Дядюшка сел на лавку, вновь заговорил, стал рассказывать, как русские ходили торговать в Константинополь. Окольный рассказывал словно сам там бывал, древние летописи оживали в его рассказе, оживали кривичи и лучане – вот рубили они деревья, во много аршин толщины, долбили их, выжигали огнем, а когда Днепр очищался от льда, гнали свои скедии к граду Киеву...

От Киева вниз Иевлев поплыл вместе с Машей, она стояла в огромной лодье, держалась за руку, слушала то, что он ей говорил, кивала милой своей головою.

– Да ты спишь, племянничек? – с доброю насмешкой в голосе спросил дядюшка.

– Не сплю! – воскликнул Сильвестр Петрович. – Вовсе не сплю. Слушаю со всем вниманием...

...Опять поплыла лодья. Прошли Ессупь, на могучих руках удалые дружинники потащили скедию волоком, а лихие печенеги в это самое время вихрем налетели на конях, засвистали стрелы, зазвенели булатные тяжелые мечи, раскололся щит, а за щитом стояла Маша и жалостно говорила: – Под парусами весь путь до самого Царьграда!

– Ей-ей, спит! – смеясь, сказал Родион Кириллович.

Иевлев с трудом открыл глаза. Разноголосо скрипели сверчки, снаружи возле Печатного похаживали караульщики, перекликаясь, опасаясь лихих людей.

Дядюшка, улыбаясь, качал головой.

– Я ему усердно рассказываю, а он и уснул...

Снаружи, за окнами закричали: «караул!» Иевлев приподнялся на локте.

– Спи, спи, племянничек! – сказал Родион Кириллович. – Ничему не поможешь. Каждодневно нынче на Москве шалят. Бояр не унять. В нашей округе Стрешнев со товарищи как ни ночь людей бьет, мертвых грабит... Ну, спи, спи, детушка...

Сильвестр Петрович потянулся, закинул руки за голову, вздохнул всей грудью: заслать, что ли, сватов за Машеньку? А как жить потом? Ни у него, ни у нее ни кола, ни двора, ни рухлядишки! И ждать не от кого! Худороден на свет уродился Сильвестр Иевлев...

А ежели все-таки?

С этим «все-таки» он и заснул. Во сне видел Машу такой, какой она сидела нынче у стола: в душегрейке на сером заячьем меху, с ясным взглядом широко открытых задумчивых глаз, с темными родинками на щеке. И будто взял он ее за руку и повел. А на берегу пенные волны, и на волнах покачиваются скедии. Гудит ветер, Марья Никитишна не боится, идет к озеру, улыбается. И слышен голос дядюшки:

– Экий сон богатырский! Поднимайся, Сильвеструшка, солнце уже высоко!

4. В ПОСОЛЬСКОМ ПРИКАЗЕ

– Вот он, Андрюша мой! – с удовольствием глядя в открытое, совсем еще юное лицо Хилкова, говорил дядюшка Родион Кириллович. – Люби да жалуй, Сильвестр! И ты его приветь, Андрюша! Малый добрый, голова не огурцом поставлена, нынче флот строит на Переяславле-Залесском, все ему там внове, голубчику. Верфь – дело новое, корабль – вовсе неслыханное, одна надежда на ученого немца, а тот знал, да нынче что знал – забыл...

Дядюшка был весел, посмеивался, трепал Хилкова по плечу. Хилков улыбался застенчиво, пощипывал едва пробивающиеся усы. Окольный попросил:

– Ты, Андрей Яковлевич, сделай милость, покажи племяннику богатства наши. Пусть сведает, что не одним немцем свет стоит. А то они нынче только и слушают, что им на Кукуе врут. Мне-то недосуг, попозже наведаюсь, еще побеседуем...

Родион Кириллович ушел, Хилков кликнул дьяка со свечами, тот темными сенями понес трехсвечный шандал. Другой дьяк открыл кованую тяжелую дверь, за дверью была камора, в которой дядюшка провел почти всю свою жизнь.

Сели рядом у большого, дубового стола. Иевлев боком взглянул на Хилкова – увидел вьющиеся крутыми кудрями волосы на нежной девичьей шее, румяную щеку, пушистые,

загнутые ресницы.

Андрей Яковлевич негромко сказал:

– Хорошо здесь, верно, Сильвестр Петрович?

– Здесь? Ничего...

– А по мне, лучшего угла нигде нет. Как запрешься да в тишине зачнешь листы листать... Век бы не уходил, да, знать, судьба...

– А что? – спросил Иевлев.

– Вчера узнал – будто ехать с посольством в заморские страны...

Он помолчал задумавшись, потом бережно стал переключивать древние списания, завернутые в тонкую телячью кожу, летописи, хронографы, пергаменты. Положив один перед собою, полистал, объяснил:

– То жития святых князей Бориса и Глеба. Из сих листов имеешь ты возможность, Сильвестр Петрович, видеть, как плавали предки наши...

На желтом пергаменте была искусно изображена лодья, изогнутая, словно молодой месяц. Одиннадцать русских воинов в шишастых шеломах, с большими копьями в руках плыли морем в этой лодье. Четыре весла были опущены в воду, на пятом сидел кормщик.

– Судно находится в плавании! – говорил Хилков. – Да это еще что! Здесь зрим мы не ягоды, но цветочки. Так шли на Царьград Олеговы дружины. Прапорцы, зришь ли, Сильвестр Петрович! Прапорцы, иначе флаги. Копья! Теперь здесь поглядим – Псковскую летопись...

В обитую железом дверь стучали дьяки, спрашивали окольного. Хилков сначала не отзывался, потом распахнул дверь и так гаркнул на нерадивого дьяка, дурно переписавшего листы, что Сильвестр Петрович даже головою покачал. А дьяк испуганно от юного князя попятился, и было видно, что Хилков здесь всему начальный человек и что, несмотря на его юность, с ним шутки плохи...

Все новые и новые списки, книги, заметки выкладывал Андрей Яковлевич из кованого железного сундука, сопровождая каждую дельным и не длинным рассуждением. У Иевлева блестели глаза от жадности – все самому прочесть. Андрей Яковлевич рассуждал спокойно, многое знал наизусть. Сильвестр Петрович только дивился, как можно сию премудрость запомнить.

Попозже пришел дядюшка, спросил:

– Что, племянничек? Есть чему у нас поучиться? А ты все: немцы да немцы!

– Да я...

– Да я! – передразнил Родион Кириллович. – Знаю я вас! Недаром Крижанич писал, что-де всяким чужим вещам мы дивимся, хвалим их и превозносим до небес, а свое домашнее житье презираем. О, чужевладство треклятое, быть ему пусту!

Он сел на сундук, заговорил с тоскою в голосе:

– Пять десятков лет здесь, почитай что, и ничего более не видел, как сии богатства. Отец твой женился, детей нарожал, войны воевал, овдовел, еще женился, вотчину растряс на свои безумства, а я с костылем – копил, вот они, лалы мои, алмазы, изумруды, жемчуга, коим цены нету и не будет, вот оно, богатство великое...

На лбу старика вздулась жила, бледное лицо его порозовело; грозя костылем неведомому врагу, жаловался:

– Червь, пожары, сколько их на Москве было, ляхи, татары, свои бояре. Как иноземцу подарок дарить – сюда лезут, – будь они прокляты. Глупые, темные, дикие, – что им сии сокровища? Пергамент, об котором ночи не сплю, в подарок дарит негоцианту, иноземцу, а тому что? Тому десяток червонцев куда прибыльнее. Дьяки крадут, не на кого положиться. Ты бы сказал, дитятко, хоть Петру Алексеевичу, что ли? Вот на него надежда была – на Хилкова Андрея Яковлевича; думал, помру – он сбережет; так и здесь незадача, в чужие земли с посольством поедет. Кому ключ отдам? Под головою держу, как где на Москве пожар – душа замирает, бегу, словно очумелый.

Открыл дверь, крикнул:

– Сумку, Шишкин!

Дьяк принес посольскую сумку – кожаную, пахучую, с крепкими крюками и ременными завязками. Дядюшка долго рылся на столе и в сундуках, выбрал листы, завернул в сафьян, сафьян перевязал верченым белым шнуром, потом упаковал в сумку. Иевлев и Хилков недоумевавшая смотрели. Дядюшка сказал:

– Как бы ненароком положишь сии листы в горницу Петру Алексеевичу, ежели он на озеро прибудет. Пусть почитает. Кукушки на Кукуе свое, а мы – наше доброе, дорогое...

Иевлев поклонился.

– Еще об чем говорили-то? – спросил дядюшка и сам тотчас же вспомнил...

Лицо его сделалось хитрым и повеселело, он подмигнул Андрею Яковлевичу и велел ему запереть дверь. Сильвестр Петрович с удивлением глядел, как накрепко Хилков заложил дверь и крюком и на засов.

– Оно у нас припрятано, – говорил Родион Кириллович, – оно у нас крепко припрятано, мы прятать умеем...

Теперь улыбнулся и Андрей Яковлевич.

Загремел, защелкал, заскрипел хитрый замок; дядюшка открыл сундук, повернул еще один ключик в тайнике. Лязгнула невидимая глазу пружина, темная от времени доска сама съехала в сторону; книжки, переплетенные в желтую телячью кожу, корешками вверх плотно стояли в тайнике. Дядюшка погладил их бережно, прищелкнул языком, выдернул одну, раскрыл. То был Коперник, выданный типографщиком в городе Регенсбурге почти сто пятьдесят лет назад.

– Латынь, – с горечью сказал Иевлев.

– А ты ее возьмешь да и выучишь! – прикрикнул дядюшка. – Вот Андрюшка-то выучил, и я выучил, да и ты выучишь...

Он стал вынимать из тайника томики, обтирая каждый бережно ладонями, приговаривая:

– Кеплер, брат, тоже по-латыни, а без Кеплера какой ты мореплаватель. Они, племянничек, это не твои старички голландские, не твои немцы с Кукуя, без них как жить?

– А почему спрятаны-то? – тихо спросил Иевлев. – Для чего в тайнике?

– От попишек проклятых, от воронья черного, – ответил Родион Кириллович. – Пасись и ты их, племянничек, пасись, голубчик. Андрюша-то Кеплерово учение, почитай, все не выходя из Приказа, запершись одолел...

Дядюшка сделал круглые глаза, близко наклонился к Иевлеву, сказал таинственно, весело, молодым голосом:

– Не вокруг земли планеты ходят, а земля наша сама с другими планетами вокруг солнца бегаёт. А? Каково это попишке-то? Нож вострый! Все вверх тормашками в тартары летит. Покуда они там бороды друг другу рвут – тригубить, али двугубить аллилу, копытцем креститься, али щепотью, мы здесь в тиши да в благодати, вишь, что познаем...

Он быстро, ловкими руками завернул два томика в чистую холстину, перевязал веревочкой, подал Сильвестру Петровичу:

– Тиммерман ваш не больно здорово, да все же латынь ведаёт. Может, что полезное отсюда и узнаете. Рассуждаю так: ныне без Коперника – ровно бы во тьме...

– Чужебесием не занежем, дядюшка? – не без хитрости в голосе спросил Иевлев, держа в руках Коперниковы книги.

Родион Кириллович отмахнулся, ответил торжественно:

– Сии мужи есть украшение роду человеческому. Счастливы поляки, что сыном своим имеют Коперника, а немцы, что от них произошел Кеплер. Так и запомни. Ну, с богом! Да с Андрюшей обнимись, авось еще сведет вас судьба...

Спрятав драгоценные книги, застегнув ремни кожаной сумки, Иевлев легко сел в седло. Дядюшка и Андрей Хилков помахали ему с крыльца. Соловьи жеребчик взял с места наметом, и к вечеру Сильвестр Петрович был на озере. По пути к избе заметил: за прошедшие два дня мужики-колодники подняли пристань до самой меры, половина досок

уже была пришита деревянными гвоздями...

Иевлев отдал коня денщику; широко шагая, безотчетно чему-то радуясь, распахнул дверь. Голландские старички пекли на загнетке, на угольях голландские сладкие оладушки, макали в патоку, запивали своим кофеем; у них все было отдельное, даже муку держали в своем ларе под ключом. Федор Матвеевич еще не вернулся. Воронин, морща лоб у стола, писал грифелем цифры – от скуки учился вычитанию. Тиммерман дремал в углу, охал во сне. Сильвестр Петрович подсел к нему, ласково разбудил, показал книги. Франц Федорович, зевая, подрагивая спросонок, полистал Коперниково творение, испугался, сказал, что книга сия вельми трудна, навряд ли и поймет он, что в ней. Но все же обещал подумать, может и разберется в премудрости...

– Чего на Москве-то слышать? – с печи, прокашливаясь, спросил Прянишников. – Скоро ли нас отпустят, бедолаг несчастных? Ей-ей, пропадем тут на озере на этом окаянном, ни за что пропадем. Как усну, во сне все шишей вижу, а то будто меня батогами бьют. К добру ли?

– Мало, видать, тебя наяву били! – сурово ответил Воронин.

Федька Прянишников спустил босые ноги; блаженно почесываясь, стал вспоминать, как жилось в вотчине, – хорошо на свете живется дворянскому сыну. Мужики, как завидят, не то что в землю поклонятся, а на колени падут и как на бога взирают. Еда – какая только занадобится душеньке твоей, девок – бери любую. А тут...

Прянишников махнул рукой, задумался над своей судьбиной.

– Чего, правда-то, на Москве нового? – тихонько спросил Яким.

Сильвестр Петрович ответил, что нового-де ничего примечательного нет, однако ж худо то, что знаем мало, не любопытствуем ни к чему, живем как живется, для чего только небо коптим...

Яким удивился, пожал плечами.

Иевлев один вышел из хибары на воздух.

Тихо мерцали звезды не то в озере, не то в небе. Лес – черный и неподвижный – застыл над берегами. Возле воды прошли три мужика, понесли коробья с крупами и мукой – кормиться артелью.

Два голоса мягко пели:

Скачет груздочек по ельничку,
Ищет груздочек беляночки...

5. МОРСКОГО ДЕЛА СТАРАТЕЛИ

На озере повелось так, что последнее, решающее слово во всех спорах всегда оставалось за Федором Матвеевичем Апраксиным. Был он годами значительно старше других корабельщиков, менее горяч, нежели они, рассудителен, умел слушать и не торопился решать. Все знали, что Петр Алексеевич верит Апраксину и редко ему перечит.

Вечером, в воскресенье, выслушав внимательно корабельщиков, тесно набившихся в избе, Апраксин сказал:

– Без Архангельска все же не сделать нам ничего толком, господа корабельщики. Мыслью: пошлем к Белому морю Иевлева, с ним Воронина. Пусть сыщут доброю мастера и со всем поспешанием везут сюда. Декабрь наступил, чего еще дожидаться?

Франц Федорович Тиммерман опустил голову, понимал, кого упрекает Апраксин.

– Зима минуется, флота и не видно, – говорил Федор Матвеевич. – Выйдет – ничего и не сделано...

– Мы, что ли, виноваты? – спросил Ржевский. – Разве мы не старались? Да и флот-то потешный, кому он ныне надобен?

– А потешная фортеция Прессбург – она что? – ответил Апраксин. – Она для боя? Татар

ждем, и против них Прессбург построили?

Кое-кто из корабельщиков засмеялся. Апраксин хлопнул по столу ладонью – вновь стало тихо.

– Не для боя, Василий Андреевич, для потехи построена фортеция, Прессбург именуемая, – строго сказал Апраксин. – Да потехи, слышь, делом оборачиваются, то вы все не хуже меня ведаете...

– Вот и пойдем к Прессбургу, – попросил Ржевский. – Чего нам здесь-то дожидаться? Трудов наших государь не видит, вовсе от тоски-печали, без доброго слова пропадем...

Иевлев помотал головою, сокрушаясь: сей недоросль не прост уродился. Все бы ему на государевых глазах пребывать! Молод, а хитер, ох, хитер боярин Ржевский Василий Андреевич...

– Никуда не пойдем мы отсюда! – произнес Апраксин. – И боюсь, Василий Андреевич, правду ты сказал – не увидит государь трудов наших, ну да ништо. Не пропадем...

Он отвернулся от Ржевского и продолжал, обращаясь к другим корабельщикам – к Иевлеву, Воронину, Лукову, длинному Федору Прянишникову, который, едва приехав на озеро, забрался на печку и ухитрялся спать целыми сутками:

– Прессбург есть потеха Марсова, здесь же, на нашем озере, надлежит быть потехе нептуновой, – говорил Апраксин. – Что Прессбург? Али запомнили? Два года назад были столы и спальные, конюхи и кречетники, дворовые конюхи да дворцовые истопники, а нынче полки, кои не так легко победить, как те, что Василий Васильевич князь Голицын на татар важивал. Нынче солдаты, нынче офицеры, нынче изба караульная, нынче служба! А мы что? Сидим да ждем, покуда ротмистр Петр Алексеевич к сей нептуновой потехе поостынет? А что в том хорошего будет? Да сами мы кто!

Прянишников не ответил, сердито полез на печку – спать дальше. Ржевский угрюмо смотрел на Апраксина. Яким Воронин сказал невесело:

– Ехать-то можно, да как доедем?.. Путь не близкий, по дорогам, слышно, шпыни так и шныряют, режут ножичками. Да и где оно – сие море Белое? Может, его и нету вовсе на свете...

Иевлев засмеялся, хлопнул Воронина по широкому плечу:

– Не плачь, Яким! Отыщем море Белое...

Собрались быстро – в один день. На рассвете морозного, ветреного дня к избе, скрипя полозьями и раскатываясь, подъехали лубяные, с запряжкой гусем, сани. В сумке у Сильвестра Петровича лежала царская подорожная, у обоих путников были добрые, вороненой стали ножи, пара пистолетов, сабли. Яким запасся и едой на дальнюю дорогу – копчеными гусями, окороком, жбаном водки. Ямщик свистнул, намотал вожжи на руку, сытые лошади взяли с места хорошим быстрым шагом...

Ехали на Ярославль – Вологду – Каргополь. Свирепые студеные январские ветра обжигали лица, мороз забирался под шубы, леденил ноги. Мечталось только о тепле, о покое, о том, чтобы не скрипели в бору вековые, замороженные деревья, чтобы не бежали за розвальнями волчьи стаи со светящимися глазами, чтобы холод не хватал за самое сердце.

День и ночь брякал промерзшим глухим звоном колоколец под дугою коренника, на бешеном ходу сани часто переворачивались, ямщики сокрушались:

– Ишь, незадача! Было б вам, господа добрые, не спать ехамши...

Подъезжая к яму, не останавливая гоньбы, ямщик свистел оглушительно, особым ямщицким посвистом. На крыльцо яма – станции выскакивал заспанный, всклокоченный смотрильщик. Покуда перепрягали лошадей, Иевлев и Воронин сидя дремали в жарко натопленной, душной избе. За весь одиннадцатидневный путь на ночевку не останавливались ни разу. Спали в лубяных санях, тесно прижавшись друг к другу, измученные, заросшие бородами, невымытые...

В Онеге молодцеватый певун-ямщик, зная, для чего едут столы, привез их к низкой, строенной в лапу, большой избе, обнесенной тыном из почерневших от времени

кольев.

– Он и есть, – сказал ямщик. – Алексей Кононович первый на Онеге кормщик. И братец у них по корабельному делу – все его знают. Лучшего и не надо вам...

Ворота гостям открыл сам хозяин, приземистый мужик со строгим, изрытым морщинами лицом. Поздоровавшись, поставил на стол моченой морошки, пошел топить баню. Когда попарились вволю, Корелин покормил приезжих семужьей ухой и уложил спать на высокие перины. Гости проспали почти что сутки, проснулись к вечеру – веселые, голодные, довольные. Хозяин поджидал их, читая книгу в переплете с позеленевшими от времени медными застежками. Колеблющееся пламя витых свечей освещало его лоб в залысинах, светлые глаза, серебристую кудлатую бороду.

Гости сели рядом на лавку. Старик внимательно, ничему не удивляясь, выслушал рассказ Иевлева, подумал, потом сказал:

– Что ж, лодьи у нас строят. Учитесь – дело хорошее...

– Не лодьи нам надобны – корабли! – перебил Воронин.

Кормщик строго взглянул на Якима, объяснил:

– Лодьи наши и есть корабли. Так по-нашему, по-поморскому зовутся. Хаживаем нашими лодьями в дальние места. На Грумант, на Матку, на Колгуев...

Иевлев и Воронин недоуменно переглянулись. Никогда они не слыхивали этих названий. Старик догадался, встал, открыл ключом старинную тяжелую укладку, бережно положил на стол сверток из серого полотна. Не спеша развязал шнурок, вынул не то пергаменты, не то куски кожи – квадратные, плотные, желтые от времени...

– Оно... что ж такое? – спросил Воронин.

– А береста! – усмехнулся Корелин. – Не слыхивал, чтобы бересту эдак обделывали? Бумага али пергамент помору дороги, вот он сам себе и обладил подешевле...

Пододвинув подсвечник поближе, старик сказал:

– Вон, гляди, господа, какие пути нами хожены...

Твердым ногтем он провел по бересте черту – от Онеги на Колгуев:

– То путь ближний...

Сильвестр Петрович всмотрелся в лист бересты внимательно – увидел вырезанные контуры берегов, полуостров, заливы. Это была карта – искусно и красиво сделанная, с корабликами, плывущими по морю, с человечками, стоящими на берегу, с деревьями, растущими в устьях рек, и со зверьми, словно бы беседующими друг с другом на далеких островах.

– Кто же сей мореплавателю отважный? – спросил Воронин. – Кто сию карту начертил?

Корелин пожал плечами, вздохнул:

– Не ведаю, господин. Давно то было. Вишь – я сед, а книгу берестяную получил от батюшки своего. Сам посудит...

До полуночи сидели втроем у стола, щурясь всматривались в полустертые временем искусные карты на бересте. Старик задумчиво говорил:

– Собрать бы вам, господа хорошие, кормщиков наших добрых, да нынче многие в дальних землях зимуют. Панов на Грумант ушел; Семисадов – добрый кормщик, искусный – старшим над артелью в норвеги отправился; Рябов Иван сын Савватеев – от монастыря Николо-Корельского – моржа промышлял на Матке, там и поныне, видать, зимует. Тимофеев Антип тож где-то застрял. Много их у нас – найдем с кем побеседовать об морском деле. А к завтраму приедет брат мой единоутробный – Иван Кононович, он у нас по Поморью первый лодейный мастер... С ним прибудет Кочнев – редкого ума человек, от дедов весь ихний род лодьи строит...

Ночью Иевлев, Воронин и Алексей Кононович, одевшись потеплее, вышли на крыльцо смотреть сполохи. Сильвестр Петрович ахнул, не поверил глазам, громко спросил:

– Да что ж оно такое? Яким, зришь?

В черном морозном небе медленно двигались, сталкиваясь между собою, горящие сине-зеленые столбы, падали, вновь поднимались, озаряя своим странным холодным

сиянием покрытые искрящимся снегом крыши онежских домов, дорогу, неподвижное, застывшее пространство залива...

– На Матке-то страшнее играют! – сказал старик. – Здесь что, здесь в тишости сполохи, а на Матке, в большой холод, эдакие сполохи живут – и непужливый перекрестится. Ходят, да с треском, как гром гремит.

Столбы погасли, новое зрелище явилось перед Иевлевым и Ворониным. Из сгустившегося мрака стали словно бы прорываться искры, потом запылали сплошным огнем, рассыпая мелкие, быстрые, несущиеся, словно молнии, маленькие огни. Полнеба уже горело, – казалось, там должен стоять непрерывный могучий грохот, и было удивительно, что ночная морозная тишина ничем не нарушалась.

– С кузницей схоже! – сказал Иевлев. – Будто горн там на краю земли...

Продрогнув, вернулись в дом и долго еще говорили о сполохах.

– Нашим корабельщикам расскажешь – не поверят! – вздохнул Яким, раздеваясь.

– Многому не поверят! – сказал Сильвестр Петрович.

Лег на лавку и задумался. Яким уже спал, в избе было тихо, только трещали от мороза бревна, да мышшь осторожно точила в подполье.

– Многому не поверят! – шепотом повторил Иевлев. – Многому...

С утра, едва рассвело, пошли на Онежский залив – смотреть поморские лодьи, карбасы и кочи. Не веря своим глазам, Сильвестр Петрович смерил длину лодьи – девяносто футов, – корабль! Стоя наверху, на палубе, Иевлев крикнул вниз Воронину:

– Яким, сия лодья поболее той, что у Христофора Колумба была...

Суда были подняты на городки из бревен, стояли высоко. Корелин коротко, скупно, но с гордостью рассказывал, какое судно когда построено, какую воду ходит, то есть сколько лет плавает, где бывало, что с ним приключалось в плаваниях. На морозе, под яркими лучами зимнего негреющего солнца весело пахло смолой, и было смешно вспоминать переяславльские мучения, Тиммермана, верфь, которую там никак не могли достроить...

Покуда смотрели суда, собралась на берегу целая толпа поморов, ходили сзади, посмеивались в густые заиндевшие бороды, лукаво смотрели на гостей. Потом все сгрудились у лодьи Корелина, напирая друг на друга, стали рассказывать про себя, про свои случаи, про зимовья, про странствования, как ходили в дальние края – в немцы, как бывали у норвегов, как промышляли, как охотились, как рыбачили...

Иевлев, застыв на морозе, велел Алексею Кононовичу нынче же собрать кормщиков к себе для беседы, сам послал за вином, кликнул невестку Корелина – Еленку, протянул ей червонец на расходы. Еленка повела соболиной бровью, усмехнулась красными губами, до золотого не дотронулась, сказала с обидным пренебрежением:

– У нас, чай, не постоянный двор, не кружало. Почтим гостей и без твоего монета.

– Гордая больно! – удивился Сильвестр Петрович.

– Какова уродилась...

– Бабе бы и потише надо жить, – посоветовал Воронин.

– Бабами сваи быют, – блеснув глазами, сказала Еленка. – А я рыбацкая женка, сама себе голова.

– Голова тебе муж! – нравоучительно произнес Яким Воронин.

– Пойдем по весне в море, молодец, – сказала Еленка, – там поглядишь, кто кому голова...

И ушла творить тесто для пирогов. Алексей Кононович насмешливо улыбался, молчал.

– Чего она про море-то? – недоуменно спросил Воронин.

– А того, что кормщик нынче, лодьи водит в дальние пути.

– Она?

– Она, Еленка. У ней под началом мужики, боятся ее, не дай боже. Строгая женка...

Воронин крикнул, покачал головой с недоверием: такого ни он, ни Иевлев еще не видывали.

Вечером в горнице у Алексея Кононовича собралось человек тридцать морского дела

старателей, с ними женки, знающие море. За столом сидели и лодейные мастера Иван Кононович с Кочневым.

Исходили паром пироги с палтусиной, с семгой, с мясом. Ходил по рукам глиняный кувшин с водкою двойной перегонки. Перебивая друг друга, необходимо смеясь над своими неудачами, кормщики, рыбаки, весельщики, наживщики рассказывали, куда хаживали, чего видывали, как зимовали, скорбно вспоминали, как хоронили своих дружков в промерзшей земле, как море крушило лодьи и как уходили люди от морской беды. Воронин с Иевлевым сидели неподвижно, широко раскрыв глаза, веря и не веря. Яким хохотал на смешные рассказы, ужасался на страшные; толкая Сильвестра Петровича под бок, шептал:

– Да, господи преблагий, вот он, корабельный флот. А мы там, на Переяславле? Бот да струг? Отсюда надобно народ вести, они знают, с ними все поделаем как надо! Что одни корабельные мастера? Корабль построим, а плавать на нем кто будет? Мы с тобой да Прянишников? Много с ними наплаваешь!

Еленка, прикрикнув на мужиков, чтобы шумели потише, низким сильным голосом завела песню:

Здравствуй, батюшка ты, Грумант.
Ой и далеко до тебя плыти...

Покуда пели, лодейный мастер Кочнев нагнулся к Иевлеву, спросил, для чего надобны корабельщики на Москве. Иван Кононович усмехнулся:

– Посудинку по Яузе гонять парусом...

Сильвестр Петрович неприветливо посмотрел на Ивана Кононовича, не торопясь рассказал Кочневу, что на Переяславле-Залесском замыслено построить потешный флот. Кочнев спросил:

– Кого же потешать? Детушек малых?

Иевлев сказал строго:

– Государю флот – Петру Алексеевичу.

– А немцы ученые – не могут, что ли? – спросил Корелин.

Иевлев не ответил, отвернулся, насупившись.

Когда гости разошлись, Сильвестр Петрович сказал Алексею Кононовичу, что задумал забрать из Онеги с собою на Москву человек с сотню морского дела старателей. Кормщик молча повел на Иевлева удивленным взглядом. Тимофей Кочнев с насмешкой в голосе спросил:

– Оно как же? Волею али неволею?

Яким Воронин бухнул кулачищем по столешнице, закричал:

– Мы царевы ближние стольники...

– Ты, парень, глотку не рви! – строго прервал Иван Кононович. – Нас не напужаешь. Говори толком, для чего вам народ занадобился, надолго ли, от кого цареву жалованье пойдет, мы тут люди вольные, над нами бояр да князей нет...

Глаза его неприязненно блестели за очками, в голосе слышался сдерживаемый гнев. Иевлев дернул Якима за рукав, стал говорить сам. Говорил он не торопясь, спокойно, слушали его внимательно. Лицо Алексея Кононовича стало менее суровым, мастер Кочнев кивал, Корелин вдруг спросил:

– Да на кой же вам, коли вы корабельщики, по озеру плавать? У нас море, тут и народишко смелый для флоту отыщется, мореходы истинные. А в озере что в луже...

У Иевлева блеснули глаза, он сказал весело:

– То мысль добрая! Поначалу же надобны люди на наше озеро, без них с иноземцами кораблей не построить...

Кочнев спросил:

– А хомут не наденешь, господин, на веки вечные? Попадешь в неволю, куда деваться? А здесь и женка и ребяташки? Ты говори прямо, не криви душой.

Сильвестр Петрович подумал, ответил, помолчал:

– Не будет хомута, боюсь в том. Корабли на озеро спустим, и которые люди захотят обратно – с богом.

– Так ли? – спросил Корелин.

– Так.

– Что ж, подумаем, потолкуем меж собой! – сказал Кочнев. – Может, и сыщутся охотники...

Охотников сыскалось не много – вместе с Тимофеем Кочневым девять человек. Яким Воронин сказал Иевлеву, что надобно брать неволей, Сильвестр Петрович не согласился. Ко дню отъезда на Москву из девяти осталось четверо. Кочнев, в бараньей шубе, в теплой шапке, в рукавицах, стоял на крыльце, посмеивался на гнев Воронина:

– Кому охота, господин? Тут-то вольнее. Одно дело корабли на озере, а другое дело хомут холопий. Я и то раздумываю – не оплошал ли? А другие, которые с нами на Москву едут, – не с радости. Ефиму Трескину карбас о прошлый год разбило в щепы, в море идти нечем, а наниматься к богатею не хочет. Никола да Серега – еще хуже: женки потонули в море, скорбно им тут...

Сильвестр Петрович сел в сани, Воронин натянул на обоих медвежью полость. Ямщик шевельнул вожжами, колючие снежинки заплясали в воздухе. Вторые розвальни двинулись сзади. До Ярославля ехали быстро, в Ярославле сбежали Серега и Никола. Кочнев спокойно объяснил:

– Нагляделись дорогой на житье-бытье, как народишко в неволе мучается. Наслушались по ямам да от ямщиков...

Воронин, сжав кулаки, кинулся к Кочневу; тот сказал резко:

– Не шуми на меня, господин! Деда мои – от новгородских ушкуйников, не пужливые, а шуму завсегда не любили. Не посмотри, что ты царев ближний стольник, – расшибу, что и дребезгов не сыщешь!

Яким кинулся во второй раз, Кочнев одним махом вытащил из-за пазухи нож.

– Порежу, господин, берегись, перекрещу ножиком!

Иевлев силой посадил Якима в сани, тот, скрипя зубами, ругался:

– Холопь, иродово семя, на меня, на Воронина, руку занес. Пусти...

И рвался из саней.

На озеро приехали поздней ночью. Первым проснулся Луков, вздул огня, за ним поднялись Апраксин, Тиммерман, всего пугающиеся голландские старички. Встал даже ленивый Прянишников. Один только Васька Ржевский остался лежать под тулупом, смотрел с печи немигающим взглядом, закладывая русую прядь за ухо...

Сильвестр Петрович сказал всем:

– Любите, господа корабельщики, и жалуйте. Лодейный мастер Кочнев, Тимофей Егорович, с ним морского дела старатель Трескин Ефим. Об делах завтра толковать будем, а нынче поднеси нам, Федор Матвеевич, с устатку по кружечке, да и спать повалимся...

6. ВЕСНОЙ И ЛЕТОМ

Поутру Федор Матвеевич сказал Иевлеву шепотом:

– Пасись, друг, Ваську Ржевского. Кое ненароком слово сорвется – он все примечает...

– Какое такое слово? – не понял Иевлев.

Апраксин лениво усмехнулся:

– Мало ли бывает. В сердцах чего не скажешь: давеча на постройке занозил я себе руку, обляял порядки наши, завернул и про Петра Алексеевича, что-де пора бы и ему вместе с нами горе наше похлевать. На Москве он те мои слова мне повторил...

– Да кто повторил-то?

– Государь-ротмистр. Доносить – оно легче, чем работать. Похаживай, да примечай, лежа на печи, да слушай... И про тебя тож: ругался ты, что добрых гвоздей не шлют, что

князь-оберегатель чего хочет – того делает. Было?

– Ну, было...

– Ротмистр меня теми словами шунял...

Иевлев сплюнул.

– Плеваться не поможет, помалкивать надобно! – сказал Апраксин.

Позавтракавши плотно, Тимофей в сопровождении Лукова, Иевлева, Апраксина, Тиммермана, голландских старичков и Ржевского с насупленным Ворониным пошел смотреть, что понастроено на озере. На батарею, пушки которой торчали на Гремячем мысу, не взглянул, на дворец и церковь тоже. Пристань одобрил, но не то чтобы очень...

За время, что Иевлев с Ворониным ездили на Север, голландцы успели заложить корабль. Тимофей обошел его кругом, избоченился, долго разглядывал, потом глуховатым своим голосом велел ломать.

– Что ломать? – не понял Апраксин.

– А чего понастроили. Разве ж такие корабли бывают? Ни складу в нем, ни ладу...

Тиммерман обиделся, замахал на Кочнева руками в пуховых варежках. Тот вздохнул, взял лом, ударил. Мужики-колодники с улюлюканьем пошли растаскивать голландский корабль.

Днем Кочнев сидел на корточках в избе, выводил мелом на деревянном щите чертеж будущему кораблю, шепча губами, рассчитывал размеры, стирал, писал опять. Апраксин с Иевлевым не отходили ни на минуту, старались постигнуть, что он делает. Тиммерман у печки попыхивал трубкой, голландские старички сначала пересмеивались, потом подошли поближе, тоже сели на корточки – смотреть. Кочнев чертил, старички негромко объясняли Апраксину и Сильвестру Петровичу названия частей будущего корабля:

– Киль. А сие – ахтерштевень, или грань кормовая. Она пойдет поближе к воде, а там вот форштевень – грань носовая...

Тиммерман выколотил трубочку, заспорил с Кочневым, что не так делает. Кочнев дважды огрызнулся, потом замолчал.

Через две недели на новых стапелях заложили киль будущему кораблю «Марс». Было видно, что для дела отыскалась настоящая голова. Корабельные члены вырезались по лекалам, работы шли споро, с толком. Франц Федорович Тиммерман оживился, подолгу беседовал с Кочневым, на постройке был с ним почтителен. Работали и колодники, и вологжане, и рязанские, и ярославские плотники, работали и царевы корабельщики. Апраксин, Иевлев, Луков, Воронин отморозили на ветру лица, мазали щеки гусиным жиром, от света до света не расставались с плотничьим топором, с отвесом, с молотком. Длинными вечерами, когда за стенами избы выла метель, Апраксин и Сильвестр Петрович узнавали, что такое деклинация математическая и как ее брать, как мерять масштаб, кто был Николай Тарталья и что есть живая сила. Мучаясь, корпели над латынью. Старенький Тиммерман, сделав значительное лицо, поколачивая ребром ладошки по столу, не торопясь пересказывал то немного, что понимал в Копернике; сам путаясь, заглядывая в книгу, толковал о линии пересечения экватора с эклиптическою, о шарообразности земли, о сферической астрономии. Толковал и Кеплера с превеликим трудом, сам пугаясь того, что говорил. Тайны мироздания познавались будущими моряками в душной хибаре под завывание студеных озерных ветров, при свете сальных свечей. От новых, непонятных слов, от непривычных понятий, от космических представлений бывало, что дельвалось страшновато, слова запоминались с трудом: эллипс, вектор, радиус... кубы больших полуосей орбит... квадраты времен...

Поздним вечером Франц Федорович перевел эпитафию, написанную Кеплером для самого себя: «Прежде я измерял небеса, теперь измеряю мрак подземный; ум мой был даром неба...»

Прянишников на печи поежился:

– Ишь ты... досидимся здесь до мрака подземного...

Федор Матвеевич задумчиво потер ладонью свой подбородок с ямочкой, поглядел в сторону печки, произнес невесело:

– До мрака подземного много надо дела переделать...

Как-то к нему подсел Кочнев, стал вместе с ним разбирать математическую формулу. Оказалось, что, слушая подолгу Тиммермана из своего угла, он запоминал и понимал все, чему учил Франц Федорович, а теперь твердо решил учиться вместе с корабельщиками. Вопросов у них было столько, что Тиммерман даже за голову хватался, но корабельщики требовали ответа, и Тиммерману приходилось отвечать, не нынче – так завтра, не завтра – так днем позже.

– То-то! – говорил Федор Матвеевич. – Мы, брат, за наши деньги из тебя все вытрясем: и то, что помнишь, и то, что забыл. Нам знать надобно!

И нельзя было понять, шутит он или говорит серьезно.

Однажды, сидя с грифелем у стола, Апраксин оборотился к Воронину и спросил:

– А ты что, Яким, спишь столь много? Умнее всех? Али стыд не ест, что Тимофей Кочнев более нас, царевых корабельщиков, знает корабельное дело?

Яким сипло ответил:

– Мне, дворянину, холоп не указ! Он тем кормится, что знает, а я вотчиной сыт... Да и что мне с ним за столом сидеть?

Кочнев взял свою шапку, плотно закрыл за собою дверь.

– Да-а... Тимофей... – неопределенно произнес Ржевский.

Все долго молчали, потом Иевлев сурово заговорил:

– Глуп ты, Яким! И чего нам здесь местами чиниться, коли есть среди нас и такие и сякие, и хутородные, и конюхи, и кречетники, и иные разные...

– А тебе, Сильвестр Петрович, сии конюхи да кречетники не по душе? – осведомился ровным голосом Васька Ржевский.

Апраксин подмигнул Иевлеву, тот спросил в ответ:

– Отчего же не по душе?

И отвернулся, чтобы не видеть русоволосого, розового, ясноглазого Васютку Ржевского...

С этого дня Кочнев грифеля в руки не брал и у Тиммермана ничего не спрашивал. Дважды Иевлев звал лодейного мастера сесть за дубовый стол, на котором Франц Федорович раскладывал свои книги и ученые листы, и дважды Тимофей угрюмо отказывался.

Когда наступило лето, Иевлев и Апраксин часто сживали на берегу озера с Кочневым, спрашивали у него все, что тот знал о море, он не торопясь отвечал. Здесь, на прибрежном озерном песке, щепкой вычерчивал лодейный мастер корабельный набор, подробно учил переяславских корабельщиков своему делу.

В июне на озеро приехал Петр Алексеевич с Ромодановским, Лефортом, Гордоном, с иноземным шхипером и негоциантом Яном Урквартом. Царь повзрослел, но движения его были так же порывисты, угловаты, как и прошлым летом, голос часто срывался, ноздри короткого носа раздувались. Ходить он точно бы не умел, бегал, размахивая длинными руками. Увидев готовый к спуску корабль, поцеловал Тиммермана, который всегда умел быть под рукою в хорошую минуту. Апраксин стал рассказывать про Кочнева; Петр кивнул, не слушая, велел Францу Федоровичу спускать судно на воду. Тимофей Кочнев стоял поодаль, смотрел, как построенный им «Марс» за носовую часть привязывают канатом к сваям, как выбивают из-под киля стапель-блоки и снимают лишние подпоры. Голландский старичок Брандт с поклоном подал Тиммерману топор на длинной ручке. Иевлев, зло взглянув в глаза Францу Федоровичу, перехватил топор и позвал Кочнева. Кочнев не торопясь подошел, но Франц Лефорт закричал, что спускать корабль должен великий шхипер, и Петр Алексеевич пошел к канату, который надо было рубить.

– Тебе приказывать, – велел Иевлев Кочневу.

Кочнев громким веселым голосом крикнул стоявшим наготове мужикам:

– Подпоры вон!

Мужики ударили деревянными кувалдами, последние подпоры вылетели из-под корпуса корабля, судно всей тяжестью легло на полозья, канат натянулся как струна, Франц

Лефорт с бутылкой мальвазии подошел танцующей походкой к кораблю, разбил бутылку о форштевень, сказал с поклоном:

– Имя тебе будет, корабль, – «Марс», плавать тебе счастливо многие славные годы...

Кочнев махнул рукой, крикнул царю:

– Руби канат!

Петр Алексеевич ударил с плеча раз, другой, третий, канат с треском лопнул, «Марс» медленно пополз на полозьях в воду, гоня перед собою высокую пену. Петр, бледный от волнения, еще раз поцеловал Тиммермана, обнял Лефорта, Апраксина, Иевлева. На палубе «Марса» уже скакал Яким Воронин, кричал счастливым голосом:

– Плывет! Ей-богу, плывет! Корабль!

Вскоре на озеро прибыл поезд царицы Натальи. Петр встретил ее с робкой нежностью – так несвойственной всему его облику. Но тотчас же, словно позабыв, побежал на «Марс» ставить корабельную снасть, а при матушке велел неотступно быть Иевлеву.

Сильвестр Петрович подошел, поклонился. Наталья Кирилловна смотрела на него молча, строго. За ее спиной шушукались дворцовые, верхние боярыни, осуждали нептуновы потехи, опасались простуды на озере, сырости от воды, будущего дождя. Царица усмехнулась уголком крепких, еще молодых губ, сказала Иевлеву так, чтобы боярыни не слышали:

– У, крысихи постылые! Чего ходят за мною, чего вяжутся? Из-за них и Петруша меня не жалуется...

Засмеялась Сильвестру Петровичу тихо, как своему, и стала спрашивать, как сделать, чтобы Петр Алексеевич ее покатал на корабле по озеру. Иевлев замешкался с ответом, она ждала, и тихая улыбка все дрожала в уголке ее губ, а темные, словно бы с золотом, глаза смотрели на корабль – искали Петра.

Вечером Иевлев сказал Апраксину:

– Сколь проста в обращении царица Наталья Кирилловна и до чего не похожа на кичливых наших боярынь...

Федор Матвеевич усмехнулся:

– Что проста – то верно. В Смоленске в лаптях хаживала в ту пору, как Нарышкин капитаном цареву службу нес.

В эту ночь было пито: за корабельщиков, за князя Федора Юрьевича Ромодановского, за боцмана Сильвестра Иевлева, за превосходительного господина Патрика Гордона, за государева друга женеваца Франца Лефорта, за иноземного гостя шхипера и негоцианта Яна Уркварта.

Сидели в новом дворце у новой пристани. Ветер с озера шевелил темные волосы Петра Алексеевича, вздымал цветастую скатерть, локоны парика Уркварта... Бережась сквозняка, накинув на жирные плечи вышитый по груди кафтан, шхипер Уркварт рассказывал гиштории – одну другой забавнее: про плаванья в дальних морях, про выгоды, которые дают государствам корабли, про пиратов, про доблесть конвоев, про жестокие морские штормы, про страшного царя китов...

– Не верьте ему, молодцы! – вдруг крикнул пьяный Патрик Гордон. – Он есть лжец, да, так! Он сам, пес, продал себя пиратам. Он – плохо, я – знаю, ты все не знаешь – дурак!

Уже рассвело, застолье все продолжалось. Многие корабельщики, измучившись, спали здесь же на лавках. Петр Алексеевич, трезвый, невеселый, ходил по валу на длинных ногах, говорил Апраксину:

– Переяславль, Переяславль, а что в нем хорошего – в озере нашем? Часы с боем? Ну, построили корабли, а плавать где? Одни мели, ветра стоящего не дожидаться, сколько будем ветра ждать? Флот...

Федор Матвеевич молчал.

– Курице не утопиться, – сказал Петр, – нет того часу, чтобы на мель не сесть. Вот шхипер Уркварт рассказывает, каково люди в море хаживают, а мы?

Уркварт, наклонившись вперед, жадно слушал.

– Надобно, государь, к Белому морю ехать, в Архангельск! – негромко сказал Иевлев. – Я нынче зимою до Онеги добрался, посмотрел поморов, суда какие они строят, там – флот...

Шхипер Уркварт засмеялся, замахал руками на Сильвестра Петровича. Петр беспокойно посмотрел на шхипера, на Иевлева, сердито проворчал:

– Много мы с тобой корабельное дело знаем, что судим. Онега! Рыбаки, небось, рыбачат, всего и делов...

И велел идти всем спать – назавтра назначены были маневры переяславскому флоту. Но вдруг окликнул Апраксина:

– Стой, погоди...

Федор Матвеевич воротился.

– Известно мне, что некоторые вы книги латинские читаете и об них толкуете. Об чем сии книги?

Апраксин, бледнея, глядя в глаза царю, ответил:

– Ужели Васька Ржевский столь умишком скуден, что не понял, каковы сии книги?

Петр, вдруг улыбнувшись, щелкнул Апраксина по лбу пальцами, спросил еще:

– Что ж за книги?

– Коперника и Кеплера, государь.

– Об чем?

Федор Матвеевич рассказал, об чем.

– Для чего тайно?

– Пасемся попов, государь. Да и некоторых иных – дабы не смущать!

– Ну, иди спать! – отрывисто приказал Петр.

И вновь принялся шагать по зале.

С утра все не заладилось. Васька Ржевский как ни старался угодить ротмистру догадливостью, дважды был бит, и прежде всего, а чуть позже разжалован в матросы. Яким Воронин получил затрещину, Иевлеву досталось выслушать ругань, лежебока Прянишников не в добрый час захохотал басисто – получил пинок ногой. Господин Ромодановский Федор Юрьевич, произведенный в адмиралы, приказал Лукову за насмешливость в его взгляде всыпать палок. Иноземный шхипер Уркварт, повязав голову шалью, чтобы не напекло солнце, улыбался на то, как лупят Лукова. Апраксин, белый как бумага, с тоскою сказал:

– Лучше бы помереть, чем сие видеть...

После давался парадный обед на адмиральском корабле. У Ромодановского, к немалому удовольствию потешных, так расперло щеку от зубного недуга, что не только есть – пить, и то мог с превеликими муками. Вслед за обедом весь переяславский флот адмиральскому кораблю салютовал и учения делал: флотские нападали на Бутырский полк, который якобы спал в лесу, а корабли подошли и с берега весь полк перебили. Но так как бутырцы не слишком хорошо поняли, чего от них требуется, то на победные крики флотских моряков осердились и кое-кого порядочно изувечили. Более всех досталось Федьке Прянишникову, а Иевлева здоровенный детина из бутырцев до тех пор топил в озере, покуда не отбили Сильвестра Петровича другие флотские. Франц Федорович Тиммерман, пошедший соснуть в холодочек, был принят бутырцами за подсыла-шпиона, и в баталии чуть не вывихнул челюсть, после чего так долго бежал, что отыскался лишь на вторые сутки. За нерасторопность Якимка Воронин был бит Петром Алексеевичем в третий раз, – уже «начисто», как выразился сам Яким после третьей встряски.

Баталию шхипер Уркварт похвалил с усмешкой. Усмешки Петр Алексеевич не заметил и всех обласкал – и бутырцев и флотских. Всю ночь под зуденье комаров чинили корабли, изуродованные бутырцами, и с утра, без завтрака, опять делали парусные и пушечные учения. Когда ветер спал, учили на память реестры корабельному припасу, бормотали непонятные слова:

– Штанг-зеель.

– Крюйс-брамрей.

– Ундер-зеель.

Пересмеивались тихонько. Луков хотел было спросить: нет ли русских имен всем тем крьюсам и ундерам, но не посмел. Когда затвердили урок, Апраксину велено было рассказать, что есть флот, а также флоту адмирал, вице-адмирал, шаутбенахт, флагман, шхиман, цейгмейстер. Федор Матвеевич рассказал, его сменил Иевлев – говорить, для какого смысла содержат короли-потентаты корабельные флоты и какое есть предназначение флотам при войнах. Петр Алексеевич слушал его жадно, кивал, хвалил, потом заспорил про вчерашнюю баталию, стукнул кулаком по бочке, заговорил отрывисто:

– Крепости, которые на сухом пути расположены, всегда заранее о неприятельском приходе ведать могут, понеже большое время пешему и конному войску для подходов нужно. А ежели крепость у моря, то флот должен подойти безвестно, и знать о нем в крепости не могут, как человек не может знать смерть свою. Нас вчера побили с того, что противник знал: идем. И то плохо...

Потом опять были учения, а в ночь конопатили новое судно.

Петр Алексеевич конопатил с Тимофеем Кочневым и непрестанно с ним беседовал. Но Ян Уркварт оттер корабельного мастера, влез в разговор, ходил рядом с царем вдоль корабля, болтал свои гиштории.

Иевлев прошел мимо, передернул плечом: больно близко подбирался к Петру Алексеевичу иноземный шхипер.

Так в бессонных ночах выдержали еще несколько суток, потом вдруг повалились спать среди белого дня. Спали долго – корабельщики, и бутырцы, и даже мужики-вологжане, приобвыкшие к жизни на озере. Было жарко, душно, собиралась гроза, да все не могла собраться. И сон был тяжелый, как всегда в духоту перед грозой.

Просыпались, пили квас, что велено было выкатить в бочках; пошатываясь, разморенные духотой, бродили под деревьями, зевали и вновь падали на густую траву – еще отмучиться, покуда не разбудит ротмистр.

Но Петр спал крепко.

В душной знойной тишине, вздымая пыль, на поляну вылетел гнедой жеребец. Меншиков спешился, огляделся, пинком разбудил храпящего мужика, спросил:

– Где царь?

– Кто-о?

– Царь, Петр Алексеевич...

Мужик почесал грудь, повернулся на бок, опять захрапел. Александр Данилович отер пыль и пот с лица, прошелся вдоль берега, покачал головою: «Ну, молодцы, ну настроили, не узнать озера!»

На берегу сидел беловолосый мальчишка, задремывая, удил. Александр Данилович и у него спросил – где царь.

– А спит – вона! – сказал мальчик.

Меншиков сел на траву возле Петра Алексеевича, потряс за плечо. Тот сонно причмокнул губами, отмахнулся, как от мухи. Александр Данилович потряс еще.

– Чего? Зачем?

Открыл глаза, узнал, протер лицо просмоленными ладонями, сладко зевнул:

– Ну спится, Алексашка...

Меншиков сказал со вздохом:

– Пора на Москву, Петр Алексеевич. Прессбург к баталии готов. Закисли люди ожидаючи, истомились.

Петр Алексеевич, кося темным глазом, большими глотками пил холодный квас из глиняной кружки. Поставил кружку, потянулся:

– Что ж, сменим Нептуна на Марсовы потехи.

И поднялся.

Дернул спящего Иевлева за кафтан; не дожидаясь, покуда тот проснется совсем, сказал:

– На Москву еду, Сильвестр. Вам здесь – учения продолжать непрестанно, с великим прилежанием. Спать – помалу, трудиться – помногу. Корабль «Юпитер» без меня на воду не

спускать.

Еще дернул за кафтан и, по-детски оттопырив губы, поцеловал в щеку:

– Прощай! В покое моем, что на столе кинуто – припрячь.

Солнце уже садилось. Мимо сонных стражей Иевлев вошел во дворец, в опочивальню Петра Алексеевича, сложил чертежи на пергаменте в стопочку, меж чертежами нашел листок, неперебеленное или недописанное письмо Петра к Наталье Кирилловне. Глаза сами собою остановились на каракулях: «...и я быть готов, только гей-гей дело есть – суда наши отделявать... твои сынишка, в работе пребывающий...»

Выходя, в сумерках повстречал Апраксина. Тот с улыбкой поведал о суровом прощании Петра с наушником Ржевским. Васька пал в ноги, слезно молил прощения, что больно-де трудна матросская служба, не по силам ему; ротмистр молча отворотился и сел в седло, словно не слыша причитаний недоросля.

Сильвестр Петрович ответил хмуро:

– Простит по прошествии времени. Простит, приблизит, обласкает. Быть Ваське в почете, помянешь мое слово, Федор Матвеевич...

7. БОЙ

На озеро вести долетали с запозданием. С запозданием корабельщики узнавали о больших потешных сражениях подмосковных, о том, что Петр Алексеевич водит полки, сам палит из пушек, что искалечился в Александровской слободе генерал Шоммер, помер от ран потешный Зубцов, Сиротина опалило порохом, Лузгин сломал ногу.

Апраксин на озере покачивал головой, посмеивался:

– То – потеха добрая. Нам не зевать стать. День и ночь работаем, и все не поспеваем. Быть и у нас большой баталии, поспешать надобно...

Из Москвы на Переяславль-Залесский то и дело приезжали потешные – басовитые, здоровенные ребята с крепко растущими бородами – «обучаться нептуновым потехам», – так на словах велено было передать Иевлеву от Петра Алексеевича.

С опаской вступали они на палубы кораблей, крестились, когда налетал ветер, долго не хотели лазать на мачты – крепить паруса. Якимка Воронин, хорошо запомнивший, что в вотчину ему нынче, да не только нынче, но и позже, не попасть, сердился на бездельников, бегал босой, с облупленным от гагара лицом, завел себе нагайку – драться. Боярские дети писали родителям горькие письма, сердобольные маменьки слали на Переяславль подарки для «злого шаутбенахта» Воронина. Яким съедал гостинцы и еще пуще гонял боярских детей.

– Не любишь по мачтам лазать? – с веселой яростью спрашивал он дебелого недоросля. – Не нравится? И мне, брат, не нравилось, да, вишь, – служба, надобно... Лезь, не робей, коли ежели убьешься – похороним честью...

Луков подружился с Кочневым, прилежно стал изучать корабельное дело. За осень и зиму ему удалось помирить Воронина с корабельным мастером. Яким, смеясь, сказал как-то Иевлеву:

– Вишь, времена какие пошли: работаем, ровно и не дворянского роду. Что я, что Кочнев – одна, выходит, стать. Оба – трудники... А с недорослями... о господи, провались они все! Вот приедет ротмистр, поклонюсь в ноги – пусть матросами пошлет поморов, а не сих толстомясых...

Петр приехал ночью и тотчас же велел флоту готовиться к большому потешному сражению. Апраксин был назначен командовать кораблем «Марс», «Нептуном» должен был командовать Воронин. После сражения кораблей и на победителя и на побежденного должны были напасть гордоновские бутырцы и брать корабли с малых судов – со стругов и даже с плотов – абордажным боем. Над абордажными солдатами ротмистр велел «иметь командование господину Иевлеву, дабы в авантаже они были над прочими воинскими людьми».

Патрик Гордон пригласил Иевлева в свой лагерь для беседы. Сидели за кружками пива в шатре и не торопясь обдумывали, как нападать, в какой час, откуда выходить малым абордажным кораблям. Гордон макал в кружку сухарь, старательно пережевывал его еще крепкими зубами. В беседе не шутил, было видно, что ничего веселого от предстоящего не ждет...

– Ну, как ты тут поживаешь, молодец? – спросил он, когда обговорили дела.

– Трудимся помаленьку.

– Как это значит – помаленьку?

Иевлев объяснил.

– Вот как это значит – помаленьку.

– Вот так.

– И – латынь?

Сильвестр Петрович пожаловался, что латынь трудна.

– Трудна – да, – согласился Гордон. – Но для тебя надо, молодец. Борзо надо. Сам будешь знать – тогда нас совсем без...

И он качнул своей длинной ногой, как бы наподавая ненужному человеку. Глаза его смотрели строго, длинное, бледное лицо выражало презрение.

– Иноземцев выгнать? – удивился Иевлев.

– Да, молодец. Шхипер Уркварт прочь, я знаю...

Он задумался, посасывая трубку, с гордостью и презрением глядя поверх головы Иевлева. Потом не торопясь поднялся всем своим сухим, мускулистым телом и ушел спать в холодок, под березку, за шатер...

Петр Алексеевич был тих, задумчив, спрашивал многое у Апраксина, сам не командовал. На просьбу Воронина дать в матросы поморов ответил с усмешкой:

– Те, небось, и без тебя матросы, а сих олухов кто обучит?

Воронин ушел.

Петр с Гремячего мыса смотрел в трубу на маневры кораблей, иногда нетерпеливо кусал губы, но не ругался. Заметив Иевлева, поманил к себе, спросил:

– Чьи листы ко мне положены в опочивальню? И в прошлый год клали и нынче. Кто возит, откуда?

– По корабельному делу?

– Про Олеговы дружины да про Царьград.

– Взяты из Посольского приказа, государь, от окольного Полуектова.

– Отдай обратно. Коли есть еще по корабельному делу – привезешь сюда, положишь ко мне.

Складывая подзорную трубу, заговорил негромко, задумчиво:

– Игумны, да архиереи, да архимандриты присоветовали Иоанну, когда он их о ливонских городах спросил, за те города стоять накрепко, не щадя ни ратных людей, ни живота... Слышал о том?

– Слышал.

– Врешь!

Иевлев молчал.

– Когда не врешь – скажи, как оно было...

– Ливонская земля от Ярослава Володимировича испокон наша, господин ротмистр. Если не стоять нам за те ливонские города, нашей кровью смоченные, то впредь будет из них великое нам разорение, и не токмо что Юрьеву, но и самому Великому Новгороду и Пскову...

– Без флоту, без кораблей можно ли те земли воевать? Говори?

Иевлев помолчал, потом ответил:

– Нет, нельзя.

Петр невесело засмеялся, ткнул трубкой в сторону озера, крикнул:

– А с этими можно? С этими – иди воюй! Пойдешь, коли пошлю?

И отвернулся, ссутулившись.

Не более, как через час, была таска и выволочка Федору Чемоданову. Понадеявшись на то, что все заняты своими делами, Чемоданов задами подался в село Веськово для своих амурных дел, но встретился с супругом своей любезной и был так бит, что едва добрался до сарая с корабельным припасом, куда друг Прянишников принес ему водки и примочки. Водку Чемоданов выпил и заснул. На беду Петр Алексеевич велел бить тревогу – алярм, и сам забежал в сарай за позабытым блоком, где и увидел распухшее и посиневшее чудище – Чемоданова.

Бой «Марса» с «Нептуном» продолжался весь день. Дважды корабли сваливались и дважды расходились. Яким Воронин, весь изорванный, словно ополоумевший бес, носился по своему кораблю, дрался, лазал на мачты, палил из пушек, кричал в говорную трубу нестерпимые оскорбления Апраксину и всяко поносил его за то, что не мог одержать над ним победу. Федор Матвеевич держался со скромным достоинством и выжидал своего времени, чтобы ветер позволил свалиться по-настоящему. Время это наступило под вечер, когда Яким, измученный кипением собственных сил, повалился на корме – поспать. Скрытно, в тишине, «Марс» подошел к храпевшим морякам «Нептуна», зацепил баграми за борт, и тогда началась баталия – конечно, с полной победой Апраксина. Под гогот и веселые вопли абордажной команды «Марса» сам господин Воронин был связан кушаками и приведен на суд Петру Алексеевичу, который из своих рук поднес страдальцу крепыша и велел пленнику содержаться до самого конца сражения на корабле «Марс», в трюме, за то, что проспал Апраксина.

Победители получили бочку старого меду, но Федор Матвеевич приказал бочку не открывать, бережась нашествия бутырцев. К вечеру небо затянуло тучами, стало холодно, посыпался мелкий дождик. На «Марсе» потушили огни, дозорные ходили вдоль бортов, всматриваясь во тьму.

Патрик Гордон в панцире под плащом медленно прогуливался по берегу возле своих малых кораблей. На стругах, на плотках, в лодках неподвижно сидели бутырцы. У каждого был багор с крюком, у некоторых – лестницы, чтобы забрасывать на борт корабля. К «Марсу» в исходе ночи двинулась Гордонова флотилия – она стояла на якорях. Но стоило корабельщикам услышать плеск весел, как они вздели парус и ушли с попутным ветром, словно сквозь землю провалились. Ушли во тьме и не боясь предательских мелей: Апраксин отлично знал озеро, на котором плавал столько времени.

Гордон рассердился и велел догонять, но в это время попался под идущий из-за мыса на всех парусах «Нептун», которым командовал Луков. Иевлев первым увидел неприятельское судно, но остановить замешательство не смог. «Нептун» бортом ударил большой плот с бутырцами, люди посыпались в воду и стали хвататься за струг, чтобы не утонуть, но струг перевернулся и уже более сотни народу оказалось в воде. Иевлев попытался навести порядок, но ничего поделать было нельзя: Гордон растерялся и только с ругательствами бил по рукам утопающих, которые хватались за его лодку. С «Нептуна» ударила пушка, и Луков спросил из темноты:

– Хватит, али еще воевать будем?

Гордон со злобой закричал:

– Утопите меня здесь навсегда, но виктории вам не будет... Лючше смерть, молодец, черт!

Бутырцы, кто как горазд, вплавь добрались до берега, некоторые просили спасти, но было не до них. В начинающемся рассвете показался «Марс», идущий на флотилию Гордона, чтобы расстрелять ее из своих пушек.

– Сдавайтесь, Гордон! – крикнул Апраксин в говорную трубу.

А Якимка Воронин, вылезший из своего заточения, крикнул нарочно мерзким голосом:

– Господин генерал, каково вы имеете мнение о ваших силах в сей баталии?

– Вот я тебе покажу силы! – бесился Гордон...

На рассвете лодка Гордона перевернулась, и шотландец в своих доспехах камнем

пошел ко дну. Иевлев, срывая с себя кафтан, бросился за генералом, неловко схватил его за парик, – парик остался в руке. Пришлось нырять второй раз. Генерала вытащили на палубу «Нептуна», он смотрел ошалелыми глазами, икал, изо рта у него текла вода. Сильвестр Петрович с Апраксиным и Луковым спустились в лодки – искать утопших, вытаскивать тех, кто еще держался на воде. На берегу горели костры – бутылки сушили кафтаны, сапоги, онучи.

Дождь перестал, но утро было холодное, с деревьев падали мокрые желтые листья. Многих людей доставало, тела их искали баграми в озере, но они находились один за другим то на «Марсе», то на «Нептуне», то на малых кораблях, то на другом берегу, то у батарейцев на Гремячем.

Петр, веселый, велел всех, кто жив, поить допьяна, а кто помер в баталии – поминать прилично; сам наливал кружки, стоял, обняв Апраксина, смеялся, хвалил, ругал, вспоминал все перипетии боя.

Только утром Иевлев вернулся к себе в хибару: как сквозь сон, увидел на печи, под тулупчиком, с обвязанной головою Ваську Ржевского.

– Ты для чего здесь? – со злобою спросил Сильвестр Петрович.

– Горячкою занемог... – страдальческим голосом ответил Ржевский.

– И маневров не видал?

– Сказано, горячкою занемог...

Сильвестр Петрович, выругавшись, стал переодеваться в сухое. Его трясло, хотелось пить, но подняться с лавки не было сил. Царский лекарь фон дер Гульст покачал головою – сильно скрутило столяника, выживет ли? Велел лежать под теплым одеялом, нить лекарства, прогнать из головы всякие мысли – и злые и добрые. Потом, попозже, привиделся Петр Алексеевич, как ласково беседует он с Ржевским, как тот ему жалуется, что простыл на ветру во время баталии. Сильвестр Петрович даже охнул от удивления, тогда Петр подсел к нему, спросил:

– И ты, Сильвестр, занемог?

Не дожидаясь ответа, велел рассказывать, что видел зимою на Онеге. Сильвестр Петрович с трудом собрался с мыслями, заговорил. Петр слушал долго, внимательно, кивал нечесаной, всклокоченной головой. Маленький рот его был крепко сжат, глаза смотрели вдаль – туда, где за выставленным окошком покойно дышало озеро. Потом вдруг на месте Петра Алексеевича оказался Апраксин:

– Божьим соизволением родились мы с тобою, Сильвестр, в тяжкое, многотрудное время. Долго ли проживем? Для чего жить будем?

Иевлев силился понять, о чем говорит Апраксин, но понимал не все. Федор Матвеевич сидел на лавке ссутулившись и как бы думал вслух.

– Что ж, кончилась наша юность... Было детство, когда потешными стреляли из палок. Было и отрочество, когда находили мы счастье в звуках мушкетной пальбы. Юность с потешными штурмами и барабанным боем, с постройкой кораблей здесь – миновала навсегда. Не нужны нам более мушкеты и пищали, выструганные из палок. Озеро наше хорошо было для детских забав ротмистра, а нынче оно ему скучно... Недавно Лефорт, из вечного своего стремления сказать приятное, назвал ветер нашего озера – веселым ветром. Соврал немец! Сей ветер не веселит душу, он поселяет в нас, отравленных мечтою о подлинном морском просторе, только лишь чувство неутолимой тоски. Суесловный Коорт поведал мне однажды, что на нашем озере сердце его кровоточит, ибо преисполнен он, мореходец, воспоминаниями о других водах, о настоящих бурях...

Сильвестр Петрович пересилил недуг, приподнялся на локте. Апраксин продолжал задумчиво:

– Сквозь лещь иноземцев, сквозь лживый восторг притворщиков Петр Алексеевич слышит снисхождение взрослого к забавам дитячки. Ну, и понял он, что флот его – не флот, что море его – не море, что корабли его – не корабли. Переяславское наше озеро веселило и радовало государя, покуда видел он в нем океан. Нынче же видит он в нем всего лишь лужу.

Теперь мысль о Белом море ни на минуту не оставляет его. С полчаса назад, выходя от тебя, сказал мне твердо, что будет собираться в Архангельск.

Сильвестр Петрович сделал попытку сесть.

– Нынче?

– Нынче, и спехом. Про здешние корабли ничего более не говорит. Тимофею Кочневу велел возвращаться к дому – ждать его там. Мужиков – по селам, откуда пришли. Колодников – в узилища.

– А дворец? А батарея? А флот наш, Федор?

– То все кончилось, Сильвестр. Более не стрелять нам из мушкета, выточенного из деревяшки. Кончилась юность. Ну, отдыхай, друг милый, спи, там видно будет...

Вечером Петр Алексеевич велел бить алярм. Вывел своими руками «Марс» на глубину, нахмуясь оглядел дворец свой с белой дверью, с орлом на кровле, оглядел дом, построенный Гордону, амбары, сараи, мачты других кораблей. Оглядел внимательно шхипер-камеру, плотницкий сарай, где сам строгал и пилил, березы, Гремячий мыс, пристань на сваях...

Люди тихо ждали команду. Недоросли радовались – трудам конец, поскачем по вотчинам, отъедемся, отоспимся. Внезапно царь спросил у Лукова:

– Господин адмирал! Что есть фор-марса-бык-гордень?

– Фор-марса-бык-гордень есть снасть, фор-марсель подбирающая, – рявкнул Луков.

Недоросли забеспокоились – ужели все вернется к началу? Но более Петр Алексеевич ничего не спрашивал – велел идти к берегу. И уже ни разу не взглянул на озеро, где столько времени было проведено в трудах, где даже смерть видели будущие мореходы, где миновало столько всего – и дурного и хорошего.

На берегу с Патриком Гордоном сели на коней и уехали к Москве.

Потешные стояли толпой – помалкивали.

Федор Матвеевич проводил Петра взглядом, помолчал, потом велел всем, кто захочет, ехать к Москве.

– А ежели в вотчину? – спросил длинный Прянишников.

– Для чего?

Прянишников молчал, испугавшись строгого взгляда Апраксина.

– К Москве! – крикнул Апраксин. – Понял ли? И более никуда!

8. НЕДУГ

Сильвестр Петрович не помнил, как привезли его к дядюшке Родиону Кирилловичу, как подняли по лестнице в верхнюю горницу, не помнил, как миновало лето, как наступила осень. Лекарь-немец качал старой лопухой головой – на все божье соизволение, только русское здоровье может победить такую горячку. От жара в жилах господина стольника теперь кровь чрезвычайно сгустилась. Обычно от этого умирают, впрочем надо молиться...

Марья Никитишна плакала украдкой, сидя над Сильвестром Петровичем. Худое лицо его обросло легкой светлой бородой, иногда пересохшими губами он произносил какие-то слова. Маша вслушивалась и ничего не понимала.

– Трави шкот, травы!

Потом поняла: плавает по своему озеру, строит свои корабли, живет там, на Переяславле, а не здесь, в Москве.

И днем, когда он бывал особенно бледен и желт, и ночами, когда от жара на щеках его горели красные пятна, всматривалась Маша в его лицо, спрашивала себя, чем он ей так полюбился? Почему не хочется жить ей, ежели он умрет?

Иногда к Родиону Кирилловичу приезжал князь Хилков. Они, сидя внизу, подолгу толковали о своих летописях. Маша кусала платок, – как могут они заниматься делами, когда Сильвестр Петрович при смерти!

Тайком от дядюшки Маша звала баб-ворожей, бабы шептали над водой, спрыскивали

больного с уголька, покрыв его платком, кружились, творили заклинания. Маша, и веря и страшась, мелко крестилась в сенцах, молила пресвятую богородицу не оставить ее, сироту, не дать ворожеям загубить Сильвестра Петровича.

В тихий светлый прозрачный день бабьего лета Сильвестр Петрович вдруг открыл глаза, собрался с мыслями и одними губами чуть слышно промолвил:

– Здравствуй, Марья Никитишна.

Маша всплеснула руками. Шитье упало с ее колен.

– Апраксин где – Федор Матвеевич?

– В Архангельске все они, – сказала Маша, – и Петр Алексеевич с ними...

– В Архангельске?

У Маши дрожали губы, в глазах блестели слезы. Она сидела неподвижно, крепко стиснув руки у горла.

– Зачем в Архангельске?

Маша не знала. Сильвестр Петрович думал, хмуря брови. Потом слабо улыбнулся и сказал, что хочет спать. Вечером он попросил поеть, а через неделю собрался в баню – париться. Для такого случая был позван старый банщик из пленных татар – маленький, страховидный, ловкий и скользкий, как бес. Дядюшка рассказал ему, какая была болезнь, татарин кивнул бритой головой:

– Якши!

Лекарь, случившийся при беседе, схватился за голову: как бы вместо лечения не приключилась смерть.

Окольничий плюнул, – чего немец врет, когда же такое было, чтобы человек от бани помер? Татарин все кивал – якши, якши, он-де знает...

Мыльню топили с утра – сам татарин и его подручный, глухонемой, по кличке Глухарь. В липовые чаны липовыми же ведрами носили «мягкую» воду из дальнего колодезя. В кунганах татарин замешал квас – мятный с травами, чтобы этим квасом поддать пару, когда придет час. На полках и на лавках Глухарь раскидал принесенное в мешке сено, с поясным поклоном, перекрестившись, положил своей же работы веники. В туюсах стояли ячное пиво и татарская вода с уксусом и травой полынью, для последнего, легкого пару.

Улыбаясь серьезному лицу татарина, истовому поклону Глухаря, всей торжественности маленькой мыленки окольничего, Сильвестр Петрович ничком лег на полок, вдохнул всей грудью сильный и добрый запах наговорного сена и сладко задремал, покуда ловкие руки татарина отбивали дробь по его лопаткам, по спине, по плечам. Глухарь по знакам татарина поддавал мятным квасом, сквозь слюдяные оконца фонаря светила свеча, дышать становилось все горячее, сердце билось ровными могучими толчками, гнало кровь по телу, горячий воздух благодатно ширил грудь. А татарин уже плясал на спине крепкими маленькими ступнями, весело и бойко приговаривая:

– Ай, якши, ай-ай, якши, ай, ну, якши!..

И чмокал языком:

– Паф-паф-паф!

А Глухарь, макая веники в знахарское сусло, теплое и пахучее, уже поддавал с боков по ребрам, потом в межкрылье, по плечам, по шее и мычал радостно, – дескать, хорошо все будет, уж мы-то наше ремесло знаем, уж мы-то утешим...

Внезапно распахнулась дверь – и в мыльню ввалились Яким Воронин и Луков. Заехали навестить болящего, а он в бане, ну тем случаем и им бог велел кости распарить.

– Да вы откуда? – спросил Сильвестр Петрович.

– С моря! Мы, брат, нынче морские корабельщики! – сказал Луков. – Вчера только возвратились. Чего бы-ыло!

Вперебой стали рассказывать об Архангельске, о том, как строятся там нынче корабли, как остался там воеводой Федор Матвеевич Апраксин...

Воронин вдруг всплеснул руками, закричал:

– Да ты стой, ты погоди, про Ваську-то Ржевского ведаешь ли?

Иевлев молча смотрел на Якима.

– Ей-ей, не ведает, ей-ей! – радовался Воронин. – До него, детушка, коне рукою не достать. Воеводою поехал в Ярославль...

Сильвестр Петрович отмахнулся.

Оба – и Луков и Воронин – стали креститься, что-де не брешут, провалиться им на сем месте, да поглотит их геенна огненная...

– Двое всего воевод ныне из нашего брата, потешных, – с грустью сказал Луков: – Федор Матвеевич – работник, да Василий Андреевич – наушник, да ябедник, да доносчик...

– Ну и нечего об сем толковать! – заключил Воронин. – Его государева воля...

Беседа этим и кончилась, началось веселье. Татарин, скаля зубы, плясал по Воронину, Луков поддавал пару – по-своему, чтобы глаза вон повылезли, хлестался наверху, орал предсмертным голосом:

– Батюшки, ахти мне, помираю, отцы! Братцы, плесните холодненького! Лихом не поминайте, детушки...

Луков, весь в мыльной пене, плясал, выпевая:

Ой, жги, жги, жги,
Разметывай!

Иевлев тихо лежал на полке, завидовал тем, кои видели Белое море нынче, кои плавали на нем, дышали добрым, крутым, соленым ветром...

После бани размякли. Воронин уговаривал татарина креститься, обещал ему за то подарить ефимков сколько унесет. Татарин посмеивался, вертел головой. В доме Родиона Кирилловича сели пить мед. Луков с Ворониным переглянулись, Воронин сказал со вздохом:

– Великий шхипер велел проведать – не пора ли сватов засылать? Как скажешь, господин Иевлев?

Иевлев поднял голову, взглянул в глаза Родиону Кирилловичу, помедлил и молвил не спеша, чтобы все поняли – то не шутка:

– Кланяюсь тебе, Родион Кириллович. Твоя воля – мне закон.

У старика задрожали руки. Он поправил очки, оглядел веселые распаренные лица Воронина и Лукова, тихо сказал:

– Как ни заплетай косу, не миновать – расплетать. Засылайте!

Наверху что-то упало, покатилося, дядюшка, оглаживая бороду, поднялся:

– Пойти кошку прогнать, чтоб кувшины не била...

Луков и Воронин тоже поднялись.

– Ну, Сильвестр, – сказал Воронин, – пропала твоя головушка: для шей люди женятся, а от добрых жен – постригаются. Жалко мне тебя...

Луков выпил еще меду, обтер усы, вздохнул:

– Сороку взять – щекотлива, ворону – картава; оженимся мы с тобой, Яким, не иначе, как на сове. То-то ему позавидуем. Прощай, Сильвестр. Жди сватов...

9. ГОЛУБКА И СОКОЛ

Студеным вечером на Параскеву-Пятницу в доме Родиона Кирилловича с шумом распахнулась дверь, вошел Меншиков, весь в снежной изморози, сказал с порога:

– Готовьтесь, едет. Да пугаться нечего, все ладно будет...

Не успели сесть – воротник стал раскрывать скрипящие ворота, у крыльца заржали, подравшись, кони, в сенях сбивали снег с сапог, хохотали сиплыми голосами. Родион Кириллович, опираясь на костыль, поклонился гостям низко.

– Сватались к девице тридцать с одним, а быть ей за единым – за ним! – быстро говорил Петр, щурясь на яркое пламя свечей. – По-здорову ли живешь, Родион Кириллович?

И не слушая ответа, не садясь, говорил:

– У вас товар – у нас купец, где у тебя, Родион Кириллович, голобец?

– По обряду, государь, по обряду! – кричал Меншиков. – Ничего не рушено, все справедливо!

Окольничий, светло улыбаясь, взял Петра за руку – подвел к печи. Царь положил ладонь на печной столб, как полагается свату, стоял у печи – огромный, глаза жарко блестели, говорил не останавливаясь, вздергивая головой:

– Никому против свата не ухвастать: купец наш души доброй, силы сильной, казны у него не считано, куниц да соболей не перевозить, не переносить, вотчина – что и глазом не окинуть, рухлядишка – что и конем не объехать...

Потешные, Лефорт, Гордон, Голицын, Нарышкин – хохотали, садясь по лавкам, в горнице пахло снегом, пивом, табаком, длинные тени метались по стенам, то и дело хлопала дверь – входили все новые и новые люди.

– Ваш товар нам люб, – твердо и серьезно сказал Петр. – Люб ли вам наш?

Родион Кириллович взглянул в открытое честное лицо Иевлева, помолчал, ответил слабым, но ясным голосом:

– Не за отца отдать, а за молодца. Моя девка умнешенька, прядет тонешенько, точит чистешенько, белит белешенько, да из нашего послушания никогда не выходила...

Петр кивнул. Потом, оборотясь ко всем, спросил:

– Сокола видели, братцы?

– Видели, видели! – загудели в горнице.

– Ну, так будем глядеть сизую голубку.

И, широко шагая за семенящим и прихрамывающим Родионом Кирилловичем, сам пошел искать Марью Никитишну по дому. Вскрикивая, она уходила от них, голос ее делался все слабее и слабее. Потом все затихло. Наконец раздались тяжелые шаги Петра. Родион Кириллович отворил перед невестой дверь, и царь громко сказал:

– Вот она – сизая голубка! Жениху да невесте сто лет да вместе!

С силой оторвал Машины руки от ее лица, сжал обеими ладонями ее зардевшиеся щеки и крепко поцеловал в полуоткрытые губы. Потом громко крикнул:

– Быть же винной чаре на первых засылах. Наливай, Родион Кириллович, пусть обносит...

Старик, подняв сулею, налил кубок. Руки у него дрожали, сулею принял от него Луков, стал наливать чару за чарой.

Маша пошла с подносом меж гостями, кланяясь каждому низко и не смея никому взглянуть в глаза.

За столом Петр посадил ее по новому, неслыханному обычаю рядом с Иевлевым и сразу забыл о сватовстве. Отвалившись к стене, уперев большие кулаки в столешницу, рассказывал, что в королевстве аглицком заведен новый обычай: чины в армии не даются за заслуги, а покупаются за большие деньги. Кто не поскупится – тому и генералом быть, а кто беден – тому и капитана до старости не дожидаться.

– Ловко! – сказал Иевлев.

– Молодец! – усмехнулся Гордон. – Нет лучше, как он придумал. Раны ничего не стоят, деньги все стоят...

И плюнул, осердясь.

– Вишь, – сказал Петр, – не без пользы и для нас... Теперь, глядишь, кто победнее и к нам в службу с охотой придут...

Все промолчали. Петр пытливо взглянул на Иевлева, на Лукова, на Меншикова, вздернул головой и велел подать себе бумагу да перо. Попыхивая трубкой, быстро писал список – кому по весне ехать в город Архангельский. Сердился на Меншикова, что прекословит, зачеркивал, опять писал. Потом писал Иевлев – какие надо брать с собою корабельные припасы, а Петр, похаживая по горнице, диктовал. Прощаясь, сказал невесте:

– Ну что, свет мой, русая коса, моя девичья краса, чего не воешь?

Положил руку на ее плечо, велел строго:

– Без меня свадьбы не играть!

И оборотился к старику окольничему:

– Покуда зима, собери, Родион Кириллович, все листы, что до морского дела касаемы, и все списки летописные. Пусть Сильвестр читает. Он у нас не глуп на свет уродился.

И, низко наклонившись, чтобы не удариться о притолоку, вышел из горницы. За ним с шумом и шутками хлынули все остальные. Было уже далеко за полночь. Крупными хлопьями падал снег, по узким улочкам подвывала начинающаяся вьюга. Обсыпанные снегом, неподвижно дремали караульщики с алебардами, дозорные пешего строю похаживали с мушкетами от угла до угла, спрашивали у всадников:

– Кто такие? За какой надобностью?

Луков отвечал каждому:

– Воинские люди за государевым делом, открывай рогатку, покуда плети не получил...

Рогатки скрипели, дозорные опасливо втягивали голову в плечи: кто ни пройдет, тот и дерется, эдак и своего веку не изжить...

Петр ехал с Меншиковым, говорил раздумывая:

– Море, море... и радость не в радость без него, Данилыч. Повидал летом, а нынче все оно чудится. Отчего так? – И, не дожидаясь ответа, продолжал: – Дождаться весны – и опять к Архангельску. Корабли строить, моряков искать. Трудно... Как там Федор Матвеевич справляется, а?

ГЛАВА ВТОРАЯ

То не беда, коли во двор вошла, а то беда, как со двора не идет.

Пословица

Правда истомилась, лжи покорилась

То же

1. МОНАСТЫРСКИЕ СЛУЖНИКИ

В церкви Сретенья Николо-Корельского монастыря отошла всенощная. Старцы, в низко надвинутых клобуках, в грубого сукна рясах-однорядках и волочащихся по ступеням храма мантиях, стуча посохами и мелко крестясь, неторопливо шли в келарню ужинать. Игумена Амвросия поддерживали под локотки отец келарь и отец оружейник: игумен был немощен, едва шагал негнушимися ногами. Лицо у Амвросия было сердитое, под клочкастыми, еще черными бровками поблескивали маленькие недобрые глазки.

Рыбаки, служники монастыря, завидев игумена, встали. Но он отвернулся, не благословил никого: потопили карбасы, потеряли дорогие снасти, а еще просят благословения...

Кормщик Семисадов, проводив братию взглядом, плюнул в сторону, за сосновое могильное надгробье, покачал головой.

– Худо, други. Не миновать беды.

Дед Федор – старенький, худенький, легонький, исходивший море вплоть до Карских ворот, два раза зимовавший на Груманте, бесстрашный и добрый рыбацкий дединька, – вздыхал, моргал, шептал кроткую молитву, как бы не засадили монаси доживать старость в тюремные подвалы, во тьму, на хлеб да на воду до скончания живота.

– Хотя бы покормили, треклятые молельщики, перед началом-то! – зло молвил кормщик Рябов. – Так голодными и предстанем рабы божий на их скорый суд...

В келарне монахи пели молитву.

– Тоже молельщики! – сказал Семисадов. – Ни складу, ни ладу...

Покуда монахи ужинали, салотопник Черницын принес каравай хлеба, рыбу-палтусину

и две редьки. Палтусина была строгого посолу, такая не протухнет никогда. Рыбаки ели молча, запивали родниковой водой из корца. Потом собрали крошки, корочки, завернули в лопушки, – мало ли что решит божий суд.

– Давеча без вас обоз куда-то отправили, – рассказывал Черницын. – Я считал, считал подводы, да и счет потерял. Перегрузили на струги – не менее полсотни посудин. И все рыба хорошая, дорогая. Как деньгами не подавятся – монаси проклятые...

Кормщик Аггей усмехнулся.

– О прошлом годе казны привезли – две подводы ефимков. На струге те ефимки бечевой тянули по Двине. Свалили в яму каменну!

– Божьи, божьи деньги! – крикнул рыбацкий дединька. – Вам не считать! Куда свалили, куда не свалили, – все им знать надобно...

– Деньги-то не божьи, дединька, а наши, – строго заметил Рябов. – Взял нас за глотку монастырь, что идохнуть не можем, а ты все божьи да божьи. Теперь вот судить будут нас за то, что буря на море пала. А мы виноваты? Мы сколь своих дружков в море схоронили, для чего?

Дед Федор испуганно молчал, помаргивал.

– Упекут в подземелье – тогда помолимся! – сердито посулил Семисадов.

Сидели долго, думали – может, убежать, не дожидаясь божьего суда? Пожалуй, сейчас из монастыря не уйдешь: стражник с протазаном у ворот, да здоровенный, проломает головы – и всего делов.

Аггей грустно сказал:

– Куда бежать-то? Умные к нам бегут – у нас воля, а мы куда подадимся? К боярину в тяглецы? Послушай, чего беглые сказывают – каково у них жить...

Суд был в келарне сразу после ужина. Старцы, перешептываясь, сидели по стенам, смотрели на кормщика Рябова и хроменького Митеньку Горожанина пустыми безжалостными глазами. У двери сторожил пузатый монах Варнава, – кормщика Рябова побаивались. В келарне было тихо, только потрескивали витые свечи перед судьями – игумном, Агафоником и всегда благостным, пахнущим росным ладаном, давно выжившим из ума старцем Афромеем.

– Говори! – приказал Агафоник тихим от ярости голосом.

Рябов вздохнул, стал рассказывать все по порядку: как пала в море буря-падера, как сломалась мачта, как большая волна пошла раскидывать рыбацьи посудинки, как от удара о Песьи камни рассыпался карбас деда Федора.

– Не про деда Федора речь! – крикнул игумен. – Про тебя, непотребного, речь...

– А ты в море бывал, что шумишь на меня? – тихо спросил Рябов. – В море ходить – не юфтью торговать...

Игумен охнул, старцы зашептались, закачали головами на страшную дерзость кормщика: что сказал неучтивец! Что вспомнил злодей! Игумна укорил тем, что тот в давние годы юфтью торговал...

Покрывая шум, зычным голосом Рябов говорил:

– Монаси! Где бы помолиться за новопреставленных рабов божьих, что делаете? Суд учинили? Кому? Тем, что только из моря вынулись, не поенным, не кормленным, не согретым? Чем пужаете? Подземельем? Не запужаете! Сколько дней люди мучались, сколько страху натерпелись для монастырской казны, а как их нонче встретили? Мало вам от нас прибытку? На Новую Землю хаживали – сколько рыбьего зуба привезли. Да и не один раз хаживали.

Митенька дернул Рябова за непросохший еще кафтан, он оттолкнул его от себя, шагнул ближе к судьям, заговорил громче, жестче:

– Плохо мы старались, что ли? Кто струги соленой рыбы на Москву и на другие города гонит? Старцы? Отец келарь? Отец оружейник? Блаженный Афромей? А что потопил карбас – разочтемся! Пойдет рыба – велика цена тому карбасу? И за снасть возьмите, так договорились, так покручивались, так запивную деньгу поставили...

Амвросий с силой ударил ладонью по столу – помолчи!

Рябов замолк.

– Предерзлив, детушка! – молвил игумен.

Рябов не ответил.

– Языком – востер, не робок!

– Море робкого не пожалеет! – негромко отозвался Рябов.

Амвросий прикрыл глаза рукой, как бы от усталости, потом отнял руку и заговорил строго, не торопясь:

– За карбас и за снасть отдашь в монастырскую казну все сполна, и не на тот год, а нынче же. То деньги божьи, и гулять божьим деньгам – сатану тешить...

Старцы закрестились при имени нечистого, слабоумный Афромей запечалился:

– Тех-тех-тех...

– Для того, – продолжал игумен, – пойдешь нынче же, детушка, лоцманом на иноземные корабли, а Митрий Горожанин с тобой толмачом. Проводную деньгу, что идет от корабельщиков лоцману, со всей честностью и без воровства будешь отдавать отцу Агафонику на новый карбас и снасть. Харч же, который с проводной деньгой идет лоцману, можете есть бесстрашно и тем жить. Когда же в лоцманах надобности не случится, пойдет вам пища с монастырского подворья, будете рыбу пластать или посольщиками возьметесь, али, ежели надобность случится, идти вам, детушки, бечевою тянуть монастырский груз по Двине...

Рябов молчал: он ожидал худшего. Не тюрьма монастырская – и то хорошо.

– Если ж что сделаете худо, – говорил игумен, – косо али впоперек сказанному, тогда на себя пеняйте, гнить вам в монастырской тюрьме, омыться в кровавых слезах, зарости паршами, до скончания животов не увидеть света божья...

– Тех-тех-тех! – опять опечалился Афромей.

Старцы закрестились, игумен благословил Рябова и Митеньку. Пятясь, они вышли, столкнувшись в дверях с Семисадовым и дедом Федором. Другие рыбаки ждали божьего суда у крыльца...

– Ну, чего? – спросил Аггей.

– Лоцманом послали, – сказал Рябов, – вас тоже всех на заработки наладят – в дряги али в солеварни. Не робей, Аггей!

Сырой ветер гнал по монастырскому двору тяжелый запах рыбы, что солилась в глубоких земляных ямах, выложенных сосновыми бревнами, что вялилась на жердях над рекою, что коптилась в низких коптильнях за монастырским кладбищем. В широкие ворота монахи вереницей несли корзины с рыбой свежего улова. Служники-пластальщики, барабаня ножами, показывали вид, что не по своей вине не работают. Над обозом низко летели чайки. Мальчонка послушник бегал с палкой-трещоткой – его должность была пугать чаек, когда пластают рыбу.

Рябов и Митенька сели в тележку, выехали из обители, миновали салотопенный двор, в котором чадила труба, на развилке дорог разъехались с обозом, что вез в обитель соль из неблизкой варницы. Тележка покатила вдоль Двины, по сырой болотной дороге.

Тонко, протяжно зудели комары.

Митенька заснул, измученный страхом, ожиданием, бурей в море, голодом.

За полночь остановились возле избы Антипа Тимофеева.

2. НЕ ПОЙДЕШЬ ЗА ПОРУЧИКА!

Кормщик молча смотрел на Таисью.

Она бежала к нему задыхаясь, босая, простоволосая. Он шел к ней медленно, тяжело ставя ноги в ссохшихся бахилах. Ночной ветер трепал его короткую мягкую бороду, светлые кудрявые волосы.

– Живой? – спросила Таисья, останавливаясь и прижимая руки к груди. – Батюшко тебя

второй день поминает, а ты живой?

– Живой! – сурово ответил он. – Чего мне делается...

– Страшно было, Ваня?

– Веселья мало.

– А здесь, в монастыре?

– Судили судом праведным...

Он усмехнулся жестко, сел на крыльцо, попросил поесть. Таисья вынесла ему хлеба, вяленую рыбу и вина в полштофе. Кормщик вздохнул:

– Видать, хорош я, что ты своими руками водочки поднесла...

Опрокинул кружку в рот, стал жадно жевать хлеб. Сонно кричали петухи в клетки, возчик дважды скрипел калиткою – поторапливал ехать. Таисья сидела рядом с Рябовым на крыльце, перебирала его волосы, плакала...

– Теперь, думаю, вовсе меня кончат, – посулил он. – Доконают, треклятые. Ты бы, Таичка, выгнала меня вон, куда я тебе. Не отдаст Антип за меня, сама говоришь – второй день поминает...

– Поминает! – грустно согласилась Таисья.

– Радуетя?

– Не больно ты ему люб.

– Ведаю...

Держа его за руку, она близко заглянула ему в глаза и попросила:

– Жил бы ты, Ваня, потише!

– Неслух я, девонька, не жить иначе...

Он поднялся на ноги, обнял ее рукою за плечи и, крепко прижимая к себе, велел:

– Об поручике и думать забудь, слышишь ли! На веки вечные. Не пойдешь за него!

– Ох, Ваня! – вывертывая от него гибкий свой стан, говорила она. – Ох, умен больше иных. Нужен мне твой поручик...

Он крепко поцеловал ее в раскрытые, прохладные губы, теплые его ладони сжали ее плечи, она длинно, глубоко вздохнула:

– Горе мое!

– Горе али радость, да не ходить тебе за поручика. Либо за меня, либо в девках останешься...

– Ишь ты каков!

– Да уж каков есть!

– Подлинно, что замучилась я с тобою...

– Оно, пташенька, до венца – невесело, – пошутил он. – Поп окрутит, тогда горе и узнаешь...

– Бить будешь?

– Доживешь – сведаешь...

Она крепко прижалась к нему и, вздрагивая от рассветной сырости, пошла провожать его до тележки. Рябов сел боком, свесив ноги через грядку, поправил голову Митеньке, чтобы не привиделся ему черный сон, и велел возчику трогать. Солнце уже поднималось, туманы медленно ползли над болотами, а Таисья все стояла, утирая набегавшие слезы, глядела вслед своему кормщику...

3. БОЛЬШОЙ ИВАН

Трехмачтовый, тяжело груженный корабль «Золотое облако» поджидал лоцмана, стоя на якоре в двинском устье у таможни. Таможенные целовальники и солдаты вместе с сухоньким приказным дьячком наперебой рассказывали Рябову, что тут давеча было: поручик Крыков нашел две бочки серебра, да не серебряного, а поддельного. Те бочки назначены были для расплаты за товар, а хват-поручик поймал вора почитай что за руку. Вот они стоят – бочки, под караулом, покрытые рогожкой, и солдат при них сторожит неотлучно.

Вот так шхипер, вот так молодец, вот так умница! Купит товар на ярмарке не иначе, как свальным торгом, с великим накладом для народишка, а расплатится не серебряным серебром. Споймают после мужика с той монетой да поволокут к розыску. Казнь известная – монету растопят, да в рот и вольют...

Рябов покачал головой – уж это народ торговый, с ним ухо остро надобно держать...

Шхипер Уркварт не преминул пожаловаться.

– Ваш поручик Крыков такое же наказание божье, как и давешний шторм. Привязался к бочонкам, которые вовсе не для Московии были назначены, а для торговли с теплыми странами. Ну ничего, я буду иметь честь жаловаться господину...

Митенька, хромая, шел сзади, переводил: Рябов не торопясь поднялся на ют, оглядел корабль – каков он после шторма.

– О, да, да, – сказал Уркварт, – это был ужасный шторм. Мы очень пострадали, но провидение в своей неизреченной милости помогло нам.

Длинноногий носатый слуга шхипера, по кличке Цапля, со всем почтением уже стоял возле штурвала, держал поднос с солониной, ромом, гданской водкой в сулее: так издревле полагалось встречать лоцмана.

– Закусим? – спросил неуверенно Митенька.

Кормщик поклонился одной головой, взял с подноса оловянную корабельную кружку с черным ромом, Митенька, стесняясь, выбрал кусок говядины побольше. Ян Уркварт улыбался, ямочки дрожали на его толстых крепких щеках.

Два матроса неподалеку плели мат, пели протяжную песню на своем родном языке. Свежий ветер посвистывал в снастях, за резной кормой корабля с брызгами, с шумом катилась набируха, все было солоно вокруг, все шумело, летели облака по едва голубому небу, стремительно, с острым криком падали к воде чайки.

Шхипер Уркварт жаловался Митеньке:

– С весчих товаров по четыре деньги с рубля пошлины платим, не с весчих – по алтыну с рубля. Да лоцманские, да дрягильские, да амбарщину, да сколько теряем от простоев. Два дня здесь на шанцах стоим, покуда осмотрят, посчитают, взвезят. Потом же учинят обиду. Так будете дальше с нами не по-хорошему делать – вам же лихом обернется. Заставим лаптями торговать, сговоримся промежду собою, не будем в Двину вашу хаживать – больно надобно...

– Чего он кукарекует? – спросил Рябов.

– Кукарекует, что-де обижают иноземцев.

– Их обидишь, дождешься! – ответил Рябов. – Старики бают: Антошка Лаптев, гость ярославский, в стародавние времена в Амстердам подался мехами торговать, ни одной шкуры не продал, ни на один рубль. Через многие годы обратно пришел, весь изглоданный, да и помер в одночасье. Между собой сговорились не покупать – и не купили... Обиженные какие!..

Засвистала дудка, ударил авральный барабан, матросы побежали по местам. Старший, с перебитым носом, с отрубленным ухом, накрест бил по спинам плеткой, кричал ругательства на своем родном языке. Шхипер мерно похаживал по шканцам, ждал. Барабан бил не смолкая, матросы встали по местам, якорные навалились на вымбовки, брашпиль затрещал, заскрипел...

Уркварт в говорную трубу из кожи с позументами прокричал командные слова, барабан опять застрекотал, морской ветер заполоскался в парусах. Рябов, положив руки на штурвал, уже вводил «Золотое облако» в двинское устье.

– По-здорову ли нынче господин воевода? – спросил Уркварт.

– Чего он спрашивает? – осведомился Рябов у Митеньки.

– Про воеводу – здоров ли?

– А ты скажи – мы с Апраксиным не в родне. Мы, скажи, к генеральской курице в племянники не нанимаемся. Наше дело – рыбачить, а ихнее – ушицу хлебать...

Полный ветер свистал в парусах, корабль шел, чуть накреняясь, не речным, но морским

ходом, словно не было тут отмелей, словно не угрожало ничего большому «Золотому облаку» на Двине, словно ни единой лодочки-посудинки не бежало по всей реке.

Матросы, снимая шапки один за другим, заглядывали на мостик – смотрели, каков из себя этот русский Большой Иван, что с таким проворством и ловкостью ведет «Золотое облако», – ну и лоцман, поискать такого лоцмана, за таким лоцманом времени даром не потеряешь!

Погодя, когда сердце у шхипера совсем замирало – не сесть бы на таком ходу на мель, – Большой Иван вдруг присоветовал прибавить парусов, – больно, мол, медленно чешемся, кабы не припоздать!

Сердце у шхипера стукнуло, застучало дробно, самому стало жарко: «Дошутимся, потоплю “Золотое облако”!» Но поспешать надо было, чем скорее доведется увидеть воеводу – тем лучше. Да и негоцианты, небось, ждут, припоздаешь – уйдет товар другим шхиперам.

Спереди – едва стали выходить из речного колена – будто выросла крашенная кармином высокая, крутая корма «Святого Августина».

– Можно ли предположить, что придем первыми?

– Вели парусов еще прибавить – всех обскачем. Карбас по носу! Слышь, Митрий, пушай с мушкету стреляют, притомился там водохлеб, уснул рыбацк...

Матрос выстрелил из пистолета. Помор, в развевающемся на ветру азыме, испуганно вскочил, подтянул снасть, налег на стерно – рулевое весло.

– С Мурманна идет, – сказал Рябов, – путь не близкий. Ты гляди, Митрий, как они свои лодьи шьют, иначе, чем у нас. Гляди, примечай...

Уркварт, торопясь, велел опять бить в авральный барабан, люди побежали ставить еще паруса. Начальный боцман, черный, длинный, криво усмехнулся, одобрительно закивал. Большой Иван позевывал, точно и впрямь скучал на таком ходу. Маленькие фигурки высыпали на карминную корму «Святого Августина», замахали, закричали. Кормщик велел спросить шхипера Уркварта:

– Может, пужанем, коли захочет? Желает – проведу на аршин от конвоя, а робеет – не надо. Пужанем конвоя, а?

Шхипер глазом прикинул расстояние, усмехнулся, кивнул. Почему бы и не пугнуть Гаррита Кооста? Не всегда он, Уркварт, был негоциантом и не на веки вечные им останется. Хороший абордаж горячит кровь, пусть и Коост порадует, вспомнит, как сваливались корабль на корабль...

Рябов одной рукой легко держал корабль в повиновении, глядел вперед, сощурившись от ветра. Митенька от восторга сиял.

Люди на «Святом Августине» забегали, закричали, подняли флажный сигнал, ударили в колокол. Видно было, как они разевают рты, грозятся кулаками. «Золотое облако» шло на них, точно собираясь таранить, но в самое последнее мгновение Рябов чуть изменил курс – «Золотое облако» прошло борт о борт с конвоем, только блеснули пушки в открытых портах «Святого Августина». Конвой с колокольным частым боем, с визжащими матросами, с пистолетными упреждающими выстрелами остался позади.

Шхипер помотал головой, утер пот с лица, похлопал Рябова по плечу. Слева по носу открылся «Спелый плод». Потом обогнали «Радость любви», потом «Золотую мельницу». Начальный боцман «Золотого облака» Альварес дель Роблес стоял сзади, советовался со шхипером. Рябов на него равнодушно оглянулся, негромко сказал Митеньке:

– Один такой об прошлой ярманке крутился-крутился подле, а после четырех алтын как не бывало. Ловкий народ.

Начальный боцман, изогнувшись, поклонился Рябову, похвалил его лоцманское искусство.

Неподалеку от Архангельска с колокольным боем, означавшим: «берегись», «не ворочайся», «иду слишком ходко», с флажными сигналами, оставляя за собой пенный бурун, нагло срезав нос «Белому лебедю», обогнали еще двух купцов и перед немецким Гостиным двором бросили оба якоря.

Рябов, спокойно глядя в глаза шхиперу, выслушал все его ласковые и высокие слова, осмотрелся, ладно ли встали на якорь, похвалил корабль, что-де ходок, для руля легок, похвалил матросов, что-де изрядно расторопны и полудурок всего только один, похвалил старшего, что-де какой изрубленный и искалеченный мозглявый старичишка, а, вишь, голосина у него – при таком ветре на весь корабль слышать, и дерется тоже подходяще – ни единого без благословения не оставил, всех плеткой покрестил.

Шхипер улыбался, прижимая руку с перстнем более к животу, нежели к сердцу. Выслушав все, он попросил Большого Ивана извинить его и подождать малое время, пока съездит он с визитом к воеводе, потом тотчас же возвратится, и тогда они отобедают вот здесь, на палубе, под тентом, который Цапля уже натягивал над столом.

Матросы спустили шхиперу шлюпку, дьяк через Митеньку сказал шхиперу, что-де не велено на берег хаживать. Уркварт потрепал дьяка по плечу, сунул ему денег. Дьяк вздохнул и велел солдатам пропустить шхипера.

– Что ж ты, дьяк, куриная борода, делаешь? – спросил Рябов. – Поручик караул ставит, а ты посулы берешь? Добро ли то?

– Тебе больно надо?

– Ужо всыпят тебе батогов, дождешь своего часу! – пообещал Рябов.

Он прошелся по кораблю, потом встал у трапа, смотрел, как отваливают от берега одна за другой посудинки – то русские купцы-гости шли торговать воском симбирским и вятским, тверской юфтью, арзамасским, суздальским топленным говяжьим салом, пряжей пеньковой и кудельной, донскими кожами, клетчатými холстами домотканными, Чирковыми сукнами, живыми куницами, росомахами, волками, медведями, привезенными из дальних мест, щетиной, свечами, рыбьим клеем, смольчугом, семгой, икрой осетровой астраханской...

По всей Двине у причалов и пристаней покачивались вологжанские и холмогорские насады, дощаники, карбасы. Дрягили таскали кули, катали бочки, купцы похаживали над своими товарами, рядились, куда сваливать. То там, то здесь на набережной вспыхивали крики – иноземцы ругались, что русские больно много распоряжаются; ярославские, вологжанские, устюжинские гости безо всякого почтения тоже кричали, совали кулаки, божились...

Рядить приехали рейтары, напирали конями на ярославцев, на вологжан, на устюжцев. Впредь для науки иноземный офицер в кафтанчике взял да и спихнул в Двину куль полотна. Иноземцы загоготали, повели офицера пить мумм, ярославский гость застыл в изумлении.

– Хорошо живем! – сказал Рябов Митеньке. – До чего ж славно живем. Давеча на Пробойной на улице Якимка Смит, иноземец, после пожарища построился, видел ли? Перегородил постройками Пробойную напополам – и весь сказ. Ни проходу пешего, ни проезду конного. Ему корысть, а нашим архангелогородцам – обнищание, к рядам-то дорогу навовсе запер...

– Чего ж наши делают? – спросил Митенька.

– Пишут челобитные, – усмехнувшись невесело, сказал Рябов, – мы-де, сироты твои, вовсе-де оскудели, тяглые наши места иноземцы захватили, скотишку нашему подеться некуда...

Он сплюнул, покрутил головой, вздохнул.

Рядом, у трапа, стоял солдат, обернулся на слова кормщика, рассказал, что ныне быть превеликой сваре, ибо иноземцы к ярмарке сами всюду объездили и скупили по деревням чего кому надо. До самой Москвы добирались, а один – попрытче – и в Астрахань сходил за икрой. Наши долгобородые о сем еще не слыхивали, только в Архангельском городе узнали. Цены совсем сбиты. Иноземцы службу не несут, подать у них другая, теперь вот поди разберись.

– Купцам-то что, – сказал Рябов, – а вот эти как, те, которые дощаники волокли, которые на пристанях не жрамши и не пимши ожидают. Теперь, когда иноземец прижал, разве купец с ними разочтется? Иди, скажет, родимый, с богом! А не пойдет, так по шее...

Солдат тоже покрутил головой, повздыхал.

4. СВОИ ЛЮДИ

Воеводу шхипер Уркварт не застал, но нимало этим обстоятельством не огорчился, потому что в приказной избе сидел и курил глиняную трубку зять господина Патрика Гордона полковник Снивин.

– О! – сказал полковник. – Не господина ли шхипера Уркварта я имею честь видеть своим гостем?

Шхипер с сияющей улыбкой повел перед животом шляпой, притопнул ногой, еще повел повыше, еще притопнул погромче. Полковник Снивин сделал салют рукой. Шхипер закончил церемонию крутым поклоном, еще изгибом, заключительным ударом каблук о каблук. Дьяк в испуге побежал на погребницу за холодным квасом.

Полковник Снивин, вежливо улыбаясь, рассказывал гостю новости: вскорости должен прибыть государь Петр Алексеевич. Будут, наверное, и Лефорт, и господин Гордон, и другие друзья, которых шхипер, по всей вероятности, помнит. Ведь он гостил в Кукуе на Москве? Гостил и на Переяславском озере?

Шхипер кивал головой: как же, как же! Прекрасные, вежливые, воспитанные господа, не чета, пусть не осудит господин полковник, этим москвитам. Он так отдохнул тогда на Кукуе, так прекрасно провел время на озере.

Что государь? Не оставил еще свои морские забавы?

Снивин покачал головой:

– О, нет! Молодость настойчива даже в своих заблуждениях... Его величество в крайности и не внимает ничьим советам...

– Господин воевода? – осторожно спросил шхипер.

– Господин Апраксин увлечен мыслью о флоте не менее, нежели его величество, – выколачивая трубку, ответил Снивин. – Господин воевода Апраксин не многим более стар, нежели его величество...

Теперь они оба – и гость и полковник – покачивали головами. Дьяк принес квасу. Уркварт из приличия отхлебнул, едва заметно сморщился, спросил участливо:

– По всей вероятности, господин полковник чрезвычайно устал от жизни среди москвитов и не раз мечтал о возвращении к добрым своим пенатам?

Полковник коротко засмеялся:

– Пенаты хороши, когда есть рейхсталлеры или любые другие золотые монеты. У москвитов я полковник, а кто я там? Разве я уже сколотил состояние, достаточное для того, чтобы у себя на родине купить чин хотя бы капитана? Патент на чин стоит очень дорого. У москвитов все принуждены меня слушаться, мне платят вдвое против русского офицера, здесь ко мне само течет золото, а там я бы забыл, как оно выглядит, не говоря уже о том, что мною помыкал бы богатый мальчишка, купивший себе патент на чин генерала...

Снивин сердился, щеки его побурели, воспоминания о родных пенатах не умилили полковника, а обозлили...

Шхипер растегнул сумку, висевшую у него на бедре, достал оттуда красиво вышитый кошелек, положил на стол:

– Пусть эти золотые, полковник, приблизят час вашего возвращения на родину. Я льщу себя надеждою, что в королевстве аглицком вы будете не полковником, но генералом. А теперь о деле, которое привело меня к вам...

И шхипер рассказал об обиде, которую нанес ему мальчишка, дерзкий Крыков.

– С сим дерзким мальчишкой не так легко сладить! – произнес полковник. – Не от меня одного зависит исполнение закона в Московии...

Кошелек лежал на столе – там, куда его положил шхипер.

– У этого мальчишки трудный характер, – сказал Снивин. – Крыков – упрямый и злокозненный господин. Боюсь, что мне не удастся вам помочь, ибо этот кошелек столь тощ, что из него не накормить всех алчущих...

Уркварт покривился: у полковника, действительно, завидующие глаза. Без всякой любезности шхипер положил на стол еще три золотых. Полковник прижал монеты волосатой рукою и сгреб их вместе с кошельком. Но лицо его попрежнему оставалось мрачным.

– Теперь, я надеюсь, вы объявите Крыкову сентенцию? – спросил Уркварт. – Вы припугнете его?

Снивин пожал дородным плечом.

– Караул я сниму, – наконец молвил он. – Это все, что в моих силах. Остальное зависит от вашей сообразительности и хитрости...

«Чтобы кипеть тебе в адской смоле! – подумал шхипер. – Чтобы дух твой не воспарил в небеса!»

И поклонился молча.

Дьяк принес чернила и очиненные перья. Снивин, пыхтя, стал писать приказ: караульщикам убраться вон с корабля, который пришел под командованием достославного шхипера и негоцианта господина Яна Уркварта.

Шхипер прочитал приказ, вздохнул, попрощался с полковником холоднее, чем поздоровался. Снивин предложил еще квасу, Уркварт ответил:

– Благодарю, но этот ужасный напиток не по мне.

И, не пригласив Снивина на корабль, отбыл.

5. БЕЖИМ, КОРМЩИК!

Уркварт возвратился быстро. Шлюпка его, убранный ковром, привезла еще одного иноземца, здешнего перекупщика Шантре. Тот был еще толще, чем шхипер, ходил в панцире под кафтаном, при нем всюду бывал слуга с именем Франц – малый кося сажень в плечах, прыщеватый, безбородый. Коли чего его господину не нравилось, Франц решал спор нагайкой-тройчаткой. Бил с поддегом. На третьем ударе любой спорщик падал на колени, просил пощады. Про Шантре еще говорили, что у него один глаз не свой, будто вынимается на ночь и, для освежения и чтобы видел получше, кладется в наговорную воду. Слепой глаз выглядел не хуже зрячего, и знающие люди достоверно утверждали, что при помощи ненастоящего глаза перекупщик все видит насквозь и всех обводит, как только хочет.

Шхипер был теперь весел, солдатам подарил по рублю, сказал, что на них зла не имеет, и потряс приказом – караул снять и от конфузии господина почтенного шхипера освободить.

Стол обеденный был накрыт на четыре куверта, но обед все-таки не задался. Сначала шхипер провожал таможенников, потом что-то буйно говорил с перекупщиком Шантре. Позже один за другим пошли с берега посудинки: жаловали дальние иноземные гости-купцы – ставить цены на товар, узнавать, почем нынче русская юфть, как пойдет смола, что слышать насчет птичьего пера мезеньского, каковы цены на поташ арзамасский, алатырский, кадомский...

Шантре сел возле стола, не дожидаясь приглашения. Макал маленький хлебец в соус, запивал вином. Потом порвал на куски ломоть солонины, зачмокал, зачавкал. Гонял слугу то за одним, то за другим кушаньем...

Ян Уркварт, стоя у трапа, приветствовал гостей, пребывая как бы в некоторой рассеянности, – вроде очень устал, или обременен делами, или задумчив, или даже огорчен.

Купечество переглядывалось, некоторые крестились. Мордастенский пузатенький Уркварт пугал немилосердно: товары были уже привезены, своих кораблей, чтобы хаживать в немцы за моря, еще не построили ни единого, лето стояло жаркое, что делать с икрой, с семгой легкого соления, с говяжьим салом, с ветчиной? Конечно, Уркварт – еще не все шхиперы, но у них круговая порука, что один дает, то и другие. А нынче еще свой у него тут дракон многоглазый, вон в постный день солонину жрет, даже и не смотрит на людей православных.

Угощая гостей вином из сулеи, с которой похаживал слуга Цапля, потчужа дешевыми заедками, Уркварт вдруг сказал, что нынче цены за морями очень упали, так упали, что даже

смешно говорить, – в два, три, в четыре раза против прошлогодних.

Купечество загудело и смолкло.

Один ярославский, весь заросший колючей шерстью, словно еж, дернул Митеньку за полу подрясника, жалобно попросил:

– Ты, вьюнош, выпроси его, змия, похитрее: будет покупать али нет, пусть пес скажет напрямик; может, ему и вовсе ничего не надобно, зачем мы ножки свои притомляем...

Рябов сидел в кресле против перекупщика, ничего не ел, потягивая мальвазию, слушал. Суровая тонкая складка легла меж его золотистых бровей. Лево́й рукой ерошил он бороду, поглядывал на небо и на Двину, на чаек, что опускались – плавно, боком – до самой воды.

– Цены столь упали, – переводил Митенька, – что шхипер не видит толку называть вам нонешние, которые может он назначить. На деньги шхипер ничего купить не может, а может лишь на товары, которые имеет на своем корабле. То будет чернослив, гарус, камка, ладан, жемчуг, вина – рейнское, Канарское, мушкатель, бастр, романея...

Купцы, пихая друг друга, загалдели, замахали руками, – на кой им ляд бастр и ладан. Пусть бы давал тогда, лешачий сын, иголок для шитва, али бумаги хлопчатой, али пороху и ружей, да ножей железных. Ныне на Канарское и романею вовсе нет спросу, никуда эти товары не продать...

Шхипер, любезно улыбаясь, ответил, что ножи он и кроме Московии может продать, за приличную цену. Сюда же путь далек и опасен, пусть берут что есть, а не возьмут – придется им грузить обратно свои дощаники, карбасы да струги. Таково божье соизволение на нынешнюю ярмарку. И предложил присесть к столу, отведать, сколь прекрасны вина заморские и пряности, коими украшается любая, приличная человеку пища.

– Мы в ближайшее время скрутим ваших купцов вот так! – по-русски сказал перекупщик Шантре Рябову и показал кулак, с которого капал жир. – Они будут поступать согласно нашим желаниям, а не своим. С ними не надо даже вовсе говорить. И их не следует пускать на корабли. Вот что!

Его живой глаз смотрел на Рябова, а мертвый в сторону – на купцов.

Рябов не отвечал, злоба ко всем – и к своим, что позорились перед Урквартом, и к этому усатому, измазанному салом, – вдруг перехватила глотку. Шантре выдавил себе в вино лимон, отпил большими глотками, спросил:

– Я в скорое время буду иметь свое судно, не пожелаешь ли ты пойти ко мне в морские слуги?

– Не пожелаю! – сказал Рябов.

– Отчего так, человек?

– Оттого, что так.

– Но отчего же именно так, а не иначе?

– Я – мужик вольный, – хмуро сказал Рябов, – и что оно такое «морской слуга» – не знаю и знать не хочу. Я рыбак и кормщик, своего моря старатель, что мне в слуги наниматься...

А Митенька между тем переводил русским купцам:

– Шхипер еще говорит, что для вас то большое удовольствие, что они сюда пришли, а не пришли бы – и вовсе вам тогда погибель, конченное было бы дело. Как они пришли, то вы хоть за что, а можете продать свои товары: русскому человеку много не нужно, так он говорит, русский человек скромно может жить да поживать, пусть себе больше молится своему русскому богу и повинуется своим начальникам, в том и есть для него доброе...

Купцы, тяжело дыша, испуганные, пожелтевшие, гуртом пошли к столу, носатый Цапля принес еще стульев и скамью, по палубе медленно прошагал командир конвоя Гарри́т Коост – с темным, перерубленным от виска до подбородка лицом, в кожаной кольчуге, в перчатках с раструбами, с пистолетом за широким ремнем. Сел к столу, развалился, кивнул на купечество перекупщику, засмеялся.

Вблизи «Золотого облака» становились на якоря другие корабли заморских купцов: шхиперы, любезно улыбаясь, перемигивались с Яном Урквартом. На загадочном,

непонятном Митеньке языке он что-то быстро рассказал двум шхиперам, те зашептали другим – и Рябов вздохнул: туго будет в нынешнюю ярмарку городу Архангельскому, не продать по своей цене ни на единую денежку, сговорились заморские воры, пойдет сейчас стон да плач там, на берегу.

– Господин Гаррит Коост – конвой, – сказал Митенька, – просят вам передать, господа гости: нынче в морях от морского пирату нет свободного прохода, что похочет воровской человек, то и сделает, наверное в последний раз сюда из немцев они пришли, более не пойдут. Господин Гаррит Коост говорят, что на один купецкий корабль надо два конвойных иметь, а оно в большие деньги обходится, чистое разорение негоциантам.

Гаррит покачал головой, набил трубку черным табаком, закурил.

Купцы задвигались, закрестились от сатанинского зелья, Коост пускал дым в бородатые лица, приминал табак обрубленным пальцем, водил пьяными глазами. Более он не сказал ни слова. Другие иноземцы тоже молчали, улыбаясь, потягивали мальвазию, прихлебывали ром, покуривали на двинском ветерке. Матросы на юте в два голоса запели песню, другие голоса подхватили, Рябов слушал и, отворотившись от компании, смотрел на близкий берег, где чернела толпа людишек, – они ждали, что скажут, возвратившись, купцы. Товары везли издалека – где водою, где волоком, где на веслах, где переваливали на коней. От того пути люди вовсе измучились, лица спеклись, кости проступили наружу, кожа стерлась на ладонях до крови, у возчиков попадали лошади. Как теперь жить, что скажешь женам, чем накормишь малых детушек?

С приятной улыбкой Ян Уркварт крикнул начальному боцману, чтобы для услаждения гостей играла на юте музыка, и музыка тотчас же заиграла – медленно и печально, и под эту музыку взошел на «Золотое облако» келарь отец Агафоник в праздничной рясе, в клобуке, с посохом. Послушник, обливаясь потом, волочил за ним берестяный туес с гостинцами...

– Ваш лоцман, – сказал шхипер Агафонику, – чистое чудо! Я не могу не уважать подлинное умение, но еще глубже, мой отец, я уважаю талант. Во всякой работе можно быть умелым, и это очень хорошо, но от умения до таланта – как от земли до небесной лазури. Ваш монастырский лоцман наделен подлинным умением. Бог всеблагий подарил ему и талант моряка. Большой Иван не боится стихии воды. Стихия ветра тоже не страшна ему, а его несколько грубые манеры не лишены своеобразного величия. В море, в шторм, от чего, разумеется, боже сохрани, такой помощник – сущая находка...

Митенька переводил, счастливо улыбаясь...

Шхипер вынул из кошелька, висевшего на поясе, золотой, положил его на стол перед Рябовым, слегка поклонился, прося принять.

– Сей кормщик еще и богобоязнен, – произнес келарь, протягивая руку к золотому, – потому все свои зажитые деньги отдает монастырю.

И Агафоник спрятал монету в свой просторный, вышитый, засаленный кошель.

– А вы, дети, ступайте! – сказал он Митеньке и кормщику. – Ступайте, что тут рассиживаться...

Медленно пошли Рябов и Митенька по натертой воском палубе к трапу и вскоре поднялись на бревенчатый осклизлый причал Двины, где дожидался купцов черный люд.

– Чего там? – спросил один, с красными глазами, с запекшимся, точно от жару, ртом.

– Худее худого! – молвил Рябов.

Толпа тотчас же сгрудилась вокруг них – надавила так, что Митенька крикнул.

– Но, но – дите мне задавите! – сказал Рябов.

– Не берут товары-то? – спросил другой мужичонко, в драном кафтане, изглоданный, с завалившимися щеками.

Полуголые дрягили – двинские грузчики, здоровенные, бородатые, с крючьями – заспрашивали:

– А дрягильские деньги когда давать будут, кормщик, не слыхивал ли?

– Сколько пудов перевезли, как теперь-то?

– Онуфрий брюхо порвал, вот лежит, чего делать?

Тот, которого называли Онуфрием, лежа на берегу, на рогоже, дышал тяжело, смотрел в небо пустыми, мутными глазами.

– Как хоронить будем? – спросил кто-то из толпы.

Один вологжанин, другой холмогорец – закричали оба вместе:

– Провались они, гости, испекись на адовом огне, нам-то наше зажитое получить надобно...

– Нанимали струги, а теперь как? Ты скажи, кормщик, что нонче делать?

Еще один – маленький, черный – пихнул Рябова в грудь, с тоской, с воем в голосе запричитал:

– Сколько ден едова не ели, как жить? Кони не кормлены, сами мы коростой заросли, на баньку, и на ту гроша нет, чего делать, научи?

Мягко ступая обутыми в лапти ногами, сверху, по доскам спустился бородастый дрягиль, присел перед Онуфрием на корточки, вставил ему в холодеющие руки восковую свечку.

Рябов вздохнул, стал слушать весельщика. Тот, поодаль от помирающего Онуфрия, говорил грубым, отчаянным голосом:

– Перекупщики на кораблях на иноземных? Знаем мы их, шишей проклятуших, фуфлыг – ненасытная ихняя утроба. Сами они и покупают нынче все, сами и продавать станут. Теперь нам, мужики, погибель. В леса надобно идти, на торные дороги, зипуна добывать...

– А и пойдем! – сказал тот дрягиль, что принес Онуфрию отходную свечку. – Пойдем, да и добудем...

Приказный дьяк-запивашка, весь разодранный, объяснял народу козлогласно:

– Ты, человеце, рассуди: имеет иноземец дюжин сто иголок для шитва? Зачем же ему иголки те через руки пропускать, наживу давать еще единому человеку, когда он сам их и продаст, да с превеликой выгодой, не за алтын, а за пять...

– Кто купит? – спросил дрягиль, продаваясь к дьяку. – Когда алтын цена...

– Купишь. Сговор у них! Иноземец друг за дружку горой стоит, у них, у табашников проклятых, рука руку моет...

С «Золотого облака» ветер порой доносил звуки улаждающей музыки, оттуда и туда то и дело сновали сосульки – возили купцов, таможенных толмачей, солдат, иноземных подгулявших матросов, квас в бочонках, водку в сулеях.

– Договариваются? – спрашивали с берега.

– Толкуют! – отвечали с лодок.

– По рукам не ударили?

– То нам неведомо!

Мужики пили двинскую воду, щипали вонючую треску без хлеба, вздыхали, поругивались. Один, размочив хлебные корки в корце с водой, жевал тюрьку беззубым ртом. Другой завистливо на него поглядывал. Еще мужичок чинил прохудившийся лапоть, качал головой, прикидывал, как получше сделать. Еще один все спрашивал, где бы продать шапку.

– Шапка добрая! – говорил он тихим голосом. – Продам шапку, хлебца куплю...

Подошел бродячий попик, поклонился смиренно, спросил, не имеют ли православные до него какой нуждишки.

– Нуждишка была, да сплыла, – молвил пожилой дрягиль. – Вишь, отмучился наш Онуфрий. Так, не причастившись святых тайн, и отошел...

Попик укоризненно покачал головою.

– Может, рассказать чего? – спросил он.

– А чего рассказывать? Мы и сами рассказать можем! – ответил вологжанин. – Вот разве, когда конец свету будет?

Свесив короткие ножки над Двиною, попик уселся, рассказал, что теперь мучиться недолго, раньше в счислении сроков великих ошибались, а ныне страшного суда вскорости надобно ждать...

Рябов молчал, слушал с усмешкой.

– Эй, кормщик! – крикнули с лодки.

Он обернулся. Агафоник с посохом, насупленный, подымался на берег.

– Вот как будет, – сказал келарь Рябову и обтер полую подрясника лицо. – Ну-кошь, пойдем, рыбак, побеседуем...

Молча они дошли до монастырской тележки, запряженной зажиревшим коньком. Агафоник еще утерся, пожаловался, что-де жарко.

– Тепло! – согласился Рябов.

Послушник поправил рядом на сене, подтянул чересседельник, снял с коня торбу с овсом. Келарь все молчал.

– Так-то, дитятко, – сказал он наконец и посмотрел на Рябова косо. – Послужишь нынче создателю за грехи своя.

– За какие еще грехи? – чувствуя недоброе, спросил Рябов.

– Будто не ведаешь! – вздохнул Агафоник. – Позабыл будто! Карбас-то, я чаю, монастырский был? Потоплен тот карбас, взяло его море. Чей грех? Еще вспомнил: в прошлом годе муку ржаную монастырскую перегонял ты Двиною, два куля в воду упали. Позабыл? Чья мука была? Святой обители! И непочтителен ты, Ваня, в церкви божьей никогда тебя не вижу...

Он говорил долго, перечисляя все рябовские грехи. Кормщик стоял насупившись, чесал у коня за ухом, конь тянулся к нему мягкими губами, искал гостинца.

– За то за все, – сказал Агафоник, – послужишь нынче монастырю, пойдешь на «Золотом облаке» матросом, очень тобою шхипер Уркварт доволен. Так доволен, дитятко, что за ради тебя прежде иных прочих монастырские товары купил...

Рябов поднял голову, зеленые глаза его непонятно блеснули, то ли сейчас засмеется, то ли ударит железным кулачищем. Отец Агафоник отступил на шаг и сказал угрожающе:

– Но, но, я те зыркну...

– Не пойду матросом, – сказал Рябов неожиданно кротко. – Чего я там не видел?

– Ты – служник монастырский, – ободренный кротостью кормщика, крикнул Агафоник. – Коли сказано, так и делай!

– Не пойду! – тихо повторил Рябов.

– Пойдешь! Волей не пойдешь – скрутим!

– Эва!

– Скрутим!

– И сироту не оставлю!

– Сирота богу служит, без тебя не пропадет, понял ли?

Рябов тяжело задышал, светлые глаза его опять блеснули.

– Я человек тихий, – сказал он врасстяжку, – но своему слову не отказчик. Сказал – не пойду, и не пойду! Что хотите делайте, не пойду.

– Ой, Ваня! – предостерегающе молвил келарь.

Кормщик промолчал. Опять с Двины донеслась музыка. В церкви Рождества зазвонили к вечерне. Иностранные матросы, успевшие уже напиться в кабаке, обнявшись шли к пристани, пританцовывали, пели, кричали скверными голосами.

– И в обитель я более не вернусь! – сказал Рябов. – Отслужил!

– Споймаем! – пригрозил келарь.

– Драться буду! Живым не дамся!

– Полковнику скажем. Он-то споймает. Рейтары скрутят, да и намнут – долго не прочухаешься.

Агафоник застучал посохом, лицо его злобно скривилось.

– Против кого пошел, кормщик? Головой думай, имей соображение!

И посохом, рукояткой стеганул кормщика изо всех сил поперек лица так, что Рябов, не взвидя свету, рванулся вперед и схватил келаря за бороду. Агафоник завизжал, с пристани побежали на крик и бой мужики, послушник вцепился в кормщика жирными руками. Рябов

отряхнулся, послушник упал, еще кто-то покотился кормщику под ноги, он перешагнул через них и прижал келаря к грядке телеги, дергая его за бороду все кверху, да с такой силой, что глаза у того закатились и дух прервался.

– Убил! – крикнул рябой мужик. – Кончил косопузого!

Бродячий попик бежал издали на бой, вопил:

– Бей его, бей, я его, окаянного, знаю, бей об мою голову, дери бороду...

– Бежим, кормщик! – отчаянным голосом крикнул Митенька. – Бежим, дядечка!

Только от этого голоса кормщик пришел в себя, подумал малое время, посмотрел в синее лицо келаря и быстро, почти бегом зашагал к Стрелецкой слободе. Долгое время он, петляя между избами, меж лавками гостинодворцев, заметал след, по которому уже двинулись конные рейтары, отыскивая денного татя, учинившего разбой, и кому? Самому отцу келарю Николо-Корельского монастыря!

Прижавшись к горелому строению, Рябов притаился, пропустил рейтаров вперед. Ругаясь, они не заметили его, поскакали на Мхи, – туда убежали все тати, оттуда их тащили в узилище, на съезжую за решетки. Рябов угрюмо смотрел им вслед. Да нет, не возьмешь, не таков кормщик Рябов глуп уродился, чтобы за так и пропасть, чтобы самому в руки даваться...

Митенька, припадая на одну ногу, добежал к Рябову, задыхаясь прижался к обугленной стене.

– Ох, и запью ж я нынче, Митрий! – негромко, сощурившись, все еще круто дыша от бега, молвил Рябов. – За все за мое горькое, многотрудное, тяжкое. Ох, запью...

– Дядечка...

– А ты не вякай. При мне будешь...

– День стану пить, да еще день, да едину ночь разгонную. Запомнил?

– Запомнил, дядечка, – с тоской и болью, шепотом произнес Митенька.

– То-то! И тухлыми очами на меня не гляди! Не покойник я, чай...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

С медведем дружись, да за топор держись.

Пословица

Другу добро, да и себе без беды.

То же

1. В КРУЖАЛЕ

В Тошаковом кружале пили вино и рыбаки, и посадские, и темные заезжие людишки, и гости, что торговали на, ярмарке по самый Семенов день, и корабельщики иноземные, и разные прочие залеты, сорви-головы, безродное семя. С утра до вечера, с вечера до утра, в ведро и в непогоду, в мясоед и в пост, в праздники и в будни, и зимою, когда день в Архангельском городе короток и несветел, и летом, когда солнце почти что не уходит с неба, – неслись из малых колодных темных окон Тошакова заведения песни, тяжкие вопли людей, допившихся до зеленого змия, смех гулящих женок, стук костей, в которые играли иноземцы, пьяный шум драки. Пропившиеся зачастую валялись возле кружала, замерзали свирепыми зимними ночами, мокли под осенними дождями, – никому не было до них дела. На задах деревянной древней церковки Рождества богородицы, на пустыре, где ветер посвистывал в лозняке, не раз и не два находили тела зарезанных питухов, находили людей с пробитыми черепами, раздетых донага, исполосованных ножами, – кому было до них дело? Нашедший мертвеца заходил к Тошаку. Тошак выносил корец вина, добрую закуску – за молчание. Тело прикрывали рогожею, волокли в амбарушку. Там оно лежало до случая, до ночи потемней. Темной ночью везли тело до недалекой широкой Двины. Камень к ногам – и

скидывали его вниз; с глухим шумом падало оно в воду, – ищи свищи, не скоро всплывет, а коли когда и всплывет, то кто узнает – что был за человек, кому кормилец, муж, отец?

Народ говорил, что водятся у ТоЩака немалые деньги. Два раза его грабили. Оба раза он отбил, одного татя зарубил топором, других двух забил до смерти железною кочергою. Может быть, они были и тати, разбойные людишки, а может, и неисправные должники, кто знает?

К этому ТоЩаку и пошел Рябов с Митенькой. Тут бывало вместе с иными рыбаками, кормщиками, хозяевами и покрутчиками, вместе со всеми Белого моря старателями, запивал он вином все свои неудачи и горести. Тут с другими поморами – вожами и кормщиками, лоцманами и дрягилями, корабельщиками и солдатами – завивал горе веревочкою. Тут пропивался он вовсе, тут случалось пить ему по двое суток кряду, не выходя и не зная, что нынче – день божий али черная ночь.

С таких, как Рябов – а таких было немного, – ТоЩак деньги спрашивал редко, поил и кормил с превеликим уважением, вдосталь. Ни Рябов, ни ему подобные не знали, почему так повелось, знал один ТоЩак: на морских старателях не разоришься, коли даже и возьмет кого море, а выгода большая. Люди честные, покуда живы, отдадут; знают: кабацкий долг – первейший долг. Что пропито, то будет покрыто, сегодня ли, завтра ли, все едино, но покрыто будет с верхом – с алтыном, с деньгой. Конечно, случалось, что рыбацкая лодья тонула в холодном Белом море. Тогда ТоЩак цмокал губами, качал длинной, похожей на огурец головой, скорбел, – что, мол, поделаешь.

Другие рыбаки смеялись над ним – попался ТоЩак, обдурило-де море ТоЩака, эх, и велики у ТоЩака убытки!

ТоЩак молчал, сопел, но ничего не менялось...

Нынче ТоЩак тоже не спросил, с чего кормщик собрался гулять, с каких таких доходов; не сказал ничего, глядя, как кормщик садится за грязный стол.

Губастый малый принес щипаной трески в рассоле, корец перегонного вина, миску лосевого мяса для Митеньки.

Своего архангельского народу в этот день, несмотря на ярмарку, было немного – не с чего народишку гулять, зато иноземные корабельщики гуляли всюю – немалые нажили барыши. Пили русское вино, ставленные меда, пареное пиво, закусывали речечкой в патоке, быстро пьянели от непривычной крепости русских напитков, похвалялись друг перед другом; некоторые тут же валились на пол, другие натужно, хрипло выводили свои песни, третьи затевали драки, бестолково тыкались шпагами, тут же мирились и опять пили, чтобы через малое время затеять новую драку.

– О чем ругаются-то? – спросил Рябов Митеньку.

– Зачем своего перекупщика «Золотое облако» имело, а «Спелый плод» не имел! Теперь будто все ихние корабли оставят перекупщиков в нашем городе.

Рябов усмехнулся, сказал:

– Весело живем, ладно! До того ладно, что и не знаем – под кем живем, кому шапку ломать.

Иноземцы опять завели драку, вывалились на ветер колотья шпагами. Один, весь в кровище, рухнул наземь. Помирать его тоже отнесли на реку – там можно было обобратить усопшего поспокойнее.

– Может, в дальнюю камору пойдём? – спросил Митенька, робея шуму и со страхом поглядывая на беспрестанно хлопающую дверь кружала.

– Везде насидимся! – ответил Рябов. – Я сюда, детушка, не по пути на малое время заворотил. Во славу ныне гулять буду!

Светлые глаза его вспыхнули недобрими огнями, тотчас же погасли, и лицо вдруг сделалось угрюмым и немолодым.

– А и намучились вы, видать, дядечка! – тихо сказал Митенька.

– Тебе-то откуда ведомо?

– Глядячи на вас...

– Глядячи... вот поглядишь, каков я к утру буду...

Опять хлопнула дверь – вошли корабельщики с «Золотого облака»: начальник боцман, плешивый, черный, худой; с ним два матроса, один абордажный – для морского бою – в панцире и с ножом поперек живота, другой – палубный – весь просмоленный, в бабьем платке на одном ухе, с серьгой вдоль щеки. Митенька впился в них глазами, толкнул Рябова, прошептал:

– Ой, дядечка, кабы худа не приключилось...

– От них-то? – с усмешкой спросил Рябов. – Больно мы им нужны...

Корабельщики сели и спросили себе русского вина, а начальник боцман, приметив Рябова, любезно ему улыбнулся и помахал рукой. Кормщик ответил ему приличным поклоном. Все было хорошо: в кружале повстречались морского дела старатели, сейчас они будут пить и, быть может, выпьют за здоровье друг друга.

2. ДОБРЫЙ ПОЧИЙ

Гишпанский старший боцман Альварес дель Роблес давно бы вышел в шхиперы и получил в свои руки корабль, если бы нашелся такой негодьянт, который доверил бы часть своего состояния этому сладкоречивому, жестокому черноволосому человеку.

Негодьянта такого не находилось, и дель Роблес корабля не получал. Шли годы, гишпанец облысел, дважды нанимался к шведам на военные корабли, вновь уходил к негодьянтам, к голландским, к бременским, к датским. В одном плавании был штурманом, но корабль, груженный ценными товарами – медью, клинками и пряностями, подвергся нападению пиратов, которые перебили команду, гишпанского же штурмана спасла судьба, живым он возвратился в Бремен через два года. В Бремене гишпанца никто не взял на корабль. Тогда он отправился в Стокгольм и еще немного послужил шведам. Но оттуда опять был прогнан и вновь долгое время плавал простым матросом, пока не вернулся к должности начального боцмана.

Со временем шхиперы стали как бы побаиваться своего боцмана, заискивать в нем, искать его расположения. Люди понаблюдательнее шептались о том, что корабли, на которых служил дель Роблес, менее подвергались нападениям пиратов. Говорили также, что иные осторожные негодьянты через посредство облысевшего гишпанца платили какую-то дань каким-то корабельщикам и даже получали в том свидетельство с печатью, на которой была будто бы изображена совиная голова. Говорили еще, что стоило показать это свидетельство пиратам, завладевшим кораблем, как они с любезностью покидали плененное судно.

Разумеется, все это было чепухой, на которую не следовало обращать внимания, но все-таки гишпанец знал не только свое боцманское дело. Он знал гораздо больше того, что надлежало знать начальному боцману, и потому служил у шхипера Уркварта, про которого говорили, что он не только шхипер и негодьянт, но еще и воинский человек, правда – в прошлом.

Дель Роблес вместе со своим шхипером выполнял отдельные поручения кое-каких влиятельных и даже знаменитых персон, и эти-то поручения главным образом заставляли обоих – и шхипера и его боцмана – бороздить моря и океаны, подвергаться опасности, лишениям и рисковать не только здоровьем, но и самой жизнью, которой они оба чрезвычайно дорожили, догадываясь, что она одна и что за гробом их ничего решительно не ожидает.

Начальный боцман знал, что Рябов запродаан шхиперу Уркварту. Знал он также и то, что русский кормщик ушел от святого отца. Но сейчас его занимало другое дело, и ради этого дела он велел толстогубому малому, служащему в трактире, подать великому русскому кормщику и лоцману наилучшей водки и закуски от его, боцманова, стола.

Малый подал. Рябов удивленно повел бровью. Малый объяснил, от кого угощение.

– Ишь ты! – сказал Рябов и приказал позвать Тоцака.

Мутноглазый целовальник подошел боком, с опаской, воззрился на Рябова осторожно, – чего еще надобно этому детине?

– Возьмешь берестяной кузовок, – велел Рябов. – Чистенький, гладенький, получше... Из тех, что искусницы на Вавчуге делают... Кузовок тот до самого края завалишь сладостями – хитрыми заедками медовыми и маковыми, ореховыми на патоке, да подиковиннее: кораблики бывают, птицы, избы, сани... Понял ли?

Тошак смотрел с подозрением: где такое слыхано, чтобы питух на сладкое кидался?

– Для чего оно?

– Для надобности.

– Для какой надобности? Сватов засылать?

– Сватов не буду засылать. Слушай далее – еще не все сказано. Стол раскинь для большого сидения...

Целовальник изобразил на лице тупость.

– Стол постелишь не грязной тряпичей, а шитой скатертью. На стол поставишь...

Рябов задумался, пощипывая бороду.

– Поставишь вина перегонного да ухи – доброй, боярской, с шафраном, чтобы жирная была, слышишь ли? Курей подашь с уксусом, да ставленной капусты квашеной, да гороху битого с луком и чесноком. Вино чтобы в мушорме подал, а не в штофе, да не в корце, пить будут большие люди – не воры, не тати, корабельного дела старатели...

Тошак подмигнул губастому малому. Малый подошел, свесил кулаки кувалдами, вздохнул: с таким кормщиком не скоро справишься.

– Нынче будет твоя милость платить али когда? – спросил Тошак. – Приказу много – денег не видать...

Рябов спокойно взглянул в глаза целовальнику, ответил, словно бы размышляя:

– Нынче мне те иноземные матросы прислали самолучшей водки и закуски от своего стола. Послано оттого, что есть я по нашим местам первый лоцман. Можно ли мне честь нашу уронить и посрамиться перед иноземцами? Как рассуждаешь?

Целовальник опять подмигнул малому – уходи, дескать.

Малый ушел, раскачиваясь. Иноземцы пели за своим столом.

– Честь и мы бережем! – сказал Тошак погодя. – И хотя знаем, что разбило море твой карбас и сам ты едва душеньку отмолил, – гляди, как стол раскинем...

Сизое лицо целовальника раздумянилось. Покуда стелилась скатерть, Рябов не торопясь говорил:

– На почет я почетом отвечаю, да не раз на раз, а вдесятеро. За ихний почет – вдесятеро, и за твой – вдесятеро. Сочтешь вдесятеро против напитого и поеденного...

Тошак поклонился, ответил величаво:

– Тошак – каинова душа, то всем ведомо, а и Тошак свою гордость имеет. Заплатишь – как потрачено будет. Пусть тонконогие видят, каковы мы с хлебом-солью...

От себя велел он подать гостям вина можжевелового, да рыбного блинчатого караваю с маслом, да пикши с тресковыми печенками. Сам рванулся на поварню, дочка понесла сулеи, губастый малый – полоток свинины. Иноземцы смотрели удивленно – кому такой пир задает целовальник, для кого скатерть в узорах, дорогие стопы...

Рябов поклонился гостям.

– Спасибо за добрый почин, – молвил он с усмешкой. – Начали гулять по-вашему, теперь гульнем по-нашему. Угощайтесь да пейте русским обычаем. Наша гостьба толстотрапезная, не то что ваша – одно лишь питье с кукуреканыем. Давайте, коли так, вместе сядем, да и зачнем, благословясь. Винопитие – оно дело не шуточное, торопясь не делается, с толком надобно...

Гишпанец в рудо-желтом кафтане, в широком кожаном поясе, при шпаге и навахе подошел к Рябову с кумплиментом – с поклоном, с верчением шляпою, с притопыванием...

– Ну, добро, добро! – добродушно отвечал Рябов. – Чего там... я так и не умею кланяться. Давайте-ка, детушки, за стол садиться...

Пересев за скатерть с яствами и питьями, кормщик рукою разгладил золотистую бороду, вскинул голову, повел бровью, не торопясь, крупными глотками выпил вино...

Кружка была немалая, вино крепкое, иноземцы смотрели с любопытством – как это Большой Иван разом выпил. Рябов понюхал корочку, щепотью взял капустки. Рубашка на нем была разорвана у плеча, ворот расстегнут низко, так что виднелся серебряный нательный крестик на потемневшем гайтане. Так и не удалось, не успел переодеться с того часа, как вынулся из воды, из кипящего бурей Белого моря...

– Ну? Что ж не пьете? – спросил он, наливая вино. – Али обидеть меня сговорились?

По началу беседы дель Роблес подумал, что лоцман тяжело пьян. Но тотчас же убедился в том, что кормщик совершенно трезв. Глаза Рябова теперь смотрели мягко, с добротой и лаской. Подмигнув матросу с серьгой, он велел Митеньке перевести, что угощает гостей не по обычаю, не в доме, потому что в избу позвать не может – бессемеен, да и изба больно бедна. Митенька, робея, перевел не все, про бедность утаил.

Своей рукой лоцман налил всем в кружки можжевеловой лечебной, – Тошак подсыпал в нее порошу и говаривал, что лечит она от всех болезней, а который человек слишком слабый, тот более коптеть не станет: можжевеловая – лечебная – враз перерывает стантовую жилу, и веселыми ногами, в подпитии уходит болезненный в край, где нет ни печалей, ни воздыханий...

Первым поднял кружку дель Роблес и, лихо запрокинув свою, в кудрях возле ушей, голову, выпил все до дна. Несколько времени он молчал, потом черные без блеску глаза его выкатились, он поднялся со скамьи, вновь сел и опять поднялся. Лоцман для приличия даже не улыбнулся.

– Ничего, – покрывая могучим, хотя и мягким голосом пьяный шум кружала, сказал Рябов, – спервоначалу она сильно оказывает, который человек без привычки. Одно слово – на порохе настоена. А кто привыкший, так она, матушка, хороша. Закусывать надобно, господа-мореходы, караваем рыбным, – она в каравае враз задохнется.

Дель Роблес наконец очнулся. В глазах его показались слезы – первые с нежных лет детства. Матрос в панцире отдувался, другой, палубный, шевелил губами, словно молился.

Рябов кликнул целовальника, никто не отозвался: и Тошак и его губастый малый выкатились с большой дракой на крыльцо – вышибали питухов. Тогда кормщик сам поднялся, пошел за квасом, чтобы гости отпоились от можжевеловой.

Едва Рябов вернулся и сел на скамейку, Митенька, пришепетывая от волнения, сказал кормщику на ухо:

– Дядечка, не пей чего в кружке налито. Не гляди на меня... Не пей. Черный порошка подсыпал, я сам видел...

Рябов усмехнулся одними губами. Вот так и живешь на свете – час от часу не легче. Что же, поглядим, не то еще видели. Покуда – смеемся, может и поплачем, да не нынче!

Матрос в панцире вдруг сказал:

– О мой сад, о моя Вильгельмина, моя милая жена, о мой сад, мой сад, мой дом...

И заплакал. Покуда дель Роблес его утешал и отчитывал, чего-де блажишь, дурья голова, Рябов сменил кружки: матросу с серьгой – свою, себе – его. Опять выпили, и дель Роблес спросил: правда ли, что на Вавчуге иждивением купцов Бажениных, по царскому указу корабли для морского хождения строятся? Любопытно-де знать, скоро ль Московия на моря выйдет. Царь Петр, его миропомазанное величество, да продлит господь ему дни, будто такое замыслил, что раньше не бывало. И каковы корабли строятся на верфи у Бажениных? И в самом ли деле умельцы есть, чтобы чертежи читать и согласно всей премудрости подлинный корабль строить.

Митенька перевел, Рябов лениво усмехнулся. Вавчуга не близко, откуда ему, господин, знать? Будто чего-то строят, а чего – кто дознается? Пильная мельница там есть – слышал, что верно то верно, так многие люди говорили. И опять усмехнулся.

Дель Роблес с воодушевлением вновь спрашивал, как-де может случиться, что такой знаменитый лоцман и не знает об Вавчуге? Кто же тогда знает? Может быть, лоцман не знает

и того, что в Соломбале сам воевода Апраксин корабль строит?

– Слышал! – ответил Рябов.

– И будто бы наречен он будет во имя святого Павла. А из города Амстердама еще корабль ожидается с лишком сорокапушечный? Будто сорок четыре железные пушки будут на том корабле, из которых шесть гаубиц?

Рябов выслушал перевод Митеньки и ничего не ответил. Откуда ему знать?

Тогда дель Роблес засмеялся.

– Ай-ай-ай! – сказал он с ласковой укоризной. – Даже за морями знают, что царь Петр замыслил построить флот и для того сюда едет во второй раз, а лоцман не знает, ничего не знает. На Мосеевом острове дом царский наново обладили, другой крышей покрыли, и поваров пригнали на поварню, и живность к царскому столу, и коровушек, чтобы сливки не взбалтывать, перевоза через Двину, и стража там стоит с алебардами!

Митенька перевел. Рябов, помедлив, ответил:

– У кого порося пропало, тому и в ушах визжит. Задались ему корабли! Скажи, Митрий, – кормщику своих дел по горло, едва вон из моря вынулся, сколько ден буря мотала, сколько карбасов побилось, успокоились те рыбаки на вечные времена...

Пока так говорили, матрос, что выпил водку с подсыпанным зельем, вдруг всполошился, стал молоть вздор; дель Роблес дернул его за рукав, он на него дико посмотрел и в возбуждении опять замолел на своем языке. Кормщик с Митенькой переглянулись, гишпанский боцман перехватил их взгляд, понял, улыбнулся всеми морщинами:

– Веселое зелье, что я подсыпал, сюрпризом попало не тому, кому было назначено. Сей матрос сейчас будто летает по воздуху, словно божий ангел, и видит все в наимприятнейших красках.

– Чего ж приятного? – спросил строго кормщик. – Сам он не свой. От водки легче, да и не помрешь, а тут вон он – синий стал...

Вышли из кружала близко к утру.

Матросы едва переставляли ноги. Тот, что хлебнул зелья, вовсе скис; другой пел песни, ловил курей, спутавших за белыми ночами, когда время спать, когда шататься по улицам, искать себе пропитание...

– Теперь на корабль, на наш, – сказал дель Роблес, – не так ли?

– Еще чего! – ответил Рябов.

– Лоцман нынче не может пожаловать на ваш корабль, – перевел Митенька, – лоцман имеет еще дела в городе Архангельском, кои ему непременно надо справить...

– Лоцман отправится со мною на корабль, – твердо сказал дель Роблес и потрогал на себе панцырь под кафтаном. – Лоцман должен быть на нашем корабле.

В это время из-за угла, из-за арсенала выехал полковник Снивин в сопровождении дюжины иноземных рейтаров. Он любил делать такие ночные объезды по городу, тем более, что ночи летом были солнечные, а слава шла такая, будто и в самом деле полковник по ночам ловит татей и воров.

Заметив полковника Снивина и узнав его по дородной фигуре, дель Роблес крепко взял кормщика за локоть и тихо сказал Митеньке:

– Я не могу не рекомендовать лоцману идти со мной на корабль. Лоцман куплен, за него заплачены деньги. Неужели надобно объяснять, что лучше править морское дело, нежели гнить в монастырской тюрьме, где рано или поздно лоцман получит по заслугам...

Полковник Снивин ехал медленно, с важностью. Солнце освещало грубые лица рейтаров, поблескивало в бляхах на сбруе, играло на гранях стальных багинетов...

– Скажи боцману, Митрий, – велел Рябов, – скажи: не гоже делает.

Митенька вспыхнул, заговорил быстро. В юном, ломком еще голосе слышались слезы.

– Не проси! – круто отрезал Рябов.

Рейтары остановились рядом. Дородный полковник Снивин сразу понял, о чем вел разговор гишпанский боцман, и, не дослушав до конца, ударил Рябова ножнами палаша по голове. Рябов покачнулся, но не упал. Дель Роблес одним движением выдернул наваху и

поднял ее жало перед лицом. Старый рейтар толкнул кормщика подкованным башмаком, другой стеганул по плечам нагайкой с вшитой железной. Снивин, выхватив палаш, тупой стороной опять ударил кормщика по голове. Рябов упал, и тогда все навалились на него. Взметнулась пыль, рейтары спрыгнули с коней, покатались в пыли, не разберешь, кто где. Дель Роблес с искусством и ловкостью быстро накинул на шею лоцману петлю-удавку и потянул. Рябов захрипел. Митенька этого уже не слышал – потерял сознание от удара кованым сапогом в голову...

На улице стало тихо.

Полковник сказал, опуская палаш в ножны:

– Трудно с этим народом. Они непокорны, жестоки, и мы им решительно не можем верить.

Дель Роблес ответил:

– Если бы не достойнейшая храбрость вашего кавалерства, кто знает, чем бы кончилась сия баталия!

В это время из-за арсенала выскочил малый, которого послал Тошак – отдать короб с заедками, что заказал Рябов для иноземцев. Но сам кормщик лежал недвижим, связанный, в пыли, с удавкой на шее. Толмач тоже валялся неподалеку. Малый постоял, подумал и задом пошел обратно.

Миновав арсенал, он зашел в лопухи, открыл короб и напихал полный рот лакомств. Заедки были медовые, дорогие, вареные с имбирем, с маком, с тыквенным семенем. Тут, в лопухах, малый наелся до отвала, спрятал короб на старом горелище, обтер руки, подивился на свою неслыханную смелость и пошел обратно, придумывая, чего сбрехать целовальнику.

3. СНИВИН И ДЖЕЙМС

Полковник Снивин ехал медленно, сдерживая горячего коня, презрительно тарачил по сторонам рачьи глаза водянистого цвета: он презирал здесь все и не скрывал, что презирает. И ни о чем другом не говорил, как только о том, как презирает московитов. Чтобы подольститься к нему, бывало, что архангелогородские купцы сами честили себя последними словами... Гордых, сильных, непоклонных он гнул в дугу; если не гнулись – ломал. Майор Джеймс – англичанин, его помощник, шестнадцать раз продавший свою шпагу герцогам, маркизам, императорам и королям, – был согласен во всем с полковником Снивиным. Но больше всего он был согласен с тем, что московиты назначены провидением быть рабами.

– Жаль, вы не видели прекрасную картинку! – произнес полковник Снивин, встретив Джеймса на мосту через Курью. – Вы бы порадовались...

Майор изобразил всем своим лицом внимание.

– Вы бы очень порадовались!

Майор изобразил еще большее внимание.

– Шхипер Уркварт купил здесь у монастыря себе лоцмана. И, можете себе представить, этот скот устроил целую баталию...

Джеймс покачал головой...

– Он не желает быть проданным. Он сопротивлялся до последнего...

– На них нужно надеть железную узду! – сказал майор Джеймс. – И наказания, настоящие наказания, чтобы они боялись нас, как негры боятся своих идолов...

Он засмеялся, показывая превосходные зубы. Баба с пустыми ведрами – старая, сутуловатая – переходила улицу. Майор Джеймс перетянул ее плеткой по плечам: у русских плохая примета – пустые ведра.

4. РЫБАЦКАЯ БАБИНЬКА

Уже совсем день наступил, когда Митенька очнулся от своего забытья и сразу все вспомнил – как гуляли у Тошака и как навалились потом на кормщика...

Страшное беспокойство охватило его, он поднялся с лавки, на которой лежал, потянул к себе рыженький, линиялый, изъеденный морской солью подрясничек и хотел было одеваться, как вдруг удивился – где это он, почему в избе и что это за изба такая?

Но и удивиться как следует не успел, – старушечий голос окликнул его, и тотчас же перед ним предстала бабка Евдоха – сгорбленная, ласковая, с таким сиянием выцветших голубых глаз, какое бывает только у очень старых и очень добрых людей.

– Иди, коли можешь, иди, сынуля, поспешай, – велела бабка и подала ему кургузенький кафтанчик и порты холщовые, многожды стиранные, в косых и кривых заплатках, да треушек старенький, да еще косыночку, что носят рыбаки, уходя в море.

Он оделся, ничего не спрашивая у бабиньки Евдохи. Рыбачью мамушку, вдовицу рыбачью, плакальщицу и молельщицу, знали все морского дела старатели здесь, на Беломорье. Коли она велит, значит надо делать; коли она посылает, значит надо идти.

Нынче ночью, выйдя на крики иноземцев, бабуся увидела возле арсеналу побоище, увидела, как волокут Рябова рейтары, увидела хроменького Митеньку, лежащего в пыли, и поняла: беда рыбаку, беда кормщику от лихих заморских шишей да ярыг! Митеньку она с добрыми людьми перенесла в избу, положила ему холодной землицы на голову, чтобы оттянула двинская земля жар да лихорадку. Ночью же она узнала, что кормщика запродали монаси, что кормщик с послушником теперь беглые, – зачем же Митеньке в подряснике показываться? И покуда он спал, собрала ему другую одежду. А покуда Митенька покорно собирался, не зная еще, куда и как идти, спрашивала:

– Винище, небось, в кружале трескал с ярыгами?

Митенька, не смея осуждать кормщика, ответил:

– Маленько всего и выкушал, бабинька, для сугреву...

– Знаю я его «маленько»...

Потом добавила в задумчивости:

– Оно так: работаем – никто не видит, а выпьем – всякому видно.

И рассердилась:

– С кем пьет – того не ведает, – вот худо.

Митенька молчал, повесил голову.

– Пойдешь к поручику Крыкову, к Афанасию Петровичу, – строго сказала бабинька, – в таможенную избу...

– В избу, – повторил Митенька и воззрился на старуху большими черными глазами.

– Как что было в кружале и ранее, что знаешь, все ему откроешь. Так, мол, и так, кормщик Рябов иноземными татями украден, и велено, дескать, тебе, Афанасий Петрович, от твоей матушки – бабиньки Евдохи – на иноземный корабль идти с алебардами, фузеями и сабляками и того кормщика беспрременно на берег двинский в целости и сохранности доставить.

Она задумалась вдруг и заговорила еще строже:

– А коли что насупротив скажет, молви от меня ему самое что ни на есть крутое слово...

Митенька даже рот приоткрыл от этого приказания.

– Промеж них там неурядица вышла, – поджимая губы, сказала Евдоха, – девок, вишь, у нас мало, обоим одна зандобилась. Так ты, Митрий, не робей, прямо ему все режь: не дело, дескать, ближнего своего в беде кидать, хоть ты, дескать, нынче и поручик, а Рябов нисколечко тебя не хуже. Да еще припомни ему, Афоньке, как бабинька Евдоха его от раны лечила и вылечила, да еще припомни, как он эдаким вот махоньким ко мне в корыто мыться хаживал...

Митенька захлопал ресницами, не понял.

– Думаешь, офицер, так не от матушки своей народился? И он был мал, и он в голос ревел, и в одном корыте с Ванькой Рябовым золой я их, чертенят, прости господи, отмывала. Так и скажи: не заносись, дескать, Афанасий Петрович, все помирать будем – и офицер помрет, и рыбак помрет, и архиерей, прости господи, помрет! Ну, иди, иди, хроменький! Да нет, не скажет он ничего насупротив, не таков он человек, не можно того быть, чтобы не

сделал как надо. Иди, детушка, поспешай, а я покуда подрясничек твой сиротский поштопаю, сгодится еще, чай, понадобится...

Митенька ушел, бабушка Евдоха поглядела ему вслед, задумалась, сделает ли Афоня как надо, и тотчас же решила: сделает непременно. Не было еще такого случая в длинной ее жизни, чтобы не делали люди так, как она просит.

Да и как было не сделать по ее хотению?

Многие годы к ней в избу клали обмороженных рыбаков-бобылей, чтобы выходила. И никто никогда не умирал, – такая сила материнской любви была в этой маленькой, горбатенькой, слабой старушке ко всем людям, измученным морским трудом. Она выхаживала сиротинок рыбацких, растила из них богатырей, кормила из рожка жидкой кашцей, а потом молодому рыбаю первая справляла сапоги для моря – бахилы, теплую рубашку; сама провожала карбас, с которым уходило дитяtko на промысел...

Бабинька Евдоха в низкой покосившейся своей избе лечила страшные рыбацкие простуды, ломоты, лихорадки. И не наговорными травами, не колдовством и кликушеством, а великой силой желанья помочь, облегчить муки, не дать помереть хорошему человеку, морскому старателю, бесстрашному рыбаю...

Всех родных ее взяло море. И не было у старухи даже могилки, чтобы поплакать на холмике, чтобы поправить крест, шепча, как иные вдовы и матери, жалобы на одинокую свою старость, на то, что в избе студено, а сил уже нет наколоть дров, на то, что ходить трудно – не гнутся больные ноженьки. Ничего у нее не было, кроме жаркой, словно бы кипящей любви ко всем обделенным жизнью, ко всем сирым и убогим, ко всем одиноким и больным...

Строго и сурово жалела и любила Евдоха. Больно наказывала за дурные дела. Бывало только и скажет:

– Ай, негоже сотворил, рыбак!

И зальется потом стыда, обмякнет рыжий детина, повалится в ноги, закричит:

– Вдарь, бабинька! Вдарь, да помилуй! Прости, бабинька...

Но бабинька не миловала. Умела молчать. С обидчиками молчала годами. Умела и похвалить. И тоже недлинно. Скажет бывало с лучистой своею улыбочкой словечко, и что за словечко – не расслышит Белого моря старатель, а летит от Евдохи словно на крыльях и только покряхтывает: «Ну, бабинька, ну, старушка, ну, душа голубиная».

Иногда к ней в избу, где мурлыча прогуливались подобранные на задворках кошки, где фырчал еж-калека, где мирно уживались слепой заяц и старый петух, заглядывал выхоженный когда-то ею рослый, плечистый, сине-багровый от студеного морского ветра рыбак, кланялся поясным поклоном, говорил:

– Здорова будь на все четыре ветра, бабуся! Накось тебе гостинчика!

Клал на чистый, выскобленный стол алтын, да еще алтын, да денежку, сколько было завязано в платке – столько и высыпал. Бывало и золотой клали, видела бабка и иноземные монеты. Да недолго все они удерживались у нее. Как удержать денежку, коли рядом, в избе по соседству, плачет, ливмя разливается рыбацья вдовица, нечем кормить детушек? Как удержать, когда назавтра можно привести к себе дюжину малых ребят, вымыть их в корыте с золой и песком, а за терпение и кротость, что не визжали и вели себя чинно, накормить их до отвалу крошечком мясным, жирной ущицей, пахучим пряником?

Когда-то выхаживала она Митеньку, а еще ранее, в дальние годы, самого кормщика Рябова, после того как поморозился осенними ночами на дальнем рыбацком становище. И вот пришел к ней однажды Иван Савватеевич, распахнул дверь, молвил:

– Здорова будь на все четыре ветра, бабуся! Накось, старушечка, гостинчика!

Развязал кису, высыпал на стол золотые, покатались по выскобленным доскам монеты, кольца червонного золота, упали на пол жемчужины.

– Али что недоброе сделал, Иване? – строго спросила старуха.

Рябов усмехнулся:

– Корабль на камни выкинулся, – сказал он, – иноземный корабль. Люди все мертвые –

до единого; вот мы с рыбаками клад нашли, да к чему оно? Свечку поставил ослопную Николе-угоднику, вдовицам раздарил, погулял маненько у Тоцака, бахилы себе новые справил, кафтан. Глаза теперь людям рву – вырядился, мол, Ванька Рябов...

Он опять усмехнулся ленивой своей усмешкой.

– Самому в хозяева идти неохота. Карбас купить, снасть, покругчиков набрать, а? Как присоветуешь? Будет из меня хозяин?

– Не будет, Ванечка! – скорбно сказала старуха. – Бесстыдства в тебе нету!

– А беси толкают, – улыбаясь говорил Рябов, – сладко так уговаривают: иди, Ванюша, в хозяева, будет тебе горе горевать, вот и фарт подвалил, второй-то раз не случится...

Он потянулся, зевнул, пошел топить баньку, а потом сидел у стола чистый, распаренный, хлебал горячую, сильно наперченную уху и говорил:

– Пойдем в море, поглядим. Море, бабинька, от века наше поле. Будет рыба – будет и хлеб. А миросос из меня не произойдет, верно ты сказала – бесстыдство для сего надобно...

Старуха, подпершись кулаком, все кивала и вздыхала, потом вдруг на мгновение заплакала и словно бы рассердилась. Золото и каменья поделила пополам: половину на несчастненьких сирот, половину закопала в огороде – для всякого опасения, мало ли какая беда падет на кормщика?

Для своих сирот и немощных бабка Евдоха никогда ни у кого ничего не просила – такое было дано ею слово. Рыбаки ей приносили сами, кто чего мог: кто рыбки, кто денежку, кто мучицы, кто маслица. По древнему обычаю творили люди и тайную милостыню: находила бабинька у себя в снях то добрый кус замороженной говядины, то свечей, то теплый платок.

За приношения она никогда не благодарила.

И не было в Беломорье человека, который не вспомнил бы ее в добрый или лихой час.

Суровые артельные кормщики, решая трудное дело, советовались с ней и, выходя из ее хибары, кряхтели:

– Ну, бабка! Чистый воевода! Хитрее не бывает!

Многие семейные распри решала тоже она, и слово ее было крепким, последним, окончательным. Попы робели взгляда бабки Евдохи, язвительной ее усмешки, соленой шуточки. Купечество в рядах кланялось ей ниже, чем другим...

5. БУДЕТ ОБЪЯВЛЕНА КОНФУЗИЯ!

Митенька вышел, оглядел себя, порадовался на кафтанчик и пошел к дому, где жительствоваали таможенные целовальники, солдаты таможенной команды и где внизу были покои господина Крыкова Афанасия Петровича – поручика таможенного войска.

Постучав в дверь осторожно и почтительно, Митенька послушал и еще раз постучал. Ответа не было. Тогда Митенька просунул голову в горницу и, никого не увидев, вошел.

На полу был кинут истертый ковер с кожаной подушкой – тут, видимо, поручик спал. На лавке лежали книги. Одна была открыта. Митенька прочел: «Любовь голубиная и ад чувств, пылающих в груди Пелаиды и Бертрама». От таких слов Митенька покраснел.

В соседней горнице кто-то с силою и с наслаждением чихал, приговаривая:

– А еще раза! А еще хорошего! А еще доброго!

Потом чиханье прекратилось, что-то заскрежетало...

– Господин! – негромко окликнул Митенька.

За дверью продолжало скрежетать.

Митенька сделал несколько коротких шагов, заглянул за дверь.

Посреди маленькой комнаты у стола делал какую-то мелкую работу сильными, ловкими руками сам Афанасий Петрович. Лицо его, повернутое к теплему свету, светилось улыбкой, словно он радовался на свою работу; да так оно и было: вот взял он двумя пальцами что-то малое, веселое, белое, повернул перед собою и совсем обрадовался, даже причмокнул губами, но тотчас же как бы что-то заметил дурное в своем изделии, стал

накалывать его шильцем, приговаривая:

– А сие уберем мы, уберем, обчистим...

Митенька стукнул дверью...

Лицо Крыкова мгновенно изменилось: быстро сунув работу свою за пазуху, он прибрал ножики да шильца, прикрыл их большой ладонью и оборотился к Митеньке, неприязненно поджимая губы:

– Ты это? За каким делом? Для чего безо всякого, спросу ломишься? Не удивительно ли, что спокою не имею даже в доме своем ни единой минуты? Отчего так?

Митенька заробел, вспыхнул, понес пустяки, как всегда, когда обижали.

Поручик постукивал ногою, светлые его глаза смотрели мимо юноши, под тонкою кожею, как у многих двинян, горел яркий румянец. Серdito сказал:

– Говори дело, будет вздоры болтать...

– Как вы спрашивать изволите, так я и отвечаю! – молвил Митенька, взяв себя в руки. – А дело мое вот такое...

– Ты сядь! – велел поручик.

Митенька не сел, обиженный.

Поручик слушал внимательно, смотрел прямо в глаза, все крепче поджимая губы, все жестче поколачивая ботфортом.

– Все сказал?

– Все.

– Почему ко мне пришел?

– Бабинька Евдоха послала.

В глазах Крыкова мелькнула искра, но, словно бы стыдясь ее, он отворотился, сдернул с деревянного крюка кафтан, опоясался шарфом, крикнул денщику бить сбор. Во дворе ударил барабан, денщик тотчас же прибежал за ключами...

– Прах вас заберите! – рассердился поручик. – Надоели мне ключи ваши...

И объяснил Митеньке:

– Коли ключом не запираешь, разбегутся солдаты мои таможенные. Полковник тут нынче – Снивин; которые деньги от казны на пропитание идут – все забирает. Вот солдаты и кормятся, где кто может...

Наверху забегали, опять скрипнула дверь, вошел босой капрал Еропкин, спросил:

– Как прикажешь, Афанасий Петрович, идти али не идти? Я вчерашнего дни сапоги отдал – подметки подкинуть, прохудились вовсе. Как быть-то?

Афанасий Петрович в раздумье почесал голову:

– Подкинуть, подкинуть! Бери вот мои, попробуй!

Капрал Еропкин заскакал по горнице, натягивая поручиков сапог. Натянул с грехом пополам. Обещал:

– Дойду!

– То-то! Строй ребят!

Во дворе капрал закричал зверским голосом:

– Поторапливайся, мужики, до ночи не управитесь!

Афанасий Петрович невесело говорил Митеньке:

– Разве так службу цареву править можно? Ни тебе мушкетов справных, ни тебе багинетов, ни пороху, ни олова, ну, ничегошеньки! Раздетые, разутые, кое время кормовые деньги не идут. Что я с них спросить могу, с солдат моих? А ребята золотые. Стоит над нами начальник – иноземец майор Джеймс. Как придет, так всех в зубы, что кровящи прольет, что зубов повышибает, а для чего? Вид, мол, не тот! Да где ж им вида набраться, когда полковник Снивин весь ихний вид в своей кубышке держит и никому не показывает...

Вышли, как надо, с маленьким знаменем – прапорцем и под барабанный бой. Перед воротами построились: первым Крыков при шпаге, за ним капрал с барабаном, далее в рядочек три солдата, отдельно Митенька. Барабан бил дробно, солдаты пылили сапогами, сзади бежали мальчишки голопузые, свистели, делали рожи.

Шхипер Уркварт на палубе, под тентом, чтобы не напекло голову, писал реестры; конвой Гаррит Коост – голый до пояса, волосатый – пил лимонную воду, сидел над шахматной доской. Уркварт, пописав, смотрел на шахматную доску сладкими глазами, склонив голову набок, вдруг переставлял фигуру и опять писал. Коост пугался, кусал ус...

Увидев Крыкова с барабанщиком, с капралом, под развевающимся прапорцем, Уркварт поднялся и пошел навстречу без улыбки, шуря глаз.

Не дав шхиперу сказать ни слова, Крыков велел Митеньке переводить: нынче ночью силою взят кормщик Рябов Иван, того кормщика надобно выдать добром, а коли-де сей кормщик не будет нынче же тут, перед очами поручика, то он, Крыков, объявит шхиперу превеликую конфузию и обозначит сей корабль воровским.

Митенька, заикаясь от волнения, перевел.

Уркварт посмотрел на него внимательно – узнал, еще сощурил один глаз и, поигрывая толстой, крепенькой ножкой в башмаке с бантом, молвил:

– К превеликому моему сожалению, конфузию получил вчерашнего дня от меня сам господин поручик; и достойно удивления, что сия конфузия не охладила боевой пыл моего друга господина Крыкова. Придется мне посетить самого господина воеводу с просьбой о заступничестве, ибо так более не может продолжаться. Что же касается до лоцмана Ивана, то он, действительно, нанялся ко мне на службу, но сбежал вместе с сим достойнейшим молодым человеком, – шхипер кивком головы показал на Митеньку, – сбежал, несмотря на то, что его начальник – святой отец – успел получить хорошие деньги в виде задатка. Предполагаю, что в нравах московитов поступать именно так...

Крыков не дал Митеньке перевести до конца, перебил его:

– Скажи сей падали, – багровея, произнес он, – что не ему, вору сытому, порочить и бесчестить Московию и что коли он, мурло жирное, еще хоть едино слово твякнет об сем предмете, то я его насквозь шпагой проткну и в воду сброшу... Так и скажи... Стой, погоди, не говори...

Он подумал, охладился и велел переводить другое:

– За то серебро фальшивое, что было у него спрятано в бочках под краской, нет ему веры теперь ни в чем и не будет, доколе я тут государеву службу правлю...

Митенька перевел.

– Нет большей мерзости, нежели неведающему, безвинному заплатить за труд его деньгой, которая на сильном огне расплавлена будет и трударю в глотку влита, а за что? За его, шхипера, сладкое житье. Переведи!

Толмач перевел.

– Пусть корабельного кормщика Рябова Ивана поставит сюда перед нами.

– Здесь нет Ивана Рябова! – склонив голову набок, улыбаясь с превосходством и гордостью, ответил Уркварт.

– Ан есть! – воскликнул Крыков и велел бить в барабан.

Капрал ударил обеими палочками дробь. У Крыкова глаза блеснули, как у хорошего охотника. Он вытянул шею, огляделся, раздумывая, и хотел было идти, как вдруг шхипер опять негромко заговорил:

– Сударь, – сказал он, – поступок ваш по меньшей мере негостеприимен, и, как это мне ни прискорбно, я делаю вам пропозицию и предупреждение: город Архангельский ждет царя Петра, и его величеству будет принесена моя жалоба на незаконный вторичный досмотр моего корабля.

Митенька перевел.

– Пропозицию? – переспросил Крыков.

– Пропозицию! – подтвердил Митенька.

– Пусть делает мне пропозицию, коли я Рябова не отыщу, а коли отыщу, так пусть помнит: будет объявлена конфузия.

6. ЛЮДЬМИ НЕ ТОРГУЕМ!

Таможенные солдаты стояли и на шканцах, и на корме, и на юте «Золотого облака». У трапа капрал с прапорцем в руке поплевывал в воду.

Боцман дель Роблес шепотом сказал шхиперу Уркварту:

– Этого проклятого москoviта можно заколоть, и тогда никто ничего никогда не узнает...

– А куда вы спрячете тело, мой друг?

Боцман подумал:

– Тело можно бросить в Двину, привязав к ногам тяжесть...

– И никто ничего не заметит?

Дель Роблес вздохнул.

– Вздохами делу не поможешь! – сказал сухо Уркварт. – Мне, быть может, удастся от всего отпереться, но вы, мой друг, должны быть готовы к тому, что в Московию вам больше не ходить...

Дель Роблес криво усмехнулся.

Уже наступил вечер. Крыков все еще выстукивал корабельные переборки – искал тайник. Два солдата, потные от духоты, рылись в трюмах – проверяли товары, выстукивали бочки, ящики, переворачивали кули. Иноземные корабельщики глядели, посмеиваясь.

К ночи Крыков нашел Рябова в хитром тайнике, построенном под бочками с пресной водой. Ящик был обит изнутри войлоком, чтобы не слышно было ни жалоб, ни стонов, ни воплей. Рябов лежал почти без памяти, связанный по рукам и ногам, с кляпом во рту.

Перерезав ножом веревки, Афанасий Петрович напоил кормщика водой, обтер своим платком его потное лицо, молча похлопал по плечу и вывел на палубу, на ту самую палубу, где так недавно шхипер говорил высокие слова о прекрасном русском лоцмане. Митенька, плача и не стыдясь слез, бросился навстречу. Рябов часто дышал, широко раскрывая израненный, кровоточащий рот.

– Ну, пропозиция! – громко сказал Крыков. – Переводи ему, Митрий! Объявляется кораблю сему конфузия, у трапа ставятся наши часовые, кормить тех часовых за деньги шхипера, никому ни на корабль, ни с корабля ходу нет и быть впредь не может.

– Вот как? – спросил Уркварт.

– Да уж так, – сказал Крыков.

– Но я совершенно, не виноват! – сказал Уркварт. – Мой боцман повздорил с вашим лоцманом и жестоко пошутил над ним. Может ли шхипер отвечать за поступки своих людей?

– Коли не может, так научится! – сказал Крыков. – Коли в других землях не выучили – здесь научим.

Начальный боцман вышел вперед, сказал громко, показывая рукой на Рябова:

– Сей человек – наш человек. За него заплачены мной большие деньги, на что шхипер имеет форменную расписку. Вы не смеете уводить сего человека, проданного нам в матросы, а коли уведете – мы пойдем к вашему царю. Мы купили сего человека...

Крыков побледнел, сжал эфес шпаги, крикнул:

– Вы можете купить живую рысь, росомаху или волка. Но сего славного лоцмана вы не получите, ибо людьми мы не торгуем!

– Разве? – спросил Уркварт. – А многие мои друзья покупали себе людей на Москве и в других городах. Вот и мы купили вашего лоцмана, а вы его забрали у нас силой. Мы пожалуемся его величеству, и вас за это не наградят...

Он повернулся спиной к поручику, выказывая ему полное пренебрежение.

Через малое время Крыков, Рябов и Митенька уже были на берегу. Солдаты остались караулить корабль. Вечер был душный, небо заволакивало, Двина лежала совсем неподвижная, серая, листья на березах не шевелились...

– Спасибо, Афанасий Петрович! – с трудом сказал Рябов. – Никогда не забуду. Пропал бы я без тебя.

Он не смотрел на Крыкова, не привык благодарить. Крыков тоже сидел на берегу, отворотясь, – не умел слушать, когда благодарили.

– Может, и сочтемся! – ответил Крыков.

– Может, и сочтемся. Долг платежом на Руси красен.

Помолчали.

– В самой скорости прибудет сюда его величество Петр Алексеевич со товарищами, – сказал Крыков, – знаю об этом доподлинно. Идут за морскими забавами, приказано скликать всех людишек корабельного дела... Одно тебе спасение, кормщик, ждать царя. Иначе прикончат.

– Прикончат! – спокойно согласился Рябов.

– Больно ты нашумел нынче. Митрий сказывал, как ночью-то гуляли...

– Нашумел! – согласился Рябов.

– То-то, что нашумел. И келарю половину бороды повыдергал. – Крыков усмехнулся. – Не позабудет келарь бороду, не простит.

Рябов кротко вздохнул.

– Не простит.

Еще помолчали.

– Как же быть-то? – спросил Крыков. – Спрятать тебя надобно до времени, да где?

– У вас и спрячьте! – вдруг сказал долго молчавший Митенька. – Самое святое дело в таможенном доме, сударь, никому и в голову не вскочит, что дядечка у вас находится.

Крыков помолчал, подумал, потом сказал:

– Будь по-вашему. Вместе не пойдем, неладно, а вы попозже, как туча найдет, под дождичком, что ли, задами и приходите.

Он поднялся и зашагал вдоль Двины, а Митенька с кормщиком долго еще сидели над рекой, перекидываясь по слову, по два, молчали, вновь разговаривали, думали, как жить дальше и почему так сложилась судьба.

– Бог, видно, так велел! – смиренно сказал Митенька.

– Бог? – спросил Рябов. – Что-то давно я об нем не слыхал, об твоём боге, – может, расскажешь?

Митенька с испугом взглянул на Рябова и замолчал надолго.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Вещает ложь язык врагов,
Десница их сильна враждою,
Уста обильны суетою...

Ломоносов

Не люби потоковщика – люби встрешника.

Пословица

1. ГДЕ ПРАВДА?

Покрученный в цареву службу Афанасий Крыков сразу попал в таможенники и, не более, как в год, проявил настоящий талант в этом трудном и хитром деле. Недюжинность свою объяснял он просто: я, дескать, от батюшки обучен зверовать с малолетства, нет такой звериной выдумки, чтобы не разгадать мне ее, а купец иноземный не хитрее таежной лисы. Думать, конечно, приходится, не без того...

Зверя, действительно, он знал, знал повадки его и привычки, и от стародавних времен,

как Рябовы славились кормщиками, так Крыковы – охотниками. Впрочем, род Крыковых и в море хаживал не хуже других прочих...

Зверовали от дедов Крыковы в тундре, не страшась ни хивуса – снежной воюющей бури с боковыми свистящими заметелями, ни мокрой снежной бури – рянды, ни чидеги – частого дождя с холодным ветром. Под сверкающими во все небо сполохами северного сияния шли Крыковы ватагой-дружиной бить горностаю – кровожадного зверька, идущего лавой, пожирающего слабых своих собратьев. Шли Крыковы долго, до заветной тропы, ставить секретные кулемки – особые снаряды, хитрые ловушки на горностаю вожака. Попался вожак в ловушку, прижало ему башку гнетом, рассыпалась, напугалась лава горностаю – один за другим попадают зверьки в ловушку, нет над ними начальника, нет старшего!

В те же поры ловятся в тундре куницы-желтушки – дорогие меха. Тут смотри в оба, слушай как надобно; не дан тебе талант куницу зверовать – так и придешь домой пустым. Лежит зверек в берложке, песни свои от зимней скуки поет, уркает, – тут его и рой, разрывай нору, да прежде все хода обложи крепкой сетью...

За куницей – песец, того зверовать хаживали морем на Грумант. Чудной зверек, не каждый охотник может убить его. Увидев направленный на себя ствол мушкета или стрелу, измученный гоним зверь, бывает, не поднимается с места – лежит неподвижно, да еще Лапочками закроет морду, чтобы не видеть конец свой. Такого песца Афанасий бить не мог, как не мог ломать лапы лисенятам, чтобы вырастить лиса с целой шкурой, как не мог убить лиса ударом ноги по сердцу, чтобы продать ровный мех. Другие посмеивались, Афанасий отплевывался. Отец собрался было поучить маленько – Афанасий так повел глазами, что старик больше об этом даже не шучивал...

Отец помер – ватага зверовщиков распалась.

Афанасий завел себе стрельную лодочку, копье-кутило с ремнем сажень в пятьдесят, из моржовой кожи большую баклагу-бочонок и собрался зверовать моржа.

Одному на промысел не идти: однажды нашел дружка – человека «с причиною», как тот сам про себя изъяснился. Черный, кряжистый, приземистый, с лицом, обросшим жесткою курчавою бородою, с вечно насмешливым блеском глаз под мохнатыми бровями, человек этот все более помалкивал да чему-то невесело посмеивался, а когда вдруг заговорил, Афанасий Петрович поначалу и ушам своим не поверил: весельщик его оказался беглым, да не просто беглым, а еще и питанным за воровские скаредные слова, сказанные против боярина, да не просто сказанные, а сказанные с ножом в руке, когда Пашка Молчан нож на боярина своего князя Зубова посмел поднять. Боярин-князь своим судом приговорил его батогам бити нещадно и собрался было рвать ноздри, да преступный холоп не дураком родился – не стал своей смерти дожидаться, подкопал клеть, где сидел за караулом, и в бега...

– Ушел? – удивился Крыков.

– Оттого и живой...

– Оно – так...

Афанасий Петрович сидел в лодке, простодушно удивлялся, моргал.

– Губы-то подбери! – велел Молчан. – Вишь, словно бы ума решился...

– Решишься тут...

– Тебе бояться нечего, Афанасий Петрович, коли что – ты знать не знаешь, ведать не ведаешь, – на мне не написано, беглый я али нет...

Крыков в это время увидел моржей, что чесались на каменистом берегу. Ветер дул от зверя, Молчан навалился на весла. Крыков с тяжелым кутилом в руке замер на носу лодки. Морж-сторож дремал. Другие спали вповалку. У Афанасия раздулись ноздри, он гикнул, моржи задвигались, с мощным коротким свистом кутило врезалось стальным наконечником в зашеек моржа – самого матерого, клыкастого, жирного.

Молчан, закусив губы, посверкивая зрачками, выбрасывал кожаный трос – сажень за саженью, – морж старался под водой освободиться. Лодочку уже несло в море.

Только к ночи справились со зверем, привели его мертвого к берегу – пластать. Утром, когда хлебали кашицу, Молчан говорил:

– Ни один человек на свете не знает, кто я и откуда. Неведомо мне и самому, с чего я тебе открылся. С того ли, что ты меня не покрутчиком, а товарищем взял, с того ли, что шапка на мне твоя, с того ли, что прост ты, и душе моей ладно с тобой, словно в перине... Слушай далее! Не один я таков в Архангельском городе, да в Холмогорах, да иных займищах ваших. Много здесь беглого люда...

Крыков слушал молча. Про кашницу он забыл – смотрел в строгие глаза Молчана, сердце обливалось кровью, словно медленной вереницей проходили перед ним люди, о которых говорил Пашка.

– Чего похощат, то с нами и делают ироды, – говорил Молчан. – Поклонишься не так – бит будешь на боярской конюшне смертно. Земля не уродила – кнуты, оброк не сполна в боярский амбар привез – батоги, ребра ломают, на виску вздергивают, последнюю деньгу из-за щеки рвут клещами. Девоч наших к себе во дворы волокут, бесчестят; приглянется какая – из-под венца честного уведут, потом – на дальний скотный двор...

Молчан скрежетнул зубами, сломал палку об колено, швырнул в костер.

– Где правда? Как искать ее, как человеку жить?

– Где ж они, твои беглые? – спросил Крыков.

– Повсюду. Покрутчиками идут за какую хошь цену, за прокорм. В весельщики ли, в наживщики ли, все им едино. По дальним скитам бегут – в служники. Покуда сил хватает, бредет с котомочкой, с лыковой; потом отлежится, ягодок поест, грибов, потом где ни есть – на озере али у моря – избу справит, хибару али землянку...

– Откуда же идут?

– С Москвы да с Костромы, с Калуги да с Вязьмы, с Курска да с Ярославля...

– И все сюда?

– Зачем все. И на Дон идут, и на Волгу-матушку, в низовья, и за Великий Камень...

– А коли споймают?

Молчан невесело усмехнулся:

– Споймают? Тогда добра не жди...

Он зачерпнул кашницы, пожевал, потом посоветовал:

– Покушай-ка, пока не вовсе простыла...

Доели кашу молча, собрали снаряды, погрузились, поплыли к городу. Афанасий Петрович был задумчив, невесел, рассеян. С этого случая подружился он с Молчаном и подолгу с ним беседовал. А осенью Афанасий Петрович встал на службу при таможенном поручике – иноземце господине Джеймсе.

2. БИТЬ НЕЩАДНО, ПОКА НЕ ЗАКРИЧИТ!

Господин Джеймс копил деньги на приобретение патента для воинского чина у себя в королевстве аглицком. Для этого ему надлежало прослужить москвитам еще шесть лет. Этот срок он сокращал поборами, взятками и всяческим лихоимством, да еще тем, что старался жить в далеком городе Архангельске со всеми удобствами, ни в чем решительно себе не отказывая. Он много спал, подолгу играл на лютне, занимался с ученою собачкою, читал библию и для препровождения времени приглашал к себе иногда девиц, с которыми щелкал каленые орехи и играл в галантные игры. Изрядное время уходило у Джеймса также на возню со своею наружностью: особой кисточкой из твердого волоса он подрисовывал свои рыжие брови дочерна, а другой кисточкой ставил возле носа мушку. Щеки он румянил, руки, чтобы были помягче, мазал нутряным медвежьим салом. На деревянных болванках всегда были растянуты семь его париков, называемых по дням недели: «понедельник», «вторник», «четверг», «воскресенье»... Два таможенника были приставлены к его кафтанам, камзолам, чулкам и башмакам. В погожие дни сундуки поручика господина Джеймса раскрывались и все его имущество развешивалось на солнышке. Таможенники неотступно при том присутствовали. Ежели в камзоле отыскивалась моль, денщики секлись безотлагательно, на английский манер – сыромятным ремнем с узлами.

Из города Плимута на корабле «Счастливый мотылек» Джеймсу был доставлен портшез.

Когда портшез принесли в таможенный двор, поручик собрал солдат и сказал им короткую речь:

– На моей прекрасной родине, – произнес он, – состоятельные люди предпочитают эту прекрасную вещь любой кровной верховой лошади. Видите – как тут умно все устроено? За эти удобные рукоятки берутся носильщики. Тут четыре рукоятки – значит, носить меня вы будете вчетвером. Четверо из вас будут сопровождать мой портшез для того, чтобы подменивать друг друга. Меняться вы будете на ходу. А здесь...

Он открыл дверцу и показал таможенникам внутренность портшеза:

– Здесь для меня все очень удобно. Вот мягкое сидение. Я могу также вытянуть ноги. Стенки обиты кожей, так что внутри всегда сухо. Тут, как видите, можно держать трубку, тут есть место для бутылки пива. Это отличная, удобная, весьма прочная вещь. Вам остается только выделить восемь человек, на обязанности которых будет меня носить, когда я этого пожелаю...

Джеймс ушел в дом. Солдаты остались во дворе. Портшез, блестя лакированной кожей и позолотой, слюдой и шляпками медных гвоздей, стоял на опрокинутых розвальнях.

– Кто ж его носить будет? – спросил Афанасий Петрович.

Таможенники, не отвечая, стали расходиться. Поутру Джеймс спросил – отрядили ли ему носильщиков. Крыков угрюмо ответил, что носильщиков отрядить невозможно.

– Почему так – невозможно?

– Не станут носить.

– Разве не станут?

Джеймс улыбался. Барабанщик ударил сбор. Началась экзекуция. Пороли каждого второго. Джеймс сам считал удары. После порки он велел носильщикам немедленно собраться к его крыльцу. Носильщика не отыскалось ни одного. Поручик пожаловался Снивину. Тот выслушал его угрюмо, вздохнул и посоветовал затею с портшезом оставить.

– Но, сэр! – воскликнул Джеймс.

– Они в лучшем случае выбросят вас вместе с вашими носилками в Двину. Разумеется, мы их за такой поступок строго накажем, но вам, сэр, это не поможет. Поверьте мне, и оставим этот разговор...

Джеймс стал горячиться.

Снинвин пил светлое пиво, вздыхал и наконец рассердился.

– К черту ваш портшез! – сказал он. – Ко всем чертям! Я знаю здешний народ не хуже вашего. Вы можете их всех перевешать, но никто вас на руках не понесет. Запомните это навсегда...

Ночью дорогой портшез поручика сэра Джеймса по непонятным причинам сгорел дотла. Сгорел только портшез, и больше ничего. Остались почерневшие от огня медные гвозди, железные пряжки лямок, дверные петли и замочек. Все это солдаты принесли поручику Джеймсу.

Джеймс кивнул головой.

С этого дня он возненавидел Крыкова. Он был убежден, что портшез поджег Крыков. Непокорный блеск зрачков Афанасия Петровича доводил поручика до бешенства. И Джеймс решил ждать случая, чтобы скрутить, сломать, покорить Крыкова.

Такой случай вскоре представился. Смотреть корабли поручик Джеймс не ходил. Шхиперы издавна являлись к нему, клали на стол установленное число золотых, да еще подарок, и откланивались.

Под барабанный бой солдаты с капралом поднимались по трапу иноземного корабля, капрал на память задавал скучные вопросы:

– Не есть ли вы иноземные воинские люди?

– Найн! – отвечал иноземец.

– Не имеете ли на борту пушек, мортир, кулеврин, пищалей, мушкетов более, чем

надлежит для защиты от морского пирату?

– Найн!

– Не были ли вы в заповетренных местах и не имеете ли на борту больных прилипчатыми болезнями, от чего боже сохрани?

– О, найн! – следовал ответ.

Бил барабан. Солдатам и капралу подносили по чарке и давали по гривне на человека, а капралу особо – еще полтину. Все оканчивалось ко взаимному удовольствию. Солдаты шли в кружало, поручик Джеймс сладко потягивался на своей привезенной из-за моря кровати с летящими амурами, считал свои доходы по кораблям, ожидающимся на нынешнюю ярмарку...

Но случилось так, что капрал занемог, и вместо него велено было идти Крыкову. Поднимаясь по трапу, Афанасий Петрович раздул ноздри – пахло инбирем, не отмеченным в описи заморских товаров. На опросе иноземный корабельщик клятвенно показал, что инбиря в трюмах не имеет.

– А орех мускатный?

И ореха мускатного, по словам шхипера, на корабле тоже не было. Тогда Крыков велел досматривать корабль.

Таможенники, недоумевая, пошли искать. Нашли или не нашли, но, выученные капралом, сказали, что не нашли. Крыков нашел сам и объявил шхиперу, под барабанный бой, конфузию. Трюм опечатали своими руками.

Вечером Джеймс вызвал его к себе и ударил тростью наотмашь по голове, по лицу, опять по голове.

– Ты сжег мой портшез, – говорил он, – ты нанес мне сейчас ущерб. Тебе будет очень плохо, совсем плохо, готовься к этому...

Устав драться, он сел, снял парик с плешивой головы, объяснил, что если даже он убьет Крыкова насмерть, то ему, иноземцу, ничего худого за это не будет, он скажет, что Афонька Крыков был вор, на воровстве был пойман и в горячности убит.

– Я здесь не как ты! – произнес Джеймс. – Ты как все, а я как мало. Я – иностранец, да!

Афанасий Петрович облизал сухие губы, пошатываясь вышел. Ночью он рассказал о всем происшедшем Молчану.

– И убьет! Чего ему? – усмехнулся Молчан. – Мало наших, так-то загубленных? Ушел бы ты от сего дела?

– Не уйду!

– Ну, убьет...

Еще через день Крыков отправился уже не вместо капрала, а солдатом, нашел не показанную в описи гвоздику в кулях и сам закричал конфузию. Капралу пришлось опечатывать трюм восковой печатью, уходить без привычной полтины и с сухой глоткой. Джеймс опять приказал Крыкову явиться и, решив, что нынче он сначала побеседует, а потом начнет драться, спросил, почему-де Афонька Крыков – прах, зверовщик, ничто – так высоко себя мнит, что даже своего капрала не признает и мешает тому полтину заработать?

Крыков ответил спокойно:

– Посулы, господин поручик, брать не велено!

У Джеймса от бешенства ходуном заходила нижняя челюсть.

– Кем не велено? Тобою не велено? Но кто ты есть? Ты, наверное, забыл, что я могу тебя уничтожить совершенно? Так ты это вспомнишь!

Его выволокли во двор – пороть. Бил капрал, отливало водой и вновь бил. Афанасий Петрович не издал ни одного стога. Когда его волокли в избу, он сказал капралу слабым голосом:

– Нехорошо делаешь...

Капрал в эту ночь страшно напился, стучал в дверь к Джеймсу, кричал:

– Фря! Ярыга! Выйди – побьемся!

Через месяц Крыков на датском корабле опять закричал конфузию – нашел не

показанные в описи мушкеты.

– Ты как об себе понимаешь? – ввечеру того же дня плачущим голосом спрашивал его капрал. – Опять тебя пороть? И что ты за мучитель-ирод отыскался на мою голову?

Крыков молчал.

Джеймсу в тот же день Крыков сказал безбоязненно:

– Мы, господин поручик, поморы русские, дверей в домах никогда не запираем. Батожок приставишь – значит, хозяев дома нет. Размышлял: на государственной службе честью надобно служить...

Джеймс сидел верхом на заморском стуле, смотрел недобрым взглядом:

– Размышлял?

– Размышлял.

– Так вот же, пора тебе больше не размышлять!

Утром была порка перед строем, под барабанный бой. Поручик Джеймс поколачивал себя перчаткой по ляжке, смотрел на Крыкова, вцепившегося зубами себе в запястье, чтобы не стонать, приговаривал:

– Бить нещадно, пока не закричит.

Афанасий Петрович так и не закричал. К вечеру, придя в сознание, поднялся с лавки, шатаясь дошел до крыльца избы, в которой квартировал Джеймс, закинул петлю, просунул голову, но сорвался, – веревка была гнилая. Попил во дворе водицы, потер шею ладонью и еще пришел на то же место, но уже с новой, крепкой веревкой. Долго ее прилаживал в сумерках, под дождичком, и не видел, как смотрят на него из-за угла светлые, ястребиные глаза Афанасия, тезки, архиерея, приехавшего к Джеймсу купить вина рейнского и мушкетелю для своего стола.

– Ты что же делаешь, человеке? – спросил владыко. – Себя порешить захотел? Сухую беду обидчику кинуть?

У Крыкова тряслись руки. Костыльник Афанасия да его келейник с архиерейским кучером сняли с таможенника пеньковую петлю. Крыков тут же на крыльце, почти спокойным голосом, сказал, что жить так более не может, что поручик Джеймс взялся его извести смертью, что лучше удавиться перед дверью обидчика своего, нежели от него погибнуть.

Архиерей властно ударил посохом в дверь избы иноземца-офицера. Тот вышел не сразу, но увидев строгого владыку, испугался, стал кланяться низко, мотая бублями парика. У владыки раздувались ноздри, поручик Джеймс увидел перед собою не кроткого святого отца, а разъяренного, не помнящего себя в гневе – мужика-деда, буйного, мощного, жилистого.

– Сего жителя двинского беру я к себе, – свирепо сказал Афанасий. – Ты же, сучий сын, попомни, раскопаю я твои скаредности, да подлости, да воровства, придет и тебе лихой час, ярыга заморская!

Джеймс попытался было объяснить свою правоту, но Афанасий так его ругнул, что он только попятился, – не знал, каков был ругатель и срамослов владыко Афанасий в гневе. Крыкова уложили в архиерейскую карету, и как доехали до владычного подворья в Холмогорах, Афанасий Петрович не помнил. Здесь пребывал он в скиту, у старцев, тут мазали его медвежьей мазью и молились за него. Выздоровел он тут быстро и сразу же заскучал со старцами. К этому времени Афанасий прислал за ним своего ризничьего.

Когда Крыков, робея, переступил порог жарко натопленной горенки, старик, босой, похожий на поморского деда, читал книгу – стихи. Мужичкое, словно рубленое лицо его светилось умом и радостью, в глазах блестели слезы.

– Пришел, дурашка? – с деланной суровостью спросил он и велел Крыкову садиться и слушать. Ни о чем не спрашивая, сунув огромные руки за узкий поясок простой, домотканной рубахи, говорил необыкновенные слова:

– Жизнь человеческая, внучек, есть лучший дар от праматери природы. С чем сравнить радость от чтения стихов Овидиевых, от Данта, от Петрарки? Али песню когда слушаешь ты,

ужели можешь посягнуть на то, чтобы, лишив себя живота, перестать слышать, видеть, думать? По-разному можно прожить жизнь. Может быть она дивно прекрасной, ежели для великой цели вся сгорит в единый час. Тому примеры ты найдешь в житиях знаменитых мужей. Может быть она и никому не нужной, ежели пустой человек проживет сто годов. Может быть она и вреднейшей, ежели живет на земле злодей.

Что же, дурашка, горький тезка, хотел ты с собой сделать? Для кого? Из-за чего? Погоди, доживешь, что и сам будешь офицером, а коли ты офицер – так тебе и работы много на торной дороге жизни твоей, не слабым ты на свет уродился, надобно тебе жить и от назначенного дела не прятаться. А обижаться тебе на Джеймса сего зачем? Тебе, внучек, Русь, а ему, ворогу твоему постылому, рейхсталлер, золотишка нахватать поболее, да с тем золотишком и удрать. Пойми ты сие и перестань кручиниться раз навсегда. А пыху мы ему сбавим, будет нынче куда потише, позабудет, как русских людей заставлял себя словно идолище поганое на руках таскать...

Говорили долго. Афанасий умел и слушать. Сурово хмурясь, выспрашивал Крыкова, как прячут иноземные шхипера свои товары, как возят не дельное серебро, как платят взятки. К ночи архиерей, словно вспомнив, что он владыко, ворчливым голосом наложил на Крыкова епитимью, не слишком суровую, и по отбытии ее велел отправляться обратно в Архангельск с тем, чтобы по-прежнему служить при таможене.

– Доконает меня там Джеймс! – молвил Афанасий Петрович.

– Ой ли?

Епитимью отбывать в Холмогорах было скучно: молиться Крыков толком не умел, в чем грешен – не понимал, в церкви зевал до слез. Поп, приставленный к нему, ругал его поносными словами, он отругивался ленивым голосом.

Вечерами Афанасий Петрович зачастил к старичку косторезу Данилычу, подолгу глядел, как тот работает, дивился на его художество, вздыхал. Данилыч точил, чтобы отсылать в Москву для подарков от русского государя прорезные гребни с летящими чайками, ларцы со змеями и гадами, которых побеждает Георгий Победоносец, точил накладки для ружейных лож с диковинными птицами и добрыми веселыми белочками...

Старику Данилычу было приятно, что Крыков радуется на его работу, было весело смотреть, как тот осторожными пальцами брал работу – гребень или иную поделку и, положив на ладонь, долго любовался. Данилыч из-под косматых бровей видел: этот парень понимает то, чего никак не понять было ни сборщику приказной избы, приезжавшему за изделиями, ни дяку, ни старшому в Приказе. Да и понимали ли то мастерство бояре, да послы, да иноземные короли?

Дома, в Архангельске, у Крыкова валялись хорошие моржовые клыки. Он отписал туда, – прислали, подарил их мастеру. Данилыч научил Крыкова, как кость отбеливать, как выгонять из нее жир, как желтить шафраном, как варить купорос с сандалом для черни по кости, как травить кость перед работой квасцами.

Афанасий Петрович слушал, запоминал.

Маленькая фигурка – желтовато-молочная – уже виделась ему, он уже знал, что будет точить, как только узнает, как надобно делать.

Узнав, как, он все-таки не смог выточить то, что хотел. Клепки, маленькие резцы, выскакивали из неловких рук, втиральники падали на пол, шила и стамески делали не то, чего от них ждал...

Срок епитимьи окончился.

Афанасий Петрович уехал к таможене и с удивлением узнал, что за время своего отсутствия произведен в старшие досмотрщики с чином капрала.

Капрал, который по велению Джеймса в свое время нещадно бил его по аглицкому манеру, пал ему в ноги, когда он вошел.

Афанасий Петрович сказал строго:

– Я на тебя гнева не имею. Иди, не мельтешись...

Поручик Джеймс из таможенного дома съехал. Теперь он состоял помощником при

полковнике Снивине, а Снинин командовал всеми войсками воеводства.

– Кто ж у нас за главного? – спросил Крыков.

– Пока сами мы за главных, а теперь ты! – ответил досмотрщик Феоктистов.

За то лето Афанасий Петрович своими «конфузиями» дал казне девяносто три тысячи рублей прибýtка. На Москве зашевелились, Крыкову вышло награждение: должность хранителя при таможене. Как раз на Кузьминки портомоин сын, зверовщик Афонька Крыков получил чин поручика таможенной стражи.

Теперь на иноземных кораблях все реже и реже бил барабан и звучало слово «конфузия». Негоцианты стали куда осторожнее – слухом земля полнится. О честном поручике Крыкове говорили везде – и в Данциге, и в Стокгольме, и в Копенгагене. Посулов-де не берет, слышать о них не хочет. Но от того Крыкову стало не лучше, а хуже.

Снинин писал в Москву, что-де ваш хваленый портомоин сын с корабельщиками, небось, снюхался и более для казны ни деньги вытрясти не может.

Обиженный Джеймс писал родственникам в иноземную слободу Кукуй – авось, дойдет до кого надо.

Иноземные корабельщики были в курсе событий: свалить Крыкова хотели и Снинин, и шхиперы кораблей, торгующих с Россией.

А Крыков был один.

3. БЕССТРАШНЫЕ ОНИ ЧРЕЗМЕРНО!

Едва миновали церковные Спасские лавки и вышли ко двору Троицы Антониева Сийского монастыря, что у проезжей дороги, увидели большой бой. В китайчатом кафтане с серебряными пуговицами, растерзанный, расхристаный матерый гость хлестал кулачищами, норовя ударить половчее, смертно, видного собою дрягиля в рогожном колпаке, в рубахе, изодранной, залитой кровью. Того дрягиля держали иноземец Ферпонтен, что скупал стерво – варить из дохлятины сало на мыло, да еще какие-то люди – то ли Ферпонтеновы, то ли богатого гостя. Били все, каждый норовил ударить половчее, под дых, в межкрылье, в брюхо. Дрягиль уже почти что и не отбивался, обвис, голова его моталась. Вдруг от бьющих отделился один – быстроногий, да побежал дорогой к посаду.

У Рябова раздулись ноздри, он цопнул бегуна за плечо, спросил:

– Отчего бьете?

– Чтоб неповадно было псу смердящему не дельные деньги давать.

– А ты куда сам поспешаешь?

– А на съезжую. Пускай попытают вора маненько.

– Стой! Погоди!

Посланный рванулся, Рябов нажал на него сверху, тот прибрал голову, в испуге глянул на Рябова: такие сразу ломают, помолиться не дадут перед страшным судом. Иноземец Ферпонтен, весь в черном, оборотившись, смотрел на самоуправство кормщика.

– Дядечка, споймают нас! – робко взмолился Митенька. – Бежим, дядечка!

– Держи здесь татя! – велел Рябов и валкой походкой пошел к бьющимся.

Шел он не торопясь, держа руки за спину, выставив вперед лобастую голову, с глазами, яростно поблескивающими. Теперь ему было все едино, что пороть, что шить. Дрягиля он узнал, – то был рыбацкий сирота Авсейка, малый тихий, уважительный, работник спорый, обиженный с малолетства горьким сиротством. На дрягильские свои нищие заработки содержал Авсейка немалое семейство: обезножившую бабу, да тетку, да еще каких-то тихих, пугливых словно мышата, девочек-племянниц. Что с ним нынче делают? За какую такую вину? За шхипера Уркварта, что в бочках привез не дельные деньги?

От неправды, от горькой злобы, от обиды неузнаваемо стало лицо кормщика. И когда вплотную подошел он к гостю, что лютовал над дрягилем, к людишкам, истово ему помогавшим, к иноземцу Ферпонтену, что-то такое сделалось во всем его облике, так он

показался страшен обидчикам, что бой сам собою прекратился, и в наступившей тишине все услышали, как тяжело дышит Рябов.

Гость в китайчатом кафтане обтер потный лик. Наемные его людишки подались назад, чтобы не подвернуться первыми под тяжелую руку кормщика. Ферпонтен раскрыл складной нож, усмехнулся, – не впервой этим ножом резал он москвитов, дурачье; в обиде они бились кулаками, а он отвечал по-своему, нож был длинный, хорошо входил меж ребрами, сразу доставал до сердца. Но в сей раз что-то припоздал Ферпонтен, не успел встать в позицию, упал лицом вниз от страшного удара рыбацким бахилом в живот. Тотчас же рухнул и свирепый гость; визжа, пополз в сторону от драки. Дрягиль, не удерживаемый более никем, сел наземь, свесил голову. Сознание его, видать, помутилось. Людишки иноземца опомнились, кинулись на кормщика кто с чем: один ухватил камень – ударить в темя, другой отодрал от тына палку, третий просто сиганул на плечи – повалить и придушить. Сам Ферпонтен тоже поднялся. Но уже шли от Гостиного двора другие дрягили с крючьями, – сполошились, что пропал Авсейка, поняли: повсюду в посаде кричался «караул» на фальшивые деньги.

– Гей! – крикнул один сипатым голосом, завидев бой.

– Ходу, жители! – крикнул другой и пошел таким скоком, что только пыль столбушкой поднялась...

– Авсейка, держись!

Ферпонтен огляделся, закрыл секретный нож. Наемные людишки уже бежали за тын, крючники, настигая, били кого в спину, кого по голове – бой так бой, пусть знают, каковы в гневе двинские дрягили. Гостю тоже досталось, и поболее других – не кричи «караул», не посылай на дыбу невиновного. Думаешь, нет на тебя крюка – не достанет? Так вот же, достал...

– По чревам не бей, восходи! – стонал гость.

К Ферпонтену вломились в избу – уж больно лютовал народишко на иноземцев, в гневе потеряли головы, – крушили утварь, потоптали песцовые одеяла, побили стеклянные сулеи. Ферпонтен стал тих, молился своему богу. Покуда молился, его не трогали – пушай, каждому перед смертью надобно прибраться. За это время соседний иноземец послал ходока-сорохода за рейтарами. К недобрым сумеркам с далекими молниями рейтары конным строем, выкинув палаши, пошли на дрягилей. Рябов всего того уже не видел: увел Авсейку к бабке Евдохе – в подполье прятать. Авсейка шел медленно, рассказывал:

– Как расчелся с нами купчина, мне ребята дали монету, велели хлеба купить, да квасу, да вина штоф. Тое все в короб уложить, и короб тоже дали. Купил чего надо, он – сиделец лавочный – сдачу стал давать. Полтину, да две гривны, да три деньги. Вздумалось ему серебряный мой спытать, спытал об зуб, да и вскричал «караул». Купец прибежал, второй с ним и иные прочие люди. И зачали мне бой...

Бабка Евдоха без лишнего разговору спрятала Авсейку в подполье, поставила ему туда корец воды, овсяной сиротской каши горшок. Сурово посмотрела на Рябова:

– Из огня да в полымя. Едва из одной беды выдрался – в другую головою. Не укатался еще?

Рябов промолчал.

– Споймают тебя?

– Могут и споймать. А вдруг и уйду. Я, бабинька, хитер, хитрее меня не сыщешь мужика-от.

– Бесстрашные они чрезмерно, – скороговоркой молвил Митенька. – Ну где оно, бабуся, видано, чтобы один человек безо всякого опасения на многие люди шел. И все им, бабуся, надобно, до всего им дело...

– Плох я тебе, детушка? – смеясь глазами, спросил Рябов и не больно потянул сироту за мягкие, густые волосы.

Провожая кормщика, старуха велела:

– Не подеритесь там-то.

– Где?
– Не знаешь, что ли? Напьешься зелена вина и станешь мне Афоню убивать, а он не дастся...
– Да для чего, бабинька?
– Об том тебе лучше меня ведомо...
Рябов вдруг густо покраснел и молча вышел. Митенька, опустив голову, шел за ним.

4. КОРМЩИК И ПОРУЧИК

Когда пришли, поручик уже знал, что был бой на проезжей дороге, что многие дрягили посажены под замок, что начал все дело кормщик Рябов Иван сын Савватеев.

– Я начал? – спросил Рябов.
– А ты правду хочешь? – вопросом ответил поручик. – Хочешь, чтобы шхипер Уркварт виновником сему делу был? Небось, он начальным людям чистым золотом кумплимент отдал, Снивин его к розыску не потянет.

– Чего ж им гульба такая у нас поделалась? – спросил Рябов.
Поручик посмотрел на кормщика сбоку, усмехнулся сердито.
– Слышно так, будто царь-батюшка на Москве из немецкой слободы не выходит, вот и развольничались. Только ты об этом – ни гу-гу! И ты, вьюнош, слышишь ли?

– Ничего я такого, господин, и не слышал.
Молчали долго. Потом Крыков пожаловался:
– Давеча полковник Снивин едва не побил. Ногами топал-топал, плевался-плевался. Ты, говорит, смерд и смердом остался, и никакого понимания не имеешь, что такое есть высокий гость из дальнего края. Вот погоди – батюшка царь приедут, подергают тебе жилы, повоешь, аки пес на покойника...

– А ты, Афанасий Петрович, без внимания, – посоветовал Рябов. – Каждый свое дело на земле справляет, кому какое назначено: одному землю пахать да в море бедовать, другому, начальному человеку, казну воровать. Худо живем! На своей земле, а будто в чужой стороне. Как оно сделалось, что аглицкий немец на нашей земле начальным человеком ходит?

– Не нами сделано! – ответил Крыков.
– Не нами сделано, да нам слушаться аглицкого немца велят. Ан мы не таковские, не пойдем задним крыльцом, хоть оно и положе. Не таковы мы, Афанасий Петрович, людишки беломорские. Не станем бояться, аз не вяз, и, содрав с нас лыко, не наплетешь лаптей!

К ночи ударила гроза, – то лето все было грозное, с сильными громами, с режущими синими молниями, с быстро бегущими черными тучами.

Дождь полил внезапно, словно из ведра, сплошной, зарядил надолго, то стихая на малое время, то вновь громко барабаня по тесовой крыше таможенного дома. Иногда делался он вовсе редким, падал каплями, но потом вновь напознала туча, лились потоки, гром гремел, молнии проносились во мгле, а Митенька крестился и тихо призывал:

– Свят, свят, свят...
Сидели под навесиком тесовым у горницы Крыкова втроем – кормщик, Крыков да Митенька, перебрасывались словами негромко, слушали дождь, глядели на небо. Крыков спросил:

– Где карбас-то потопил, кормщик?
– На Песью луду кинуло, да то уж и не карбас был – древесина рваные...
– Долго бедовали?
– Помучились...

Он усмехнулся, рассказал, что когда тонуть начали, весельщик Семиков вспомнил пословицу, как пойманная лисица сказывала: «хоть-де и рано, а знать – ночевать»...

Крыков покачал головою, – ну, народ, и когда он только горюет!..

Кормщик перебил, лукаво косясь на Митеньку:

– Митрий теперь заскучал, одежки жалеет, потопла в море. Все как надо имели – саван с куколем, рубаха смертная до пят, венец на голову...

– Дядечка! – испуганно вскинулся Митенька. – Грех вам срамословить!

Кормщик засмеялся, шутливо оттолкнул от себя Митеньку.

– Дядечка, дядечка, задолбил свое. Никакое оно не срамословие. Спрашиваю – как теперь помирать будем, когда ни савана, ни куколя, ни рубахи смертной, ни лестовки, а?

Крыков тоже засмеялся.

– Справим! – сказал Митенька. – Вот взойдем в силу и еще справим.

– Это на второй-то раз? Уж пропить, и то не столь грешно. Где это слыхано – дважды смертную одежку справлять? То, Митрий, грех, да и превеликий!

Митенька не выдержал, тоненько засмеялся.

Молния близко пронеслась по небу и скользнула вниз, прямо в немецкий Гостиный двор. Там ударила. Тотчас в сумерках узким языком взвился огонь. Скоро ударили в било, пожар разгорался. Мимо таможенного дома проскакали рейтары с притороченными к седлам деревянными ведрами, с баграми, с крючьями в руках.

– Когда свои горят – сразу едут, – сказал Крыков, – а давеча вот на речке, на Курье, избы занялись – ни один пес не поехал спасать. Войнство!

Рябов поднялся, обдернул на себе кафтан, подтянул голенища бахил.

– Али собрался куда? – вдруг упавшим голосом спросил поручик.

– Похожу малым делом, Афанасий Петрович! Ночь не светлая, рейтары на пожарище.

Крыков поднялся тоже.

– Один пойду! – молвил Рябов. – Кости заболели, покуда лежал связанным. И ты со мной не ходи, Митрий, отоспись...

Поручик проводил Рябова до частокола, велел часовому впустить, когда бы ни пришел. Потом сказал Рябову, как бы невзначай:

– Смотри, кормщик, как бы чего Антип не учинил... Пакостный мужичонка, злокозненный.

Рябов молчал; в сумерках, под медленным дождем, лицо его казалось печальным.

– Я ему больно по душе пришегся, – продолжал Крыков, – разбогател он, трескоед, полна киса золота, теперь я гош стал: как-никак поручик. А ты кто? Кто ты есть, чтобы на Антиповой Таисье жениться? Одна она у него...

Кормщик вздохнул, утер мокрое от дождя лицо ладонью. Дождь пошел чаще, с переборами, часовой солдат юркнул в будку. Пламя в Гостином разгоралось все сильнее. Теперь отблески его играли на грустном, обветренном лице поручика.

– На Иоанна Богослова ты об чем с ней говорил? – спросил поручик.

– Все о том же...

– Без благословения покрутитесь?

Рябов не ответил.

– Ин ладно! – словно через силу молвил Крыков. – Бешеному мужику и море за лужу, делай как знаешь.

Он повернулся и, широко шагая под дождем, скрылся за частоколом.

– Афанасий Петрович! – окликнул Рябов.

Но поручик не ответил, и кормщик, выбирая переулочки потемнее, пошел к своей избе, строенной еще дедом. Зачем пошел – сам не знал, просто понесли ноги попрощаться перед неизвестным будущим, поздороваться после того, как от смерти вынулся, а может, и перстень взять, что лежал в потаенном месте, в подклети...

5. ПОТОНУЛ ТОПОР

В давнее лето дождливым субботним вечером от нечего делать кормщик Рябов заглянул в слободу на Мхи, искал, где бы повеселее, пошумнее погулять...

У высокого глухого тына, за которым лаяли цепные псы, возле крепких резных ворот,

стояла, словно бы не замечая дождя и ветра, незнакомая девица. Волосы ее были неприбраны, тонкие руки сложены на высокой груди, взгляд задумчив и строг.

Кормщик заговорил с нею, как заговаривают двиняне с женками, спросил сиповато, неуверенно:

– Здорово ли ваше здоровье на все четыре ветра?

Она метнула на него взгляд, исполненный пренебрежения, не ответила ни единым словом; покачиваясь тонким станом, ушла в усадьбу; было слышно, как со скрипом въехал в пазы деревянный засов калитки. Псы долго еще лаяли, чуя чужого человека – кормщик ушел не сразу. И с того мгновения образ ее преследовал Рябова неотступно и на берегу, и в море, и на промыслах, и в чаду кружала; и даже в церкви, когда пробовал он молиться, виделись ему спутанные, мокрые от дождя волосы, точно бы летящий взор, тонкие в запястьях руки, колеблющийся стан.

Исподволь, осторожно, жадно стал узнавать о ней, кто такая. Узнал все – дочка кормщика Антипа Тимофеева, звать Таисьей, горда не в меру, женихов всяких гоняет с пренебрежением и над ними насмехается, в церкву ходит редко, рукодельница искусная, хозяйка одна в доме. Батюшка был добрым кормщиком в старопрежние времена, да напужался моря, поторговывает на берегу, накопил горшок золотишка, крутит покрутчиков, без себя посылает в море за свою снасть, приглядывать за наемным народом бывает отправляется и Таисья Антиповна...

Узнал еще, что любит безмерно птиц и что повсюду в горницах висят у нее клетки.

Летом, когда пришли иноземные корабли, Рябов вместо денег спросил желтую, в малиновых разводах птицу. Шхипер посмотрел на кормщика недоумевая, но птицу дал. Рябов взял диковинное, горластое, настырно кричащее существо в руки и охнул. Проклятая птаха так впиалась клювом в ладонь, что он едва ее отодрал. И в посудинке, пока переплывал Двину, и в Архангельском городе, и покуда шел на Мхи к заново отстроенной Тимофеевой избе, – птица терзала его руки. Поначалу он терпел, потом побежал бегом. Были сумерки, шел дождь. Не спросясь, Рябов вскочил в чужую избу, где горела свеча, сказал, задохнувшись от бега:

– Клетку давай! Изгрызла меня, ведьма!

Таисья дикими глазами посмотрела на взлохмаченного, измокшего под дождем мужика, на его руки, с которых капала густая, словно бы черная кровь, принесла клетку. Потом тихо сказала:

– Умен больно. Кто ж его в руках носит, зверя этого?

Руки саднили, Рябов посмотрел на девушку, на тонкий ее стан; в тишине было слышно, как на чистый выскобленный пол капает кровь. Таисья тоже на него посмотрела, засмеялась, повела умыться, намазала ладони мазью, завязала чистыми тряпицами. Кормщик стоял как истукан.

– Чего столбеешь? – спросила она. – Иди теперь.

– А куда мне идти?

– Куда вы все ходите? В кружало! Винище трескать!

Он пошел, но она его окликнула.

– Боязлив больно. Кто сам-то будешь? Откуда свалился?

– Кормщик, – тихо ответил он. – Ну, рыбак...

– Здесь, почитай, все рыбаки. Звать-то как?

– Иваном.

– Рябов?

– Рябов, – смиренно подтвердил он.

– Ты, что ли, об прошлом годе клад нашел на корабле?

– Было! – ответил он.

Оттого, что она заговорила о кладе, ему стало словно бы легче на душе. «Все они Евины дочери! – рассуждал он. – Всем золотишко, да жемчуга, да яхонты надобны. Что ж, будет тебе гостинчик. Сама попросила». В тот же вечер он отправился к бабиньке Евдохе и

сказал, что надобно ему немного из того, что принес когда-то, на гостинец.

– Кому на гостинец?

Рябов не ответил.

– Чего молчишь-то, детушка?

Кормщик вздохнул и ничего не ответил. Врать он не любил, а правду говорить не хотелось. Бабинька легонько хлопнула его по лбу сухой своей ладонью, сказала с угрозой:

– Дурное надумал, кормщик! Я-то знаю, чего говорю!

– Ладно там... – угрюмо ответил он. – Не маленький я, чай!

Бабинька принесла запятанную, зарытую на огороде половину добра и, с насмешкою поглядывая на кормщика, проводила его до двери. Четыре дня кормщик ходил в церковь, наконец подкараулил Таисью.

Жемчуга, перстни, подвески, цепочки были в тряпице, он молча развернул узелок, загородил собою тропиночку на взгорье, сказал почти шепотом:

– На-от, принес гостинчика... что давеча говорила-то... клад корабельный...

Таисья оттолкнула его тонкой рукой, щеки ее вспыхнули, глаза сразу налились гневными слезами. Слово маленький, шел он за нею, вжимая голову в плечи, бормотал вздор:

– Таинька, лапушка, да ты што... да ведь сама давеча... ты зачем же, ластонька...

Она шла, все ускоряя шаг, шелка ее свистели на ветру, гордая маленькая голова была высоко вскинута, и только гневные слезы одна за другой падали на грудь...

Он отстал, остановился, отдуваясь, не зная что делать, в полном отчаянии.

Из-за березок, чинная, строгая – она всегда из церкви приходила строгая, – появилась бабинька Евдоха, оглядела с ног до головы своего кормщика, спросила:

– Подарил подарочка?

Он хотел было ответить поглубже, да не нашелся, в глотке у него лишь что-то пискнуло. Бабинька потрепала его по могучему плечу, вдруг пожалела, отобрала обратно для сирот узелочек и привела в свою избу для беседы. Сели друг против друга, Рябов весь поникший, словно бы меньше ростом, бабинька спокойная, строгая, ясная.

– Ты как об нашей сестре думаешь? – спросила она негромко, но так, что кормщик ужаснулся. – Худо ты думаешь, Иван Савватеевич?

Рябов не ответил, собираясь с мыслями. В углу, ссорясь с хромым петухом, зафырчал старый еж, ударил лапами заяц. Бабинька прикрикнула на них, они притихли.

– Гостинчика принес, дурашка, – уже не строго, с жалостью в голосе сказала Евдоха. – Подарил девицу?

Он промолчал, сгорая со стыда, весь мокрый от внезапно прошибившего пота.

– Теперь походишь! – сказала старуха. – Теперь поизносишь сапогов за нею. Пока простит, пока все изначала почнешь...

– Взглянет ли? – спросил кормщик.

Старуха засмеялась, даже слезинку утерла платочком.

– Ох, Ванечка, Ванечка... взглянет ли... Надо быть, взглянет... когда только?..

– Нескоро?

– А тебе к спеху?

Старый петух взлетел на стол, посмотрел на Рябова одним глазом с насмешкою. Кормщик отвернулся от петуха, повздыхал, утер пот бабинькиным вышитым полотенцем, с усердием слушал бабинькины слова:

– Яхонтами да жемчугами приманиваешь, дураково поле, а потом косу на кулак, да ну куражиться? Нынче сидит эдакий увалень кувалдой, посмотришь – и впрямь тише овцы, а овца про себя такое думает: дай, думает, только попу округить, уж я ей припомню. И мается потом горемычная всю-то жизнь с извергом, – мало я их от вашего брата, звероподобного пропойцы, отбирала? Ты слушай меня, Иван, слушай: Антипова Таисья – таких полсвета обскачи, не сыщешь, ноготка ты ейного не стоишь, под ноги ей лечь, и то велика тебе честь, думай – каково ей за тобой-то будет? Кто ты? Ну, кормщик добрый, друг честный, уродился

не трусливой дюжины. А еще кто? Ты для нее гордость свою забрось, – она, Ванечка, поморка, ей море не в диковинку, и, я чай, сама непужлива...

– Какая уж там ноне, бабинька, гордость, – молвил Рябов. – Быть бы живу...

Старуха с усмешкою на него взглянула, повела плечом, покачала голову.

– А, видать, и в самой деле разбирает тебя, дитяtko. Ну что ж, давай бог. Голову-то ты перед ней пониже клони, пониже... Когда девице и повидать счастье, как не ныне...

Она не досказала, но такой огонь вдруг мелькнул и погас в старых ее выцветших глазах, что кормщику сразу полегчало на душе. «Повидала бабинька на своем веку, – думал он, выходя из ветхого ее дома, – повидала, и сама знает, каково мне... По-глупому не присоветует...»

Дважды набивался он кормщиком к Тимофееву, шел за любой алтын, но не брал Антип; на третий взял весельщиком, – уж больно было лестно Антипу: первый по здешним местам кормщик за честь принял наняться к нему. Об ту пору самого Антипа забрало колотье, для лечения надо было достать рыбу-ревяка, вынуть из воды искусно, так, чтобы проревела рыба колдовской свой рев. Рябов ревяка вынул, все вокруг слышали, как проревел ревяк трижды, потом засушил, положил под постель Антипу. Покуда был в избе, Таисья на него не взглянула; когда вышел, догнала на дворе и, глядя в глаза, сказала, как почудилось ему, с ненавистью:

– Отцепись, слышишь? Все равно в море не пойду, коли ты пойдешь! Не пойду с тобой!

– Ан пойдешь! – ответил Рябов и железными руками взял ее за плечи. – Пойдешь, лапушка, везде со мной пойдешь, умирать станем, и то вместе, не отпущу тебя...

День был холодный, еще не стаяли снега, еще не поломался лед на Двине. Оба они стыли на ветру, и в тот час поняла Таисья: не тот Рябов человек, чтобы можно было выгнать его вон, как гоняла она всех до нынешнего утра.

– Весельщиком покрутился! – сказала она жестко. – Первеющий кормщик за девкин подол держится, не оторвать. Не пойдешь весельщиком! В зуйки бы еще нанялся...

Но он пошел весельщиком, пошла и она на весь длинный летний промысел. Одна женка между покрутчиками, была она с ними как мужик, огрызалась на всякое слово, ела то же, что и все, спала на камнях, как спали другие. Как все покрутки, она по двое, по трое суток не смыкала глаз, да и как уснешь, когда шибко идет на яруса рыба и трясут тряску по пять раз в день. Под незаходящим солнцем покрутки пластали треску. Таисьино дело было отбирать для сала максу, руки у нее почернели, кожу саднило. По ночам за камнем-горбылем она плакала, словно маленькая. Рябов заглядывал за горбыль, она кидала в него щебнем:

– Уйди, не лезь!

Покуда рыба сохла двенадцать недель, покуда солили треску в ямах, покуда вытапливали сало, Рябов не замечал времени. Все катилось словно один день – взглянула Таисья али не взглянула, отворотилась али слово сказала, запела али сердитая вышла, – все было: и радость, и горе, и счастье, и беда, – все словно в один день. А когда пришли обратно – вот тогда сделалось худо. Как ее не видеть? Как ее не слышать? Как с ней не разговаривать?

Незадолго до Оспожинской ярмарки – рыбной – он, да Таисья, да еще весельщик Семка, да тяглецов шестеро пошли на промыслы за рыбой. Теперь он шел уже не весельщиком, а кормщиком, суденышко было изрядное.

На пути ударил внезапно шквал такой силы, что лодья поднялась кормой. Рябов, прихватив к себе Таисью, чтобы не смыло водой, пустил в парус топор – жалом вперед. Парус лопнул, шквальный ветер разодрал его пополам, посудинка встала на волну ровно.

– Сбрасывай парус! – крикнул Рябов.

Судно пошло спокойно, Семка готовил иглу – штопать пробитую топором прореху.

Небо светлело, шквал ушел далеко, пылил теперь у норвегов. Кормщик поискал вокруг глазами, покачал головой:

– Топор неладно кинул, потонул теперь топор. Ругаться будешь, хозяйка?

– Любый мой, кровиночка моя... – услышал он.

То был ее голос, но он не поверил, да и как мог поверить! Оглянулся, посмотрел: Таисья стояла, отворотившись от него, смотрела на море, на пенные буруны, летящие по волнам, какая была – такая и есть. Уж не помрачение ли нашло на него?

Пришли на промысел, завалили посудину бочками, односолку закидывали слоями в судно, сушеную наваливали где попало. Под тяжелой бочкой подломился шест, бочка побежала назад, ударила Рябова в грудь, он упал навзничь, поднялся, но идти не смог. И тогда опять услышал:

– Любый мой...

Не ища, откуда, кем сказано, он закрыл глаза и подумал: «скажи еще!»

Никто ничего более не сказал. Отплевавшись кровью, отлежался до вечернего солнца, поднялся, пошел и за камнем наткнулся на Таисью. Все лицо ее было мокро от слез, глаза смотрели странно, такого взгляда он еще не видел: то ли испуганно смотрела она, то ли не узнала.

– Ты что? – спросил он.

Она молчала. Тихо, слабыми руками, он осторожно обнял ее и спросил:

– Не люб я тебе?

– Люб! – громким и ясным голосом ответила она. – Люб! С того дня, как батюшке ревяка принес, – люб! То и света мне, что ты. Ты един мне люб, и никого мне не надобно, и ничего мне не надобно...

Закрыв глаза, улыбаясь, она передразнила:

– Топор потонул... Ругаться будешь, хозяйка?

И засмеялась, откинув назад голову, милым, едва слышным смехом.

– Ничего мне не надо, – говорила она потом, ночью, когда стоял он на корме шняки и ветер свистел в парусах, – ничего, слышишь, медведущка? Батюшка не благословит, все едино уводом меня уведешь, ты кормщик, я не велика боярыня, прокормимся. Да ты слышишь, Иван Савватеевич?

Он слышал и не слышал, понимал и не понимал.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Не с богатым жить мне – со светом!

Песня

Как у нашей у княгинюшки
Ни отца нету, ни матери,
Снарядить-то ее некому,
Благословить-то ее некому...

То же

1. ТРУДНАЯ БЕСЕДА

Воскресным утром Антип Тимофеев бухнул кулаком по столешнице так, что задрожали огоньки в лампадках, зарычал с бешенством:

– В кой раз говорено – не отдам! Голь перекатная, пес шелудивый, рыло неумытое, что надумал!

– Потише шуми, батюшко, – угрюмо попросил Рябов.

– Я тебе не батюшко, ты мне не зятюшко! – гаркнул Антип. – Всяк весельщик в родню

суется! Иди, мужик, отселева, пока жив, иди, поторапливайся...

Скворчали на сковороде шаньги с творогом, пели Таисьины птицы в клетках, ярко попрежнему светило солнце, все было как в прошедшие времена, а на самом деле все стало худо, так худо, что и вовсе пропадай...

Не торопясь, тяжело бухая сапогами, Рябов вышел на крыльцо. Таисья ждала здесь – у рябины. Кормщик молчал.

– Ну? – спросила она.

– Худо! – молвил он.

– Худее не бывает? – дернув бровью, усмехнулась она. – Что ж, пожалуй тебя, кормщик? Ишь, горе какое, ишь беда неизбежная, хуже и на свете не сыщется...

Рябов смотрел, не понимая – шутит али вправду жалеет его. Для чего же тогда так дрожит ее бровка, для чего лукаво блестят глаза?

– Напужался, я гляжу, на себя не похож стал, – видать, страшен батюшка-то мой? Беда мне, кормщик, ошиблась я: ранее думала – смелый у меня рыбак, смелого за себя мужика беру, а он тихий, тише воды ниже травы, пужливый, словно бы зайнька али мышка...

Бесстрашно, возле крыльца, закинула тонкие руки ему за плечи, приказала строго:

– Увозом увезешь!

– Как оно – увозом?

– Как? А как задастся. Увезешь, и судьба в том наша. Какая судьба будет, так и заживем. Понял ли, ума палата?

С тем и скрылась в избе.

Потом пошло одно другого хуже. Старик, словно очумев, за покрутчину дал одной треской, пришлось возвращаться в монастырь, в монастыре потопился карбас, отец келарь продал кормщика на «Золотое облако», а тут как-то осенним вечером поручик Крыков приехал к Антипу покупать рыбу для таможенных солдат. Таисья была в избе. Афанасий Петрович взглянул на нее и оробел. Оробел на много времени вперед, рыбу купил задорого, вонькую, соленую, заплатил не по правилу – все сполна до перевозки – и солдата послал скакать на лошади за сладкими угощениями. Таисья на поручика не взглянула, но старик возмечтал и всю ночь не мог уснуть.

Крыков зачистил на Мхи, сидел молча или говорил так:

– Однава спрятали датские корабельщики клинки на продажу. Я споймал.

Таисья стучала клюшками, не поднимая взора, старик угодливо восклицал:

– Скажи на милость! Бывает же!

Вновь надолго делалось тихо в горнице. Прокричит сверчок, смолкнет. Шелохнется птица, и только клюшки стучат в ловких Таисьиных пальцах.

Оробевший поручик опять скажет:

– Солдат Ерофеев нечаянным манером проглотил давеча у нас в таможенном доме иглу!

– Вот так на! Помер?

– Живет. А те датские корабельщики еще перец привезли. Тоже споймали.

Про поручика старик Тимофеев выразился так:

– Спекся господин поручик Крыков. Теперь не уйдет от нас. Наше все при нас.

Таисья поднялась с лавки, подошла к отцу близко и сказала:

– Не будет того!

Глаза ее зажглись, румянец сбежал со щек. Антип смотрел на дочь сначала с изумлением, потом раскричался. Она стояла отворотившись, не слушала, словно и не на нее он кричал, словно бы ей и дела нет до всего этого крика в избе.

К вечеру опять прискакал поручик, одетый особенно, опрысканный настойкой на заморском дереве ванили, расчесанный на три стороны, при шпаге, при перчатках, при шпорах. Робость в тот день на него напала такая, что кроме как о давешнем дожде он не сказал ни единого слова и только лишь покашливал трубным голосом. Таисья сидела бледная, на гостя ни разу не взглянула, старик злился с каждой минутой все более. Когда

отца вызвали из горницы, Таисья сказала поручику, не поднимая глаз:

– Богом прошу, господин, более сюда не бывать. Есть у меня нареченный, от него никуда я не пойду, а коли приневолят – утоплюсь.

Она вскинула на него огромные свои прозрачные глаза, зарделась вся так, что даже маленькие уши ее стали пунцовыми, улыбнулась и вновь склонилась над работой, тихо молвив:

– Простите на том!

Афанасий Петрович посерел, покашлял так, что изба отдала ему эхо, хотел было сразу идти, но почел неприличным и с места не сдвинулся. Надо было что-нибудь сказать, он сложил в уме фразу и сказал ее глухим голосом:

– Вот какова конклюзия сей конверзации.

Таисья, не понимая, опять на него взглянула. Он смешался, сказал отчаянно:

– Таичка, Таисья Антиповна, что ты со мной сделала!

И, сдавив голову ладонями, охнул так, что у Таисьи сжалось сердце. А Крыков между тем, разлохматив прическу, сделанную на три куста, хватил себя за ворот, расстегнулся и вдруг стал прежним Афонькой, охотником, двинянином, простым малым. Старик под окнами все переругивался с покрутчиками, сулил им сухотку и черную немочь, а тут, в горнице, Таисья в первый раз за все это время заговорила с Крыковым, как с добрым и единственным другом.

– Афанасий Петрович, господин Крыков! Ты ему не враг, ты ему друг! – говорила она быстро, и губы ее дрожали от волнения. – Я знаю, он рассказывал, бабинька Евдоха вас ребятишками в одном корыте мыла. Афанасий Петрович, ты у нас с ним один и есть во всем свете. Ты иначе не можешь, как только нам помогать, потому что никого более у нас на свете нет...

Она говорила долго и просила не открываться батюшке об этой беседе, а поручик сидел подпершись и молчал. Потом также в молчании поднялся и, позабыв на лавке перчатки, ударившись о косяк, вышел.

В тот же вечер на лодейной пристани Афанасий Петрович, уже выпивший изрядное количество гданской водки, встретился с кормщиком. Рябов выкидывал наверх мешки из старых сетей с сухой рыбой. Крыков смотрел на него сверху, раздувал ноздри, думал: «Заколю обидчика насмерть шпагой, более ничего мне не остается, таков будет конец сей печальной фабуле».

Но не заколол, а только сказал:

– Имею честь пригласить тебя, Иван Савватеевич, дабы вместе провести некоторое время за кружкой и беседой.

– Вот рыбу выкину, тогда и пригласишь! – добродушно ответил Рябов.

Он повыкидал все мешки, умылся в тихой Двине, потом поглядел на Крыкова и спросил:

– Чего это ты, Афанасий, ныне ровно бы муху проглотил? Али неможется?

Сидели в горнице у поручика, пили мумм – аглицкое пиво Крыков остро всматривался в кормщика, глаза у Афанасия Петровича были недобрые, верхняя губа вздрагивала.

– Заколоть тебя, что ли? – спросил он.

– А и заколи! – ответил беспечно Рябов. – Чего в самом-то деле! Али стрели! Бери мушкетон свой, ставь на рогатину и стрели. А я не пошевельнусь, дело верное, попадешь!

Так сидели долго, покуда Рябов не понял, что к чему. А когда понял, сказал:

– Ладно, Афанасий Петрович, что это мы вокруг да около ходим, дело не говорим. Я ее живой не отдам. А слово мое свято. Ищи себе другую женку, вот весь мой тебе сказ. Поищешь – найдешь, не найдешь – с таким останешься, а на Мхи забудь хаживать.

Крыков сидел молча, тяжелый от гданской и от мумма; непривычный к вину, он весь рассоловел, словно бы даже постарел. На кормщикова слова только повел глазами, сказал тоскливо:

– Люба она мне, кормщик, уж так люба...

Рябов молчал.

Тяжело дыша – ночь была душная, теплая, не осенняя, – Крыков велел кормщику уходить. Тем и кончилось. Больше Крыков на Мхи не ходил, но Рябову не стало от этого лучше. Антип совсем взбеленился, дважды побил Таисью, на третий она на него замахнулась скалкой, да так, что ударила бы, не увернись батюшка вовремя. Для увещаний был зван поп своего приходу, потом протопоп, потом игуменья. Таисья на все их добрые слова молчала, словно онемела. Однажды ночью, выбежав к кормщику, вынесла два кольца, сказала: вот обручимся, не гоже так, а мы сделаем...

Кольцо он не носил, держал дома в подклети, чтобы не осрамить девушку. Страшно было – самого засадят в монастырскую тюрьму, али потопнет, али вот за море продали, что ей тогда делать, как доживать? Но когда думалось, как пойдет она за другого, кровь кидалась в голову, всякое соображение оставляло кормщика, в бешенстве он крутил головой, бормотал:

– Нет, не пойдешь! Не пойдешь, лапушка! Не пойдешь!

Нынче, в ночь, взяло его отчаяние, ни с чем не сообразное, небывалое еще. Спустившись в подклеть, вынул тряпицу с кольцом, вздел перстенок на палец, решил твердо: «Отдам. Куда нам с ней идти? Что возомнил, дураково поле, водохлеб, на кого воззрился? Знай, сажеед, свое место на земле, что определено тебе от века. Помни свою судьбу, не ищи иной, не беги ее. Море, да рев падеры, да песня в кружале – так и живи. Полюбилась Таисья – уйди. Что, кроме горя, ты можешь принести ей? Какой там царь? Какому царю ты нужен? Какие могут быть морские утехи? Ничего того быть не может и не будет никогда. Бери сироту своего да иди покругчиком на дальний Терский берег, не так уже долгоруки монаси – не достанут оттудова. С Терского берега продерешься до Колы. И там люди живут, а помирать все едино – в море. Не помирают рыбаки в избе, не копают могилу рыбаки в желтой придвинской земле. Так чего ж не уйти?»

...Сдвинув брови, уперев бороду в кулаки, долго и неподвижно сидел он в родной избе, слушал, как в подполье точит мышь.

Опустился на колени посредине горницы, сказал тихо:

– Благослови, батюшка, благослови, матушка, идти из города Архангельска прочь. Нету мне здесь жизни, замучили, задавили все лихими неправдами...

Ждал, точно могли они ответить, потом поискал глазами в избе, нет ли чего, что сгодились бы на память? Нет ли сумочки батюшкиной, пояска, мягких рукавиц, что помнились ему с детства, с того самого времени, как брал его отец зуйком в дальний путь – в неметчину али на студень Грумант, подле которого в морозной морской бездне живет Рачий царь, океанский прегрозный владыко, коего робеет все сущее на водяном дне: от малой рыбешки до стоаршинного зверя – кита.

Ничего не осталось: с чем живет кормщик, с тем и помирает, все, что есть у него, берет море. Пусты укладки в его избе, не блестит серебро в поставцах, не истлевают сукна, атласы, меха в его подклетях. Что заработано, то и прожито, да и что заработает рыбак? Мучицы в долг, соли в долг, на кафтан дерюжки в долг, а к расчету и нечего получать. Оттого и в кабак. Кто с моря вынул, тот прямой дорогой в баню, а оттуда в кружало. Этой дорогой ходили деды, этой ходят сыновья, так суждено внукам, и никому, видать, не переиначить, не переспорить судьбы, данной лодейному кормщику от сурового поморского бога.

Ушел ли он, Иван Рябов, от своей судьбы?

Ушел ли батюшка, который денно и нощно надеялся выйти в море не на суденышке, а на большом корабле, батюшка, который с гордостью говаривал, как поведет тот корабль в дальние теплые моря, в страну Арапию, станет там наипервейшим кормщиком и возвратится со славою и превеликим богатством.

Что осталось нынче от Саввatea Рябова, от его бесстрашия, от могучей силы, от смеха зычного и веселого, раскатистого, словно пушечная пальба?

Ничего не осталось. Только в памяти он остался, батюшка, с песней, что певал он,

возвратаясь в подпитии из кружала, – горькой, тяжелой и короткой, как сама жизнь беломорского рыбака.

Осока да мурава
Во поле горькая трава...

Много уцелело в памяти...

Вот скрипит, рушится лодья, бросают ее грохочущие дикие валы, мелкими крестами осеняют себя рыбаки-покрутки, молят пресвятого Николу о спасении, а батюшка, весь в морской пене, на стонущем, воющем ветру навалился всею силою на рулевое весло и хрипло, весело ругается, велит отливать воду, велит прятать парус, велит конопатить щели в лодье...

Весь он, батюшка, перед глазами: смола, да ворвань, да рыбы чешуйки, налипшие на бахилы. И как сидит он, развалясь, на лавке, оглаживает сырую после баньки бороду крупною рукою, слушает богатеев-наемщиков:

– Уважь, Иваныч, сгоняй лодью не в дальние края. Как буря-падера упадет, без тебя-то и не жильцы мы, лба не перекрестивши потопнем. Для бога, Иваныч, поднялись бы не спехом, разуважь, родимец...

Дымный свет лучины дробится в темном стекле штофа, отец не спехом говорит:

– То-то и худо, что не в дальние. Кабы в дальние – получше бы стало. В землю Арапию бы сходить. Будто есть такая? Ан нет? Будто народишко там как есть весь черный, ходит нагишом...

Наемщики переглядываются на речи кормщика, гнут свое, наливают по курбастым чаркам вино, заедают треской. Беседа течет медленная, кормщик уходит от ответа, наемщики прижимают. За вторым штофом бьют большое рукобитие. А назавтра уже и нет батюшки, будто вышел ненадолго к соседу за огнем, будто вернется сейчас.

Так и жили, покуда однажды скрипнула дверь, зашел сивый от старости рыбацкий деденька, помолился на образа, сказал:

– А твой-то, вдовица божья, приказал долго жить. Взяло его море. Видел сам, как било его море, ударило об лемехи, не сдюжил кормщик, рассыпало лодью. Сильная падера упала, господи спаси и помилуй, спехом их море взяло, сполнилась над ними воля божья.

Малое время победовала матушка, пошла, не одевшись, по воду зимним временем, ударила ее лихорадка-леденя, – померла. И остался зук один на свете мыкать рыбацкое житьишко. Из зуйков пошел в покрутки, из покрутчиков вырвался в кормщики. Шел тем же путем, с моря в баню, из бани в кружало, поминать дружков, отгуливать студеною морскую соль, кровавые волдыри на руках, скрип карбаса, рев падеры...

Жил как все. И вот – дожил.

Артельный кормщик Иван Рябов должен уходить с родных мест, бежать, таиться. За что?

С сурово поблескивающим взглядом вышел кормщик на крыльцо под мелкий частый дождичек. Припер батошкой дверь, сказал соседке:

– Эй, честна вдовица, бери строение мое, ухожу я...

Соседка всполошилась, непокрытая подошла ближе, спросила:

– Куда ж ты, сиротинушка?

– Обо мне не печаловайся, а изба, я чай, сгодится. Да помолись за раба божья Ивана, чтобы и ему на божьем свете теплее жилось. С тем прощай, Гавриловна!

Вдовица поклонилась низко.

– Беда у тебя, Иван Савватеевич?

Он ничего не ответил, усмехнулся и пошел. Дома в немецком Гостином дворе пылали длинными языками, пламя свистело и ухало, искры под дождем не гасли, неслись по сторонам, поджигали соседние избы... Вдовица тихо плакала на доброту чужого мужика, крестила его вслед, причитала над судьбою кормщика Рябова Ивана Савватеевича.

2. МОЛОДЫЕ

Кольцо Таисья обратно не приняла, да и как он мог думать, что примет? Выслушала все, посмотрела на него снизу вверх, сказала вдруг глубоким, негромким голосом:

– Попа надобно найти, да нынче же, слышишь, Иван Савватеевич?

Антиповы собаки-волкодавы прыгали рядом, радостно скулили, визжали, стараясь лизнуть Рябова в лицо. Он всех распихал, не веря своим ушам:

– Какого попа?

– Который ночью окрутит и в книгу запишет. Есть такие – я знаю, слыхивала. Которые увозом венчают.

– Ты в уме ли, Таюшка? Меня не нынче завтра в монастырскую тюрьму упрячут, многие ли оттудова на своих ногах выходили? А не упрячут – на корабль сдадут, на «Золотое облако». За кого идти собралась?

– За тебя! – твердо сказала Таисья.

– Бежать мне надобно отседова.

– И я с тобой убегу.

– Куда?

– Куда ты убежишь – туда и я.

– А коли споймают?

– Споймают – ждать тебя буду!

Потом она рассердилась и сказала:

– Сама себе такого выбрала, понял ли? Беги к поручику, разбуди, коли спит, веди сюда: он и попа съест, он и охранит, покуда батюшка венчать будет. Да к Евдохе зайди, золото свое возьми: поп-от, покуда в руку не взглянет, в алтарь не взойдет.

И толкнула его в спину, чтоб шел шибче.

Он побежал, не чуя под собою ног, разбудил бабку Евдоху, сам вздул огня, сам светил лучиною, пока она искала тот его узелок, что принес ему когда-то столько огорчений...

– Увозом? – спросила бабинька, зевая и крестя рот.

– Увозом! – радостным шепотом ответил кормщик.

– Дело доброе. Антип взъярится, да и пес с ним! Ничего, хорошо удумали – увозом...

В подпечке застучал лапками, зафырчал еж, петух всполошился и прокукарекал, на полатах завозились сироты, призреваемые ныне бабинькой...

– От венца-то куда поденетесь?

– Не ведаем, бабинька...

– Сюда бы, да здесь отыщет вас Антип...

Она усмехнулась, лицо ее помолодело, на мгновение кормщик увидел ту рыбацкую женку Евдоху, которую и нынче, крутя головами и хитро подмигивая, вспоминали рыбаки-старики.

– Была бы молодость, а иное отыщется, – сказала она и поднялась.

Поднялся и Рябов.

– Пади на колени, благословлю! – велела бабинька.

Он опустил на колени, взглянул на нее снизу вверх. Она благословила его иконою старого письма, дала приложиться к образу и постояла задумавшись. Губы ее шептали неслышную молитву.

– Теперь – иди!

Рябов низко поклонился и пошел к двери. Она издали приказала:

– Чтоб жалел ее, слышь, мужик?

– Слышу, бабинька! – не оборачиваясь, кротко ответил он.

– Да весть о себе подай!

От бабиньки Евдохи Рябов спехом отправился к таможне. Афанасий Петрович не спал, ходил в задумчивости по своему покою. Дождище все барабанил по тесовой крыше, стекал

по двору шумными ручьями. Возле таможенных складов сторожа стучали в колотушки, покрикивали:

– Оглядывай!

Караульный отвечал:

– Ходи веселей, постораживай!

– Попа ей зандобилось сыскать? – в задумчивости произнес поручик. – И чтобы я сыскал?

Рябов кивнул головой.

– Может, без меня управитесь?

Кормщик молчал.

Поручик снял с деревянного крюка просмоленный плащ, хотел было накинуть на себя, да раздумал – накинул на кормщика. Был поручик бледнее обычного, верхняя губа у него дергалась, глаза смотрели невесело. Во дворе велел он солдату седлать двух жеребцов. Жеребцы били копытами, кусались, солдат ругался. Митенька крепко спал на лавке, во сне улыбался.

Когда выехали, наступило утро, с пожарища полз едкий дым, доносились крики, выли женки на пепелищах.

Таисье поручик не сказал ни слова. Рябов посадил девушку перед собой, застоявшиеся кони сразу взяли, вынесли всадников на проселочную дорогу к рогатке. У Таисьи, покуда ехали, глаза были закрыты, она сидела как бы в забытии, но нежный румянец горел на щеках, и порой она вздрагивала, точно от холода.

– Не застудишься? – спросил Рябов.

– Держи крепче! – ответила она.

Жеребец на скаку всхрапывал. Таисья все оглаживала маленькой жесткой ладонью его крутую взмокшую шею, жалела, что ему тяжело. Крыков, не оглядываясь, скакал впереди. Неподалеку от гнилой церквушки Афанасий Петрович круто осадил коня у избы, вросшей в землю, без деревца, без куста вокруг, спрыгнул в жидкую липкую грязь. Мокрые вороны кричали сердито, под обрывом лениво, в тумане, текла Двина, дождь опять пошел сильнее.

– Не отдумала? – спросил Рябов.

– Не отдумала.

– Едва ли не за татя идешь! – сказал он. – Избу и то нынче отдал. Где голову приклонишь?

– Молчи, глупый! – ответила она едва слышно.

Крыков не выходил долго, потом вывел из избы длинного попа со щучьим лицом, заспанного, жадного, испуганного. Кормщик показал ему золото, поп закивал, закланялся, велел немедля подъехать к церкви, сам привязал жеребцов к бревну у колодца. Чмокая лаптями, по грязи сбегал за дьячком. Дьячок, весь в перьях – щипал петуха, – побежал за дьяконом. Со скрипом отворились двери церквушки, деревянной, бревенчатой, строенной в стародавние времена...

Покуда ждали, Крыков ходил возле паперти – думал, и во время венчания тоже был задумчив и грустей, а потом встряхнул головой, новыми глазами посмотрел на кормщика и на Таисью, улыбнулся.

– Куда ж теперь, молодые? Где пировать, где меда ставленные пить, где бражка наварена?

Молодые молчали.

– Взялись вы на мою голову, – не то шутя, не то сердито молвил поручик, – куда мне теперь с вами? Небось, Антип уже ищет...

– Ищет-свищет, – сказал Рябов, – многие нас теперь ищут...

– Больно громко живешь, вот и ищут...

Опять поехали – в обход рогаткам, переулками города Архангельского, под мелким дождем, куда – неизвестно. Таисья задремала от усталости, просыпалась часто, вздрагивала, промокла до нитки. Кони шли не шибко – тоже притомились. На взгорье Крыков отстал,

велел подождать. Не было его порядочное время, наконец появился с притороченным к седлу мешком, крикнул:

– Веселее, други, скоро приедем...

Приехали к вечеру. Дождь перестал, небо очистилось, над Двиной дрожала радуга. Женки неподалеку пели:

Спится мне, младешенькой, дремлется.
Клонит мою головушку на подушечку;
Мил-любезный по сеничкам похаживает,
Легонько, тихонько поговаривает...

Белые ромашки цвели возле таможенной караулки, у воды все было желто от цветов купальницы, дальше лиловели герани, за геранями необъятно раскинулась Двина. Тут был ей конец – море. Женки перестали петь – засмотрелись на всадников, пересмеивались, решив, что то – солдаты-караульщики. Погодя, вновь запели:

Мил-любезный по сеничкам похаживает,
Легонько, тихонько поговаривает...

Пели негромко, так негромко, что даже пуночку не спугнули, что чистила перышки невдалеке от таможенной караулки.

– Ноне тут стражу не держим. Покуда укройтесь здесь, – сказал Крыков. – А коли что новое делается, я солдата пришлю. С солдатом, Иван Савватеевич, поедешь: значит, дело есть, коли пришлю. Ествы вам покуда в торбе хватит, тут и вина свадебного сулея. Может, поднесешь, Таисья Антиповна?

Таисья вошла в караулку, огляделась: печка небеленая, тязло с почерневшим образом, за образом две деревянные ложки, на щербатом столе берестяной кузовок с солью, лавка, нары, чтобы спать. Улыбаясь, словно пьяная, она присела, толкнула рукой слюдяную фортку – теплый ветер с моря засквозил в караулке, запахло давешним дождем, мокрыми еще травами, смолою от лодки-посудинки, что вынутая сохла на берегу...

– Вовек не забуду! – хмурясь, сказал Рябов поручику. – Слышь, Афанасий Петрович.

– Когда тонут – топора сулят, а как спасутся, то и топорича не допросишься, – ответил Крыков. – Ладно, чего там, кормщик, сосчитаемся на том свете угольями... Что ж, хозяйка твоя поднесет али не поднесет гостю с устатку?

Таисья поднесла с поклоном. Крыков выпил, сказал круто:

– Теперь прощенья просим, время ехать!

Таисья опять поклонилась. Рябов попридержал жеребца, повод второго дал в руку поручику.

Крыков кольнул шпорами коня, жеребец дал свечку, с места взял крупной красивой иноходью, и вскоре затих за леском топот копыт. Таисья стояла прижавшись к Рябову, слушала, как поют невдалеке тихие женские голоса.

Спи, спи, спи, ты, моя умница,
Спи, спи, спи, ты, разумница,
Загоена, забронена, рано выдана,
Спи, спи, спи, моя умница...

3. И ЧЕГО СМЕЕМСЯ?

Утром с поздравлением пришел Митенька, принес каравай хлеба свадебного, изюму заморского в берестяном кузовке, свечу. Низко поклонился Таисье, она поцеловала его в лоб.

– Будешь мне теперь за брата, – услышал Митенька, – вон нас теперь сколько, – ты, да он, да еще Крыков Афанасий Петрович...

Полдничали втроем, ели курицу печеную, пикшу, что давеча в мешке привез поручик, запивали двинской водицей, потом сидели на солнышке.

– Давайте петь будем! – сказала Таисья.

Митенька завел мягко, словно девица:

Уж и где же, братцы, будем день днвать,
Ночь коротать?

Таисья сильно, полным голосом подхватила:

Нам постелюшка – мать сыра земля,
Изголовьице – зло поленьице...

Рябов лежал навзничь на горячем песке, жадно вглядывался в Таисьино лицо, держал в ладони ее тонкое запястье, слушал, как в два голоса, точно давно спевшись, они выводили:

Одеялышко – ветры буйные,
Покрывалышко – снега белые...

Двина негромко шелестела у берегов, солнце грело все жарче, едва заметно двигался парус на шняве, входящей в устье.

– Чего не поешь? – спросила Таисья, склонившись к лицу кормщика. – Чего задумался, Ваня?

Он вздохнул, усмехнулся, сказал ласково:

– Чудно как-то все. Не верится, словно бы...

– А ты верь!

Она глядела на него близко, переносье ее обсыпали веснушки, в глазах стоял влажный счастливый блеск.

Митенька сидел в стороне, пересыпал песок из ладони в ладонь, рассказывал:

– Батюшка твой, Таисья Антиповна, ноне везде перебивал, до полковника Снивина до самого дошел, спознал, что уводом на конях уехали, а куда, того никто ему поведать не может. До поручика тоже зашел, поручик прикинулся незнайкой. Выпивши батюшка твой, Таисья Антиповна, и с ним от полковника приказной при сабле, тоже выпивши. На телеге двуконь по всему городу ездют и большие деньги за кормщика посулили, кто дядечку споймает. Берегись теперь вам сильно надобно.

– Убежим в Колу, не найдут! – сказал кормщик. – Дорога недалеко – от Холмогор до Колы всего и есть тридцать три Николы. Убежим, Таюшка?

– Убежим, – беззаботно, думая о другом, сказала она.

– Да ты слышишь ли, о чем говорю?

– Как не слышать: убежим – спрашиваешь, убежим – отвечаю...

И засмеялась. Он тоже засмеялся. Засмеялся и Митенька.

– Смехи какие нашли, – сказал кормщик. – И чего смеемся-то?

– Про топор вспомнила, – все еще смеясь, молвила Таисья. – Как ты топор потерял...

Вечером Митенька ушел, и опять они остались вдвоем. С моря покатила набируха, ветер засвистел гуще, по небу поползли тучи. Рябов посмотрел таможенную посудинку, что лежала на берегу, подтыкал ее паклей, нашел весла; крякнув, спихнул лодчонку в воду. Таисья, прищурился ресницы, смотрела на мужа.

– А тебе без моря уж и жизнь не в жизнь?

Кормщик виновато поморгал, ответил не сразу:

– Да коли ненадобно, так чего же...

– Ладно, пойдём! – сердито улыбнувшись, сказала Таисья.

Выкинулись из устья сразу, кормщик громко сквозь вой ветра крикнул:

– Учись, женка! Заберут меня, сама станешь кормщиком. Была тут о прошлые времена одна Марфа самым лучшим кормщиком, ходила до Канина Носа и далее... Учись, вон, где чего. Вон, видишь, – вьюн, тое течение делается со встречи, когда набируха идет и река ей впоперек ударяет. Вьюна пасись... Когда на вьюн наскочила, в море выбрасывайся, его не бойся, камня бойся, кошек, скал... Костлявый берег – того бойся, как мы камни называем, костливость...

Ветер круто, с силой вел посудинку, словно птица влетела она в салму – в узкий проливчик и, слегка накренившись, миновала острые, черные прибрежные горушки.

На ветру, в серых сумерках ночи рассказывал Рябов, как важивать корабли в устье, по каким приметам запомять мели. Таисья сидела рядом, вздрагивала от сырого ветра, жалась к мужу, спрашивала:

– А тут и большие корабли пройдут?

– То Мурманский рукав, неверный, через него мелководные посудинки с грехом пополам хаживают. А далее, видишь, вон куда показываю, название ему Поганое Устье, вовсе мелководье, его пасись. Теперь сюда гляди да запомяй, – назад сама поведешь. То Заманиха, стрелу ейному не верь, нонче он таков, а завтра иначе повернет, и сядешь на мель...

Не выпуская дрог, надавливая боком на стерню, в кафтане, распахнутом на ветру, с глазами, остро сощуренными, он одной рукой обнял Таисью за плечи, наклонился и стал целовать мокрое лицо, теплые, раскрывшиеся навстречу губы.

– Потопнем, Ванечка! – наконец сказала она.

– Небось, вместе! – ответил он.

– Жалко тонуть, Ванечка!

– Небось, у бога-то монасей нет, житье полегче.

– Не срамосьловь...

Лодья развернулась под ветром, пошла, кренясь, куда гнал ее ветер, кормщик выпустил дрог из руки, рулевое весло завалилось на бок...

– Ох, кормщик! – сказала Таисья. – Ну что ты за мужик такой бесстрашный...

4. УМНИЦА, РАЗУМНИЦА...

Потом, смеясь, Рябов молвил:

– И куда это нас занесло? Ивняка-то, кажись, не должно быть... Бери-ка весло, женка, выводи корабль!

Таисья вздохнула:

– Погоди, посплю.

Она задремала, а он долго осматривался, потом резко переложил весло, повел посудинку к таможенной будке, шибко врезался днищем в песчаный берег, взял Таисью на руки и внес в караулку. Далеко в деревне пели петухи, один прокричал, второй, третий, звонко пролаяла собака. Хотелось есть. Рябов налил в кружку гданской, стряхнул с вяленого палтуса муравьев...

– А я? – спросила Таисья.

Шатаясь спросонья, подошла к нему, села рядом на лавку, вылила водку на землю, молча, с закрытыми глазами, стала жевать пустой хлеб. Потом, словно во сне, сказала:

– Лада.

– Чего?

– Лада мой! – повторила она. – Лада. Муж. Лада.

Засмеялась, припала к его плечу, вздохнула. И строгим голосом велела:

– Теперь спать меня уклади.

Удивляясь сам на себя, на нее, на все, что случилось, он опять взял ее на руки, уложил,

сел рядом. Ресницы у Таисьи дрогнули, она спросила:

– Чего не поешь? Пой! Мамушка моя мне певала...

– Да коли я не умею петь-то...

– Небось, споешь.

Он завел, робея, про осоку да мураву.

– Надо больно слушать, – сердито сказала Таисья. – Пой «Мою умницу».

Кормщик прокашлялся, завел пожалостнее:

Загоена, забронена, рано выдана...

– Не отсюда! – сказала Таисья. – Никого не было, а полпесни пропало. Пой как надо! Велено – и пой!

Кормщик еще прокашлялся, запел с самого начала:

Спи, спи, спи, ты, моя умница,

Спи, спи, спи, разумница...

– Вишь как? – сказала Таисья. – Коли захочешь, так и петь можешь...

Она обняла его за шею, близко притянула к себе, к самому лицу и сказала:

– Пропал ты теперь, кормщик. Был мужик сам себе голова, а нынче кто? Кто ты есть нынче? И водочки не велела пить, ты и не стал. Хочешь поднесу?

Не дожидаясь ответа, она вскочила, налила из сулеи кружку, половину, подумав, выплеснула на пол и поднесла:

– Пей!

– Пить ли?

– Пей, коли велено! Погоди, с тобой выпью.

Она пригубила вино, сморщилась и словно бы с состраданием вздохнула, когда кормщик допил остальное. Потом крепкой рукой взяла его за волосы, откинула ему голову назад и спросила:

– Люба я тебе, Ванечка? Женой – любя? Сказывай сразу, не то уйду!

– Люба!

– А другие?

– Чего другие? – не понял он.

– Другие твои... разные...

Теперь она двумя руками держала его за волосы.

– Ну и чего, что разные? Мало ли чего...

Она смотрела на него в упор, ждала.

– Небось, на дыбе, и то помилосерднее! – усмехнулся Рябов.

Таисья больно дернула его за волосы, крикнула:

– Сказывай!

– Да что сказывать, оглашенная?

– Все сказывай, слышишь? Все, до последней до правдочки. До самой самомалейшей...

Вдруг оттолкнула и попросила жалобным голосом:

– Не смей сказывать, лапушка, ничего не смей. А коли я попрошу слезно, все едино не послушайся, чего бы ни говорила...

Он смеялся и гладил ее косы, а она смотрела ему в глаза, не моргая спрашивала:

– Сколько можешь вот так смотреть? До утра можешь?

Утром опять пришел Митенька, принес молока в глиняном кувшине, творогу, хлеба каравай, рассказал новости: преосвященный Афанасий нежданно нагрязнул из Холмогор, сильно на господина полковника Снивина гневен, не благословил, к руке не подпустил, заперся с ним и дважды посохом по плечи угостил...

Господин полковник Снивин засел дома – напугался, в городе стало потише... Один

только человек в открытую пошел против Афанасия – аглицкий немец майор Джеймс: будто бы отписал в Москву на Кукуй и всем нынче грозился, что на Кукуе сродственники его отдадут письмо в собственные государевы руки. Одна надежда, что то письмо с государем Петром Алексеевичем разминется – Царь, будто, плывет на стругах от Вологды вниз, к Архангельскому городу.

Дрягили, все, которых за не дельные деньги, не серебряные, на съезжую взяли, от розыску освобождены.

Шхипер Уркварт ходит веселыми ногами, но стал потише и своего боцмана будто даже запер в канатный ящик на сухоядение...

– Монаси-то наши как? – спросил Рябов.

– А чего им деется, – ответил Митенька, – кукарекают подпяхом да рыбаблей мучают. Слышно, будто некоторых рыбаблей повязали да в тюрьму в подземную заперли...

Рябов насутился...

Так, в тишине, на двинском ветерке, на солнечном припеке, миновало еще несколько дней. Рябов делал на высохшей сосенке зарубочки, чтоб не спутаться – сколько боярствует.

– Не сбешусь ли, отдыхаячи столь долго? – спросил он как-то Таисью.

– В море зандобилось? – молвила она.

– Ин и в море бы сходить...

Подолгу слушал, как шумит набируха, следил за облаками в небе, рассказывал:

– Зри воздух над морем. Коли слишком прозрачен, далеко видать да еще ветерок наподдает, – быть падере, ударит буря, тогда держись. Ежели туманчик поутру, как вот ныне, а вчера ввечеру небо всеми красками горело, – иди себе спокойно, надейся... На облака опять же поглядывай...

Таисья, покусывая травинку, смотрела на кормщика упорно, не отрываясь, не то со вниманием слушала, не то вовсе не слушала.

– Да ты об чем думаешь? – спросил он вдруг.

– Люб ты мне, – спокойно ответила она, – более ни об чем не думаю...

Потом стирала в Двине, а он сидел рядом и молчал. Море шумело далеко за каменьями, там рыбаи вздымали якоря, отворяли паруса, уходили...

– Эдак долго не проживешь! – молвил Рябов.

Таисья разогнулась, утерла лоб, вздохнула.

– Как же тебе жить-то надобно?

– Аз морского дела старатель, – ответил он, – куды мне без него?

И нахмурился.

Поутру, раным-рано прискакал таможенный солдат с приказом от поручика Крыкова: нисколько не медля ехать в посад, быть в осторожности, на малой лодейке-шитике, что стоит в назначенном месте, перебраться на Мосеев остров, где все доскажет Митрий-толмач. Иметь на себе добрую одежку, нисколько вина не пить. Таисье Антиповне не полошиться, не горевать, а также ей – самонижайший поклон.

– Ох, Ванечка! – испуганно сказала Таисья и побледнела.

Солдат по дороге рассказал Рябову еще новости: царь Петр Алексеевич из Холмогор нынче же будет здесь. Там встречали его с великим почетом, старец Афанасий имел на себе малое облачение, палили из пушек, в соборе пение было многолетное и обед от преосвященного в крестовых палатах. Но то все миновалось быстро, и государь тотчас пешком изволил с резвостью побежать к купцам Бажениным, где и пробыл весь день – смотрел верфь и корабельное строение.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Ой, да он справляет себе,

справляет легкие,
Легкие вот галерушки...

Песня

Я просил, чтобы для меня не делано было никаких церемоний.

Петр Первый

1. МОЛОДОЙ ШХИПЕР

На Мосеевом острове, под корявой березкой, на пеньке кротко сидел Митенька; подгибая пальцы, рассказывал Рябову, кто нынче едет в царевой свите: и Голицын князь, и Салтыков, и Бутурлин, и Шеин, и Троекуров, и Нарышкин, и Плещеев, и иноземцы – Патрик Гордон с Лефортом, и князь Ромодановский...

– То-то будет нам теперь с кем душеньку отвести, поговорить по-нашему, по-рыбацкому! – усмехнулся Рябов. И дернул Митрия за нос:

– Тоже боярин, как я погляжу. Может, кумовья у тебя там?

День наступал серый, мгlistый, по небу ползли рваные тучи. Повыше, у царева дворца, ударили пушки, звенящий грохот долго стоял в ушах.

– Эва как! – с уважением сказал Митрий.

– Пойдем поглядим! – позвал кормщик.

Подошли к бревнам, к самой воде. Нынче трудно было узнать тихий прежде Мосеев остров. На Двине, на отлогом ее берегу, на скользкой, размытой дождем глине стояли толпы посадских, ободранные дрягили, сытые гости-купцы, что на дощаниках приходят с верховьев на ярмарку, везут товары из Ярославля, из Костромы, Вологды, Устюга, Соли-Вычегодской; стояли рыбаки в сапогах-бахилах до бедер, в вязаных фуфайках-бузрунках, в накинутах на широкие плечи кафтанах; стояли крупнотелые, острые на язык, веселые рыбацкие женки; стояли нищие людишки, бесцерковные попы, калики-перехожие, беглые монахи, двинские перевозчики, ярьжные бурлаки, что большими ватагами тянули купеческие суда по Двине...

Для порядка и благолепия, между народом и рекою, на самом берегу, вытянувшись в длинную линию, стояли локоть к локтю стрельцы с мушкетами и ножами. Речной холодный ветер раздувал сивые бороды десятских, сотских и полусотских, шевелил полами длинных зеленых кафтанов, промокших на дожде, но полки стояли неподвижно, и только жирный, белолицый, грузный полковник Снинин ездил то взад, то вперед, почти по самой двинской воде, оглядывал свое воинство и свирепо наезжал вороным жеребцом на тех из черного народа, кто были побойчее и совались между рядами стрельцов.

Пушек на Мосеевом острове стояло немного, но пушкарки наловчились стрелять из них с таким проворством, что народ только ахал: напихает пушкарь пороху, набьет палкою пакли, затолкает покрепче, а там уже и фитиль несут. Пальнет, и, не дожидаясь, пока вовсе остынет орудийный ствол, опять тащат порох...

От берега, от пристани вела к дому широкая богатая ковровая дорога, насланная по чистым доскам. Дом глядел на Двину десятью красными окнами со стеклянными скончинами, а рядом был еще домик о шести колодных окнах со слюдяными репястыми окончинами, пестро и весело раскрашенными. Возле дверей там и тут росли сосны, и под каждой сосной стояло по караульщику – с мушкетом, с усами, словно у кота, с ножом за поясом. В домах уже топили печи, было видно, как из труб идет дым, и видна была поварня, возле которой повар-иноземец, в круглых коротких штанах и в колпаке, отрубал головы раскормленным, привезенным издалека, покорным гусям.

Покуда кормщик рассматривал цареву избу с поварней, народ на берегу буйно закричал, опять пальнули пушки, да так, что некоторое время Рябов решительно ничего не слышал, а услышал попозже, когда заиграли на рогах рожечники и, широко раскрыв рты, запели соборные певчие. Народ еще подался вперед и замер.

Дождь лил теперь сильнее, чем прежде, и плотные струи его хлестали людей, землю, рябую поверхность Двины, другой берег которой теперь вовсе не был виден в частой сетке ливня и только угадывался далеко под тяжкими серыми набухшими тучами.

Постояв немного и ничего толком не увидев, потому что стрельцы и рейтары заслоняли от него подходившие по Двине суда, Рябов взобрался наверх, туда, где стояла пушка, рассудив, что в эдакой суматохе никакому отцу келарю или рейтару будет не до него, кормщика...

Картина, представшая перед глазами, поразила его: большие новые, изукрашенные шелками, персидскими и татарскими коврами, шитыми тканями, со штандартами и знаменами подходили из непогожей мглы тяжелые струги и дощаники. Гребцы вздымали весла, матросы кидали чалки, суда со скрипом подтягивались. На берегу гремела рожечная музыка, вперебор, с захлобом били колокола, и вышедший вперед соборный хор сладко пел «Днесь благодать».

А на стругах в это время один за другим появлялись люди, одетые с таким блеском и богатством, какого Рябову еще не доводилось видывать в своей жизни.

Большая часть этих людей, видимо, продрогла в пути на дожде и ветре, многие кутались в длинные плащи и с неудовольствием взирали на лужи Мосеева острова, на домик, который двинянам казался дворцом, на исступленный, орущий народ, на рейтар, направо и налево раздающих плеточные удары. Но насупленные брови и недовольные лица только придавали царской свите больше величия и служили к тому, чтобы вызывать в народе уважение и страх.

Рябов страха не испытывал, а только, увидев сердитые набрякшие лица свитских, подумал: «Вишь, гуси какие» и стал смотреть, где царь. Но людей на дощаниках и стругах было так много и одеты все они были так красиво, что глаза у кормщика разбегались: то шляпа казалась ему истинно царской; то парик больно пышный – наверно, царь; то какой-то пузатый, бородатый, дородный смеялся больно вольготно – не царь ли? А другой зверем смотрит, может, он – царь?

Первый, самый большой струг люди в коротких кафтанах канатами подтащили к пристани и собрались было крепить, как вдруг длиннющий малый, на вид годов двадцати пяти, без шапки, с темными вьющимися волосами, стал говорить, что не так делают, надобно иначе, чтобы хватило места другому дощанику тоже. Люди в кафтанах спорили, потом послушались, и взялись все вместе перетягивать судно вдоль пристани. Покуда они работали, он с толком, не торопясь подавал им команды. А ливень все сек его простоволосую кудрявую голову, бурый плащ, едва державшийся на одном плече, растегнутую у шеи нерусскую рубашку.

«Шхипер ихний», – подумал кормщик. Послушав, как приказывает черноволосый малый царевым свитским, еще определил для себя: «большую власть, видать, забрал!»

А царя он так и не мог найти: уж больно много господ стояло в стругах – и надутые, и злые, и важные, один сановитее другого, в перьях, в париках, в лентах, в высоких боярских шапках, – где тут отыскать, который царь.

Между тем первый струг с дощаником причалил к пристани, третий подтягивали к насаде, а другие суда еще ждали своей очереди кидать чалки и подтягиваться. С первого струга люди в зеленых кафтанах выволокли широкую доску и перекинули ее на берег, а кудрявый шхипер им крикнул, что опять не так делают, и, растолкав бородатых бояр длинными руками, сам принялся укладывать сходни понадежнее и покрепче. А когда уложил, то поклонился и сделал приглашающий жест рукою.

Тут Рябов увидел царя. Царь Петр Алексеевич стоял возле самых сходен, откинув назад тканый золотом плащ, опирался на высокую, поблескивающую драгоценными камнями трость и благоуветливо, милостиво, по-царски улыбался полным белым, с ямочками на щеках, лицом. Глядел он не на людей, собравшихся на берегу, не на своего горластого кудрявого шхипера, не на всадников, не на хоругви, не на певчих, в намокших стихарях, а куда-то вдаль и выше, куда-то между дождем и тучами, туда, куда и должно смотреть царям,

исполненным величия.

«Вишь ты, каков!» – подумал Рябов и локтем толкнул застывшего рядом пушкаря. Тот быстро взглянул на Рябова и сказал:

– Ну, царь! Вот так царь!

– А что? – спросил кормщик.

– Да больно прост! – произнес пушкарь.

– Хороша простота! – ухмыльнулся Рябов. – Весь в золоте да камнях, стоит, не шевельнется...

Приветливо, но строго улыбаясь, царь неподвижно застыл на сходнях. Его рука в перстнях сжимала драгоценную трость. Колокола ударили с новой силой, певчие звонко, покрыв глухой шелест дождя, альтами начали ирмос греческого согласия «Веселися, Иерусалиме». Царь еще подождал, потом сделал шаг вперед по гнущимся, покрытым ковром сходням, и вдруг в это торжественное мгновение длинноногий шхипер выкинул штуку, да такую, что Рябов ахнул: он подставил царю ногу в высоком ботфорте. Тот споткнулся, шхипер толкнул его в спину и громко захохотал. «Пропал малый!» – подумал Рябов, но шутка сошла шхиперу неожиданно легко. Царь только отмахнулся от него свободною рукою и пошел вверх по колеблющимся сходням. А шхипер все смеялся, встряхивая длинноволосой курчавой головой, и другие свитские тоже смеялись. Рябов же сердито подумал: «Был бы я царь, посмеялись бы вы надо мною, как же!»

За царем – гуськом, с важностью – пошла к домам царская свита – бояре, иноземцы, князья и сановники. Приехавшие с царем стрельцы уже построились вдоль дорожки, перед стрельцами кривлялись царские шуты. Навстречу государю, белый от страха, вырвался купец Лыткин с серебряным блюдом в руках. Хор грянул ирмосы – «Бог господь и явился нам», Лыткин, не смея ступить на ковер, не понимая, что кричат ему другие купцы, повергся коленями в лужу и протянул царю блюдо с хлебом-солью. Царь, не замедлив шага возле Лыткина, блюдо не принял и повел головою назад, как бы говоря, что не тому подано. Лыткин ахнул:

– Хлеб-то, господи, государь, богом прошу...

Но царь не оглянулся более и чинно первым вошел в сени своего дворца.

Хор смолк, колокола перезванивались все медленнее, наконец и они замолчали.

Пушкарь, улыбаясь, сказал Рябову:

– О прошлый год тоже не враз признали...

– Кого? – спросил кормщик.

В это мгновение из сеней вышел свитский боярин, что-то приказал певчим, а сам при этом засмеялся. Певчие – торопясь, сбиваясь – вновь запели, пушкарь сунул фитиль в затравку, пушка выстрелила, колокола забили с новой силой, и народ опять повернулся к стругам, где работали люди, выгружая кули и бочки, и где прохаживался все тот же длинноногий шхипер, разговаривая с бледным тонкотелым свитским.

«Кто ж тогда царь? – сердясь на то, что все так непонятно, спрашивал себя Рябов. – Этот, что ли?»

Но бледнолицый свитский не имел в себе ничего величественного, а со стругов уже никто не мог сойти, кроме разве людишек в кафтанах, дрягилей, матросов и работного народа.

Шхипер вдруг отдал на струг какие-то приказания, наклонил голову и быстро пошел вдоль ковровой дороги – к дому. Он не глядел по сторонам, не поднимал глаз от помоста, и было видно, что идти под взглядами толпы ему стыдно: шаг его был быстр, неровен, тяжел, башмаки громко стучали, а мокрые темные волосы болтались подле щек... За ним быстро шел свитский.

Навстречу шхиперу гремел, разливался сладко и блаженно соборный хор, тянулась любопытная толпа, полз совсем белый, одутловатый, напуганный досмерти купец Лыткин с серебряным блюдом, на котором раскисал под дождем хлебный каравай.

Внезапно шхипер остановился перед купцом, не поднимая головы, принял от него

блюдо, поклонился, отдал свитскому и скрылся в сенях дворца. Народ закричал, завыл восторженно, – теперь все поняли, кто царь. Хор вывел последний стих, пушки еще пальнули, и все смолкло.

«Вот так царь! – подумал Рябов и почесал затылок. – Какой же это царь? Нет, братие, это не царь! Таковы цари не бывают!»

2. С МЫСЛЕЙ ПОШЛИН НЕ БЕРУТ!

Он еще долго стоял и смотрел вслед царю. Потом кто-то тронул его сзади за рукав. Кормщик оглянулся и увидел Афанасия Петровича.

– Пойдем, Иване! – позвал поручик. – Стольник царев Сильвестр Иевлев да с ним воевода наш Апраксин Федор Матвеевич неподалеку стоят, на Двину смотрят. Может, чего и выйдет из нашей беседы...

– А коли не выйдет? – спросил Рябов. – Воеводе ли не знать, что иноземцы повсеместно чинят? Однако ж он им ни в чем не перечит!

Крыков вздохнул.

– Воевода одним только делом и занят – сам знаешь – корабль строит. Пойдем расскажем. А коли справедливости не отыщем, то мало ли где люди живут. Сторона наша не бедная, есть и Печора, есть и Кемь, и Лопь. По Кеми люди живут, лососей ловят соловецким монахам. По Выгу да по Сороке живут, по Вирме, да по Суме, по Умбе и Варзуге. Солеварни монастырские еще есть, мельницы пильные, в Кандалакшу уйти можно, на Терский, на Зимний берега...

– За какие же грехи мне уходить-то?

– И почище нас, да слезой умываются! – невесело ответил Афанасий Петрович.

Воевода Апраксин – молодой, но уже полнеющий человек, и свитский, тот самый, что давеча принял хлеб из рук царя, – небольшого роста, бледнолицый, синеглазый, в коротком воинского покроя кафтане – стояли на взгорье, чему-то смеялись с другими свитскими.

– Подойдем? – спросил Крыков.

Рябов кивнул. Когда были совсем близко, Апраксин посмотрел на них немигающими строгими глазами.

– К вашей милости, князь-воевода! – учтиво молвил Афанасий Петрович.

Свитские обернулись, перестали смеяться. Апраксин спросил:

– Поручик Крыков?

– Крыков, князь-воевода.

– Нынче мне тебя показал полковник Снивин, пожаловался...

Афанасий Петрович стоял спокойно, смотрел в глаза воеводе.

– Ты и есть тот офицер, что фальшивые деньги, не серебряные, открыл на корабле иноземном?

– Я, князь-воевода.

Иевлев и Апраксин быстро переглянулись.

– За непрестанной занятостью корабельными делами, я во-время не выразил тебе свою признательность, – заговорил воевода. – Ты, господин поручик, поступил достойно, и, несмотря на жалобу полковника Снивина, который заблуждается и не ведает истину, я нынче имею честь выразить похвалу мужественному твоему поступку. В сем случае ты, сударь, проявил изряднейшее фермите, и я весьма рад тому, что имею в воеводстве своем такого офицера...

Что такое «фермите» Крыков, как и многие другие свитские, не понял, но что воевода доволен им – понял сразу и повеселел. Тут же рассказал он всю историю кормщика и все обиды, причиненные ему в последнее время. Афанасий Петрович говорил быстро, с трудом сдерживая волнение. Воевода и другие свитские слушали с интересом, поглядывали на Рябова с участием, спрашивали, если что не понимали.

– Сей кормщик мог и до меня добраться, – сказал Апраксин. – Не велик труд со мною

побеседовать. Днюю и ночью я на верфях – либо на Вавчуге, либо в Соломбале...

– До бога высоко, до царя далеко! – ответил Рябов. – Покуда до тебя, князь, дойдешь, многим поклониться надобно, а кланяться мы, беломорцы, плохо обучены. Спина у нас непоклонна...

– Гордые, я чаю? – с легкой быстрой усмешкой спросил Апраксин.

– Место свое знаем! – жестко ответил кормщик. – Артамоны едят лимоны, а мы, молодцы, едим огурцы.

Воевода помолчал, потом произнес спокойно:

– Так от бога повелось испокон веков.

– Ой ли?

– А ты как мыслишь?

Рябов молчал, улыбающимися глазами смотрел на Апраксина.

– Что не говоришь?

– С мыслью пошлин не берут! – не торопясь, сказал Рябов. – Помолчать способнее...

– Памятуя указ его величества государя, – быстро перебил кормщика Крыков, – почел я долгом своим представить пред очи ваши сего знаменитого по Беломорью кормщика, дабы великий шхипер мог убедиться, сколь славные морского дела старатели из наших поморских жителей могут к его царской службе представлены быть...

Синеглазый кивнул – ладно-де, чего тут не понимать. И спросил деловито:

– Любой корабль, кормщик, поведешь?

– Дело нехитрое. Привычку надо иметь.

– И бури не испугаешься?

– Зачем не испугаюсь? Кто на море не бывал – тот страха не видал, как у нас говорят. Нет такого человека, господин, чтобы не испугался. Блюсти только себя надобно, слово помнить...

– Какое еще такое слово?

– Ну вот, к примеру, старшой я на лодье али во всей ватаге. Значит, и слово мною дадено людям, на берегу оставшимся, живу не быть, коли по вине моей другие рыбаки погубятся. Так у нас повелось у Архангельского города, у корабельного пристанища, у лодейного прибежища. Клятва, вроде бы. Слово дадено, как пуля стреляна...

Он прямо посмотрел в синие внимательные глаза стольника, так открыто посмотрел, что Иевлев с радостью повторил поговорку:

– Слово дадено, как пуля стреляна.

– Так повелось, господин.

– Значит, пойдешь в корабельщики к государю?

– Пойти можно.

– Ну что ж, – молвил стольник, – бумагу мы тебе выправим. Погуляй здесь пока, погоди... Князь-воевода тебе напишет...

Кивнул и пошел с Апраксиным ко дворцу, но с пути оглянулся: кормщик простоволосый, в чистой, расстегнутой на богатырской груди рубахе, стоял, окруженный царевыми потешными. Свитские о чем-то спрашивали, он отвечал, посмеиваясь.

– Хорош мужик! – сказал Сильвестр Петрович Апраксину.

– Мне сей народ не в диковинку! – ответил Федор Матвеевич. – Поначалу я тоже удивлялся, а теперь по привычке...

Иевлев вернулся скоро, вынес бумагу и прочитал вслух, что Рябов Иван сын Савватеев с нынешнего дня определен состоять при царевой свите «матрозом корабельным» и для того никому иметь его не велено под страхом государева гнева. Прочитав, Сильвестр Петрович велел спрятать лист накрепко, а к вечеру быть обратно на Мосеевом острове.

– Все ли понял, кормщик?

– Все, господин.

– Кланяйся! – шепнул за спиною Рябова кто-то из свитских. – Пади в ноги!

Кормщик оглянулся, сказал с достоинством:

– Я и богу-то земно не кланяюсь.

Сложил бумагу пополам, спрятал за пазуху. Иевлев молча, весело на него глядел. Потом повернулся к Афанасию Петровичу, спросил доверительно:

– Много ли иноземцы у вас бесчинствуют?

– Много! – со сдержанным гневом ответил Крыков. – Столь много, господин, что ума не приложим, как обуздать ихнее племя. Вовсе за горло взяли, дышать не можно...

Беседуя дошли до берега. Здесь подждал Митенька. Иевлев с Крыковым продолжали разговаривать. Митенька, хромая, подошел, спросил нерешительно:

– Ну, дядечка?

– Лист дали! – сказал Рябов. – Теперь мы с тобой не пропадем, Митрий. Теперь и мы, как люди, может и вздохнем маненько. Находишь неотлучно при мне, буду я говорить, что ты мне подручный...

3. БУДЕТ ДЕНЬ, БУДЕТ ХЛЕБ!

Здесь, у корявой березки, намокшей под дождем, стоял старый карбас корела Игната. Нищие людишки, посадские, пекари из Кузнечихи, дрягили, повязанные лыковыми поясами, два пьяных шхипера с иноземных кораблей, слепец с поводырем, певчие соборного хора с завернутыми в рогожки стихарями, сердитые продрогшие монахи, караульщики с алебардами, стрельцы с Пудожемского Устья, таможенные целовальники, – кого только не набилось в карбас, когда кормщик с Митенькой забрались туда.

Более Игнат никого не взял, хоть на берегу и толпился народ. Для шутки походя зацепил багром голенастую женку за подол; отругиваясь, отпихнулся, вздел на мачту драный парус. Хотельщики выбрали себе по веслу, три пары длинных весел поднялись враз. Игнат схватился за рулевое весло, направил карбас, закричал сипато, чтобы давали деньги, иначе перекинёт посудинку.

Дождь полил сильнее, ветер круче забился в парусе, мачта закричала, неуклюжий тяжелый карбас сделался на ветру легким, пошел по двинским волнам вперевалку. Нищая братия завела псалом.

В серой мути дождя на иноземных кораблях изредка били в колокола, чтобы не налетело какое-нибудь суденышко, дули в трубы, покрикивали:

– Поглядывай!

– Берегись!

– Осторожнее, проходящие!

Резные, огромные, крашенные суриком, кармином, обитые медными полосами, нависали над карбасом кормы негоциантских кораблей. Торчали из пушечных портов пушки, жирно пахло смолеными снастями, варом, а когда карбас обходил какое-либо судно по носу, то сверху, с высоты, не мигая смотрели глаза чудищ, долбленных из черного дерева, – голых баб, змеев с человечьими лицами, косматых старух, морских царей с бородами, с железными золочеными цепями на шеях.

Карбас шел небыстро, иностранные корабельщики без любопытства, скучными, ко всему привыкшими глазами, смотрели сверху на посудинку, на воду, на плоский берег, на низкие строения, курили свои трубки, кутались, нахохлившись, в длинные с капюшонами плащи.

Корабли стояли густо. На иных играла музыка, танцевали, на иных по случаю воскресного дня служили божественную службу, – и тогда из круглых, отделанных красным деревом окон неслись еретические песнопения, длинное «амэ-эн», бормотание священника. Из других окон слышался женский смех, басовитый хохот, пиликанье скрипки. Еще из других тянуло запахами мясного варева, жаренного на вертеле окорока, шипящей на углях рыбы. Звуки возникали на короткое мгновение, сменяли друг друга.

– Читай! – велел Рябов и протянул Митеньке бумагу, наклонившись над ней, чтобы дождь не размыл нужные слова.

Митенька прочитал.

– Вот оно как! – молвил кормщик.

Глаза у него были веселые.

– Теперь перевезем мы Таисью Антиповну к Евдохе, рыбацкой бабусе, а там видно будет. Может, еще и поживем, Митрий!

– Поживем! – согласился Митенька.

– То-то, брат!

Карбас причалил к лодьям, густо стоящим возле немецкого Гостиного двора. Посадские монахи, караульщики, женки с гиканьем запрыгали по колеблющимся на воде судам – к берегу. Игнат заругался на певчих, не заплативших за проезд. Губастый малый из кружала с воплем провалился меж карбасом и лодьей, а когда Рябов его выдернул из воды, у губастого от страха побелели глаза – узнал кормщика. Что, как спросит про лакомства? Но Рябов ничего не спросил, пошел вдоль Двины, опасаясь встретиться с Тимофеевым: от старика бумагой не отопрешься, не про то бумага, да и старик не простак.

К ночи кормщик побывал на устье, забрал из караулки Таисью, припер дверь хатенки батожком – по обычаю.

– Постоит пустой дворец-то наш! – сказал он с усмешкою.

– А чем не дворец? – с едва уловимой обидой в голосе ответила Таисья. – Дворец и есть. Худо тебе здесь было, что ли?

Бабинька Евдоха встретила Таисью низким поклоном, спросила по-здорову ли живет рыбацкая женка, положила на стол рыбного караваю. Сироты, вымытые, любопытные, свешивались с полатей, выглядывали из-за печки, сновали по избе, как чертенята...

– Сколько их у тебя, бабинька? – спросила Таисья.

– Нынче всего четверо, – ответила Евдоха и замахнулась на них полотенцем: – Киш, вы! Что шныряете?

– А мы бы пирожка! – сказал неробкий голос с печи.

– Лопнете!

– То-то, что не лопнем...

Когда сироты угомонились, Митеньке велено было прочитать цареву грамоту для Таисьи и бабиньки. Митрий прокашлялся, как певчий в церкви – прочитал, Евдоха повздыхала, покачала головою:

– Ну, премудрость!

Таисья горячими глазами смотрела на Рябова, быстрым шепотом учила:

– Уж ты, Ванечка, потише там живи; ежели какая драка или бой – ты в сторонку, правды не ищи, самым наипервым не кидайся. Ты уж, Ванечка...

– Ты уж Ванечка, ты уж Таечка, – сказал Рябов, – как поживется, так и жить буду...

– Слово замолви, чтобы батюшка нас простил...

– А ну его, твою батюшку, – ответил Рябов, – не надобно нам. Будет день – будет хлеб... Вон, как бабушка Евдоха живет, так и мы будем...

Спали вдвоем с Митрием на сырой соломе неподалеку от царского дома, где раскинули шалашики те, кто помельче из свитской челяди, из потешных, из стрельцов. Царские караульщики ходили вдоль Двины, в сыром воздухе перекликались голоса:

– Поглядывай!

– Гляди, поглядывай!

Было тихо, только и нарушит тишину голос караульщика, треск сырых сучьев в костре, мерное похрапывание из балагана, крытого ветвями, тонкое комариное гудение...

И едва, как казалось, успели уснуть – завыли рога, ударил барабан, в шалашах зашумели, какой-то детина наступил Рябову на руку ногою, – пришлось подняться. Всюду по редкой рощице видно было движение, ни единая душа уже не спала: кто бежал на Двину умываться, кто раздувал костер, чтобы скорее поспела каша, кто покрикивал, какую кому делать работу.

Рябов потянулся, зевнул, умылся на Двине, помолился недлинно и только было хотел

сказать «аминь», как незнакомый служилый уже потащил его за собою, торопя и понукая, к черной осмоленной яхте, что стояла близ дворца у новых досок причала.

Здесь тоже было много народу: катили на яхту бочки, таскали рогожные мешки, волокли берестяные коробья. Свитские в богатом платье работали, словно простые дрягили. И Рябову сделалось смешно, как все они чего-то боятся, поглядывают на яхту и все делают быстро, не мешкая. А как не видать их с яхты, так прячутся, да и судачат друг с другом.

На яхте, у схода, держась рукою за снасть, стоял давешний длинноногий кудрявый царь-шхипер, толковал с посадским из Вавчуги – богатеем Осипом Бажениным. Другой Баженин, Федор, стоял поодаль, оттопырив ладонью ухо, слушал, что царь говорит с братом. Увидев Рябова, Апраксин показал на него Петру Алексеевичу. Тот громко спросил:

– Кормщик?

У Рябова сердце забилось быстрее, но он нарочно пошел степеннее, спокойно поднялся по скрипучим ступеням, поклонился и, взглянув прямо в выпуклые глаза царя, молвил по обычаю:

– Здорово, ваше здоровье, на все четыре ветра!

Царь, не улыбнувшись, кивнул:

– Ну, здорово!

Осип Баженин шепнул царю:

– Ныне первеющий по нашим местам кормщик. И роду доброго, государь, – от прадедов мореходы грамоту жалованную имеют от царя Ивана Васильевича...

Петр все смотрел на Рябова, на его широкие плечи, на крепкую шею, повязанную цветастым платком, на все его богатырское обличье, дышащее здоровьем и силой. Мгновенная улыбка тронула губы царя.

– На Соловках бывал ли?

Кормщик ответил не сразу – мимо по сходам с грохотом катили бочку, – не расслышал вопроса. Свитский, вынырнувший из-за плеча Осипа Баженина, услужливо растолковал:

– Государь спрашивает тебя, ездил ли ты на Соловки?

– На Соловки, господин, ездить не можно, – с достоинством ответил Рябов. – Ездить можно в санях, да в телеге, да в колымаге. А морем не шибко поездишь. Морем ходят да еще, коли под парусом, – бегают. А что до Соловецких островов – то я на них хаживал...

– Мореход! – сердито сказал царь свитскому. – До сих пор все ездешь!

Свитский обтер губы платочком, отступил осторожно, чтобы не досталось под горячую руку.

– Тебе здесь быть! – велел царь Рябову. – Останешься на сем корабле. Посмотри его со всем вниманием: хорош ли, ладно ли построен, легок ли будет в морском обиходе. Тебе кормить, тебе его и знать. Иди работай!

Рябов поклонился, отошел к младшему Баженину, который, как все тугие на ухо, имел несколько робкое выражение лица, еще более усилившееся нынче от близости царя, свиты и от всего, происходящего на Мосеевом острове.

Младшего Баженина – Федора Рябов знал ближе и уважал больше, нежели Осипа: глаза у Федора смотрели мягко, на скулах горел нежный, девичий, как у Митрия, румянец, говорил он тихим, как бы надорванным тенорком и большие свои белые руки прижимал обычно к впалой груди. Но при всем том Федор был человеком далеко не робкого десятка, не раз по своей охоте хаживал с товарами – вместо приказчика – на дальние становища, умел обращаться с заморскими навигацкими инструментами и даже прошлым летом показывал Рябову, как надобно делать текены – чертежи кораблям.

Они поздоровались, отошли подалее, за бочки и тюки, наваленные свитскими. Солнце стояло уже высоко, Двина текла медленно, спокойно, новая яхта стояла почти недвижимо на тихой воде. Кормщик, щурясь на блеск воды и солнца, спросил у Баженина:

– Что за «Святой Петр»? Откудова пригнали? Где построена яхта?

Федор, подставляя ухо, переспросил, потом закивал, ответил не без гордости:

– Наша яхта, кормщик, на Вавчуге строенная, двинская. Все сами делали, никто не помогал.

И рассказал, что строена яхта корабельным мастером Тимофеем Кочневым. Дед Тимофея, Егор, когда-то в Печенгском монастыре делал лодьи для продажи. Те лодьи норвежины у монастыря покупали. Отец Тимофея на Соловецкой верфи немало трехмачтовых лодей построил. В кочневском роду художество это издавна. Он да еще Иван Кононович Корелин большие лодьи для морского ходу ладят лучше иных мастеров, они здесь самые первые по своему искусству.

– Оно так! – согласился Рябов. – Сам на их лодьях хаживал, дивился...

Издали доносился властный голос царя – свитские делали корабельное учение. Из-за тюков вышел Иевлев при шпаге, в кафтане, спросил:

– О чем беседуете?

– Да вот слушаю, как яхту сию строили, – сказал Рябов.

– Как же оно было? Я бы послушал.

Федор стал рассказывать в подробностях.

Строили судно иждивением братьев Бажениных, для пробы – совладают ли с кораблем новоманерным, небывалым, каких по Беломорью не дельвали. Осип отписал на Москву, чтобы прислали иноземных корабельщиков Николса да Яна. Те стали собираться в дальний путь, да столь долго собирались, что Осип позвал к себе Кочнева, ударил с ним по рукам – строить яхту. Тимофей сам изготовил чертежи, Иван Кононович те чертежи проверил, отозвался одобрительно. Судно заложили. Работные люди – плотники, конопатчики, кузнецы – все двиняне, инструмент от уровня до топора тоже свой. Николс и Ян приехали по весне, долго не верили, что корабль строится русскими людьми без иноземцев, да пришлось поверить...

Яхту построили, отделали со всем приличием, дабы обрадовать Петра Алексеевича, отпраздновали спуск на воду. На торжестве присутствовал архиепископ Архангельский и Холмогорский, – Афанасий, несмотря на давнюю вражду с Осипом, яхту похвалил. Осип Андреевич сказал, что теперь начнет строить много других кораблей, Афанасий еще похвалил за старание.

При освящении судно наименовали «Святой Петр» – в честь государя Петра Алексеевича. Так решил Афанасий, и Осипу имя яхты очень понравилось. После торжества было пито два дня и одну ночь разгонную. Срамоту нагнал Осип на всю округу, – таков человек, удержу не знает ни в чем: нагой, как матушка родила, взгромоздился на коня, поскакал. В куростровском ельнике упал, жеребец его ушел домой. Осип отправился в Верхний посад, стучал в избы, плакался:

– Ой, женки, разлапушки, вынесите какую-никакую одежонку. Которая вынесет – женюсь! Ей-ей, женюсь...

Рябов, слушая Федора, крутил головой, похохатывал:

– От старый бес! И не занемог с той ночки?

– Где там!

Федор рассказывал без осуждения, – что, мол с него спросишь, коли таков на свет уродился...

– Да зайдем в избу-то, закусим, – спохватился Федор. – Небось, оголодали здесь на казенных хлебах. У нас всего напасено, куда как хватит.

Закусить пошли вниз, в камору, пестро и богато украшенную резьбою и лазоревым сукном. Здесь, на лавке, прикрытый до горла козловым одеялом, дремал бородатый человек, немолодой видом, с плешью, с острым, как у покойника, носом.

– Тимоха! – воскликнул Рябов, едва взглянув на спящего. – Кочнев!

– Он самый! – ответил Федор. – Вспомнил?

– Да как не вспомнить, коли мы с ним на Черной Луде почитай сорок дней едину морошку ели, да богу молились, да крест ставили. Привелось!

И Рябов, присев на корточки возле лавки, с ласковой улыбкою стал толкать Тимоху,

таскать за бороду, пока тот не открыл глубоко ввалившиеся глаза и не вздохнул.

– Не признаешь? – спросил кормщик.

Слуга принес деревянную мису с двинскими шаньгами, облитыми сметаной, битой трески в рассоле, каши заварухи – горячей, с пылу с жару, густого темного пива в жбане. Иевлев сел за стол, Федор против него. Рябов подал Тимохе пива в точеной деревянной кружке, спросил:

– Так и не признаешь?

Тот все смотрел, моргая, потом сказал:

– Немошен я, куда мне...

Помочил усы в пиве и вновь улегся лицом к стене. Рябов, недоумевая, посмотрел на Федора. Тот просто ответил:

– Помрет скоро. Внутренность у него отбитая вовсе. Как яхту сию зачали строить, зашибли его полозом, поперек чрева полоз упал.

Кормщик хмуро сел к столу, налил себе пива, спросил:

– За каким же лихом мотаете вы его на корабле?

– То сам Тимофей приказал взять его на яхту, хоть бы даже и помирал вовсе. Да и понять душу мастера надобно: сам судно построил, все оно его рук дело. Быть бы ему наипервеем корабельным мастером на Руси, коли бы пожил еще. Для сей яхты чертежи на песке хворостиной выводил, и все мнил я ему корабль для океанского ходу, стопушечный, на три дека, – будто велено ему, Тимофею, строить. Грамоты знает мало, цифирь ведаёт чудно: что и вовсе не слышал, а что и крепко понимает; все мне бывало сказывал: «Считай, Федор, мыслимо ли кокоры врубить так-то, коли полоз поставим мы кораблю такой-то...»

Кочнев застонал на своей лавке, с трудом повернулся от стены. По исхудалому измученному лицу ползли капли пота.

– Худо, Тимофей? – спросил Федор. – Может, попа покликать?

– А я, может, и не помру. Не хочу помирать и не стану! – сказал Кочнев. – Ну его к ляду, попа вашего...

И опять застонал.

– Не признаешь меня, мастер? – спросил Иевлев.

Кочнев не ответил – задремал.

– Оживет еще Тимофей! – негромко сказал Рябов. – Я ихнюю породу знаю – жилистые люди. В воде не тонут, в огне не горят...

– Как с точильными работами справились? – спросил Иевлев. – Дело куда как нелегкое...

– А братец сам точить зачал, – ответил Федор. – Ему как в голову что зайдет – никаким ладаном не выкуришь. Выточу, говорит, и шабаш. Я, говорит, человек, богом взысканный, и коли захочу, так меня не остановишь. Привез в Вавчугу станок точильный, привод поставил и давай точить. Сколь ни точит – нейдет дело. Ободрался весь, руки в кровище, глаза дикие. Ну, попался об ту пору мужичок ему, кличкой Шуляк. Сам квелый, богомолец – на Соловки собрался, да путь длинный, не осилил. Осип его и подобрал. «Точить, спрашивает, можешь?» – «Отчего, – отвечает мужичок, – отчего и не мочь? Можем. Такое наше дело, чтобы, значит, точить». А Осип ему: «Блоки корабельные будешь точить». Мужик, известно, блоки в глаза не видывал. Тут в помощь Тимофей кинулся: так, дескать, и так делай. А братец свое: «Коли выточишь – озолочу, коли не осилишь – повешу!»

Федор тихо засмеялся, собрал со скатерти крошки, кинул в окно – чайкам.

– Напугался мужик. Уж я его утешал-утешал. Ничего, водицы попил, давай точить. Ну и выточил.

– Здесь мужичонко-то? – спросил Иевлев.

– А куда ему деваться? Нарядили в кафтан, сапоги дали, шапку. Давеча Петр Алексеевич как про сие прослышал, засмеялся и говорит – корабельный, мол, тиммерман Шуляк.

Сощурив умные глаза, прихлебывая вино, Федор заговорил опять, и под редкими пушистыми его усами заиграла добрая улыбка.

– Братец мой, он, коли подумать, со своим звероподобием – чистый злодей. А ведь без злодейства разве раскачаешь наши-то края придвинские? Сто лет скачи – не доскачешь, мхи, болото – тундра, одним словом. Комарье насмерть заедает, волки стаями ходят. А с моря-то дует, дует...

Выражение робости вдруг исчезло с лица Федора, взор его блеснул, голос стал сильнее.

– С моря тянет, тянет! – сказал он. – Ох, господин, не знаю вашего святого имечка. Тянет с моря, зовет, манит оно, море. Вот сию яхту построили, – может, и комом первый блин, да ведь первый. И по нем видно, что способны настоящие суда строить, да с пушками. Добро бы море было не наше, добро бы деды наши на Грумант не хаживали, добро бы мозгов у нас не хватало, али народ наш беломорский моря бы боялся. Нет, не боязлив помор, смел, крепок да честен – ништо ему не страшно. Ходи мореходом. Так нет того – рыбачим да промышляем, а идут к нам иноземцы на своих кораблях. Посмотришь – горько станет...

Федор задумался, подперев голову руками. Сильвестр Петрович медленно потягивал пиво, тоже думал. В это время наверху барабаны дробью ударили тревогу – алярм. Иевлев поднялся, за ним пошли Рябов с Федором.

Под барабанный бой, под завывание походных рогов, под пение дудок царские потешные со свитскими и с дородными боярами, крякая и ругаясь, тащили с царских стругов на карбасы, шняки и лодьи – пушки, старые ржавые кулеврины и гаубицы, доставленные царским караваном водою из Москвы. В лозовых корзинах волокли блоки, выточенные царевым иждивением, бочки с порохом – для нового корабля, бухты каната, самопалы – для команды. Петр, в поту, с сердито-веселым выражением круглых выпуклых глаз, осторожно, на животе перетаскивал в лодью кошелю с осветительными бронзовыми фонарями, сумки с бомбами – очень дорогими и опасными для перегрузки. Ни один человек не оставался без дела, по крайней мере на виду у царя, – все либо работали, либо делали вид, что работают. Даже старый Патрик Гордон что-то подпихивал плечом и грозился бранными словами.

Наконец флотилия, состоящая из карбасов, стругов, лодей, под командованием Гордона, которого Петр почтительно называл контр-адмиралом, отправилась с Мосеева острова к Соломбале. Там готовился к спуску еще один корабль...

И вице-адмирал Бутурлин, и контр-адмирал Гордон, и адмирал Ромодановский побаивались воды даже на Двине, и каждый покрикивал, чтобы солдаты гребли осторожнее, не торопились и не раскачивали суда.

В пути великий шхипер Петр Алексеевич и Патрик Гордон сидели в карбасе на одной лавочке и, словно два школяра, листали книгу – свод корабельным сигналам. Петр разбирался, какой сигнал что обозначает, Гордон кивал или вдруг спорил. Здесь же стали писать свои сигналы: по одному пушечному выстрелу с адмиральского корабля – все должны собираться к завтраку или к обеду; если адмирал даст два выстрела, высшие офицеры должны без промедления идти к господину адмиралу на совет; три выстрела на адмиральском корабле обозначают, что адмирал бросает якорь, – так надлежит делать и всему флоту. Пальба из всех пушек на флагмане – сигнал сниматься с якоря. Если же ночью с каким-либо судном случится несчастье, то ему следует поднять на мачте фонарь и сделать один пушечный выстрел.

Рябов сидел на корме, слушал, мотал на ус, думал: «Словно ребятишки... Все ладно, да где флот? Чудаки-человеки!»

Он покрутил головой, крикнул гребцам:

– Навались! Разо-ом!

Гребцы навалились, карбас вырвался вперед...

В Соломбале воевода Апраксин торжественно повел царя и свиту к почти законченному строению кораблю. Две малые пушки не враз ударили салют в цареву честь, эхо раскатилось над Двиною. Возле корабля у лестницы стояли два иноземца в кожаных шитых красным бисером жилетах, один – кривоногий, низкорослый, другой – дородный,

жирный, с тремя подбородками, корабельные мастера – Николс да Ян. Царь обнял их, потом обежал корабль кругом, раскидывая ногами золотистое щепье. Вернувшись к лестнице, распихал иноземцев, взобрался быстрыми ногами наверх и вдруг аукнул с верхней палубы, как мальчишка. Еще через малое время раскрасневшееся лицо его мелькнуло в пушечном окне слева, потом справа. Завизжало железо – царь пробовал затворы на портах, ладно ли запираются. Потом закричал сердито – звал наверх Лефорта, Федора Юрьевича Ромодановского, Шеина, других свитских.

– Хорош кораблик-то! – сказал Рябов старичку плотнику, спокойно полдничающему на бревнах. – Кто строил?

– Николс да Ян.

– Откудова они взялись?

– Известно, откудова немец берется. Из-за моря.

– Сим летом?

– Сим летом они на Москве были.

– Когда же успели построить?

– То-то, брат, и загадка. Таков иноземец человек: хоть и нет его, а он есть, хоть и не он делал, а выходит – он. Одно слово – фуфлыга.

Рябов подсел к старичку на бревна. Тот спросил, кивнув на корабль, что стоял на стапелях, почти готовый к спуску:

– Царь там?

– Царь.

– Я и то слушаю – шумит. Ну, коли шумит, – царь. Должность его такая.

Посидели, помолчали. С людей, с карбасов тащили на строящийся корабль пушки, порох в картузах, выточенные самим царем на Москве блоки, вытканые на Хамовном дворе на Москве же парусные полотна, канаты, спряденные на Канатном дворе в Белокаменной.

– Вишь, товару-то! – сказал плотник. – Сей поболее яхты-то! Истинно корабль!

Он попил воды из корца, спрятал ножичек, которым резал шаньгу, рассказал:

– Ждали мы ждали Николса да Яна о прошлом годе – нет мастеров. А лес лежит – тоже ждет хозяина, мастера. На диво лесины, одна к другой, словно бы жемчужины. На Лае-реке рублены, зимней рубки – ни кривулины, ни гнилости, ни свили. Уж такая корабельщина – лучше не бывает. Глядел я глядел – осмелел, да к самому воеводе – к Федору Матвеевичу. Так, дескать, и так, не сплавать ли мне в Лодьму, да не привести ли мне сюда достославного мастера Ивана Кононовича. Воевода наш вострепетал весь. «Да голубь мой, говорит, да вызволь из беды, говорит, нету Николса да Яна, а царь с меня спрашивает. Вези Кононыча, озолочу!» Ну, снарядился я морским обычаем, поднял парус и отправился. Отыскал Кононыча. Вишь, песочек здесь?

– Где?

– Да вот крыша над ним на столбушках наведена!

– Ну, вижу.

– Тут ему и рождение было, кораблю нашему. Уровнял Кононыч сей песок и стал на нем посошком своим план судну делать. Ширину корабля клал в треть длины. А высота трюма – половина ширины. На жерди рубежки нарезал и шпангоуты рассчитал. Шестнадцать ден считал. Дружок у него, мастер тоже – Кочнев-от, яхту строил «Святой Петр», не здесь, а подальше, на Вавчуге, у Баженина. Так они, мил человек, все советовались. То так прикинут, то эдак. И Баженин Федор с ними – помогал... А возле песка ихнего воевода приказал стражу поставить, солдатом с алебардами, чтобы кто чего не попортил. Сам с ними тоже все дни бывал...

– Понимает в корабельном строении? – спросил Рябов.

– Ничего, мужик с головой. Более спрашивает: оно тоже для воеводы дело хорошее – спрашивать. Ну, лекалы сколотили, пошла работа: печи поставили водяные с котлами – доски парить. Вишь, какой корабль построили – облитой весь, почище яхты, – а? Как досками обшивали, так словно бы кожу натягивали – таковы мягки. Сделали почитай что

все, – тут и объявились Николс да Ян. Ну, ремесло свое знают, ничего не скажешь, да ведь корабль готов был. Они сразу Ивана Кононовича чуть не в толчки, сами, мол, управимся, иди себе, дед! Поклонился кораблю Иван Кононович большим обычаем, посошок взял, топор свой за пояс заткнул, обладил свой карбас, да и обратно в Лодьму...

– А Николс да Ян?

– Здесь они. Им почет, им ласка, им жалованье царское. Так от века заведено: скажешь, что простой корабельщик с Лодьмы корабль выстроил, – как на тебя глянут? А скажешь Николс да Ян – и ладно будет.

Рябов вздохнул, поднялся:

– Где же Иван Кононович? Ужели и спуска не увидит?

– Сказывал, что домой собрался, а правду не ведаю. Может, и посмотрит спуск издалека. Человек же...

– Денег-то ему воевода дал?

– Денег дал, – нехотя ответил старик, – да что ему в деньгах. Обидно мастеру.

Рябов пошел к кораблю, поднялся на палубу.

Петр Алексеевич ругал Апраксина, что корабль еще не готов, воевода отговаривался: гвозди-де не подвезли, да блоки долго держали, да парусину спервоначала прислали не такую, как нужно. Мастера Николс да Ян тоже оправдывались – очень плохо работают русские плотники, нерадивы, более говорят, нежели делают. Апраксин вдруг вспылал, крикнул иноземцам:

– Вы бы помалкивали, господа достославные! Сколь времени мы вас ждали?

Николс да Ян сразу обиделись, Петр Алексеевич примиряюще спросил:

– Когда же спускать станем?

– Дня через три, не ранее! – ответил Федор Матвеевич. – Недоделано больно много, великий шхипер. А нынче на яхте походить можно. День погожий, морянка подувает...

Позже, проходя по шканцам, Рябов услышал, как Апраксин всердцах рассказывал Иевлеву:

– Давеча говорю, что-де Николс и Ян почти ничего для корабельного строения сделать не успели, – великий шхипер смеется. Не верит...

На строящемся корабле поработали до полуночи и только поздней ночью, не чуя ног от усталости, отправились на Мосеев остров. Царь сидел в карбасе неподалеку от Рябова, смотрел то на Соломбалу, где стоял на стапелях корабль, то на Мосеев остров, где тихо покачивалась у причала яхта «Святой Петр».

– Два еще мало! – сказал Гордон. – Но два уже хорошо... Два еще не флот, но два – почти эскадра.

4. РАЗНЫЕ ЕСТЬ ВЕТРЫ...

С утра царя-шхипера не было видно, бояре – побогаче и постарше – ушли во дворец, прочие свитские полдничали на солнечном припеке: резали копченого гуся, выпивали из склянницы по кругу. Один, тощий, подобрав колени, уперся в них бородою, нехотя жевал пироги, тоскливо глядел на двинский простор. Другой, сидя рядом с ним, негромко говорил:

– Ну, край! Распротак его и так. Занесло нас, закинуло, забросило. Птица, и та, что поросся, визжит. О, господи!

Тощий кивал головой, жевал сухой пирог, бранился скучным голосом.

Подалее у досок сидели потешные, – Рябов уже знал, каковы они с виду: в кургузых кафтанчиках, поджарые, с дублеными крепкими лицами. Они круто опрокидывали стаканы, нюхали корочку, судили здешних беломорских женок, ржали как жеребцы. Возле них стоял Апраксин – невысокий, прибранный иначе, чем вчера, – поколачивал тростинкой по голенищу блестящего ботфорта, смотрел вдаль, втягивал тонкими ноздрями запах Двины, едва уловимый, солоновато-горький дух далекого моря.

Увидев Рябова, что-то сказал потешным. Один из них, почерневший на солнце, как

перепечь, – после кормщик узнал, что звать его Якимкой Ворониным, – громко, сипло крикнул:

– Кормщик, водку пьешь?

– Кормщик, водку пьешь? – передразнил тонкий писклявый голос.

Рябов слегка подался назад, посмотрел под ноги тут крутился маленький старичок в бубенцах, звенел, прыгал, босое сморщенное лицо его кривилось гримасой, изо рта торчал, как пень, один кривой зуб.

Сдерживая дрожь омерзения, кормщик перешагнул через карлика и тогда увидел другого шута: тот сидел в кругу потешных, смотрел круглыми печальными глазками, утирал рот колпаком с бубенцами.

– Иди, водки выпей! – сказал Якимка Воронин. – Воевода ваш Апраксин вот сказывает, что ты здесь первеющий мореход. Садись, гостем будешь!

Он подвинулся на бревне, давая место подле себя. Другие тоже потеснились, и Рябов сразу заметил, что потеснились с уважением, не без любопытства вглядываясь в него. Только Апраксин стоял попрежнему, не меняя позы, глядел на Двину.

– Здорово, – молвил Рябов и принял из рук Якимки тяжелый, до краев налитый стакан. – А что до того, каков я мореход, то насупротив некоторых иных мне и выходить нельзя. Я перед ними вроде как зук.

– Что за зук? – спросил Воронин, поддевая на нож ломоть ветчины и протягивая его Рябову.

Рябов принял мясо, сказал с расстановкой:

– Зук, господин, по-нашему, по-морскому, чайка называется, – малая, робкая. Она сама вроде бы ничего не схватит, боится добычу брать, а норовит взять, что бросовое, ненужное: потроха там, когда рыбину рыбак пластает, али еще что. Вот мы промежду себя ребяташек, которые с нами в море ходят, так называем – зуйками. Доля ихняя вроде бы и никакая, – чего рыбаки не берут, то им годится. Ученики, словом. Меж себя мы и говорим по-нашему: зук, мол.

Он посмотрел на свет желтого стекла стакан, понюхал и, под перекрестными взглядами потешных, через зубы влил в глотку холодную можжевелевую. Потом выдохнул воздух и деликатно откусил кусочек ветчины.

– Хорош корабль-то? – спросил другой потешный с веселым, покрытым веснушками лицом и с крепкими сочными губами. – Для вашего моря ничего корабль? «Святой Петр»?

– Корабль ваш ничего, – ответил Рябов, – седловат, коли отсюда глядеть, – вон кормушка горбылем торчит. А так ничего. Баженин-то Осип мужик головатый, коли чего затеет – значит, дело будет. Нынче на корабли его повело, а ведь ранее он этим делом нисколько не занимался. Мельник он, зерно молот. И доски тер – на продажу. Богатеющий мужик.

– А ветры у вас здесь какие? – спросил Воронин.

– Ветры у нас есть, не жалуемся, – ответил Рябов, косясь на карлу, который громко зачавкал, обсасывая жирную кость. – Разные есть, господин, ветры. Наше море Белое, оно ветрами богато...

И он стал говорить о ветрах, показывая рукою с пустым стаканом, как они дуют, откуда заходят и какие надобно ставить паруса при здешних ветрах. Подошел Иевлев в расстегнутом на груди кафтане. Апраксин слегка наклонился – тоже слушал.

– Как на август перевалит, – говорил Рябов, – мы, значит, так по-нашему, по-морскому, меж собою думаем: жди рыбак листопада, – задует он надолго, запылит, завоюет в море листопад. Который отсюда дует, по осени более – не то, чтобы с ночи, с севера, а вот отсюда, – Рябов стаканом показал, откуда дует, – завсегда он у нас, на нашей стороне беломорской, – с дождем. Мы его называем плаксою, потому как он все плачет, слезьми течет. Оно и выходит – плакса...

– Ну, господа мореходы? – спросил Апраксин. – Кто со всею поспешностью ответит, откуда по-нашему, по-навигаторскому, дует плакса? Не говори, Иевлев, погоди, душа!

Знаешь, Прянишников?

Длинный потешный в камзоле без кафтана, с кислым лицом, пожал плечами. Воронин морщил лоб и моргал. Другие отворотились.

– Зюйд-ост, – молвил Апраксин, – верно, Сильвестр? Зюйд-ост поморами зовется плаксою.

– Будто так и голландцы сказывали, – согласился Рябов.

– А еще какие ветры у вас, у беломорцев? – спросил Апраксин, и опять в выражении его лица не было нисколько насмешливости, а только живое любопытство светилось в глазах.

Рябов стал дальше рассказывать о ветрах. Потешные в кафтанах, в плащах, кто босой, чтобы отдохнули ноги, кто и без камзола, чтобы продуло ветерком, – слушали внимательно.

– А компас ты знаешь? – издали спросил Иевлев.

Рябов ответил:

– Рыбаки промеж себя так говорят: в море стрелка не безделка...

Иевлев подошел ближе, сказал:

– В некоторых иноземных книгах знаменитейшие мужи писали, будто в ваших полуночных странах доподлинно видели кинокефалов – чудищ с песьими головами, а также аримассов – еще более страшных чудищ с одним глазом посредине лба...

Кормщик тихо улыбнулся.

– Не слыхал ничего про сие? – спросил Иевлев.

– Побрехушки то! – ответил Рябов. – И на Матку я хаживал, и на Груманте бывал, и на Колгуеве промышлял – не видел ни с песьими головами, ни с единым глазом Медведя, может, иноземец твой, господин, испужался, а со страху и набрехал...

К Апраксину подошел свитский, что-то шепнул на ухо, Федор Матвеевич оглянулся:

– Шхипер идет. Да ты ничего, говори, он не любит, чтобы перед ним больно робели...

– А мы робеть не научены! – ответил Рябов.

Никто из потешных не переменял позы, остались как сидели. Петр Алексеевич подошел, положил руки на плечи Апраксину с Иевлевым, протиснулся между ними, вслушался в разговор. Рябов сидел к царю боком, рассказывал, как садится туман в море, как поднимаются облака от горизонта, как чистая яшень проступает и как можно судить, скоро ли падет ветер.

– Чего-чего? – переспросил шхипер.

– Приметы он здешние морские говорит, – пояснил Апраксин, – послушай, государь.

– А ну-кошь, подвинься, Федор, – сказал шхипер Прянишникову и сел рядом с ним. – Да посылнее подвинься, присох, что ли?

– Мы по-нашему еще так думаем, – говорил Рябов, – от дедов повелось: ежели белуха, нерпа али касатка всплывают, да морду воротят, да дышат, – жди ветра оттудова, куда они воротят. Сильный будет ветер, а то и торок ударит.

– Что за торок? – спросил Петр.

– Известно, торок, – ответил Рябов и прямо глянул в загорелое, совсем молодое широкое лицо царя, – ветер короткий, государь, который всякую снасть рвет, ломает все, коли его загодя не ждать.

– Шквал? – спросил Петр.

– А кто его знает, – молвил Рябов, – по-нашему – торок.

И, подгоняемый вопросами то Апраксина, то Иевлева, то Воронина, то самого царя, он стал рассказывать, что знал о Белом море, – о ветрах и течениях, о приливах и отливах, о пути на Соловки, на Грумант, на Поной, о том, как хаживал с покойным батюшкой в немцы, как шел вверх в Русь.

Вокруг стояла большая толпа: и ласковый Лефорт, и мордатый краснолицый князь Ромодановский, и Шеин, и Голицын, и другие. Слушали, кивали головами, охали, но Рябов чувствовал – им это все неинтересно, а интересно только нескольким людям: вот Апраксину, Иевлеву, Воронину, самому государю. Петр весь разгорелся, глаза у него блестели, сидел он

неспокойно и все вскидывал головою, спрашивал и переспрашивал, громко хохотал, и тогда все хохотали вокруг... А стоило ему перестать, как все переставали, и у всех делались скучные лица, между тем как Петр попрежнему внимательно и напряженно слушал.

Потом он взял штоф, налил стакан, протянул Рябову, сказал:

– Пей!

И, широко шагая, ушел на яхту. Рябов выпил жалованную водку, утерся, поднялся. На яхте били в барабан, в один, потом в другой.

– Алярм? – прислушался Апраксин.

Затрубили в рога, два барабана сыпали дробь, Апраксин крикнул громко, весело:

– Алярм!

И побежал, придерживая шпагу. За ним, обгоняя его, побежал Иевлев, завизжали карлы, однозубый схватил оставшуюся ветчину, побежал тоже, запихивая ее за пазуху. Отовсюду бежали свитские с испуганными лицами: не страшна была тревога – страшен был гнев Петра Алексеевича, коли заметит, что припоздал самую малость. Бежали Ромодановский, Шеин, тяжело переваливаясь на коротких ножках; пулей промчался лекарь Фан дер Гульст; отмахиваясь посохом, доедая на ходу, протопал по доскам поп Василий, царев крестовый священник: коли били алярм, и ему не было снисхождения; думный дьяк Зотов, толкаясь, пробежал вперед Винуса; думный дворянин Чемоданов споткнулся на карлу Ермолайку, упал на доски, рассадив голову.

А барабаны все били, рога играли, и в ясном бледно-голубом двинском небе с криками носились чайки, будто напуганные непривычным шумом и невиданною суетою.

– Пожар там, что ли? – спросил Митенька, появляясь навстречу Рябову.

– Разве ж их разберешь? – ответил кормщик. – У них баловство не лучше пожару. Бери вон, кушай копченость, я-то вовсе наелся... Да и сиди здесь потихоньку, в холодке, я пойду погляжу...

Он зашел на яхту с кормы, подтянулся на руках и выглянул из-за груза. Все свитские сбились в стадо; перед ними все еще били в высокие барабаны два барабанщика. Трубач Фома Чигирин, надув щеки, подняв в небо медный рог, трубил изо всех сил. А царь Петр Алексеевич, насупившись, прохаживался на длинных ногах, на людей не смотрел. Потом, отмахнувшись от Чигирина, стал сердито выговаривать какому-то приземистому старику. Старик истово божился, и было непонятно, чего он божится. Петр, не слушая его, топнул ногой, обернулся к Осипу Баженину и громко, на весь корабль, закричал:

– Тебя-то где искать? Коли алярм бьем, так и ты скачи, а то живо сгоню прочь...

5. ПЕРВЫЙ САЛЮТ

Стали зачаливать конец со струга. Потные мужики бестолково кричали внизу, ругались. Петр стоял на самом носу, свесившись вниз, приказывал, что надо делать. Но здешние поморы не понимали, что говорил царь то по-голландски, то по-русски. Рябов вышел из своего укрытия, миновал бояр и князей, которые все еще неподвижно стояли на палубе под жаркими лучами солнца, поднялся по приступочкам и, слегка отодвинув царя в сторону, зычно, словно в говорную трубу, крикнул мужикам на струге:

– Эй, старатели! Меня слушай: я по-нашему, по-беломорскому сказывать стану, авось разберете. С кормы заходи все!

Мужики поняли, повели струг кругом, Рябов шел вдоль борта.

– Кидай теперь! – крикнул он, когда струг стукнулся о корму. – Да весельщиков покрепче сажай, махать некуда, грести надобно.

Иевлев с Ворониным и с Федькой Прянишниковым пытались ослабить концы, которыми яхта держалась у берега, но у них тоже ничего не выходило: здешние поморы все делали иначе, чем голландские учителя на Плещеевом озере.

Петр метался то туда, то сюда. Прянишников отдал себе руку, визжал, Воронин беспомощно отругивался от царя:

– Тяни канат! Легко ли, когда зажало его!

Вновь появился Баженин, за ним шло несколько лохматых мужиков, нечесанных – видно, спали, несмотря на царев алярм. Один – повыше других ростом – подошел к Иевлеву, оттиснул его, сказал сонным голосом:

– Шел бы ты, господин, куда подальше!

Другие без особой ловкости, но и безо всякого усилия сволокли сходни. Мужик – босой, с головою, повязанной тряпицею, – соскочил на пристань, понатужился, выбил поленом палку, что продета была в конец, закричал:

– На струге! Поддергивай!

Яхта легко качнулась, между бортом и пристанью сделалась узкая полоса воды, потом полоса стала шире, погода еще шире. Карлы закувыркались:

– Поплыли, потащились, корабельщики, пото-о-онем!

Бояре, что были поплешивее, побородастее, закрестились. Рябов усмехнулся: послал бог мореходов, – наплачешься. И чего их парь за собою таскает, куда они ему надобны?

Потом вдруг рассердился: видывал в жизни всякую бестолочь, а такой не доводилось. Куда идут – неизвестно, чего спехом, по барабану, без православного обычая собрались, никто не знает, кто шхипер сему кораблю, – разве разберешь? И Митрия сдуру на берегу оставил...

А матросы кто? Мореход истинный Кочнев, так тот – помирает. Баженин полну яхту своих холопей приволок, какие на Вавчуге поморы, – одна смехота. Сподобил господь царя вести в море. И эти, словно козлы, стоят, бородами мотают, весь верх запрудили – ни пройти, ни повернуться. Каково же будет паруса вздевать да всякой снастью управлять, коли в море корабль выйдет? А коли море зачнет бить? Что ж, так и будут стоять бояре столбами поперек палубы? Смоет ко псам всех до единого, никто живой не возвернется домой.

Подошел Петр – потный, к влажному лбу прилипла темная прядь волос, спросил:

– Какова на ходу?

– Каков же ей ход, – с сердцем молвил Рябов. – Баловство одно, ваше величество. Курям на смех. И шхипер на ей ты, что ли, будешь?

Петр Алексеевич отвел мокрую прядь со лба, с подозрением взглянул:

– Ну, я.

– Коли ты, прикажи бояр да князей сверху убрать. Там внизу изба есть, с лавками, – чин по чину. Пускай сидят да бородами трясут. Неча им тут мотаться. А допреж всего сказывай, куды корабль вести. Вон тебя все опасаются спросить, ни единая душа не знает – куды собрались. На Соловки, что ль?

Петр круто повернулся, ушел, громко заорал на свитских. Те, испуганно косясь, один за другим пошли вниз. Наверху остались Лефорт с Ромодановским, Виниус, оба шута, которые расковыряли рогожный тюк с копченой рыбой и распихивали ее по карманам и за пазуху, да потешные с Иевлевым и Апраксиным. Сразу стало тише, глаже, спокойнее. Вавчугские плотники и столяры, назначенные нынче матросами, встали по местам, барабанщики с трубачом ходили вслед за великим шхипером – ждали, когда прикажет бить очередной алярм.

Яхта тащилась медленно, со скрипом.

Опять ударили барабаны. Царь взбежал по ступеням наверх, закричал, чтоб вздевали паруса. Какие – никто не знал, барабаны грохотали, трубач Фома побагровел, царь что-то кричал в говорную трубу. Апраксин сбегал к нему, потолковал, стал командовать сам. Вавчугские плотники, негромко переругиваясь с потешными, вздели кое-как паруса. Легкий ветер залопоскал в широких серых полотнищах.

Рябов повел корабль по Двине вниз.

Петр Алексеевич стоял близко, в двух шагах. Глаза его блестели радостным возбуждением, он хлопал Лефорта по спине, кричал:

– Вон оно! Что? Ты гляди, гляди, вишь?

Без конца командовал и не обращал большого внимания на то, что его никто не

слушается, часто хватал короткую подзорную трубу, смотрел на компас в нахт-гойсе и всех тыкал, чтобы смотрели – куда идем, какой держим курс, да быстро ли, да каков ветер.

Лефорт улыбался, но взор его был пустым, тусклым.

Осип Андреевич тоже стоял здесь, чесал бороду, встревал в разговоры царя, показывал пальцем:

– Вон она, ваше величество, Курья, вишь, течет. Домок тута есть, женки – чистого атласа, да ласковые, да щекотухи, пфф!

И густо смеялся.

А царь не слушал, уже распорядился любимым своим пушечным учением, сам волок пушку на канатах, командовал, как и куда палить, сколько набивать пороху, как работать приборником. Теперь у всех потешных были в руках гандшпуги – для наката пушек, приборники – для досылки ядер, пыжевники – таскать пыжи. Фитили уже тлели в поблескивающих на солнце пальниках, когда царь, в который уже раз, взбежал наверх. Размахивая говорною трубою и срывая голос, он закричал пушечной прислуге и всем обращенным к нему загоревшим юным веселым лицам:

– Слушай мою команду! Господин констапель, к стрельбе готовься! Бомбардиры и пушкари – по местам! Левый борт, фитили запалить! Левый борт! Забей заряд! Левый борт!

Потешные метались, таская пороховое зелье, рассыпая его, размахивая возле пороху тлеющими фитилями. Все вот-вот могло вспыхнуть, яхта бы взлетела на воздух, но бог миловал Петра Алексеевича, не наказывал за бестолочь, за неумение, за молодость. И не наказал даже тогда, когда из-за зеленого двинского мыска показался вдруг струг, а царь этого струга не заметил и приказал потешным: «Залп-огонь!» Потешные пихнули фитили к затравкам, две пушки из шести с грохотом выстрелили, ядра со свистом описали дугу и шлепнулись неподалеку от струга, подняв столбики пенной воды. Рябов дернул царя за локоть, но царь уже сам видел и струг и вздетый на нем штандарт архиепископа Важеского и Холмогорского, и то, как на струге забегали и стали махать хоругвией...

Но пушкари у своих пушек не видели струга, им было не до него, – порох в затравках не зажигался. Со злобным азартом они все пихали зажженные фитили, и наконец после многих усилий выстрелила еще одна – третья – пушка, а четвертая только фыркнула, из ствола ударил узкий язык пламени. Карлы легли на палубу, зажали головы, завывли. Петр топнул ногою, плюнул.

Со страшным грохотом, уже вовсе ни к чему, не то взорвалась, не то пальнула пятая пушка. Потешные повалились возле нее. Через кули, через бочки кинулся туда Апраксин, смотреть – поранены али до смерти убиты люди.

Возле шестой, бесстрашно копаясь в затравке гвоздем, стоял Иевлев, смотрел – горит там али так и не загорелось, и чего с ней делать, – может, заливать водою?

– Федор Матвеевич, – крикнул Петр, – убило кого? Лекаря покличь, он разберет!

Но никого не убило и не поранило, одному только малость обожгло шею да щеку. Фан дер Гульст, с опаскою поглядывая на дымящуюся пушку, у которой командовал Иевлев, налил на тряпицу бурого вонючего элексиру и стал лечить пушкаря. Ромодановский от пальбы позеленел, утирал пот жирною рукой, вздыхал. Бутурлин мелко переставлял ноги, обутые в красный сафьян, похаживал по палубе, с усмешкою поглядывал на царя.

Пришел бородатый, толстый думный дьяк Виниус, с укором сказал:

– Петр Алексеевич, от сей пальбы внизу у бояр подволока повалилась, щепьем закидало. Гоже ли?

– Гоже, гоже, – сердито отозвался царь, – небось, обтерпятя. Иди отсюда, иди!

И крикнул вслед с веселой угрозой:

– То ли еще будет!

Захохотал, пошел вниз – встречать архиепископа Важеского и Холмогорского Афанасия: струг уже подплывал к борту.

Благословляя корабль и людей, Афанасий подал царю обычные дары – хлеб и рыбу, посмеиваясь, спросил:

– Ты чего, государь, ваше величество, пальбу по моему стругу учинил?

И пошел за царем наверх, к штурвалу – смотреть компас, любоваться на окрестные виды через подзорную трубу, наблюдать за пушечною потехою.

– Когда ж на Соловки? – спросил он, глядя с интересом в трубу.

– Пока погожу, – ответил царь и поднял говорную трубу – кричать правому борту, чтобы изготовился к пальбе.

– А я-то Фирсу еще когда отписал, – молвил Афанасий, щуря один глаз и нацеливаясь трубою на далекую мельницу. – Гляди, гляди, – крикнул он вдруг, – мужик с мельницы вышел. Как на ладони все видать. И чего делает, срамник, – со смешливою укоризною медленно заговорил архиепископ, – знал бы, кто на него смотрит. Ай, неучтивец!

После стрельбы правым бортом долгое время становились фертинг на якоря, делали парусный алярм, в результате которого Воронин упал в Двину и наглотался воды. Еще палили из погонной пушки, будто догоняя вражеское судно. Погонная пушка палила совсем хорошо, только одно было худо, что некого было догонять.

Между тем погода портилась, небо, после жаркого утра, затянуло, Двина потускнела, подернулась рябью. Но духота не проходила, дышать попрежнему было трудно, вавчугские мужики, назначенные в матросы, двигались лениво, с перевальцем, как все северяне в жару...

Рябов поглядывал на небо, щурился, зевал. Яхта двигалась медленно, ветер то надувал паруса, то вдруг исчезал вовсе, и тогда серые холстины скучно опадали, корабль переваливался на месте.

Внезапно, когда уже спустились далеко вниз, ударила моряна. Петр Алексеевич обрадовался, велел бить еще один алярм, делать поворот, идти вверх. Вверх побежали с резвостью, царь сам положил руки на колесо штурвала, вздергивал кудрявою головою, шутил с мужиковатым лукавым Афанасием, командовал сменю парусов.

Рябову захотелось пить: показав царю, как идти стрежем, сбегал вниз – поискать квасу.

Повсюду под палубой томились свитские, кто спал, кто только подремывал. Ромодановский сидел на узкой лавке разутый, злой, шевелил отеками пальцами ног, прихлебывал мед, отдувая пену. Думный дьяк Зотов, хмуря широкие брови, писал на пергаменте. Сюда же от пушечной пальбы забрались и карлы – Ермолай с Тимошкой. Однозубый жевал, Тимошка штопал ребячий свой кафтанчик, вздыхал, шептал про себя божественное.

Когда Рябов поднялся к своему месту, небо совсем заволокло, ветер нес капли дождя, хлестал по спинам. На щеках у царя от внезапного холода выступили сизые пятна, но кафтан он не застегивал, потирал грязные руки, смеялся:

– Где там Осип Андреевич? Нащечился, небось, сам да об гостях забыл. Пускай водки несет, собачий сын. Афанасий озяб!

Отдал Рябову вести яхту, выпил сам водки, попотчевал всех по очереди, вновь взял зрительную трубу. Опять прошли Курью, Соломбалку. В пелене дождя возник Кег-остров, силуэты иностранных кораблей, правый берег с колокольнями, с Гостиным двором, с высоким домом воеводы. Ветер с легкостью гнал яхту, мачты скрипели, позади корабля тянулся белый пенный след.

– Поближе веди к иноземцам! – приказал Петр.

Рябов кивнул: поближе так поближе, сейчас, мол, увидишь, каков кормщик Иван Савватеев. Переложил руль, еще переложил, еще. Корабль накренился, моряна с воем ударила в паруса, карминная корма «Святого Августина» – давешнего конвоя – начала расти, приближаться, будто двигалась не яхта, а шел на нее голландский конвойный корабль.

Как давеча, на конвое, забили в колокола, прогрехотал одинокий пистолетный выстрел. Петр вдруг вцепился в крепкое плечо Осипа Андреевича, вперил горящий взор в штандарт с российским гербом, развевающийся на грот-мачте, выругался:

– Мал штандарт навесили, – коли сам не приглядишь, ничего толком не сделают...

И, нетерпеливо дергая Баженина, закричал, чтобы пушкари бежали к погонной пушке, ежели занадобится отвечать на салюты иноземных корабельщиков.

Рябов еще раз переложил руль. Яхта совсем накренилась. Баженин ойкнул – совсем близко, рядом скользнул борт «Святого Августина», мелькнули растерянные лица голландцев, медные стволы пушек, сигнальщик у колокола на посту.

Петр Алексеевич стиснул челюсти, по лицу царя катились крупные капли дождя.

– Мал штандарт, мал, не видят герба российского...

– А может, не хотят видеть? – спросил Апраксин.

Петр не ответил. Рябов вел яхту к другому кораблю, – то был «Спелый плод». Там ровно, гулко били в тулумбас, мощные удары разносились далеко по воде.

Рябова разбирала злость: может, он виноват, что не видят штандарта, может далеко ведет яхту? Так он и ближе поведет. Увидят, небось!

– Раза в четыре поболее штандарт надобен, чтобы увидели, – сердито сказал Прянишников.

Апраксин усмехнулся, не оборачиваясь к тезке, ответил:

– Флот надобно, силу морскую, тогда и самый махонький штандарт разглядят. Выстроим верфи корабельные, зачем корабли спускать на воду – всякий штандарт увидят...

В это самое мгновение на «Святом Августине» запоздало ударила пушка. Царь вздрогнул, глаза его широко раскрылись. Он обнял Баженина, сказал с силой:

– Увидели! Ну, спасибо тебе, Осип Андреевич. Вовек не забуду. Увидели, поняли...

Пушка ударила во второй раз, в третий, четвертый. На иноземных кораблях задули в трубы, передавая сигналы, пальба послышалась со «Спелого плода», до которого еще не дошли, потом загремели салюты с «Радости любви», с «Золотого облака», «Белого лебедя»... Тяжелые, грохочущие, сильные раскаты неслись низко над водой, то вместе, то порознь, слева, сзади, впереди, справа...

Петр Алексеевич побледнел вовсе, ноздри его короткого носа раздувались, он дергал Баженина за плечо, кричал, покрывая голосом грохот пушек:

– Кораблю русскому сальвируют! Первому кораблю! Наипервейшему! Штандарту, что подняли мы на грот-мачте, сальвируют!..

И, рванувшись вперед, побежал к погонной пушке, сам набрал порошу, насыпал две меры, схватил у пушкаря прибойник, стал забивать, высоко поднимая плечи, заглядывая в ствол. Ему дали пыж, он заругался, потребовал другой, неверными руками засыпал порох в запал, скривясь, поднес пальник.

В запале зафыркало, затрещало и погасло.

– Пороху! – закричал Петр Алексеевич. – Пороху, собачьи дети, сухого пороху! Заряжай другую пушку! Погубили, дураки, опозорили, порох мокрый, намочили порох, ироды!

Апраксин, наклонившись над ящиком, перевесившись внутрь, разгребал, ища порох посуше. Иевлев уже забивал заряд в другую пушку, Прянишников – в третью. И у всех были бледные лица, все понимали значение настоящей минуты. Надо ответить на сальвирование государственному гербу!

А над Двиной попрежнему стоял несмолкаемый грохот, палили со всех сторон, в сырости тянуло пороховую гарью, кислым запахом серы.

Наконец порох в запале загорелся, прогрохотал выстрел, пушку откатило, свалив Апраксина с ног, но он вскочил веселый, счастливый. Царь вдруг поцеловал его и, все еще ругаясь, рванулся к другой пушке. Выстрелила и другая с правого борта, та, про которую думали, что она лопнула. Более палить не следовало, на четыре выстрела конвоя и на шесть иных негодантских кораблей достаточно было выпалить два раза царевым пушкам.

В свисте моряны, в косом дожде летел «Святой Петр» по серым двинским водам, то ложась бортом, то выпрямляясь, то прядая на волну, летел мимо конвоев, мимо злых медных пушек, торчащих из творил, мимо негодантских кораблей. И маленький штандарт «Святого Петра» с гербом российским, туго натянутый ветром, горделиво, победно, весело неся все вперед и вперед...

В это самое время на баке, за тюками и бочками, позабытый всеми, силился

приподняться на своей рогоже и увидеть то, что видели все, Тимофей Кочнев, строитель «Святого Петра». Слабеющими руками он все хватался за бочку и наконец ухватился с такой цепкостью, что приподнял искалеченное тело и грудью навалился на днище бочки. Теперь он видел, как шла яхта, видел над головой, на мачте, которую сам поставил, штандарт, видел на Двине белые круглые дымки пушечных салютов...

– Славно! – сказал Тимофей и улыбнулся, не замечая, что из глаз его ползут слезы. – Славно, ходко идем!

Он хотел было распорядиться, чтобы прибавили еще парусов, потому что никто лучше его не знал эту яхту, но людей рядом не было. Он опять ослабел, не смог удержаться за днище бочки, сполз обратно на свою рогожу и вновь впал в забытье надолго, пока не увидел над собою царева лекаря Фан дер Гульста, Рябова, Иевлева, Чемоданова и Апраксина...

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Он знал в науках матросских вельми остро, по морям, где острова и пучины морские, и мели, и быстрины, и ветры.

Гиштория о российском матросе

1. МИТЕНЬКА БОРИСОВ

Митенька проводил яхту взглядом, смотрел, как она словно бы таяла, влекомая стругом в блеске речных струй, дождался, покуда превратилось судно в черную точку, потянулся и отправился в тень – дожидаться кормщика, как дожидался его много раз за свою не длинную еще жизнь.

Еда у него была, коли бы захотелось пить – попил бы из Двины, с острова никто не гнал, и нынче наконец высвободилось время, когда можно было тихонечко полежать и подумать, как жить дальше, что случилось за недавние, богатые событиями дни и чего ждать от будущего.

Можно было все обдумать на досуге и в то же время можно было посмотреть, как живет царев дворец без царя, какие тут порядки, что творится на поварне. Можно было послушать песни, которые поют царевы слуги, приехавшие с ним из далекой белокаменной Москвы, а самое главное – можно было отоспаться, довольно уже он спал в полглаза, просыпаясь от каждого шороха. Здесь было спокойно. Сюда не попасть монастырским служникам, нечего им тут делать, а тем более незачем здесь быть отцу келарю того монастыря, куда по обету много лет назад отдали Митеньку Борисова по прозвищу Горожанин. Нечего тут делать Агафонику, не поймать ему Митеньку, не послать толмачом на иноземные корабли, туда, где в каждую навигацию зарабатывал он деньги монастырю, переводя распоряжения шхипера грузчикам-дрягилям...

Под тихий, едва слышный плеск двинских вод, под визгливые крики чаек, под шепот берез Митенька смежил очи, потянулся и, пристроившись на песке поудобнее, принялся мечтать о том, как сложится его дальнейшая жизнь вместе с кормщиком.

С силой, ясностью и четкостью мечты, что бывает только в отрочестве, Митенька представил себе не только кормщика у штурвала корабля, но и самого себя ведущим яхту как раз тогда, когда бьет внезапный и свирепый торок из-за серых скал, поросших лишаями, когда со свистом, с воем вздымаются крутые волны, чтобы стереть, раздавить, сокрушить вовсе корабль, на котором царь совершает свое плавание.

Вот в это-то именно мгновение Митенька стоит у штурвала. В грудь и в лицо ему бьют пена, брызги, соль Белого моря, – то не раз он изведал, рыбака, с робостью, с надеждой и верой глядя в лицо кормщику. Теперь он сам – кормщик. Рябов, разумеется, здесь же, где ему быть иначе, но он как бы в тумане, как бы и есть он, в то же время его нету, а главный, самопервющий здесь Митенька, похожий на Рябова как брат-близнец. Не убогий служник

монастырский, не калека от рождения – Митенька Горожанин, а иной Митенька – высокий, плечистый, с прямым взором высветленных морем глаз, с русыми кудрями до плеч, с громовым голосом, от которого столбенеет все, что есть живого на корабле, – он и есть Митенька Борисов, он и есть Горожанин.

Он спасает корабль. Он громовым своим голосом отдает команды, как отдавал бы их Рябов, он бесстрашно смотрит на разбушевавшееся море, как смотрел бы Рябов, он спокойно ставит корабль носом против волны, и он даже находит в себе силы шутить, как шутил бы Рябов.

А царь, этот высоченный человек в плаще, стоит рядом с ним и все спрашивает, потонем али нет?

Но твердая рука Митеньки и воля божья спасают корабль. Бьют барабаны, гремит музыка, солнце припекает жарко, звонят колокола, и рейтары сдерживают игривых коней, когда мореходы высаживаются здесь на Мосеевом острове и когда Митенька Борисов, кормщик, первым ступает на широкий ковер, постеленный от яхты до царева дворца. Царь где-то затерялся, а Митенька идет, и почему-то есть у него золотистая борода, он оглаживает ту бороду и медленно ступает, а народ вокруг – посадские и дрягили, и беглые попы, и вавчугские мужики-матросы – все кричат, словно чайки:

– Награду ему, награду!

И ему несут награду, но тут же какие-то смутные лики появляются перед ним, отбирают награду, а он сопротивляется, визжит...

Митенька просыпается, медленно соображает: то был сон. А теперь наступила явь.

Руки у него связаны за спиной, невыносимо болит плечо, почти вывернутое в суставе, в глазах плывет блеск воды, солнечный свет.

Его поворачивают и толкают. Толкают еще раз, и тогда он видит отца келаря. Агафоник сидит на перевернутой корзине – в таких братья-пекари носят из пекарни душистые хлебы, – сидит и обтирает тряпицей розовое старческое чистое лицо, все в складках и морщинах. Ему жарко.

Два послушника – сытые, здоровенные, с сонными лицами – стоят слева и справа отца келаря.

– Убег?

Глаза келаря горят яростью. Он хорошо помнит, как досталось ему от дерзкого Рябова тогда, после «Золотого облака».

– Вор! Тать!

Митенька молчит.

Отец келарь зол: царские холопы ничего не пожертвовали на монастырь, а уж как старались и отец настоятель и отец келарь, как сеяли муку для царского обихода, как закваску квасили, как печи калили, чтобы подать к царскому столу хлеба легкие, пушистые, веселые.

Испокон веков за монастырскую заботу плачивали от царя щедрыми взносами, а нынче что? Вышел с поварни потный мужик, лба не перекрестя, благословения не испросив, рывком потянул корзину, вывалил хлеба на рядно, потянул другую и рывкнул на братию:

– Чего рты раззявили? Я один таскать буду?

Со смирением, ругаясь про себя мирскими словами, перетаскали хлеба – каждый каравай с крестом, каждый самым игумном благословлен. В старопрежние времена не меньше золотой ризы для образа святого Николая за хлеба было бы дадено, а нынче и не спрашивай: бритомордые, с негоциантскими трубками в зубах, антихристово семя, не иначе...

– Иди в карбас!

Митеньку еще раз толкнули.

Знакомый ненавистный монастырский карбас с медным крестом на мачте поскрипывал у причала. Послушники приняли отца келаря почти что на руки, покидали вниз хлебные корзины, отпихнулись багром.

Митенька сидел, закрыв глаза, чтобы ничего не видеть, молчал, думал: «Кабы ветер сейчас налетел, буря, карбас перевернуло, все бы потопли. То-то хорошо! Предстал бы перед господом, сказал бы: “Что, господи, монаси твои – слуги тебе, а таково несправедно живут, мучители!” Все бы сказал, ничего не скрыл. И как с крысами в темницу сажают, соленой треской кормят, а после воды не дают, спать велят на каменном полу мокрым. “Ужели ты так учил?” Рассердился бы, небось, царь небесный, знали бы, каково обижать сироту!»

И вновь Митенька стал воображать точно и ясно, как рассердился бы царь небесный, как он затопал бы, закричал на отца келаря, как наградил бы его, Митеньку, и как Рябов, узнав про все, смеялся бы, крутил головой, хвалил:

– Ай, Митрий! Ай, молодец! Ай, парень!

Но ничего этого пока что не случилось. Двина тихо катила свои воды. Митенька сидел связанный на горячем осмоленном дне карбаса. Варнава гугниво, из самой утробы, брюхом выводил псалом, отец келарь, насупясь, смотрел вдаль.

И в самом монастыре тоже ничего не изменилось: так же грелась братия на солнечном припеке, так же тянуло из раскрытого погреба соленую рыбою, так же, как весною, когда Митенька сбежал из обители, отец воротник дремал у ворот.

– Споймали? – равнодушно прошамкал он, оглядывая Митрия. – Теперь не убежишь, нет.

Во дворе братия обступила его и Варнаву. Поимка беглого обещаника – юноши, которого отдали родители в монастырь, служником по обещанию, – дело не каждодневное, событие там, где жизнь бедна событиями.

Варнава, довольный тем, что мог рассказать, где и как нашли Митрия, стоял рядом с ним, врал, что приходило в голову. Братия укоризненно гудела, оглядывала мирское платье Митрия, разбитое его лицо, с лицемерием вздыхала, слушая, как нашли его неподалеку от царева дома на Мосеевом острове, куда хлеб возили для царева стола, будто бы Митенька валялся там, напившись водкою, глаза не мог продрать, дерзкий, драчливый, безо всякого смирения...

– Теперь кормщика застигнем, – сказал Варнава, победно оглядывая братию, – не испугаемся вора, смутьяна, богопротивника. Он всем бедам нашим голова. От него и пошло...

Митенька поднял взгляд.

«Что пошло? Что случилось в обители за это время?»

Только сейчас заметил он караульщика с бердышом и двух монахов, прохаживающихся возле хода в монастырскую темницу, – Филофея и Корнилия – оба с алебардами.

– Иди! – приказал Варнава.

Митенька пошел. Монахи, перешептываясь, смотрели ему вслед. Филофей и Корнилий расступились, ключ заскрежетал в замке, из подвала пахнуло сыростью. В сенцах чадил светильничек из нерпичьего жира. Дальше было темно.

– Иди! – крикнул Варнава, и эхо отдало его голос.

Он зажег свечку от светильника, прикрыл трепещущее пламя жирной рукой и зашагал по хлюпающей воде. За вторым поворотом была еще дверь на замке. Варнава отворил ее и, сильно ударив Митеньку коленом, замкнул за ним замок...

– Кого черти принесли? – спросил из темноты сиплый голос.

– Я это! – негромко ответил Митенька, радуясь человеческому голосу. – Я, Горожанин.

– Споймали?

– Споймали.

– И кормщика тоже?

– До кормщика теперь рукой не достать, – ответил Митенька. – Иван Савватеевич нынче у самого царя кормщиком поделался...

В темноте другой голос весело выругался. Сейчас Митенька узнал вдруг и всех сразу: это были монастырские служники-рыбари, кормщики и промышленники, трудами которых кормился и жирел Николо-Корельский монастырь. Здесь маялись: дед Федор, первый по

Беломорью промышленник на нерпу, на морского зайца, на моржа; были его дружки рыбаки – Аггей и Семисадов; были кормщики Яков да Моисей, Лонгинов да Копылов; был салотопник монастырский Черницын. Все они обступили Митеньку, выпрашивали, все наперебой сами рассказывали и дивились: неужто ничего ни ему, ни Рябову не известно о монастырских происшествиях...

Митенька забожился, что и слухом ничего не слышали. Дед Федор, прикрикнув на других, стал сказывать все по порядку. Началось оно вскоре после того, как Рябов с Горожаниным из монастыря ушли: Агафоник и настоятель в злобе вовсе поприжали служников, за рябовский карбас с них со всех потребовали, даже с салотопников, со всех до единого служников, и что у кого зажито промыслом либо рыбачеством – в залог побрали. Вышел спор пребольшой с Агафоником, келарь деда Федора посошком зашиб, дед бесчестья не перенес – маленько сдачи дал. Агафоник вскричал «караул!» Монахи навалились на служников, всех перевязали и – в подвал. Вот и сидят тут, сколько времени – никто и не знает, кормят монахи нарочно не в час, чтобы не угадать было – год прошел, али более, али куда меньше.

– Вот так и сидим! – сказал Семисадов. – Ждем. А чего? Сгноят, небось, нас тут...

У салотопника Черницына распухли ноги, Аггей обеззубел, Яков с дедом Федором еще посмеивались, но не слишком весело. Теперь вся надежда у них сделалась на Рябова. Будет искать своего Митрия – найдет и их. А коли искать не будет – пропадут все.

– Разве тут кто до смерти пропадал? – спросил Митенька.

– А то нет! Егорка одиннадцать лет просидел, ногами вперед ушел. Много чего было...

Перебивая друг друга, вспоминали служников, заточенных пожизненно: квасника Акима, кузнеца Лукьяна, костореза Нила...

– А костореза за что? – спросил Митенька.

– За сомнение! – сказал Аггей.

– За какое за сомнение?

– Против бога засомневался...

– Против бога?

– А вот ты слушай...

Но выслушать Митеньке не пришлось Варнава со свечкой пришел за ним и отвел его к отцу настоятелю, где уже сидел келарь и где пахло росным маслом, сухими травами и тертою трескою с редечкой – кушаньем, которое отец настоятель очень жаловал.

Митенька поклонился, встал у двери.

Настоятель, не глядя на него, ровным голосом объяснил, какая судьба ждет непокорного, коли не повинится он в своих грехах. Пригрозил, что Митеньку живого источат черви, что в сырости и холоде монастырской тюрьмы не пережить ему грядущую зиму, что только покаяние может спасти юную еще жизнь.

Митенька молчал.

– Говори!

– Не знаю, что говорить, отче!

– Подбивал ли Ивашка Рябов служников на непослушание?

– Не подбивал!

– Где нынче сей Ивашка?

– На царевом корабле.

– Что делает?

– Кормщиком!

Настоятель и келарь переглянулись.

Потом отец настоятель подвинул к себе деревянную мису с тертой рыбой, стал есть, чавкая. Даже в сумерках кельи было видно, как двигаются его челюсти, он жевал деснами – зубов у него не было вовсе.

– Зачем ты убег?

Митенька молчал, потупившись.

– Рцы, вьюнош! – с угрозой молвил келарь.

Глухим голосом Митенька ответил, что годы, на которые отдали его батюшка с матушкой в обитель, уже давно миновали, что он хочет на волю, монастырь ему не по душе, лучше жить простым рыбаком, морского дела старателем, нежели томиться тут. Говорил он не дерзко, но прямо, не громко, но твердо, и черные большие глаза его, обрамленные стрельчатыми ресницами, отважно глядели в тусклые старческие зрачки настоятеля.

– Дерзок! – сказал настоятель.

– Богопротивник! – согласился келарь. – От кормщика ума набрался!

Митенька молчал.

– Калека, а туда ж, в рыбаки, – зашамкал настоятель. – Наживщиком, и то не сгодишься, безумец. Околеешь, некому и похоронить будет, яко стерво на выгоне сгниешь. Того ли батюшка с матушкой желали для своего чадушки? С кем связался? С татем, с вором, с питухом мерзейшим, по коему плаха каждодневно плачет.

– Неправда твоя, отче! – глухо сказал Митенька.

– Ась?

Митрий повторил. И добавил:

– Не тать он и не вор, а кормщик наипервееющий, и за ним я всюду пойду, куда только ни позовет. А в обители нечего мне, отче, делать. В монахи меня не заманить, служником я отслужил. А что я от монастыря на иноземных кораблях толмачу и от того монастырю доход, так не будет того более... Не надобно мне толмачить, в корабельщики пойду, в мореходы...

Настоятель отодвинул от себя мису, маленькое лицо его с торчащими ушами сморщилось в кулачок, редкая борода вылезла вперед – торчком. Было так тихо, что сделалось слышно, как на воле, за толстою стеною, забарабанил дождь, зашелестел ветер.

– В корабельщики? В мореходы? Ты? Да где ты те корабли видел? Да кому ты там, шелудивый, надобен? Колченогий калека, и по земле едва ползаешь, мореходом надумал сделаться? Еще поищи богатея, чтоб в рыбаки тебя покрутил, рыбу пластать – и то негож. А он вот чего выдумал.

И, стукнув по столешнице высохшим кулачком с набухшими, как веревки, старческими жилами, отец настоятель велел тотчас же заточить Митрия большим заточением, без вывода на молитву, без хлеба и воды.

– На соленой тресочке живо прелестные мысли оставит, – крикнул он, – на соленой тресочке разум возвратится, позабудет кормщика, взмолится. Жалеючи сиротство, держим, а он морду воротит. Плохи мы ему, отец Агафоник, не надобны сделались.

– Кланяйся, – негромко сказал отец келарь, – благодари.

Митенька стоял неподвижно.

– Предерзлив! – крикнул настоятель и поднялся из-за стола так, что стол покачнулся. – Да не таких сламывали. Поломаем и сего, богомерзкого! В кровавых слезах омоется, паршами зарастет, чесотка одолеет, вспомнит бога, окаянец!

– Кланяйся, благодари, – свистящим шепотом сказал келарь и толкнул Митеньку сзади.

Но Митрий удержался на больных ногах, схватился за косяк, сказал:

– Не поломаете!

Из горящих глаз его вдруг брызнули слезы, и совсем тихо он повторил:

– Не поломаете! Паршами зарасту, а не поломаете. Помру, а не поломаете. Не поломаете!

Сильная рука отца келаря ударила его по щеке. Он покачнулся и опять совсем тихо, едва слышно повторил:

– Не поломаете!

Его опять ударили. Из носа потекла кровь, он закричал, вырываясь из рук келейника и других подоспевших монахов, кидаясь вперед, на настоятеля:

– Не поломаете, вороны черные, не поломаете!

Потом потерял сознание, а когда вели через двор обители, чтобы заключить большим

заточением, глаза его попрежнему горели кроткой силой, и шел он сам, без поддержки, хоть и ослабел до того, что кружилась голова...

Неподалеку от паперти монастырской церкви Митенька внезапно и резко остановился и поднял голову. В равномерном шелесте дождя он услышал недалекие пушечные выстрелы – сначала один, потом другой, потом еще один. Это палили на Двине корабли, и выстрелы весело грохотали над водою, перекатывались, отдавались эхом, вновь гремели все ближе, все громче. И было похоже, что палят они недаром, а палят для того, чтобы Митрию стало легче в эти трудные для него часы.

– Долго я тебя ожидать буду? – крикнул Варнава.

Он провел его мимо служников и пихнул одного в вонючую мокрую нору – на большое заточение. При свете свечи, с которой привел его сюда монастырский тюремщик, он успел оглядеться: каменный пол, хлюпающий водой, полусгнившие доски, на которых истлевает солома, камень, заменяющий стол.

Опять захлопнулась дверь, загремел тяжелый засов. Варнава ушел.

В кромешной тьме большого заточения все казалось глазу бархатным, неподвижным, застывшим навечно. Никакие звуки не долетали сюда – ни свист ветра, ни степенные шаги монахов, ни пение псалмов. Мрак был таким густым и плотным в каменном мешке под землею, что глаза никогда не привыкали к нему, и даже руку было жутко протянуть перед собою и пошевелиться тоже было жутко, чтобы не нарушить тяжкого, давящего, могильного покоя.

Через малое время житья в заточении узники переставали следить за течением дня и ночи. Все путалось у них, внутренняя жизнь занимала непомерно большое место, видения прошлого теснились в голове, воображение, усиленное вечным мраком, ужасной тишиной небытия, жаждой, голодом, создавало образы дикие, исковерканные, словно бы отраженные в кривых зеркалах. Заключение заболели тяжело.

Митрий видел таких – с трясущимися руками, с глазами, слезящимися от света, с выражением вечного ужаса на землистых лицах. Они жили, как кроты, в ямах, вырытых возле стены, почти не выходили оттуда, боясь всего, от каждого человека ожидая худа, выползали по ночам, страшные, в сгнивших лохмотьях, потерявшие всякое человеческое обличие.

Других заключение побеждало сразу, в самые короткие часы. Готовые от всего отречься, они кляли себя, выдавали все, о чем их спрашивали и не спрашивали; называли сообщниками людей, которые ни в чем не были повинны; глядя им в глаза, поведывали несуществующие их поступки. Страх тьмы, немоты, голода превращал таких узников в чудовищных преступников.

На таких накладывали епитимью; они выживали, возвращались к братии, или к служникам, или в дальний монастырек. Такие до смерти сохраняли в лице угодливость, жили робко, с оглядкой, наушничали, когда могли, верили, что заднее крыльцо положе...

Митенька стиснул ладони, закрыл глаза, чтобы не думать о большом заточении, заставил себя думать о море, о кораблях, о чем всегда легко, счастливо и просто мечталось.

Положив разбитое лицо на руки, стиснув зубы, сидит Митенька в каменной мокрой вонючей яме. Течет время, неслышной стопою проходит день, его сменяет летняя сырая белая ночь. Возвращается из трапезной братия, звонарь вновь поднимается на колокольню, благовестит ко всеобщей, мерные звуки текут над Двиною. Митенька сидит неподвижно во власти видений. Ни холодная тьма, ни голод, ни сырость, ничто не может оторвать его от жизни, которую рисует ему воображение. Время остановилось, перепуталось, сдвинулось. Годы проходят в единое мгновение, мгновение растягивается в вечность.

Тихо, недвижно, словно неживой, сидит Митрий.

2. НА ИНОЗЕМНОМ КОРАБЛЕ

Едва отообедали на «Святом Петре», как прибыл посланный от капитана конвойного

корабля – Гаррита Кооста, да от другого конвоя – Голголсена, да от шхиперов торговых кораблей – просить царя со всею свитою прибыть на «Августин», где его царскому величеству будут показаны всякие Марсовы потехи, учения, кнпильная стрельба и прочие морские забавы.

Петр велел тотчас же собираться. Бояре заохали, засопели, всех тянуло соснуть, да разве соснешь с эдаким! Тряся бородами, поддерживая друг друга, крестясь, садились в посудинки. А кто помоложе, петровские птенцы, прыгали с разбега, кренили лодки, весело хохотали на испуганных стариков...

На «Августин» гости попали уже после полуночи и поднимались по трапу в багряном свете ночного солнца. У парадного трапа стояли конвои Коост и Голголсен, подальше – шхиперы. По навощенной палубе был раскатан богатый ковер; матросы при палашах для абордажного боя, сизые от ночного двинского холода, словно застыли вдоль пути, по которому должен был идти русский царь.

Вжав голову в плечи, нетерпеливо, отрывисто Петр сразу же у трапа спросил, как делают кнпильную стрельбу и в чем тут главное искусство. Голландец-конвой ответил вопросом – не начать ли со снастей? Иевлев едва слышно подсказал, что царя ни о чем не надлежит спрашивать.

– О, когда так... – с короткой улыбкой молвил конвой.

Петр спросил, о чем речь. Апраксин перевел, царь засмеялся, приказал:

– Пусть спрашивает... у вас. Я слушать буду!

– Что имеем мы над верхним деком? – спросил Голголсен.

Апраксин, не размышляя, коротко ответил:

– Галфдек.

– Под бушпритом?

– Блиндарей! – издали ответил Якимка Воронин.

– Что сие есть?

– Блиндарей есть рангоутное дерево, для несения блинда предназначенное! – подождав, сердито ответил царь.

– Где мы имеем грот-стеня-эзельгофт?

Иевлев протянул руку, показал пальцем:

– Оно?

Петру надоело. Повернувшись к Гарриту Коосту, сверкавшему на восходящем солнце панцырем, круто приказал:

– Пусть пальнут со всею возможною быстротою из всех пушек левого борта.

Матросы, послушные барабанной дробу, побежали в нижние деки – к тяжелым пушкам, наверх – к легким; Гаррит Коост кричал им в говорную трубу, куда стрелять и какими зарядами. Петр, кусая губу, смотрел на ближайших пушкарей нетерпеливо, сквозь зубы говорил Иевлеву:

– Ты гляди, гляди, как делают. Гляди, примечай...

Потом, швырнув перчатки, оттолкнул с пути пузатого Фан дер Гульста, спросил пушкаря:

– Из чего фитили ссучиваете? Из чего?

Матрос моргал, не понимая, весело улыбался, размахивая зажженным фитилем. В это время к царю, шаркая, приседая, весь расплывшись в улыбке, подошел с напоминанием о себе, о своем визите на Переяславское озеро, о приятнейшем знакомстве – шхипер Уркварт. Но Петр, не выслушав и половины, оттолкнул его плечом и пошел по кораблю, спрашивая через Иевлева у пушкарей – как наводят, сколько пороха кладут; выхватив пальник, прищурясь, осмотрел, чем держится фитиль. Из одной пушки выстрелил сам и топнул ногой:

– Хватит! Довольно! Пусть покажут пожарную тревогу.

Под треск барабана, под вой длинной трубы корабельные люди побежали с топорами, с ведрами. Царь, щурясь, смотрел на них, сердился, что медленно. Рябов тоже вдруг рассердился – эдак весь корабль сгорит, пока тушить соберутся.

После пожара сделали парусное учение. Конвой Гаррит Коост, при шпаге, блестя стальным нагрудником, не надевая из учтивости шляпу, показывал сноровку своих матросов, хвастал, как быстро бегают они по вантам, как травят и выбирают шкоты, как накатывают пушки. У Петра на лице была скука, он нисколько ее не скрывал, глядел не туда, куда указывал конвойный капитан.

– Прошу передать его величеству, – улыбаясь перерубленными шрамом губами, сказал конвой Иевлеву, – прошу передать, что сии маневры есть чудо, происходящее из того, что наши матросы имеют своими предками тоже матросов, и мореходное умение, сноровка, ловкость передаются у нас с молоком матери. Сей молодой матрос сейчас покажет его величеству свое прекрасное умение...

Малый с отрубленным ухом и пренаглым выражением лица уже подошел было к грот-мачте, как вдруг его опередил Якимка Воронин, остановился и вперил в Петра взгляд, полный отчаянно веселого ожидания. Петр ничего не сказал, только улыбнулся мгновенной улыбкой и отошел к шхиперу Уркварту, словно бы вовсе не интересуясь тем, что произойдет.

– Совладаешь? – быстрым горячим шепотом спросил Иевлев.

Воронин поплевал на руки, стал разуваться, перекрестился и побежал к мачте. Рябов, опять очутившийся рядом с Апраксиным, смерил взглядом мачту, Воронина, безухого иноземца и негромко сказал:

– Одолеет!

– Одолеет ли? – обернулся Апраксин.

– То-то, что одолеет...

Легко, быстро Воронин поднимался по вантам правого борта в то время, как безухий шел наверх по вантам левого борта.

Все на «Августине» замерли.

Гаррит Коост вытянул губы трубочкой. Голголсен стал урчать про себя, Осип Баженин побагровел, Федор мелко перекрестился раз и еще раз. Иевлев до боли сжал локоть Апраксину.

Воронин же лез и лез, ноги его все быстрее и быстрее переступали по выбленкам, руки круто, бросками подтягивали тело. Первым он оказался на салинге, гикнул оттуда сиплым голосом и рванулся вверх к флагштоку, оставив далеко внизу безухого иноземца. С брам-рея на самом верху он опять что-то прокричал, сделал поклон на четыре стороны; обвив коленями брам-бакштаг, в одно мгновение соскользнул на палубу и, подойдя к Иевлеву, попросил:

– Ты безухому, Сильвестр, объясни, что хотя мой батюшка не токмо моря не видел, но и реки опасался, я все же в шхиперы надеюсь со временем выйти и некоторым молодцам думаю накласть, чтобы не гордились, что на свет родились!

Иевлев улыбнулся, но ничего не перевел; безухий малый убрался откуда пришел, и конвои более не показывали проворство своих матросов. Книпельную стрельбу Петр смотрел без особого интереса и лишь поинтересовался пушкой, поставленной для абордажного боя с тем, чтобы она палила в направлении крамбала мелкими железками, сметая с палубы абордажников. Но про эту пушку и про ее устройство не удалось ничего узнать. Голголсен сказал, что эту пушку он вовсе не знает, а пушкарь, состоящий при ней, сейчас напился пьян и спит в своей каморе...

Петр, морща нос, громко сказал Иевлеву:

– Думается мне, что все они сговорились напугать нас, – каково трудно и непреодолимо для нас мореходство с навигаторством, да каково непостижимо для нас, при нашей скудности, корабли строить с приличным вооружением. Пожалуй, не напугают, а, Сильвестр?

3. КАРТА КАРТЕ РОЗНЬ

Большой стол с яствами и напитками был приготовлен на палубе, Петр сел в кресло, налил себе пива. Бледный матрос-иноземец вынул из коробки скрипку, потер смычок камушком, заиграл танец-англез. Чинные звуки потекли над утренней Двиной, у матроса лицо сделалось грустным, глаза заволокло слезою. Апраксин, уловив мгновение, под танец-англез, наклонился к Петру, сказал, что надобно дать иноземным матросам сколько-нибудь денег. Федька Прянишников подмигнул Воронину, – Петр не любил давать деньги, это знали все.

– Сколько надо? – спросил царь, кося глазом.

Апраксин пожал плечами.

– Они крепко старались для нас, господин ротмистр...

– Крепко, не крепко! – ворчливо ответил Петр. – Потеха и для них самих гожа. Сколько дать?

Апраксин, сдерживая накипающую злость – он хорошо знал, чем это кончится, – сказал, что надобно на всю команду не менее трех золотых. Петр еще метнул косою взгляд, не стесняясь конвоев и шхиперов, долго рылся в кошельке, вынул одну монету, отдал ее Апраксину и приказал:

– А мало, так и вовсе не давать!

Федька Прянишников хихикнул, спрятав побуревшее от питий лицо за бутылками секта и лакрим-кристи. Апраксин, вынув свой кошелек, добавил к царской монете две своих, поднялся и пошел к боцману.

Несмотря на усердные старания конвоев и шхиперов, гостям было скучно, сект и лакрим-кристи не шли в горло, пришлось посылать Рябова на Мосеев остров за можжевеловой и гданской. Кормщик вернулся не сразу, поднялся по трапу мрачнее тучи, с грохотом поставил бочонки возле Иевлева, не поклонившись, пошел обратно на карбас. Иноземцы проводили неучтивца удивленными взглядами, Уркварт с укоризной покачал головой. Царь ничего не заметил – выпытывал у захмелевшего соседа-конвоя секрет книпельной пальбы...

Якимка Воронин наливал Голголсену можжевеловую, настоенную на порохе, сладким голосом приговаривал:

– Это тебе не лакрим-кристи! Это тебе не мальвазия! Это тебе не рейнское! Делай!

Голголсен «делал», пучил глаза, отдувался.

Бой с «Ивашкой Хмельницким» был в самом разгаре, когда Якимка стукнул жилистым кулаком по столу и крикнул так, что все на него оглянулись:

– Нету? Врешь, есть! Тут такие морского дела людишки есть, что вам и во сне не снилось! Врешь!

Голголсен на оскорбление хотел было ответить шпажным ударом, да Воронин не дал, прихватил шпажонку за эфес, потянул к себе и спросил удивленно:

– Ополоумел?

Конвой шевелил страшными закрученными усами, шипел, как кот, можжевеловая, настоенная на порохе, словно горячее олово жгла ему внутренности.

Уркварт, чтобы наступил мир, вежливо вмешался в спор: господин Голголсен совершенно согласен с господином Ворониным, – разумеется, среди поморских жителей есть люди, владеющие веслом и даже маленьким парусом. Но разве это навигаторы?

Голголсена держали за плечи и за локти человек пять матросов. Он все шипел.

– К сожалению, это еще не навигаторы, – сказал Уркварт, учтиво улыбаясь. – Навигатор в совершенстве должен владеть картой, компасом, астролябией, градштоком. А есть ли тут, среди лучших поморских кормщиков, хоть один, умеющий читать карту? Вот давеча приходил сюда кормщик Иван. Разумеется, он знает свое дело. Но может ли он проложить курс судна в соответствии с указаниями компаса? И видел ли он предивную машину – ноктурлябию? Вот в чем сущность спора.

– Это так! – крикнул Голголсен.

Уркварт остановил его мягким жестом.

– Ежели русские пожелают иметь корабли для увеселительных прогулок его величества, – продолжал он, – то, несомненно, господам советникам его величества придется нанять иностранных навигаторов, которые с величайшей радостью будут служить такому просвещенному и щедрому монарху, как его миропомазанное величество! Я сам! – воскликнул Уркварт. – Я могу порекомендовать немало опытнейших моряков его величеству русскому царю...

Петр молчал: трезвый, зло раздувая ноздри, он оглядывал своих, – видимо, не знал, что ответить. Потом круто перевел разговор на выход в море: когда негоцианты будут уходить, он их проводит на своей яхте. Стали считать дни, прикидывали по пальцам, устанавливали порядок строя кораблей, рассуждали, где идти царевой яхте, потом спохватились, – кто на ней пойдет кормщиком.

– Рябов! – сказал Иевлев.

Уркварт улыбнулся с жалостью и презрением. Иевлев, чувствуя, что кровь бросилась ему в голову, велел тотчас же звать с лодьи кормщика. Матросы со всех ног побежали к борту, Рябов нехотя поднялся на палубу, подошел к столу, за которым гудели и орали вразброд русские, голландцы, англичане, немцы. Пустые бутылки катались под ногами, дым от глиняных трубок стлался над застольем, многие были совсем пьяными, другие вполпьяна. Только Иевлев, царь, Апраксин и старый Патрик Гордон смотрели трезво, строго, требовательно. Да шхипер Уркварт вдруг точно ужалил кормщика коротким колючим взглядом.

– Встань тут! – велел Апраксин.

Рябов встал, широко расставив ноги, сунув ладони за вышитый Таисьей поясок. Гаррит Коост держал в руке туго свернутые листы бумаги, поколачивая ими по столу. Голголсен, сделав загадочное лицо, вертел в пальцах большой компас.

– Слышали мы нынче, – медленно заговорил Петр, – да и сами в беседах с тобой имели в том случай убедиться, что есть ты наипервееющий по здешним беломорским краям кормщик, иначе навигатор. А коли ты навигатор, то с компасом должен искусно управляться. Знаешь ли сию предивную машину?

Голголсен, насмешливо улыбаясь, протянул кормщику компас.

– По-нашему, по-морскому – матка. Так зовем! – сказал Рябов. – Машина истинно предивная. А маточкой зовется потому, что в море без компаса – что без родной мамыньки.

Он улыбнулся, глядя на дрожащую стрелку, что-то вспоминая.

– Чему обрадовался? – спросил Иевлев.

– Вспомнил, как батюшка мой еще зуйком меня учил: в сем, дескать, коробе сидит мужичок с ноготок, вертит стрелку вечно на ночь, как иноземцы говорят – на норд. Долгие времена я, мальчонка, в того мужичка верил, все бывало заглядывал – не примечу ли, как он стрелку вертит...

– Не заметил? – спросил Апраксин.

– Не довелось, – с широкой улыбкой ответил Рябов. – Шутил батюшка мой...

– Сия машина, – сказал Иевлев, – основана на том, кормщик, что стрелка магнитная вечно занимает в пространстве положение, которое ей назначено премудростью человека...

– Компас тебе ведом, – перебил царь, и было видно, что он доволен. – Многие ли еще здешние кормщики знают компас?

Рябов подумал, ответил не торопясь:

– Многие, государь, почитай что все. Сколько тебе понадобится, столько и наберешь.

– Пять? Десять? Пятьдесят? – нетерпеливо, но весело спросил Петр.

– Поболее будет, государь. Который мужик Белого моря старатель – тот тебе и мореход. А морюшко-то наше немалое, народу на нем по пальцам не сочтешь...

Еще подумал, улыбнулся и добавил:

– Бабы наши, поморки, рыбацкие женки – и то кормчат. Небось, в море не заголосят, не заплачут. Вот с эдаких-то годов, с самых младых ногтей в море живут, морем кормятся...

– И все искусство навигаторское ведают? – спросил Петр.

– Есть, что и компаса не имеют, государь, по приметам ходят, по звездам.

– И в океан так идут?

– А что океан – не вода?

Петр засмеялся. Рябов положил компас на стол, опять сунул ладони за пояс. Шхипер Уркварт наклонился к Иевлеву, что-то ему сказал. Тот, вздернув плечом, отмахнулся.

– Чего он? – спросил Рябов.

– Шхипер утверждает, что здешние поморы не знают карты, – сказал Иевлев. – Так оно, кормщик?

– Карта карте рознь, – ответил Рябов. – У них, у иноземцев, свои карты, у нас – свои. Мы по своим ходим.

Уркварт, учтиво улыбаясь, наклонился теперь к конвойному капитану. Тот развернул на колене большой лист толстой бумаги. Лист затрепетал на ветру. То был Летний берег Белого моря с Унской губою. Рябов смотрел долго, щурился.

– Знаешь ли сии места? – спросил Петр.

– Бывал! – ответил кормщик.

– Что ж молчишь?

– А того молчу, государь, что неверно карта сделана.

Уркварт вскинул бровки. С усталым презрением, со скукою в глазах сидел на своем стуле человек, которого Рябов давеча принял за царя, – Лефорт. Надменно смеялся Голголсен.

– Неверно? – спросил Петр. – Да ведаешь ли ты, кто сию карту делал? «Зее-Факел» сего изображения ничем не лучше. Прославленный шхипер гамбургский именем Шмидт, штормом занесенный в Унскую губу, более недели там провел; в подношение воеводе Апраксину измерил залив и на бумагу его нанес...

Петр сердился, иноземцы посмеивались, Иевлев смотрел на кормщика с тревогой. Рябов ответил спокойно:

– Стреж неверно указан, государь. Кой тут кораблям ход, когда вон мель, банка здоровая, а вон еще здоровее. Пойдешь сим стрежом и посадишь корабль на камни...

Уркварт засмеялся. Петр метнул на него взгляд, крикнул Рябову:

– С ученым навигатором споришь, с корабельщиком именитым...

Он в раздражении отвернулся от Рябова. Уркварт и Голголсен разложили перед ним еще листы – карты. Кормщик стоял неподвижно, о нем словно забыли. Карт было много, Рябов издали узнавал – Три острова, Сосновец, Зимний берег. Везде были нарисованы корабли, человечки, дома. Петр любовался на искусную работу. Иевлев сказал:

– Здешние поморы, государь, имеют свои «расписания мореходства» да «указы морские», где многие полезные советы...

Петр не стал слушать.

– Сии карты вижу, а о чем толкуешь – только слышу. Слышать мало!

Подняв голову, посмотрел на Рябова, сказал:

– Сему кормщику идти с нами в плавание старшим матросом. Шхипером же пойдет опытный иноземный мореход, коего господин Уркварт предлагает, – гишпанец дель Роблес...

Уркварт поклонился.

Рябов стоял неподвижно, словно речь шла не о нем; только светлые глаза его потемнели, да меж бровями легла тонкая морщинка.

– Матросов на нашу яхту набирать из поморов и в том не медлить! – продолжал Петр. – А за сим выпьем по разгонной; пора и честь знать, погостевали добром...

Прищурился и спросил Гордона:

– Что невесел нынче, господин адмирал? Что вина не пьешь?

Патрик Гордон вздохнул длинно, по-стариковски, отпил из кружки для приличия. Ответил царю, только когда спускались по сходням:

– Сегодня ты был несправедлив, мой царственный друг Питер. Ты любишь правду. Изволь знать его.

– Ее! – издали, без насмешки поправил Апраксин.

– Ее! – покорно и привычно согласился Гордон. – Знай же ее: такой мореход, как есть Рябов, – лучше, чем любой иной мореход. Они имеют красивые карты, но можно ли предполагать, что они знают это... природу... море лучше, чем он знает...

Петр зевнул, шагнул в карбас, сел на лавку, покрытую ковром, потрепал Гордона по плечу:

– Пьем много, господин Гордон, вот что худо...

– Я не много пьем! – рассердился Гордон. – Я желаю еще говорить тебе, Питер...

– Успеем, наговоримся! – сказал Петр. – Не завтра. Я чай, нам помирать.

Над карбасом летели чайки, уже наступил день, в архангельских церквях звонили. Петр дремал, закутавшись в плащ. Гордон, сердито глядя на тихие двинские воды, шепотом бранился не по-русски.

4. РИСКОВАННОЕ ПОРУЧЕНИЕ

В это утро он завтракал у полковника Снивина, женатого на его дочери. Стол был накрыт в парке, между стволами старых берез. Нагнанные из подгорных деревень девки в греческих хитонах и венках, в сандалиях, сшитых для этого случая из кожевенного товара, отпущенного на воинских людей, в золотканых поясках и медных браслетах, несли к столу рыбные караваи, пироги, хмельные и прохладительные напитки. Особая девка, одетая пастушкой, и с нею парень – совсем маленький пастушонок – подавали турецкий кофе в раковинах с серебряными ручками. В беседке, скрытые от глаз кустарником, играли музыканты с иноземных кораблей – скрипка, флейта и лютня. Кроме Гордона, был здесь еще только один гость – майор Джеймс.

Гордон пришел пешком, без провожатых, одетый просто: в кафтане из серого сукна поверх кожаного камзола. В руке у него была палка от собак, в зубах – короткий чубук. Греческие девки в хитонах – испуганные, несчастные пастушки – и музыка за кустами ему не понравились. Он нахмурился и ничего не стал ни пить, ни есть. Дочь Анабелла, супруга полковника Снивина, смотрела на отца грустно, – как постарел, какие крутые морщинки залегли на лице, как вздыхает...

После кофе отец и дочь пошли прогуляться по парку. Тихо, под утренним двинским ветерком, шептались березы. В просветах меж деревьями поблескивала серебром широкая река. Гордон обнял дочь за талию, она положила ему голову на широкое, еще крепкое плечо.

– Твой муж – вор! – сказал Патрик Гордон негромко, но твердо.

Анабелла вздрогнула.

– Твой муж – грязный вор! – повторил Гордон еще тише. – Ты не должна пугаться, мое дитя, я не намерен никому доносить на него, донос вообще не в моих понятиях чести. Но тут дело гораздо более серьезное, чем ты можешь вообразить. Нас не слишком любят русские. Да и с чего им любить нас? Фрыга – так они называют нас, я сам это слышал. Вот идет фрыга, говорят они, показывая на нас пальцами. Фрыга, или еще фря. Они знают, что люди, приехавшие из-за моря, жестоки к ним, обворовывают их, глумятся над ними. Разве твой муж хоть в чем-нибудь сделал добро этому краю? Разве он ворует не для того, чтобы, вернувшись на родину, купить себе патент на чин генерала? Анабелла, ты должна помочь мне. Ты должна понять, что это не может хорошо кончиться. И ты понимаешь это? Да? Не правда ли? Грязное воровство, совершаемое твоим супругом, пачкает не только его, но и меня, и не меня одного, но всех, кто служит царю своей шпагой...

Анабелла взглянула на отца недоверчиво.

– Мне достаточно бродить по свету, – продолжал он. – Я стар и хочу умереть, не изменив присяге. Я служил шведам, служил полякам – с меня достаточно. По крайней мере, здесь мое имя ничем не запятнано. Могу я просить об одном? Чтобы твой супруг думал не только о себе, но и обо мне. Сюда его определил я, если он помнит это.

Анабелла сплела кисти рук, хрустнула суставами...

– Нам так хочется домой! – воскликнула она. – Нам так трудно тут. Ты не понимаешь и не хочешь понять, что патент на чин генерала означает спокойствие и независимое положение наших детей...

– К черту детей! – крикнул Гордон. – Нет такого подлеца, который бы, совершая подлость, не говорил, что это ради детей. К черту детей! А если речь идет о детях, то извольте думать не только о своих. В этой стране много детей, однако вы не думаете об их судьбах...

– Но, отец, надо же понять...

– Я ничего не понимаю и не пойму! – крикнул Гордон, и его лицо покрылось красными пятнами. – Да, я не понимаю, почему, если хочется домой, – надо воровать. Я не понимаю этого и не хочу понимать. На мое горе – сюда к ним едут проходимцы и ничтожества. Я думал, что твой муж образумится здесь и перестанет быть тем, чем он был там. Но он стал во сто крат хуже – этот поддельватель чужих подписей, который едва избежал веревки, к сожалению – избежал. В Москве он так истязал русских солдат, самых доблестных из тех, с которыми мне приходилось сражаться рука об руку, что его пришлось убрать сюда, но и тут он не успокоился... А, зачем я тебе это говорю! Ты не веришь мне, зачем тебе верить, ты околдована своим мужем...

Долго молчали. У Гордона лицо было суровое, печальное; почти шепотом он сказал:

– Это великий народ! Это добрый, сердечный, искренний народ. А мы приходим к ним с черной душой, чтобы обокрасть, обмануть и убежать. Мы только много говорим о чести и много деремся на поединках, но никто из нас не пробовал честно служить им...

– Они нам не верят, – тихо сказала Анабелла.

– Я бы тоже не верил человеку, в шестнадцатый раз продающему свою шпагу! – ответил Гордон.

– Ты напрасно так говоришь, отец. Например, сэръ Джеймс очень милый и благовоспитанный молодой человек.

Гордон усмехнулся одними губами.

– Мне не следовало с тобой разговаривать, ты ничего не поняла. Но теперь ты поймешь.

Он положил тяжелую сильную руку на плечо дочери и заговорил, прямо глядя ей в глаза:

– Я останусь здесь, в России. И если хоть капля грязи упадет на мое имя по вине твоего мужа, он будет тяжело наказан. И я пальцем не пошевельну в его защиту. Более того: я скажу, чтобы меня допустили в судьи, и меня допустят, потому что иностранцев у них судят иностранцы. А когда меня допустят, я подпишу только один приговор: повесить...

– Повесить?!

– Да, сделать наконец то, что не было сделано в Эдинбурге. «За шею, – как пишется в нашей стране и как было написано судьями в тот памятный тебе день, – за шею, дабы он висел так до смерти, а после нее столько, сколько надобно, чтобы грешная душа его предстала перед великим судьей...»

– Я все это должна ему пересказать?

– Непременно. Он не слишком храбр, твой муж, и напоминание о петле, от которой он в свое время улизнул, быть может охладит в нем жажду стяжаний. Прощай и проводи меня. Я не хочу более видеть твоего супруга...

– А дети, отец?

Гордон помедлил, потом сказал решительно:

– Нет, не сегодня.

Анабелла проводила отца до ворот и сама закрыла за ним калитку на засов. Во дворе сипло лаяли и прыгали цепные псы. Из парка донеслась музыка – корабельные музыканты играли полонез. Анабелла поправила прическу и пошла к трем березам – туда, где муж и майор Джеймс попивали холодное вино...

– Ну? – спросил полковник. – Старик решил соснуть?

– За ним приехали! – солгала Анабелла. – Он понадобился государю...

Полковник Снивин вытаращил глаза.

– Когда? Я ничего не знаю. Мне не докладывали...

Анабелла не ответила. После того как Джеймс откланялся, она тихо заговорила:

– Отец обо всем догадывается, а может быть, и знает точно. Он назвал вас грязным вором и сказал, что будет требовать для вас повешения, если вы попадетесь. И он это сделает, я его хорошо знаю. Он никогда не бросает слов даром...

Полковник тяжело задумался. Вначале он только сопел и ничего не мог придумать, потом жирное, лоснящееся лицо его сделалось решительным, он засопел громче и велел немедленно звать к нему шхипера Уркварта и сэра Джеймса.

– Что вы будете делать? – спросила Анабелла.

Полковник ничего не ответил.

С Урквартом он договорился быстро. У Джеймса спросил:

– Среди солдат таможенной команды найдется человек, верный вам? Человек, который возьмется выполнить рискованное поручение?

Джеймс задумался, почесал подбородок с ямочкой.

– Дело идет не только обо мне. Оно касается и вашего будущего тоже. Думайте скорее – время нисколько не терпит.

Решили позвать того капрала, который порол когда-то английским сыромятным ремнем поручика Крыкова. Через час и Джеймс и Снивин сидели перед капралом в расстегнутых кафтанах, злые, спрашивали так быстро, что капрал не успевал отвечать. Девки в греческих хитонах табуном прошли мимо – сдавать хитоны, сандалии и пояса с браслетами кастелянше. Капрал зябко повел плечами.

– Согласен, Костюков?

– Боязно больно, господин...

– Вздор! – сказал Снивин. – Пустяк! Сегодня придут еще три корабля, он их будет досматривать. Пока досмотрит – день потратит. Не меньше!

– Оно так... А все ж боязно. Увидит кто, как я зашел да вышел...

– Ну, скажешь что-нибудь... ошибся, мол... Золотой – деньги немалые, ты, наверное, таких денег и не видывал. Сейчас получишь один, а как сделаешь – другой...

И Снивин подкинул на мясистой ладони ярко блеснувшую монету.

Костюков молчал.

– Значит, не хочешь? – сказал Снивин. – А жалко. Очень жалко! Вот господина Джеймса назад к вам назначат – быть бы тебе смотрителем над складом таможенным, а так что ж... Человек ты неверный, станет тебе совсем плохо...

Костюков вздохнул.

– Не хочешь?

– Давайте! – сказал капрал. – Давайте, сделаю. Приму грех на душу...

Джеймс положил на стол три рейхсталера. На каждом напильником были сделаны насечки: на одном двойной крест, на другом две черты, на третьем зубчики. Эти три монеты майор завернул в тряпочку и протянул Костюкову.

– А эта – тебе! – сказал он и отдал ему четвертую безо всякой отметки.

Костюков поклонился.

– Теперь иди! – велел полковник.

Капрал вздохнул и пошел. Джеймс и Снивин проводили его взглядом и переглянулись.

– Нет! – сказал Джеймс. – Не сделает!

И крикнул:

– Костюков!

Капрал вернулся бегом.

– Мы пошутили! – сказал Джеймс. – Теперь мы знаем, ты верный человек. Отдавай деньги.

Костюков с готовностью отдал все четыре монеты.

– А на это выпей! – велел Джеймс и бросил капралу серебряный рубль. – Выпей и за наше здоровье. Иди!

Капрал обтер пот, слабо улыбнулся и поклонился. Лицо его стало счастливым.

– Ах ты, господи! – говорил он, шагая к таможенному двору. – Ах ты, ну и штука...

Идти было далеко, капрал вспомнил о рубле и зашел угоститься в кружало. Тошак попробовал рубль на зуб и удивился:

– Смотри, пожалуйста, серебряный. Давно я дельных денег не видал... Чего ж тебе, капрал, поднести?

Костюков выпил гданской, помотал головой и сказал:

– Ну и ну! Бывает же такое с человеком...

Потом он пил двойную перегонную, потом боярскую, потом пиво. И, набравшись храбрости, зашагал на таможенный двор к поручику Крыкову.

– И скажу! – рассуждал Костюков. – По чести скажу! Зачем нехорошо делают? Что на мне – креста нет? Разве я татарин? Я русский человек и нехорошо делать никому не позволю. Я не какой-либо аглицкий немец. Капрал я, вот я кто! И те монеты я б ему показал, и пускай! А ему – упреждение. Он человек простой, нашего, мужицкого звания... Разве я что нехорошо делаю?

Костюков увидел водовоза с бочкой и крикнул:

– Стой! В заповетренных землях был? Оружие имеешь на борту более, чем установлено от морского пирату? Отвечай, кто перед тобой.

– Гуляете? – спросил водовоз.

– Ну, гуляю! А ты отвечай? Из какой страны плывешь?

– Из страны, значит... из этой... со слободы...

– Тогда пойдем, угощу, раз свой...

Вдвоем сели на бочку и поехали к Тошаку. Там гуляли долго, и Костюков, вернувшись на таможенный двор, вдруг забыл, что ему надобно сказать поручику. Стоял и улыбался, глядя, как Афанасий Петрович маленьким долотцом доделывает пресмешную человеческую фигурку из кости.

– Ну, иди, брат, иди! – велел Крыков. – Иди! Погулял, а теперь спи. Корабли вон скоро придут – досматривать надобно...

– А он – кто? – спросил Костюков, тыча пальцем в фигурку.

– Да так! От скуки! – молвил поручик.

– Ты брось, Афанасий Петрович, – я вижу. Распоп он – вот кто! А давеча ты иноземца вырезал, который на людей ногами топчет...

В это мгновение Костюков начал было вспоминать, зачем он пришел к Крыкову, но так и не вспомнил, – опять отвлекся, да и Крыков всерьез осердился и угнал его спать.

5. «ВЕСЕЛЫЙ ПЕТУШОК»

К вечеру против немецкого Гостиного двора бросили якоря на Двине три корабля под иноземными торговыми флагами: «Вечернее отдохновение», «Трубадур» и «Веселый петушок». Таможенные чины, объявив двум другим судам карантин, поднялись по парадному трапу «Веселого петушка». Крыков – при шпаге и при шляпе – произнес установленные вопросы, выслушал установленные ответы и полистал опись трюмным и палубным товарам. Шхипер Данберг – старый многоопытный проныра, Лис Лисович, как звали его таможенники, – смотрел в глаза Афанасию Петровичу не мигая.

– А теперь по правде, чтобы люди зря не мучились! – сказал Крыков. – Чего привез, господин Данберг?

Данберг смотрел прямо в глаза.

– Я не поверю, чтобы ты, господин Данберг, старый и опытный негоциант, пришел к самому концу ярмарки с таким пустяковым грузом. Четырежды на моей памяти была твоему кораблю от нас конфузия. Мы друг друга насквозь видим. Все едино я тебе, друг милый, не

верю ни настолько. Говори, что привез?

Данберг усмехнулся и развел руками. Все его лицо сложилось мелкими складками, как пустой кошелек, – это означало, что он развеселился.

Афанасий Петрович скомандовал таможенникам – начать досмотр. Рылись более трех часов – никто ничего не отыскал. Данберг, откинувшись на спинку кресла, пил кофе и смотрел вдаль. На город опускался вечерний туман, в светлом небе мерцали звезды...

Крыков поднялся из люка, отряхнул пыль и паутину с колен и плеч, подошел к Данбергу. И удивился, почему шхипер пьет свой кофе в таком странном месте – под грот-мачтой. Разве в эдаком месте удобно сидеть и пить кофе?

Твердыми шагами он подошел к шхиперу и велел отодвинуть кресло.

– Но зачем? – удивился Данберг.

– Затем, что я так приказываю! – ответил Крыков и сам отпихнул тяжелое, обтянутое кожей кресло.

На желтом воске, покрывающем палубу, он увидел тонкую щель. Эта щель и погубила Данберга. Ее он и закрывал своим креслом.

– Люк! – произнес Крыков. – Откройте, господин шхипер.

Данберг нажал секретную пружину в небольшом тайнике стоял бочонок, крепко окованный, дубовый, на хитрых двойных петлях. Афанасий Петрович рывком поставил бочонок на палубу, спросил сурово:

– Деньги?

– Не мои! – воскликнул шхипер. – Богом пресвятым клянусь, – не мои. Пусть мои старые глаза не увидят более родных берегов, если я произнесу ложь: шхипер Уркварт...

Афанасий Петрович сказал тихо:

– Песий сын – вот ты кто! Была бы моя воля – приколол бы шпагой к этой самой мачте, и виси, покуда не протухнешь. Умнее нас себя почитаете, а для ваших прибытков нашим работным людям в глотку расплавленный свинец льют. Воры преподлые!

Повернувшись, приказал таможенникам:

– Барабан, бей конфузию! Шхипера под стражу! К сему бочонку – часового. С двух кораблей карантина не снимать до завтра. С утренней зарей начнем там досмотр.

6. ДОНОС

В то самое время, пока Крыков со всей строгостью досматривал «Веселого петушка», поручик Джеймс на серой в яблоках кобыле рысцей подъехал к таможенному двору, спрыгнул с коня и поднялся на крыльцо той избы, где когда-то проживал сам и у которой питался наложить на себя руки Афанасий Петрович. Здесь майор Джеймс знал каждый гвоздик. Дернув незапертую дверь, он поискал глазами полку, на которой когда-то стояли его семь болванов с париками, и положил в уголок три рейхсталера, аккуратно завернутые в тряпочку. Потом, беззаботно насвистывая, вышел и поехал, путая следы, – из улицы в улицу, из переулка в переулок...

На набережной, возле немецкого Гостиного двора прогуливался, заложив короткие руки за спину, шхипер Уркварт. С реки, оттуда, где стояли недавно пришедшие корабли, доносилась однообразная дробь барабана.

– Вы слышите, сэръ? – спросил шхипер, кивнув на реку. – Нашел. Нашел, проклятый таможенник!

– Что нашел? – подняв одну насурмленную бровь, спросил майор.

– Что ему было нужно, то и нашел. Старая лиса Данберг выдаст меня и припутает вас. Может статься, что он будет иметь наглость назвать даже имя полковника...

– Кончайте скорее! – сказал Джеймс. – Кончайте немедленно!

– Я могу поехать на Мосеев только утром. Сейчас царь не станет со мной говорить...

К берегу подошла лодка, из нее легко выскочил поручик Крыков. С ним было всего трое таможенников – остальным приказано было нести на кораблях дозорную службу.

Джеймс и Уркварт замолчали...

Ночью майор и его солдаты помогли шхиперу Уркварту погрузить в лодки две очень старые пушки для книпельной стрельбы, что палили ядрами, скованными цепью. Сюда же был положен припас для этих пушек – порох, картузы, запасные цепи. Такая цепь должна была перерезать снасти вражеского корабля, как ножом. Для того обе пушки должны были палить вместе.

– Полезная сия забава не может не понравиться его величеству! – сказал Джеймс, провожая лодку. – А как только вы заметите, что государь пришел в доброе расположение духа – так начинайте...

Петр Алексеевич с интересом обошел пушки, оглядел, как что устроено, потом приказал начать пальбу. Выпалили двадцать три раза, но цепи не разворачивались, и дорогие ядра тонули в Двине.

– Нет, эдак не годится! – сказал царь. – Весь порох стравили, а все без толку...

И сел на траву отдохнуть. Уркварт сел рядом, пожаловался на свои беды, на то, что торговать с Московией трудно, таможенники-де чинят злые обиды. Давеча вот таможенный поручик Крыков объявил ему конфузию, отчего произошел немалый убыток доходам. Многие негоцианты нынче пришли сюда в последний раз. Вот царь приказывает возить корабельную снасть, а какой в том будет доход, если все берут посулы...

Петр вскинул голову, посмотрел на шхипера.

– Кто – все?

– Конечно, – продолжал Уркварт, не отвечая на вопрос, – конечно, сия пушка не слишком хороша, можно бы доставить и получше, но пусть поручик Крыков знает свое место и не мешает процветанию торговли между государствами...

Иевлев прислушался, хотел было ответить шхиперу, но Петр Алексеевич взглянул на него такими глазами, что Сильвестр Петрович не сказал ни слова.

– То шхиперам точно ведомо, что поручик Крыков берет посулы?

Уркварт улыбнулся:

– Не далее, как вчера, он получил от одного шхипера три золотые монеты. В этом может убедиться каждый желающий, ибо упомянутый мною шхипер имеет обыкновение или даже причуду отмечать каждый принадлежащий ему золотой своим знаком...

Петр резко поднялся:

– Три золотые тоже отмечены?

Шхипер наклонил голову.

За Крыковым послали гонцов, полковнику Снивину было велено отыскать золотые с отметинами.

Уркварт заговорил о другом, Петр слушал рассеянно, было видно, что он взбешен.

Покуда шла беседа, на Мосеевом острове появился еще перекупщик – Шантре, тот, что из Архангельска хаживал до Вологды, а в иной час – и до Москвы и до самой Астрахани. В коротких кафтанах, голенастые, в пузырящихся штанах, съехались почти все негоцианты-шхиперы и все с жалобами на таможду и на Крыкова. По их словам выходило так, что торговать с Московией теперь вовсе невозможно. Немножко припоздав, прибыли конвои – Гаррит и второй, пьяненький, – привезли подарки: чиненные ядра, прибор – выжигать по дереву, свистульку – свистать аврал. Немчин Франц, слуга перекупщика Шантре, тоже был здесь, стоял поодаль, нагайку-тройчатку на случай припрятал.

– Теперь пропадать Афанасию Петровичу? – спросил Рябов у хмурого Иевлева.

Иевлев не ответил – скорым шагом прошел мимо.

Франц прохаживался за спиной Рябова – туда и обратно, как заведенный. Сытая рожа его лоснилась, башмаки скрипели, глаза смотрели тускло.

– Чего разгулялся? – спросил кормщик глухо. – Ходит, разгуливает!

Немчин поморгал, высморкался.

– Разгулялся! – опять сказал Рябов, отворотившись от Франца. – Словно и впрямь по своей земле. Фрыга...

Иевлев спустился к самой воде – ходил взад-вперед, ждал чуда: вдруг меченых денег не найдут, вдруг все обойдется и не будет беды смелому таможенному поручику.

Но беда пришла.

Полковник Снинин вылез из лодки; отдуваясь, поднялся к царю, протянул на ладони три золотых. Петр дернул ртом, скосил глаза, крикнул:

– Бить кнутом нещадно, рвать ноздри...

Апраксин, положив руку на локоть Петру Алексеевичу, попросил сказать слово. Петр не захотел слушать. На шум подошел Александр Данилович Меншиков, произнес с подозрением:

– А обнести русского ради своих прибытков негоцианты не могли?

Петр посмотрел на Меншикова, молча помотал головой. Александр Данилович и Апраксин обменялись взглядами. Петр стоял спиной, глядел на Двину.

– Стыдно! – вдруг произнес он. – Стыдно, горько...

К обеду гнев Петра Алексеевича несколько поостыл. Апраксину и Меншикову в два голоса удалось рассказать царю, что Крыков принес много пользы казне, а за три золотых рвать ноздри и бить кнутом нещадно – не слишком ли будет круто? Что стыдно и горько – то истинно так, да ведь многие воруют, кто в сих делах не без причины?

– Ты-то первый с причиной! – сказал Петр Александру Даниловичу.

Меншиков обиделся; сложив губы сердечком, стал нюхать цветок.

Афанасия Петровича доставили, когда царь с гостями обедал. Дергая плечом, Петр встал из-за стола, выволок Крыкова в сени, там, прижав к бревенчатой стене, вглядываясь в изумленные, широко открытые глаза поручика, с яростью спросил:

– Что делаешь, тать! Мы торговлишку какую-никакую только начинаем, в трудах великих, с мучениями, а ты...

Швырнул его в сторону и вернулся к столу, где веселились иноземные шхиперы и негоцианты. Гости сразу поняли, что особенно веселиться не следует.

– Иди! – велел Петр Ромодановскому. – Дурь из него выбей, чтобы не повадно было во веки вечные воровать...

Утерев жирный рот, заложив волосы за ухо, князь-кесарь шагнул в сени, толкнул оттуда на крыльцо ничего не понимающего поручика и, взяв его могучими короткими руками за плечи, ударил что было сил о стену дома...

– Пошто бьешь? – крикнул Афанасий Петрович.

Ромодановский бил молча, не говоря ни слова, бил, не зная за что, за какую вину, бил потому, что так было велено.

Почти бесчувственного вырвал Крыкова из рук Ромодановского Иевлев. Положил возле крыльца, медленно повел взглядом на князя-кесаря, тихо сказал:

– Для чего так делаешь, князь?

Князь-кесарь обтер руки о полу кафтана и, часто дыша, вернулся в горницу, налил себе меду, жадно выпил.

Иевлев, бледный, с трясущейся челюстью, поднял Крыкова, повел его в сторону, в березничек. Там, странно улыбаясь, стоял Рябов. Под мелким дождиком, в низких березках, затканых паутинками, он обтер поручику лицо, сбегал к Двине, принес в ковшике воды. Крыков молчал, всхлипывал, мелкие слезинки текли по его лицу.

– Ты вот что, господин, ты послушай, – заговорил вдруг кормщик, дергая Иевлева за рукав, – мы, люди беломорские, к таким делам не приучены. Нас который бьет, тот и сам битый бывает...

Иевлев на него прикрикнул. Он замолчал.

По березничку с хирургическим припасом осторожно шагал лекарь Фан дер Гульст.

– К лешему! – злобно промолвил Крыков. – К лешему всех немцев! К лешему!

И отпихнул подошедшего к нему лекаря.

Но Фан дер Гульст все-таки дал ему понюхать успокоительной соли и намазал десны индийским бальзамом, от которого должны были укрепиться расшатанные корни зубов.

– Что теперь будет? – спросил Крыков, когда лекарь ушел.

Иевлев не ответил.

– Не больно-то надо! – молвил поручик. – Пойду в рыбаки. Возьмешь, Иван Савватеевич?

– Карбаса у нас нету... – ответил Рябов.

– Не больно-то надо! – повторил Крыков, никого не слушая.

Сидели в березнике до сумерек вдвоем – Рябов и поручик. Дождь мерно моросил над Мосеевым островом, над Двиной, над яхтой. На иноземных кораблях играла музыка, к острову одна за другой подходили лодьи, съезжались гости. Подплыл струг преосвященного Афанасия, Баженины пригнали карбас с Вавчуги, а Крыков и Рябов все разговаривали медленно: один скажет – помолчат, другой скажет – опять помолчат.

– На яхте-то боцман Роблес шхипером пойдет, – сказал Рябов. – Тот самый, что меня убивал...

– А ты?

– А я – матросом...

– Командой-то где разживутся?

– Наберут. Дело простое...

Помолчали.

Рябов покусал травинку, вздохнул:

– Митрия отцы монастырские споймали и засадили.

– Слышал.

– Как его оттудова достать?

– Думать надо.

– Сколько думаю – ничего не придумал. Не одного его заточили. Всех рыбакарей обительских...

Замолчали надолго.

Кутаясь в плащ, пришел Сильвестр Петрович, принес под плащом хлеба, рыбину жареную, гуся.

– Чего будет? – опять спросил Крыков.

Иевлев ответил не сразу, было видно – нелегко отвечать.

– Забыли про меня? – спросил Афанасий Петрович.

– Нет, не забыли. Быть тебе, поручик, капралом!

Крыков вскочил, крикнул:

– Разжаловали? Им на радость – иноземцам-ворам?

– Ты – тише! – посоветовал Иевлев. – Смирись покудова. Там видно будет. Может, с прошествием времени и упросим... Нынче – без пользы просить, больно гневен. Афанасий владыко заступился – не помогло...

Крыков вновь сел, задумался. Иевлев утешал его, он будто и не слушал. Потом, не простившись, ушел.

– Афанасий Петрович! – крикнул ему вслед Рябов.

Но бывший поручик не ответил. Шел березником – наискось, дышал тяжело, все думал одну и ту же думу: «Как же оно так? За что? Как теперь быть?»

Рябов пошел за ним, еще окликнул, Крыков опять не ответил.

Дождик перестал, возле дворца пускали потешные огни, в сером небе шипели змеи, метались драконы; треща, фыркающая и стреляющая, крутились цветастые колеса. Шхипер Уркварт, веселый, лоснящийся, очень довольный одержанными за один день победами, с запальным факелом в руке стоял возле крыльца. Рябов долго, не мигая, смотрел на него, потом разыскал Иевлева и попросил:

– Сильвестр Петрович, помоги!

– В чем?

– Есть у меня мальчонка один, вроде как бы в товарищах. Калечка он, хромуша. Забрали его монахи проклятые, посадили в подвал на смертное сидение. С ним рыбаки

монастырские, народишко смелый, умелые мореходы...

– Ну?

– Вызвали царевым именем. В море пойдем – вспомнишь. Рыбаки – лучше не надо, а на иноземцев не надейся. Боцман Роблес, коли буря ударит, всех нас потопит. Наше морюшко знать надобно...

– Ты что меня, кормщик, пужаешь? Я не пугливый, – улыбаясь в темноте, сказал Иевлев.

– Не пугаю – правду сказываю. Так думаю, что дело к падере идет...

– Откуда думаешь?

– По приметам, Сильвестр Петрович. На земле-то все мы молодцы, а вот как морюшко ударит, тогда и поглядим. Верно говорю...

Иевлев молчал. Опять в небо с шипением и воем понеслась хвостатая комета, завертелась там и разорвалась звездочками.

– Вызвали! – настойчиво попросил Рябов.

Иевлев думал, не отвечал.

– Не вызволишь – не пойду с вами в море! – тихо, но с угрозой в голосе сказал Рябов. – Пускай вам Роблес кормщик. Да и как обратно пойдете? До горла он с вами, а назад? Назад кто?

Он усмехнулся:

– Антипа Тимофеева возьмете? Хорош был кормщик, да пужлив нынче без меры...

– Ты с нами пойдешь! – властно сказал Иевлев.

– Неволею?

– А хоть бы и так.

– Не было так со мной и не будет, Сильвестр Петрович! – сказал Рябов спокойно и негромко. – Не таков я на свет уродился!

– Еще кормщика найдем! – ответил Иевлев. – Ты сам давеча сказывал, что много у вас мореходов не хуже тебя...

– А вдруг да хуже? – с усмешкой спросил Рябов. – А? Тогда как?

И засмеялся так душевно и весело, что у Иевлева потеплело на сердце.

– Ладно! – сказал он. – Утро вечера мудренее.

– А может, сейчас и нагреем? Ночью – хорошо! Разом бы все дело и сделали...

Горячей ладонью он стиснул запястье Иевлева, потянул стольника к себе и быстро шепотом заговорил:

– Велено же тебе матросов набрать, а там такие мореходы, и-и-и!.. Ваше благородие, господин, чего откладывать? Лодья есть, солдат возьмешь человек с пяток, милое дело, а? Разлюбезное дело! Господин, да мы мигом там, ветерок свежий, под парусом! А народ какой, – такого народа не сыщешь, господин, с таким народом не токмо что в океан без компаса поплывешь, с таким народом и тонуть весело...

Он опять засмеялся своим добрым раскатистым смехом, опять дернул стольника за руку, добавил горячо:

– Из темницы-то людей ослобонить, какое дело разлюбезное! Двери-то железные перед ними раскрыть! А? Водочки им дать хлебнуть по глоточку, гусем закусить. Да ведь такие люди за тобой хоть в самый что ни на есть ад взойдут, не моргнувши, ей-ей, верно говорю...

Иевлев вырвал руку и быстро зашагал к дворцу, а Рябов побежал в березник, собрал завернутую там в рогожку еду и стал торопливо готовить лодью...

Архиепископа Важеского и Холмогорского Иевлев застал за игрою в кости с иностранными конвоями. Вокруг дымили трубки, пили и ели стоя, толкались. Пробраться к преосвященству было делом нелегким.

– Ну, чего? – обернувшись к Иевлеву, недовольно спросил Афанасий.

Игра в кости ему нравилась, он только-только начинал понимать хитрости Голголсена, и вдруг его отвлекли.

– Язык присох?

Иевлев шепотом объяснил свое дело.

– Да зачем они вдруг понадобились, на ночь-то глядя?

– Мореходы отменные, а великий шхипер приказал, чтобы к завтраму яхта была снаряжена...

Владыко собрал бороду в кулак, сунул в рот, прикусил, подумал, потом приказал:

– Моим именем вели Агафонику заточенных тебе отдать для государственной нужды. Да медов ставленных, монастырских, чтобы к государеву столу прислал, чтобы не скаредничал Агафоник... Иди с богом!

Иевлев пристегнул шпагу, положил в сумку пистолеты, велел полковнику прислать к лодье солдат – не более пяти, да с барабаном – для острастки. Рябов стоял у берега, широко расставив ноги, ждал...

– Ну? – спросил он, когда Иевлев подошел совсем близко.

– Сейчас солдаты явятся.

– То-то! – ответил Рябов. – Иди, Сильвестр Петрович, садись на ту лавочку, способнее тебе там будет.

Иевлев сел, закутался в плащ и тотчас задремал от усталости.

7. УЗНИКИ

Незадолго до утра поднялись на взгорье, посоветовались шепотом, подошли к монастырским воротам, и барабанщик обеими палочками ударил тревогу. В сером предрассветном тумане норовисто, зло бил барабан, пробуждая от сладкого сна монахов, настоятеля, келаря, послушников, служников монастырских. Хрипя, заходясь от ярости, лаяли цепные монастырские псы, за высокой стеной забегали монахи, со скрипом открывались двери келий.

Иевлев, закусив губу, что есть силы колотил сапогами в кованные железом, ржавые ворота...

Наконец волчок в воротах отворился, воротник, весь обросший бородой, спросил испуганно:

– Что за люди?

В другом волчке, повыше, появился ствол пищали, из-за стены возле воротной башни высунулись с алебардами в руках монастырские воины – Варнава, Корнилий и Филофей. Слева – глухонемой старик, послушник Кухря, кряхтя тащил монастырскую пушчонку. Солдаты-преображенцы у ворот смеялись, – больно весело было смотреть, как божьи люди готовятся к бою.

Иевлев строго, отдельно, чтобы каждое слово было понято, приказал ворота открыть, нисколько не медля. Имя владыки Афанасия, прапорец, колеблемый предутренним ветерком, обожженные порохом воинских потех суровые лица преображенцев, треск барабана, государев офицер – все вместе навело такой страх на монахов, что тотчас же заскрипели засовы, воротник отвалил бревно и потянул цепь. Медленно отвортились ворота. В клубке, маленький, с торчащей вперед бородашкой, опираясь на посох, стоял посередине полукружья из монахов игумен, сердито смотрел на Иевлева, на солдат, на Рябова. Была секунда – взгляды их скрестились: светлый спокойный взгляд кормщика и горящий злобой взгляд настоятеля. Настоятель не выдержал – отворотился. Рябов усмехнулся с ленцой.

Ударив посохом в землю, настоятель закричал старческим слабым голосом: зачем-де охальники покой обители рушат. Но Иевлев так цыкнул, что старичок даже назад подался и замахал прозрачными ладошками. Не попросив благословения, не перекрестив лба, Иевлев пошел вперед, на монахов, плечом растолкал двух дородных квасников, мановением руки убрал с пути Варнаву и велел отворить темницу.

Рябов выхватил из волосатых рук Филофея смоляной факел, высоко поднял его. Маленький ловкий преображенец Коноплев, успев разжиться ломом, с корнем выворачивал на дверях темницы скобу. А чтобы черной братии было пострашнее, барабанщик Неелов все

бил и бил в барабан, сменяя тревогу зорей и зорю тревогой.

Наконец, как раз к тому времени, когда отец ключник принес ключи, скобу выломали, и Рябов первым шагнул вперед, в подземелье. На одно лишь мгновение лицо его дрогнуло, он задышал чаще, но тотчас же сдержался и, высоко держа над собою факел с черным гребнем копоти поверх оранжевого пламени, скорым сильным шагом пошел вперед по осклизлым мокрым камням. За ним у самого его плеча с гулом и грохотом бил барабан, железом позвякивали мушкеты преображенцев, придерживая шпагу, шагал Иевлев. От всего этого Рябов словно бы летел, и такая вдруг небывалая сила появилась в нем, что плечом навалился на дверь, крикнул, вдавил во внутрь камеры, во тьму, проржавевшее, истлевшее железо и источенное червем дерево. И едва не упал на ползающих вокруг него, ослепленных факелом, блеском оружия, оглушенных барабанным боем старых и добрых дружков, Белого моря старателей, сразу узнавших его, Рябова Ивана сына Савватеева...

– Иване! – неслось из сырой вонючей тьмы.

– Кормщик!

– Друг добрый!

– Люди, меня поднимите, ноженьки не идут...

– Мамынька родная, не примерещилось ли...

– Иване, да вправду ты?

– Я, я, – светло и широко улыбаясь, говорил Рябов, но глаза его искали колченогого Митеньку, искали и не находили.

А отовсюду неслось:

– Здесь он – убогий твой...

– Далее камера, одного засадили...

– Иди к нему, иди...

Салотопник Черницын заковылял вперед на опухших ногах, дед Федор кричал вслед:

– В нижней камере он, в дальней, в нижней...

Здесь Рябов ломом сорвал замок, Митенька боком неловко шагнул к кормщику, прижался к плечу, всхлипывая, повторял:

– Дядечка, дядечка...

– Вот то-то что дядечка! – сурово отвечал Рябов. – Дядечка!..

И вдруг, всердцах, крикнул:

– А ты от меня не отставай! Больно умен выискался! Без меня жить захотел. Нажился в камере-то!

Когда вышли из дальней кельи, Иевлев, при свете факела, скорбными глазами осматривал будущих матросов царевой яхты. Истощенные, грязные, бородатые, кто опухший, кто обеззубевший – люди тащились печальной вереницей, и было трудно верить, что они еще шутят друг над другом, посмеиваются, кто кого хуже, острословят на свое несчастье.

– Ты не смотри, Сильвестр Петрович, что они ползком ползут, – сказал Рябов стольнику, – ты нашего народа не знаешь. Их перво-наперво в баньке попарить, тертым хреном телеса ихние натереть, а потом и еды, да не вволю, а с бережением, чтобы не вспучило пустое брюхо, да не раз с бережением, а два, три...

Иевлев, не разжимая губ, усмехнулся на кормщика, недоверчиво покачал головой.

– Потом, конечно, свежей тресочки им, редьки с маслицем, хлебца сколько похотят, да клюковки. Клюковка, брусничка, еще сосновые иголки, кипятком запаренные, – оно и добро...

– Все выживут?

– Ну, которого и на погост снесем, – ответил Рябов, – а другие выживут.

– Да ведь нам ждать недосуг, нам в море идти! – сердито сказал Иевлев.

В мерцающем свете факела глаза кормщика блеснули хитро. Он огладил ладонью короткую золотистую бороду и не торопясь сказал:

– Идти так идти! На первый ход и без них обойдемся!..

– Чего? – спросил Иевлев, не веря ушам. – Да ведь ты сам давеча сказывал – без них не видать нам моря...

– Мало ли, – боком глядя на стольника, осторожно ответил Рябов, – да и откуда мне знать-то было, как они зачирвели... Вишь, словно покойники, какие теперь из них матросы. Горе одно! Да и то сказать, господин, как у нас народ меж себя толкует: «Здесь келья гроб – коли дверью хлоп. А коли дверь открыл, так – и отжил!»

И, засмеявшись раскатистым смехом, он без всякой учтивости с силой повлек Иевлева на волю – туда, где светлел квадрат двери, прорубленной в темницу. Здесь преображенцы уже разжились ковригами монастырского хлеба, вяленой рыбой, кувшинами с квасом и, при свете наступающего дня, солоно пошучивая, попотчевали монастырских узников. Кормщик Семисадов, без жадности, истово, мелкими кусочками ломая ковригу, наделял своих, чтобы не объелись с голодовки.

Уже почти совсем рассвело. Монастырский служник – пастушок Егорша – длинным кнутом настегивал, не глядя, монастырское стадо, выгоняя его на пастбище. Сонно и недовольно мычали коровы. Словно очумев, прыгали по двору, задрав хвосты, две рыжие телки. Монахи издали смотрели на солдат, курящих табак в обители, на сердитого бледного офицера в Преображенском кафтане, на плечистого золотоволосого кормщика Рябова, на узников, потерявших всякий страх и срамословящих с преображенцами. А Егорша-пастушонок, словно бы заколдованный, все ближе и ближе подходил к монастырским узникам, искал, спрашивал все громче:

– Аггей? Аггеюшка? Аггей наш-то...

– Здесь он, братушка твой! – сказал Рябов. – Здесь живой, вишь задремал на воле...

И толкнул Аггея, чтобы тот обрадовался встрече с братом. Аггей раскрыл глаза, охнул, не вставая с земли протянул руки к Егорше.

– Живешь?

– Живу! – улыбаясь брату и плача от жалости к нему, что так исхудал и почернел, ответил Егорша. – Живу, Аггеюшка...

– И я вот нынче живу! – сказал Аггей. – Вишь, как?

– Егор, а Егор! – окликнул мальчика Рябов.

Тот обернулся, все еще держась за брата.

– Идем с нами в матросы! Желаеть в артель в нашу? Вон ватага будет – велика!

Егорша слабо улыбнулся.

– Дед твой кормщиком был, отца море взяло, – уже без улыбки молвил Рябов. – Брат у тебя мореход добрый. Для чего тебе здесь скотину пасти? Холопь ты им, что ли? Еще в подземелье засадят, как вот Аггея...

Коровы мычали у закрытых монастырских ворот, стучали рогами в трехвершковые сосновые доски, просились в поле. Егорша их не видел. Не видел он и отца келаря, вышедшего на крыльцо своей кельи и злобно слушающего, как сманивает проклятый кормщик монастырского пастуха.

– Али боязлив стал? – спросил Рябов. – Чего так? А было время, совсем махонького тебя помню, – хаживал со мною в большую падеру и не пужался. Верно, Аггей? И с тобою он хаживал и с Семисадовым. Так, Семисадов?

Семисадов, жуя корку, кивнул. Аггей посоветовал:

– Пускай сам подумает, Иван Савватеевич, ему виднее.

– Нынче тебе, Егор, сколько годов? – спросил Рябов. – Шестнадцать, поди? Был бы славный моряк! Ну, да что, коли так...

И отворотился к поднимающимся в путь бывшим узникам Николо-Корельского монастыря. Вновь ударил барабан, воротник заскрипел цепью. Иевлев переждал, покуда уйдет стадо, и вывел людей на двинский берег. У лодьи, на глинистом косогорчике, Рябов дал каждому по глотку водки. Закусили гусем. Дед Федор, садясь в лодью, поднял было руку для крестного знамения на монастырские церковные маковки, но под взглядом Рябова опустил руку и даже плюнул.

– То-то! – молвил кормщик. – На тюрьму на свою на смертную – крестится. Стар старик, а ума не нажил...

Поплевал на руки, взял весло, чтобы отпихнуться от берега, и замер.

По скользкой глине, то увязая, то раскатываясь, словно по льду, бежал Егорша – в лапоточках, с кнутом в руке.

– Дяде-ечка, погоди-и! Дядечка, пожди...

– Пождем! – усмехнулся Рябов.

Брыкнув лаптишками, Егорша с обрывчика прыгнул прямо в лодку и, захлебнувшись от бега, спросил:

– Верно, в мореходы?

– Верно, детушка, – добрым голосом ответил Рябов. – Будешь ты теперь морского дела старателем!

И, повернувшись к Иевлеву, сказал:

– Звать Егором, а кличут Пустовойтовым. Ловок, умом востер, страха в море не ведает. Гож ли на яхту, Сильвестр Петрович?

– Гож! – ясно глядя в Егоршины глаза, ответил Иевлев. – И не токмо на яхту. Может, большой корабль построим, пойдешь на нем в дальние моря...

Егорша молчал. Молчали и другие – бывшие узники-рыбари, кормщики, салотопники, промышленники, охотники. Молчал и Митенька Горожанин, не отрываясь смотрел на Егоршу: этому будет большое плавание. А он? Он, Митрий?

– Вздевай парус-то, мужики! – крикнул вдруг Рябов. – Живо! Али ветра не чуετε?

Ветер с моря – пахучий, соленый, веселый – действительно подернул рябью сизые двинские воды, зашелестел кустарником на берегу, заиграл тонкой березкой. Лодья накренилась под ветром, рыжее солнце обдало косой парус теплым светом. Рябов навалился на руль и повел суденышко к далекому Мосееву острову...

Иевлев глядел перед собой и думал.

И чем больше он думал о людях, что сидели за его спиной и гуторили, острословили, пошучивали, тем теплее делалось у него на сердце.

8. НАШЛА КОСА НА КАМЕНЬ

Когда лодья Иевлева, доставив освобожденных узников в Архангельск, причалила к пристаньке, выстроенной напротив дворца, шхипер Уркварт, переночевавший гостем в царских покоях, медленно прохаживался по бережку и покуривал кнастер, раздумывая о том, как и нынче проведет он к своей пользе весь день...

Отдав кумплимент цареву стольнику, шхипер молча и любезно ждал, когда бледный синеглазый офицер выйдет на берег, дабы с ним побеседовать, но Иевлев, по всей видимости, к беседе не был расположен, глядел пустым взглядом в круглое лицо шхипера и молчал, куда тот изъяснялся о погоде и о приятности утренних прогулок в те часы, пока воздух еще совершенно чист и полон ароматами трав, а также – распускающихся навстречу Фебу цветов.

– Феб Фебом, – без всякой вежливости в голосе произнес Иевлев, – а вот почему ваши люди, сударь, поят некоторых наших лихим зельем и, думая, что опоили, всякую неправду над ними чинят и пытаются, где какие корабли мы строим, что строить собираемся, как об чем думаем и размышляем?

Уркварт утер ставшее влажным лицо и едва надумал, что ответить, как Иевлев вновь и еще грубее, чем прежде, спросил:

– Знаемо ли вами, сударь, понятие – пенюар, то есть шпион? Не подсыл ли вы, сударь? Не для того ли вы машкерад негоциантский пользуете, дабы для своего государства получать нужные вам сведения и тем вашему потентату служить? Не есть ли вы, сударь, воинский человек?

– Сударь! – воскликнул Уркварт.

– Сударь! – совсем уже круто ответил Иевлев. – Сударь, я располагаю сведениями, кои могут быть представлены в любую минуту моему государю, и тогда фортуна ваша повернется к вам спиною с таким проворством, что вы и помолиться не успеете перед смертью.

У шхипера мелко задрожал подбородок, он отступил на шаг и голосом, полным оскорбленного достоинства, спросил:

– Сударь, если вы не шутите, то...

– То?

– Его миропомазанное величество государь...

– Его величество будет извещен о вашем ремесле безотлагательно, едва только изволит проснуться. Потому, – жестко продолжал Иевлев, – потому почитаю за самое для вас наилучшее более никогда не промышлять ремеслом, за которое дорого платят, но которое может стоить вам головы. Мерзости и прелестные поступки вашего испанского боцмана, коего предложили вы в шхиперы его величеству, мне доподлинно известны. Здесь, среди нас, находится князь-кесарь Ромодановский. Слышали ли вы о нем?

Уркварт опять обтерся фуляром, на сером его лице крупными каплями проступил пот.

– Кто не слышал о сем достославном вельможе!

– Князь-кесарь, – продолжал Иевлев так жестко, что не оставалось сомнения в правдивости его слов, – князь-кесарь шутить не любит, ведомо ли то вам? И коли вы не оставите на будущие времена игру, которую затеяли, – князь-кесарь сам займется вашей особой и сделает сие весьма искусно...

Шхипер попытался величаво улыбнуться, но вместо улыбки лицо его жалко искривилось.

– Вот и все, что имею я вам сказать, – молвил Иевлев. – Теперь отправляйтесь на свой корабль и там подумайте на досуге, следует ли вам в дальнейшем ошибаться не серебряным серебром, привозя его в бочках сюда...

Тут шхиперу удалось перебить стольника. Топнув ногой в туфле с бантом, он закричал, что его величество вчерашнего дня сами изволили наказать виновного в истории с серебром и что он, Уркварт, никому не позволит порочить царский приказ.

– Я вас порочу! – не повышая голоса, попрежнему с гневной силой и злобой произнес Иевлев. – Вас, сударь, подсыла, фальшивого монетчика, наговорщика и скупщика рабов. И вам я говорю: отправляйтесь сию же минуту на свое «Золотое облако» и сидите там тихо, покуда тут не решится, как с вами быть: выгнать вас туда, откуда пришли, али отдать князю Федору Юрьевичу под его руку, в Приказ, где заплечных дел мастера истинную правду от вас спознают...

Шхипер испугался. И, как нарочно, в это самое время на крыльцо царского дома вышел князь-кесарь, пальцами закладывая волосы за уши, обсасывая мокрый ус, поглядывая на утреннюю Двину, на лодьи и карбасы, стоящие у пристани, на солдат, что варили кашу на берегу.

Медлить не следовало. И шхипер, отдав кумплимент перьями шляпы почти по песку, шаркнув, притопнул, отбив еще каблуком перед бешеным офицером, попятился к своей лодке, пихнул дремавшего Цаплю, оттолкнулся багром и только тогда, на воле, отдышался. Добродушное лицо его переменилось, толстые губы он подобрал, глаза теперь смотрели не растерянно и испуганно, а с сухой насмешливой злобой.

Поднявшись на борт «Золотого облака», Уркварт скорым шагом дошел до своей каюты, велел заварить себе кофею покрепче и позвать боцмана немедленно.

– Коли еще раз замыслите вы нечто подобное тому, что замыслили с Большим Иваном, – дребезжащим от бешенства голосом молвил шхипер, – то живым вашего собеседника отпускать от себя не смейте, ибо оба мы с вами нынче на волоске висим, понимаете ли? На эдаком волоске от смерти в застенке. Понимаете ли?

Дель Роблес молчал, с издевкой поглядывая на струсившего шхипера.

– Вон! – крикнул Уркварт.

Испанец вышел.

Уркварт достал из резного шкафчика флакон с успокоительным левантийским бальзамом, накапал в чашку, выпил и, забыв про кофе, поехал с Цаплей на городской берег, где у стены Гостиного двора прогуливался широкоплечий человек в черной одежде лекаря – Дес-Фонтейнес, как звали его архангельские иноземцы.

– Гере шхипер чем-то расстроен? – насмешливо спросил лекарь.

– Я прошу вас именем бога: нигде и никогда не называйте меня гере! – взмолился Уркварт. – Моя жизнь в опасности...

– Я скорблю вместе с вами, если это так, как вы говорите! – усмехнулся лекарь. – Что же случилось?

Шхипер рассказал. Дес-Фонтейнес пожал плечами.

– Ваш боцман хотел выслужиться перед шаутбенахтом помимо меня, – сказал он спокойно, – и попался. Не знаю, зачем понадобилось ярлу Юленшерне проверять те сведения, которые он получает от меня. Вы имели честь беседовать с ярлом в Стокгольме?

– Я был ему представлен! – ответил Уркварт.

– Для чего?

– Ярл Юленшерна сомневается в том, что московиты строят флот. Они строят кар-ба-сы, – так изволил выразиться ярл шаутбенахт...

Дес-Фонтейнес молчал. Молча он распахнул перед шхипером калитку своего двора. Два черных пса датской породы оскалились на Уркварта, Дес-Фонтейнес ласково им посвистал.

В доме лекаря было чисто, пахло бальзамами и лекарственными травами, на столе стоял вываренный череп, возле него две витые свечи. Уркварт полистал книгу в переплете из телячьей кожи, сочувственно спросил:

– Вам приходится изучать медицину, гере премьер-лейтенант?

Дес-Фонтейнес улыбнулся одними губами.

– Звание лекаря дает мне возможность бывать везде, где я хочу, – ответил он. – Нынче я пользую братьев Бажениных, когда они хворают, и часто посещаю новую верфь на Вавчуге. Садитесь, гере шхипер...

Уркварт сел в удобное кресло. Певчие птицы весело перекликались в своих клетках, солнечные блики переливались в изразцах.

– Вы славно живете! – сказал шхипер.

– В моем доме ничего не должно напоминать мне Московию и московитов. Ничего и никогда. Я постарался так убраться свое жилище, чтобы хоть стены и обстановка здесь напоминали мне нашу добрую Швецию...

Он вдруг спросил:

– Как здоровье его королевского величества?

– Его королевское величество, гере, да продлит господь его дни, не слишком хорошо себя чувствует. Он очень болен, и только провидению известно, увижу ли я его по возвращении...

– Вот как?

– Да, вот так...

– А что слышно о наследнике?

Уркварт налил себе светлого пива, сладко вздохнул:

– О-о, гере, наш будущий король наполняет глубокой радостью сердца своих подданных. Умные люди толкуют, что даже теперь видно, как наш Карл Двенадцатый прославит свое отечество...

– Из чего же это видно?

– Это видно прежде всего из характера его королевского высочества. Это, гере лейтенант, видно из той беспримерной смелости, с которой он так недавно промчался на диком олени по улицам нашей славной столицы. Кстати, насчет этого оленя: они побились об заклад – принц Фридрих Гольштейн-Готторпский и наш славный Карл. Шутка ли проскакать

на диком олене по улицам Стокгольма, да еще мальчику...

– Да, это не шутка! – серьезно сказал Дес-Фонтейнес.

– Он очень, очень храбр, наш будущий король! – воскликнул шхипер. – Рассказывают, что, напоив рейнским вином допьяна дикого медведя, он вступает с ним в единоборство. Особое внимание его высочества направлено на то, чтобы закалить себя. Для этого он студеными зимними ночами спит на сене в конюшне своего дворца. Более того, гере лейтенант: дворцовая челядь рассказывает, что среди глубокой ночи он встает со своей кровати для того, чтобы лечь на пол в одной сорочке. На каменный, холодный пол...

Лекарь искоса посмотрел на Уркварта, но не выразил своего одобрения. Он молчал, и по его темному, бесстрастному лицу совершенно нельзя было понять, о чем он думает.

– Вот каков наш наследник! – воскликнул Уркварт. – Но это еще не все. Известно, что он чрезвычайно любит игру в солдатики. Известно также, что он часто рассматривает прекрасный рыцарский роман «Гедеон Фон-Максибрандер». Там много картинок, отличных картинок, изображающих разные подвиги...

– Вы рассказали мне много интересного, чрезвычайно много! – произнес лекарь. – Я ведь тут просто ничего не знаю...

Он разлил пиво в кружки, подул на пену, заговорил не торопясь:

– Теперь о деле, гере шхипер. Как я понимаю, вам доведется иметь честь по возвращении видеть ярла шаутбенахта. Думаю, что вам, как и мне, теперь уже понятно, что царь приезжает в Архангельск во второй раз не только для забавы...

Уркварт слегка шевельнул одной бровью.

– Здесь, на Беломорье, проживают истинные мореходы, – продолжал Дес-Фонтейнес. – Вы тут не в первый раз и сами это отлично знаете. Надеюсь, что вы подтвердите мое мнение ярлу шаутбенахту... Я уже писал в Стокгольм, что умный и деятельный воевода князь Апраксин выстроил новую верфь близ города Архангельска, в Соломбале. Выше по Двине деятельно работает верфь Бажениных. Ярл шаутбенахт имеет присланный мною чертеж обеих верфей. Нынешний приезд в Архангельск царя Петра и его многочисленные беседы о будущем кораблестроении еще более укрепляют мои мысли о том, что недалек тот час, когда московиты выйдут в море. Я прошу вас, гере шхипер, подтвердить в Стокгольме мои предположения...

Уркварт откинулся на спинку кресла, ответил не сразу:

– Если они и выйдут в море, то нескоро, гере премьер-лейтенант! Очень нескоро. Так думают в Стокгольме, так думаю и я.

Лицо Дес-Фонтейнеса напряглось, взгляд сделался холодным.

– В Стокгольме должны знать правду, а не то, что хочется знать...

– У русских никакого флота еще нет, гере премьер лейтенант!

– Но, черт возьми, у них есть моряки, вот что главное.

– У них еще нет кораблей.

– Их лодьи не хуже наших кораблей, что же касается до военного судостроения, то они с этим справятся.

Шхипер улыбнулся:

– Не так скоро, не так скоро, гере премьер-лейтенант. Пока что им нечем похвастаться. А дальше будет видно. Ярл шаутбенахт Юленшерна приказал мне доставить ему только достоверные сведения, а не предположения. Именно это я и выполняю.

– Вы доставите шаутбенахту еще мои письма! – сурово сказал Дес-Фонтейнес.

Уркварт пожал плечами.

Лекарь сел к столу, пододвинул чернильницу. Он писал шифром, который знал на память. Шхипер медленно отхлебывал пиво, слушал пение птиц; вздыхая, смотрел на череп. Дес-Фонтейнес писал долго. Когда письмо было написано, Уркварт спросил:

– Вы написали о том, что у них уже есть флот?

– Я написал о том, что считал нужным написать! – сказал Дес-Фонтейнес. – Вы же только конверт для той почты, которую я в вас вложу. Поняли?

– Понял! – обиженно ответил шхипер Уркварт. – Понял, но мое мнение будет известно ярлу шаутбенахту.

Дес-Фонтейнес молча поклонился.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Куда летишь? К каким пристанешь берегам,
Корабль, несущий по волнам
Судьбы великого народа.

Вяземский

1. ВСЕХ ИЗВЕДУТ!

В сером небе над Мосеевым островом завертелось и лопнуло золотое солнце, за ним лопнули три дракона – мал мала меньше, за драконами пошли летать крылатые змеи. Афанасий Петрович плотнее закутался в плащ, вздохнул коротко, – вот и все, кончена жизнь. Из поручиков обратно в капралы, под команду к майору Джеймсу...

Саднило разбитое лицо, рот был полон соленой крови. Афанасий Петрович сплюнул, постоял у глухого тына, посмотрел в небо – там опять крутилась какая-то штука, вроде репы, стреляла огненными стрелами.

– Ну, стреляй, стреляй! – молвил злобно Крыков.

На крыльце таможенной избы сумерничали досмотрщики; увидев поручика, испуганно встали. Уже всем было известно, как рылся в его горницах свирепый полковник Снивин, было известно, что командиром вернется ненавистный Джеймс.

– Чего не спите? – сказал Крыков. – Спать, ребята, пора...

Вошел к себе, высек огня, зажег свечу. Долотца, клепики, шильца, втиральники – инструмент, которым делал он свою косторезную работу, – был расшвырян по полу; книги, что собирал поручик с таким упорным трудом, валялись по лавкам и в углу; резной гребень, что начал было делать в подарок Таисье, был разломан – на него кто-то нарочно наступил подкованным тяжелым каблуком. Пьяненький распоп, которого выточил он из желтой кости, исчез. Не было фигурки распопа, не было старого воеводы с брюхом и свиными глазами, не было ничего, что он точил эти годы...

Крыков сел, вытянул ноги, задумался: нехорошо, что украдены фигурочки. За те фигурочки могут и всыпать пострашнее, чем из поручиков в капралы. Недаром Молчан советовал держать старого воеводу да распопа подальше от людского глаза...

Дверь скрипнула. На пороге стоял Костюков – капрал.

– Чего надо? – спросил Крыков.

Костюков, плотно притворив за собою дверь, рассказал всю беседу с полковником Снивинным и с майором Джеймсом в саду под березами.

– Ну? – не удивившись нисколько, спросил Крыков.

– А то и ну, Афанасий Петрович, что подброшены к вам те золотые.

– Я и сам ведаю, что подброшены. Да толк какой от моего да твоего разговора?

– Афанасий Петрович! – воскликнул капрал. – Я на правде стану, пусть хошь на виску подвешивают!

Крыков невесело усмехнулся:

– Поздно, капрал! Произведен я из поручиков сверху вниз, и отмены тому приказанию нынче ждать неоткуда. Мы оба с тобой нынче капралы. Так что сегодняшнюю ночь еще здесь пересплю, а на завтра берите в артель к себе. Возьмете?

Костюков шагнул вперед, ударил шапкой об пол:

– Афанасий Петрович, я тебе зло сотворил, голубь, мне и поправлять надобно! Мне, никому иному...

Афанасий Петрович еще раз усмехнулся:

– Иди, брат, иди. Зло не ты мне сотворил, зло и без тебя по нашей земле ходит. Иди, друг. Там потолкуем, будет еще время...

– Изведут они тебя, Афанасий Петрович! – с тоской сказал Костюков. – Изведут смертью. И всех нас изведут, иноземцы проклятые. Ни единого человека живым не оставят, сами здесь плодятся зачнут, ей-ей, так. Сполох надобно ударить, с ножиками...

– Полно, Костюков, какой там сполох, небось и среди них люди-человеки есть, что ж всех-то резать. Иди, капрал, спать ложись...

Запер дверь на засов и снова задумался: да полно, есть ли среди них люди-человеки? Может, там, за морем, они людьми живут, может среди своих и добры они и честны, а только здесь этого вовсе не видно...

Разве Джеймс – человек?

Вот завтра переедет он обратно сюда со своими париками по дням недели, развешает дорогие ковры, поставит кровать на витых ножках, зеркало, стулья, сделает в таможенном дворе учение по своим правилам, кто не поспеет – порка сыромятным ремнем с узлами...

Пополоскал рот водой с солью, вздохнул, прошелся из угла в угол по горнице. Спать не хотелось, думы думались невеселые.

Попозже пришел Пашка Молчан с товарищами – Ватажниковым, Кузнецом и Ефимом Гридневым, тоже беглыми. Кузнец близко знался с раскольниками, живущими в глухомани на Выге, не раз хаживал туда с тайными поручениями, был хорошо грамотен, жизнь вел строгую, но мирским, как иные раскольники, не брезговал, говоря, что господь, по земле ходивши, и с мытарями ел и с язычниками, – никого не гнушался, как же нам, мол, дерзать, разве мы святее господа нашего?

Нынче Кузнец принес от некоего старца новость: быть кончине мира в полночь в 1699 году, но допрежь придут на землю Илья и Енох – обличать; позже будет антихрист, а засим протрубят трубы, и наступит божий суд.

Крыков выслушал Кузнеца молча, потом сказал:

– Было, не впервой слышу. Годов тридцать назад об том же отцы наши толковали. И по сие время рассказывают, как в гроба легли и трубного гласу ждали...

Молчан и Ватажников засмеялись. Кузнец грозно на них взглянул. Молчан отвернулся к стене.

– Промысла забросили, охоту, рыболовство, – говорил Крыков. – Не пахали, не сеяли...

Он махнул рукой, сел рядом с Кузнецом, сказал ласково:

– Брось ты сии вздоры, Федосей. Никто ныне не поверит, еще помнят, сколь смеху было над ними, над горемыками, как из гробов они вылезли и пошли с горя в кружало за зеленым вином...

Кузнец отодвинулся от Афанасия Петровича, заговорил горячо:

– Счет тогда спутали, Афанасий Петрович, я тебе дельно сказываю. «Книга о вере» считает годы от рождества Христова, а сатану проклятого связали на тысячу лет в день Христова воскресенья. Отсюда надобно считать, а не с чего иного. Христос на земле тридцать три года прожил, – вот и раскинь мозгами. И выходит, други добрые, не в шестьдесят шестом году ему быть, а в девяносто девятом. Сколь осталось немного – пять годов...

Молчан вмешался со смешком:

– В гроб-то еще рано ложиться, Федосеюшко...

Кузнец плюнул на кощунствующих, насупился, замолчал. Молчан, подмигнув на него Крыкову, вытащил из голенища завернутую в ветошку тетрадь, запинаясь, негромко прочел название.

– Что за тетрадь? – спросил Крыков. – Откуда взялась?

– Человек добрый проходил с поспешанием на озеро, оставил, – уклончиво ответил

Молчан. – Ты слушай, Афанасий Петрович. Обо всем в сей тетради написано: о судьях неправедных-мздоимцах, о дьяках-живоглогах, о лихоимстве приказном. Читать?

– Ну, читай!

Ватажников покашливал в руку, крутил головой, – тетрадь ему нравилась. Кузнец смотрел исподлобья, вздыхал протяжно, говорил изредка:

– То – правда истинная. И все оттого, что безбожно живем, за то и наказуемы великим наказанием...

Ватажников огрызался:

– Будет тебе охать!

– Я к чему принес тетрадь, Афанасий Петрович? – сказал Молчан, поднимая взгляд. – Тут про все есть. И про то, как тебя за правду покарали...

– Ну, ну! – поморщился Крыков.

Молчан перевернул желтую страницу, мерно, почти наизусть прочитал:

«А перед иноземцем – русского своего человека ни во что не ставим, обиды ему несносные чиним и тем его от пользы всяко отвращаем. Не токмо что из высокого звания, но из простого никому сих поруганий не выдержать...»

– Читай, далее читай! – сказал Крыков.

Для того чтобы Молчан с товарищами не видели, как у него разбито лицо, он все ходил по горнице взад и вперед, не останавливаясь.

«Немцы не прямые нам доброхоты, – читал Молчан, – а мы, открыв уши настезь, склонны всем ихним еретическим суесловиям верить. А иноземцы те одно скаредное и богопротивное устремление имеют – как больше прибытку от нас получить и за тот прибыток еще вдесятеро нажитья...»

– Рыла скобленные, богомерзкие! – сказал Кузнец.

– Опять за свое! – рассердился Ватажников. – Скобленное, не скобленное – да разве в рылах дело?

«И в том иноземцев сравнить можно, – читал Молчан, – с боярином, который для своего прибытку ни перед каким грехом не остановится, почитай что и живота лишит оброчного своего, коли чего иметь за то злодейство вознамерится...»

Читали долго. Крыков слушал внимательно, потом вдруг спросил:

– Да что он за человек, который сии листы написал?

Молчан осторожно пожал плечами, скрутил тетрадь в трубку. За него ответил Ватажников:

– Кто написал, Афанасий Петрович, того человека мы не ведаем. А который листы дал, дабы прочитали, тот большого ума мужик. Учinen ему розыск, беглый он, сказывается Беспрозванным. Мастер искусный по рудному делу, да как вроде тебя заели его иноземцы, большое меж ними вышло несогласие, вплоть до бою. А как зачался бой, то и сказал сей мужик недозволенное слово. Ну, и ушел...

– Русский от иноземца из Москвы у́бег! – невесело усмехнулся Молчан. – То-то славно!

– А мы не убегли? – спросил Ватажников. – Да не от иноземца, от русского. Все они, собаки, одним миром мазаны...

Крыков, взяв у Молчана тетрадь, медленно просматривал писанные четким полууставом желтые листы плотной бумаги. Когда все перечитал сам, посоветовал:

– Спрячь, Павел Степанович, да не шути с тетрадью. Сии листы запрещенные именуются прелестными. Как накроют с тетрадкой – батогамы не отшутись. Не менее как колесовать будут, руки, ноги поотрубают, а лишь потом голову на рожон воткнут...

Молчан бережно завернул тетрадку в ветошку, спрятал за голенище, улыбнулся:

– Мы, Афанасий Петрович, хитрые, всего повидали...

Кузнец посоветовал:

– Уйти бы вам, други любезные, подалее, в скиты, к источнику древлего благочестия...

– Для чего? – спросил Крыков. – Во гробах лежать да трубы дожидаться? Не зрю в сем для нас никакого проку!

– В капралах, я чай, получше? – рассердился Кузнец.
– Да, пожалуй, что и получше. К делу ближе. Все ж таки корабли здесь строят, мало ли как оно обернется. Капралом я тоже, Федосей, от иноземных воров не отстану. А креститься как – мне все едино, хоть по-вашему, хоть не по-вашему...
– Крещение ваше не крещение, но осквернение! – крикнул Кузнец. – Все осквернено! И грады, и селы, и стогны, и дома, повсюду сатана дышит...
– Брось ты, Федосей! – с досадой вмешался Молчан. – Сатана! Не там сатана, где он тебе видится, не там он...
Гости еще поспорили, ушли.
Афанасий Петрович попытался уснуть. Но не спалось...
С утра во двор въехали подводы – майор Джеймс переезжал на прежнее жительство. Афанасий Петрович не торопясь сложил рухлядишку в берестяные кузова, понес с таможенниками в большую избу, где жили целовальники, досмотрщики, надзиратели и солдаты. Здесь для него на лучшем месте уже была приготовлена широкая лавка, лежал на ней сенник, по стене чьи-то добрые руки прибили шкуру белого медведя.
Он вошел, – солдаты поднялись, как раньше.
– Вставать более не надо! – сказал Афанасий Петрович. – Вставали вы не мне, но поручику. А уважать будем друг друга и без вставания.
Таможенники стояли неподвижно, у одного старого Ильи Пшеницына – выкатились из глаз слезы.
– Здравствуйте, братцы! – произнес Афанасий Петрович и низко поклонился.
Ему тоже поклонились – все, и так же низко.
– Вот и опять съехались! – говорил он, раскидывая свою рухлядишку возле лавки и по кузовам. – Ничего, заживем как раньше жили – безобидно...

2. ВЕЧЕРА НЕ ХВАТИЛО – ОТ НОЧИ ОТКРОИЛИ!

У Фан дер Гульста, царского лекаря, Тимофей Кочнев, корабельных дел мастер, лечиться отказался наотрез. Иван Кононович с ним согласился.
– Беспременно отравит! – сказал старик. – Знаю я их, немчинов. Быть по-иному: заберу я тебя, друг ты мой бесценный, к себе в Лодьму, и отживешь ты у меня на молочке, да на соленом морском ветерке, да на шанежках домашних, да на пирогах рыбных... Ладно ли?
– Езжай, Тимоха! – посоветовал Рябов. – Иван Кононович плохого не присоветует...
Тимофей молчал, смотрел в потолок, строго и медленно поводил мохнатыми бровями.
– Твоего-то когда на воду спускают? – спросил он наконец.
Старик догадался, о чем идет речь.
– Поутру.
Опять надолго замолчали. Таисья принесла парного молока, налила глиняную кружку, с поклоном, с искристой улыбкой в глазах поднесла больному, лежащему на лавке под окошком. У Тимофея дрогнули губы под жидкими усами, он тоже заулыбался, – нельзя было не радоваться, глядя на Таисью в расцвете ее счастья. Хоть и не хотелось – пригубил молока.
– Еще бы глоточек!
Тимофей еще пригубил. Искры в глазах Таисьи заблестели ярче, Рябов догадался: «Загадала, дурная моя: ежели допьет, значит жить ему и еще корабли строить». Взглянул с вопросом. Она медленно опустила очи долу – так и есть, загадала. Кормщик шумно выдохнул: узнавать, о чем думает Таисья, было ему не простым делом, иногда десять потов сольет, куда разберется в бабьих думах.
Корабельных дел мастер маленькими глотками допивал молоко, Таисья победно улыбалась, улыбался и Иван Кононович, качал старой среброкудрой головой: охо-хо, молодость – молчат, а беседуют. И как не надоест! Все то же, небось: «лада моя», «люба моя», «чаечка моя», «соколик мой!»... То ж, что он своей Марье Федоровне говорил там, в Лодьме, под шум морской волны...

– Совсем теперь глоточек остался! Последочки! – сказала Таисья нежным голосом.

«Мне говорит!» – опять догадался Рябов.

И когда Таисья вышла, выскочил за ней, побагровев от смущения: уж больно нехорошо от мужской беседы – за жениным подолом в сени скакать, да еще свернув по пути ушат с водой.

Выскочил, обнял в сенях, где сушились травы бабки Евдохи, прижал к сосновым смолистым бревнам, запрокинул ей голову, спросил шепотом:

– Загадывала?

– Ну, загадывала! – блестя зубами у самого его рта, ответила она. – Пусти, кости поломаешь!

Вернулся и, покашливая, сказал:

– Бычок в бабкин огород полез. Суседский...

Кочнев и Иван Кононович смотрели на кормщика молча, все еще улыбались.

– Бычок, говоришь? – спросил Тимофей.

С грохотом в горницу ввалились бывшие монастырские служники – Аггей, дед Федор, Егорка, кормщик Семисадов, Черницын, – все парились в бане. Бабка Евдоха встречала каждого с поклоном, потчевала мятным квасом, клюковкой, брусничкой, чем могла. Лечила по разумению – кого грела на солнышке, кого клала на дерюжку в тень, кого мазала нерпичьим жиром, кого поила кипятком на шиповнике, на хвойных иглах. И люди оживали быстро, словно чудом...

Митенька Борисов сел возле Рябова, спрашивал про новый корабль, кто на нем пойдет матросами, кто штурманом, кто шхипером, какой будет боцман, из чего шьются паруса. Другие сидели у стены на лавках, тоже спрашивали. Потом Кононыч загадал загадку:

Сын леса красного
В возрасте досельного,
Много путей пройдено,
А следу не найдено
Кто таков?

– Корабль! – первая от двери сказала Таисья и застеснялась.

К сумеркам – посумерничать в солнечную ночь – пришли рыбацкие женки с Юросы, с Уймы, с Кузнечихи, со Мхов, из Соломбалы, с Курьи. Пришли с поклоном к бабке Евдохе, что лечит мужиков-кормильцев, пришли с нехитрыми гостинцами. Кто принес пирога с палтусиной, кто гуся, кто кузовок шанежек с творогом, кто яичек. Детишки держались за материны подолы, тарасили глазенки на отцов, отоцавших в монастырской темнице, на знаменитого кормщика Рябова, на колдунью бабку Евдоху, на веселую тетечку Таичку, что всех их тискала и подкидывала легкими руками, что всех целовала и наделяла – кого цветастым лоскутом, кого пестрой веревочкой, кого ленточкой.

Кто знает, отчего так повелось у нашего народа, что вроде бы и не с чего веселью быть, вроде бы ничего хорошего никто не ждет, а вдруг засветятся у одного глаза, заведет он песню. Другой подхватит, и, глядишь, поплывет лебедем какая-нибудь старая старушка, дробно отстукивает:

Ах, все бы плясала,
Да ходить мочи нет...

Так случилось и на этот день. Завелись поначалу петь протяжные, старинные. Да засмеялась Таисья, зачастила, женки подхватили и пошли отрывать:

Вынимаю солодоново сукно,
Шью Ванюше свету-солнышку кафтан...

Иван Кононович насупился, дед Федор тоже, хотелось им божественного, но Таисья даже руками замахала:

– Знаем! Наслышаны! – и смешно передразнила вопленика: – «Труба трубит, судия сидит, книга живота нашего – разги-и-и-бается!» Про океан-море давайте лучше!

Встала у окошка и запела:

Высоко-высоко небо сине,
Широко-широко океан-море

Мужики враз, полной грудью взяли:

А мхи-болота и конца не видать,
От речки Двины, от архангельской...

Бабка Евдоха разожгла печь – жарить гуся, сотворила скорое тесто; было слышно в избе, как рассказывает она жмущимся около нее детишкам, где у печи «кошачий городок», где коташки греются да мурлыкают.

Тимофей тоже сказывал детям, облепившим его, про море, сказывал негромко, глядя вдаль блестящими от болезни, от жара глазами.

– В нашей стране вода начало и вода конец. Рождены мы морем, кормимся им, и оно нас погребет. На полдень от Студеного океана Ледового разлилось Белое наше море. Двинские тишайшие воды падают в море Белое. Куда ни пойдете – без лодьи, без корабля нету вам ходу.

Белоголовые, ясноглазые, тихие стояли у лавки, смотрели на Тимофея, на его руки, которыми показывал он море, реку, лодью, слушали затаив дыхание. За столом рыбаки и кормщики наперебой вспоминали океанские пути, которыми хаживали, вспоминали, каково зимовалось на Груманте, как ходили к норвегу, как взял волю ветер-полуночник и ранее времени нагнал льды, заковал промышленников в ледовый пояс.

И чего тут смешного – кто знает?

Так нет, и здесь все от начала до конца было мужикам смешно: и как бахилы от голодухи в воде размочили и съели, и как вовсе помирать собрались, – дед Федор свою рубаху смертную долгую выволок, саван с куколем, венец на голову, лестовку. А в то время, как дед зачал к смерти готовиться, медведь возьми да и заявись. Дед как зашумит, как заругается на медведя, – медведь ему плечо и раскровянил. От той обиды дед Федор и вовсе помирать отдумал...

Дед, слушая, хихикал тоненько, утирал веселые слезы, отмахивался:

– Ай, шутники! Ай, насмешники! Обидчики!

Могучий рыбацкий хохот сотрясал избу, даже рыбацкие женки-печальницы стали посмеиваться, закрывая рты сарафанами, – вот ведь мужики, все им смехи, а каковы были, как возвернулись из монастырской темницы...

– Отходную себе пели! – давясь от смеха, рассказывал Рябов. – Да не по правилу. Дедка Семен с нами тогда хаживал за старшего, строгий был! Возьми да и брякни меня посошком по башке, что не так пою. Ну какая уж тут отходная, когда он палкой дерется. Поругались все и спать легли...

Гусь изжарился, лепешки спеклись, бабка Евдоха с Таисьей собрали на стол, поклонились гостям, – не пора ли покушать?

Под окошком кто-то постучал, спросил громко:

– Спите, крещеные?

– Не спим, живем! – по поморскому обычаю ответила бабка Евдоха.

В коротком форменном кафтане, туго перепоясанный, стуча сапогами, вошел капрал Костюков, поздравил с добрым застольем, попросил Рябова ненадолго выйти по делу. Таисья

на мгновение обеспокоилась, Костюков сказал:

– Ты не серчай, Таисья Антиповна. Ей-ей, ненадолгышко, за советом пришел...

Во дворе сели на крылечко, Костюков заговорил:

– Ты, кормщик, ноне при царе службу правишь. Научи, как с добрым человеком побеседовать. Об Крыкове, об Афанасии Петровиче...

Рябов подумал недолго; не заходя в избу, пошел с Костюковым к берегу Двины. Корел Игнат перевез их обоих на Мосеев остров, в пути капрал поведал кормщику все подробности подлого поступка Снивина и Джеймса про подброшенные золотые. Рябов слушал, ругался...

Иевлева нашли в балагане, что выстроен был для свитских неподалеку от дворца, в ельничке. Здесь, раскинув могучие руки, храпел на сене Меншиков; ел ложкой из деревянной мисы ягоду-чернику Воронин; Сильвестр Петрович читал при свете свечи толстую книгу в кожаном переплете.

– Чего там стряслось? – спросил он, когда Рябов проснулся в балаган.

Набил табаком трубочку, закурил и вышел к двинскому берегу.

Сели трое в ряд на бревно, Рябов заговорил. Сильвестр Петрович слушал молча, низко наклонив голову, словно ему было стыдно. Костюков вдруг перебил кормщика, стал сбиваясь, рассказывать сам.

– Я, хошь на плаху, хошь на виску, хошь куда пойду! – сказал он вдруг. – Мне теперь обратной дороги нет! Ты, князь...

– Не князь я! – сказал Иевлев.

– Ну не князь, так начальный человек! Ты скажи, голубь, царю, скажи истину, не ведает он, обманули его, ей-ей. Такой человек Афанасий Петрович наш, такой, господи...

Иевлев выбил трубку, поежился от ночной сырости, не отвечая, поднялся.

– Скажешь? – спросил Костюков.

– Поглядим!

И, ссутулясь, Сильвестр Петрович ушел к себе в балаган. Костюков дернул Рябова за рукав:

– Что теперь будет?

Рябов молча пожал плечами.

3. ПЕРВЫЕ МАТРОСЫ

На следующую ночь двуконь к избе бабки Евдохи прискакал посланный от Иевлева офицер – невыспавшийся, весь взъерошенный; велел кормщику немедля, спехом быть на Мосеевом острову...

Не ополоснув лица, позевывая, кормщик животом навалился на коня, перекинул ногу, поскакал рядом с офицером.

– Истинно – собака на заборе! – ухмылялся офицер, поглядывая на Рябова.

Кормщик ответил беззлобно:

– Каждому свое, господин. Мое дело – море, твое – конь.

У перевоза стояла наготове лодчонка. На Мосеевом острову прогуливался в ожидании Сильвестр Петрович Иевлев с Меншиковым, Ворониным и Чемодановым. Еще, видимо, не ложились спать, лица у свитских были закопчены дымом костров, опухли от комариных укусов, глаза слезились.

– Как сквозь землю провалился! – сказал Иевлев, идя навстречу кормщику. – Куда пропал, дружок сахарный? Где матросы новому кораблю? Спускать скоро, а матросов – ни единой души?

Кормщик подумал, сел на лодейку, вернулся в Архангельск, пошел по кривым улочкам и переулочкам, по низким хибарам – искать, кто из рыбаков дома. Многие были в море, другие ушли на дальние промыслы покрутчиками, иные гнули спины грузчиками – дрягилями.

Спящих Рябов будил, вытаскивал из клетки, тряс, велел идти за собой.

- Куда? – спрашивали рыбаки, зевая.
- На казенные харчи! – отвечал Рябов.
- В острог, что ли?
- Там поглядим...
- На цареву службу?
- На нее.

Женки цеплялись за мужиков, выли, мужики отшучивались. Одна, чернобровая, румяная, всердцах погнала кормщика вон. Он сел на лавку, сказал со значением в голосе:

– Царь Петр Алексеевич ноне корабль спускает двухпалубный, а она ругается. Вишь, какая! Угощение будет матросам от царя, гульба, почет, а ей не по нутру. Вон какая женка нравная...

И отсюда мужик ушел, но на всякий случай захватил с собою хлеба. Царева служба известная – насидишься с пустым брюхом, наплачешься.

Дед Федор, Аггей, Егорша, Семисадов, Копылов, Нил Лонгинов, даже салотопник Черницын – пошли без отговорок: крепко верили артельному кормщику Рябову. Изрядной толпою, с шутками, быстрым шагом пошли к Соломбале. Шествие замыкал Митенька Борисов, шагал весело, думал – может, и пришло оно, его время, может, и быть ему отныне матросом.

К Соломбале успели как раз во-время, – царь только начал шуметь, что матросов нет. На верфи всюду развевались цветастые флаги и флажки, щелкали на двинском ветру, шелковая материя блестела на утреннем солнце. Непрерывно играли рожечники, ухали литавры, дробно трещали барабаны. Свитские бояре, не зная куда себя деть, мыкались в дорогих одеждах по двору, старались не попадаться царю на глаза...

Иевлев встретил матросов приветливо, велел быть вместе, не разбредаться, покуда их не кликнут к делу. Матросы расположились на ветерке, степенно, без любопытства оглядывали корабль, обсуждали его статьи, как землепашцы обсуждают коня.

– Кормщиком-то кто на нем пойдет? – спросил Лонгинов. – Из немцев кто али из наших, из рыбаков?

Дед Федор засмеялся, сказал насмешливо:

– Нашего брата на сей корабль и не допустят. Лапотники мы, а там все бархатники. Спихнем его в воду и – по домам. Так, Иван Савватеевич?

Рябов не ответил, загляделся на важных иноземных корабельщиков Николса да Яна, что похаживали вокруг, судна, покрикивали сиплыми голосами, будто и впрямь они построили корабль.

– Корабельщики! – презрительно сказал Аггей. – А те, кому положены честь да слава, да царское спасибо, те и подойти боятся... Вон в лодейке посередь Двины болтаются...

На реке, далеко, то поднимаясь, то опускаясь, покачивалась посудинка с двумя человеками, – то были Иван Кононович и Тимофей Кочнев.

На берегу пальнула пушка, рожечники перестали играть, в тишине на верхний дек корабля поднялись Лефорт, Апраксин, Иевлев, Меншиков и Воронин. Царь снизу, сложив ладони рупором, крикнул:

– Флаг!

Ударили барабаны, по трапу взбежал Чемоданов с кормовым корабельным флагом. Свитские ему отсалютовали шпагами, он миновал ют, поднялся на верхнюю галерею и там остановился. Барабаны смолкли.

– Кормщика на штурвал! – опять крикнул Петр.

Рябов, Семисадов, Копылов, Лонгинов поднялись все враз, не замечая друг друга, пошли к царю. Царь, утирая потное лицо и загорелую шею грязным платком, велел Рябову:

– Наверх!

Рябов побежал по трапу, Апраксин взял его за руку, твердо поставил у штурвала, спросил измученным от волнения голосом:

– Знаешь, чего делать надобно?

Здесь было куда ветренее, чем внизу, нестерпимо ярко блистала под солнцем Двина, совсем над головами с криком проносились чайки.

– Знает, знает! – за Рябова ответил Сильвестр Петрович.

Царь Петр внизу у кормы мыл руки. Мастер Ян ему поливал из серебряного кувшина, мастер Николс держал расшитое полотенце. Опять ударили барабаны. Петр вытер руки, швырнул полотенце, крикнул громким веселым голосом:

– С богом! Руби канаты!

Одно за другими стали падать бревна, поддерживающие корабль по бокам. Мерно, вперебор застучали топоры в умелых ловких руках плотников. Петр поплевал на руки, высоко взмахнул молотком и изо всех сил ударил под киль. Корабль вздрогнул, длинно заскрипел и тронулся, все быстрее и быстрее скользя по смазанным жиром полозьям. Колесо штурвала мерно подрагивало. Рябов стоял напряженно, готовый в любую секунду положить руки на штурвал, но сейчас было еще не время...

Поднятый вал ударил в корму, корабль качнуло, он поплыл.

– Якоря! – крикнул Иевлев.

Рябов, не торопясь, положил руки на штурвал. Не дойдя до середины реки, корабль остановился на якорях, отданных мгновенно. Теперь якоря «забрали». Совсем близко у борта покачивалась лодейка, Кочнев и Иван Кононович, задрав головы, смотрели на судно, о чем-то между собою переговариваясь. Рябов свесился вниз, крикнул корабельным мастерам:

– Славно построен! Слышь, Тимофей!

– В море, я чай, виднее будет! – ответил Иван Кононович и навалился на весла.

К новому кораблю подходили шлюпки царя и свиты, за ними медленно двигалась лодья с плотниками – достраивать корабль на плаву. Петр быстро взбежал наверх, обнял Апраксина, велел ставить столы для пиров. Рябов, отозвав Иевлева, тихо спросил:

– Матросы-то нынче не надобны?

– Нынче могут отдыхать, да завтра чтоб здесь были! – сказал Сильвестр Петрович. – Вооружим корабль – и в море...

Рябов смотрел на Иевлева улыбаясь.

– Чего смеешься? – спросил Сильвестр Петрович.

– Тут делов еще на месяц! – сказал кормщик. – Ранее не управиться. Мачты ставить, пушки, снасть, а ты – завтра! Все у вас спехом, словно бы дети малые...

Сильвестр Петрович порылся в кошельке, отыскал рубль, протянул Рябову:

– На, угостишь матросов для ради праздника спуска корабля. И быть всем в готовности...

Через несколько дней Иевлев опять прислал за Рябовым офицера. Кормщик быстро собрал своих матросов, поднял парус на карбасе корела Игната, подошел к трапу нового корабля, из пушечных портов которого уже торчали стволы орудий, привезенных Петром из Москвы. Дед Федор поднялся наверх первым, обдернул домотканную чистую рубаху, перебрал обутыми в новые морщины ногами, scomандовал:

– Но, робятки, не осрамись, дело такое...

Один за другим мужики-рыбари поднимались по трапу, не зная, куда идти дальше, что делать, кто тут старший – Лефорт ли в своих огромных локонах, Гордон ли, что задумчиво глядел на свинцовые воды Двины, Меншиков ли, что дремал в кожаном кресле...

Навстречу, размахисто шагая, вышел царь Петр, спросил громко:

– Матросы?

– Матросы! – выставив вперед бороденку, ответил дед Федор.

Петр Алексеевич добродушно усмехнулся, покачал головой, спросил:

– Что в коробах-то принесли?

– А харчишки! – ответил дед Федор. – Уговору-то не было, на каких харчах, вот и захватили для всякого случая, может, на своих велишь трудиться.

– Запасливые! – сказал Петр.

– А как же, государь! – ответил дед Федор. – Без хлебца не потрудишься...

Царь ушел, дед Федор, осмелев, повел поморов по кораблю. За ними пошли Меншиков, Иевлев, Апраксин, слушали рассуждения деда Федора.

– А ничего! – говорил он, задрал голову и оглядывая мачты. – Ничего лодейку построили, с умом. Ишь щеглы какие поставлены... и махавка на щегле, вишь...

– Какая такая махавка? – спросил Меншиков.

– По-нашему так говорится, по-морскому, – ответил дед Федор. – А по-ихнему, по-иноземному, – флюгарка.

Очень светлыми и зоркими еще глазами прирожденного морехода он в тишине, неторопливо оглядывал корабль и делал свои замечания – насчет мачт, которые называл щеглами, насчет рей, насчет парусов и всей оснастки корабля. И первым зашагал по палубе – смотреть, каковы люки, называя их творилами или приказеньями, как настелены палубы-житья, как построен сам корпус корабля, каковы на корабле казенки-каюты.

Потом, также не торопясь, окруженный своими мореходами, дружками и старыми учениками, разобрал фалы, определяя назначение каждой снасти, каждого каната, каждого узла и блока. Иногда он спорил с Семисадовым, но спорил мирно, уясняя с дотошностью назначение новых, незнакомых еще мелочей, поставленных иноземцами на этом корабле...

К вечеру, к прозрачным сумеркам, дед Федор был назначен боцманом, Семисадов старшим над рулевыми, Аггей – палубным, салотопник Черницын – учеником констапеля, другие – кто марсовым, кто трюмным, кто якорным. Митеньке Борисову дали назначение, годное при его убожестве: он теперь был старшим такелажником.

– Чего оно – боцман? – спросил дед Федор.

Воевода, отворотясь от деда, от которого страшно несло чесноком – он только что поужинал ломтем хлеба и двумя головками чесноку, – объяснил, кто такой боцман на корабле. Дед неразборчиво хмыкнул, и было неясно: понял он или не понял.

– Старшой, вроде бы?

– Боцман есть... – раздражаясь, опять начал объяснять Апраксин.

Но не договорил, махнул рукой и ушел.

В сумерки, под крик падающих к речным водам чаек, матросы, закусывая возле бухты каната, беседовали, какая у них теперь пойдет жизнь, сколько рублей будет жалованья, какую дадут рухлядишку на одежду и куда велят ходить, в какие земли...

– Поиграет царь и забудет, – сказал Нил Лонгинов, назначенный старшим палубным матросом. – На Москве-то почитай моря нет, не поиграешь. Одно хорошо – от монасей ушли...

– Ушли-то ладно, – молвил Аггей, – а вот ребятишек малых прокормить – то хитрость хитрая... Ни карбаса своего, ни сети справной, наготы да босоты изувешены шесты.

– Ныне весь день свое зоблим! – сердито сказал дед Федор. – Такого порядку мне и даром не надобно... Хошь бы требухи наварили, горяченького похлебать...

Копылов снизу вверх посмотрел на спокойно стоящего Рябова, сказал с укоризной:

– Подсудобил ты нам, Иван Савватеевич, работенку. Скажут тебе спасибо детишки наши...

Один Егорка Пустовойтов был доволен: тут тебе и пушки, и чиненные ядра, и в море, слышно, пойдем, и вроде бы пищаль дадут, или, на худой случай, алебарду. Пройтись бы с алебардою возле монастыря, поугатать монасей...

Пока беседовали, подошел веселый Патрик Гордон, спросил:

– Матросы?

– Морского дела старатели! – ответил Нил Лонгинов.

– Старатели?

Гордон подумал, слово «старатели» ему понравилось, кивнул:

– Очень хорошо!

Сунув руки за широкий кожаный с медными пластинками кушак, долго молча смотрел на моряков, потом строгим голосом стал спрашивать, какая снасть для чего предназначена.

Поморские названия он понимал с трудом, но бойкие ответы тоже понравились ему, как понравилось и независимое, свободное поведение рыбаков.

– Хорошо! – опять сказал Патрик Гордон.

И отправился наверх, туда, где царь Петр Алексеевич принимал гостей-иностранцев по случаю рождения еще одного корабля – второго в русском флоте. Там, наверху, иноземный искусник, матрос с «Золотого облака», пел и играл на лютне.

– Слышь, поет! – задумчиво молвил Аггей.

– Тоже песня невеселая! – отозвался Лонгинов. – Ихним матросам достается, не все гульба...

– Бьют? – тихо спросил Егорша.

– То-то, что бьют! Насмерть, бывает...

Рыбакам стало тоскливо, Рябов посоветовал:

– Спели бы, детушки...

– Не с чего петь-то! – отозвался Семисадов.

Сидели молча, слушали мерный плеск двинских вод, заунывные звуки лютни. Подошел Иевлев, помолчал, потом молвил:

– Что ж, братцы, скоро в море пойдем.

Матросы молчали.

– Готовы ли?

– А шхипером кто? – спросил Семисадов.

– Старшим будет у вас вице-адмирал господин Бутурлин... – не очень уверенно сказал Иевлев. – Бутурлин Иван Иванович.

Семисадов еще спросил:

– А море он видел... Иван Иванович-то?

Стало тихо. Вопрос был дерзок. Семисадов ждал. Ждали и матросы.

– Море вы, ребята, видели! – сказал спокойно стольник. – И не впервой вам по морю ходить...

Помолчали.

– Спать-то нам здесь повалиться, али как? – спросил опять Семисадов. – И с харчами отошаем мы, господин: на своих нам службу цареву служить, али от казны пойдут? Нынче вовсе не кормлены, – кто хлебца имел, тот и пожевал, а которые не взяли, те с таким остались...

Иевлев сказал, что распорядится насчет харчей и что харч теперь пойдет от казны. Поговорили еще – справятся ли с большим кораблем в море. Дед Федор обещал: коли буря не падет – справимся, а коли ударит торок, – все в руке божьей, тогда молиться надо.

– Не больно ты, дедуня, молишься в шторм-то, – весело сказал Семисадов, – кроме как срамословия, ничего от тебя не слышно на карбасе...

– Грешен! – сказал дед Федор. – Будут меня за грехи черти на угольях жечь. Да с вами, с лешаками безголовыми, разве молитвой совладаешь? Мирское слово – оно вроде бы и продерет...

Рыбари засмеялись, дед Федор тоже.

– Когда же в море пойдем? – спросил Семисадов.

Сильвестр Петрович ответил, что не так уж скоро. Царь Петр ждал еще корабля, который должен был прийти из Голландии, где его выстроили голландские мастера. Корабль добрый, многопушечный, шхипером на нем Ян Флам...

– То-то, небось, драться будет! – заметил как бы про себя Нил Лонгинов.

– Слышал я о нем, – сказал Иевлев, – человек честный.

– Поглядим! – усмехнулся Рябов.

И, вдруг поднявшись, пошел вслед за Иевлевым на ют. Возле трапа он шепотом спросил:

– Сильвестр Петрович, не слыхать ли чего с Крыковым с нашим?

Иевлев махнул рукой, поднялся по трапу наверх. Было уже далеко за полночь, гости

разошлись. Меншиков дремал в кресле. Петр, сидя на краю стола, помахивая ногою в башмаке с бантом, неприязненно слушал дьяка Виниуса, который читал ему длинную челобитную. Ветерок едва колебал огоньки свечей, с близкого берега доносились голоса ночных стражей:

– Поглядывай!

– Слушай!

И сильный низкий бас конного пристава:

– Святой Николай-чудотворец, моли бога о нас! Похаживай, хозяиные!

Сильвестр Петрович подсел к Апраксину, спросил шепотом:

– Чего стряслось, Федор Матвеевич?

– Все то же... На иноземцев челобитная. Серебро льют не серебряное...

Виниус дочитал. Петр молча стал набивать трубку. Виниус покашлял. Царь сказал угрюмо:

– Одного виноватого схватишь, другие – неповинные – испугаются, уйдут за море. А мне мастера вот как нужны, искусники, корабельщики, лекари, рудознатцы. Сколь вам долблю в головы ваши медные: на Руси иноземцев издавна не терпят, не верят им нисколько, мы с тем обычаем, богу помолясь, накрепко покончим. Шишами называют, ярыгами заморскими, а то еще фря, али фрыга. Что за слова-то? Кто выдумывает? Для чего непотребство чинится?

Иевлев поднялся с места, подошел к царю. Петр Алексеевич взглянул на него коротко и, словно бы угадав несогласие со своими мыслями, продолжал говорить еще круче, злее:

– Нынче то и слышу, что жалобы. Не могут-де своими кораблями к нам хаживать, утеснения терпят великие. Шхипер достославный, давешний добрый советчик, не раз дружелюбие свое показавший, господин Уркварт, со слезами клялся, до того дошло, что некий свитский обляял его поносным скаредным словом шпион, что означает пенюар. И всяко ему грозился – сему негоцианту и мореплавателю, дабы оный Уркварт к нам более не хаживал. Я ему, стыдясь сей беседы, допроса не стал чинить – кто сей свитский, но вам говорю: еще услышу, не помилую. Слово мое крепко!

– Еще читать? – спросил Виниус.

– Об чем?

– Разные, государь, до тебя нужды...

– Погоди...

Встал, походил, остановился перед Иевлевым.

– Тебе чего надо?

– Государь...

– Ну? – крикнул Петр.

– Государь, Крыков поручик...

– Что Крыков поручик? – бешено спросил Петр. – Невиновен? Заступаешься? Мне за Крыкова, таможенного ярыги, всей торговли заморской лишиться? Заступаешься, заступник? Ой, Сильвестр, смел больно стал!

Губы его прыгали, лицо сводила судорога. Сильвестр Петрович побелел, стоял неподвижно. Виниус испуганно попятился.

Вдруг Меншиков крикнул диким голосом:

– Караул, горю! Тушите, братцы...

Петр круто обернулся. Меншиков действительно горел: вспыхнула на нем одна лента, потом другая. Петр рванул скатерть, накинул на него сверху, Апраксин плеснул квасу из жбана. Меншиков прыгал по палубе, орал благим матом...

– Тетеря сонная! – проворчал Петр. – Увился лентами, словно баба...

И приказал:

– Спать! Утром со светом побужу всех!

Александр Данилович, охая, подмигнул Иевлеву, сказал шепотом:

– Ну, ловко? Ты, Сильвестр, за меня век бога молить должен. Никак они не загорались,

ленты проклятые... Ох, служба наша, и-и-и!

4. ВСТРЕТИЛИСЬ

Они встретились, почти столкнулись у сходен царевой яхты «Святой Петр». Антип – в новой шапке, в новом, тонкого сукна кафтане, в бахилах, за ночь сшитых для сего случая, и Рябов – простоволосый, перепачканный варом от канатов, с которыми занимался на яхте...

Бояре с царем стояли неподалеку на юте яхты. Апраксин был у сходен наверху. Шеин, Гордон и Лефорт, переговариваясь, медленно шествовали от дворца к берегу.

Антип огляделся.

Драться? Да разве можно, когда сам царь поблизости? Да если бы и можно, разве Ванька себя в обиду даст? Вскричать? Засмеют – дело верное. Да и что вскричать? Что дочку увел и свадьбу сыграл?

Багровея, Антип крепко стиснул узловатые кулаки.

Кормщик взглянул ему в глаза, уважительно, глубоко поклонился.

– Кланяешься? – тихо спросил Антип. – Змей подколотный...

– Прости, батюшка! – сказал Рябов непонятым голосом: то ли вправду смиренно, то ли насмехаясь.

– Я те прошу! Землю грызть у меня будешь! Кровью умоешься, тать, шиш, рыло твое бесстыжее.

– Ой ли, батюшка? – уже с нескрываемой насмешкой, но все еще кротким голосом спросил Рябов.

Апраксин сверху окликнул:

– Антип, что ли, Тимофеев?

Антип испуганно обдернул кафтан, стуча бахилами, словно кованая лошадь, взошел на яхту. Широкое лицо его, окаймленное светлой с проседью бородою, горело, как после бани. На ходу оглянулся. Рябов спокойно беседовал с Федором Бажениным. Так, едва дыша от бешенства, не успев остыть, Тимофеев предстал перед Петром.

Позванный пред царские очи, он подумал было, что зовут его по торговым делам, и шел купцом-рыбником. Но царь о рыбе не обмолвился ни словом, а спросил только, умеет ли Антип читать карту и знает ли компас?

– Тому делу мы издавна песнословцы! – непонятно ответил Антип.

– Чего? – строго спросил царь.

– Богопремудростью и богоученостью сей издревле приумножены! – еще более загадочно ответил кормщик.

– Ты не дури! – велел Петр. – Говори просто.

Антип растерялся – как с царем говорить просто? И сказал:

– Ведаю, государь, и компас, и карту могу читать.

– То-то. Большие корабли важивал?

– Важивал, государь, в допрежние времена.

– С яхтой совладаешь?

Антип на мгновение струхнул, подумал и ответил, что, надо быть, совладеет.

Помолчали.

Царь спросил, кто наипервее кормщик в здешних местах.

Антип покосился на Рябова, что стоял внизу у сходен, ответил раздумчиво:

– Панов был, – его море взяло. Мокий дед, – тоже море взяло, Никанор Суслов стар стал. Из молодых есть...

Он помедлил, добавил тихо:

– По правде, государь, лучше Рябова Ивана не сыскать кормщика.

Царь с высоты своего огромного роста с недоумением посмотрел на Антипа, сказал, пожимая плечами:

– Да как с ним пойдешь, коли он карте доброй не верит!

– Мужик бешеный! – согласился Антип. – А кормщик наипервееющий, лучшего не сыщешь, государь. Каждому дорого на твою яхту кормщиком стать, велика честь, и я бы век бога молил, коли бы довелось мне с тобой в море выйти, да по совести – не тягаться мне с Иваном. Годы мои большие, государь, помилуй...

Он поклонился низко: было страшно вести цареву яхту, да еще по некой карте, которой и Рябов не верит. Пусть будет Ваньке честь, зато с него и шкуру спустят – с охальника, поперечника, своевольника.

– Годы твои немалые, да опыт твой велик! – сказал царь. – Пойдешь кормщиком на нашей яхте, отправимся мы поклониться соловецким угодникам – Зосиме и Савватию...

– Так, государь! – ответил Антип.

Сердце в груди колотилось. Сколь долгие годы он и в море-то не хаживал! Ох, лихо, ох, недобро, ох, пропал Антип! Ладно, ежели вот так погода продержится! А ежели, упаси бог, взводень заведется? Падера падет? Задуют ветра несхожие, недобрые? Тогда как?

Петр пошел в каюту, Антип проводил его взглядом, кинулся к Федору Баженину просить совета, как быть, что делать? Но Федор стоял с Рябовым, а ждать у Антипа не было сил. Подошел. Федор, ласково глядя добрыми глазами, дотрагиваясь до Антипа белой рукою, утешил, сказал, что авось все ладно сойдет, не один он, Антип, на яхте будет, найдутся добрые советчики. Тимофеев горестно затряс головой, отмахнулся. Тогда неторопливо, разумно, покойно заговорил вдруг Рябов:

– Ты, батюшка, зря закручинился, всего и делов, что давно в море не хаживал, в купцы подался. А был кормщиком – любо-дорого, я с малолетства помню, как на луде ударил тебя взводень...

Антип повернулся к Рябову, вздохнул всей грудью, сам вспомнил ту треклятую осень, вспомнил Рябова еще сиротою-зуйком.

– Огрузнел малость, – говорил кормщик, – а как в море выйдешь, живо молодость к тебе, батюшка, возвратится. Одно плохо – карта иноземная, да ты по памяти пойдешь, чай не позабыл путь на Соловецкие острова. А коли позабыл, принесу я нынче берестяную книгу, ты грамоте знаешь...

Антип сказал гордо:

– Чему быть – тому не миновать. Что сбудется – не минуется. Я об тебе говорил, да ты мужик бешеный, заспорил, что ли, с государем? Карта иноземная – заешь ее волки! Что как заставят по ней идти?

– А ты по-своему, батюшка!

– Отберут штурвал, тогда как?

– А ты, батюшка, по-своему, да как бы и по-ихнему. Зря я об карте-то и сказал давеча, не сдержался, кровь закипела. Видать, без хитрости не проживешь...

Тимофеев вздохнул, зашагал домой за узелочком, да чтобы еще подумать наедине, в тишине, обмозговать все, что ожидает в море, порыться в своих старых картах... По дороге ругался на себя:

– Дурак старый, рыл другому яму, сам в нее и ввалился, теперь вылезай, коли можешь, а коли не можешь – никто по тебе не заплачет...

Во дворе ни за что ни про что накричал на работника, пнул цепного пса, в избе встал на колени перед кивотом молиться, сипато пропел один псалом, опять рассердился, что глупо говорил с царем, слова какие-то никчемные произносил: «богопремудрости, песнословцы». А Ванька каков есть, таков он весь, как на ладони, еще утешал давеча, да по-доброму, а не по-злему...

Забыв молиться дальше, стоял перед кивотом, размышлял: и чего дочку проклинал? Мыкаются по людям, угла своего нет, сам бобылем старость доживает...

Засосало под ложечкой. Поел моченой брусники – не помогло. Тогда понял – душа болит, брусникой тут не отделаешься. Лег на лавку и стал вспоминать, как бывало кормщиком приходил с моря, как бежали за ним мальчишки, заглядывали в лицо: пришел с моря сам Антип, был великий шторм, а он хоть бы что! А нынче? Что нынче? Горшок денег

в подпечке закопан?

Сам собрал себе узелок, думая с грустью: ему-то, Ваньке, небось, Таисья собирает. Завязал узел, пошел размеренным шагом, как в давние годы, по пути думал: Крыков, вот, Афанасий Петрович, был поручиком, стал ныне капралом, ежели и дальше так будет справлять цареву службу, дослужится и до солдата, а там недолго и в колоднишки попасть. А Ванька, народ говорит, вверх поднимается – с царевыми людьми днюет и ночует, из монастырского строгого училища рыбацей освободил – значит, в большой силе человек. Может, суждено Ваньке Рябову немалое плавание?

Да и чем он плох, чем уж так не угодил кормщик Рябов?

Может, помириться?

У кружала постоял – не выпить ли крепыша для силы в жилах, но раздумал, давно не пил и не те годы, чтобы Тошаково пойло на пользу шло. Попил у женки на перевозе игристого пенного квасу, велел деду Игнату везти на Мосеев остров. Дед повез со всем почтением – в Архангельском городе Антип Тимофеев был не последним человеком.

На яхте – у штурвала, на солнышке – прилег поспать и проснулся, когда собирались отваливать. Уже гремели доски сходен, царь кричал в кожаную говорную трубу, какие концы где отдавать, свитские в Преображенских кафтанах быстро, ловко работали за матросов, по палубам, по шканцам бегали босые морского дела старатели, работали корабельную работу.

«Где же Рябов?» – с испугом и тоской подумал Антип, поднимаясь на ноги.

– Тут я, тут, батюшка! – как бы читая в его голове, откликнулся Рябов.

Он сидел поблизости, на бухте каната, веселыми глазами смотрел по сторонам, как работают на корабле царские свитские вперемежку с беломорскими рыбаками. Царь все кричал в трубу, скрипели блоки, лодья на веслах вытягивала яхту на двинский стреж...

– Что ж, батюшка, становись к делу! – негромко сказал Рябов.

Антип перекрестился, положил руки на штурвал. Все шире и шире делалась полоса воды между пристанью и яхтой. С криком летали чайки, низко пронеслись над судном, снова вздымались в небо. Антип еще переложил штурвал – яхта выходила на стреж полноводной Двины.

– Вишь, как ладно выходим! – опять сказал Рябов. – И ветер нам добрый, и кормщик ты, батюшка, не отучился. Погоди, еще поведешь артель, таких кормщиков у нас поискать...

Антип самодовольно улыбнулся, расставив ноги пошире, ответил басом:

– Авось, управимся...

5. ТРУДНОЕ ПЛАВАНИЕ

Испанец Альварес дель Роблес прибыл на цареву яхту торжественно и был принят с почетом, подобающим многоопытному и ученому навигатору. Разложив на столе в царской каюте голландские карты Белого моря, дель Роблес сказал с важностью:

– Сии карты, великий государь, доставлены на нашем «Золотом облаке», и хоть мы ими не пользовались, но можем поручиться в их верности, ибо изготовлены они достоуважаемым и непревзойденным мастером и искусником, который столь искушен в своем деле...

Федор Баженин вежливо, но твердо перебил испанца:

– Карта, что разложена здесь, неверна!

Петр сердито спросил:

– Тебе-то откуда ведомо?

– Ведомо, государь, не раз хаживал сим путем. Горло показано на голландской карте верно, а что до пути на Соловецкие острова – ложно. Летний берег – ишь куда заворачивает. И Унская губа не здесь, не знают иноземцы наших мест, из головы придумали карту...

И отошел от стола.

Ромодановский, сбывшись, оглядывал людей – кого винить? Меншиков наклонился к Нарышкину, сказал нарочно испуганным голосом:

– Потонем, боярин, ей-ей потонем. Давеча курица петухом кукарекала, верная примета...

Нарышкин шепнул соседу, Стрешнев широко, истово, с испугом в глазах перекрестился, думный дьяк Зотов махнул в ожесточении рукой – пропали, мол, чего теперь и толковать, коли пути своего не знаем. Потешные мореходы Воронин, Иевлев, Апраксин недоуменно переглядывались. Преосвященный Афанасий хохотнул:

– Шиш он, а не шхипер, иноземец ваш достославный. Кликните кормщика, с ним говорить надобно, а не с сим голоногим...

Иевлев привел Рябова, тот принес узелок, осторожно развязал, положил на стол книгу в старом кожаном переплете, открыл. Петр, низко склонившись, быстро вслух прочитал:

«Сие мореходное расписание составлено честно и верно добрым порядком, по которому мореплаватели, морского дела старатели, находят все опасные в плавании места и через то сберегают свою жизнь...»

Царь поднял голову, коротко взглянул на Рябова, вздернул плечом, стал листать книгу дальше, отыскивая карты: нашел одну – впился в нее глазами.

– Откуда сия книга? – спросил Апраксин.

– У вдовы отыскалась! – ответил Рябов. – Был кормщик славный дед Мокий, взяло его море, сам он грамоте знал, писал.

– Лоция! – сказал Петр веселым громким голосом. – Слышь, Сильвестр Петрович...

И опять стал читать вслух, сбиваясь на незнакомых словах:

«Как Двина располонится и на своих судах торопимся вослед за льдиной. Губой и мимо Зимний берег весело бежим, что поветерь поспособная и быстрина несет. У Орловских кошек хоть торсовато, а салма сыщется, проскочим». Что за салма?

– А пролив, по-нашему – салма! – сказал Рябов.

– Пошто сказано здесь про камень подводный – «токмо неуверенно»? – спросил Петр, тыкая в лист книги пальцем.

– Я, государь, грамоте не знаю, – сказал Рябов, глядя в румяное лицо царя. – А коли пишут «токмо неуверенно», то означает, что сей морского дела старатель в обман плователя не вводит и лишь упреждает для всякого опасения...

Лоцию читали долго, пока не изменился ветер и не запенилось гребешками море. Перед тем как уходить из каюты наверх, Петр велел Иевлеву спрятать книгу в надежное место. К вечеру яхту стало так швырять, что дель Роблес оробел и для бодрости выпил рому. Дважды дед Федор и Рябов предупреждали испанца, что надо сбросить паруса, неровен час ударит торок, как бы не случилось греха. Дель Роблес не слушался. Торок действительно ударил, необрунный парус лопнул с грохотом, подобным пушечному выстрелу. Снасти со свистом рубили воздух, пенный сердитый вал перехлестнул шканцы, унес зазевавшегося рыбацкого сына Мотьку, бочку с крупой, запасные лоски. Антип стоял у штурвала неподвижно, глаза его смотрели твердо, ставил судно поперек волны, как в давние молодые годы. Рябов подошел к нему близко, спросил:

– Может, отдохнешь маненько, батюшка?

– Успею!

Иподиакон и ризничий владыки Афанасия ревели на палубе молебн о спасении христианских душ; бояре, подвывая от страха, мелко крестились, сулили богу ослопные свечи, коли достигнут твердой земли, мешали матросам, вопили, чтобы заворачивать к берегу. Афанасий с Патриком Гордоном стояли у мачты, оба простоволосые, словно рубленные из дуба, ругались о вере. Гордон путал русские фразы с латынью. Афанасий, утирая лицо от соленых брызг, слушал внимательно, иногда вдруг яростно возражая.

– А ты... сердитый! – сказал Гордон.

– Ныне укатался, в старопрежние времена, верно, грозен был.

– Это ты кому-то вырвал бороду на соборе?

Афанасий добродушно засмеялся:

– Бешеный расстрига Никита Пустосвят в Грановитой палате на меня кинулся, да и ну

рвать мне бороду. Ходил я с босым рылом, стыдобушка. Припоздал маненько, как бы знатъе – я бы ему, собаке, сам первый бородищу вытаскал...

– И католики и протестанты – все дерутся, – произнес Гордон. – Нехорошо...

– А ты разве не дерешься?

– Я не поп.

– А попу и подраться нельзя? Вон, ты енерал, а я поп, возьмемся на земле в пристойном месте – кто кого одолеет? Шпагой-то я колотья не научен, а вот на кулачки – поспособнее. Выйдешь со мной, а?

Гордон не ответил, стал всматриваться в берега, о которые с грохотом разбивались могучие морские валы.

– Жить-то не скучно тебе, енерал? – спросил Афанасий.

– Бывает скучно очень! – сказал Гордон.

– И мне тяжело бывает. Так-то тяжело. Для чего, думаешь, оно все? Нет, не умилительно, нет...

Подошел Петр, покусывая крупные губы, стал всматриваться, не откроется ли залив, чтобы отстояться, спастись от шторма.

– Гони вон, государь, шиша проклятого, фрыгу, – сказал Афанасий, – какой из него шхипер? Ставь Рябова шхипером – спасемся. Кормщик толковый, иноземец ему только мешает. Ей-ей так...

– Иноземец – шиш? – спросил Гордон.

– Фрыгой еще прозываем, – с усмешкой ответил Афанасий.

– Я тоже фрыга?

– А бог тебя ведает, – сощурившись на Гордона, сказал владыко. – Мы с тобой хлеба-соли не едали, делов не дельвали...

Петр послушался Афанасия, велел испанцу отдать Рябову говорную трубу. Рыбаки побежали по палубе быстрее, бестолочь кончилась, люди понимали командные слова. Что было непонятно потешным – переводил Иевлев. Апраксин, Воронин, Меншиков взялись крепить грузы, чтобы не пробило борт. Даже жирный Ромодановский тянул с Семисадовым снасть – спасался от гибели в пучине. На корме царский поп Василий придумал исповедовать и причащать желающих, но таких не находилось. Дед Федор было собрался, но за недосугом позабыл. Никита Зотов, пьяненький, сидел в углу за бочками, попивал из штофа, манил к себе пальцем попа Василия: выпьем, мол, батя, вдвоем, все веселее будет. Чтобы не смыло волной, Стрешнев привязал себя веревкой к кулям, кули мотало по палубе, Стрешнев выл...

– Худо? – спросил Афанасий у Рябова.

– Вон они, Унские рога, открылись! – сказал Рябов. – Вишь, мыс Красногорский рог? Вишь, гора Грибаниха? А вон Яренский рог. Антип туда идет. Камни там подводные, ежели на камни не кинет волною – проскочим. Проскочить, верно, нелегко. Вишь, пылит буря...

В мелком дожде, в водяной пыли мощные валы накатывались на прибрежные камни, взмывали кверху, изжелта-белая пена бурлила у берегов. И чем ближе подходила яхта к спасительной гавани, тем яснее было видно, как трудно войти в нее так, чтобы не ошибиться стрежем и не сесть на подводные скалы.

Сбросив с широких плеч насквозь промокший кафтан, в рубахе, расстегнутой на груди, в рыбацких бахилах, с сизыми от холодного ветра щеками, спокойный, негнувшийся на визжащем штормовом ветру, Антип неподвижно стоял у штурвала, меряя взором несущиеся навстречу берега Унской губы.

Все затихли вокруг.

Никто даже не крестился в эти страшные секунды. С дикой силой несла буря утлое суденышко, как казалось, прямо на камни. Ветер визжал, выл, стонал на тысячи ладов. Грохотали волны, разбиваясь о черные камни, и нельзя было поверить, что судно избежит сокрушительного последнего удара...

– Куда? – спросил Петр, остро взглядываясь в Антипа.

– Куда надо, государь, – почти спокойно ответил Тимофеев.

– На подводные камни идешь! – крикнул Петр.

И, сделав еще шаг вперед, он крепко схватил штурвал.

– Уйди, государь! – с суровой силой велел Антип. – Мое тут место, а не твое. Знаю, что делаю!

Петр попятился, Антип все еще медлил. Сузив глаза, рассчитывал бег судна, волну, силу ветра, стреж, безопасный от подводных камней. Он словно целился. Так целился стрелок в идущего на него медведя: промахнулся – смерть...

Со скрипом, со скрежетом завертелся штурвал, яхта почти легла на бок, буруны на черной подводной скале остались слева, Антип резко переложил штурвал еще раз, судно шло стрежем, опасность была позади, ветер шумел не так свирепо, Антип обходил другой ряд камней. Впереди во мгле показались строения Пертоминского монастыря, деревянная, почерневшая от времени звонница, купола, стены...

Рябов хлопнул Антипа по плечу, тот обернулся – бледный, похудевший, словно другой человек.

– Ну, батюшка! – сказал Рябов. – Кормить тебе еще и кормить! Рано на печь засел...

– Бери штурвал! – ответил Антип. – Глотка пересохла!

Дед Федор подал ему в кружке воды, он выпил залпом, помотал головой. В это время царь взял его за локоть, другой рукой обнял за шею, наклонился, поцеловал трижды, приказал, чтобы принесли водки.

– Шапку ему мою да кафтан! – крикнул Петр.

Меншиков, улыбаясь веселыми глазами, стоял неподвижно, на подносе держал стаканчик с водкой и кренделек. Антип выпил водку, утер бороду, стал натягивать на себя царский кафтан. Кафтан был ему велик, старик стоял смешно растопырив руки, моргая распухшими усталыми веками. Меншиков подал шапку. Антип взял ее обеими руками, нахлобучил на сивую голову, вновь застыл. Петр порылся в кошельке, протянул Антипу червонец.

– Ну, что ж... – сказал Антип. – Сколько годов прожил, не напивался, нынче согрешу за твое, государь, здоровье. Прости!

Петр засмеялся, ответил осипшим на ветру голосом:

– Нынче все согрешим, кормщик! Когда и согрешить, как не сегодня...

После того как царь и свитские сошли с яхты, Рябов с усмешкой сказал Антипу:

– Может, батюшка, ради нынешнего дня и нас с Таисьей простишь?

Антип подумал:

– Может, и прощу. Сымай с меня кафтан царский, – день будний, что его затаскивать. Шапку прячь. А червонец пропьем!

6. «ДРУЖЕЛЮБНО УЧАША»

– Баню, баню спехом топите! – велел Петр игумну Пертоминского монастыря и, согнувшись, чтобы не удариться лбом о притолоку, вошел в низкую, теплую, душную келью.

На звоннице неистово, вперебор, весело, словно на пасху, били колокола, иноки-рыбаки стояли в монастырском дворе открыв рты, верили и не верили, что сам царь Петр Алексеевич пожаловал в их бедный, заштатный монастырь. А Александр Данилович Меншиков уже распоряжался и приказывал, как и чем потчевать государя, куда везти бревна для креста, который срубит сам Петр Алексеевич в ознаменование своего чудесного спасения, где быть царской спальне, куда разместить намокших и продрогших свитских. Бояре постарше умильно молились на паперти монастырского храма, прикладывались к каменным ступеням, крестились, рыдая счастливыми слезами, ругали напуганного монастырского ктитора, что нет в монастыре дорогих ослопных свечей...

В море попрежнему свистел ветер, вздымал пенные черные валы, волны тяжело ухали, разбиваясь о берег. Серые тучи быстро неслись по небу, иногда вдруг проливался короткий

ливень, потом небо вновь очищалось, светлело...

Старенький инок с детским взглядом голубых глаз поклонился Иевлеву и Апраксину, повел за собою в келью на отдых. Здесь, на широкой лавке, укрывшись кафтаном, положив голову на дорожную подушку, спал человек крепким молодым сном...

– Кто таков? – спросил Апраксин инока.

Инок не успел ответить, Сильвестр Петрович узнал князя Андрея Яковлевича Хилкова, весело тряхнул его за плечи, велел вставать. Хилков сонным взглядом долго смотрел на Иевлева, потом воскликнул:

– Мореплаватель достославный?

И вскочил с лавки, радуясь нечаянной встрече.

– Ужели морем пришли?

– Морем! – сказал Иевлев. – А ты-то как, князюшка?

Хилков, натягивая кафтан и застегиваясь, коротко рассказал, что ездит уже долгое время по монастырям, читает летописи, списывает с некоторых, наиболее интересных, копии для Родиона Кирилловича Полуектова. Позабыв расчесать волосы, не обувшись, вытащил из-под лавки, на которой спал, кованный железом сундучок, открыл репчатый, круглый, хитрой работы замочек и выложил на дубовый стол груды мелко исписанных листов. Апраксин протянул было руку, Хилков весь словно ошетинился, попросил:

– Ты, Федор Матвеевич, для ради бога, сначала обсушись. Вон с тебя вода так и льет...

Апраксин усмехнулся – больно мил показался Андрей Яковлевич со своей боязнью, что испортят его драгоценные листы...

– Поверишь ли, Сильвестр Петрович, – горячо и радостно говорил Хилков, – рука правая занемела от писания. От самого плеча ровно бы чужая. Бумага кончилась, едва у соловецкого игумна выпросил. Нынче опять кончилась. Не дадите ли хоть малую толику...

И, не слушая ответа, вновь перебирал свои листы, читая и рассказывая о том, как в Соловецком монастыре отыскалась летопись всеми позабытая – вот из сей летописи некоторые замечательные истории...

За окошком, на воле, опять стемнело; Хилков высек огня, зажег свечу в дорожном подсвечнике, стал читать о шведском стоянии под Псковом, о геройстве воевод Морозова, Бутурлина и Гагарина, о том, как пришел конец приводцу шведскому Эверту Горну, убитому славными русскими людьми. Апраксин переодевался в углу кельи, но слушал внимательно, Сильвестр Петрович тихонько попыхивал трубочкой. Андрей Яковлевич читал мерным голосом, спокойно, как того требовали строки древнего летописца, но левая рука его от внутреннего волнения часто сжималась в кулак, и было видно, как горячо сочувствует он осажденным псковичанам и как радуется их подвигу.

Без стука вошел Александр Данилович, заругался, что не идут к ужину, но Апраксин погрозил ему кулаком, он смолк. Хилков читал другой лист о Новгороде, о том, как шведы грабили церкви и ставили на правож честных людей доброго имени, как было горько отдать шведам русские города Иван-город, Ям, Копорье, Орешек. Меншиков сердито закашлял, засопел носом, сказал, что лучше водку пить, нежели эдакую печаль слушать.

– Государь попарился? – спросил Апраксин.

– Уже какое время с кормщиками беседует...

Хилков удивился – ужели Петр Алексеевич здесь? Александр Данилович захохотал, затряс головой – ну и чудной человек князенька, за своими листами государя не заметил...

В монастырской трапезной горели свечи, монахов не было ни одного. Петр, с глянцевитым после бани лицом, с мокрыми, круто вьющимися волосами, без кафтана, с трубкой в руке, улыбаясь ходил по скрипящим половицам, вздергивая плечом, слушал рассказ Рябова о поморских плаваниях. Хилков низко поклонился, Петр вдруг весело ему подмигнул и погрозил пальцем, чтобы не мешал слушать. Рябов не торопясь, тоже с улыбкой рассказывал:

– Идем, допустим, без ветра, по реке вниз. Зачем об стреже, об фарватере, как ты изволишь говорить, думать? Ну, лесину и привязываем к лодье – сосенку али елочку. Она

легонькая, ее и несет как надо – стрежем впереди лодьи, а наше дело только от мелей шестами отпихиваться...

Петр засмеялся:

– Ну, хитрецы, ну, молодцы! Еще что удумали?

– Много, государь, разве все перескажешь? Еще ворвань...

– Что за ворвань?

– А жир, государь, тюлений али нерпичий. Мы, как в море идем, бочки имеем с жиром. Ударит буря-непогода, мы ворвань из бочек – в мешки готовы перелить и ждем худого часу. Как молиться время придет, отходную себе петь, мы с тем пением мешки – в воду на веревках. Жир волнение и стихает...

Антип Тимофеев, красный от выпитой водки, степенно оглаживая бороду, кивал – верно-де, делаем, бывает. Дед Федор тоже кивал. Испанец дель Роблес, оглядывая стол исподлобья, несколько раз порывался вмешаться, но его не слушали. Наконец, с трудом выбирая русские слова и перемешивая их с немецкими и английскими, он сказал, что русским пора перестать строить плоскодонные суда, такие суда никуда не годятся, они валкие и плохо управляются на волне. Рябов нахмурился и насмешливо ответил:

– Килевой корабль дело доброе, да не для всякой работы. На килевом по нашему следу за плоскодонкой не вдруг пойдешь. Килевой корабль особую гавань требует, а мы от взводня везде укроемся и перезимуем где бог пошлет. Осадка у нас малая, мы к любому берегу подойдем. Как прижмет во льдах, мы свое плоскодонное суденышко и на льдину вытащим воротом, а с килевым бы пропали. И осушка нам при отливе не страшна, а килевой обсох – и все тут. Учат все учителя, а сами только по нашему следу и ходят...

– Учиться-то есть чему! – оборвал его Петр. – Больно головы задирать мы мастаки...

– Коли есть – нам не помеха, – спокойно сказал Рябов, – а вот, государь, коли-ежели и учитель ничего не смыслит...

Петр стукнул чубуком по столу:

– Рассуждать поспеем. Дело сказывай!

– Дело так дело. Давеча сей мореплаватель смеялся, что-де мы, поморы, свои суда вицей шьем, гвоздя не имеем. Да наши кочи, да лодьи, да карбасы, вицей шитые, там ходят, господин корабельщик, где вы и во сне не видывали бывать. Судно во льдах расшаталось, гвоздь выскочил, еще течи прибавлено. А вица от воды разбухает, от нее течи никогда не будет...

Испанец молчал, надменно поглядывая на Рябова, рыбаки посмеивались в бороды, – задал кормщик иноземцам жару, нечего и ответить...

В наступившей тишине вдруг раздался спокойный голос Хилкова, словно бы размышляющего вслух:

– Так, государь, сей кормщик верно говорит. По весне был я в Соловецкой обители, и архимандрит оной Фирс дал мне список жития Варлаама Керетского, древней летописи пятнадцатого века...

Петр с удивлением посмотрел на Хилкова, словно увидел его впервые, спросил резко:

– Что за Варлаам? О чем толкуешь?

– О летописи Керетского, государь, где сказано так, что я накрепко запомнил и мыслю – всем твоим корабельщикам сии слова летописи навечно надо знать...

Голос Хилкова зазвенел, лицо вспыхнуло, с твердостью и силой он произнес:

– Сказано летописцем Керетским: «но и род его хожаша в варяги, доспеваша им суда на ту их потребу морскую, и тому судовому художеству дружелюбно учаша»... Не нас варяги, но мы их учили суда для морского хождения строить.

И Хилков повторил:

– Дружелюбно учаша!

Лицо Петра смягчилось, он взглянул прямо в глаза Андрею Яковлевичу, произнес с неожиданной грустью в голосе:

– Дружелюбно учаша. Славные слова! Ладно сказано!

И, опершись рукою на плечо Патрика Гордона, еще раз повторил:

– Слышите ли, господин генерал и адмирал и еще кто вы у нас, запомятовал. Слышите? Дружелюбно учаша. За то и пить нынче будем... Наливайте всем, да не скупитесь, господин Гордон!

К утру в трапезной монастыря остались Петр, Апраксин, Меншиков, Гордон, Воронин, Иевлев и Хилков. Морского дела старателей, уставших в бурю, сморил крепкий сон. Антип Тимофеев, напившись, стал срамословить, Рябов его увел. Бояре давно храпели в душных монастырских келейках, во сне стонали, вскрикивали, видели себя потонувшими в пучине морской. Испанец дель Роблес, сунув полуштоф водки в карман кафтана, ушел спать на яхту...

Шторм в море стал еще злее, соленый ветер дул с силой урагана, колокола на звоннице звонили сами по себе от ударов бури. А в трапезной было тихо, тепло, все сидели в одном углу, руками с одного блюда ели свежую жареную палтусину и спорили, перебивая друг друга.

– А и врешь, Андрей Яковлевич, княжий сын! – вытирая руки о камзол, говорил Петр Хилкову. – Врешь, друг разлюбезный! Что твои попы? Чему они научат? Стой, дай сказать! Писанию научат, да не о том речь...

– Моряки нам нужны вот как! – твердо и резко сказал Апраксин. – Навигаторы!

Петр отмахнулся:

– Погоди ты с навигаторами! Ни о чем не слушает, кроме как о навигаторах, человек, божья душа. Многое иное нам не менее надобно: художества воинские, Марсовы, пушки добрые, корабли строить надобно килевые, военные, науки математические тож знать. Отойди, Патрик, не мешай!

– Русский человек все может, – наваливаясь грудью на плечо царя, сказал Гордон. – Я вижу, да, я знаю. Школу надо, очень хорошую иметь школу. Я видел под Кожуховым, я каждый день вижу, о, Питер, я видел все. Я знаю...

Петр засмеялся, оттолкнул Гордона, сказал ласково:

– Спать тебе пора, господин генерал. Уведите его соснуть, ребята...

Но Гордон не дался Меншикову, запел старую шотландскую песню. Его не слушали. Федор Матвеевич говорил, постукивая ребром ладони по столу:

– Нынче, да и во все дни, что в Архангельске проведены, ты, государь, изволил видеть, каковы поморцы морские пахари. Школу для них навигаторскую – и не найти моряков лучше...

– Все тебе моряки и моряки, свет на них клином сошелся! – сказал Петр. – Об ином толкуем. О том думаем, какой великий прибыток быть может государству, коли люди, подобные тем, что с нами на яхте матросами шли, истинные знания получают. Такая школа надобна, чтобы какой человек ни пришел – сам бы в ней остался учиться и с прилежанием бы ею пользовался. Как же сии школы делать? Как? Школы, чтобы докторское, врачевательское искусство там учили, чтобы фортификацию, и рудное дело, и как железо выплавлять, и строение домов, и крепостей строение. Что молчишь, господа совет, консилиум? Замолчали?

Меншиков ответил невесело:

– А что мы, Петр Алексеевич, сказать можем? Чему сами учены? Псалтырь да Часослов? Веди-он – во, бу-ки-рцы-аз – бра?

Иевлев и Хилков засмеялись, Александр Данилович очень уж похоже показал, как читают школяры. Петр улыбнулся, набивая трубку душистым табаком.

– Часы знаем, молитвы – подвечерицу, полунощницу, утреню да тропари праздничные? Господа совет, консилиум! Моя-то школа, сам ведаешь, какова – на конюшне недоуздом учен, да в обжорном ряду тумакими. Сильвестр Петрович чему сам набрался – тому и рад. Господин Апраксин Федор Матвеевич много ли наук постиг за воеводство за свое? Поставлен воеводою, а по ночам сидит, мучается, субстракция да мультипликация, а что оно такое – градусы те на астробии?

– Погоди, Александр Данилович! – всердцах сказал Апраксин. – Градусы нынче все ведают. Я, государь, иным часом и вовсе тут голову набекрень свихну. Сам суди. Давеча в зиму прислал мне Александр Данилович от Москвы список науки, геометрия называемой. Ночи здесь длинные, свечи зажгу, сижу, думаю. Ничего понять, государь, нельзя. С писатель, что список списывал, сам об геометрии понимания никакого не имеет начисто, ошибок натворил. Другой писатель еще более первого, а третий и вовсе нивесть что списал. Им – хаханьки, а нам – учись. За вчерашнюю ночь в Архангельске мы с Сильвестром сам-друг до третьих петухов сидели – у него один список, у меня другой. Догадывались.

– Догадались? – смеясь, спросил Петр.

– Веселого-то немного! – ответил Апраксин.

– Голова, государь, пухнет, ей-ей! – вмешался Иевлев. – Книги надобны, да много, типографии, дабы печатные книги были!..

– Куранты надо! – из своего угла сказал Патрик Гордон. – Каждый день.

– Какие еще куранты? – сердито спросил Меншиков.

– Большой бумага. Большой бумага...

– Большая! – поправил Апраксин.

– Большая, – согласился Гордон. – Вот! – Он показал руками, какая должна быть бумага. – И на нем различные новости. Например, король дал аудиенцию послу или принцу, или министру иностранного двора. Военное сражение. Или, например, в Москве имелась гроза и буря. И пожар...

Меншиков сплюнул, сказал:

– Тьфу, еще накликаешь!

– Куранты – суть ведомости! – догадался Апраксин. – Дело доброе...

– Что ж! – сказал Петр. – Верно, дело доброе...

С трубкой в зубах он ходил по трапезной, говорил утешающе:

– Будет, с прошествием времени все будет. А что многотрудно нам, то как иначе? Аз грешный – много ли знаю? Вот Хилков нынче листы рассказывал, что отыскал в Соловецкой обители. Слушал я, слушал, со всем вниманием. И нынче те листы читать буду. Лоцию беломорскую кому читать, как не нам? Ох, работы нам, други мои, ох, дел, и не перечесть сколь много. Одно и утешение – не стары еще, а, господа совет?

– Да не так уж и молоды, – ответил самый молодой – Яким Воронин: ему в воскресенье стукнул двадцать один год. – Не ребятишки уж, государь...

– Поди-ка, огня подай, старче! – велел Петр, усмехнувшись, и, раскурив трубку от уголька, велел всем спать.

Когда выходили из трапезной, Хилков негромко попросил:

– Государь, Петр Алексеевич, не вели мне за море ехать с посольством, бью челом, оставь книгу замысленную написать. То жизнь мне – сия книга...

Петр остановился на ветру, нахмурился:

– «Ядро»?

– Так, Петр Алексеевич...

Царь еще более нахмурился, брови его совсем сошлись над переносицей, заговорил поучительно:

– Апраксин Федор Матвеевич – моряк отменный, море ему более жизни дорого, однако ж мы поставили его воеводою в Архангельске. И справляется, несет службу примерно. Якимка Воронин в прошлые времена бит бывал нами нещадно – в вотчину просился, однако ж стал мореходом...

Хилков молчал, опустив голову.

– Меншиков Александр Данилович слезами бывало плачет, от дела отбивается, что-де темен. Однако работает, справляется. Гисторию писать – добро задумал, а кто в Швецию поедет? Нам послы с головами надобны, а не квашня, не бабы, не мякина...

Андрей Яковлевич еще ниже опустил голову. Петр сказал мягче:

– Там и писать свою гисторию будешь. Кому и ехать, как не тебе? Знаешь

старопрежние времена, голова не глупа, честь России не посрамишь. Да еще и ехать-то не завтра, до отъезда много успеешь...

Хилков поклонился, пошел к себе.

– Ну? – спросил Сильвестр Петрович.

– Ехать! – сказал Хилков.

– Ну и добро! – лежа на лавке, отозвался Апраксин. – Кем ехать-то?

Андрей Яковлевич сказал со вздохом:

– Резидентом, а на поверку – послом!

– Ты? Послом?

– Послом! – кивнул Хилков.

– Да тебе сколько годов-то?

– Двадцать три.

Апраксин засмеялся.

– Ну, дела! Посол в двадцать три года. Велика тебе честь, Андрей Яковлевич...

Хилков разделся, еще раз вздохнул, лег на свою лавку. Попрежнему свистел морской ветер, выл в трубе, шатал стены келии. Сильвестр Петрович, сидя за столом, быстро писал:

«Свет мой, радость очей моих, голубонька Машенька. Сей лист пишу тебе из обители, поименованной – Пертоминская. Ты бы нас в сии поры не признала – работаем без отдыху и, грех вымолвить, без молитвы. Солью морской изрядно поизъедены, лики наши облупились, руки саднит. Об тебе, голубонька моя, думаю денно и нощно. Государь наш, Петр Алексеевич, в добром здравии, многое доброе будет в недалекие дни его соизволением на Руси поделано, а люди здесь еще получше, чем я тебе и Родиону Кирилловичу рассказывал. Покуда все еще шутим, да и дело меж шутками делаем. Охота у государя нашего к морю превеликая, да и мы не те ныне, что на Переяславле-Залесском в допрежние времена играли. Свет мой, Машенька! Горько мое житьишко без тебя, сударушка добрая. И что за участь с молодою женою нисколько не видеться, да, знать, на роду мне так написано. Когда мы все к Москве вернемся – того не знаю. Огорчать тебя, душечка, не хочу, но может статься, что мне повелят быть в городе Архангельском при корабельном строении в помощь Федору Матвеевичу. Тогда и ты ко мне прибудешь, надеюсь на сие непрестанно. Кланяюсь я низко тебе, лапушке моей, и еще дядюшке Родиону Кирилловичу, сохрани его господь в добром здравии. Скажи ему, Машенька-сударушка, что здешней обители монаси так обленились на тихом своем житии, что в церкву – и в ту не ходят, а говорят богомольцам: “Вы идите, молитесь, мы же сами не пойдем, наше дело позвонить, а за нас, за праведных, ангелы на небеси молятся...”»

За то государь много над ними смеялся, а потом маненько игумна постращал, что-де за сие тунеядство повелит монасей забрать в стрельцы...»

Сильвестр Петрович дописал, запечатал письмо перстнем, лег на лавку – соснуть хоть часок, – царь Петр Алексеевич посулил разбудить скоро.

Но соснуть не удалось вовсе.

За стеною, где должно было опочивать Меншикову, грохнула дверь, раздался бешеный голос Петра:

– Ты что же, песий сын, творишь? Ты что...

Было слышно, как Александр Данилович свалился с лавки, как куда-то поволок его Петр, как Меншиков причитал над самим собою:

– Ой, пропала головушка, ой, виноват, ой, Петр Алексеевич, милостивец, все отдам, все, в поясе оно у меня...

Раздалось несколько частых ударов, по кельям пронесся вопль Меншикова. Апраксин сел на скамье, прислушался, спросил быстрым шепотом:

– Данилыча?

– Его, – ответил Иевлев.

– Так я и давеча думал, – со вздохом сказал Апраксин. – Мы сюда пошли, а его во дворе игумен дожидался. Он к нему возьми и юркни...

Сильвестр Петрович болезненно поморщился. Хилков тоже проснулся и спрашивал, что случилось. Меншиков выл, но чувствовалось, что делает он это не столько от боли, сколько бережась дальнейшего. Петр хрипло крикнул за стеною:

– Моим царевым именем? На государевы нужды? Тать денной, да как ты смеешь?

Опять посыпались удары, Меншиков взвизгнул, послышались шаги Петра, царь ушел. Иевлев хотел было пойти к Александру Данилычу, но тот, плача и сморкаясь, вошел сам.

– Ну откудова он сведал? – с порога спросил Меншиков. – Откудова? С проклятущим сим игумном мы вдвоем только и были...

– Водички попей! – сказал Апраксин.

– Иди ты с водичкой-то! И денег всего ничего взял, монастырь вшивый, что у них есть, а он сведал...

– Отобрал? – не в силах не улыбаться спросил Апраксин.

– А то мне оставил. И с поясом вместе отобрал...

Меншиков сел, стал щупать себя – целы ли ребра. Ребра были целы. Тогда он сказал с угрозой:

– Мое от меня не уйдет. В Архангельске разочтемся. Умен больно. Пояс-то мой!

И ушел спать, хлопнув дверью, словно Иевлев, Апраксин и Хилков были в чем-то виноваты.

7. ДЫШИТ МОРЕ

Весь день и всю следующую ночь в монастыре пировали по случаю чудесного избавления от гибели в морской пучине. Монахи палили из пушки, таскали в трапезную ставленные монастырские меда, жареную треску на деревянных блюдах, моченые в уксусе молоко. С яхты было видно, как царь со своими приближенными пошел смотреть монастырскую солеварню, как вернулся и, взяв в руки топор, принялся обтесывать бревна для креста, как монахи и свитские водрузили крест на скале...

– Ишь каков мужик непоседлив, царь-от! – сказал дед Федор. – Все ему надо знать, всюду сам пойдет. Давеча с монахами завелся – как-де треску солят, да как-де ее ловят, да как-де сало топят...

Антип смотрел на берег хмуро, с похмелья болела голова, было обидно, что ночью Рябов вывел его из монастырской трапезной.

– Без всякого без почтения! – попенял он кормщика. – Я было уж и простил тебя, непутевого, а ты меня – за загривок. Я помню, я хоть и хмельной был, да помню...

Семисадов принес с берега от монахов меда и трески, матросы на яхте сели ужинать. За едою Антип объявил рыбакам:

– Простил я Ваньку-то! Не для него, клятого, для Тайки. Чего мыкаться по чужим-то дворам? Не гоже. Не тот у меня достаток, чтобы на них не хватило. Ну, работать будет Ванька-то, не посидит сложа лапища. Я стар уже, годы мои преклонные, наработался. И кости болят от погоды. Как сырость али взводень разыграется – смертушка. Лежать стану на печи, а Ванька пусть хозяйствует. Людей нанимать, покрутчиков, на тряску в лодье сходить, посмотреть, как на меня народишко работает, рыбку на ярмарке продать...

– Ты об чем толкуешь, батюшка? – спросил Рябов.

– Об тебе и толкую. Будешь при моем хозяйстве. Денег, слава богу, скопил, не нищий человек, не побирушка тесть у тебя. Наймешь покрутчиков, рыбку у них примешь, продашь ее...

Рябов усмехнулся, обветренное лицо его стало недобрим.

– Я-то?

– Вестимо, ты!

– Уволь, батюшка.

– Велика честь, что ли? Недостоин? – осклабился Антип. – Совесть в тебе не позволяет! Уводом увел девку, а я простил? Так, что ли?

Рыбаки-матросы царевой яхты молчали, поглядывали то на Антипа, то на Рябова.

– Уволь, батюшка, – опять сказал Рябов. – Не пойду я к тебе в приказчики.

Антип поморгал, не понимая.

– Не пойду, и весь мой сказ! – громче, круто произнес Рябов. – Не надобно мне ни чести твоей, ни прощения от тебя. Не был я никогда и не буду живоглотом, за лодьи да за снасти, что рыбацким потом достались, еще три шкуры драть. Сам я себе хозяин, сам себе и покрутчик...

Антип встал на ноги, сжал кулак, заругался черными словами. Семисадов и дед Федор повисли у него на плечах, оттерли подальше от Рябова. Тот стоял спокойно, потом не торопясь повернулся, сошел на берег. Антип кричал ему вслед бранные слова, кормщик не оборачивался.

– Я-то – живоглот? – спрашивал Антип в ярости. – Я? А? Я ему прощение, а он мне что? Ну, тать, ну, шиш, ну, лапотник, попомнишь...

Рыбаки молчали, переглядывались, пересмеивались. К вечеру Антип совсем расхотелся, топал на рыбаков ногами, кричал, что скрутит всех в бараний рог, что никто не смеет ему перечить, он самим царем обласкан и теперь в такую силу взойдет, что все только ахнут. Дед Федор попытался было его укротить, он пнул старика сапогом. Тогда Семисадов сказал со вздохом:

– Иди, Антип, ляжь, отдохни. Напился пьян и шумишь. А ты перед Иваном-то Савватеевичем – мелочь мелкая... Иди, иди, а то я и рассердиться могу...

В сумерки дед Федор, Семисадов, Рябов собрались в мозглой, холодной царевой каюте, зажгли свечу, стали разглядывать оставленные испанцем дель Роблесом морские карты и чертежи. Рябов, неумело держа в пальцах гусиное перо, обмакнул его в чернильницу, подумал, провел жирную черту там, где должен был быть по-настоящему Летний берег.

– Ишь ты, какой смелый! – сказал дед Федор.

– Хожено здесь перехожено! – ответил Рябов и, высунув кончик языка, старательно подправил было черту, но с пера вдруг густо капнули чернила и растеклись по карте.

Дед Федор засмеялся, засмеялся и Семисадов, Рябов с досадой швырнул перо в сторону. Дед Федор потянул к себе другую карту – Беломорское горло, стал рассказывать, что сколь ни бывал там, ни единого разу не видел в горле сплошного льда, и без ветра тоже там не случалось. Семисадов заспорил, дед Федор обиделся:

– Молод еще мне перечить. Экой отыскался!

Сверху по палубе раздались шаги, кто-то быстро спускался в каюту. Рыбаки обернулись – Иевлев, веселый, ясноглазый, стоял в дверях. Медленно подошел к столу, сел, поглядел на карты, компас, пытливо всмотрелся в глаза Рябова...

– Словно и впрямь мореходы ученые. Об чем разговор?

– Мало ли, – сказал Рябов. – Отоспались, вот и чешем языки.

Иевлев отворил сундук в царевой каюте, достал обернутую в тряпицу книгу, что взял Рябов у вдовы деда Мокия.

– Кому занадобилось? – спросил кормщик.

– Государь требует.

Рябов усмехнулся, разгладил бороду:

– Приглянулось Петру Алексеевичу морюшко наше. Дышит ему...

– Это как – дышит? – спросил Иевлев.

– А так, Сильвестр Петрович, дышит, манит, зовет, значит. Выходи, дескать, морского дела старатель, пора, мол, стоскуешься без меня...

Лицо кормщика стало серьезным, почти суровым.

– Слышь? – сказал он Иевлеву. – Разгулялось нонче...

Сквозь однообразное поскрипывание – борт яхты терся о сваи причала – Сильвестр Петрович ясно услышал мощный грохот волн.

– Слышь?

Сильвестр Петрович кивнул.

– Ругаешься на него, как застигнет тебя в пути бурей, мучаешься с ним, а манит, распроклятое! – вновь заговорил Рябов. – Одному человеку хоть бы что! Послушает да пойдет. А другому – ох, не уйти от него. Вот и на тебя я гляжу – манит и тебя, а? Верно?

Он засмеялся раскатисто:

– Трудно вам будет, ребята, обывкать. С малолетства-то куда легче, а когда в возраст войдешь – труднее. Мы, здешние, все – с малолетства, а вы мужики – ишь вымахали, а в море впервой хаживаете.

– Привыкнут! – сказал дед Федор. – Я одного знал – годов двадцать ему было, – только впервой море увидел, с Вологды он, вологодский. Ничего, и посейчас плавает... Конечно, не больно ладный мореход, наживщиком ходит, дальше не пошел. Недурен, а робок...

Сильвестр Петрович улыбался, слушал молча. Потом, полистав книгу, сказал задумчиво:

– Деды ваши плавали, отцы плавали, сами вы всю жизни в море. Есть у вас от дедов и прадедов великая книга морского хождения. Надобно нам, братцы, собрать вместе все, что наплавано, начерчено, записано российскими морскими пахарями. Запишем вместе в книгу, будет у нас все, что понадобится для морского хождения в сих водах...

– Учить нас будешь, что ли? – спросил дед Федор.

– Учить? – удивился Иевлев, задумчиво покачал головою. – Нет, дедуля, не мне вас учить. Знаю мало, а что знаю, то покуда девать мне некуда. Узнаю поболее – может, оно и сгодится вам, а нынче не мне вас учить, а вам меня. Нет и не может быть морехода истинного без опыта всего, что знаете вы. Для того буду учиться у вас искусству вашему и вам, может, сгожусь. Возьмете в ученики?

– В зуйки? – широко улыбнулся Рябов. – Что ж, дединька? Возьмем?

– Давай возьмем! – добродушно согласился дед Федор. – Только ты уж, Сильвестр Петрович, не погневайся, коли маненько и попадет когда. У нас запросто: торок ударит, толковать некогда, всердцах – и по уху, и по чему попало бьем, горячим, значит, чтобы побойчее справлялся...

– Не погневаюсь!

На палубе постояли, послушали море. Дед Федор, назидательно подняв корявый палец, говорил:

– Не стоит оно без перемены-то, а живет, не мертвое оно, как, допустим, камень али бревно, а живое, вроде как мы, человеки. Оттого и говорят, как про человека, – дышит, дескать. Мы – люди, человечки божьи, живем скоро, поспешаем, дышим часто, оттого и короток наш век. А море-то вечное, и дышит оно редко. Вон грудь-то морская, богатырская, куда глаз ни кинь – море-моряшко. И когда начинает грудь морская вздох свой, мы говорим – прибывает вода. Так, Иван Савватеевич?

Рябов молча кивнул. Лицо его в сумраке белой ночи казалось грустным...

– Поднимается лоно морское, – говорил дед Федор, – дышит и реки наполняет вздохами своими. Наполнив же реки, моряшко словно бы отдыхает. Тогда мы говорим: «Задумалось Белое, задумалось, отдыхает...» И, отдохнув, дрогнет море наше...

– Сие есть приливы и отливы, – сказал Иевлев. – Об том ведаю. Дважды в сутки бывают они, две полые воды и две малые, так ли?.. Ну, пойду я, пора, Петр Алексеевич книгу ждет...

Он пошел к скрипящим сходням, обернулся, сказал:

– Об многом еще потолкуем, господа мореходы...

– Потолковать можно! – ответил Рябов. – Отчего не потолковать. Стариков на досуге собрать надобно, они многое поведают: и то расскажут, как во льдах плавать надобно, и то, каковы приливы и отливы в горле, и о воронке с кошками... Коли и взаправду манит вас море, господа корабельщики, коли верно, что дышит вам оно, будет делу большая польза от стариков наших...

Иевлев ушел в монастырь, на шканцах появился дель Роблес, позвал русских играть с ним в кости.

– Я-то не пойду! – сказал Рябов Семисадову. – Поиграл с ним давеча, хватит, дорогая игра...

И вышел на берег – пройтись. Дед Федор шагал рядом, охал, что-де ноют ноги. Потом со вздохом пожаловался:

– А на матерой-то земле не усидеть, Ванюха. На печку бы пора, да нет: дышит оно, море, манит...

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Можно бы и песню спеть, да чтобы кого по уху не задеть.

Поговорка

1. НА ШАНЦАХ В КАРАУЛЬНОЙ БУДКЕ

Майор Джеймс более Крыковым не интересовался – знал, бывшему поручику из капралов не подняться. А капрала и замечать не для чего. Капрал ближе к солдату, нежели к офицеру...

У Афанасия Петровича под началом было всего трое таможенников да караульная будка на шанцах, на Двинском устье, – охранять город от неожиданного нападения воровских воинских людей. Никто в Архангельске воровских воинских людей не опасался, но так было заведено исстари: шанцы, на шанцах будка, при будке таможенники, над ними капрал.

Время летело незаметно. Караульщики – каждый промышлял своим ремеслом: один – Сергуньков, малый тихий и кроткий, – столярничал, поделки его забирала старуха мать, продавала в городе на рынке; другой – Алексей, постарше, – искусно плел сети для рыбаков, продавал, тем и кормил огромную семью. Третий – Евдоким Прокопьев, холмогорский косторез и великий искусник делать всякую мелкую работу, – ни единой минуты не мог сидеть без дела, и что ни делал – все ему удавалось: то начнет резать ножом деревянную посуду, полюбуется, покачает головой, отправит продать, на вырученные деньги купит дорогой заморской проволоки, начнет ту проволоку ковать, – рассказывает, видел-де сольвычегодскую цепочку из замков, хочу, мол, попробовать, может, задастся самому построить, чтобы было не хуже. Построит цепочку дивной красоты, покачает головой:

– Косо построил. К земле тянет. Взлета в ей нет!

– Какой такой взлет тебе еще понадобился?

– А такой, что сольвычегодские мужики имеют. У них покрасивее...

Про цепочку забудет, начнет расписывать ложе для кремневого ружья, пряжку, свистульки глиняные. И то не понравится, подумает, подумает – за финифть и филигрань примется, а там – обратно к дереву, глядишь, режет солонку-утицу.

– Что, Евдоким Аксенович, в обрат пошел? – спросит бывало Афанасий Петрович.

– Да, вишь ты, надумал вот иного узора. Как на ложе его ставил, на ружейное, то и придумал, а туда он мал, здесь в самый раз будет...

Иногда пели втроем. Четвертый караулил на вышке – доглядывал, не видать ли корабля. Заводил, сделав страдающее лицо, Прокопьев, вторил непременно Сергуньков. Без Сергунькова песня не заваривалась. На двинском просторе, на устье, вскрикивали чайки, посвистывал морской ветер, свободно, широко, иногда с угрозой, летела песня. Если на баре появлялся корабль, караульщик на вышке бил в било, кричал в говорную трубу:

– Парус вижу, господин капрал!

Крыков взбегал наверх – на галерею, брал подзорную трубу, всматривался:

– Один. Флаг нидерландский – Соединенных штатов. Торговать идет в прибыль господину майору.

Опять пели песню, занимаясь каждый своим делом.

Афанасий Петрович все прилежнее и настойчивее резал по кости. Теперь у него был весь потребный настоящему искуснику инструмент, были запасы моржовой кости, были краски – расцветывать кость, было чем ее отбеливать. Работа утешала его, с долотцем и шильцами в руках он мурлыкал песни, веселел, взгляд его прояснялся, точно бы забывалась тяжкая обида.

Глядя, как режет капрал Крыков, Евдоким Аксенович вздыхал:

– Подарил тебя создатель талантом, да не гоже делаешь, Афанасий Петрович. Бесей-чертей тешишь. Злые твои чучела. Вырезал бы складень, на нем угодники в гору тихонечко, легонечко шествуют, на горе во всем великолепии божественное сияние...

– Сияние? – посмеивался Крыков.

– Сияние, Афанасий Петрович...

– Что же оно тебе там засияло?

Прокопьев молчал.

– Сам-то ты, Евдоким Аксенович, того не делаешь, – говорил Крыков, – ну и меня не учи. Я, брат, ученый нынче, повидал твои сияния...

Все же однажды решил выточить угодника: точил-точил, зевал-зевал, угодник не получался. Бороденка вроде бы у деда Федора, никакого благолепия нет, рубашка посконная...

– Ты бы его, Афанасий Петрович, придел поблагообразнее, – посоветовал Прокопьев, – власяницу, на головочку куколь монаший, будет схимник, постник, подвижник...

Крыков засмеялся, сказал весело:

– Как в сказке сказывается про кота Евстафия: кому скоромно, а нам на здоровье, молвил кот Евстафий, постригшись в монахи, да приняв схиму, да съев впридачу мышку...

Угодник не получился. Крыков переточил его на рыбака, поморского дединьку. Дединька удался, да так, что таможенники только причмокивали и головами качали. После рыбака стал точить дрягиля – двинского грузчика. Когда дело подходило к концу, пришли на караулку гостевать Молчан, Ватажников да Ефим Гриднев. Из свежей рыбы, что днем наловил Евдоким Аксенович, наварили доброй ухи, по рукам пошел полштоф зелена вина.

После ушицы Прокопьев завел:

А и горе, горе – гореваньице!
А и в горе жить, не кручинну быть,
А и лыком горе подпоясалось,
Мочалами ноги изопутаны...

Пламя костра в серых сумерках ночи странно высвечивало бородатые лица Молчана, Ватажникова, Гриднева, бросало бегущие отсветы на поющего Прокопьева, на задумчивого Сергунькова. И такими сильными, такими могучими показались вдруг Афанасию Петровичу эти люди, что он подумал: «Войну с ними воевать бок о бок – не пропадешь! Нет, не пропадешь!»

Пели долго, потом, попозже, Ефим рассказал:

– Люди так сказывают, что дьяк Гусев – не видеть ему бела света – новое дело надумал: брать с рыбарей повесельные не так, как ранее, а иначе. Как рыбарь с моря вынется да к берегу подойдет, брать с него пошлину привальную али пристанную. Как в море идти, так платить ему с посудыны – отвальную али рыбную. А повесельные, как были, так им и быть...

Сергуньков охнул, покачал головой.

– Да разве ж мир даст?

– Мир, он по прозванию только что мир! – разбивая палкой головни в костре, молвил Молчан. – Мир! Токи делить тетеревиные да пожни – они мир! А когда с них шкуру драть зачнут, какой они мир...

– Но, но! – строго сказал Прокопьев. – Ты нашего Беломорья не знаешь толком. У нас

мир – дело большое. Как в складники сложатся – поди возьми их, ну-тка! Спокон веков пни вместе корчуют, из одной мисы щи хлебают – по сколько семей? Оно, брат, не так-то просто! Народишко ухватистый, даром что лишнее не болтает...

– Разные у вас тут люди! – сказал Ефим.

– Какие такие разные?

– А такие, что со всячиной. Ходили мы давеча к ярмарке бечевой суда тянуть, – кого только нет. Со всей Руси крещеной народ. И гулящих не только нас было: вольных много насчитал я, которых на торную дорогу разбойничать, зипуна добывать горе-гореваньице бросило. А более всего беглые – с пашен, от труда боярского, непосильного.

Говорили обо всем – о непомерных тяготах податей, о новом строении кораблей, о том, как будут туда сгонять людишек из окрестных селений, а может, погонят и издалека. По городу ползли слухи один другого тревожнее. Кузнец где-то вызнал, что ждут из-за моря иноземцами построенный корабль, таких кораблей будет множество, матросам на тех кораблях будет приказано переходить в поганую веру, молиться деревянным болванам, скоблить ножами рыла...

– Врет твой Кузнец! – резко сказал Крыков Молчану. – Брешет нивесть чего, а вы и уши развесили...

Прокопьев подложил в костер еще дровишек, подождал, пока хворост схватило пламя, и сказал, глядя на языки огня:

– Корабли большие строить – дело доброе. Чего тут яриться-то? Я сколь годов на шанцах провел, все бывало думаешь: и мореходы наши – поморцы смелые, и лодьи наши крепкие, легкие на ходу, и бывают в дальних землишках, а кораблями не богаты мы. К нам идут под своими флагами – и бременцы, и англичане, и еще голландцы разные, берут товар наш как похотят, а мы к ним торговать не ходим. Нет, братцы, корабли дело стоящее. Только вот туго нам будет, как погонят на верфи, оно верно... Да что об том гадать...

И завел песню:

За горою за высокою
Плачет тут девка,
Плачет тут красная,
Русская полонянка...

Допели про полонянку. Крыков заговорил, размышляя:

– Враки несет Кузнец твой, враки. Разве ж военные корабли дело не дельное? Были бы у нас тут корабли да фрегаты с пушками, с кулевринами, с абордажными командами, иначе бы жили. Негоцианты да иноземцы, что тайно товары возят, куда бы потише стали. С медведем дружись, да за топор держись, знаю я их, дьяволов, – ходят, высматривают, вынюхивают: для чего пошлину платить, когда нас голыми руками взять можно. Сами про полонянку поете, а своей выгоды не видите...

– Да леший с ними, с кораблями! – усмехнулся Молчан. – Нам что так, что эдак голову в петлю. Чего об чужом думать...

Толкнул Ватажникова в бок, что-то ему шепнул. Ватажников потянулся, так что захрустели суставы, спросил:

– Надобно ли?

– Ничего, – подбодрил Ефим Гриднев. – Они ребята свои, пусть послушают...

Ватажников повел плечами, негромко, осторожно, с оглядкою начал:

Ай, да во городе Казани
Казаки-друзи гуляли,
Выбирали атамана
Они Разина Степана...

Крыков поднял голову, беспокойно посмотрел на Молчана. Тот оглаживал бороду, глаза его поблескивали при свете костра. Прокопьев слушал, зажав руками голову, вздыхал, потом на половине сам подхватил песню. Подхватил и Сергуньков. «Знают, – подумал Крыков. – Скажи на милость – знают! А ведь покуда я поручиком был – не слышал. Или не ведал, что они знают?»

2. БЕДА ЗА БЕДОЙ

Каждый день лодейный мастер Тимофей Кочнев собирался с Иваном Кононовичем в Лодьму – на лечение и отдохновение, и каждый день с поклоном просил еще чуток пожить у бабушки Евдохи, обождать самую малость, – ведь надо же узнать, какова яхта была в дальнем морском плавании...

– Да что – один корабль ты построил, что ли? – спрашивал Иван Кононович.

Кочнев отмалчивался.

Иван Кононович читал толстые книги в кожаных переплетах с хитрыми застежками, высоким голосом пел псалмы, кормил крошками птиц, подолгу беседовал с Таисьей и бабкой Евдохой. Таисья, слушая корабельного мастера, думала о своем; длинные, словно бы всегда влажные ресницы опускались, глаза поблескивали. А однажды она вдруг ответила, да так, что у Ивана Кононовича задрожали руки.

– Пугаете вы, пугаете богом-то, – сказала она, – а зачем? Вон солнышко светит, Двина течет, вон матушка с детушкой пошла, – хорошо все как. А у вас бог злой, мучитель, бояться его, по-вашему, надобно. Для чего так, Иван Кононович?

И улыбнулась.

Вдвоем с Кочневым ждали они цареву яхту: Таисья – кормщица, мастер – свое детище. Степенно рассказывал он Таисье, сколько построил кораблей, какие они были, как спускал первый, как второй. Она слушала молча, глядела туда, откуда должен был появиться парус царева судна...

Пока сумерничали, переговариваясь медленными голосами, пришли Аггей да Егорка с Черницыным – рассказать новую беду: давеча заявился губной староста, рвать подати – кормовые да малые ямские, да большие ямские, да на палача, да на городское строение, – чем будешь платить? А нынче утром ездил по Архангельску конный человек, кричал посадским людям и гостям новый приказ: нести кормовые на цареву верфь, а которые сами не понесут, с того спрос будет короткий. Гости взвыли, тяглые людишки чешутся. Дьяк Гусев придумал рвать с рыбаков повесельные и парусные с каждого паруса и с каждого весла, да еще какие-то там отвальные да привальные...

– Куда им? – спросил Аггей. – Подавятся!

– А корабельное строение? – сурово напомнил Кочнев. – Во, нагнали мужиков на верфь – чем их кормить? Да и на каждого мужика по одному вору, а над тем воров – тать, а над тем татем – боярин. Дело нехитрое.

– Кораблей-то раз, два – и обчелся! – сказал Аггей.

– И то один баженинским иждивением, – молвил Иван Кононович.

– А верфь? А царев дворец? А пушечные потехи?

Аггей был зол, горячился:

– Иноземец вовсе город разорил, рейтарам вот кое время не плачено, таможенникам более года царское жалованье не идет, стрельцы ревмя-ревут, жрать-то всем охота...

Иван Кононович со злорадством посулил:

– Еще не так заводем, еще не те песни запоем. Вот, рассказывают, из Голландии новый корабль плывет на сорок пушек – тоже платить надо. На нем матросы-иноземцы – они ждать не станут, осердятся и назад возвратятся...

Говорили долго, до вторых петухов, и все выходило худо. Тимофей Кочнев говорил меньше других, глядел в потолок, думал, мечтал. Что это за новый корабль из Голландии? И кто его там строил? Интересно, как они нынче киль кладут? И пушки как ставят по палубам?

3. ТАЙНАЯ БЕСЕДА

Поздней ночью гости постучали условным стуком. Дес-Фонтейнес поднял голову от «Хроники Эриков», которую читал, положил трубку на край стола, с ножом в руке пошел отпираться. Псы заливисто лаяли во дворе. По светлому небу быстро бежали рваные тучи. С грохотом распахнув форточку в калитке, лекарь узнал Яна Уркварта и испанца дель Роблес.

Гости вошли в дом молча. Ян Уркварт стал греть руки у камина, дель Роблес сел в кресло. Дес-Фонтейнес поставил на стол коробку с табаком, бутылку с ликером. Испанец перелистывал хронику. Вышитая закладка обозначала страницу, на которой остановился лекарь: сражение между – шведами и русскими в давние времена на реке Неве.

– Ну? – спросил Дес-Фонтейнес.

Испанец захлопнул книгу.

– Все это не стоит и выеденного яйца! – ответил дель Роблес. – Вы находитесь в крайности, гере премьер-лейтенант. И флот – дело очень далекого будущего. Пока что это все не выходит из пределов детских игр. Да, они играют увлеченно, но это только игра, ничего больше...

Дес-Фонтейнес смотрел на испанца не мигая, острым взглядом. Испанцу сделалось не по себе от этого взгляда. Дель Роблес поежился, заговорил злее:

– Мне не следовало идти с ними, вот что. Наши карты ни черта не стоят. В самом начале путешествия я перестал быть нужным москвитам. В Пертоминском монастыре государь уже меня не замечал. А рыбаки осыпали меня насмешками...

– Значит, они сами справлялись со своей яхтой? – спросил лекарь глуховатым голосом.

– Да, гере, сами.

– Следовательно, они располагают людьми, знающими, что такое море?

Уркварт ответил раздраженно:

– Что же из этого, гере премьер-лейтенант? У них может быть много таких людей, но корабли для военного флота будут у них еще очень не скоро.

– Корабли строят люди! – сказал Дес-Фонтейнес.

– У них нет этих людей.

– У них есть эти люди, гере шхипер. У них много этих людей.

– Я не понимаю предмета нашего спора! – вспыхнул Ян Уркварт. – Каждый раз мы говорим об одном и том же! К чему?

– К тому, гере шхипер, чтобы ваши впечатления не шли вразрез с моими письмами. Многие из посещающих Московию, вернувшись в Швецию, рассказывают то, что от них желают слышать. В Швеции привыкли к победному бряцанию оружием. Судьба нам благоприятствовала. Победа под Брейтенфельдом возвела нас в степень великой державы. Мы господствуем над устьями всех рек в Германии, большая часть побережья Балтики принадлежит короне. Бремен и Верден, восточная и западная часть Померании, Троньем, Борнгольм, Скония принадлежат нам. Разумеется, трудно в такие времена думать о будущем. Нельзя медлить, гере шхипер, вот о чем я говорю.

– Медлить с чем? – спросил Уркварт.

– С экспедицией во славу короны. Город Архангельск должен быть выжжен до основания. Корабельные мастера должны быть повешены все до одного, дабы москвиты не задумывались более о своем кораблестроении. Выход в Белое море принадлежит шведской короне. Я писал об этом дважды, и мне известно, что у меня есть сторонники там, в Стокгольме. Их немного, но они есть. Будущее Швеции зависит от наших действий здесь. Еще немного – и будет поздно. Выход на Балтику в наших руках, зачем же дразнить их воображение здешними водами? Степи – вот их стихия. Пусть скачут там на своих конях и стреляют из луков. Море подвластно шведам, и никому больше...

Уркварт подошел к столу, налил себе ликеру, пригубил, почмокал языком: ликер был хорош. Испанец неподвижно сидел в кресле, вытянув ноги к огню, полузакрыв глаза. Ему

хотелось спать. Половины из того, что говорил Дес-Фонтейнес, он не понимал. Другая половина была ясна – прийти, ограбить, сжечь. Но это не так просто сделать.

– С каждым днем, гере премьер-лейтенант, вы становитесь все более решительным! – сказал Уркварт. – Экспедиция в Архангельск вызовет войну. Война с московитами дело не столь простое, как это может показаться...

– Или теперь, или никогда! – решительно сказал Дес-Фонтейнес. – Кто знает, что принесет нам следующий год? Мне известно, что они поминают Ям, Копорье, Орешек, Иван-город и поныне. Они не могут привыкнуть к тому, что у них нет Балтики.

Уркварт усмехнулся:

– Привыкнут!

Дес-Фонтейнес отвернулся от Уркварта. С ним было бессмысленно разговаривать. Он ничего не понимал, этот толстый самоуверенный офицер, с удовольствием облачившийся в платье негоцианта и забывший все ради своих барышей. С потемневшим лицом, сжав узкий рот, Дес-Фонтейнес молчал, глядя на огонь в камине. Потом спросил испанца:

– Русский государь проявлял интерес к верфям на Соловецких островах?

Дель Роблес зевнул, ответил со скукой в голосе:

– Целые дни он проводил на верфях.

– Что еще его интересовало?

– Многое, насколько я умел видеть, но более всего судостроение, гере премьер-лейтенант.

– Он часто говорил с рыбаками?

– Он проводил с ними целые дни на палубе яхты в Белом море. Они рассказывали ему и его молодым свитским о том, как следует плавать в здешних водах, и не только в здешних, но и в океане. В монастыре на Соловецких островах ему принесли старинную лоцию, написанную на дереве, на бересте...

Дес-Фонтейнес молча смотрел на испанца.

– Это плохо, это очень плохо! – наконец сказал он. – Царь Петр здесь набирает волонтеров для своего будущего флота. Чем больше здешних матросов будет на его кораблях, тем хуже для нас. Вам следовало бы, гере шхипер, рекомендовать Апраксину и другим царским приближенным набирать экипажи для будущих кораблей за границей. Чем больше наемников, тем спокойнее...

– Но наемники могут оказаться преданными московитам...

– Не часто! – в задумчивости ответил Дес-Фонтейнес. – Не часто, гере шхипер...

Проводив гостей, Дес-Фонтейнес долго смотрел на потухающие угли в камине. Лицо его ничего не выражало, кроме усталости. Потом он открыл «Хронику Эриков» и стал читать с середины:

...И заботились о лодьях и быстро бегущих судах.

Много больших мешков с деньгами

Было тогда развязано, и деньги розданы тем,

Кто должен был расстаться со своим домом

И не знал, когда вернется обратно...

4. НЕГОЦИАНТЫ РОССИЙСКИЕ

Свечи оплывали.

По крыше дворца на Мосеевом острове надоедливо и однообразно стучал дождь.

Петр сидел на лавке откинувшись, прикрыв усталые глаза, казалось, дремал, но когда Ромодановский замолчал, крикнул нетерпеливо:

– Далее говори!

Федор Юрьевич оглядел бояр, примолкнувших по своим лавкам, взял у Винуаса

оловянную кружку, хлебнул из нее. Царь сбросил тесный башмак, пожаловался:

– Душно что-то. И дождь льет непрестанно, а все душно.

Ромодановский опять заговорил. Петр слушал, томясь.

– Пожары на Москве да пожары. Нельзя более деревянные дома строить. Вот возвратимся – думать будем. Еще что?

– Поход потешный, что давеча с Гордоном на осень определен был... Как теперь? Готовиться?

– Близ Коломенского чтобы готовили... Далее что?

– Челобитная на полковника Снивина.

Петр промолчал. Федор Юрьевич стал говорить о полковнике, что-де замечен во многих скаредных и богомерзких поступках, мздоимствует бесстыдно, иноземцам во всем потакает, россиянам от него ни охнуть, ни вздохнуть.

Царь зевнул с судорогой.

– Кто пишет?

– Гости суконной сотни – Сердюков со товарищи...

– И пишут, и пишут! – потягиваясь на лавке, сказал Петр Алексеевич. – Недуг, ей-ей! Встал им иноземец поперек горла. Ладно, хватит нынче. У тебя тоже жалобы, Андрей Андреевич?

Виниус поклонился толстой шеей, лицо у него было бесстрастное, совершенно спокойное.

– Против иноземцев?

– Против, государь, так!

Петр топнул разутой ногой, волоча башмак, пошел к столу, на котором потрескивали свечи.

– Сговорились? Одно и то же с утра до ночи!

Виниус тоже крикнул:

– Ты вели прочесть, государь, а после ругайся!

И стал читать. Нарышкин, Зотов, Шеин дремали на лавке, клевали носами. Яким Воронин ножиком строгал палку; ножик был тупой, Яким то и дело со скрежетом точил его на железном гвозде.

– Да перестань ты! – вдруг гаркнул царь.

Воронин испуганно спрятал нож, на цыпочках вышел вон.

Виниус все читал. Петр недовольно морщился, но слушал внимательно. В челобитной поминалось фальшивое серебро, воровство, что чинилось иноземцами, скупка ворвани на пять лет вперед, обманы таможенных целовальников, татьба с жемчугом, смолою, пенькою и многими другими товарами, бесчинства в городе, как селятся иноземцы где захотят...

– Может, и не врут? – сказал Петр, словно бы раздумывая.

Виниус сделал на своем лице неопределенную мину: кто его знает, как бы говорил он, воля твоя, государь, тебе, небось, виднее.

Царь беспомощно, по-детски огляделся.

«В великое разорение пришли, – читал Виниус, – и подати тебе твои, великий государь, платить никак не можем, дома наши разрушены, и благолепию конец наступил, ибо тот аглицкий немец нами правит и делает чего похочет, властен над душою и животами нашими...»

– Нет, не врут! – решительно произнес Петр. – Кто пишет?

Лицо его стало злым.

Виниус твердой рукой поправил очки на толстом носу, поискал подпись.

– Гость Лыткин со товарищи, государь.

– Не врут, а как быть? – спросил Петр. – Что ж мне сих иноземцев, в толчки прогнать? Где твой Лыткин?

– Покуда на Соловки ходили – все ждал. Да не один ждал, много их тут. В ельничке обжились, харчишки себе на костре варили, народ степенный, богатей, видать...

– Зови!

Ромодановский крикнул в раскрытую настежь дверь:

– Лыткина там, гостя, со товарищи покликайте!

Петр ходил по столовому покою из конца в конец, туфель волочился за ним на ленте. Дьяк Зотов встал на колени, развязал ленту, бережно поставил цареву туфлю на лавку. Было слышно, как возле дворца испуганными голосами перекликались денщики:

– Где купцы с Вологды, с Холмогор, с Архангельска? Живыми ногами шевелись...

В двери тянуло сыростью, запахом реки, туманом...

Купцов было пятеро, все измаявшиеся ожиданием, похудевшие, грязные: сколько ночей спали в ельнике у дворца, боясь пропустить Петра Алексеевича. К такой жизни не скоро привыкнешь после перин да собольих одеял. Все пятеро поклонились в землю. Петр молча смотрел на них: они глядели не робко, злые глаза на опухших от комариных укусов лицах, злые зубы, – словно стая волков...

– Ну? – спросил Петр Алексеевич.

Лыткин вышел вперед, заговорил сурово:

– Пропадаем, великий государь...

Другие кивали, поддакивали, вздыхали. Сначала было непонятно, о чем речь, потом Лыткин осторожно спросил:

– Наслышаны мы, что замыслил ты, великий государь, строить корабли. Так ли?

Петр подался вперед, глаза у него блеснули, зажглись.

– То великая радость, государь. Дай самим возить товары за моря, послужим тебе, большой капитал сложим – тогда бери! Бери сколь надобно...

– Стой, стой! – крикнул Петр. – Повтори, что сказал? Значит, по сердцу? Любо?

– Любо! – вместе, перебивая друг друга, заговорили купцы. – Уж так-то любо! Даром товар наш идет, ваше величество, пользы не даем, какой можно. Ты вникни...

Не боясь, обступили царя, стали рассчитывать цены, показывали на пальцах сотни денег, кули, бочки, дюжины тюленьих кож... Петр слушал, кивал, потом велел подать пива, набил табаком трубку. Купцы вспотели, такого поворота дела никто не ожидал. За столом, потчюя жалобщиков, Петр велел Виниусу писать указ о первых негодантах-навигаторах, кои повезут товары свои за моря. Но когда Виниус раскрыл было рот, чтобы спросить, как ограничить в торговле иноземцев, Петр цыкнул на него и велел больше об этом не говорить. Поднял кружку, сказал весело:

– За первых российских негодантов-навигаторов, виват!

И выпил залпом.

Перед дворцом не враз рявкнули пушки, посуда на столе зазвенела. Купец Лыткин, словно закружившись от царского почета, кричал:

– Про наше здоровье из пушек палят? Да я, да господи, да разве ж я... Все отдам! Ты меня, государь-батюшка, еще не знаешь! Ты меня приблизь!

Его оттаскивали, он верещал из угла:

– Ручку облобызать! Рученьку, господи! Да я...

Поздней ночью, после петухов, появился Осип Баженин. Могучими руками отпихнув от дверей стражу с алебардами, ввалился в царев покой, столкнул с дороги гуляющих купцов, подсел к царю:

– То все пятака, ваше величество, не стоит в самую ярмарку. Разгон надо брать, да только как с людишками делается, где наберешь? Самоедины тут есть, некрещеные, велишь – нахватаю к корабельному строению и сюда, на Соломбалу, и ко мне, в Ровдинскую деревню, да на ручей на Вавчугский, – тогда дело подвинется. Да еще немчин Крафт чтобы отцепился от меня, не лалялся срамными словами...

– Ну бери, бери самоединов! – нетерпеливо сказал Петр. – Еще чего?

– Воеводе укажи про них! – попросил Баженин. – А то отъедешь, а дело мое без тебя и станет...

Петр кликнул Меншикова, велел ему звать Апраксина, Иевлева. С ними пришел

Лефорт, сонный, розовый, приветливый, сел рядом с царем, похвалил за доброе согласие с купцами, улыбался гостям, хозяйничал за столом – учтиво, вежливо. Александр Данилович Меншиков понимающе кивал на слова Лыткина, спорил с ним в углу покоя. Лыткин дивился – молод, а голова умная.

– Ну, ну, живее говори! – торопил Петр Осипа Баженина.

– Чего уж живее, Петр Алексеевич: пушки буду для кораблей сам лить, порох буду сам делать – невелика хитрость. Братец мой богоданный многим искусствам и художествам обучен – совладеет. Канаты вить зачнем, парусную снасть ткать на машинах...

Петр стиснул Баженину плечо, потряс:

– Не врешь?

Осип широко перекрестился.

– Федор Матвеевич, Сильвестр Петрович, вам здесь быть! – крикнул царь. – Бажениным братьям все делать, как скажут! Людей им давайте на верфи без сумления, самоединов, черный народ, чтобы было кому дело делать...

– Да откуда их набрать? – спросил Апраксин. – Государь Петр Алексеевич, ведь сотни народу понадобятся, да куда сотни – тысячи...

Осип Баженин вытянул шею к Апраксину, ударил кулачищем по столу так, что подпрыгнули подсвечники, заорал:

– Ты, воевода, где хочешь, там и бери работных людишек! Мне государь повелел строить! Давай народишко, хоть роди! Коли не восхотят – в цепи, кнутами гони на верфи. С тебя взыщут, с воеводы!

Федор Матвеевич ответил, бледнея:

– Ты не кричи! Не то...

– Что не то?

Купец Никешин говорил в это время Петру:

– На реке Керети, государь великий, близ деревеньки малой Чернорецкой, на Коле, государь, слюды видимо-невидимо. Они, немцы аглицкие, ее покупают у нас не по дельной цене, – сколь возжелают, столь и заплатят. Слезы, а не торговлишка. Построим корабли, сами за море слюду повезем...

Серое, сырое, безветренное утро застало гостей за грым пивом – царь, купцы, Меншиков, Лефорт, споря друг с другом, считали, что можно брать на Руси, чтобы везти за море, какие от чего надобно ждть выгоды, где быть поначалу проторям и убыткам, какую прибыль даст кораблям торговля...

– Ты погоди! – говорил Меншиков купцу Лыткину. – Погоди, господин хороший! Птичье перо для чего не считаешь? Замараться боишься? Врешь! Гагачий пух иноземец с руками оторвет. Слушай меня, голова дубовая. Меха тебе бесприменно торговать надобно – куницей, рысью, волком, росмахой. Я тебя научу. Я к тебе в долю пойду, обучу как надобно. Для чего дрянью торговать? Торговать надобно товаром добрым...

Осип Баженин ходил по столовой палате, тупо смотрел пьяными недобрыми глазами, хвалился:

– Нынче людей мне пригонят – назавтра верфь не узнаешь! То-то! И мне воевода не указ, я сам воеводу учить буду! Нынче Баженин Оська, а завтра Осип Андреевич, а еще через денек – граф али князь Баженин! Я все могу!

И пел с угрозой в голосе:

Ах, вы братцы, вы братцы мои,
Удальцы вы, братцы мои...

Погодя на карбасах и лодьях всей компанией переехали Двину, пошли смотреть ярмарку. Петр отмахнулся от свитских, отстал, спрятался в маленькой церквушке, дождался, пока и свитские и купцы пройдут мимо. Он был в короткой куртке, вроде тех, что носят иноземные матросы, шею замотал шарфом, на ремне у бедра болтался нож в чехле из рыбьей

кожи. Никто не узнавал в нем царя, только огромный его рост привлекал внимание народа. Ярмарка была в самом разгаре, иноземные негоцианты медленно прогуливались среди гор вяленой рыбы, среди бочек с ворванью, между коробами и бочонками с дорогой икрой, возле лавок, где на шестах были вывешены ценные меха. На лицах иноземцев было написано презрение, они ничего не покупали и даже цен не спрашивали, – просто прогуливались от нечего делать, сытые, спокойные, молчаливые, нелюбопытные. А русские гости зазывали их, взмахивали мехами, раздували подшерсток куницы, показывали, сколь добротен воск, какова пенька, что за дивный лен. Иноземцы шли не оборачиваясь. Калека-юродивый потянулся к ним обрубком руки, залепетал беззубым ртом. Один из аглицких немцев пнул убогого ногой в ботфорте. Баба с пирогами, покрытыми тряпицей, сунулась было к важным гостям – ее угостили плетью. Подвывая, она пошла прочь, два пирога выпали из ее лукошка в ярмарочную грязь, с перепугу торговка не подняла их. Безмолвные, ни о чем не говоря друг с другом, иноземцы шли меж рядами торгующих; их провожали взгляды, исполненные ненависти.

Петр шагал сзади, не слишком близко, но так, что видел все, видел и юродивого, видел и бабу, растерявшую пироги, видел и взоры, которыми провожали иноземцев, слышал и слова, которые летели им вслед.

В немецком Гостином дворе царь приценился к товарам, которыми торговали иноземцы: к брабантскому лазоревому цвета сукну, к красной меди в брусках, к зеркалам и к крупнозернистому пороху. Все было дорого, так дорого, что Петр сердито насупился. Выходило, что за сорок соболей можно было купить маленький брусок меди, моток ниток да кружку деревянного масла...

В густой толпе, окружившей ярмарочного скомороха, царь постоял, посмотрел: скоморох смешно показывал, как иноземец покупает овчину у русского гостя. Посадские смеялись, крутили головами, скоморох слезно причитал...

Петр улыбнулся, отошел и сразу же встретил Патрика Гордона, – тот искал хорошего трубочного табаку.

– А, Питер! – сказал Гордон. – Зачем ты здесь так рано ходишь?

– А ты зачем? – спросил Петр.

– Я имею дело.

– Ну, и я имею дело.

Они пошли дальше бок о бок. Гордон увидел табак, стал торговаться. Иноземец холодно улыбался, не уступал. Петр думал о чем-то, сдвинув брови, глядя поверх голов ярмарочного люда. Гордон наконец сторговался.

– Добрый табак купил? – спросил Петр.

– Табак хороший, но чересчур дорогой! – сказал Гордон. – Очень, слишком, чрезвычайно дорогой...

– Почему платил?

Гордон назвал цену. Петр Алексеевич выругался, заговорил громко:

– Татьба, а не торговля! Ножи, знаешь, почему? Медь, камка, ладан, я сам спрашивал! Свои цены назначили, стоят на них дружно, всем кругом. Ходят по торгу, словно идола, все наперед знают, а наши, бородатые, седые, – за ними вприскок. Эх!

Патрик молчал, попыхивая трубкой, шел медленно, смотрел невесело. Петр жаловался, глядел на Гордона с высоты своего огромного роста, дергал его за руку:

– Рвут за свои хлопоты иноземцы столь много, что диву даешься. И мы в руках у них, слышишь, Патрик, вот как в руках. Они на своих кораблях к нам ходят, а у нас кораблей нету, они хозяева над нами...

– Да, они хозяева, Питер! – сказал Гордон. – Какую цену они назначат, такую цену вы и имеете, да, Питер. Они разоряют вас и богатеют сами...

– Ничего, ничего! – с угрозой сказал Петр. – Покуда терпим... есть иные – предполагают, что и не видим мы, так оно зря: видим. Видим, да куда подашься? На дюжину недобрых иноземцев может один с умом попадется, искусник, делатель. От него польза

немалая... Погодим, Патрик...

Гордон перебил:

– Погодим, – нет! Нельзя больше погодим, Питер. Ты строишь корабли, надо строить непременно, молодец! Надо строить много кораблей. Тогда барыши будут вам, – вот как, Питер... Я еще буду говорить, слушай меня...

Гордон разговорился; беседуя, перебивая друг друга, она вышли на берег Двины, сели на бревно. Петр Алексеевич, усмехнувшись, попросил табаку набить трубку.

– Ты генерал, Патрик, – сказал он Гордону, – а мне еще до генерала далеко служить. Попотчуй меня своим генеральским табаком...

Гордон попотчевал, Петр раскурил свою трубочку, спросил как бы невзначай:

– Давеча, Патрик, как были мы в Пертоминском монастыре, поведал ты нам всем, что есть-де листы такие, куранты называемые. Будто часто, чуть не раз в неделю сии куранты печатают и многое в них полезное прочитать можно...

Сидя на бревне у самой двинской воды, долго говорили о курантах, о ценах, о торговле, о кораблях и заморских странах. Петр смотрел на серую Двину, Гордону иногда казалось, что он и не слушает. Но Петр Алексеевич слушал внимательно и думал свои думы...

Погодя, когда поднялись, чтобы идти к кораблю, царь вдруг сказал:

– Люди надобны, Патрик, многознающие, ученые, доброты нам. Да где их враз набрать?

Он сжал локоть Гордону, добавил сморщившись, с неприязнью:

– Твой-то полковник Снивин в Архангельске что творит? А? Ты упреди. Тебя жалея, до поры терплю. А не то... слышь, Патрик?

Гордон поклонился, ответил одними губами:

– Слышу, Питер. Я его предупрежу. Но, государь, сие будет напрасно. Такие люди, как полковник Снивин, должны быть повешены в назидание иным на Кукуе. Большой столб и перекладина...

– Ты что, ополоумел? – спросил царь.

– Я – нет! Я не имею желания, чтобы ты меня жалел, Питер. Вот как...

5. ТРУДНО ЧЕЛОВЕКУ ЖИТЬ!

В канун Ильина дня стало точно известно, что к двинскому устью наконец пришел долгожданный Ян Флам на своем судне. Рябов сговорил деда Игната на завтра за четыре деньги, и не торопясь, утренним холодком, Иван Кононович, Тимофей, Таисья и кормщик выплыли на Двину к Соломбале – встречать дивное судно. Таисья радостно улыбалась навстречу горячим солнечным лучам, смешно морщила нос, пела тихонечко свои милые песенки, мужики вели степенный разговор о фрегате: что на нем за пушки и верно ли, что их сорок четыре, какова оснастка, как-то будут служить здесь голландские матросы...

– То – третий корабль, – заметил Иван Кононович. – Быстро поделалось: не было и единого, а нынче три...

– Чего же быстрого, – отозвался Тимофей, всматриваясь в даль – туда, откуда должен был появиться фрегат, – разве то быстро?

Рябов, расчесывая гребенкой золотистую бороду, придерживая на двинском ветру кудри, рассказывал, как слышал беседу царя Петра с ближними боярами, когда гуляли по случаю спасения в Унской губе, возле Пертоминского монастыря. Царь тогда точно сказывал: быть на Руси флоту, и начало тому флоту строить на Архангелогородской верфи.

– То ты сам своими ушами слышал? – громко спросил Тимофей.

– Сам.

– Верно говоришь?

– Врать не обучен.

Тимофей подвигался на лавке, поморгал, облизал губы. На лице его проступило счастливое, ребячье выражение.

– Возрадовался! – насмешливо сказал Иван Кононович. – Будешь ты строить, как же! Пришлют Николса да Яна, а тебе – топорик в руки, тюкай да по зубам от них получай за учение...

Свет, вспыхнувший в глазах Тимофея Кочнева, погас, он закашлялся, сплюнул, отворотился. Таисья прижалась плечом к плечу мужа, спросила шепотом:

– Чего он его так?

– Ожесточился человек! – тихо ответил кормщик. – Думаешь, ему легко? Корабль построил, а глядит на него издали, воровским обычаем.

Рябов помолчал, уставился вдаль, в туман, откуда вынырнула вдруг черная резная морда фигуры, украшающей нос «Святого пророчества» – нового фрегата, идущего из Голландии. В это же время корабль увидели на Соломбале – на Банном, на Никольском и на Большом. С верфи со звоном ударили пушки. Баженины побежали с пальниками по палубе своей яхты – сальвировать новому кораблю; побежали пушкари и по палубам нового «Апостола Павла». Иностранные торговые корабли и конвои, словно испугавшись, что малость припоздали, ударили бортовыми батареями, мортирами, погонными пушками. В прозрачном осеннем утре над Двиною то здесь, то там отрывались от кораблей белые ватные дымки, гулко прокатывался выстрел, а с Кег-острова малиновым звоном разливались новые колокола Ильи-пророка. Чуть погодя ударил большой колокол Варваринской церкви, потом впереворот, словно на пасху, весело зазвонили в монастыре и в церкви Николы.

«Святое пророчество», фрегат со светложелтыми лакированными галфдеками, с задраным кверху ютом, с галереей, изукрашенной резными изображениями морских чудищ, со слюдяными фонарями над кормой, медленно, тяжело разворачивался на Двине, чтобы стать на оба якоря перед Мосеевым островом, с которого тоже палили царевы пушки.

– Здоровый! – сказал Кочнев.

– Щеки до чего преогромные! – заметил Иван Кононович.

– Богов-то надо было об чего-то упереть – вот и щеки тебе.

– Богов много понатыкано! – покачал головой Рябов.

– С такими богами тонуть первое дело, – усмехнулся старый корабельный мастер. – Надо же понатыкать!

– А паруса пузатые! – пришепетывая, сказал дед Игнат. – Вишь, вздулись...

– Почем за него плачено, не знаешь? – спросил Тимофей Рябова.

– Одиннадцать тысяч ефимков будто бы, – молвил Рябов.

Кочнев присвистнул, Иван Кононович засмеялся в бороду.

– Оно на рубли-то сколько потянет? Одну тысячу двести? – Он ткнул Тимофея кулаком в бок, трубно захохотал. – А, Тимоха? Мой-то «Павел» едва не четыреста стоил со всем с обряжением. А получше будет...

– На твоём богов мало! – ответил Тимофей. – Твой одну только морду всего и имеет, какой же он корабль...

– Будет вам языки точить! – тоже посмеиваясь, сказал Рябов. – Умницы какие!

На берегу между тем били в тулумбасы, играла рожечная музыка – бояре и князья с почетом и уважением встречали иноземных моряков. Из Игнатовой посуды было видно: царевы свитские катили к берегу бочки – угощать; повара волокли оловянные и медные блюда с закусками, несколько шлюпок сновали между пристанью и вставшим на якорь фрегатом. Каждого матроса, выходившего на берег, царь обнимал и быстро целовал, а когда из шлюпки поднялся по сходням капитан Ян Флам – царь, улыбаясь, долго держал его за локти, вглядывался в лицо, потом прижал к себе – один раз, еще раз и еще.

– Во! – сказал Рябов. – Видали, мужики?

– Отчего оно так? – опять спросила Таисья.

– Отчего да отчего! – отмахнулся Рябов. – Повелось так на нашей на матушке-земле...

Вздыхнул, улыбнулся и приказал:

– Подничать давай, пускай иноземные матросы нам завидуют...

Встали у бережка, разложили шанежки, жареную палтусину, луковки. Дед Игнат

легкими ногами, обутыми в кожаные морщины, побежал в кружало, где под дверью с бараньим черепом уже дрались голландцы, купил полштоф, вернулся обратно, рассказал:

– Нынче в городе себя покажут господа иноземные мореходы. Едва на твердь господню ступили – в кровище...

Рябов разлил по кружкам, задумался, потом негромко промолвил:

– А все же... три корабля. И все с пушками...

– Тебе-то прибыль велика! – сладко глядя на водку, ответил Игнат. – Не ты товары за море повезешь...

Поблизости остановилась лодчонка. Из нее выскочил Крыков, совсем худой, с землистым лицом. Подошел, присел в карбасе на лавочку, пригубил водки, закусил шанежкой.

– Чего на божьем свете слышать? – спросил Рябов.

– Вести хорошие, – ответил Крыков, – никто с тем делом справиться не может, так моим таможенным солдатам поручили: оброки будем теперь с вашего брата рвать. Повесельные и парусные, не слыхивал? А который не заплатит до барабанного бою – на государеву верфь, зачет – шесть денег за день...

– А ежели у меня, к примеру, ни весла, ни паруса? – спросил Рябов.

– Карбас монастырский потопленный – за тобой, – ответил Крыков, – дело простое.

– Очумели они?

Крыков усмехнулся, словно оскалился, посмотрел невесело в кружку, где солнце играло в мутножелтой кабацкой сивухе, сморщился и выпил.

– Цветочки еще! – угрюмо сказал Иван Кононович. – Ягодок ждите...

Закусив еще, послушали музыку на новом корабле и, расталкивая носом карбаса другие лоды и посудинки любопытных архангелогородцев, отправились восвояси.

Дома бабка Евдоха пекла пироги, жарила говядину, толкла чеснок на подливу. Поправляя сбившийся платок, сказала:

– И чего оно такое деется? Ранее, молода жила, что ем – добро. А нынче – то пирожка захочу, то мяска, то лапшевника с курятиной. Ох, пора костям и на место...

Рябов ухмыльнулся на старухины малые хитрости: как он с моря вернулся, так она его и потчует с молодой женой-то – послаще, пожирнее. Знает, что беден рыбак, словно церковная мышь, вот и хитрит, будто для себя старается.

Сели за стол, за чистую скатерть, Крыков спросил:

– Кормщик, как жить станешь?

Рябов поиграл ложкой, положил ее, погладил ладонью и тоже спросил:

– Ты об чем, Афанасий Петрович?

– О том – чего хлебать будешь, – объяснил Крыков. – Царь на Москву подастся, в монастырские служники тебе путь навеки закрыт. Лоцманом много ли заработаешь? А ныне – осень, зима наша студеная, кровли над головой у тебя нету, рыба не наловлена, зверь не настрелян, молода жена, я чай, для холодов и рухлядишки никакой не имеет...

Таисья порозовела, опустила глаза.

– Заботы больно много! – сказала бабка Евдоха, ставя на стол щи. – Вон она кровля, а вон она и печка...

– Погоди, бабушка! – прервал Крыков. – Я не для приличия толкую, я об деле... И ты сядь да слушай...

Бабинька села, сделала строгое лицо: мужикам не перечат, а коли мужик велит слушать – значит, уважает, совета ждет.

– Косторезное мое умение знаете, – сказал Крыков, – я в том художестве среди нашего поморского народа человек не первый, но и не самый последний. А коли оно так, то доски мне нарезать для вас за пустякчитаю...

– Батюшка! – всплеснула руками бабка. – Соколик ясный, ненаглядный...

– Погоди! – рассердился Крыков. – Дай сказать, бабинька. В молодые годы, пока не ослабела глазами, была ты набойщица – и скатертная, и портошная, и сарафанная, – что ни

на есть первая по нашим местам. Верно говорю?

Рябов подтвердил – верно. Он и нынче помнил бабинькины холсты с предивными узорами – в парусах, кораблях, рыбах, птицах, травах...

– Краску ты знаешь как варить, – продолжал Афанасий Петрович, – секреты свои старинные тоже, небось, не забыла. Доски я вам с Таисьей нарежу новоманерные, чтобы за холсты за ваши в Гостином дрались...

– Я золотом еще шить могу, – тихо сказала Таисья, – пояски знаю как делать, те, что на Печоре, да на Пинеге, да на Онеге плетут...

Поели, Крыков поднялся – прощаться. Бабка Евдоха вдруг припала к его груди, прижалась, заплакала. У Таисьи задрожали розовые, всегда насмешливые губы, кормщик крякнул, стал смотреть в угол, на бабинькины лечебные травы...

– Откуда ты такой человек? – спросила Таисья. – Почему ты такой, Афанасий Петрович?

Крыков не ответил, прокашливался, будто поперхнулся сбитнем. Рябов вышел с ним на крыльцо, оба сели, стали чесать кривую собаку, что кормилась при бабке Евдохе. Собака клала морду то Рябову на колено, то, боясь обидеть Афанасия Петровича, совалась к нему.

– Вот оно как, Иван Савватеич! – сказал в задумчивости Крыков.

– Оно так...

Помолчали.

Собака ловко поймала муху, кляцнув зубами. За избою протяжно мычали коровы, чужая телка заглянула во двор, испугалась, отпрыгнула. Где-то в городе запела рейтарская труба.

– Трудно человеку жить! – молвил Крыков.

Рябов посмотрел на Афанасия Петровича, на его загорелое открытое лицо, заметил морщинки, которых раньше не было, печальную складку у рта и согласился:

– Нелегко!

6. КРУТОЙ РАЗГОВОР

Незадолго до отплытия на Москву, когда царский караван уже грузился на Двине, Патрик Гордон еще раз побывал у полковника Снивина. Весь день генералу недомогалось, но к вечеру он поднялся с лавки, на которой лежал, накинул плащ, взял палку и, насупившись, пошел к дому полковника. Внуки, дочь и сам полковник Снинин сидели вокруг стола, уставленного конфетами и печеньями. Потрескивали свечи, сервировку украшал большой букет скромного вереска, который должен был напоминать вересковые луга милой Шотландии. Завитые, в кудрях и буклях, внуки смотрели на дедушку ясными глазками, в два голоса пели ему умильные шотландские песенки. В камине, ради сырого вечера, стреляя, горели смолистые сосновые пни. Кофишенк из рейтар подавал крепко заваренный душистый кофе с винными ягодами.

Гордон сидел между внуками, против дочери. Анабелла вздыхала, утирая влажные глаза кружевным платочком. Лицо генерала было неприветливым, мохнатые брови низко нависли над суровыми глазами...

Кофишенк рукою в перчатке еще налил кофе. Снинин уснул его вон. Патрик Гордон велел детям поиграть в соседней комнате. Анабелла, прочитавшая от скуки много рыцарских романов, вложила руку отца в протянутую ладонь полковника. Но едва она вышла, Гордон выдернул свою руку и заговорил резко:

– Полковник Снинин, я пришел к вам затем, чтобы предупредить вас именем государя!

Снинин встал, лоснящиеся щеки его побелели.

– Полковник Снинин, – продолжал Гордон, – царь Петр более не мальчик, которого вы все очаровывали враками и дешевыми фейерверками на Кукуе. Царь Петр – зрелый муж. Дважды здесь, в Архангельске, вы давали в его честь обеда, и теперь вы льстите себя надеждою, что ему неведомы мерзости, которые вы творите. Ему многое ведомо, полковник

Снивин! Он имеет верных соратников, которые, даже рискуя навлечь на себя его гнев, говорят ему правду. Ваши подлые деяния...

– Господин генерал! – воскликнул Снивин.

– Вы оскорблены? – с ненавистью спросил Гордон. – Вы желаете сатисфакции? Вы намерены предложить мне поединок? Я буду счастлив заколоть вас, ибо покончить с вами – значит спасти доброе имя Патрика Гордона...

Снивин шагнул вперед, уронил стул, прижимая руки к сердцу, заговорил:

– О сэр! Ужели вы не знаете, что таможенный поручик, из-за которого вы приписываете мне столь много неблагородных поступков, избалован в преступлениях несомненных? Сей негодяй и вор, мздоимец и грубиян...

Генерал спросил с усмешкой:

– Вы в этом совершенно уверены?

– Я в этом уверен так же, как и в том, что он из поручика превратился в капрала.

– Но ненадолго, полковник! – твердо сказал Гордон. – Я употреблю все мои силы к тому, чтобы несчастный вернулся к должности, занимаемой им доселе. У меня есть достаточно терпения, вы знаете эту черту моего характера. И царь, слава создателю, мне иногда еще верит...

Он велел слуге подать плащ.

Вошла Анабелла с внуками, внуки протянули к деду ручонки, как научила мальчиков их мать. Дед смотрел на детей сверху вниз – неприступный, чужой.

– Отец! – воскликнула Анабелла.

Полковник Снивин горько вздыхал: он не мог смотреть спокойно, как суров дед со своими внуками. Анабелла, ломая руки, рыдала навзрыд. У внуков съехали на сторону ротки, оба заплакали. Это было непритворное горе, внуки любили своего сурового деда. Сильными руками генерал взял старшего мальчика, поднял его высоко, сказал шепотом:

– Прощай, дитя!

Взял младшего, поцеловал в пухлую теплую щеку, прижал к своей широкой груди:

– Прощай и ты, мое дитя, прощай навеки!

Ни дочери, ни полковнику он не поклонился.

Шагая по кривой улочке, Патрик Гордон опять почувствовал себя совсем плохо: стеснило сердце, нечем стало дышать. Уронив палку, генерал схватился руками за колья забора и тотчас же понял, что сползает на землю. «Теперь я здесь немного передохну!» – подумал Гордон, но земля куда-то стала проваливаться, и он перестал и видеть, и слышать, и думать.

Очнулся генерал в доме полковника Снивина. Лекарь во всем черном, с темным лицом и узкими губами, размешивал в стакане золотистое питье. Анабелла неподалеку шепотом разговаривала с мужем. Лицо у Снивина было самодовольное и спокойное.

«Он меня похоронил! – подумал Гордон. – Но, черт возьми, я еще не умер. Разумеется, я побывал там, но я вернулся оттуда обратно. Я даже пробыл там порядочное время, но теперь я здесь. Какое горе для вас, сэр, не правда ли?»

Сердце билось ровно, спокойно. Лучик солнца – маленький и веселый – светился на одеяле, видимо, было утро. Лекарь с питьем в стакане подошел близко. Взор его встретился с взглядом Гордона.

– О, вам лучше? – спросил лекарь настороженно.

– Да, мне лучше! – ответил Патрик Гордон и сам подивился силе и звучности своего голоса. – Пожалуй, мне совсем хорошо. Я просто устал, мало спал, много ел и пил. В моем возрасте лучшее лечение – это воздержание. Благодарю вас, господин доктор, я не употребляю лекарств...

Спокойным движением он отодвинул от себя руку лекаря, сел в постели, сказал со вздохом:

– Очень сожалею, что огорчил мою дочь и ее супруга – господина полковника. Чрезвычайно сожалею. Но теперь мне совсем хорошо... Я здоров!

Оставшись наедине с лекарем, генерал спросил:

– Как вас зовут, сэр?

– Меня зовут Дес-Фонтейнес.

Гордон кивнул и заговорил задумчиво:

– Все довольно просто, господин доктор, довольно просто, если подумать как следует. Когда мы служим русским честно, то нас ненавидят наши соотечественники, не правда ли? И нашептывают русским про нас всякие мерзости. И русские, вероятно, правы, когда не совсем доверяют нам. С какой стати они должны нам доверять?

Дес-Фонтейнес холодно улыбнулся.

– Генерал увлечен этим народом! – сказал он. – Иногда так случается...

– Это случается со всеми, кто живет тут долго, – ответил Гордон. – У кого есть уши, чтобы слышать, и глаза, чтобы видеть, и кто, разумеется, не совсем глуп...

– Вот как?

– Смею вас уверить, сэр, что именно так.

– А я думаю иначе, генерал. Правда, я тут провел не много времени, но предполагаю, что москвиты недостойны уважения...

– Почему же?

– Потому, что здесь происходят неслыханные жестокости...

– Неслыханные в цивилизованном мире?

– Хотя бы в цивилизованном мире.

Гордон поудобнее вытянул длинные ноги, поправил подушку под спиною, заговорил глухо, горько:

– Будь трижды проклят мир и дураки, его населяющие. Коперник тридцать пять лет откладывал печатание своей книги, боясь этого вашего цивилизованного мира, и увидел труд свой, выданный типографщиком, только на смертном одре. И он был прав в своей боязни, Коперник. Инквизиция осудила его труд, как еретический. Я сам читал в «Конгрегации Индекса», что книга Коперника запрещена, потому что противоречит священному писанию. А Галилей? Вы лекарь, сэр, и должны знать эти славные имена! Черт возьми, в вашей Европе Галилея заставили отказаться от самого себя...

Дес-Фонтейнес смотрел на Гордона не отрываясь; было видно, что слушает он с интересом.

– А когда Галилей умер, то ему отказали в погребении на кладбище. Вы осведомлены об этом? И о Джордано Бруно вы тоже осведомлены? Кстати, сэр, вы никогда не видели свинцовую тюрьму Пьемби в Венеции? Нет? А я имел честь ее видеть! Шесть лет Бруно продержали в этой тюрьме, а несколько позже живым сожгли в Риме...

На щеках Гордона проступили пятна, глаза сурово блестели из-под нависших бровей, голос звучал мощно.

– Он был наказан столь милосердно, сколько возможно, и без пролития крови, – с гневной насмешкой повторил Гордон формулу смертного приговора святой инквизиции: «Без пролития крови...»

– Это было почти сто лет тому назад, – прервал Дес-Фонтейнес. – Нравы с тех пор изменились...

– Нравы несколько не изменились! Разве статуя Бруно – этого великого из великих – поставлена под куполом собора святого Петра в Риме? Что же вы молчите? Разве инквизиция осудила сама себя? Нет, сэр, никогда – слышите вы? – никогда не поставят Джордано в соборе! И эти проклятые варвары еще смеют осуждать москвитов, смеяться над ними и хулить то дурное, что видят здесь, так, как будто они сами ангелы, слетевшие с небес. Слушайте меня внимательно, сэр: когда я в молодые годы бывал в епископстве Вампергском, там за пять лет сожгли шестьсот ведьм, и среди них было сожжено двадцать три девочки, самой старшей из которых еще не исполнилось десяти лет. В княжестве Рейс за два года сожгли более тысячи волшебниц. По всему вашему цивилизованному миру каждый день пылают костры инквизиции...

– Я лютеранин! – негромко произнес Дес-Фонтейнес. – Поверьте, генерал, что деяния инквизиции мне не менее отвратительны, нежели вам...

– Про лютеран и кальвинистов мне тоже кое-что известно, – со злою усмешкою ответил Гордон. – Запоминать образцы человеческой жестокости, глупости и тупоумия – достойное занятие. Так вот ваш Лютер изволил назвать Аристотеля князем тьмы, злым сикофантом, козлом и дьяволом. А ваш Кальвин в Женеве сжег живым Сервета, который кое в чем, только кое в чем с ним не согласился. И, дьявол вас возьми, речь идет не о религиозных толках, а о вашей Европе. Так вот в этой Европе у меня есть знакомый, который отговаривал меня ехать в Московию, он и поныне судья ведьм в Фульде, его зовут Балтазар Фосс, он хвалился перед своими гостями, что за семнадцать лет сжег девятьсот ведьм. Девятьсот, сэр. А всего в вашем прекрасном цивилизованном мире – этим хвастаются сами инквизиторы – сожжено сто тысяч ведьм. Сто тысяч ни в чем не повинных жизней, среди которых девочки, старухи или красавицы. За что их сожгли?

– Заблуждения народов...

– А, заблуждения? – крикнул Гордон, спуская с постели ноги. – Девочке дают в руки кусок раскаленного железа, и если она его не может удержать, значит она ведьма? А если может – ведьма вдвойне. Красавицу бросают в реку, если она тонет – она ведьма, если не тонет – непременно ведьма! Заблуждение народов? Проклятый сумасшедший, отвратительный мир, преступники, непроглядная тьма...

– Вы в крайности, генерал! – решительно сказал Дес-Фонтейнес. – У вас, несомненно, разовьется воспаление во всех жилах и осядут соли, если вы не будете следить за своим здоровьем...

Гордон усмехнулся одним ртом.

– Соли, жилы, воспаление, – сказал он. – Неужели вы думаете, что я так глуп? Убирайтесь и велите подать мне чашку крепкого кофе!

Лекарь поклонился и вышел. Гордон стал одеваться, но вдруг задумался и, отыскав взором распятие, опустил на колени. Он молился о ниспослании спокойствия тяжко живущим людям, о ниспослании мира на свою грешную душу, о ниспослании разума тем, кто теряет его в суете сует. Его изрытое глубокими морщинами лицо старого солдата было сурово и строго, но в выцветших глазах дрожали слезы.

– Господи сладчайший, – шептал он, требовательно глядя на маленькое распятие, – господи всеблагий! Ужели не услышишь ты меня? Услышь, господи! Помоги и посоветуй, внуши и научи, ибо не знаю я, как дожить остатние мои дни...

Когда Анабелла принесла ему чашку дымящегося кофе, он застегивал пряжки на своих башмаках.

– Тебе бы стоило еще полежать, отец! – сказала Анабелла.

– Для чего? – спросил Гордон отрывисто. – Для того, чтобы дольше прожить? А для чего жить?

Молча он выпил кофе, набил душистым табаком свою трубку и вышел из дома полковника Снивина. В этот же вечер Дес-Фонтейнес с невеселой усмешкой сказал полковнику, что если жизнь генерала продлится, о чем, разумеется, следует просить господ бога, то Россия будет иметь верного человека во всех ее грядущих испытаниях.

– А вы предполагаете, что здоровье генерала в опасности?

– Года... много пережито... горячность нрава...

– Да, он крайне горяч! – задумчиво произнес Снин. – Крайне. С ним нелегко.

– Вам с ним особенно трудно.

– Что вы этим хотите сказать?

– Ничего, полковник, решительно ничего, кроме того, что вряд ли генерал слишком доволен вашей деятельностью здесь...

Снин сурово промолчал.

7. ПЕРЕД ДАЛЬНЕЙ ДОРОГОЙ

В ночь на 26 августа Петр Алексеевич отдавал последние распоряжения Иевлеву и Апраксину, остающимся в Архангельске. Во дворце на Мосеевом острове набралось немного народу, все молодые; свитские постарше расположились на стругах и дощаниках, там было не так тесно и куда удобнее, чем во дворце. Под ровный дождик хорошо спалось на мягких перинах, под теплыми меховыми одеялами, да и пора была отоспаться за все миновавшие трудные дни.

В столовой палате дворца пахло сыростью, от долгих дождей протекала крыша, вода мерно капала на угол стола, мочила корабельные чертежи. Петр долго не замечал, потом рассердился. Погодя по крыше застучали сапоги, сиплый голос прокричал:

– Авдейко, топора подай, царь ругается...

Петр Алексеевич, рассматривая чертежи кораблей, которые должны были строиться в Соломбале и на Вавчухе, в баженинской верфи, говорил капитану Фламу:

– Погрузишь корабль свой поташом добрым, смолою, хлебом отборным, льна возьмешь, пеньки, досок самых наилучших. Пусть видят – идет корабль русский, имеет товар на борту отменнейшего качества. Торгуй честно, как бы дешево для начала ни продал – все ладно. Что там дешево, то здесь куда как дорого. Начав сами торговать, побудим и купечество наше к сему зело полезному занятию.

Капитан Флам вынул чубук изо рта, кивнул:

– Так, государь!

И тотчас же опять засопел чубуком.

На крыше вновь послышался сиплый голос:

– Авдейко, я топора дождусь, али околевать мне тут?

Другой голос снизу ответил:

– На перевозе Авдей, уключину чинит...

Царь вынул из кармана сложенный листок бумаги, разгладил его, почиркал пером, заговорил веселым голосом:

– На вырученные деньги привезешь что написано в сей бумаге. Мы тут давеча с Иевлевым да с Апраксиным писали, может дорого будет, так для всякого опасения дадим тебе казны. Ефимками, капитан, не швыряйся, побереги деньгу-то. Шпыни тамошние, небось, втридорога драть будут, так ты и поторгуйся – не зазорно! Сядь сюда, пиши...

Капитан Флам сел, Петр отодрал ему лоскуток от листа, стал диктовать:

– Пиши: гарус на флаги корабельные.

– Сколько?

– По деньгам, брат, по деньгам. Дешев будет – поболее, дорог – поменее. Далее... фонарь купишь к пороховому погребу.

– Сколько?

– А один, капитан, покуда. Может, он никуда и не годится, фонарь заморский. Посмотрим, в другой раз за море побежишь, коли вещь добрая, еще купишь. Далее пиши, капитан: часы песочные, корабельные. Штурманский сундук купи, самый наилучший, со всем инструментом навигаторским...

– Очень дорого! – предупредил капитан Флам.

– Один и купишь, коли дорог! – велел Петр. – Да и поторгуйся, сразу не бери.

Капитан Флам отрицательно покачал головой.

– Ты что? – спросил царь.

Флам вынул изо рта чубук, положил перо, отодвинул от себя клочок бумаги, на котором писал. Петр смотрел на него молча, ждал, что скажет.

– Государь, – негромко заговорил Флам, – государь, очень трудно делать, как ты приказываешь. Невозможно, государь. Нельзя покупать для тебя дешево. Они будут смеяться. Они смеялись, когда мы строили для тебя корабль в Голландии, они говорили: русский царь не заплатит, он царь бедный, подати задолжал татарскому хану...

У Петра дернуло щеку, он схватил медный шандал, поднялся во весь рост. Александр

Данилович повис на его плече, Апраксин отобрал шандал, поставил на стол. Петр сел, обильный пот выступил на его лице. У Апраксина дрожали губы, Меншиков все гладил Петра по плечу, шептал:

– Ничего, Петр Алексеевич, погоди, Петр Алексеевич, вот водицы студеной испей...

Было очень тихо, только вода все капала да капала с потолка на стол. Капитан Флам сидел спокойно, точно ничего и не случилось.

– Вишь, Федор, как говорят! – сказал Петр тихим голосом Апраксину. – Флам не врет, Флам мужик верный...

Крепко потер лицо обеими ладонями, кивнул капитану, чтобы тот писал дальше:

– Штурманский сундук самый добрый...

Флам снова взял перо, Петр приказал твердым голосом:

– Три сундука. Денег не жалея. Говори – покупаешь для русских кораблей. Спросят, где те корабли, отвечай с усмешкой: увидите! Александр Данилыч, взбуди Виниуса, вели писать указ моим именем, пусть мешок ефимков везет капитан Флам. Еще пиши, капитан: меди в листах купишь, бакаут, серу горючую...

Пришел заспанный Виниус, Петр приказал Апраксину диктовать указ о деньгах. На крыше затюкал топор, – наконец принялись чинить. Петр Алексеевич подвинул к себе корабельные чертежи, вновь стал разбираться с Иевлевым, каковы будут корабли. Меншиков с кружкой сбитня притулился рядом, советовал, спорил, Сильвестр Петрович тоже вдруг разгорячился. Петр обнял их обоих за плечи, сказал шепотом:

– Не быть нам без моря, нет, не быть, братцы...

Иевлев и Меншиков смолкли, повернулись к царю. Он все говорил ровным шепотом, горячо, убежденно, страстно:

– Не быть нам без Черного, без Азовского. Не быть, не дышать, нет. То верно. Голландцы, купечество ихнее, говорят – давеча Флам поведал, – без Балтики-де вдесятеро хуже московитам, нежели бы с гаванями там. Наше, все наше, – Орешек, Иван-город, Копорье... Царь Иоанн, Иван Васильевич Грозный об том...

– Шведа воевать? – нагнувшись к царю, схватив его за руку, спросил Меншиков. – Петр Алексеевич, государь, помилуй, под шведом ныне сколь народищу, где нам с сиротством с нашим...

Петр хлопнул ладонью по столу, спросил:

– Ополоумел? Кто об войне и говорит?

С горечью усмехнулся, твердым ногтем провел по чертежу корабля, приказал Иевлеву строго:

– Сии роскошества, Сильвестр, гирлянды да цветы цветущие, уברי для бога! Богаты больно, думаешь? А нынче слышал, как мужик почитай весь вечер топора искал – царю крышу на дворце починить. Царю-ю, не кому-либо! Не дам черного дерева на отделку, его из-за моря везти, а почем негоцианты сдерут, ведаешь ли?

– Ведаю, государь!

– То-то!

Попозже со струга во дворец пришли желтый от болезни Гордон и Лефорт. Женевец велел затопить печку, подавать ужинать. Крышу наконец починили, в столовой палате стало теплее. Ровно, глухо лил дождь над Двиною, над уснувшим Архангельском, над Мосеевым островом, над царевыми стругами, лодьями, дощаниками, карбасами, готовыми к дальнему пути на Вологду и к Москве...

За ужином Патрик Гордон спросил у царя, как будет с сигналами, когда караван отвалит от города. Петр ответил с усмешкой:

– Полно, господин генерал! Али не наигрались? Какие там сигналы! Еще Переяславль вспомни да ботик на Яузе. Было и миновало...

Он с молчаливой усмешкой оглядел лица свитских, сидевших за столом, задумчиво добавил:

– Было да миновало. Строили город Прессбург, на Переяславле корабли сваливали,

сколь вздору было, сколь ребячества. Нынче же государственный консилиум, господа совет!

Засмеялся и поднял кружку за корабельное строение на Белом море, за корабельщиков Апраксина с Иевлевым, за добрые успехи на новых верфях. Всю эту ночь он был задумчив, пил мало, часто разжигал свою трубку и, казалось, вслушивался в однообразный шум осеннего дождя. Апраксина и Сильвестра Петровича на прощание обнял, поцеловал трижды, велел строго:

– Пишите, братцы по самомалейшим нуждам. Как Флам с кораблем уйдет – отпишите, как строение корабельное двинется – пишите.

На рассвете на Мосеевом острове, на Соломбале, в Архангельске и на царских морских кораблях загремели пушки, отдавая салют уходящему вверх по Двине цареву каравану. Дождь лил сплошной пеленою, как из ведра. В царской поварне заливали печи, иноземные рейтары ломали, навалившись плечами на дверь, боковушку, в которой остались меда и водки. Пристав нагайкой стегал юродивого, певчие под навесом отжимали мокрые ризы.

Царев струг делался все меньше и меньше, весь караван заволокло дождем. У Двины крепко пахло дымом, грибами, Апраксин повернулся к Иевлеву, сказал усталым голосом:

– Ну, Сильвестр, отгостевались. Наплавались, погуляли, вина попили, побеседовали. Теперь отоспаться, да и за работу.

И крикнул гребцам:

– Гей, люди! На весла!

Пока переплывали Двину, Апраксин клевал носом; дома, вздрагивая от сырости и бессонных ночей, сбросил мокрую одежду, натер тело душистым брабантским уксусом, накинул легкую пушистую шубейку и, с наслаждением потянувшись, посоветовал:

– Ложись живее, Сильвестр! На тебе вовсе лица нет! Ложись, голубчик, помни, что недавно едва не отдал богу душу...

Слуга принес Сильвестру Петровичу чистое белье, пахнущее лавандой, поверх мехов на широкой постели ловкими руками расстелил белоснежную простыню, быстро рассовал серебряные грелки с кипятком. Иевлев, раздеваясь, спросил:

– Не слышал, что давеча государь сказывал про моря – Черное да Азовское?

Федор Матвеевич приподнялся на локте:

– Не слышал.

Иевлев рассказал, Апраксин выслушал молча, потом лег навзничь. Сильвестр Петрович, переодевшись во все сухое, закинул руки за голову, потянулся всем телом, вдохнул запах лаванды, подумал – и впрямь хорошо!

И тотчас же корабль, на котором он шел по черным волнам Черного моря, мотнуло, положило на бок, понесло, да так, что лишь вечером понял Иевлев – то был не корабль, а добрый, здоровый молодецкий сон...

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Вволю корушки без хлебушка погложено,
Босиком снегу потоптано,
Спинушку кнутом попобито...

Песня

Нас поборами царь
Иссушил, как сухарь.

Рылеев

1. ПОПУТНОГО ВЕТРА ВАМ, КОРАБЕЛЬЩИКИ!

На рассвете в дом воеводы с приличными подношениями, шумные, веселые, добродушные с виду, пришли иноземцы – шхиперы, конвои, негоцианты – прощаться. Слуга воеводы, как принято по обычаю, обносил гостей питиями и закусками, мореходы-иностранцы дымили трубками, чокались, хлопали молчаливого Апраксина по плечу, солоно шутили, грозились в будущем году, как откроется навигация, прийти многими кораблями с обильными товарами. Федор Матвеевич кивал, улыбался, но глаза у него были холодные.

Сильвестр Петрович, стоя, при свете свечей – в столовой палате было еще темно – читал документы – пассы корабельщиков, ставил печать, расписывался в том, что корабль шхипера имя рек может свободно уходить своим путем. Пассов было много, Иевлев подписал пасс Голголсена, Кооста, Данберга; пасс же шхипера Уркварта отложил в сторону.

– О! – воскликнул Уркварт. – Что-нибудь не в порядке?

Апраксин подошел ближе к Иевлеву, взял из его рук пасс, протянул Уркварту.

– Это значит?.. – шевельнул бровками шхипер.

– Значит, что более мы вас сюда не зовем.

Иноземцы перестали шутить, в столовой палате наступила тишина.

– Я буду иметь честь жаловаться его миропомазанному величеству государю! – воскликнул Уркварт. – Даю вам слово, господин воевода, сей поступок не послужит к вашей пользе.

– Оно мне виднее!

– Вы ответите за вашу дерзость!

– Кому? Не тому ли потентату, коего службу вы, сударь, исправно служите на русской земле?

Уркварт сделал вид, что не понял, возмутился, пожал плечами.

– При желании шхипер может догнать его миропомазанное величество! – сказал Данберг. – Мы не потерпим более издевательств над нами. Да, да, почтеннейший Уркварт, в дорогу! Мы все отложим отплытие, а вы будете иметь аудиенцию у русского царя, и многие за это поплатятся...

– Шхипер Уркварт может отправиться на свой корабль! – спокойно произнес Апраксин. – У него нет пасса ни для чего более. Что же касается других честных шхиперов и негоциантов, то я бы не советовал им заступаться за шхипера Уркварта, иначе мне надобно будет думать, что и они здесь не для доброй торговли...

Сильвестр Петрович подмигнул слуге, тот подошел к Федору Матвеевичу с подносом. Апраксин взял кружку, поднял, сказал с веселой улыбкой:

– Счастливого плавания, господа мореходы. За десять футов воды под килем!

Шхиперы и конвои взяли за кружки: какой моряк не выпьет за десять футов воды под килем? Нет правдивее приметы: кто не выпил за десять футов воды под килем, тому сидеть на мели! Даже Уркварт и Данберг выпили, тараща глаза друг на друга.

Апраксин позвонил в колокольчик, другой слуга принес щедрые подарки мореходам: по дюжине соболей, да еще куниц, да еще росомах. Федор Матвеевич, тонко улыбаясь, одаривал каждого, любезно просил не помнить зла, приходите с товарами, везти товаров поболее – самых добрых, без обману, без обвеса; расчет пойдет подлинным серебром, не подделками. Уркварт стоял в углу, делал вид, что подарками и словами воеводы не интересуется нисколько. Иноземцы, принимая подарки, чувствовали себя не очень ловко: Апраксин смотрел им в глаза, и взор его был насмешлив.

Когда совсем рассвело, у дома воеводы бухнула маленькая медная пушка: это означало – таможене начинать досмотр, корабельщикам готовиться к выходу в море.

Сильвестр Петрович и Апраксин молча стояли на высоком крыльце, смотрели, как от пристани отвалили таможенные карбасы под прапорцем. Таможенники с мушкетами стояли

в своих суденышках, ветер трепал маленький прапорец.

– Прочитает пасс Уркварта, обрадуется, поди! – сказал Иевлев.

– Кто?

– Крыков.

– Поручик бывший?

– Он, бедняга.

– Да он ли на досмотре?

– Без него не обходятся. Голова светлая.

Над Двиною быстро бежали облака – тяжелые, уже осенние. И ветер дул холодный, северный, словно грозился: погодите, еще узнаете, где живете! Сильвестр Петрович зябко поежился, сказал Апраксину:

– Напишет, я чай, Уркварт жалобу на нас?

– Напишет! – усмехнулся Апраксин. – У него свои люди на Кукуе, да и у нас свои на Руси найдутся. Авось, схоронят концы в воду. Не всякая пуля в лоб, есть что и в куст бьет...

Обернулся к пушкарю, сказал стрелять в другой раз. Пушка опять ударила: второй выстрел означал – иноземным кораблям готовиться с якоря сниматься.

– Что больно быстро? – спросил Сильвестр Петрович.

– А чего делать-то? Ишь, ветер им задул попутный, задержатся – спадет, опять на берег пойдут. Хватит, отгулялись, пора и честь знать...

Таможенники вернулись скоро, Апраксин велел стрельцу-караульщику спехом бежать к пристани, звать к воеводе капрала Крыкова. Стрелец, разбрызгивая грязь сапогами, подобрал полы кафтана, заспешил, побежал.

Афанасий Петрович подошел, поклонился, – по лицу его ничего нельзя было понять.

– Все ли добром на кораблях? – спросил Федор Матвеевич.

– Все будто добром, князь-воевода.

– Шхипер Уркварт в себе ли? – чуть улыбнувшись, спросил Апраксин.

– Шхипер Уркварт малым делом не в себе! – сохраняя почтительность, строгим голосом, но с едва заметной усмешкой в глазах молвил Афанасий Петрович. – В каюте пасс свой шхиперский потоптал сапогами и парик с себя кинул об пол. Всяко бесчестил город наш Архангельск и порядки наши.

– Господин Джеймс при сем присутствовал?

– Господин Джеймс, князь-воевода, нынче по нездоровью на досмотр корабельный прибыть не мог.

Апраксин кивнул:

– Что ж... иди, капрал...

Крыков, придерживая сумку у бедра, как в былые времена шпагу, пошел к воротам. Иевлев его окликнул:

– Афанасий Петрович!

Бывший поручик остановился, в лице его, всегда твердом и спокойном, что-то дрогнуло: окликнули его не капралом, а по имени-отчеству. Иевлев пошел к нему навстречу, сказал, сдерживая волнение:

– Афанасий Петрович, ты жди. Беде твоей вечно так не быть. Нынче дело не стронется, завтра тоже, а с течением времени авось и полегчает. Ты служи, Афанасий Петрович.

– Я и то служу! – просто ответил Крыков. – Да ведь...

Он махнул рукой с отчаянием.

– Нынче так, а время пройдет – сожрут живьем, Сильвестр Петрович. Майор Джеймс только воеводу да тебя и опасается...

Опять грохнула пушка, третий выстрел означал: кораблям с якорей сниматься, идти в море, попутного ветра вам, корабельщики, доброго пути.

– Прощай, Афанасий Петрович! – сказал Иевлев. – Коли что – наведайся...

Крыков поклонился, пошел к воротам.

Иевлев вернулся в дом. Воевода Апраксин уже сидел за корабельными чертежами,

курил трубку, считал грифелем на доске. Увидев Сильвестра Петровича, сказал:

– Ну, корабельщик, подсаживайся поближе. Давай учиться, покуда время есть. Потом не поспеем, я чай...

2. ОСЕННЕЙ НОЧЬЮ

Вечером, когда Иевлев вернулся с Пушечного двора, у воеводы был Осип Баженин. Федор Матвеевич подписывал бумаги, Баженин посыпал подписи песочком.

– Ну, что у них на Пушечном? – не поворачивая головы, спросил Апраксин.

– Одно название – Пушечный! – сказал Иевлев.

Баженин протянул за бумагами руку – толстые пальцы в перстнях и кольцах дрожали.

– Ого! – усмехнулся Федор Матвеевич. – Видать, слезное было прощание с государем в Холмогорах?

И с хрустом надкусил сочное яблоко.

Глазки Баженина злобно блеснули из-под опухших век: молод воевода, а как разговаривает! Ничего, еще прижмем, запищишь у нас, возрыдаешь слезно, Федор Матвеевич! Не таким хребты ломали!

Но ничего не сказал, поклонился, вздохнул, словно каясь.

– Так вот и начинай! – сказал Апраксин. – Медлить не для чего! Пусть народишко лес возит, пилит, обтесывает. Верфи еще толком не достроены, порядку нигде нет. Государева воля, сам ведаешь, Петр Алексеевич шутить не любит. Не нынче-завтра мы с Сильвестром Петровичем сами приедем смотреть, как делаешь. Увидим – худо, не пожалеем. Да ты садись, что стоишь, в ногах правды нет. Винца налить?

Баженин сел, стул заморской работы на львиных лапах затрещал под его дородным телом. Прикинувшись добродушным, почтительным, даже робким, сказал, что не смеет, а то бы попросил водочки – опохмелиться. Федор Матвеевич смотрел на него прищурившись, холодно, недоверчиво, постукивая пальцами по столешнице.

Осип Андреевич опрокинул в заросшую пасть стаканчик, захрупал огурцом, толстыми пальцами захватил щепоть квашеной капусты, заговорил робко:

– И правда твоя, Федор Матвеевич, пора работать, правда! Пора и лес возить, и кокоры готовить, и пилить, и обтесывать. Да где народишко, господин добрый? Чем его приманить? Вели, научи, прикажи! Разве людишек от своих дел на государеву верфь приманишь? Одним зверовать надобно, зверя промыслять, другие рыбу солят, третьи по ремеслу трудятся – кто калашник, кто медник, кто бочар. Иные здешние жители землишку сохой ковыряют – авось не хлебцем, так капустой обернется, – все не с пустым брюхом сидеть...

Еще взял щепоть капусты, горестно покачал головой:

– Матросы, что на корабли царевы набраны, и те не с охотой сидят, хоть цепью приковывай...

Федор Матвеевич поднял бокал, повертел перед свечой, полюбовался цветом вина. Осип Андреевич все жаловался. Не то что со здешней верфи, – с Вавчуги лесной все побежали. Попа звал – увещевать народишко, такое срамословие поднялось, что поп ряску закатал – и в чашу лесную. Едва водицей потом отпоили. Разве с ними сладишь?

– Жрать не даешь, вот и бегут от тебя! – жестко сказал Апраксин.

Баженин засмеялся, повертел толстой шеей, сказал масляным голосом:

– Ох, грессишь, Федор Матвеевич, грессишь, голубь! Жрать не даю! Да разве их, чертей, прокормишь? Да и одни ли они на нашей купецкой шее сидят? Всем дай, всех попривет, всех одари, обо всех помни. Воевода на кормление посажен к нам. Кто к нему первый с подарками идет? Баженин Осип Андреевич...

Апраксин вспыхнул, отставил бокал, сказал гневно:

– Ты ври, да не завирайся, борода, не то...

Баженин замахал короткими руками.

– Христос с тобой, Федор Матвеевич! Да разве ж мы не понимаем! Чай тоже люди,

христиане, потому тебе и говорю, что знаю, что ты за человек. Ты человек такой, да господи, да мы...

Но глазенки из-под бровей смотрели нагло, злобно.

– Кормовые надобно давать сполна, – вмешался Иевлев. – Дом построить при верфи, дабы жили работники-трудники. Земля здешняя родит худо, пора нынче осенняя – до промысла зверового далеко, рыбачить не время. Давать добром кормовые да жалованье цареву – людишки архангелогородские с охотой пойдут корабли строить...

Баженин тихо засмеялся, притворяясь глухим, ладонью отвернул мясистое ухо:

– Ась? С охотой, говоришь? Ох, господин, господин, свет мой, Сильвестр Петрович, прости меня, мужика, на простоте, молод ты еще, молод-молодешенек, разве эдак можно?

Иевлев пожал плечами, замолчал, не понимая, чего хочет Баженин. Апраксин серебряными щипчиками снял нагар со свечи, не глядя на Сильвестра Петровича, спросил:

– Как же быть?

Осип Андреевич развел руками. Апраксин поднялся, несколько раз прошелся по столовой палате. Баженин, весь вытянувшись вперед, сверля зрачками воеводу, ждал решительного слова.

– Недоимщиков много ли по городу да по округе? – вдруг спросил Федор Матвеевич.

Баженин ответил быстро, словно был готов к вопросу Апраксина:

– Почитай что все. И рыбаки, и смолокуры, что смолу топят, и соленщики, что соль сушат, и зверовщики, что зверя морского промышляют, – все в недоимках, ни единого чистого не вижу двинянина, кроме богатеев.

Федор Матвеевич перебил:

– Недоимщиков имать и – на верфь. За самоединами в тундру пошлем рейтар, всех возьмем подчистую. По острогам дальним, по становищам рыбацким многие люди вольно живут, – всех погоним на верфи. Зверевщиков, посадских, медников, Калашников, дрягилей, распопа бродячего, богомольца, что на Соловецкие острова собрался, – всех возьмем, все будут государев флот строить...

Баженин поднялся, низко поклонился. Движения его стали суетливыми, он заговорил быстро, побожился, закрестился перед иконами, пятясь пошел к дверям. Но Федор Матвеевич не дал ему уйти, поманил к себе. Баженин, моргая, посапывая, подошел. Апраксин сказал ему негромко, с угрозой в голосе:

– Кормовых шесть алтын. Коли украдешь, что на трудника дадено, пощады себе не жди. Я ведаю, с тебя многие тянут, посула просят, – так ты мздоимца шли ко мне. Справлюсь. Коли лес на корабли будешь ставить сырой – сгною в подвале монастырском, никто и не узнает, где помер Осип Баженин.

Осип Андреевич поднял руку для крестного знамения, Апраксин топнул ногой, крикнул:

– Не кощунствуй! Ты не богу молишься – ефимкам; волк ты, тать, един бог у тебя – мошна. Сиди и молчи. Я за Снивиным послал, надо дело спехом делать.

Баженин опять сел на стул, кривляясь спросил:

– Коли я так уж плох, зачем меня держишь, Федор Матвеевич? Строил бы сам корабли!

Апраксин не ответил, все ходил из угла в угол. Сильвестр Петрович тоже молчал, думал свои невеселые думы: погонят народишко неволею, забренчат люди цепями, как с такими корабельщиками корабли строить?

Снивин вошел боком, поклонился, движением плеча сбросил с себя широкий, намокший под дождем плащ, поддернул усы в разные стороны. Набивая толстым пальцем трубку, заговорил, словно заскрипел железом:

– Я имел честь несколько подумать над тем, что вы, сэр, мне предложили. Я имею план действий. Большое подворье будет заменять долговую тюрьму. Мы сделаем алярм, и все, кто не имеет полную уплату...

– Вздор! – сказал Апраксин. – Какая там долговая тюрьма! Затянется больно. Вы сделаете алярм и у всех посадских будете спрашивать бирку...

Он порылся в кармане, вытащил обрывок кожи с тавром, бросил на стол.

– Сия бирка означает, что подати все уплачены. Ежели такой бирки нет, имать и – на верфь. Делать спехом, ночью, по барабанному бою и трубной тревоге. Делать в великой тайности. Прежде, чем начнете объезд с рейтарами, на верфях на обеих – и на Соломбале и на Вавчуге – надобно какие ни есть дома выстроить для работных людишек, для трударей. Нынче осень, скоро стужа наступит...

Снивин, слушая, вытащил из-за обшлага карту, ловко развернул ее и, тыча трубкой, перебил:

– Так, сэр, так, я вас понимаю. Прошу посмотреть сюда. Здесь – Курья, Соломбала; деревни – Якокурская, Ижемская, Прилуцкая. И далее – Кехта, Ненокса. Сюда смотреть – Солза, Холмогоры; посад Курцево, Глинка, Верхняя половина, Ивановский конец. Много людей, много мужиков, – бирки не имеет никто...

Он вопросительно взглянул на Апраксина, тот кивнул. Полковник сделал на карте магическое кольцо, захохотал, прихлопнул по столу ладонью:

– Как в мышеловке. Никто не уйдет! Двести мужиков, триста, четыреста. Будут работать! Будут очень старательно, очень почтительно, и днем и ночью работать. Вы будете довольны, господин Баженин будет доволен, государь будет доволен!

Когда Баженин и Снивин ушли, Сильвестр Петрович с горечью в голосе сказал:

– Как погляжу я, Федор Матвеевич, то иноземец на сии дела дивно хорош. Кому русского мужика за хрип брать, как не заморскому жителю. И только лишь потому, что жалости иноземец к нашему народу не имеет нисколько. Да и зачем жалеть? Для какого такого прибытку?

Апраксин молчал, поигрывал медным большим циркулем.

– Страшно мне, Федор, – тихо сказал Иевлев. – Так-то страшно, словами и не выговорить!

– Чего ж тебе страшно, Сильвестр Петрович?

– А того страшно, господин воевода, что больно нешуточное дело затеяно. И чую – не один, не два, не три человека помрут злою смертью на наших верфях. Чей грех-то будет?

– Ей, милый, – жестко усмехнулся Апраксин. – Греха бояться – детей не рожать, иначе – рожаем. Ну, помрут, а как до сих пор жили, то не грех нам был? И в старопрежние годы мало ли лютой смертью народ помирал? Мало ли видел ты побитых, пораненных, опившихся водкой в царевых кабаках, юродивых от доброго житья, потоптанных конями, порубленных татарскими саблями, угнанных ливонцами, свейскими, скончавшими житие свое многострадальное в дальних злых землях? О том думаем ли мы, Сильвестр?

Взор его блеснул сурово и решительно, он подошел к Иевлеву, спросил:

– Что человеку есть Русь?

Сильвестр Петрович смолчал, глядя на Апраксина.

– Добрая матушка – вот что должна быть она русскому человеку, – произнес Федор Матвеевич. – За нее и костями должно нам полечь, коли ворог ворвется. За нее, Сильвестр, за матушку Русь, которая холила нас и берегла, лелеяла и жалела, учила и баловала, над зыбкою песенки пела и сказки сказывала, коя любовалась на детушку, как он первый раз в седло вскочил, коя с ласкою его уговаривала, ежели несправедлив и неправеден, нехорош он был, коя и больно его учила плеткою за неправедное дело. Все она – родная, она и поучит, она и пожалеет, матушка Русь. Так, Сильвестр? Верно говорю? Отвечай...

– Так-то так, Федор Матвеевич, да ведь не столь сладко оно на деле делается...

– Погоди, слушай, Сильвестр, что я в эти времена передумал ночами здесь, в городе Архангельском: есть у нас люди, а флота корабельного истинного нет. Есть у нас воины, а армии настоящей, сильной нет. Есть у нас головы умные, а школ, академий – нет! Иноземец превеликую власть над нами забрал, отчим нами помыкает, из доброй матушки грозит нам отечество мачехой сделать. Из всей Руси иноземец только и нашел свету, что на Кукуе. На хлебе нашем взошедши, нас же в книгах своих варварами бесчестит и бесстыдно пишет, будто нас открыл, на карту нанес и своим поучением нас поучил. Не то страшно, Сильвестр,

чего ждем, а то страшно, как жили по сии времена. Открытыми глазами надобно вперед смотреть, знать, на что идем. Помнишь ли, как давеча капитан Флам про татарина сказывал? Не нас то порочит и бесчестит, но матушку нашу – Русь. И потому нестерпимо слушать нам то бесчестье. Многотрудно нам будет, Сильвестр. Многое переступим. Коли доживем, то нынешнее строение корабельное еще добром помянем, шуточкой покажется, ибо оно – только начало, как забавы на Переяславле-Залесском. А страшны казались в те времена забавы-то эти – со смертьми! Нет нам обратного пути, Сильвестр Петрович, и нечего нам, друг мой, ныне о грехах помышлять. Будем стараться с тобою делать по чести, о прибытках своих радеть не станем. Что же еще? Что не по-доброму трудников гоним на верфи? Научи, как иначе сделать, я сделаю...

Сильвестр Петрович молчал. Взгляд его был невесел.

– Вишь, молчишь! – сказал Апраксин. – То-то, брат, что и говорить тебе на мои слова вовсе нечего...

И, потрепав Иевлева по плечу, добавил:

– То ли еще будет! То ли еще увидим!

– Того и боюсь! – угрюмо ответил Сильвестр Петрович. – Боюсь, Федор, что такое увидим... такое... что лучше бы и не видеть вовсе...

Апраксин согласился:

– Оно так. Крутенок у нас путь, то верно – крутенок...

3. ЭКСПЕДИЦИЯ В ТУНДРУ

Чтобы не отяжелять рейтар, майор Джеймс велел брать немного харчей – соль, сухари, по куску вяленого мяса. Но пороху и пуль брали побольше. Для самого майора, под его рухлядь, были оседланы две лошади: майор имел с собой добрую палатку, складной стул, миску, чтобы умываться, тарелки, кружки, большую флягу водки. По совету полковника Снивина, русских с собой не брали никого.

– Через них самоедины узнают, для чего вы посетили тундру. Самоедины все перескажут друг другу, и вы не привезете ни одного дикаря.

– Но вначале нам понадобится русский, – не согласился майор. – В тундре будет трудно, сэр. И совсем без языка?

Полковник Снинин ничего не ответил. Дьяк Гусев, склонившись к бумаге, писал приказ от стрелецкого головы другим начальным людям. Майор Джеймс – в доспехах и высокой шапке с железом, чтобы не проломал какой самоедин голову, в коротком чешуйчатом панцире поверх меховушки – ходил по избе, курил трубку, кивал на отрывистые приказания полковника Снивина. Под слюдяным окном шумели рейтары, смеялись, боролись друг с другом, шли цепью друг на дружку, кто кого толкнет с места, не трогая руками, грудь на грудь.

Провожать уходящих полковник Снинин вышел на крыльцо.

Сюда пришел патер – напутствовать солдат словом божьим. Рейтары сняли шапки, построились полукругом, патер заговорил о великой миссии христианской – нести язычникам слово божье. Снинин покашливал. Майор Джеймс пробовал пальцем подпруги – хорошо ли держатся на лошадях необходимые ему в походе вещи.

Патер вознес руки к небу, рейтары запели псалом.

Полковник Снинин сказал патеру:

– Слово божье тут совершенно ни при чем, мой отец. Солдаты едут вовсе не для того, чтобы обращать самоединов...

Старый патер пожал плечами.

Под карканье мокрых нахохлившихся ворон, под мелким дождем отряд выехал со двора. Майор Джеймс насвистывал – ему случалось бывать в переделках и пострашнее. А тут – самоедины. Пустяк!

На вторую неделю пути отряд въехал в тихую деревеньку, словно вымершую под

мерным бесконечным дождем. Возле крайней избы, расставив широко тонкие ножки с крепкими копытцами, сбывчившись, стоял молодой олень. Сержант Колней бросил петлю, потащил олешка к себе, другой рейтар ударил олешка ножом в сердце. Еще несколько человек с криками и свистом ловили ополоумевшую оленью упряжку, что металась меж избами. Сержант Колней и здесь оказался первым – накинул петлю на вожака. Вся упряжка грохнулась в жидкую грязь.

Оленей здесь же, на улице, свежевали, тут же пили горячую кровь. Колней утверждал, что ему говорили верные люди, будто свежая оленья кровь – лучшее лекарство от черной смерти, иначе – цынги.

В калитке крайней избы появился человек высокого роста, бородатый, в длинном кафтане. Покачал головой, помолчал. Рейтары с ножами в руках, обросшие, грязные, наперебой спрашивали, далеко ли до самоединов, и требовали открывать ворота, топить печи, варить оленья мясо.

Первым в избу вошел майор Джеймс, сел под образа. Хозяин принес орешков, поставил на стол. Джеймс спросил по-русски:

– Где есть самоедин?

Хозяин избы горестно вздохнул, посмотрел на Джеймса, ответил:

– Не по-хорошему делаете, вот чего! Самоедин как дитя малое, его каждому обидеть просто! А вы скопом ездовых оленей порезали, разве так делается? И мы перед ними грешны: есть тут которые безобразно поступают – вино им продают, с пьяными менку делают, а вы и того хуже...

– Но-но! – крикнул майор и ударил по столу ладонью.

– Не греши! – совсем строго сказал хозяин. – Стол – божья рука, на ней тебе господь хлебца подносит, а ты его бьешь. И шапку сними: чай, в России находишься...

Майор Джеймс посмотрел на строгого хозяина, подумал и снял шапку с железом.

– Нам проводник нужен! – сказал майор. – Мы хорошо заплатим. Пусть покажет, где есть самоедин.

– А его нынче нигде нету! – сказал хозяин. – Он, господин, ушел. Вот вы олешек ему побили, он и побежал рассказывать всем своим сородичам, что за люди пришли на Подгорье. Теперь не отыскать вам самоедина. Все снимутся.

– Так нет, не снимутся! – воскликнул Джеймс.

Глубоко на уши надвинув тяжелую шапку, он встал и велел подавать себе коня. Трубач на улице заиграл «поход». Рейтары нехотя садились в седла. Сержант Колней, на той же петле, которой ловил олешка, привел самоедина – без шапки, седого, с редкой бородачкой. Самоедин был пойман за деревней, и теперь ему предстояло стать проводником.

– О! – сказал майор Джеймс. – Мы будем хорошие друзья, не правда ли? Мы не будем огорчать друг друга. Колней, дайте ему выпить!

Колней налил старичку выпить и слегка ослабил петлю на его тонкой шее. Старик выпил, пожевал губами. В сумерки майор Джеймс объявил ночевку. Старика посадили у костра, не снимая с него петли. Старичок детскими глазами посматривал по сторонам, потом достал из-за пазухи деревянную чурочку и постегал ее прутиком.

– Что это он? – спросил Джеймс.

– Бога своего наказывает! – догадался сержант. – Напортил ему бог. Из-за него он и к нам попал, самоедин.

Ночью старичок задушил себя петлею. Не нарочно, конечно. Просто хотел убежать, а рейтар, приставленный его сторожить, слишком сильно дернул...

Пришлось возвращаться в деревню и брать там силой русского парня. Еще через неделю отряд в сумерки выехал из густого кустарника на полянку, где теплились огоньки и отчаянно лаяли собаки. Сквозь огромное стадо оленей всадники едва протолкнулись к конусообразным чумам, спешили, пошли туда, откуда доносился детский плач, людские голоса, кашель. Вязали людей здесь же, в чумах, не понимая кого вяжут – мужиков или баб. Когда разобрались, оказалось – мужиков всего четверо, остальные – либо дряхлые старики,

либо бабы. Были еще и детишки.

Один из крайнего чума ушел, убежал.

Майор Джеймс закурил трубку, вытянул ноги к огню, задумался. Неподалеку, на еще не выделанных шкурах, умирал сержант Колней – его съела горячка. Еще один рейтар – здоровенный и смысленый Хьюзе – за этот поход стал кашлять кровью. Имеет ли смысл ехать глубже в эту проклятую тундру?

После дневки и отдыха пошли дальше. Пойманных самоединов вели на арканах, но так, чтобы никто из них не мог удавиться. Еще в трех днях пути нашли следы ушедшего кочевья...

К вечеру здесь похоронили сержанта Колнея. Не нашлось охотников даже вырубить крест. Рейтары роптали. Однажды майор услышал, что его собираются прикончить. Это была не шутка. Наемники умели резать своих командиров.

Когда вдруг среди ночи исчез русский проводник, Джеймс решил возвращаться обратно. На пути к Архангельску похоронили еще двоих рейтаров и двоих самоединов. Майор Джеймс ехал мрачный, его тоже трясла лихорадка.

В Подгорье отряд остановился на отдых. Суровый хозяин, который на пути в тундру угощал хоть кедровыми орешками, теперь не сказал ни слова, а только качал головой и вздыхал. Рейтар боялись все, с ними никто не разговаривал, дети убежали от них.

В Архангельск майор Джеймс привез одного самоедина – старичка Пайгу.

– Вас можно поздравить! – сказал сквозь зубы полковник Снивин. – В обмен на четырех рейтар – одного старика. Хорошо.

Джеймс молчал. Ему было все равно: лишь бы лечь в постель!

4. ПОЛКОВНИК СНИВИН РАБОТАЕТ

В полночь 9 октября полковник Снивин велел денщику вздуть огонь и заварить кофе. Выпив кофе в постели, он закурил трубку и начал одеваться – как всегда с тщанием и примерной аккуратностью.

– Мой друг, вам угрожает опасность? – спросила Анабелла, глядя на мужа сонными глазами.

Полковник Снивин с помощью денщика надевал под кожаную кольчугу еще малый стальной нагрудник – такие отковывали испанцы из доброй толедской стали.

– О нет, мой ангел! – сказал полковник Снивин. – Ровно никакой опасности. Но отчего не принять меры предосторожности, пусть даже излишние...

Он поцеловал жену, слегка пощекотал ей подбородок, гремя шпорами вышел.

Во дворе трещали барабаны, свистели свистелки и роговые трубы. Все было мокро и черно вокруг – кафтаны, седла, сабли, пистолеты. Стрельцы били коней по зубам, искали начальство, его ждал полковник Снивин. При свете фонаря, собрав десятских и полусотских стрелецкого полка, офицеров-рейтар, Снивин показал бирку, подкидывая ее на ладони, растолковал, как надо брать людей на цареву верфь для строения кораблей.

Драгуны уже выехали на Холмогоры – брать недоимщиков для баженинской верфи. Рейтары, таможенные солдаты и стрельцы разъезжались по слободам Архангельска – по Курье, на Мхи, в Соломбалу, на Кузнечиху. По всему глинистому Жабинскому наволоку оскальзывались конские копыта, свистели плети, позвякивало в сырой тьме оружие. Стрельцов замыкал фонарный, – вез в фонаре огонь, ежели придется стрелять.

Полковник Снивин молчал, похлопывая коня рукой в перчатке с раструбом, смотрел за порядком, чтобы никто ничего не спутал. Два стрельца, поотстав, выезжали из двора, переговариваясь. Снивин вслушался.

– Анафема, черт жирный, бирки ему подавай! – сказал один. – Откуда их набраться?

– Своих имать – за что? – спросил другой.

Полковник Снивин велел обоим спешиться. Они подошли к нему, он стал стегать нагайкой по лицам, приговаривая:

– Анафема, черт жирный, так? Это я есть – черт жирный? А ты русская свинья, и я для тебя божество!

Первыми стали хватать сонных дрягилей возле Гостиного двора. Один упал на колени в грязь, завыл:

– Что делаете, бесчеловечные, нам два рубля в год жалованья, да и то не плачено, хоть у кого спросите, люди вы али собаки...

Рейтар пнул рваного дрягиля ботфортом, стрельцы неодобрительно заругались...

– Чего бьешь, собака, у него – кила, вишь, синий...

В свете смоляных факелов надели на дрягилей цепи, погнали на съезжую – на сбор. Тут же поймался пономарь, его кинули в подклеть. Крутили руки тяглым посадским, повязали медника, двух квасников, толпой погнали рыбарей – Белого моря старателей. Никто ничего не понимал, стрельцы охали: «нынче мы вас крутим, назавтра нас скрутят». Только иноземцы-беломестцы смотрели скучными глазами – их такое происшествие не касалось, они в казну не платили.

К рассвету загремело в сенях у бабки Евдохи. Рябов выпростал руку из-под горячего плеча Таисьи, поднял голову. Драгуны колотили в двери ногами; было совестно ломиться к бабиньке, все ее знали в городе, да что поделаешь – служба.

Накинув на плечи кафтан, кормщик отворил дверь, зажег лучину в поставце. В волоковые окна смутно занимался день – дождливый, ветреный.

– Бирку подавай! – простуженным голосом сказал драгун, отжимая длинную мокрую бороду.

Бабка Евдоха ловко съехала с печи, спросила:

– Ополоумели? Какую такую бирку?

Таисья смотрела не мигая, ждала, что будет. Рябов не торопясь, достойно своего звания царева кормщика, отворил ларец, достал бумагу. Но бумагу читать не стали. Нужна была бирка.

– Одевайся! – велел драгун с сивыми усами.

На улице выли бабы – другие драгуны уводили соседских мужиков. Бабка Евдоха запричитала, Таисья сонными еще, круглыми глазами смотрела, как одевается Рябов. Потом вскрикнула, села на постели. Когда Рябова вывели, она побежала за ним – простоволосая, босая, накинув на себя лимонный летник. Кормщик обернулся, – такой красивой он не видел ее еще никогда: пушистые косы разметались, сонный румянец – нежный и теплый – еще горел на щеках, розовые губы были полуоткрыты, руки она прижимала к груди – тонкие руки, ласковые его рученьки. И оттого, что страшно стиснулось сердце, и оттого, что все в нем рванулось навстречу ей, и чтобы не осрамиться перед драгунами и толпой мужиков, которые месили бахилами и лаптями грязь, – он остановился и сказал грубо:

– Ну, ну! Разбежалась! Иди в избу, слышь?

Таисья остановилась, протянула вслед ему руку, постояла, сделала еще шаг вперед и замерла...

Потом, задыхаясь, побежала в избу, оделась как надо и, спрятав грамотку на груди, бросилась к воеводскому дому спрашивать господина воеводу.

– На Вавчугу отъехал! – ответил ей тихий старичок у ворот.

– Надолго ли?

– Кто ж их знает, сударушка. Мне неведомо. Отъехали и отъехали.

– А Иевлев господин? Стольник царев Иевлев, Сильвестр Петрович?

– Стольник здесь, с корабельщиками, корабельщики к нему пришли. Да ты иди, не бойся, он зла не сделает.

И сам, словно перед боярыней, отворил перед ней низкую калитку.

В сенях не было ни души, только две невиданные, тонкомордые охотничьи собаки обрадовались Таисье, словно знакомой. Она миновала сени, прошла один покой, постучала в двери, за которыми шумели мужские голоса. Никто ей не ответил, она постучала еще раз. Тогда дверь отворилась, и бледнолицый, невысокого роста человек удивленно и нестрого

посмотрел на Таисью яркими синими глазами. В руке у него была дымящаяся трубка, на плечи, поверх кафтана, накинута беличья шубейка. За ним виднелись другие люди, аспидные доски лежали на столе; меж досками и бумагами стоял игрушечный маленький кораблик.

– Тебе кого надобно, краса-девица? – спросил Иевлев.

– Господина Иевлева Сильвестра Петровича! – вольно, словно не в первый раз бывала в воеводском доме, ответила Таисья.

– Я и есть Иевлев...

Он вышел к ней, захлопнув за собою дверь, за которой тотчас же опять вразной зашпорили мужские голоса. Таисья взглянула на него, потупилась, одними губами, вдруг теряя бесстрашие, промолвила:

– Мужика моего забрали нынче на цареву верфь. Увели. Рябов он, Иван Савватеевич, кормщик. Грамота у него от государя Петра Алексеевича...

Иевлев молчал.

Она смотрела на него тревожно, ожидая ответа. Наконец он сказал твердо:

– Что ж худого, что забрали? Корабли надо строить, где народу-то набраться? Волей не идут, гоним силою.

– Дак ведь не плотник он, не конопатчик, не кузнец. Кормщик!

– Придет пора кормить – отпустим, а ныне осень глухая, в море не идти. Чем на печи лежать, пусть дело делает. Мужик с головой, топор-то в руке держать может...

Таисья молчала, не двигаясь. Иевлев добавил мягче:

– На царевой верфи, я чай, не хуже будет, а лучше, нежели в монастыре. Видывал, знаю, каково им там жилось...

Медленно, не оборачиваясь, не поклонившись Иевлеву, она пошла к сеним. Он не окликнул ее, хоть она чувствовала – смотрит ей в спину. Уже в сенях Таисья услышала его голос:

– И не ходи более ни к кому, никто не поможет...

Потом хлопнула дверь.

У ворот она села на лавку, бессильно уронила голову. Старичок воротник сжалился, приветил добрым словом:

– И-и, красавица, что убиваться? Не таков мужик Иван Савватеевич, чтобы на верфи сгинуть. Его море не берет, как же на сухом месте беду ждать? Живи смелее, жди, построит корабли, возвратится...

От воеводской усадьбы Таисья пошла к отцу. У знакомой калитки, почерневшей от дождя, стояла долго, не решалась войти, смотрела на пышные, словно горящие огнем гроздыя рябины. За высоким забором бесились, лаяли позабывшие хозяйку псы-волкодавы.

Увидев дочь, Антип сурово оглядел ее всю, с головы до сапожек, спросил ядовито:

– Ну? Зандобился-таки батюшка?

Таисья спокойно и печально глядела на злого, ощерившегося старика.

– Небось, сволокли твоего сокола? – закричал Антип. – Сволокли, так и я хорош стал? Плати, мол, за моего шиша, за татя, за кабацкого залета, плати, батюшка...

У Таисьи дрогнуло лицо, но смолчала, – пусть бесится. Стояла в своей избе словно чужая, смотрела на родного отца, будто видела его впервые: стар стал Антип, пожелтел, опух, пьет, что ли, много? И вспомнила, как говорили ей люди, что Антип всюду хвастает спасением царя, показывает царский кафтан да шапку, велит себя угощать с почетом.

– Пришла, так кланяйся! – крикнул Антип. – Кланяйся, не стой чурбаном! В ноги пади, проси жалостно, с умилением...

– Для чего так, батюшка? – тихо спросила Таисья.

Старик опешил на мгновение, потом закричал еще злее:

– Падаль гнилая, дура, для кого от меня ушла? Для ярыги беспортошного, для покрутчика, для весельщика. Вот и достигла! А я – кормщик царев, вот я кто! Я самого царя...

Таисья медленно повернулась и вышла в сени. Голову она держала высоко, в глазах не

было ни слезинки. Антип кричал в избе, уронил подсвечник, заругался. Она тихо притворила за собою калитку и пошла к Соломбале, на верфь, туда, куда еще утром угнали мужиков из города. Короткий осенний день уже кончался. Черные тучи – клочкастые, низкие – ползли над городом, над луковками церкви великомученицы Параскевы, над высоким домом богатого попа Кузьмы. Дождь накрапывал – мелкий, медленный, холодный. Стрельцы – в шапках, опушенных лисьим мехом, в долгих, почерневших от сырости кафтанах, туго подпоясанные веревочными поясами – шагали по домам, хмурые, злые, – стыдно бабам в глаза глядеть. У калиток, у крылец подвывали старухи. Конным строем – по три в ряд – возвращались рейтары...

То место, у которого давеча стоял голландский корабль, Таисья не узнала: по берегу шел крепкий, с железными копиями по верхам частокол, над углами возвышались будки – сидеть ратным людям, смотреть, как работают на верфи, да не задумали ли они лиха: бежать, али убить мастера, али уплыть Двиною. И ратные люди из немцев уже сидели в теплых тулупах, в меховых шапках, с алебардами и ружьями, – от такого куда уйдешь? И ворота тоже были не простые, а двойные, шитые железом. В одни въедешь, другие не откроют. Первые закроют, все осмотрят – тогда валяй дальше.

У частокола ходили бабы с распухшими глазами, тетешкали детей. Ребята постарше держались за подолы, дрожали от сырости, спрашивали:

– Мамка, а где тятка наш? Мамка, а чего тятка не идет?

– Мамка, рази тятка еще с моря не вынулся?

– Мамка, тут рыбкой торгуют?

Таисья прижала лицо к частоколу, но никого не увидела, только бревна лежат да два какие-то иноземца прохаживаются, гогочут друг с другом. Простояла долго, до ночи, ни на что не надеясь, ничего не ожидая. И все время к воротам подходили то стрельцы, то драгуны, то рейтары, то таможенные солдаты, вели мужиков из дальних мест – строить корабли.

Ночью Таисья пришла к бабке Евдохе и молча легла на лавку. Бабка сварила сбитню, она не стала пить.

Лежала, не смыкая глаз, в темноте и слушала – все казалось, что-то услышит...

5. ЛЮДИ СОГНАНЫ

На рассвете Сильвестр Петрович приехал на Соломбальскую верфь и велел тотчас же бить в барабан. Барабан отыскался не сразу. Было темно, мозгло, стоял такой плотный туман, что огни караульных костров казались бледными и совсем маленькими. Люди под барабанный бой поднимались с трудом, не понимали – куда им идти, чего от них хотят. Иноземец надзиратель Швибер с кнутом в руке покрикивал в тумане:

– Ну, ну, быстрее, ну, ну...

Иевлев быстрым шагом обошел землянки, везде на два-три вершка стояла вода, спать люди тут не могли, эту ночь народ промучился у леса, назначенного к постройке второго эллинга, у стен верфи, у длинного низкого амбара, в котором сложена была пенька, смола, канаты, топоры, пилы, гвозди...

– Где избы для трударей? – странным голосом спросил Иевлев у надзирателя Швибера.

Тот испугался этого странного голоса, спрятал кнут за спину, сказал, что давеча господин Баженин лес для изб доставил многими плотами, да сложить не успели. Сильвестр Петрович тем же странным голосом велел послать за Осипом гонца, да со спехом.

На верфи, огороженной впрок не для одного, не для двух, не для трех кораблей – куда поболее, горели костры, варилась для трударей жидкая каша. Водовозы возили колодезную воду; под мерное «раз-два взяли» народ разгружал лес с плотов, только вчера пригнанный с баженинских пильных мельниц из Вавчуги. Работали вместе – рыбак с пономарем, беглый поп с кузнецом, землепашец с медником, калашник с лодейным кормщиком...

Корабельные мастера Николс да Ян, сидя в домике, построенном для них на верфи,

пили кофе со сливками, с гретыми калачами. Мастер Ян неторопливо рассуждал, поглядывая на Сильвестра Петровича хитрыми глазками:

– Двинянин должен иметь к нам, господин, страх. Один большой невероятный страх. Тогда мы будем иметь корабли. Первый день на верфи – первый страх. На всю его жизнь – страх. Испуг. Ужас, да, вот как. Больше работают – меньше бить. Меньше работают – больше бить!

Иевлев молчал. Сердце его стучало толчками, щеки горели. Он старался не смотреть на мастера Яна, медленно жуящего гретый калачик.

– Быть может, вы желаете выпить чашечку кофе? – спросил Николс.

– Нет, я не желаю чашечку кофе! – ответил Иевлев.

– Страх, испуг, ужас – очень хорошо! – продолжал мастер Ян. – Только так. Иначе нельзя их удержать.

– О! – сказал мастер Николс. – Это слишком! Даже ученого медведя не надо всегда бить. Мастер Ян несколько преувеличивает...

Они допили свой кофе. Мастер Николс показал Иевлеву сырое пятно на стене, сказал с усмешкой:

– Сюда надо хороший ковер, не правда ли, господин?

– Если мы сюда попали, то для хорошо, а не для плохо! – подтвердил мастер Ян.

– Оно так! – сказал Иевлев, но таким голосом, что оба мастера с живостью на него взглянули. – Оно так! – повторил Сильвестр Петрович. – Чтобы по-доброму было.

– По-доброму! – обрадовался Ян.

– По-доброму, по-доброму! – повторил Николс.

– А чтобы по-доброму, – задыхаясь и не сдерживаясь более, заговорил Иевлев, – а чтобы по-доброму, вы про страх тот, о коем изволили говорить, забудьте на веки вечные, ибо двиняне есть люди ничем не хуже, а может, и лучше вас, господа корабельные мастера. И первый страх, и первый день, и испуг – чтобы я сих слов не слыхивал, ибо сие вам обернется от меня таким страхом, что дорогу в свои родимые места позабудете, и как кофе пить и калачи есть не вспомните...

Мастер Ян открыл рот, мастер Николс вскочил с места.

– Поняли, о чем толкую? – спросил Иевлев.

– О да, разумеется! – сказал Николс.

– Идти пора!

Сторонясь Иевлева, оба мастера повязали шеи шарфиками, напялили меховые кацавейки, поверх – смоленые курточки, потом шапочки с наушниками, потом рукавицы. Оба мастера боялись простуды.

В сенцах мастер Ян снял с полки фонарь, засветил, распахнул перед Иевлевым дверь.

Николс вышел к людям – рассказать, каков будет порядок на верфи, как строить корабли. Он думал, что хорошо говорит по-русски, но его почти никто не понимал. Да и не слушали. Зачем слушать? Что узнаешь от этого коротконового, писклявого, чужого?

Рябов стоял крайним, у самого двинского берега. Рядом с ним зло ухмылялся Семисадов – кормщик, бывший матрос царева корабля. Подальше стоял Митенька, опирался на посошок. За ним вздыхали, слушая мастера Николса, Нил Лонгинов, Копылов. Дальше стояли дед Федор, Аггей, Егорка – тот самый, которого Рябов сманил из монастыря в матросы. Вот тебе и матрос Егорка!

Под дождем во мгле тихо плескалась Двина. Дожди, осенние, тоскливые, заладили без передышки. Поскрипывали, покачивались темные громады барок. Шипя горели караульные и кормовые костры, в слабом сером свете наступающего осеннего утра рядом стояли Иевлев и два иноземных мастера. Рябов узнал Сильвестра Петровича по длинному плащу. Он стоял ссутулившись, втянув голову в плечи. Узнал и решил: «Подойду нынче же! Скажу про цареву грамоту! Пропадать здесь, что ли?»

Попозже, когда совсем рассвело, наступил короткий осенний день и сырой ветер развеял туман, незадолго перед торжеством закладки корабля, Рябов подошел к Сильвестру

Петровичу и удивился, как за это время, за те дни, что миновали с отъезда Петра Алексеевича, похудел Иевлев, как посерело его лицо, как невесело и устало смотрят молодые еще глаза.

– Ну, чего доброго-то скажешь? – спросил Сильвестр Петрович, здороваясь.

Рябов усмехнулся:

– Доброго? Не слышать нынче доброго. Вот – привели, поставили на корабельное строение.

Сильвестр Петрович вынул из кармана трубку, кiset, приготовился слушать. Рябов более ничего не сказал, не нашелся, как вести беседу.

– Далее говори! Чего замолчал?

– Кормщик я. Не плотник.

– То я слышал. Женка твоя прибежала ко мне, просила отпустить Ивана Савватеевича. Да не в моей воле. Корабли надобно строить, пора флоту быть...

Рябов покраснел, отворотился в сторону.

– Один медник, другой квасник, третий поп беглый, – раздражаясь, громко говорил Иевлев. – У всякого свое сиротство, горе, нуждишка. Где же корабельных делателей набрать, откуда им быть? Иван Кононович да Тимофей Кочнев в злой обиде на иноземца отъехали отсюда прочь! Другие вовсе в нетях, убежали. Как быть? Как строить? Али вздор сие все, может взаправду не нужны на Руси корабли? Говори, что молчишь?

– Корабли-то нужны! – молвил кормщик. – Тут впоперек не скажешь...

– Не скажешь? А тебя отпустить? Его, – он кивнул на проходящего мимо салотопника, – его тоже отпустить? Не свое дело делает? Да ты что, смеешься, что ли? А я свое дело делаю? Я, брат, недорослем голубей гонял, арифметике до семнадцати годов не учен, мое ли дело корабельное строение? Сам видел, сколь море знаю. Как сюда с царевым поездом прибыл, горе да смех, сам ты над нами смеялся. Однако вот я тут, на верфи. Быть флоту, кормщик, – понял? Быть на Руси корабельному делу! Запомнил? И более об сем говорить не будем, некогда, да и не к чему!

Он повернулся, пошел к избе, где ждал его испуганный Осип Баженин.

Скинув плащ, Сильвестр Петрович вытер сырое лицо руками, сел на лавку. Баженин следил за ним взглядом.

– Осип Матвеевич... – начал было Иевлев.

– Здесь я, Сильвестр Петрович!

– Вижу, что здесь. Избы ты не построил. Трудники...

– Сильвестр Петрович...

Иевлев страшно грохнул кулаком по столу, закричал бешеным, срывающимся голосом:

– Повешу татя, вора, голову отрублю, на рожон воткну! Тебе прибитки твои дороже дела государева! Коли взялся – сдохни, а сделай! Молчи, когда я с тобой говорю, слушай меня...

Погодя Баженин говорил слезливым хитрым голосом:

– Не разорваться мне, Сильвестр Петрович, ты тут кулаком стучишь, воевода у меня на верфи топает, грозитя. Я-то один!

– Взял подряд – делай! – круто ответил Иевлев. – Не сделаешь – сомну. Почему корабельные дерева по сей день не привезены? Почему столь долго те лиственницы пилишь? Иноземцам доски продавал? Ты с кем торгуешь – с нами али с заморскими негодьями? Нынче смотрел пеньку – куда такая годится? Увезешь обратно, доставишь новую! Сколько стволов в твоей дубовой роще?.. Что молчишь? Тебе деньги за рощу дадены? Где ей опись?

Баженин крутил головой, утирал пот, разглядывал модель корабля, вертел в руках циркули, линейки, образцы канатов, парусины, пакли, нюхал смолу, мял ее пальцами. Иевлев все говорил. На Баженина вдруг напала тоска – хоть беги от обеих верфей, и от Соломбальской, и от своей. Въелись, схватили, словно клещами, царевы слуги. Как быть? Пропадешь ни за что!

Баженина пришли звать куда-то стрельцы – двое десятских и полусотник. Иевлев

спросил их:

– Привезли?

– Здесь.

– Обоих?

– Обоих.

– Пусть идут.

Кочнев и Иван Кононович вошли молча, поклонились, сели без зова. Оба были в нерпичьих кафтанах, с котомками, оба смотрели спокойно, готовые ко всему самому худшему. Стрельцы с мушкетами, усталые, стояли у дверей. Иевлев отпустил солдат, сказал со вздохом:

– Ты прости, Иван Кононович, и ты, Тимофей, тож прости, что не добром вас пригнал на верфь. Добром-то не пошли бы. А корабли строить надобно.

Мастера молчали.

– Иноземцы Николс да Ян – мужики неглупые, пропорцию корабельную ведают, да что им наши корабли: не заболит нигде, коли худо сделают. Русского надо, своего, чтобы дельно работа пошла.

Иван Кононович и Тимофей переглянулись.

– Нынче закладываем фрегат, – продолжал Иевлев, – уже и поп с причтом приехал – освящать. Хорошо бы тебе, Иван Кононович, фрегат тот и заложить.

Иван Кононович густо покашлял, вынул большой платок, утер лицо.

– Господин же Кочнев отправится на Вавчугу к Баженину, с мастером Яном будет работать. Ты здесь – с Николсом, Тимофей – на Вавчуге с Яном. Так-то ладно и пойдет у нас работа.

– Значит, мы под ними? – осторожно спросил Иван Кононович.

– А сие как разумеешь, так и понимай! – с досадой сказал Сильвестр Петрович. – Вы под ними, они под вами, черт...

Он плюнул, встал с лавки, прошелся по светелке.

– Дело надо делать, вот что!

И положил на большой гладкий стол чертеж фрегата, сделанный иноземными мастерами. Иван Кононович вынул из кожаной сумочки очки, протер их, надел на нос, всмотрелся. Лицо его стало добрым, внимательным. Погодя он причмокнул, взял циркуль, стал мерять. Тимофей глядел на чертеж из-за его спины.

– Ну? – спросил Сильвестр Петрович.

– Корма не узка ли? – спросил в ответ Кочнев.

– Оно вам виднее...

Мастера еще посовещались. Иевлев послал за Николсом да Яном. Те явились сразу. Иевлев им сказал:

– Вот наши российские корабельные строители. Сомневаются – не узка ли корма у фрегата. Побеседуйте!

Но беседовать не пришлось – на закладку фрегата приехал сам Афанасий. На верфи во второй раз ударил барабан, работы прекратились, народ пошел к новому эллингу, срубленному из толстых бревен, опирающихся на сильные подпоры. На двенадцати столбах плотники еще доделывали навес. Работы надо было вести в зимнюю стужу, Иевлев решил зашить потом эллинг досками...

Иван Кононович взошел на помост, поглядел, крепки ли основания эллинга, сбоку, прищурившись, проверил угол ската к реке. Архиепископ издали спросил у него:

– Ну что, колдун, колдуешь? Не тепло – дожидаться-то! Дует!

Мастер, не оборачиваясь, ответил:

– А ты не скрипи, старик! Дело, чай, делаю!

Афанасий рассердился:

– С кем дерзишь, дурак? Оглянись!

Иван Кононович оглянулся, но не оробел:

– Прости, отче! Да ведь заругаешься, коли корабль плохо построим!

Народ кругом посмеивался, ждал терпеливо. От человека к человеку несло: «Строить будет Иван Кононович, вишь, приехал из своей Лодьмы. Иноземцы теперь потише станут. Он дело знает!»

В сумерки начали церемонию. Вдоль могучего, гладко вытесанного бревна, которое лежало на дощатом помосте – у киля будущего корабля, встали рядом Иван Кононович, Иевлев, мастер Николс, Тимофей Кочнев, мастер Ян, десятский плотников Рублев, поп Симеон. Митенька Горожанин, довольный, что ему выпала такая честь, поставил на помост чистое новое деревянное ведро со смолою, такой же новый ящик с молотками и гвоздями. Невдалеке от верфи, в церквушке ударили колокола. Афанасий с попами и причтом, с соборными певчими и певчими-доброхотами пошел вокруг киля. Когда процессия поровнялась с Иваном Кононовичем, он, вдруг сделавшись белым, как полотно, строго поджав губы, макнул кисть в ведро со смолою и старательно, ловко и быстро промазал часть бревна. Синий дымок из кадила окутал мастера ладаном, он оказался словно бы плывущим в облаке. Митенька подхватил из руки его кисть, подал молоток. Иван Кононович короткими и точными ударами загнал гвоздь в брус по самую шляпку. То же сделал и Сильвестр Петрович. Кисть и молоток пошли дальше – от человека к человеку...

Рябов стоял неподалеку в толпе, смотрел на церемонию, думал: «Что ж, может, и в самом деле толк будет. Мало ли чего хлебали, спробуем и сего. Поживем – увидим!»

6. ПОВЕСЕЛЕЕ БУДТО БЫ!

К ледоставу с двинского устья сняли караульную, Афанасий Петрович со своими таможенниками вернулся в таможенную избу. Здесь, при свете короткого дня, резал доски для Таисьи, чтобы могла прокормиться и отнести своему горькому кормщику, за стены корабельной верфи, каравай хлеба да печеную рыбу. Доски получились всем на удивление. Таисья обрадовалась, сама она еще шила золотом узоры, брала их с трав и листьев, с еловых лап, покрытых снегом, а то и просто придумывала. Вышивала, как на Печоре да на Мезени – рукавички и чулки, как на Пинеге – пояски, как в Красноборске – кушаки из шерсти.

Иноземные купцы хвалили рукоделие, качали головами, но платили мало. Однако Таисья с рыбацкой бабинькой Евдохой жили не голодно, да и сироты при них кормились...

Иногда навещал обеих женщин Крыков и тотчас же отыскивал себе дело: то подмазать глиной печку, то подправить матицу, то вон крыльцо разъехалось! Колот толстые смолистые пни – зима шла холодная, сухие дрова всегда сгодятся. Отработав, возвращался в избу, его угощали квасом, щами, ущицей. Он вежливо отказывался...

При нем зашел как-то человек из Лодьмы – принес корабельным мастерам в острог еды. Узнав, что Иван Кононович и Кочнев живут на воле, удивился, не поверил. Вечеру они встретились, долго говорили, как строится фрегат, как делают второй и третий эллинги. У Ивана Кононовича от разговора покраснелось лицо, было видно, что он доволен. Тимофей помалкивал, но на слова старого мастера кивал головою.

– А иноземцы как же? – спросил Крыков.

– Сильвестр Петрович их в струне держит.

– И слушаются?

– При нем слушаются, без него да без Федора Матвеевича – куда как дерзкие...

– А дело знают?

– Дело знают, повидали кораблей на своем веку...

Таисья тихо спросила:

– Живется-то там тяжело, Иван Кононович?

Мастер ответил не сразу:

– А где легко, Таисья Антиповна? Везде тяжело, да тут хоть дело делаем...

Когда мастера поднялись уходить, Таисья, как всегда, собрала узелок для Рябова. Афанасий Петрович смотрел на нее, думал с грустью: дал бог кормщику на всю жизнь

подружку. С такой ничто не страшно.

Сам Крыков жил одиноко, Молчана забрали на верфь в Соломбалу, захаживал один только Кузнец, но с ним было скучно – говорил только про страшный суд да про пришествие антихриста. О Ватажникове и Гриднине был слух, что они на верфи в Вавчуге, хорошо еще, что не скрутили им руки и не отправили на Москву, да в Кромь, да в Рязань, – там бы бояре их казнили смертью...

Крыков жил – день да ночь, сутки прочь. По ночам в жарко натопленной таможенной избе не спалось – подолгу думал. Мысли бежали чередой – невеселые, трудные, беспокойные. И если раньше, в былые годы, ждал от будущего Афанасий Петрович только хорошего, то нынче о хорошем и не мечтал. Ждал только худого...

Так прожил ползими.

Однажды в воскресный день поднялся до света, умылся в сенях таможенной избы ледяной водой, расчесал жесткие волосы костяной своей резьбы гребенкой, вышел во двор, где едва начинали розоветь снега. Чистым морозным воздухом ударило в грудь, вспомнилось разом все то доброе, что случалось в последнее время: и слова архиепископа тогда, в Холмогорах, и участие Сильвестра Петровича, и обещание его не забыть беды разжалованного поручика, и капрал Костюков, который сам побежал с Рябовым к Иевлеву... Слезы вдруг высклились из глаз от радости, что жив, что дышит, что видит, как гаснут в небе ночные звезды, как занимается утро.

– Ничто, – тихо молвил бывший поручик, – ничто, еще поживем, еще достанется нам и хорошего. Все еще будет, все...

Пошел по снегу, откинув голову назад, глядя в небо: оно уже высветилось, звезды мигали робко, словно бы таяли. Призывно, громко, настойчиво заржала на конюшне кобылка Ласка. Крыков вошел в теплый денник, на ладони протянул Ласке кусок круто посоленного хлеба. Ласка взяла мягкими губами, уши ее запрядали. Афанасий Петрович похлопал ее по шее, поборолся немножко с таможенным конюхом, повалил его на солому, спросил:

– Смерти?

– Живота! – попросил жалобным голосом седобородый, крепкий, как медведь, дед Кузьма.

– А может, смерти?

– Живота, живота, Афанасий Петрович!

– То-то!

Потом дед Кузьма охал, прикидываясь увечным, крутил головой:

– Ну и силища у тебя, Афонь, ах-ах! С такой силищей на медведя ходить...

– Вот ты у меня и есть медведь, дед Кузьма...

Вернувшись в еще спящую ради воскресенья таможенную избу, разбудил Евдокима Прокопьева, сел рядом с ним на лавку, спросил:

– Как нынче жить будем, Евдоким Аксенович?

Прокопьев посмотрел на Крыкова сонным взглядом, сладко зевнул, потянулся и сказал:

– Авось, до своего дня и доживем. Ты, я зрю, ноне повеселее сделался?

– Повеселее будто бы! – ответил Крыков.

7. ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

К Василию-солнцевороту многие люди на верфи в Соломбале занемогли цынгой. Лекарь-иноземец, в коротком черном кожаном кафтане, подходил к недужному, смотрел десны, больно выворачивал веки, сгибал руку или ногу, потом длинным пальцем писал в воздухе крест. Надзиратель немчин Швибер, пристроенный на верфь полковником Снининым, спрашивал, чем помочь, – лекарь пожимал плечами.

Цынга валила с ног человека за человеком.

Да и как было ей не разгуляться на верфи?

Утром на всех варилась похлебка – бурдук из ячменной муки, в обед на верфи били в

било, несли деревянные кадушки с заварухой – вареной репой с квасом, с солодом. Более ничем не кормили. Хлеб был мокрый, сырой, с корьем и щепками. На рождество дали саламату – толокно с вонючим нерпичьим жиром. От саламаты многих работных людей раздуло, дед Федор в тот же вечер помер. Помер тихий медник с Пробойной улицы, похоронили тяглеца Еремея.

В ночной темноте, под свист метели, когда от злого мороза трещали углы в избе трудников, старики, согнанные из дальних деревень, негромко пели:

Внуши де мати плач горький
И жалостный глас тонкий,
Виждь плачевный образ мой,
Прими, мати, скоро во гроб твой,
Не могу аз больше плакати,
Хотят врази меня заклати,
Отверзи гроб мой, мати,
Прими к себе свое чадушко...

Заводили тоскливые божественные старины: сон богородицы, страдание Христово. Более всего нравилось слушать мучения Иосифа Прекрасного, «егда продаша братие его во Египет...».

Митенька совсем отоцал, в его завалившиеся черные глаза страшно и грустно было смотреть. Семисадов отпаивал хроменького наваром хвои, Рябов отдавал ему почти все, что приносила Таисья. Митрий сох на глазах. Не по силам была ему работа с топором, не мог ворочать тяжелые обмерзшие бревна...

После рождества слег Семисадов. Рябов подсел к нему, потрепал по плечу, сказал угрюмо:

– Вставай, брат. Перемогись. Знаешь сам, как с ей воевать, с цынгой. Ходи ногами...

Семисадов еще раз поднялся, вышел на морозец, взял на ладонь снегу, лизнул, попытался тесать бревно, но сил не хватило; слабо, растерянно улыбаясь, вернулся в избу. В субботу пришел Дес-Фонтейнес, посмотрел Семисадову десны, согнул руку, сказал четко:

– Можно работать. Лежать еще рано. Да, работать!

Семисадов попытался подняться – не смог. Надзиратель Швибер ждал, поигрывая коленкой. Погода спросил:

– Знаешь, как надо помогать коню, когда он упал?

Семисадов не ответил. Лежал у печи – большой, костлявый, с тоской смотрел на иноземца, – знал, тот будет бить кнутом. Швибер оттянул кнут за спиной, размахнулся, для начала ударил по полу. Как раз в это время Рябов, выкатывая лесину, провалился в полынью и шел в избу переодеться. Ему навстречу бежал Митенька с известием – Семисадова иноземец Швибер собрался до смерти убивать.

Кормщик рванул дверь.

Швибер оглянулся и помедлил бить.

– Брось кнут-то! – молвил кормщик.

Надзиратель искоса посмотрел на кормщика, послушал, не идет ли кто, спросил:

– Он встанет сам?

– Встанет! – сказал Рябов.

– Ты так говоришь, что я могу верить?

– Можешь!

Швибер ушел.

Рябов переоделся в сухое, снял льдинки с бороды, сел на пол рядом с Семисадовым.

– Не встать мне, пожалуй! – сказал Семисадов. – Ослаб больно!

Но Рябов заставил его встать и выйти на работу еще раз, сварил ему хвои, велел пить сколько может. Семисадову стало получше. Но надолго ли? Надо было уходить, надо было

бежать, но как – никто не знал.

Несколько дней подряд Рябов парил в глиняном горшке хвою, поил настоем Семисадова, не торопясь, осторожно выводил его на волю, на мороз, скармливал ему все, что передавала Таисья. Семисадову полегчало.

Длинными ночами шепотом строили несбыточные планы побегов, потом задумывались: как подкоп делать, когда земля на аршин промерзла? Чем копать, когда инструмент на вечерней заре по счету принимают караульщики? А потом куда денешься, как минуешь стену верфи? Разве можно уйти незамеченным от воинских людей, охраняющих цареву верфь?

Еще одна забота кроме больного Семисадова, кроме Митеньки, была у Рябова: самоедин старичок Пайга. Как-то случилось, что самоедин, работая на постройке корабля, неловко протянул топор мастеру Николсу. Тот, не оглядываясь, поддал ногой стоящему на лестнице Пайге, старик потерял равновесие и нечаянно схватился за ногу мастера. Оба свалились вместе. Надзиратель Швибер прибежал на крик Николса, на его ругательства. Старый Пайга на четвереньках уползал в сторону, пряча голову, чтоб не убили по голове. На эту-то старую, лысеющую, в космах жидких волос голову едва не наступил кормщик, вынырнувший из-за бревен с досками на плечах.

Надзиратель уже искал взглядом, кого ожечь первым. Уже повели Николса делать припарки на поврежденную ногу. Уже кнут засвистел над старым Пайгой, чтобы первым ударом разрубить облезлую его меховую кацавейку, а вторым – сорвать кожу со старых ребер. Уже охнули корабельные трудники при виде начавшейся расправы. Но расправы не случилось. Рябов с грохотом швырнул доски под ноги Швиберу, распрямил могучие плечи, шагнул вперед, закрыв собою старика. И тотчас же почувствовал – не один, рядом прерывисто дышал еще человек, – кто, он не заметил.

– Не бей! – велел Рябов.

Надзиратель держал кнут за спиной, оттягивал удар. Да и кого ударить – Рябова или его соседа, что стоял, выставив вперед черную в кольцах бороду, жег надзирателя сатанинским взглядом?

Швибер еще оттянул кнут – чем сильнее оттянешь, тем круче будет удар.

– Тебе говорю – не бей! – повторил Рябов. – Кого бить хочешь? Дите малое? Что ему ведомо? Олешки да тундра! Сам же старик упал, сам побился, за что хлестать кнутом?

Швибер решил, что лучше кончать дело миром.

– Упал? – спросил он деловито.

– Первым и повалился! – подтвердил Рябов.

– Ты говоришь истинную правду?

Кормщик кивнул.

Швибер огляделся – не смеется ли кто-нибудь. Никто не смеялся. Тогда Швибер сказал:

– Я тебе благодарен, что ты помог мне избежать большой грех! Я тебе сильно благодарен. Наказать без вины – грех...

Толпа трудников угрюмо молчала.

Швибер повел плечом, замахнулся кнутом над головами:

– Работать! Ну! Пусть старик отдыхает сегодня, завтра и еще раз завтра. Впрочем, ему довольно два дня...

И Швибер ушел. Рябов повернулся к своему соседу, спросил:

– Чего замешался в дело? Убить он мог запросто кнутом своим.

– И тебя убить мог запросто! – ответил Молчан.

Рябов усмехнулся.

– Меня не больно-то убьет! Я вон каков уродился...

Молчан ответил просто:

– Ты хорош, да и я не слабенек. У меня жилы что железные. Спробуй – разогни...

И подставил согнутую в локте руку.

Рябов хотел разогнуть с ходу – не вышло. Пришлось повозиться, пока распрямил.

Старый Пайга отполз в сторону, следил с интересом, как меряются силами Большой Иван и черный бородатый Молчан. С этого времени старый Пайга тенью ходил за Рябовым и даже спать перешел в ту избу, где спал кормщик. Здесь устроился у двери, где потягивало морозцем, – в самой избе ему было душно. Здесь ел свою строганинку (Рябов доставал старику сырое мясо – посылала Таисья, он строгал его и ел с ножа). Здесь пел свои песни, закрыв глаза и раскачиваясь, словно в нартах, или вдруг начинал рассказывать про майора Джеймса, как тот приехал и сделал великое разорение всему кочевью. Русские не понимали, но слушали внимательно, качали головами, обижались за старого Пайгу...

– Крепко, видать, старичку досталось! Вишь, все помнит...

– Гляди, плачет! Обидели, видать...

– Стой, пусть дальше рассказывает...

– Сказывай, дедка, сказывай... Полегчает...

Пайга рассказывал про майора Джеймса, про то, как осталась там, далеко, вся его семья – дети, внуки, как его вели в город – веревкой к седлу. Трудники догадывались:

– Вишь, что сделали! Удавку – на глотку и повели!

– А тебя пряниками заманили? Али сам пришел?

– Ну, его в карете привезли...

Зычный хохот несся по избе:

– В карете! Хо-хо!..

Иногда старик Пайга рассказывал, как зверовал в тундре, как ловил рыбу, как женил сына, хоронил отца. Рассказывал про тадибея-знахаря, как тот от болезни лечит. Сам показывал тадибея, как скачет и заклинает. Трудники смеялись:

– Во, чудище!

– Каждому человеку своего попа надобно. А вот я ему нашего попа покажу – чего он скажет!

– Ты – потише!

– Чего – потише! Наш попище, почитай, трезвый и не родился.

Молчан, много где бывавший, рассказывал:

– А чего? Народ как народ. Честный, завсегда к тебе с открытым сердцем. Я у них живал, ничего, обижаться нельзя. Народ кроткий. Хоронят они по-своему – покойников в дальнюю дорогу собирают: в чуме, в избе ихней, шесты поломают, положат к покойнику в гроб ложку, чашку, все, чего в том пути занадобится, хорей его еще, погонялку, чтобы было чем в том краю олешек погонять... Верно говорю, отец?

Пайга кивал старой головой, будто понимал, что говорит Молчан, улыбался, медленно укладывался спать возле двери.

Как-то Рябову занедужилось, простыл – ломало плечи и ноги, в голове стреляло словно из пушки. Тогда ночью Рябов заметил: старый Пайга вынимает из-за пазухи чурочку, что-то странное с ней делает. Встал, присмотрелся, понял: Пайга кормил своего бога кашей, чтобы выручил кормщика из лихоманки.

– У каждого свой бог! Самоедину бог – чурочка, – сказал Рябов Митеньке. – Толку не видать, а тоже надеется...

В феврале еще похоронили многих. Зима стояла крутая, морозы не отпускали. Долгими ночами во все небо играли сполохи – в черном ковше ходили золотые мечи, копья, стрелы. Старики, разрывая душу, все пели о смерти, о гробе, о прахе. Один – желтый, иссохший – читал в темноте длинной ночи напамять:

«Живот речет: – Кто ты, о страшное диво? Кости – наги, видение твое и голос твой – говор водный. Что гадает звон косы твоя? Поведай мне! Смерть речет ответно: – Я – детям утеха, старым отдых, я – рабам свобода, я – должникам льгота, я – юным вечный покой. Живот речет: – Почто стала на пути моем и гундосишь немо? Пойди от нас туды-то и туды-то, Смерть, в темные леса, в чисты поля, за сини моря; а се я тебя не боюсь...»

Трудники, слушая старика, посмеивались. Кто постарее – ворчали:

– Какие такие хаханьки нашли?

– Пошто, бесстыжие, регочете?

Старик, подождав, опять читал по памяти:

«Смерть речет: – Молодым-молодехонек, зеленым-зеленехонек, о живот, красота, сердце мое услади. И любовь моя быстрее быстрой реки, острее вострого ножа...»

Из темноты неслись насмешливые бесстрашные слова:

– Она полюбит!

– Хитрая! Ей только поддайся!

«Живот же речет, – опять бубнил старик из своего угла: – Ты – косец. Коси ты нивы твои, к жатве спеющие. Я – юн, я – плод незрелый, здесь нет тебе дела...»

– Дескать, валяй отсюда!

– Перемучаемся, мол, без тебя!

«Смерть же речет: – О живот! Слышишь ли звон, звон тетивы на луке моем? И се из острых остра смертная стрела тебе уготованная...»

Так, бок о бок со смертью кое-кто дожил до заветного для поморов времени – до Евдокии. Звезды горели ярко и чисто, играли переливами, подмигивали низко над самым морем. К этой поре зима кротее, надо думать о будущем лове. Вспоминали: в Крещение целый день тянул крепкий «север» – к большому лову.

В эту ночь, в первый раз за все время корабельных работ, запел Пашка Молчан. Сидел, привалившись к стене, постукивал по лавке грязной ладонью, пел никем еще не слышанную песню, не похожую на то, что певали другие трудари.

Песня была тягучая. Молчан пел ее с угрозой в голосе, медленно оглядывая лица, едва освещенные светом лучины, коптящей в поставце:

На судне была беседа
Ну, построена беседа кипарисовая...
В беседе стоят столики дубовые,
На них скатерти разостланы шелковые...

Рябов сидел неподалеку от Молчана, смотрел, как сошлись у него брови над переносьем, как блеснули белки полужакрытых глаз, как притопнул он лаптем:

За столами-то сидели да двенадцать молодцов,
Да двенадцать молодцов-то, все донских казаков,

И вновь с угрозой – тихой и гневной:

Как один-то был молодчик, он почище всех,
По суденцу молодчик все похаживает,
В звончатые он во гусельки поигрывает,
Вспоминает батюшку – славный тихий Дон...

Песня старикам не понравилась, что мало божественная. Молчан посмеивался, показывая ровные белые зубы, улыбка у него была недобрая, жестокая. Рябов задумчиво сказал:

– Нет, песня ничего! Неспроста поется...

Молчан быстро на него взглянул, вновь потупился. Старики завели свое – про сердитого бога. Когда кончили и стали хвалиться каждый своей песней, Семисадов плюнул и велел Молчану показать, чего-де он еще может, да сполна. Молчан не отвечал, улыбался.

– А что это, дяденька, за человек такой – в твоей песне на гуслях играл? – спросил из дальнего угла Митенька.

– Человек наибольшей...

– Кто ж он?

Молчан обвел взглядом избу поверх голов трударей, сказал негромко, но так, что слышали все:

– Песня сложена про Степана Разина, вот про кого.

В избе сделалось тихо. Старики у печки перешептывались между собой. Семисадов громко вздохнул. Молчан потянулся так, что захрустели кости, спросил:

– Напужались?

И стал разуваться – спать. Старый Пайга пошел к двери – укладываться на холодке.

– Да ты погоди! – попросил Молчана Рябов. – Чего заспешил? Хорошо поешь, еще спой.

– Спеть? Так вы боитесь песен...

– Зачем нам бояться? – спросил Семисадов. – Песня, она для того и песня, чтобы ее пели. А песни твои хорошие – вольные.

Молчан спел еще:

Ух, вы гряньте-ка, ребята, да вниз по Каме, по реке,
Вниз по Каме, по реке, да к белокаменной тюрьме.
Белокаменну тюрьму да всю по камню разберу,
С астраханского да с воеводы с жива кожу я сдеру...

Старики закрестились, Семисадов громко хохотнул, Рябов хитро шурился. Молчан тонко, гневно выпевал:

Еще грянули ребята да вниз по Каме, по реке,
Вниз по Каме, по реке, да к белокаменной тюрьме.
Белокаменну тюрьму да всю по камню разобрал,
С астраханского воеводы с жива кожу я содрал...

– За что он его так, дядечка? – спросил серьезно Митенька.

– За дело, небось! – ответил Рябов.

Кругом заговорили, заспорили, вспоминали неправды и воровские дела воевод, дьяков, начальных людей, отца келаря, Осипа Баженина, иноземцев, Джеймса, Снивина, всех, кто мучил и бесчестил безвинных беломорских, двинских трударей, рыбаков, зверовщиков, черносотников...

– Мало одной кожи-то! – сказал Семисадов. – За наши беды и поболее содрать можно, чтобы вовеки неповадно было...

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

И неустанно подводили мины под фортецию правды.

Петр Первый

1. ВОРЫ

В морозные ветреные сумерки на таможенный двор со скрипом въехало более дюжины саней, крытых рогожами, крепко затянутых лыковыми веревками. Мужики, с заиндеветыми бородами, замерзшие, злые, кнутами нахлестывали усталых коней, спрашивали начального человека, кричали, что ждать не станут. Евдоким Прокопьев позвал Крыкова. Мужик с сизым от стужи лицом попросил Афанасия Петровича:

– Принимай кладь, хозяин. Да не медли, для господ, застыли, терпежа более нет...

– А что за кладь? – спросил с удивлением Крыков.

– С верфи – мука аржаная, сухари печеные, масло, соль, туши мясные...

Евдоким Прокопьев подмигнул Крыкову. Тот позвал солдат-таможенников, открыл амбар, велел таскать кули и бочки. Сам увел озябшего возчика в избу, попотчевал водкой, сбитнем. Мужик, отмякнув, рассказал, что обоз послан сюда немчином по прозвищу Швибер.

– А ранее возил с верфи? – спросил Крыков.

– На подворье возил гостям-купцам, – сказал возчик. – Дважды в Гостиный двор возил. То еще по осени было, колесами ездили.

В эту минуту в избу вошел быстрым шагом майор Джеймс. Он был взбешен, но сдерживался, потому что не придумал еще, что сказать, а что-то сказать непременно следовало.

Афанасий Петрович смотрел на майора.

Джеймс заговорил:

– На верфи имелся избыток. Я купил сей избыток для прокормления солдат таможи.

Крыков молчал. Евдоким Прокопьев глядел в угол.

– Я купил выгодно для таможи! – воскликнул Джеймс.

Афанасий Петрович и на это ничего не ответил.

Попозже, посоветовавшись с Евдокимом и капралом Костюковым, Афанасий Петрович отправился искать Иевлева. На верфи в Соломбале его не было, не было и в воеводском доме, где он жительствовавал. Старик-воротник сказал Крыкову, что Сильвестр Петрович уже более недели как уехал на Вавчугу – на другую верфь, туда ему и почту возят из Москвы.

Перевалило уже за полночь, когда Крыков верхом выехал лесной дорогой на баженинскую верфь. Было морозно, студёный ветер хлестал лицо, леденил, высекал слезы из глаз. Баженинские сторожа, вооруженные мушкетонами и пищалями, долго не пускали застывшего на холоде Крыкова в дом Осипа Андреевича. Крыков осмелел, сказал, что он по государеву спешному делу. Ворота заскрипели. Афанасий Петрович спрыгнул с коня, разминая озябшие ноги, быстро поднялся по высокому крыльцу.

В доме вздували огонь, бегали с лучинами, со свечами. Показался сам Баженин – огромный, нечесаный, в пуху, босой, спросил, за каким бесом всех побудил? Крыков ответил, что скажет обо всем Иевлеву и никому более.

Сильвестр Петрович в накинутой на плечи беличьей шубке скорым шагом вышел к Крыкову, молча, не перебивая, выслушал нехитрую историю о том, как попались в руки таможенникам воры с верфи.

Баженин хохотнул в дверях, сказал Крыкову:

– Для того весь дом ты побудил?

Иевлев повернулся к Баженину, приказал властно:

– Иди-ка отсюда, Осип Андреевич! Иди!

Баженин ушел посмеиваясь, Иевлев прошелся по светлице, заговорил задумчиво:

– Что ж, спасибо тебе, Афанасий Петрович, спасибо. Я и сам знал, что воруют, обкрадывают трудников, да как тая схватить? Спасибо! Строение корабельное есть дело государево, и воровство на сем деле имеет наказанным быть преждестоко. Жаль, воевода наш, Федор Матвеевич, нынче на Москве, он на сии мерзости крут, рука у него тяжелая. Ну, да управимся и без него. Через часок-другой поедем в Архангельск, я только малым делом потолкую с Кочневым да с иноземцем, с Яном...

– Ужились они? – спросил Крыков.

Иевлев махнул рукой:

– Где там! Что ни день – грызутся, перья летят. Мирю, кричу, ругаю их, работать надобно, ничего не поделаешь... С ног я сбился, Афанасий Петрович: две верфи, сколько кораблей сразу заложили, а люди бегут, не работают...

– Которые бегут, которые помирают! – с едкой усмешкой сказал Крыков.

Сильвестр Петрович ничего на это не ответил.

К вечеру они оба вернулись в Архангельск, и Иевлев тотчас же посетил полковника Снивина. Снинин был учтив, низко кланялся, сказал, что видит для себя высокую честь в

посещении столь славного гостя. Сильвестр Петрович оставил без внимания слова Снивина, велел немедленно и за крепким караулом доставить майора Джеймса и надзирателя с верфи – Швибера. За Швибером Снинин послал двух рейтар, Джеймс сам вышел из соседней комнаты, – там он играл в кости с супругой полковника.

Майор был на голову выше Иевлева, его сытые глаза равнодушно смотрели из-под насурмленных бровей, но Сильвестр Петрович сразу заметил, что Джеймс боится, равнодушие он только напускает на себя. Снинин тоже был встревожен. Анабелла в соседней комнате ломала руки и плакала...

Швибер нисколько не отпирался: он, войдя, был уверен, что майор успел все рассказать и во всем покаяться. Джеймс топнул на него ногой, назвал лжецом, даже замахнулся, но полковник Снинин посоветовал ему быть благоразумным.

– Я предполагал, что поступаю правильно, когда дешево купил продовольствие для таможни! – сказал Джеймс. – Разве я мог знать, что оно краденое? Швибер продает, я покупаю, вот и все!

– Сии поступки в обычае наказывать битьем кнутами нещадно! – ответил Иевлев. – Татей казнят по-разному. Еще бывает руку уворовавшую правую сламывают навечно, чтобы той рукой тать более не крал. Еще рвут щипцами ноздри, уши рубят, а закосневших в воровстве вешают площадно. Об жестоких нравах московитов вы и сами осведомлены немало, часто об сем предмете беседуете...

Он говорил лишнее, но сдержаться себя не мог.

– Кнутами казнь пружестокая. Битье нещадно означает смерть – не менее того...

Джеймс часто стал дышать, взгляд его из сытого стал молящим, Швибер рухнул перед Сильвестром Петровичем на колени. Иевлев, не глядя на них, сказал Снинину:

– До прибытия господина воеводы приказываю вам, полковник, содержать майора Джеймса и надзирателя Швибера под домашним арестом за строгим караулом. Имущество их также приказываю вам, полковник, объявить заарестованным, а деньги пересчитать и запечатать казенной печатью. Муку, мясо, сухари – все, что на таможенный двор свезено, сейчас же препроводить вам должно в Соломбалу, на казенную корабельную верфь... Надзиратель Швибер, вы поедете со мной на верфь, я должен знать, с кем и как вы воровали...

Не поклонившись, он вышел из дома полковника, вскочил в седло, погнал измученного коня в Соломбалу. Сзади в возке под караулом ехал Швибер, сморкался и плакал.

На верфи Сильвестр Петрович нарядил следствие. Швибер сразу же назвал своих помощников: попа-расстригу Голохвостова и ярыгу по кличке «Зубило». Голохвостов ни в чем не винулся, сидел опухший от пьянства, наглый, посмеивался, показывая черные корешки зубов; ярыга Зубило возрыдал, стал искать руку Иевлева для лобзания.

Иевлев приказал вести себя на поварню.

Во дворе били барабаны, будили трудников. Холодный морозный ветер дул с моря. Смутно белели засыпанные снегом закрытые эллинги. Хлопали двери изб, в темноте отовсюду слышались надсадный кашель, ругань, топот сапог, крики десятских, старшин, артельных – народ шел на работы. Подручные кузнецов вздували горны, багровое пламя освещало худые землистые бородатые лица, впереворот со звоном били молоты, повизгивали пилы. Закипала смола в котлах...

Сильвестр Петрович вошел в поварню, две стряпухи испуганно поклонились; он взял у одной из них черпак, налил себе в мису, отведал, спросил бешеным голосом:

– Для людей сварено?

Стряпухи завыли, надзиратель Швибер осторожно отведал варево, сказал, пожав плечами:

– Сия похлебка не так уж дурна!

У Сильвестра Петровича словно бы даже просветлело лицо:

– Не слишком дурна? Что ж...

И велел налить всем трем ворам по цельной миске, чтобы наелись всласть. Воры

хлебали, он стоял над ними, спрашивал:

– Хороша похлебка?

Со Швибера лил пот, он глотал, давясь, захлебываясь; но Иевлев был так страшен, рука его с такой силой сжимала татарскую плеть, глаза так щурились, что надзиратель все хлебал и хлебал и никак не мог остановиться. Сзади, мягко ступая в валенках, подошел Иван Кононович, сказал, поглядев на Швибера:

– Помрет он, Сильвестр Петрович...

Иевлев велел вести воров за караул, сам вышел на ветер – отдышаться. Весь день он пробыл в Соломбале, пытался навести добрый порядок на верфи, ходил по избам, сам смотрел, как закладывают в котлы продовольствие, сам снимал пробу и с тоской думал, что на Вавчуге, небось, ничем не лучше, чем здесь. Татьба не ночная – дневная, и сам Баженин в ней – не последний человек. Как же быть? Что делать?

До поздней ночи он просидел на лавке в душной избе корабельных трудников – плотников, кузнецов, конопатчиков. Народ говорил, он слушал, не смея взглянуть людям в глаза, не смея перебить. Когда все выговорились, Иевлев с трудом поднял взгляд, заговорил медленно, тяжело:

– Корабли строить есть дело государево. Пора быть флоту...

Семисадов сказал со вздохом:

– Ведаем, Сильвестр Петрович. Полегше бы только: мрет больно народишко. Маненько бы полегше...

Иевлев ответил, что обидчики пойманы, будут наказаны, корм пойдет получше. Рябов усмехнулся на его слова, сказал насмешливо:

– Ой, Сильвестр Петрович, так ли? Одного татя поймал, другие не дадутся. Хитрее будут. Да и то: вот на Вавчуге ты сам видел, а лучше ли там? Говорят, не лучше – хуже, от тебя и концы в воду спрятаны. Здесь Швибер – немчин, на Вавчуге Баженин – свой. А толку что?

Молчан издали с ненавистью крикнул:

– От них дождешь! Наголодаешься, кнутами засекут, ручки-ножки повыдергивают, на страшный суд и предстать в таком виде будет соромно...

Сильвестр Петрович прищурился на чернобородого, косматого Молчана, спросил отрывисто:

– Кто таков?

– Человек божий, обшит кожей! – нагло ответил Молчан.

Так ничем и не кончилась беседа. Люди были измучены и ожесточены до крайности, все хотели с верфи уходить, об иноземных мастерах Николсе и Яне отзывались с ненавистью, Швибера сулили убить до смерти, ежели еще придет на верфь.

Ночью Сильвестр Петрович вернулся в пустой холодный воеводский дом, высек огня, зажег свечи, велел прислать дьяка с почтой и затопить печь. Когда дьяк вошел, Иевлев уже спал, сидя, неудобно откинувшись в кресле...

2. БОЛЬШОЕ РУКОБИТИЕ

В субботу на верфь пожаловал отец келарь, привез рыбалям, что трудились когда-то на Николо-Корельский монастырь, милостыньку: сани-розвальни ржаных поливушек, соленой рыбки, два бочонка ставленного квасу. Трудари на милостыньку посмеивались:

– Ироды окаянные. Поливушки спекли из тухлой муки. Плесенью шибает...

– А рыбка-то! Ну и засол...

– Монастырская милостыня – дело известное...

Начальству было особое приношение: Николсу да зрителям, артельщикам, старшим – вяленое лосевое мясо, отборные курочки, меда наилучшие, рыбыны легкого копчения на можжевелевом дыму.

Приехал Агафоник за делом: сговорить рыбарей снова пойти на монастырь работать. С

келарем начальство спорить не стало: люди на верфи поослабели, пора было заменять другими. Сменщиков уже гнали стрельцы по торным дорогам из Онеги, Пинеги, с Повенца и Каргополя. Дело корабельное намного сделано. Доделают другие...

Агафоник, подбирая полу однорядки рукой, перешел корабельный двор, сел в избе трударей, оперся бородой на посох, спросил:

– Усмирели, спорщики, я чай?

Рябов, запихивая в рот монастырскую поливушку, смотрел на келаря неотрывно, пока тот не отвел взгляд. Так же смотрел и Семисадов, жег завалившимися глазами. А незнакомый, чернобородый, надо быть из острожников, улыбался в усы.

Агафоник, ежась, заговорил:

– Господа корабельщики могут вас, дети, отпустить к монастырю, коли обитель заплатит за вас недоимки, да выкупных надбавит, да подушных. Ныне отец настоятель за прошествием времени вас простил, ибо не ведали, что творили. Коль животами своими дорожите, спасайтесь – вон ведь сколько померло...

И Агафоник с сокрушением покачал головой.

Рябов вышел вперед, спросил:

– Запивная денга с собой?

Агафоник от злобы подскочил, ударил перед собой посохом: острожники, мертвецы живые, а, вишь, о задатке толкуют, будто на воле, будто сами себе хозяева.

– Чего?!

– Спрашиваю – с собою ли запивная денга? – спокойно повторил Рябов.

– Да ты в уме? Мало всего, что было? Я спасти их пришел, а он мне что говорит?!

Рябов поправил в поставце лучину, сложил на груди могучие руки. Рыбари сидели и стояли вокруг – тихие, испуганные, поглядывали с ожиданием то на келаря, то на Рябова, то на Семисадова и Пашку Молчана.

– Не ты, отец, первый нас желаешь, – медленно, с достоинством заговорил кормщик, – не ты, даст бог, и последний. Море наше большое, а рыбаков на морюшке не так-то много. Монастырь казну на рыбе складывает – то всем ведомо. Кого попало наберете – сами каяться будете. Снасть ваша дорогая, богатая, не враз новую постройте. Верно ли говорю, други?

Рыбаки робко подтвердили:

– То так!

Рябов говорил дальше:

– Обиды вы нам, служникам монастырским, злые чинили. Молитесь, а не по-божьему делаете! За что жестоким заточением наказаны были многие морского дела старатели? За что заперли в подземелье, словно бы татей, добрых наших трударей? За что меня невольником на чужеземный корабль продали?

Агафоник застучал посохом, закричал, заплевался, но вскорости притих. Рыбаки смотрели на него недобрыми глазами. Злее всех смотрел чернобородый, незнакомый. Рябов молча выслушал все угрозы и ругательства отца келаря и упрямо завел свое: нынче, мол, тому не быть, что о прошлом годе было. Хитро прищутив зеленые глаза, вдруг принялся нахваливать работу на верфи: от добра добра не ищут, тут царевы корабли строятся, большой за то выйдет трудникам почет и награждение...

Келарь от удивления даже рот раскрыл: ну и кормщик, ну и врет лихо. Награждение им тут выйдет, как же!

Торговались и ругались до поздней ночи. Так Агафоник и уехал ни с чем.

Когда дверь за отцом келарем закрылась, старики накинулись на Рябова:

– Теперь пропали мы...

– Дурость твоя упрямая, а нам – смертушка...

– Вишь, какой сыскался: хоть на кол – так сокол!

За Рябова встали Молчан и Семисадов. Кормщик отмалчивался. Молчан зло скалил белые зубы, отругивался:

– Напужались! Молельщики! Все едино сюда придет – некуда ему более податься...

Дед Семен наступал:

– Некуда? Свет клином на нас сошелся?

Молчан крикнул:

– И на воле люди добрые есть. Не продадут нас, небось, понимают что к чему...

Семисадов говорил наставительно:

– Смелому уху хлебать, а трусливому и тюри не видать! Потерпи малость, трудники.

Придет к нам келарь, посмотрите...

Два дня о келаре не было ни слуху ни духу. На третий пришел в избу – бить большое рукобитие. Опять привез угощение – еще целые розвальни.

– О прошлого разу, не в обиду скажу, – говорил Рябов, – мучица с тухлинкой была... Да нынче вспоминать ни к чему, так, для разговору...

Агафоник вздыхал:

– Разве за всем уследишь? В сырость свалили мучицу – вот и прохудилась...

Перед тем, как ударить по рукам, Рябов для удовольствия трударей спросил:

– Али других не нашел? Рыбари перевелись у нас, что ли?

Агафоник притворился, что не слышит, подтянул рукав однорядки, заложил в ладонь, по правилу, запивную деньгу. Рябов тоже подтянул рукав кафтана. Ударили с силой, Агафоник от боли скосоротился. Из руки в руку пошла запивная деньга. Послушник, что приехал с Агафоником, давал каждому кожаную бирку, – бирка обозначала, что более с трударя рвать нечего, чист перед государевой казной. Утром должны были рыбарей отпустить...

– Вот оно как, – молвил Семисадов, проводив келаря, – живем – хлеб жуем, а будет, что и с солью...

3. БЫТЬ ВОЙНЕ!

Поздней ночью в ворота спящего дома воеводы Архангелогородского и Холмогорского застучали дюжие Ямщиковы кулаки, в светелке сторожа-воротника засветился огонек, по светлицам и покоем, по горницам и сеням забегали сонные слуги, поволокли дрова – топить печи, кули на поварню – стряпать, воду на коромыслах – топить баню. Воротник с поклонами распахнул обе створки скрипящих ворот, поезд воеводы въехал во двор. Сильвестр Петрович, сонный, в нагольном полушубке, в валенках, надетых на босу ногу, сбежал с крыльца, кинулся обнять доброго друга, но из возка вместо Федора Матвеевича вышла Маша, добротню укутанная, с блестящими на лунном свете глазами, с ямочками на щеках, – такая красивая, славная и свежая, что Сильвестр Петрович даже как-то ослабел, не поверил своей радости, отступил назад, в сугроб. Выпрастывая ноги из волчьей шкуры, Апраксин весело смеялся, спрашивал громко, на весь двор:

– Да ты что, Сильвестр, богоданную жену не признаешь? Ты куда от нее побег? Веди скорее в дом, намучилась она дорогою, намерзлась, вся иззябла...

Иевлев, не стыдясь шумевших с упряжками конюхов, ямщиков, егерей, обнял жену, поцеловал ее в холодные щеки, в глаз, в висок. Она отстранялась, смотрела в его лицо, шептала:

– Словно и не ты! Похудел как! Сильвестр, лапушка моя...

В парадных покоях воеводского дома пахло нежилым, дымили печи, с громким лаем, стуча когтями по голым доскам пола, носились длинномордые охотничьи псы. В верхних горницах было потеплее, полы здесь Иевлев сплошь заложил пушистыми шкурами белых медведей и оленей, на стенах висели ковры, по коврам – охотничьи рога, рогатины, ножи, мушкеты Федора Матвеевича. На столе посредине иевлевской горницы тускло отсвечивал полированный медный глобус, валялись трубки – глиняные и вересковые, кисеты с табаком, горкой лежали готовальня, корабельные чертежи, книги в телячьих и сафьяновых переплетах...

– Как на Москве, у дядюшки! – сказала Маша.

– Что как у дядюшки? – не понял Сильвестр Петрович.

– Книги, листы, списки...

Он кивнул, все еще не веря тому, что Маша с ним, здесь, в Архангельске. Маша вздохнула, попросила беспомощно:

– Потяни за рукав, не снять мне самой шубу-то.

Сильвестр Петрович потянул, – одна шуба снялась, под ней оказалась другая, легкая.

– И ееними! – сказала Маша.

Иевлев снял другую, под ней был меховой камзольчик.

– Словно капуста! – засмеялся счастливо Сильвестр Петрович.

Обе шубы и камзольчик лежали на полу, никто их не поднимал. Маша переступила через мех, Иевлев протянул к ней руки, она прижалась к нему всем телом.

– Намаялась? – жадно целуя ее, спросил Сильвестр Петрович.

– Волков больно много шныряет по дорогам! – ответила Маша. – Так и скачут сзади. А глаза у них зеленые. И разбойники тоже были...

Она расстегнула на груди душегрейку, встряхнула голову, волосы рассыпались. Тонкими пальцами стала быстро заплетать косу. Щеки ее жарко горели с мороза.

– Долго ехали?

– Быстро!

Сильвестр Петрович, мешая ей, заплетал вместе с ней косу. Заплетали долго, путаясь пальцами, счастливо поглядывая друг на друга. Он спрашивал про Москву, про дядюшку, про Машиных подружек и своих дружков, она отвечала невпопад, обоим было от всего этого смешно.

– погоди! – сказала Маша, отталкивая мужа.

Заскрипела дверь. Машина девушка принесла короб с вещами, мешок, сзади слуга, пыхтя, тащил тюк, зашитый в рогожу, – книги, подарок Родиона Кирилловича. Девушка поклонилась Иевлеву, поздравила с добрым свиданием. За стеною ухнула об пол еще вязанка смолистых поленьев. Федор Матвеевич велел нынче натопить покрепче, чтобы отогрелась молодая жена Сильвестра Петровича.

– Ужо отогреется и без печки, – ворчливо ответил старый дворецкий Апраксина. – То не наша забота, Федор Матвеевич. Давеча заглянул я в ихнюю горницу – Сильвестр Петрович боярыне своей косу заплетает. В старопрежние времена того не бывало...

Апраксин сидел в кресле у печки, вытянув ноги к огню, с нахмуренным лицом. За спиною покашляли – он обернулся: полковник Снинин, узнав от караульных на рогатке о приезде господина воеводы, пришел к нему выразить свое почтение и осведомиться о драгоценнейшем здоровье. Воевода насчет здоровья ответил коротко и сухо и велел докладывать, что и как в городе. Полковник с поклоном рассказал разные пустяки. Апраксин слушал, недовольно поджав губы, неподвижно глядя на огонь.

– Более ничего не было?

Полковник еще поклонился, рассказал о том, что господин высокочтенного роду офицер Джеймс заарестован господином стольником Иевлевым вместе с иноземным подданным Швибером. Оба томятся и ждут милостивейшего разрешения высокочтенного воеводы.

– За что заарестованы? – осведомился Апраксин.

Снинин рассказал. Апраксин, попрежнему глядя на огонь, ответил:

– По татю и клещи, по вору и кнут!

Полковник выпрямился, сложил руки на эфесе шпаги, произнес значительным голосом:

– Майор Джеймс есть офицер, и его честь не позволяет мне...

У Апраксина от бешенства округлились глаза, он поднялся, приказал Снинину более никогда не в свои дела не соваться. К ужину полковника не пригласили, хоть он видел, что слуги собирают на стол. Снинин ушел зеленый от обиды...

Кушанья раскладывала Маша. Федор Матвеевич объявил, что теперь в воеводском доме быть ей полновластной хозяйкой. За столом сразу же заговорили о делах, о строении

кораблей, о том, что делается на Москве. Насчет Джеймса и Швибера Апраксин спросил мимоходом и сказал, что подержит негодяев под ключом до той поры, покуда не завоюют волками...

– Теперь послушай о походе Кожуховском, – говорил Федор Матвеевич. – О сем походе Москва долго помнить будет. Маша твоя, и та о нем наслышана, а уж поход – дело не женское.

– Мы с дядюшкой в ту пору в Коломенском гостили, на Москве-реке, – сказала Маша. – К нам раненые шли да увечные. Полон двор народу был... И преображенцы были, и семеновцы, и бутырцы...

Апраксин стал рассказывать, как войска Ромодановского переправлялись через Москву-реку на лодках, покрытых досками и бревнами. На этих судах были прорублены пушечные порты, из которых падали орудия. В деле участвовали гусары, палашники, рейтарские роты и много полков, а кроме того очень ссорились командующие – Бутурлин с Ромодановским. Иван Иванович даже выстрелил в Федора Юрьевича. Стрельцам во многих боях примерно досталось, и потешные их всегда побивали. Бомбардир Преображенского полка – царь взял в плен стрелецкого полковника Сергеева, за что генералиссимус его особо благодарил. Петр Алексеевич сам построил зажигательную телегу с копьём, телегу подожгли, раскатали, и копьё впилося в вал противника. Плетень загорелся, земля осыпалась, войско пошло на штурм.

– Не взять мне в толк, – перебил Иевлев. – Что оно такое было? Потешное сражение?

– Маневры! – ответил Апраксин. – И жаль, друг мой добрый, что нас там не случилось. Много важного и нужного военные люди с тех маневров для себя узнали и накрепко запомнили: и подкопы, и взрывы минами крепостной стены, и штурм с лестницами. Много было гранат, и бомб, того более – горшков, начиненных порохом. Засыпали перед неприятелем, под огнем рвы; под огнем редуты строили, аппроши, – науки все зело полезные...

– Полезнее, нежели на Переяславле?

– Сравнить не для чего! – ответил Апраксин. – Можно ли сравнить плаванья наши по тамошнему озеру с выходом в Студеное море? На Переяславле потеха была, здесь – маневры...

Маша задремала в тепле, головка ее свесилась, дыханья не было слышно. Апраксин с Иевлевым переглянулись, Федор Матвеевич сказал шепотом:

– Снеси ее, душечку, наверх да выйди еще на два слова...

Маша открыла сонные глаза, улыбнулась, сказала с испугом:

– Заснула я... Вот срам-то...

И покачиваясь, словно пьяная, ушла в горницу, наверх. Апраксин запер двери на ключ, не садясь, сказал Иевлеву:

– Быть войне, Сильвестр. Хватит россиянам платить дань крымскому хану. Много лет говорили, да что в говорении? Нынче с постельного крыльца дьяк Виниус объявил стольникам, жильцам, стряпчим, дворянам московским и иным, дабы они, согнав рать, собирались в Севске или Белгороде к Шереметеву для большого промысла...

– Промышлять Крым? – с бьющимся сердцем спросил Иевлев.

– Оно не все. Петр Алексеевич пойдет на Азов. Там корабли понадобятся.

Иевлев сел, налил себе квасу, но пить забыл. Федор Матвеевич, дымя трубкой, упершись в стол рукой, говорил твердым голосом:

– Корабельных мастеров-искусников надобно вести к Москве. Там большие работы нынче же начнутся. Плотников корабельных, конопатчиков, кузнецов здешних, морского дела старателей большим числом гнать на Москву. Как тут будем далее строить – не ведаю, но чем больше дадим туда людей суда строить – тем делу лучше...

– Когда же поспеют?

– Нынче не справятся, в другое лето нагонят. Да и нам тут с тобою, думаю, недолго теперь быть. Лышу себя надеждою – немного осталось подданным султана, татарам, гулять

по степям. Там, за Белгородом, за Курском, за Воронежом, воевать татарина ждут не дождутся. Сколь можно терпеть ругательства над нашей землей?

Сильвестр Петрович молчал. Апраксин подошел ближе, положил руку ему на плечо. Тот посмотрел на него ясно и прямо.

– О чем молчишь? – спросил Федор Матвеевич.

– Трудно будет! – сказал Иевлев. – Трудно, но быть иначе не может. Как бояре приговорили?

Апраксин рассказал, что после челобитной московского купечества, в которой те просили защитить гроб господень и Голгофу и очистить дороги на юг, к Черному морю, бояре приговорили созывать ополчение. Много разговору на Москве о том, что воевать надобно северные моря. После Кожуховского похода иные неверцы уверовали, что и шведа побьем. Впрочем, много еще таких, что и по сию пору посмеиваются: «Под Кожуховом шутить дело нетрудное, а вы вот татарина отведайте, каков он с саблей в поле!»

Сильвестр Петрович ответил жестко:

– Отведаем. Не стрелецкими полками пойдем его, собаку, промышлять, иным войском...

4. ОПЯТЬ МОНАСТЫРЬ

На алой морозной заре Рябов вышел из избы – посмотреть корабли. Нынче нигде не работали, все было тихо на верфи. Кормщик медленно обошел закрытый эллинг. В сумерках раннего утра корабль казался огромным...

Вышел наружу, посмотрел другой, что стоял в открытом эллинге, и вдруг почувствовал, что жалко уходить – так много сделано тут своими руками. Стало обидно, что поплывут теперь они без него, экие красавцы, поплывут далеко, в большое океанское плавание, стало обидно, что будет кормщиком чужой человек, не знающий, как строили, сколько горя хлебнули, сколько потов сошло, пока выгнали эдакую махину...

За кормою столкнулся с Семисадовым, спросил:

– Чего бродишь-то?

– А ты чего?

– Поразмяться вышел маненько...

– Ну и я поразмяться...

Еще вместе посмотрели корабли, подивились, что-де скоро им в море.

– Будут ли ходки? – спросил озабоченно Семисадов.

– А мне беся ли – ходки они али не ходки! – ответил Рябов всерьез.

– Да и мне беся ли, для беседы говорю...

Солнце вставало морозное, красное, иней на кораблях засветился розовым цветом.

– Вот как мачты поставят – тогда в нем и вид будет! – молвил Семисадов, оборачиваясь.

– Вид им настоящий в море будет! – сказал Рябов.

Еще посмотрели. У обоих глаза стали скучными.

– Пошли, что ли? – сказал Рябов.

Неподалеку, у Варвары, ударили к ранней. За высоким частоколом ждали рыбарей рыбацкие женки, матери, сестры, сыновья, дочери, – стояли принаряженные, счастливые. В широких саях, укрытый волчьей полостью, подъехал Агафоник, был в умилении, совал бабам руку к поцелую, говорил елейно:

– Так-то, братцы, так-то, добрые! Повинились, пресветлый и простил. Теперь заживем благостно, бога помня. Ну, с миром!

На выходе сделалась толчея. Стражники потащили из толпы уходящих рыбарей самоедина старика Пайгу. Рябов отпихнул стражников, сказал Агафонику:

– Ежели сего калеку убогого не выпустят – сам останусь! Где оно видано, эдаких несчастных увозом увозить и мучить как кому похочется...

Баженин, приехавший с Вавчуги, поддал Пайгу ногой, старик выскочил за ворота. Осип Андреевич, хмельной, был в добром расположении, кланялся трудникам, говорил:

– Прости, ежели чем виноват...

– Прощать-то и вовсе ни к чему, – сказал, проходя мимо, Молчан.

– Кто злое сказал? – крикнул Баженин.

Но Молчан затерялся в толпе. Шагал рядом с Семисадовым, говорил, не разжимая губ:

– Всех их, псов бешеных, на один сук...

На верфи, за затворившимися воротами, визжали пилы, тюкали топоры. Ушло всего сорок девять мужиков, более четырехсот остались строить корабли. Вместо ушедших пригнали новых – они были посвежее, крепче, здоровее...

У бабки Евдохи была истоплена баня, наварены щи; Рябов попарился, попил вволю мятного квасу, вошел в избу. Таисья неотрывно смотрела на него огромными глазами. Он взял ее ладонями за щеки, усмехнулся, спросил шепотом:

– Не устала еще, лапушка? Больно жизнь до нас пригожа да ласкова...

Таисья покачала головой. По щекам ее вдруг потекли слезы. Рябов ладонями их утер. Под рукой на тонкой ее шее слабо билась какая-то жилка.

– Словно пичуга малая! – молвил кормщик.

Она закинула руки ему на плечи, сказала, плача счастливыми обильными слезами:

– Ванечка, рожать мне скоро. Ребеночек у нас будет...

Вечером набилась полна изба народом. Пришел Крыков, обнял кормщика. Таисья робко сказала:

– Ты поклонись Афанасию Петровичу, Ваня. За все поклонись. И за щи с гусятиной тоже.

Крыков покраснел, сконфузился:

– Не стоит и разговора...

Встряла бабушка Евдоха:

– Он нам, Ванечка, доски нарезал, мы теми досками набойки делаем – живем сытно. Он нам, Ванечка, старый секрет разузнал – как черничку-краску варить, чтобы не отмывалась в воде. А узоры какие, Ванечка, в рядах те узоры из рук у меня рвут...

И стала кидать из сундука на лавку расшитые полотна. Весеннее солнце пробивалось в окошко, серебром высвечивало плывущие по полотнам карбасы, крутую волну, вздетый парус, травы, диковинные деревья... Рыбаки трясли головами, хвалили, кричали.

За щами рыбак Парфен, мужчина суровый и малоразговорчивый, вдруг сказал:

– Пусть здоров будет на долги годы Афанасий Петрович. Я его и за вихры драл в старопрежние времена, а нынче велю: поклонитесь господину Крыкову. Он проведал, что монаси из Николо-Корельской обители зло удумали: новых рыбаков себе набрать покрутчиками, а про вас, которые были на верфи, монаси порешили не вспоминать. Возьмем, дескать, новых служников, будут покорнее. И не пожалел труда Афанасий Петрович: всех рыбаков обошел и объехал – и ближних и дальних, – упреждая, чтобы не нанимались в обитель, не делали худо против братьев своих, Белого моря старателей. Никто из нас не пошел покрутчиками в монастырь, пришлось келарю снова вам кланяться...

Рябов взглянул на Крыкова, – тот сидел опустив голову, красный, катал крошки на столе.

– И отказались мы все от монастырских прибытков. Куда бы келарь обительский ни направлял стопы свои, там знали, как надобно делать, научил Афанасий Петрович! Вот он каков Афонька, таможенный капрал!

Молчан сидел неподалеку от Рябова, шурился на огонек свечи, думал свою думу. Старичок самоедин Пайга ушел спать в сенцы, совсем душно ему было в горнице. Штофа не хватило, пришлось еще посылать к Тошаку.

Разомлев после голодного житья на верфи, многие рыбаки в тот день так и не дошли до своей избы: кто полез на печь – спать, кто завел песню без конца, кто еще раз отправился в баню – попарить кости до глубокого нутра. Бабка Евдоха всех мазала беликом – доброй

мазью из медвежьего сала, поила старым и верным снадобьем, настоенным на лютике, утешала, угощала. Дверь в избе то и дело хлопала, приходили соседи – кто с пирогом, кто с грибником, кто с кислой брусничкой – послушать, поговорить, посоветовать. Таисья, замучившись, уснула, сидя на лавке...

С утра многими санями поехали в монастырь. День выдался погожий, солнечный, у монастыря покрутчиков встречали монахи с поклонами, чинно, по приличию. В келарне были накрыты столы, покрутчики входили четверками, кланялись иконам, кланялись келарю, он благословлял. Кормщик называл по именам своих людей: вот тебе, мол, отец келарь, тяглец, вот тебе – весельщик, вот тебе – наживочник, а кормщик – благослови меня. Келарь задавал приличный вопрос:

– Спопутье ведомо ли тебе, кормщик?

– Ведомо, отче.

– Глыби морские, волны злые, ветры шибкие – ведомы ли?

– Так, отче, ведомы.

– Поклонился ли честным матерям рыбацким, что покуда жив будешь, не оставишь рыбащей в море?

– Поклонился, отче.

– Иди с миром!

Садись за столы – пить большое рукобитие. Послушники, опустив очи, ставили на столы водку – по обычаю. Первым блюдом шла треска печеная, в масле и яйцах, за треской подавали навагу в квасе с луком. Обитель на сей раз не поскупилась – настоятель напугался, что вовсе останется без служников; отец келарь ходил вдоль столов, сам подкладывал кушанья, ласково напутствовал покрутчиков, чтобы с богом в душе готовились к лову. Рыбаки помалкивали: нынче келарь хорош, каков будет к расчету?

Вышли из трапезной под вечер. Уже вывездило, опять взялся морозец. Когда лошадь пошла рысцей по монастырской дороге, Семисадов невесело сказал Рябову:

– Ну что, кормщик Иван Савватеич? Отслужились мы матросами?

Рябов не ответил, покусывал соломинку.

– Так-то, брат, – сказал Семисадов, – отшумелись мы с тобой. Посмирнее жить, что ли, начнем, как думаешь?

Молчан ответил вместо Рябова:

– Смирен пень, да что в нем?

5. ПИСЬМО

Дорогу к обители покрыло наледью, но весенние ручьи уже звонко шумели в чистом холодном вечернем воздухе. Свежий ветер посвистывал в ушах, лошади фыркали.

У монастырских ворот маленький солдат соскочил с коня, постучал сапогом. Отец воротник испуганно посмотрел на конных воинских людей, спросил, для чего приехали. Сильвестр Петрович велел отворять без промедления.

Настоятель был немощен, неожиданных гостей принял Агафоник. Он был в исподнем, едва успел накинуть на плечи подрясник. В келье отца настоятеля было душно, пахло жареной свиной. Иевлев сел, заговорил сразу о деле. Агафоника от страха прошиб пот, он замахал короткими руками, стал грозиться владыкою Важеским и Холмогорским Афанасием. Сильвестр Петрович прервал:

– Дело, за коим я прибыл в обитель, решено именем государевым. Морского дела старатели надобны к Москве. Что монастырь из своей казны заплатил за сих людей тяготы и повинности, – то дело доброе и святым мужам зачтется навечно. Не будем же, отче, время наше терять без толку, а посмотрим список служников ваших, дабы могли мы некоторых и вам оставить, а иных безо всякого промедления по указу государеву отправить к Москве...

Агафоник присмирел, подал лист. Сильвестр Петрович стал писать, кто останется на работах в монастыре, кто пойдет служить царю. Келарь цеплялся за каждого, говорил, что

монастырь оскудеет, что монахи пойдут по миру. Когда дело дошло до Рябова, келарь взвыл не на шутку. Иевлев рассердился, топнул ногой, Агафоник завизжал. Спорили долго, наконец Сильвестр Петрович сдался: ему более нужны были корабельные плотники и мастера, нежели кормщики. Рябова решено было оставить в монастыре артельным кормщиком. Семисадов, Лонгинов, Копылов, Аггей Пустовойтов и многие другие назначены были к Москве. С поклонами провожая Иевлева до ворот, Агафоник спросил, для какого промысла батюшке-царю надобны морского дела людишки. Сильвестр Петрович ответил:

– То, отче, дело не наше...

– Давеча иноземец лекарь Дес-Фонтейнес молвил, будто татарина будем воевать...

Иевлев, принимая из рук солдата повод, ответил с недоброй усмешкой:

– Лекарю, я чаю, виднее.

Когда Сильвестр Петрович вернулся домой, Апраксин сидел в своей обычной позе у огня, делал математические вычисления. Две остромордые собаки лежали у его ног. Наверху, в горнице, негромко пела Маша...

– Словно птица, – сказал, улыбаясь, Федор Матвеевич, – весь вечер нонешний поет. И так славно... – Потянул к себе кожаную сумку, лукаво посмотрел на Иевлева, вынул из сумки письмо.

– Прочти!

Сильвестр Петрович развернул лист, впился глазами в прыгающие, неровные торопливые строчки царева письма:

«Понеже ведает ваша милость, что какими трудами нынешней осенью под Кожуховом через пять недель в марсовой потехе были, которая игра, хотя в ту пору, как она была, и ничего не было на разуме больше, однако ж, после совершения оной, зачалось иное, и прежнее дело явилось яко предвестником дела, о котором сам можешь рассудить, коликих трудов и тщания оное требует, о чем, если живы будем, впредь писать будем. С Москвы на службу под Азов пойдем сего же месяца 18-го числа...»

Иевлев читал, Маша наверху пела:

Ласточка косатая, ты не вей гнезда в высоком терему.
Ведь не жить тебе здесь и не летывать...

– Прочитал? – спросил Апраксин.

Сильвестр Петрович молча кивнул головою. Потом сказал грустно:

– А нас не зовут...

– Позовут! – уверенно ответил Федор Матвеевич. – Не нынче, так завтра, а не завтра, так послезавтра. Еще навоюемся, Сильвестр. Сие только начало, как Переяславль был началом нонешнему корабельному делу...

6. В МОРЕ

В море монастырские служники вышли, едва только воды очистились ото льдов. На карбасах вздевали паруса, долго махали женам, стынувшим на берегу. Было еще холодно, с ветром летели колкие снежинки.

Когда карбас проходил мимо верфи, Рябов повернул голову к черным махинам, к кораблям, только что спущенным на воду.

У пристани чернели «Святое пророчество», «Павел», «Петр» и еще новые суда.

– Во, сколь много! – тихо, с восторгом сказал Рябов.

– Флот! – шепнул рядом Митенька.

Город Архангельский уходил все дальше и дальше назад, ветер посвистывал в парусах. Делалось холодно.

Рябов переложил руль, натянул вышитые Таисьеи рукавицы, прищурился, ходко повел головное судно в море. Сзади на карбасах забегали, вздевая паруса. Что делал артельный –

Рябов, то командовали и другие кормщики...

– Так ли? – крикнул от мачты Молчан.

– Так, так! – кивнул Рябов.

На баре ветер засвистал пронзительнее, суда накренились, пошли быстро, словно полетели. Митенька, хромая, подошел к кормщику, посмотрел веселыми искрящимися глазами, спросил:

– Любо, дядечка?

– Любо! – не сразу ответил Рябов. – Как ни было б многотрудно, а нет мне жизни без моря. Скажу по правде: ушли наши давеча от монастыря в дальний поход, на дальнее море, прошел слух – бить татарина. Меня не взяли. Весело ли оставаться? Ничего не поделаешь – остался. А нынче и вздохнул, как паруса вздели. Толичко и дышу здесь, а в городе душно мне, пыльно, скучно...

Он смотрел вдаль, как смотрят поморы, – сузив глаза, почти не мигая, острым ясным лукавым взглядом. Необозримое, громадное, в мелкой злой зыби раскинулось море, глухо и грозно предупреждая: «Берегись, человек, куда ты со мною тягаться задумал!»

– Вишь! – сказал Рябов. – Пугает! А? Да мы-то с тобой не пугливые, верно, Митрий? Как думаешь? Мы его вот как знаем – морюшко наше! Нас так просто не возьмешь...

Он помолчал, глядя туда, где небо смыкалось с волнами, потом спросил:

– А что они за моря такие, Митрий, Черное да Азовское? Вроде нашего, али подбрее?

ЧАСТЬ ВТОРАЯ РОССИЙСКОМУ ФЛОТУ БЫТЬ

«И уже несуетная явилась надежда быть совершенному флоту морскому в России».

Предисловие к «Морскому уставу»

Плащ и кольчугу! Через час – вперед.
Рог не забудь. Пусть вычистят мою
Пистоль, чтобы не выдала в бою...
Пусть кортик абордажный по руке
Приладят мне...
Пусть пушечным сигналом в должный срок
Оповестят, что сборов час истек...

Байрон

Понеже корень всему злу есть сребролюбие, того для всяк командующий должен блюсти себя от неправого прибытка... а такой командир, который лакомство велико имеет, не много лучше изменника почтен быть может.

Петр Первый

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1. ВНОВЬ В АРХАНГЕЛЬСКЕ

Прошло несколько лет.

В последних числах декабря 1700 года, в студеную, морозную ночь у ворот дома воеводы архангельского и холмогорского князя Алексея Петровича Прозоровского, что

сменил Апраксина, остановился кожаный дорожный возок, запряженный четверкой гусем. Было очень холодно, в небе ходили голубые копья и мечи северного сияния, за Двиною тоскливо выла волчья стая. Татарские кони в санной запряжке прядали ушами, на ресницах лошадей, на ушах, на спутанных гривах сверкал иней.

В возке раздался смех, возня, потом оттуда вперед валенками-катанками выскочил молодой человек в ловком полушубочке, опоясанном шарфом, при сабле и пистолете, в треухе. За ним вылез другой – поменьше ростом, поплечистее, в медвежьей, для дальнего пути, шубе.

– Чего ж не стучишь? – сказал тот, что был в шубе, ямщику. – Застынем на стуже эдакой. Стучи живее!

Ямщик соскочил с облучка, пошел бить кнутовищем в ворота.

– Вот и возвратился я, Сильвестр Петрович, к дому к своему, – сказал тот, что был помоложе. – Сколько годов прошло, а сполохи все играют, словно и не миновало вовсе времени.

Иевлев молча вглядывался в строения воеводской усадьбы.

– Ишь настроил себе Алексей-то Петрович, – заметил он с насмешкой. – Апраксин куда беднее жил. А этот – и палаты новые, и башни, и чего только не вывел. Видать, крепко кормится на воеводстве...

К ямщику не торопясь подошел караульный в огромном бараньем тулупе, с алебардой. Спросил трубным голосом:

– Кого бог несет?

– К воеводе-князю с царским указом от Москвы, – ответил Иевлев. – Померли они там, что ли?

– Зачем померли? Ночь, вот и спят люди божьи. Навряд ли теперь достучишься. Воротник у воеводы глуховат, а другие которые слуги – тем ни к чему, стучат али не стучат...

– А если пожар? – спросил Иевлев.

Караульщик сердито сплюнул:

– Для чего бога гневишь?

И сам стал стучать древком алебарды в ворота, сшитые из толстых сосновых брусьев. Погодя подошел другой караульщик – тоже ударил древком. За частоколом лаяли псы, а более ничего не было слышно.

Впятером – приезжие и караульщики – нашли большое мерзлое полено, отодрали его от земли, стали бить поленом в ворота так, что закачался весь частокол. Наконец завизжали двери в воеводской караулке, старческий голос закричал с натугой:

– Тихо! Боярску крепость повалите! Что за люди?

Иевлев с бешенством крикнул, что коли сейчас не откроют, он хоромы подпалит огнем, не то что крепость повалит. В воротах отворилась калитка. Приезжие вошли в сени; боярские хоромы дохнули горячим, душным теплом, запахом инбирного теста, росным ладаном. Зашелестели, забегали тараканы, храп на половине воеводы стих, воевода – в исподнем платье, всклокоченный, опухший от сна – вышел к гостям, готовый к тому, чтобы затопать на дерзких ногами, отослать их на конюшню, под кнут. Но Иевлев встретил его таким свирепым блеском холодных синих глаз, таким окриком, такой неучтивостью, что Алексей Петрович попятился, сам первый, да еще ниже, чем по чину надлежало, поклонился, велел подавать себе халат, топить поварню, баню, стелить дорогим гостям пуховые перины да собольи одеяла...

– Отоспаться успеем, князь! – сказал Иевлев. – Наперед всего изволь прочесть указ его величества, отписанный к тебе!

Сняв кожаную сумку, висевшую слева на ремне, Иевлев раскрыл ее, достал косо оторванный, грязный кусок бумаги, на котором нацарапаны были рукою Петра разбегающиеся неровные строчки. Воевода взял указ, поцеловал, заорал на слугу, чтобы подавал немедля очки. Слуга с заячьим писком – воевода на него замахнулся – выскочил из горницы и пропал: очков князь не имел, все это знали, бумаги читал Алексею Петровичу

дьяк Гусев. Угадав причину замешательства, Сильвестр Петрович взял в левую руку шандал с оплывшими сальными свечами и велел всем слугам и пробудившимся от сна домочадцам выйти вон. Когда в горнице осталось всего трое людей – испуганный воевода, сам Иевлев и его офицер, которого он ласково называл Егоршей, – Сильвестр Петрович запер обе двери и негромко, твердым голосом, показывающим всю значительность царевых слов, прочитал:

«...а посему указал у города Архангельского боярину князю Алексею Петровичу Прозоровскому на малой Двине речке построить крепость. И ту крепость строить города Архангельского и Холмогорского посадскими и всякого чина градскими людьми, и уездными государевых волостей, и архиепископскими и монастырскими крестьянами, чьими бы кто ни был, ибо в опасении пребываем, что король свейский Карл великие беды учинит нам посылкою воинских людей кораблями и галеасами и галерами через море для разорения города Архангельского. И чтобы тех неприятельских людей в двинское устье не пропускать и города Архангельского и уезду ни до какого разорения не доводить и обо всем том писать почаству в Новгородский приказ...»

Сильвестр Петрович дочитал бумагу, сложил ее бережно, протянул воеводе. Прозоровский, готовый было к тому, что приезжий офицер явился, дабы схватить его и в кандалах везти на Москву в Преображенский приказ за слишком вольное «кормление» на воеводстве, – не веря ушам, стоял неподвижно, посапывал коротким задраным носиком. Потом, очнувшись, испугался больше прежнего: шведы идут на Архангельск?

– Еще не идут, – ответил Иевлев, – но весьма могут пойти, чтобы здесь покончить с кораблестроением морским и запереть Русь без выхода в Студеное море.

Боярин охнул, перекрестился, сел, зашептал бессмысленно:

– Об том знают бог да великий государь...

Высокий ростом офицер Егорша пренагло фыркнул на испуг князя, ответил с издевкою:

– И богу ведомо, боярин воевода, и великому государю ведомо, и нам, грешным, сие знать надобно...

Иевлев, барабанив пальцами по столу, позевывал с дороги, смотрел в сторону, на стенной ковер, увешанный оружием – булавами, мечами, буздыганами, пищалями, сулебами, охотничьими, окованными серебром, рогатинами, – эдакое оружейное богатство у вояки-князя!

– Шведы нас... воевать! – воскликнул князь. – Да как же мы, сударь, совладаем при нашей скудости, где войска наберем, пушки, кулеврины... Легкое ли дело – крепость! Как ее построишь? Ты сам посуди, вникни: шведы сколь великий урон нам учинили под Нарвою. А там видимо-невидимо войска нашего было, сколь обученных, преславных генералов, сам герцог де Кроа...

Иевлев ответил со спокойным презрением:

– Те генералы и герцог де Кроа – гнусные изменники. Кабы не они, еще неизвестно, чем кончилась бы нарвская баталия...

– Вишь, вишь! – не слушая, закричал князь. – Вишь! И то разбиты были наголову, а здесь, как будет здесь? Побьют, ей-ей побьют, и с крепостью побьют, и без крепости...

Он вскочил с лавки, покрытой ярких цветов ковром, наступая на полы длинного стеганного на пуху халата, метнулся к Иевлеву, спросил шепотом:

– На кой нам корабли? Были без кораблей и будем без них. Ты человек разумный, русский, дворянского роду. Отец твой-то корабельное дело ведал ли? Дед? Прадед?

Иевлев тоже встал, ответил негромко, но с такой жестокостью и так гневно, что боярин часто задышал и взялся рукою за сердце.

– Я царскому указу не судья! – сказал Сильвестр Петрович медленно и внятно. – Что велено, то и будет делаться – волею или неволею. О флоте речь особая, кто прирос гузном к земле – того на воду и кнутом не сгонишь. О крепости будем говорить завтра. А не позже как через неделю на постройку пойдет первый обоз с камнем и прочим припасом. Ежели станет ведомо мне противоборство делу, для которого прибыл я сюда, немедля же отпишу в

Новгородскую четверть да князю-кесарю господину Ромодановскому, дабы здесь на веки вечные думать забыли шведу кланяться. Князь-кесарь умеет хребты ломать, ему супротивников жечь огнем не впервой...

Прозоровский обмер, замахал на Иевлева руками:

– Да что ты, сокол! Я не об себе, я об народишке. Как народишко меж собою говорит, так и я. Разве ж посмела бы моя скудость. Куда нам рассуждать! Истинно, истинно об том знают бог да великий наш государь...

Иевлев не ответил, от угощения и от бани отказался, ушел спать.

Алексей Петрович, охая, привалился к жене, княгине Авдотье, под жаркую перину, зашептал, ужасаясь приезду нежданных гостей и смертно пугая супругу:

– Кто? Антихрист, ей-ей антихрист. Глазищи бесовские, морда белая, ни кровиночки, сам весь табачищем никоциантским провонял. Из тех, что за море, в неметчину с ним, с дьяволом пучеглазым, таскались, еретик, едва серным пламенем не горит. Я ему, окаянному, и так и эдак – не внемлет, ничему не внемлет...

– Да что, да, господи, – задыхалась от ужаса княгиня, – не пойму я, ты толком, толком, князюшка, по порядку...

– Дурища, говяжье мясо! – сердился воевода. – Ты вникай, коровица! От шведа нам велено здесь скудостью нашей оборониться, крепость строить. Я ему, ироду, взмолился, а он и слушать не восхотел, зверюгой Ромодановским, Преображенским приказом, пыткой грозитя. Ахти нам, жена, пропали теперь, достигла и до нас длань его, проклятущего...

Авдотья затрепыхалась, раскрыла рот до ушей:

– Сам приехал? Государь?

– О, господи! – в тоске воскликнул воевода. – Тумба, горе мое, у других жена, у меня пень лесной... Тебя не жалко, подыхай, – детишечек, голубочков, кровиночек своих, жалею: в бедности, лихой смертью скончают животы своея. Да не вой, крысиха постылая, нишкни, услышит бес, антихрист...

Под мерный шорох тараканов, утирая полотенцем пот, тупо глядя в стену, воевода жаловался:

– Еллинский богоотступник, богомерзкие науки велит всем долбить, – где оно слыхано? Еретические книги всем приказано знать, в пекло, в ад сам добрых пихает! Сказывают люди: на Москве кой ни день – машкерад, демонские рыла поверх своего скобленого насаживают, бесовские пляски пляшут, гады, и звери, и птицы...

– Ой, не пойму, не пойму, никак не пойму! – жаловалась княгиня. – Чего ты сказываешь – не пойму...

– Не тебе, тараканам сказываю, более некому...

И опять бубнил:

– Хульник, богопротивник, вавилонский содом делает, именитые рода бесчестит; как почал головы рубить, остановиться, дьявол, не дает, размахался, пес пучеглазый, все и дрожим дрожмя...

Поднялся, кинул полотенце, приказал:

– Казну прятать будем, вставай, сало ногатое!

В спадающих с жирного брюха подштанниках, сшитых из дорогой цветастой кизильбашской камки, в скуфье на плешивой голове, потный, злой, князь-воевода пыхтя стащил с места окованный медью тяжелый сундук, дернул за железное кольцо, полез в подполье, где хранилась казна... Над открытым люком принимала мешки и коробки княгиня Авдотья. Долго, до утра, мешая друг другу, сбиваясь, начиная с начала, считали, что накопилось за долгие годы воеводства в Черном Яре, Камышине, Коломне, Новгороде, Саратове, Муроме, Азове, что бралось поборами, въезжими, праздничными, что вымогалось с народа за убитое тело, за игру в зернь, за курение вина, что бралось с помощью ярыжек-доносчиков, что носили насмерть запуганные добровольные датчики – подарки, посулы, на свечи в храм божий, на сироток христианских, что «рвалось» с подлого люда всеми кривдами, коими воеводствовал боярин-князь Прозоровский.

Считали угорские тяжелые темные червонцы, считали веселые голландские, флорентийские, польские дукаты, англиские шифснобли-корабельники с изображением корабля, меча и щита, пересчитывали огромные светлые португальские монеты «крестовики» с крестом, рейхсталеры, что прозывались ефимками, рупии, гульдены, стерлинги. Все было в казне у Прозоровского, всего набирал воевода за долгие дни своего «кормления». Уже солнце выкатилось, морозное и красное, когда с воеводского двора сытые добрые кони вынесли боярский возок с казной, запечатанной в немецкой работы хитром сундуке. На сундуке сидел воеводский сын – недоросль Бориска, жевал пирог с вязигой, сжимал под шубой нож, чтобы ударить любого вора, который сунется к боярскому добру. Казну велено было везти в Николо-Корельский монастырь – на сохранение игумну. Бориска вез игумну еще и письмецо, писанное под диктовку князя – полуустановом. Письмо писал недоросль, но было оно так составлено, что Бориска в нем ничего решительно не понял.

Проводив недоросля, воевода велел подать себе капусты с клюквою и полуштоф остуженной водки. Через несколько времени он взбодрился и воспрянул духом, рассуждая, что не так-то он прост и пуглив, на Азове-де похуже пугали, да не напугали. И милость царская была при нем, пучеглазый в те поры сильно его обласкал и возвысил, назвал таким же себе верным, как и немчин Франц Лефорт...

Но думный Ларионов и дьяк Молокоедов принесли боярину такие вести, что Алексей Петрович совсем опять потерялся: нынешней ночью на двинском льду, неподалеку от Гостиного двора, безымянные злодеи ножом убили до смерти холопа воеводы Андрюшку Сосновского...

– Андрюшку? – пролепетал боярин.

– Андрюшку, князь, – твердо сказал думный дворянин Ларионов, который всегда все говорил твердо. – Убили холопа насмерть. Мороз крепкий, так он и заледенел за ночь вовсе. Словно деревяшка...

– Андрюшку? – опять спросил боярин.

Думный дворянин слегка пихнул дьяка локтем, чтобы Молокоедов заметил испуг князя. Молокоедов вздохнул.

– Андрюшка, Андрюшка, – подтвердил думный. – Вотсе, говорю, заледенел. И оскалился...

– Вон эдак! – показал Молокоедов, и сам оскалился, да страшнее, нежели покойный Сосновский. – Да куды-ы... ножом...

– Ограбили?

– Кабы ограбили – тогда ладно, – молвил Ларионов, – кабы ограбили – дело просто...

– Не ограбили?

– Нисколько. Кои при нем деньги были – все и остались.

– Шапку-то сняли? – с надеждой в голосе спросил боярин.

– Зачем? И шапку не тронули. Шапка при нем, рукавицы, полушубок с твоего плеча, что ты ему за добрую службу да за изветы пожаловал, пояс наборной...

Князь засопел, налил себе еще водки, выпил не закусывая. Думный дворянин, подрагивая сухой ногой в остроносом сапожке, говорил непререкаемо, и от каждого его слова все жутче делалось воеводе:

– За Азов здешние тати его порезали, не иначе. Сведали супостаты, что он, Андрюшка, тебе извет подал в приказной палате на тамошних стрелецких бунтовщиков. Он же, Андрюшка, давеча мне сказывал, что-де видал тут, в Архангельском городе, одного из Азова беглого стрельца. Сей стрелец его, Андрюшку, опознал и матерно ругал и поминал, кто за него, за Андрюшку, пытку принимает, и еще слова говорил поносные на тебя...

– На меня?

– Что-де зря тебя в Азове на копья не приняли, что-де ты да немчин-фрыга Лефортка – одна сатана, что-де зарок вы дали русского человека извести смертью, что-де народишка ничего не позабыл и все изменные имена ему, Андрюшке, тот беглый сказал: взяты-де твоим изветом – пес ты, дьявол, сатана! – за караул стрелецкого полку Яшка Улеснев, да писарь

Киндяков, да старец Дий. Ведомо тому стрельцу беглому, что ты, воевода, Кузьку Руднева да Сережку Лопатина засылал в Предтеченский на Азове монастырь – сведать, чего оный Дий говорит прелестного...

– Было, было, – скороговоркой молвил боярин. – Они и сведали...

– Сведали, да ноне на свете не живут...

– Как?

– Побили их, князь, некие люди. А потом камень к ногам, да и в воду. Вечная им память – Сережке да Кузьке. И сказывал еще тот стрелец, что быть Андрюшке к ним – чтобы, дескать, молился, да перед смертью не грешил...

– От Азова до Архангельска, – тихо сказал боярин, – добежала весть. Куда деваться, господи?

Думный еще раз толкнул дьяка. Молокоедов высунулся, посоветовал:

– Розыск бы время начать, князюшка. Самая пора нынче, по горячему следу. По-доброму, как в Азове дельвали. Кнутом, да дыбою, да огоньком – все бы и сведали...

– Иметь проходимцев надобно, – молвил думный Ларионов. – Всех за караул, а там с богом и попытать... Да ты, Алексей Петрович, не горюй, толковать тут длинно не надобно. В Азове было ты и вовсе обмер, как прослышал, что стрельцы тебя на копья вздумали брать, а потом все вовсе дивно обернулось. И государь тобою доволен был, ласкал, и ты сам в большую силу взошел. До тебя ныне рукою не достать. Сам думай: Лефорта покойного стрельцы крови хотели, тебя извести, да государя. Вишь как... Значит, и есть ты наивернейший государю слуга...

– Так-то оно так, – молвил воевода неопределенно, – да ведь в одночасье и пожгут...

– Пожгут – не обеднеешь. Государь-батюшка не оставит... А здесь мы с дьяками медлить не будем. Извечника отыщем, да, помолясь, и зачнем пытать. С пытки чего не откроется: народишко вольный, бескабальный, Андрюшку смертью убили, начала лучшего и не надобно. Велишь ли?

– Велю! Да с толком чтобы делали...

– Сими днями иметь зачнем.

Проводив думного Ларионова с дьяком, князь опять тяжело сел на лавку и задумался. Ужас, который испытал он в Азове в дни открытия тамошнего заговора, вновь с прежней силой охватил все его существо. Дико и подозрительно оглядываясь по сторонам, он засопел, кликнул дворецкого, шепотом велел ему делать по всему дому дубовые засовы, ставить немецкие хитрые замки, под окнами и у крыльца с постоянством держать верных караульщиков. Дворецкий – старик Егорыч, взятый еще с Азова, – тоже испугался, спросил, дыша на боярина чесноком:

– Ужели с изнова почалось?

– Будто бы починается.

– Извести собрались?

– Собрались, Егорыч...

– Я и сам так рассудил: Андрюшку смертью убили, быть беде...

Боярин для всякого опасения соврал дворецкому:

– Ты об том молчи, только я верно говорю: смертью будут убивать не токмо мое семя, но и холопей всех до единого. Ты – бережись. Береженого и бог бережет. Гляди в хоромы, всякого человека примечай, слушай речи по дому, на всей на усадьбе...

Егорыч потряс редкой бородашкой, сказал жестко:

– Будь в надежде, князь-боярин, на Азове не выдали, здесь обезопасим. Ты нам отец-батюшка, мы – твои дети...

И ушел легонькой своей, неслышной, шныряющей походкой.

Боярин подумал, повздыхал, у кивота повалился на колени, стал молиться, чтобы не помереть злою смертью, чтобы изловить злокозненных, чтобы себе добро было, а недругам – казнь лютая.

2. МНОГО ВОДЫ УТЕКЛО

Иевлев проснулся поздно: ночью опять привиделся все тот же сон, проклятый, постоянный кровавый сон. Беззвучно плыли, кренясь на яминах и ухабах, малые телеги, в тех телегах сидели по двое, назначенные на казнь, закрывали прозрачными ладонями огоньки напутственных свечек, будто пламя свечи и есть жизнь. Телеги плыли бесконечно, и казалось, изойдет сердце мукой, не выдержать, не стерпеть сего зрелища. И то, что не было во сне никаких звуков, и то, что Петр тоже появился в тишине, так несвойственной его присутствию, и то, что он протягивал ему, Сильвестру Петровичу, «мамуру» – знаменитый палачев топор князя-кесаря, и то, что он, Иевлев, не мог взять мамуру, чтобы рубить головы, и пьяный Меншиков с безумными прозрачными глазами – который все куда-то шел, шепча и плача, – все это было так невыносимо, что Сильвестр Петрович проснулся совершенно разбитым и долго лежал неподвижно, перебирая в памяти те дикие дни. И опять, в сотый раз, с бешенством вспоминал безмятежное лицо Лефорта и бесконечные балы, которые он задавал в проклятые дни казней...

Было слышно, как в сенцах перед горницей Егорша тихо с кем-то разговаривает. Потом вдруг он с досадою выругался, тихонько отворил дверь.

– Чего там? – спросил Сильвестр Петрович, нарочно зевая.

– Я уж думал, занемог ты, господин Иевлев, – сказал Егорша, – таково жалостно во сне слова говорил...

– Натопили печи, что не вздохнуть! – сердито ответил Иевлев. – Чего слышать-то?

– Многое слышать. Нынешней ночью холопя боярского на Двине смертно порезали...

– За что?

– А, говорят, за дело.

– За какое за дело?

– По-разному болтают, Сильвестр Петрович! – уклончиво ответил Егорша. – Сами знаете, народ. С них спрос невелик. А еще новости такие, что весь город Архангельский уже доподлинно знает, как надобно шведа пастись и что крепость строить будем.

Иевлев сел в постели:

– Правду говоришь?

– Сроду не врал, Сильвестр Петрович. Да и то сказать...

Он не договорил, махнул рукой.

– Ты – договаривай. Что – да и то?

– Боярин-то нынешний, Алексей Петрович, от Азова сюда пришел. Не по-хорошему там сделалось. Его будто на копья вздеть народишко хотел...

– Не твоего ума дело! – сказал Иевлев.

Егорша усмехнулся с таким видом, что он и сам знает, чье это дело.

Иевлев молча оделся, умылся из серебряного кувшина, стал завтракать здесь же, сидя на постели. Егорша за едой рассказывал:

– Покуда вы почивали, я весь город обегал. Брательника повидал – Аггея. Теперь он при корабле. Семисадов, что на Москве галеры строил, а потом к нам на Воронеж приехал и при Азове был, – помнишь, Сильвестр Петрович, ногу ему там оторвало ядром, – тоже живой, на деревяшке ковыляет. Строители корабельные – старичок и другой, Кочнев Тимофей, – здесь, на верфи на корабельной...

– Рябова-то отыскал? – спросил Сильвестр Петрович.

Егорша помедлил с ответом, Иевлев внимательно на него посмотрел.

– Не видел, что ли?

– Потонул кормщик, – тихо сказал Егорша. – Нету более на свете Ивана Савватеевича. Взяло его море.

– Ты что? Белены объелся? – вскинулся Иевлев. – Как так море взяло? Когда?

– Еще как мы с вами тогда уезжали в Копенгаген – провожал он нас, веселый был, только что сынок у него родился, Ваняткой его крестили, вы и крестным были, – помните?

– Да ты дело говори! – сердито сказал Иевлев. – Помнишь да помнишь! Небось, не старая я баба, помню... Дальше что было?

– А дальше то было, что ушел он океанским карбасом на дальние промыслы и не вернулся. Овдовела Таисья Антиповна...

Сильвестр Петрович отер руки платком, перекрестился.

– Вечная ему память, морского дела старателю. Большого сердца был человек. Жалею. Истинным моряком сделался бы. Иноземцев чинами флотскими да деньгами жалуем, а свои добрые – за хлеб, за пропитание гибнут...

Долго молчали. Сильвестр Петрович ходил по горнице, думал. Сказал другим, мягким голосом:

– Всех моряков-рыбарей, кто на корабли не взят, нынче же соберешь ко мне. С Семисадовым посоветуешься, с братом со своим Аггеем, с мастерами корабельными, с Кочневым, да еще со стариком, с Иваном Кононовичем...

– Да куда собрать-то? – спросил Егорша. – Здесь у боярина ушат разохшийся: все, что ни скажешь, услышат, да куда не надо и разнесут...

Иевлев кивнул, – Егорша говорил дельно.

– А я так про себя подумал, – продолжал Егорша, – не встать ли нам на жительство у Таисьи Антиповны. Старик-то Тимофеев помер, изба у них чистая, просторная, а жильцов всего трое – вдовица сама, сынок Ванятка да бабинька рыбацкая Евдоха. Что пожалуете за проживание – все вдовице на пользу, – бедно живут, страсть. Старик ничего ей не оставил, все на монастырь записал, на поминание. Одна только крыша над головой и есть...

– Да примет ли? Мы с тобой люди беспокойные.

– Как не принять, Сильвестр Петрович. Вы отец крестный – нельзя не принять. А уж вам житье будет – не нарадуется. Ни об чем думать не понадобится. Таких хозяек поискать.

Иевлев усмехнулся, дернул Егоршу за льняные мягкие волосы, потрепал весело:

– И все ты меня учишь, и все ты меня учишь, учитель экой нашелся. Ладно, собирай рухлядишку нашу да вели возок закладывать.

Узнав, что царев посланник съезжает, боярин Алексей Петрович и разгневался и растерялся, закричал на чад и домочадцев, на приживалок и челядь:

– Бесчестит меня, боярина, воеводу, хлебом-солью моею брезгует, ну ладно, упомнит, молодец!

Но тотчас же велел княгине Авдотье да засидевшимся в девках княжнам – кланяться, просить не делать горькой обиды, не огорчать боярина-воеводу. От имени всего семейства говорил учтивости домашний лекарь воеводы Прозоровского – иноземец с неподвижным взглядом и темным лицом Дес-Фонтейнес. Приживалы низко кланялись, восклицали жалостно:

– Не делай остуду, господин Сильвестр Петрович, пощади!

Старые девки, трясая пудренными париками, полученными безденежно с иноземных корабельщиков, делали Иевлеву галант, приседали, разводили голыми жилистыми руками, пришепетывали:

– Ах, ах, шевалье, не покиньте наше сиротство, не оставьте нас в бесчестии, мы, девы, вас об том же ву при...

– Али наш шато для вас неугоден? Али не дадите вы нам сего плезиру? О, шевалье, не пережить нам сие горе...

Сильвестр Петрович, тая улыбку на ломание сих дев, на бестолковый их французский язык и на прическу княгини Авдотьи, сделанную ею для гостя по новой моде на лубках и воцеленных тряпках, ответил учтиво, с поклоном, что съезжает он только лишь дабы не обременять высокопочтенного семейства, что весьма он признателен за доброту и гостеприимство и сердечно тронут изъявлениями дружеских к нему чувств. Дамы с восклицаниями, подобными тем звукам, которые доносятся из растревоженного курятника, проводили его до холодных сеней, князь-воевода, пыхтя, вышел на крыльцо, думный дворянин Ларионов и дьяк посадили царева офицера по чину в возок. Ямщик хлестнул

коренника, завизжали по морозному снегу полозья, беспокойный гость съехал. Во дворе сразу стало очень тихо. Думный дворянин твердым голосом сказал:

– Наш-то большой крепко, видать, от Андрюшкиной смерти напуган.

– Не без того, – согласился Молокоедов.

– Теперь засядет в хоромах безвыходно. Да и незачем ему в приказе сидеть. Вся датчина ему идет. И куренком не побрезгует, не то что денежным посулом. Пусть дрожит, да молится, нам прибыток...

– Грехи наши! – молвил дьяк. – Морозит ныне, Иван Семеныч. Не пойти ли в избу? Застудимся, не дай господь!

И думный дворянин с дьяком пошли в людскую – ужинать.

3. ЗДРАВСТВУЙ НА ВСЕ ЧЕТЫРЕ ВЕТРА!

Таисья встретила Сильвестра Петровича молча, поклонилась низко.

За пролетевшие годы словно бы созрела гордая ее красота: не так ярок был теперь румянец, не часто вспыхивали усмешкой глаза, в них стоял ровный, спокойный блеск. Она уж не смеялась залиvisto, как прежде, – приветливая, участливая улыбка светилась на ее губах. Теперь не было на ней ни сережек, ни перстеньков, которым так радовалась она в былые годы, но и вдовьего, горького, сиротского не заметил Сильвестр Петрович во всем ее облике. Если б не знать о смерти кормщика, – пожалуй, по виду Таисьи ни о чем не догадаться бы: глубоко бывает такое горе, не распознать его сразу, не разглядеть равнодушному взгляду. Но Иевлев был не чужим покойному Рябову и сразу увидел, что Таисья нынче совсем иная, чем в те далекие дни, когда Сильвестр Петрович, отбывая с другими стольниками в заморские края, крестил у Ивана Савватеевича того Ванятку, который в сапожках и вышитой рубашечке стоял сейчас возле матери и спокойно, лукавым, отцовским взглядом смотрел на незнакомого офицера со шпагою.

– Он и есть крестник мой? – спросил Сильвестр Петрович.

– Он! – ответила Таисья, и выражение особой материнской гордости озарило ее лицо.

– Ну, здравствуй! – сказал Иевлев мальчику.

– Здравствуй на все четыре ветра, коли не шутишь, – голосом, исполненным достоинства, и без поклона ответило дитя Иевлеву, и страшно стало, – так вспомнился сам Рябов в тот час, когда не хотел он поклониться Апраксину на взгорье у Двины и когда не поклонился самому Петру Алексеевичу.

Скрывая волнение, Сильвестр Петрович шагнул вперед, стремительно, сильными руками поднял мальчика к потолку и, глядя на него снизу, с радостно бьющимся сердцем подумал: «Господи боже ты мой, и чего только не сделает такой народ, и чего только не сделаешь во славу его и в честь русского имени!»

Поцеловав мальчика в лоб, он поставил его на пол, взял за руку и велел:

– Ну, веди, хозяин, в горницу.

Мальчик повел. Навстречу с лавки поднялся плечистый капрал со знакомым лицом, смущенно положил на стол ножик и мельницу, что искусно мастерил из щепок. Иевлев всмотрелся – узнал: то был разжалованный в давние годы офицер при таможне Афанасий Петрович Крыков. От времени словно бы посуровело лицо капрала. Он стоял смиренно, подняв голову. Вошедший моряк с большим чином капитан-командора подал сухую, горячую ладонь, близко глядя в глаза, сказал:

– Здравствуй, Афанасий Петрович. Рад тебя видеть!

– И я тебе рад! – просто ответил Крыков. – По доброму ли здоровью прибыл? Каково ехалось? Волков у нас ныне тьма-тьмуца...

Сильвестр Петрович ответил учтиво, поклонился бабке Евдохе, ветошью вытиравшей и без того чистую лавку для гостя, весело осмотрел горницу, в которой щебетали, щелкали и высвистывали птицы, зеленели в горшках и ящиках травы и малые деревца, поспрошал Ванятку, как что зовется из трав и птиц, потом сел и отдал мальчику шпагу – на смотрение.

Крыков все поглядывал на Сильвестра Петровича, он спросил:

– Что глядишь, господин Крыков? Переменился я?

– Переменился, Сильвестр Петрович. Есть грех. Был, прости на правде, व्यюношем, а ныне муж. Взошел, видать, в года...

Иевлев усмехнулся:

– Да и ты не помолодел, господин Крыков...

Ванятка, высунув язык от напряжения всех своих силенок, вытянул наконец шпагу из ножен, похвастался Крыкову:

– Вишь, дядя Афоня, – шпага! Тебе бы такую...

Бурое от морозов и ветров лицо капрала дрогнуло. Ванятка задел самое больное место, – он не нашелся, что ответить. За него ответил Иевлев:

– Будет и у дяди Афони шпага, будет, дитятко...

Таисья вспыхнула, поняла. Афанасий Петрович, чтобы скрыть волнение, охватившее его, опять принялся строгать щепки для будущей мельницы. Сильвестр Петрович снял со стены искусно сделанную рамочку, прочитал старый пергамент, вделанный в рамочку. То была жалованная грамота царя Ивана Васильевича, данная им кормщику лодейному Рябову Ивану Савватеевичу на плавание во все моря и земли – до Аглицкой и Римской...

– У бабиньки у Евдохи хранилась, – объяснила Таисья, увидев недоумение на лице Иевлева. – Ванюши моего покойного и родитель, и дед, и прадед – все в дальние моря хаживали и почаству. Савватееми крестились, либо Иванами, да Федорами еще. Так вот оно и осталось: Иваны, Савватееи, Федоры Рябовы. Рукавицы его старые есть – под иконой висят, и могильник, сумочка так по-нашему, по-простому называется рыбацкая. Более ничего...

– Бахилы еще тятины в амбарушке! – напомнил Ванятка. – Только они дырявые, не сгодятся тебе, дядечка...

Иевлев усмехнулся, потянул мальчика к себе, посмотрел в его зеленые с искрами глаза, спросил тихо:

– А ты кем будешь, воин?

– Рыбаком буду! – выкручиваясь из рук Сильвестра Петровича, сказал Ванятка. – Морского дела старателем, вот кем!

– Испужаешься! – молвил Иевлев. – Где тебе! Море – оно хитрое!

– Я и сам не прост! – ответил мальчик. – Меня вот дядя Афоня на таможенный карбас брал, в море ходили...

Крыков издали кивнул; Таисья, грустно улыбаясь, смотрела на сына. Сильвестр Петрович, поблагодарив за ласку, поднялся, спросил, куда он определен будет на жительство. Таисья отвела его в другую половину, где все устлано было половиками и половичками, где тоже зеленели в горшках травы и маленькие деревца. Егорша уже распорядился вещами Иевлева, расставлял на столе книги, раскладывал чертежные инструменты, повесил на стене компас, барометр, пистолеты, саблю и палаш. В шандале потрескивали свечи, в печи жарко горели дрова. Кот, важно выгибаясь, заспанным хозяином прошелся по добела выскобленному полу.

– Понравится ли тебе тут, Сильвестр Петрович? – спросила Таисья. – Хорошо ли будет? Нынче-то и впрямь тихо, а может и так сделаться, что будут у нас сироты, двое али трое. Бывает – пошумят...

– Что за сироты? – удивился Иевлев.

– Бабинька наша, случаем, подбирает...

– Для чего?

– Ну, мало ли... – улынулась Таисья. – Так и не сказать сразу, для чего. Берет сиротинок – и все...

– Божье дело, – пояснил Егорша. – Бабинька наша издавна такая...

Иевлев понял, сказал, что сироты его не беспокоят. Таисья улынулась ласково и ушла.

– Ну, господин капитан-командор? – спросил Егорша.

– Да уж умник, умник, что бы я без тебя только делал, и ума не приложу...
– А пропал бы ты, Сильвестр Петрович, – ослабившись, сообщил Егорша. – Верно говорю, ей-ей. И в Голландии бы пропали, и в Лондоне, и повсюду, где мы только ни бывали. Голодом бы померли...

4. СОВЕТ

Первым пришел стрелецкий голова полковник Ружанский.

Иевлев попросил его сесть, приветливо подвинул ему коробку с табаком-кнастером, вересковые трубки, свечу – прикурить. Полковник, попыхивая пахучим дымом, не торопясь стал рассказывать, каково живется в Архангельске. Сильвестр Петрович, в домашнем, подбитом дешевым мехом кафтанчике, в меховых полусапожках, с трубкою в руке, похаживал по горнице, иногда садился перед печкой на корточки, разбивал головни кочергой, смотрел на мерцающие желтым светом багровые уголья. За стеною Таисья тихо пела Ванятке:

Спи, дитятко,
Спи, лапушка,
Спи, маленький,
Спи, солнышко...

– От ворага бережения незаметно на всем пути, что ехал! – сказал Иевлев без осуждения в голосе. – Надо бы, Семен Борисыч, сим делом со всем вниманием заняться. Шведы в готовности, отчего же нам на печи сидеть?

Полковник привстал, ударил себя в грудь:

– Господин капитан-командор! Кои слова воеводе скажешь – насмех поднимает! Тебе ли, старому дураку, мол, тебе ли псу шелудивому, на шведа руку поднимать! Сиди тихо, смирно! Может, государь полюбовно брату своему королю Карлу наши богом забытые места отдаст. Быть Руси на востоке, а здесь нам и делать нечего! Господин капитан-командор, не для фискальства, не для доносу говорю вам: дважды просил воеводу за все мои службишки и при совершенных летах и великих болезнях – отпустить на покой. Не пускает, лаетя, сиди, говорит, смирно! А как же я могу смирно сидеть...

Иевлев перебил:

– Нет, Семен Борисыч, не то нынче время, чтобы честного воина от дела отпускать. Так не будет. С утра с завтрашнего – смотр стрелецким полкам, как есть, не для обману – для дела. Оборванные, драные, пусть такими и пойдут. Поглядим. Завтра же велю начать караульную службу...

Он подошел к столу, разгладил ладонью план города Архангельска со всеми устьями Двины, с окрестными деревушками, с монастырями и погостами. Стрелецкий голова встал рядом с Иевлевым, дальноторко прищурился на план. Вдвоем они горячо принялись обсуждать, где надобно быть караулам для бережения от шведских воинских людей. Голова рассуждал верно, за плечами старика был большой солдатский опыт. Иевлев, с карандашом в руке, записывал, сколько в воеводстве какого войска, какие люди потолковее в стрелецких полках – Русском и Гайдуцком. Записал число драгун, рейтаров, записал, сколько народу можно взять под ружье, коли подойдет военная нужда. Полковник распалился, стучал трубкой по столу, хвалил солдат, капрала Крыкова.

– Погоди, Семен Борисыч, – сказал капитан-командор, – это какой же Крыков? Разжалованный? Афанасий Петрович?

Полковник нахмурился, кусая седой ус:

– Он. Попал мужик в беду. Иноземцы, собачьи дети, подстроили. А хорош, солдат, хорош...

– Верно, хорош?

– Голову свою ставлю! – крикнул Семен Борисович. – Стара, плешива, да честна голова. Ставлю против всех хитрых иноземцев, что человека погубили. Да ты сам подумай, Сильвестр Петрович: те, что обнесли его, к Карлу переметнулись, а он все в капралах. Ты слушай меня, старика. Таможенные целовальники, что по выбору от гостиной сотни таможней правят, души в нем не чают, в Крыкове-то. Ведь его трудами, да честностью, да неподкупностью и поныне таможня наша держится. Начального офицера нет, а к нему привыкли, вот и зовут по всякому происшествию – Афанасий Петрович сюда, Афанасий Петрович туда!..

Старик горячился, бурые пятна выступили на его щеках.

– Ты верь мне, верь! Ты его позови да потолкуй, да в глаза ему взгляни – каков мужик. Да чего толковать-то? Сотню эдаких молодцов – и не страшен мне швед, разобью его, ворога, на мелкие черепки, во веки забудет ход к нам. Более скажу: одного Крыкова Афанасия Петровича меняю на весь рейтарский наемный полк...

Иевлев молчал, с радостью глядя на расходившегося полковника.

– Ну, ну, будет! – сказал наконец Сильвестр Петрович. – Будет, верю, знаю. Попробуем, отпишем на Москву, может что и выйдет...

– Это о чем же?

– О Крыкове, сударь. Надобно бесчестье с него снять. Давеча видел я, каков он стал за прошедшие годы: грызет человека тоска, видно.

– А как же не грызть, хлебни-ка, попробуй...

Иевлев подробно выпросил, как ушли из Архангельска Снивин и Джеймс. О Снивине было известно мало, знали только, что семейство свое он заранее отправил морем в дальние края, после чего отбыл к Москве. Далее следы его терялись. Майор Джеймс, обиженный Апраксиным, долго писал письма на Кукуй и через Лефорта и других иноземцев вымолил себе право служить царю шпагою не в Архангельске, а на поле боя. Будучи прощен и обласкан, дождался вьюги во время сражения при Нарве и вручил свою шпагу королю Карлу.

– Ему и служит? – спросил Иевлев.

– Кому повыгоднее – тому и служит.

– Ты там тоже был, Семен Борисыч?

– Оттого и шею повернуть не могу! – посмеиваясь ответил Ружанский. – Один солдат мой, – запомнил, как звали, добрый мужик был, – в тот час, что иноземные офицеры удирать зачали, кровь в нем закипела – он их ну ослопной дубиной настегивать. Да во вьюге, во тьме – не разобрал. Вместо иноземца меня со всей своей медвежьей силищи перекрестил...

В холодных сенях завизжала набухшая от мороза дверь – Егорша привел корабельных мастеров, корабельных кормщиков: Якова да Моисея, огромного Семисадова, еще четырех поморов помоложе, которых Иевлев не знал. В горнице крепко запахло дублеными полушубками, ворванью, смолой, зычно ухнул басом Семисадов:

– А постарел ты, Сильвестр Петрович, с Азова. Ишь – и седина в волосах...

Поцеловались трижды, да и как было не поцеловаться, когда столько вместе путей прошли? Забыв о других людях, похохатывая, вспоминали какой-то корабль, что везли из Москвы на Воронеж; как Семисадов вдруг тогда, намучившись, за кустом уснул, да и потерялся, – думали, что волки его задрали; как пошли с донскими казаками на их лодках воевать турок, и как захватили корабль...

– А Флор-то Миняев, атаман казацкий! – вдруг захохотал Семисадов. – Помнишь, Сильвестр Петрович? Ты ему: брось, дескать, люльку, порох тут, а он...

От смеха слезы выступили на глазах Семисадова, Иевлев, улыбаясь, смотрел на него, качал головой:

– Надорвешься, боцман, ей-богу надорвешься.

Отсмеявшись, утерев глаза платком, Семисадов сказал:

– Вы тогда уехали на шлюпке, не дождавшись, а больше мы и не виделись. Сколько припасу набрали мы у турки: одних гранат, я считал, более пяти тысяч...

– Без ноги-то как тебе? Трудно? – спросил Иевлев.

– Ничего, обвык. В море бывает и тяжеленько, а на берегу по малости живем.

Сильвестр Петрович обвел глазами горницу, оглядел улыбающиеся обветренные лица поморов, поздоровался с каждым, тихонько спросил у Егорши:

– А эти кто – четверо, что у печки сидят?

– Казаки, Сильвестр Петрович, – сказал Егорша. – Корабельные мастера сюда их привезли, на верфи здешние. Сами все поведают...

Иевлев поставил два шандала поудобнее, поздоровался с Нилом Лонгиновым и Копыловым, пришедшими с опозданием, сел на лавку. Кормщики, корабельные мастера, моряки азовского похода, вернувшиеся к своему Архангельску, перестали перешептываться, притихли, понимая, что недаром призваны к приехавшему по царскому указу большому офицеру.

Капитан-командор помолчал, собираясь с мыслями, готовясь к тому, что решил свершить неукоснительно, к тому, что царь называл консилиум, совет, коллегия. Быть и здесь коллегии, совету, консилиуму!

Очень тихо сделалось в горнице. И опять все услышали, как за стеною поет Таисья:

Высоко-высоко небо синее,
Широко-широко океан-море,
А мхи-болота и конца не знай,
От нашей Двины от архангельской...

– Господа честные, морского дела работники! – негромко сказал Иевлев, и легкий шорох пронесся по горнице: никто еще так не называл поморов. – Господа! Все, что нынче вы здесь изволите услышать, есть секретное обстоятельство, от разрешения которого произойти могут чрезвычайные для нас последствия. Имеем мы свидетельство тому, что король шведский Карл располагает напасть своим флотом на город Архангельский, дабы навеки положить конец начавшемуся тут кораблестроению. Он, король Карл, желал бы видеть всех русских корабельных мастеров повешенными, а верфи наши, с таким кровавым трудом построенные, – сожженными. Те корабли, которые с великим прилежанием и муками, кои вам более известны, нежели мне, построены, сей Карл желал бы увезти в Швецию, подняв на них флаги своей державной власти. Город наш будет отдан на разграбление и поругание наемным матросам шведской короны... В бережение от той великой беды его величество государь Петр Алексеевич повелели нам строить на Двине крепость.

Иван Кононович вынул из кармана большой цветастый платок, с облегчением утер шею и лицо. Мастер Кочнев смотрел на Иевлева горячими глазами. Семисадов, отворотясь, попыхивал короткой глиняной трубкой.

– Крепость мы построим! – сказал Иевлев. – Не только в ней толк. Вы – люди здешние, морские, от прадедов ходите в моря. Все вам здесь знаемо, все вам тут свое. Дайте совет – как еще беречься от лихой беды. Что надобно делать?

Семисадов круто повернулся на лавке, спросил отрывисто:

– По правде говорить, Сильвестр Петрович?

– По правде, – не сразу ответил Иевлев. – По правде, боцман.

– Иноземных купчишек всех до единого – на съезжую! – объявил боцман азовского флота. – То – главнейшее дело...

Иевлев стукнул ладонью по столешнице, оборвал Семисадова:

– Об иноземцах речи нет! Вздора не мели!

– Вы совета спрашиваете, Сильвестр Петрович, – злым голосом сказал Семисадов, – я вам совет и говорю. А ежели память у которых людей короткая, то извольте – напомним, как во время осады голландский офицер, артиллерист, царев крестник Янсен, тот, что не в первый раз и службу и веру менял, – к туркам переметнулся за ихнее, за золотишко, и,

заклепав пушки, на Азов ушел, в крепость. Вы на меня рукой зря машете, Сильвестр Петрович, тую лихую беду я вовек не забуду, как через сего изменника четыре сотни человек в красном свальном бою полегли, я сам там был, – тую кровищу по смерть не забуду...

– Так ведь колесовали Янсена! – крикнул Иевлев.

– Поздно колесовали! Злою смертью кончил живот свой Янсен, да беду, что учинил, тем не поправили...

– Чего же ты хочешь?

– Веры им не давать! – с отчаянием сказал Семисадов. – Может, и очень даже распрекрасные люди среди них есть, да дорого что-то нам стоят. Покуда узнаем, кто хорош, а кто плох, кровью изойдем, господин капитан-командор...

Сильвестр Петрович сжал зубы, лицо его пылало, на Семисадова он не смотрел.

– Дружки были там, – тише, со скорбью сказал Семисадов. – С Архангельска, с Чаронды, с Мезени. Небось, сгодились бы и нонче, боя не бегали, пулям не кланялись...

И опять отворотился.

Все молчали.

– Воевода еще... – с усмешкой, осторожно начал мастер Кочнев.

– Чего – воевода? – насторожился Иевлев.

Кочнев осмотрелся по сторонам, умные глаза его глядели смело.

– Говори, господин мастер! – догадываясь, что может рассказать Кочнев, поддержал Иевлев. – Говори, слушаем тебя...

– Господин капитан-командор! – громко и внятно начал Кочнев. – Вы меня не первый год знаете, еще с Онеги вместе на Москву ехали, тогда в зимнюю пору вместе корабли на Переяславле-Залесском ладили, вместе с царевых забав начинали...

Он вдруг запнулся, словно задумавшись, а когда заговорил снова – тише, глуше стал его голос: вспомнился Яким Воронин, могучие раскаты его команд на стругах под Азовом, смерть на поле брани.

– Крепко мы в те поры вздорили с покойником, господином Ворониным, ругались нещадно, – да будет ему земля пухом, хорош был мужик, стать бы ему истинным моряком, не дожил, жалко. Не боялся дела, даром что из бояр...

– Тише кричи, бояре на печи! – со смешком из угла предупредил Иван Кононович.

– То-то, что на печи, да я обиняком! – согласился Кочнев. – Многое мы с вами вместе хлебали, господин капитан-командор, и на Москве для азовского походу корабли строили, и на Воронеже, и на Козлове, и на Сокольске. Много вы мне и верили, обиды на вас не имею. Вместе голодовали, вместе холодовали, вместе щи хлебали, где одна капуста другой ау кричит...

В горнице засмеялись, улыбнулся и Сильвестр Петрович.

– Всего было! – со вздохом сказал Кочнев. – Было и то, что вы мне пять тысяч целковых золотой казны доверили, чтобы отвез я на прокормление работным людишкам. Поезжай, сказали, господин мастер Кочнев, ибо к дьякам я доверия не имею. Украдут, а потом на лихих разбойных людишек свалят. Работный же народ лютой голодной смертью весь помрет. Было так, господин капитан-командор?

– Было! – ответил Иевлев. – Всегда тебе верил, господин мастер Кочнев, и уму твоему, и таланту, богом данному, и чести твоей... Всегда верил и верить буду...

– А коли так, – продолжал Кочнев, – коли всегда верить будете, то и тому поверьте, что нынче вымолвлю. Господин капитан-командор! Воевода здешний боярин-князь Прозоровский больно уж сытно нами кормится. Мы люди не дураки, знаем, каждый воевода на кормление едет, и ему жрать надобно, и дружкам его без пирожка не прожить. Но только кормись, да честь знай... Иевлев опустил голову, слушал насупившись.

– У сего воеводы, господин капитан-командор, по обычаю ключи городовые и воротные, он нам и судья, и защитник, и первый средь нас воин. Да ведь случись лихая беда, черный год – он и продаст нас...

Сильвестр Петрович взглянул на Кочнева и вновь опустил голову: кровь громко

стучала в висках, голос Кочнева и все они, рассеявшиеся здесь мужики, вдруг стали ненавистны.

– Измывается над нами как похощет, – продолжал Кочнев, – последнюю рубашку с посадского тянет. Давеча неподалеку убийство сделалось, он, воевода, согнал в узилище почитай что полета народу, не выпускает – покуда не откупятся, иначе сулит бить батоги нещадно. Без посула к нему за делом и не ходи. Пошлины рвет с народа на себя, ныне пролубные поднял до гривны с едока. Вода-то в Двине божья? Как же оно выходит? С проруби кому водицы взять – плати, да кому – воеводе...

– Ты к чему об сем говоришь? – поднимая тяжелый взгляд, спросил Сильвестр Петрович.

– А к тому, – громко и со злобою в голосе сказал Кочнев, – к тому, господин капитан-командор, что воевода боярин Прозоровский многие беды нам сотворит, и дабы сего не случилось, надобно на первой поганой осине, поганую бы веревкою вздернуть вора да обидчика, казнокрада да лихоимца, судью неправедного, татя дневного, боярина воеводу Алексея Петровича...

Сильвестр Петрович не выдержал, поднялся из-за стола, с грохотом свалив шандал, крикнул:

– Молчать! Одурели все! Ваше ли дело воеводу судить?

Горящее сало потекло по бумагам на столе. Егорша с испуганным лицом накрыл их кафтаном, поставил шандал на место.

– Воевода царским указом послан, его царю судить, а не вам! Вешать! Многого захотели! Для суда над воеводою я вас к себе звал?

Гости молчали, переглядываясь, Кочнев попрежнему смотрел безбоязненно.

Иевлев сел, крепко сжал ладони, чтобы успокоиться, сердце нехорошо, неровно бухало в груди. С тоскою подумал: «Эк, раскричался! Словно бы кликуша на паперти. Неладно, неладно!»

Пересилив себя, сказал вежливо:

– Дело прошу говорить. Как от ворога упасть, какие к тому безотлагательные меры принять, жду советов ваших, господа, с надеждою...

Но надежды не оправдались.

Люди молчали долго, потом заговорили осторожно, переглядываясь – чего можно говорить, а чего и нельзя. Кормщик Моисей посоветовал завалить, засыпать Пудожемское и Мурманское устья Двины. Аггей Пустовойтов неприязненным голосом сказал, что можно вешки все с фарватера снять – для всякого опасения от воров. Полковник, стрелецкий голова, высказал предположение – не поставить ли на Марковом острове пушечную батарею. Донские мастера-казаки добавили, что можно не только завалить устье, но и сваями забить, как у них на Дону делалось, чтобы завалы не унесла текущая вода. Нил Лонгинов с Копыловым и остальные люди молчали.

– Более ничего не скажете? – спросил Сильвестр Петрович.

Беломорцы перешептывались, лица у них были настороженные. Сильвестр Петрович поблагодарил гостей, проводил в сени. В сенях Семисадов вздохнул:

– Эх, Сильвестр Петрович, Сильвестр Петрович, хорош ты человек, а все ж смотрю я на тебя и думаю: сказал бы словечко, да волк недалечко! Ну, не серчай!

Здесь же корабельный мастер Иван Кононович тихонько попросил:

– Простите, господин капитан-командор, Тимоху моего, Кочнева. Молодо-зелено, ума не нажито...

– Да ты о чем, Иван Кононович?

– Впоперек он молвил про нашего про князюшку-воеводу, по недомыслию, млад еще...

– Кто млад? Кочнев?

– Разумом млад, Сильвестр Петрович, уж вы простите, не сказывайте, куда там велено, уж вы простите, отслужим...

У Иевлева потемнело в глазах, пересох рот.

– Да ты что, Иван Кононович, как обо мне думаешь?

– Немало нынче народишка, спроста эдак, по малоумию брякнут, – не глядя на Иевлева, быстро, чужим голосом говорил мастер, – брякнут где ни на есть, а после и отдуваются. Давеча шли мы сюда, а навстречу рейтары человека волокут. Что такое? Слово, говорят, молвил. Уж вы сделайте божескую милость, простите. И мастер-то какой, первой руки...

Говорил, а в глазах стояла неприязнь.

В горнице, пыхтя, пил квас стрелецкий голова, посмеиваясь говорил:

– Ну и народ, ай народ! Наплачешься с ним, Сильвестр Петрович!

Иевлев молча сел на лавку, низко опустил голову, закрыл глаза, будто от света свечей.

Говорить не хотелось.

Ночью он спал плохо: было жарко, душно, хотелось пить. Напился, остудил горницу, – не спалось. Все вспоминался Кочнев на воронежских верфях, измазанный в смоле, со складным аршином, с ловким топором, как смотрит на оснащенный корабль, как говорит:

– А ничего построили, Сильвестр Петрович. Доброе суденышко! И ходкое будет, непременно ходкое...

И он, Кочнев, мог помыслить такое о человеке, с которым одною дерюгою укрывался, с которым из одной мисы хлебал?

Стиснув зубы, взбил под головою кожаную подушку, со злобою спросил сам у себя:

– Что же делать? Им волю дай, так они всех перевешают! Сегодня Прозоровского, завтра Апраксина, потом и меня. Что же делать?

5. ПРИДЕТ ВРЕМЯ – УДАРИМ СПОЛОХ!

Ночью к Афанасию Петровичу в таможенную избу явились Молчан с Ватажниковым и с давно пропадающим где-то в скитах Кузнецом. Крыков вышел к ним на мороз под играющие в небе огни северного сияния; позевывая, кутаясь в накинутый на плечи полушубок, спросил:

– Чего пришли, полуночники? Дня не хватило? Э, да и Кузнец с вами?

– А того пришли, – строго сказал Молчан, – что нынче в Тощакском кружале случилась беда. Скрутили нашего Ефима, поволокли на съезжую...

Крыков сразу перестал зевать и потягиваться, повел дружков в камору, где сложено было оружие для таможенных солдат. В сенях спросил у Молчана быстрым шепотом:

– Холопя княжеского ты на Двине побил?

– Известно, я...

– Один?

– Не полком, чай, силенкой не обижен.

Заскрипела дверь каморы.

– Вот чего не хватает нам! – сказал Молчан, глядя на мушкеты и полуфузеи. – Ударили бы сполох, пожгли бы дьявола-воеводу, взяли бы бритомордых иноземцев в топоры...

– Ты, мил-дружок, и без мушкетов воюешь, – молвил Крыков. – По всему городу шум пошел...

Молчан угрюмо усмехнулся:

– Одним Иудой меньше стало, – какое это дело. Смехи...

Глаза его мерцали недобрыми огоньками, все его крепкое тело прохватывала дрожь.

– Выпить бы! – попросил Ватажников. – Намерзлись мы с ним за две-то ночи...

– За две?

– А он со мною того Иуду следил, – пояснил Молчан. – Покуда Андрюшка-покойник с девками играл, покуда далее гулять отправился.

– И нынче то ж, – устало пожаловался Ватажников. – Задами из кружала, через Пробойную улицу, а по нам воеводские псы из мушкетов, словно бы по волкам.

Афанасий Петрович принес в полштофе водки, соленых огурцов, хлеба. Ватажников

выпил, рассказал подробнее, как все случилось и прошлой ночью и нынешней. Тот Андрюшка и на Азове извет сделал и здесь ладился к некоторым. За христианскую стрелецкую кровь его кончили. А ныне, в кружале, беседа была мирная, говорили о том, о чем нынче везде говорят: что-де идут свейские воинские люди воевать Архангельск. Ефим Гриднев на то ответил, что и не таких бивали, а нынче вряд ли побьем, куда ни ступишь – все иноземцам ведомо. Спор зашел об иноземцах – для чего им такая воля дадена, что нет на них никакой управы. Один сказал: сам царь-де иноземец, подмененный за морем. Наш-де истинный – в заточении. Другой сказал: иноземец бритомордый да никонианец трехперстный – одна суть. Тот весь спор сошел тихо. Тогда Ефим Гриднев облаял воеводу поносными словами, что он казну ворует и управы на него нет, поелику его иноземцы на Кукуе хвалят...

– Длинно больно сказываешь! – прервал Крыков. – И не пойму я толком, что за народишко там был?

– А работные людишки: кто с Соломбальской верфи, кто с Вавчуги – за гвоздями, вишь, корабельными приехали; дрягли еще, салотопники монастырские... – объяснил Молчан.

– Ну, облаял Ефим, далее что было?..

– А далее то было, что Ефим наш Гриднев еще слово сказал на воеводу, будто не отбиться нам от шведа, коли князя не свалить, и будто еще продал он нас всех в басурманскую шведскую веру, где заместо бога Мартын Лютый управляет, и что люди воеводские Гусев и Молокоедов, да думный дворянин Ларионов, да лекарь его иноземец за то и деньги получили немалые – куль золотых. И что-де Мартыну Лютому теперь на Двине, на Воскресенской пристани столб будут ставить – для моления...

Молчан налил себе чарку, медленно выщедил через зубы:

– Народишко слушает. Тут какой-то возьми и скажи – «слово и дело». Приказчик будто баженинской верфи. Бой сделался, не сдюжили мы с ихней силой, уходить пришлось...

– Пугливые больно! – сказал Крыков.

– Тебе говорить бесстрашно тут сидючи, ты бы там повоевал! – обиделся Молчан. – Рейтаров навалилось человек с дюжину, саблями стали бить.

Крыков молчал.

– Пытать его будут! – сказал Ватажников. – На дыбе. Огнем жечь...

– Ужо попытают! – ответил Молчан. – А за что?

Кузнец, молчавший до сих пор, вдруг испуганно завопил:

– За что? Никоциант проклятый, сатанинское зелье, соблазн дьявольский – курите? Чай ноне пить стали, – что он есть? Напиток анафемский, вот что он есть! Тьфу, тьфу, мерзостные, проклятые, царя в Стекольном подменили, нам басурмана привезли, бороды режет, кончает веру истинную, злодей...

Крыков положил руку на плечо Кузнецу, сказал с силой:

– Уймись, кликуша!

Кузнец вырвался, оскалился на Афанасия Петровича, маленькие глаза его горели бешенством:

– Ты? Ты кто таков есть? Сам бритомордый, вон трубка твоя никоциантская, сатана, не трожь меня лапой своей... Лютое гонение претерплю, да не с вами, с табашниками, с еретиками, с детьми антихристовыми...

Молчан сгреб Кузнеца за ворот старого прохудившегося кафтана, потрянул, велел замолчать. Ватажников сказал:

– Вот и делай с ним дело. Давеча сказывали: по скитам всюду постытся до того, что и на ногах стоять не могут, приобщаются старинными дарами и, простившись с миром, ожидают в трепете трубы архангела. Есть которые нынче до смерти запостились, голодной смертью померли...

Кузнец вновь вырвался из рук Молчана, зашептал, тараща глаза:

– Быть кончине мира в полночь с субботы на воскресенье, пред масленицей: земля

потрясется, распадутся в песок камня, померкнут солнце с луною, дождем звезды посыпятся на землю, протекут реки огненные и пожрут всю тварь земнородную. В огне явится антихрист: плоть его смрадна, пламенем пышет пасть, из ноздрей, из ушей тож огни пылают...

– Водю его, что ли, холодной sprыснуть? – с тоской в голосе сказал Крыков. – Давай, Ватажников, принеси ведро...

Ватажников засмеялся, махнул рукой:

– Мучитель, право мучитель! Ходит по избам, говорит слова прелестные; кои люди и рты раскрыли: Нил Лонгинов с Копыловым колоды себе выдолбили, гробы, помирать собрались. Женки ревмя режут. На верфь на баженинскую заразу свою занес, проповедник: кои мужики дельные были – от дела отвалились, помирать готовятся. Ополоумел, ей-ей...

Афанасий Петрович взял трубку, открыл кисет; Кузнец на него покосился, тихо сказал:

– Уйду я. Нечего мне с вами делать.

Крыков ответил спокойно:

– Иди, иди! И впрямь нечего! Кликушествуешь только...

Кузнец ушел, не поклонившись, сухой, отощавший, с яростным взглядом. Молчан с завистью произнес:

– Силища, черт! Не жрет, не пьет, не спит – как не помер по сей день. И мастер на диво: все может сделать – копьё, фузею, пушку отлить, колокол для церкви. Ни мороза не боится, ни бури в море, – все ему нипочем. А как говорить зачнет, народишко только его и слушает – даром, что окоlesiцу плетет...

Помолчали. Афанасий Петрович попыхивал трубочкой, думал: «Да, силища! Такого ничем не переломишь, покуда сам не сломается. А сломается, такие пойдет кренделя да вензеля выписывать, ахнешь!»

– Афанасий Петрович! – окликнул Молчан.

Крыков встряхнул головою, взглянул на гостей.

– Дай нам пистолей, дай мушкетов, пороху дай, пуль, – требовательно сказал Молчан. – Вон их у тебя – полна клеть. Дай – не пожалеешь...

– Рано!

– Время, не рано. Давеча был здесь проходом беглый стрелец Протопопова полка Анкудинов Маркел. С Азова идет в скиты – таиться. От него и прознали мы про холопа – изветчика Андрюшку, коей Иуда на дыбу столь много народу кинул. В Азове было бы по-доброму, кабы начали во-время...

Крыков молчал, внимательно слушал.

– Был там добрый начальный человек над ними – стрелец, многолетний старик, тож в Протопоповом полку служил. Ранее был в крестьянах за боярином Шейным, а в те поры со Степаном с Разиным хаживал. Обжегши шест – с тем шестом, как с копьём, дело свое святое делал – бояр бил смертно. Так оный старичок славный Парфен Тимофеев сулил на Москву идти, стариною тряхнув, воевод по пути всех казнить, хлеба народу давать, а на Москве иноземцев проклятых и бояр кончать за те полки, что безвинно все побиты...

– Ну?

– На первое сентября в том году было назначено, да не совладали. За караул похватили да пытать зачали. А мы б здесь, Афанасий Петрович...

– Рано! – твердо сказал Крыков. – Рано, друг добрый. Как в Азове будет, а то и плоше.

– Не веришь, что народишко поднимется? – блестя глазами, спросил Молчан. – С верфи с Соломбальской работные люди многие пойдут, с Вавчуги поднимутся, баженинским только скажи, кто беде виновник – зубами порвут. Пожгем злодеев наших, головы на рожны, выберем себе доброго человека, по правде станем жить...

Лицо у Молчана стало вдруг детским, мечтательным, глаза подобрели, весь он словно оттаял. Говорили долго, до третьих петухов. Афанасий Петрович хмурясь сказал, что народу встанет не так уж много, что ежели раньше времени подняться – побьют и дело ничем не кончится, что вот-де приехал Иевлев Сильвестр Петрович – человек нрава крутого, у

воеводы не ужился, может еще и наведет добрый порядок в городе.

Молчан с издевкой улыбнулся в черную курчавую с проседью бороду.

– То-то не ужился волк с медведем. Все они одна сатана. Давеча собрал приезжий господин капитан-командор кое-кого из здешних людишек. Кочнев, корабельный мастер, о воеводе заикнулся, так Иевлев твой так на него зашумел, ажно свечи повалились, чуть дом не спалил. А Семисадов, что до боцмана под Азовом дослужился и безногим приехал, об иноземцах вякнул, чтобы их – на съезжую. Так где там! Ефима на съезжую – оно, конечно, можно...

Так и разошлись Крыков с Молчаном и Ватажниковым, ни до чего не договорившись. Афанасий Петрович лег перед светом, но сон не шел. В тишине все чудился треск многих шведских воинских барабанов, полыхающее зарево над Мхами, где стоит рябовская изба, сама Таисья с малым Ваняткой на руках, а к ней идут лихие воинские обидчики.

Днем Молчан пришел опять, застал Крыкова одного, спросил злобно:

– Отстать от дела хочешь? Ответь по-честному.

Крыков отложил книгу – воинский устав пешего строю, сказал просто:

– Не дури, Молчан! Мушкетеры да, пистолеты тоже да, порох есть. Командовать, как сполох ударите, сам возьмусь. Все вы, черти, на горло более горазды, воинского дела не ведаете вовсе, а ежели не ведаете, то и побьет вас стрелецкий голова в одночасье. Так говорю?

Молчан нехотя кивнул, соглашаясь.

– Людей надобно поднимать не порознь, а сразу поболее, делать баталию надобно спехом, иначе сомнут нас. Со стрельцами, с драгунами идти дружно. А есть ли середь них наши люди? Молчишь? То-то, брат! Не так оно просто выходит! Для чего же кровь русскую лить – боярину да иноземцу-вору на радость? Не дам!

Крыков помедлил, заговорил не торопясь, словно раздумывая:

– Мало нас еще, друг, мало. Так мало, что вряд ли одолеем обидчиков наших. Да и свейские воинские люди на город, слышно, собрались идти. Отбиться от ворога надо, то дело большое, кровавое, многотрудное. Рассуди головою, не бычьись, – как быть?

Молчан не отвечал, хмурился.

– Думай сам: поднимемся, а об это время швед возьмет, да и нагрянет – как тогда делать? Говори, коли знаешь, научи!.. То-то, что и сказать нечего! Живем под кривдою, поборы иссушили нас, иноземец да воевода-мздоимец, да судья неправедный – все то так. А швед – матушка родная, что ли? Видим ныне лихо, а что увидим, как он придет? Пожжет да порежет всех, одна зола останется, да кости, – вот чего будет. Ему, вору, междуособье наше на руку, оттого ослабнем мы, легче ему брать нас. И выйдем мы перед городом Архангельском, перед Русью, перед Москвою – изменниками. Так али не так?

Молчан не ответил, ушел к дружкам – говорить с ними. Вечером у старой церквушки Воскресенья Крыков и Молчан почти столкнулись – оба шли быстро.

– К тебе иду, Афанасий Петрович, – шепотом заговорил Молчан. – Еще беда: ныне в соборе схватили Ватажникова, повели править розыск. Я схоронюсь, ежели вынырнуть не в доброе время – воткнут голову на рожон, не помилуют. Да рожон что! Один добрый человек давеча сказывал: новую казнь государь из-за моря привез – колесо, на том колесе руки-ноги ломают живому, вишь чего фрыги удумали...

Он улыбнулся мгновенно:

– Так-то, Афанасий Петрович, крутая каша у нас заварилась. Воеводе Азов причудился, будто как в допрежние времена его на копья поднять вздумали. Ну, а кому охота? Воеводе-то жизнь красная, со щами, а щи с убоиной, к тем щам пироги пряженые, вина – пей не хочу, зачем воеводе помирать? Вот и воюет воин за свой живот...

Молчан говорил быстро, без злобы, с веселым добродушием.

– Ну и дядюшку, небось, поминает. Все ж таки родная кровь. А того дядюшку господин Разин на крепостной стене в городе Астрахани пеньковою петлею удавил. Степушко-то знал, кого давить, не ошибался, небось. Видится боярину Алексею Петровичу и здесь на

Архангельске Степан...

Крыков молчал – слушал, вникая в быстрые мысли Молчана.

– Покуда нет меня, – сказал Молчан, – ты, Афанасий Петрович, живи тихохонько. Тебя с нами не выдывали, ты о нас и не слыхивал. Ватажников и Ефим – кремни, не выдадут ни на дыбе, ни на огне. Ни с какой сугубой пытки не заговорят. А ежели воеводские псы, что сами прознали про Андрюшку-холопя, и возьмут меня за караул, – я ни на кого не скажу. Понял ли?

– Понял.

– Ну, прощай, Афанасий Петрович, до доброго часу.

– Прощай, друг.

– Авось, свидимся.

– Авось.

Молчан нырнул в пробой между гнилыми, обмерзшими бревнами частокола. Сердито залаял цепной пес, со звоном посыпались где-то сосульки, и все затихло. «Увижу ли его? – подумал Афанасий Петрович. – Ужели и его возьмут? Может, и не возьмут?»

С тяжелым сердцем вернулся он к себе на таможенный склад.

6. ПОБОЛЕЕ БЫ НАМ ТАКИХ ОФИЦЕРОВ!

В это самое время капитан-командор Иевлев писал письмо на Москву – Апраксину Федору Матвеевичу.

«Дорогой и почтеннейший кавалер господин Апраксин!

Место для цитадели определено со всем тщанием при помощи господина Егора Резена, который есть инженер достойнейший. Искать место для строения сего дела – не из легких событий нам, морозы лютуют и снег пребольшой, но мы – бомбардира ученики, прошли с ним и огни и воды – не жалуемся. Прошу тебя для ради нашей сердечной дружбы: коли выдаешь нынче бомбардира, попроси его как можно только без задержания простить капрала – некоего Крыкова Афанасия. Напомни, что об сем капрале просил государя покойный наш генерал Гордон Петр Иванович, ибо Крыков нестерпимую обиду понес от мздоимца-иноземца, который Гордону близко известен был. Как я помню, государь тогда же обещал Гордону помянутого Крыкова в чин произвести, но силен иноземный Кукуй, – указа и поныне нет. А коли можно бомбардира не тревожить сим делом, то сам обладь, – в крайности нахожусь, мало офицеров дельных и честных. Данилыча просить не для чего. Он хоть и по старой верности, да без подношения, пожалуй, позабудет. Спаси его бог, дурно о нем поговаривают, жаден больно. Ты бы присоветовал ему, господин Апраксин, берегись, бомбардир нынче с дубиною, а завтра и с тою мамурою, что купил в Митаве и сказал при сем: “Вещь на отмщение врагов наших”. Дубину и позабыть можно, а мамура дважды не говорит, как господин Ромодановский изволил смеяться. Ох, ох, мне Сашка наш, беспокоюсь об нем сердцем. Еще прошу, Федор Матвеевич, навести Машеньку мою и дочек, проведай ихнее житье, кажись не все там ладно, может нуждишка какая, не откажи похлопотать по коллегии, чтобы хоть прогоны мои им заплатили, не помирать же в самом деле за мздоимцев да казнокрадов. Еще поторопи, Федор Матвеевич, сюда обоз с пороховым припасом пушечным, да еще пыжевники и прибойники, что давеча делались. Куда их к бесу угнали, не в Таганрог ли? Еще прошу, не гневайся, что столь много просьб до тебя имею, прошу – пошли с оказией, какая на верфь будет, различных книг добрых. Но чтобы без подлой такой лжи, как книга Иоганна Корба, где все мы россияне в пресмешном виде представлены на утешение туркам и шведам, что-де и воевать нас не для чего – никуда мы не годимся.

Еще пишу тебе, что на верфи Соломбальской дела идут утешительно, хотя людишки там, как и раньше, хуже скотов содержатся. В кои разы мы с тобой об сем предмете имели беседы, ох, Федор Матвеевич, как уберечь нам работных людей от лютой, от воровства и бесчинства начальных господ? Баженин на Вавчуге от великих прибытков своих вовсе ума лишился, здесь он великая персона и с ним ни об чем спорить нельзя. Еще полотняный завод

построил, сам пушки льет для кораблей и озорничает над людьми крепко.

Однако расписался я слишком. Поклонись от меня всей нашей честной кумпании, помяните меня, недостойного, когда будете с Бахусом играть да с “Ивашкой Хмельницким” биться на смерть...»

Сильвестр Петрович запечатал письмо, поднял на Егоршу усталые глаза, спросил, здесь ли Семисадов. Егорша ответил, что здесь, давно дожидается.

– Зови!

Боцман вошел, поздоровался, сел на лавку.

– Что волком глядишь? – спросил Иевлев.

– Не курицей родился! – загадочно ответил Семисадов.

Сильвестр Петрович помолчал, подвинул табак боцману.

– Определил я тебя в дело! – сказал он погодя. – Довольно тебе баклуши бить...

– В какое в дело? – спросил Семисадов.

– На постройке в крепости – десятским.

– Это чтобы на людей вроде цепного пса?

– Да ты погоди! – усмехнулся Иевлев. – Погоди ругаться. Выслушай...

– А чего мне слушать? Нагнали народишка почитай со всего Беломорья, бабы воют, мужики ругаются, стон стоит, а вы – десятским...

– Да строить-то цитадель надо?

– Ну, надо!

– Как же ее строить?

Семисадов молчал, пыхтел трубкой.

– Не знаешь чего ответить? Голова! Не пойдешь десятским?

– Не сдюжаю, Сильвестр Петрович! Народа больно жалко!..

– Жалеть – дело простое...

– Слушать меня не станут...

– Десятским не пойдешь, в помощники к себе возьму...

Боцман покосился на Иевлева, но промолчал.

– Брандеры будем строить, суда зажигательные, вот по этой части. Пойдешь?

Семисадов ответил не сразу:

– Брандеры строить могу.

– То-то.

– Завтрева выходить к месту?

– Завтрева и выходи.

После Семисадова Иевлев говорил с донскими корабельными мастерами, спрашивал, как у них повелось засыпать устья, какие на Дону для сего дела хитрости и придумки. Кочнев и Иван Кононович вмешались в беседу. С цитадели приехал быстрый в движениях, жилистый, с насмешливыми глазами инженер бремениц Егор Резен. Иевлев стал ему переводить то, что говорили донцы: Резен настойчиво учил русский язык, но не все еще понимал. Казаки говорили степенно, было видно, что дело они знают хорошо. Один черный, глазастый, со смоляными тонкими усиками, пожаловался:

– Вы прикажите, господин капитан-командор, дать лесу нам, мы по-своему корабль построим. Не верят нам на верфи. А приехали мы сюда не для того, чтобы на печке спать, велено нам от Апраксина на нашей верфи судно построить. Вот Иван Кононович, наиуважаемый мастер, говорит: надо испытать донское судно. А иноземец смеется, пес, бесчестит нас...

Разгорячась, выругался.

В горнице заговорили все сразу: Резен заспрашивал, что за донской корабль, казаки стали хвалиться своим судном перед беломорским кочем, Иван Кононович замахал на них руками, – где вам до нас, мы льдами хаживаем, разве вам угнаться...

Попозже, ближе к рано наступающей северной ночи, Сильвестр Петрович с Егоршей двуконь поехали смотреть караулы – как бережется стрелецкий голова от шведа. Зима

перевалила к весне, мороз не так жегся, как в январе, но все-таки было еще холодно. Желтые звезды тихо мерцали в далеком черном небе, во дворах иноземцев лениво брехали меделянские псы, похрустывал снег под копытами низеньких северных коней. Караулы бодрствовали исправно, окликали издали:

– А ну, стой! Чьи вы люди?

На таможенном дворе, под мерцающим звездным небом, несмотря на позднее время, капрал Крыков делал учения по-новому, как велел Сильвестр Петрович: вместо старых команд о пятнадцати темпах – всего три. Во дворе, на сухом веселом морозном воздухе, четко, ясно, громко гремел голос Афанасия Петровича:

– Орлы, слушай мою команду! Ранее было: подыми мушкет ко рту, сдуй с полки, возьми заряд, опусти мушкет книзу, сыпь порох на полку, закрой, стряхни, клади пулю, клади пыж, вынь забойник, добей пульку и пыж до пороху. Теперь будет одно слово: за-аряжай! – И погода: – Прикладывайся! Пли!

Егорша сказал шепотом:

– Чисто делают, Сильвестр Петрович, даром что таможенное войско. И с разумом...

Таможенники учились стрелять плутонгами: один ряд бил огнем стоя, другой перед ним с колена заряжал. Стреляли нидерфалами – падали, поднимались, опять падали.

Крыков, заметив всадников, подошел, сконфузился:

– Чего днем не успели, ночью доделываем, господин капитан-командор. Не управиться за день с учениями. По-иному стрельба нынче, по-иному строй. Ребята мои сами желают, – про шведа наслышаны...

– Дай бог нам поболее таких офицеров! – тихо ответил Иевлев. – Дай бог, Афанасий Петрович...

Крыков совсем смешался, стоял, глядя в сторону.

Иевлев и Егорша уехали, процокали копыта за частоколом. Крыков, возвращаясь к своему войску, думал: «Разобьем шведа, сгодится мое учение и на иное. Может, и верно – сыщем сами свою правду...»

Прошелся перед строем, коротко приказал:

– Готовься! Заряжай! Делай ходко, орлы!

ГЛАВА ВТОРАЯ

Ваш долг есть – охранять законы,
На лица сильных не взирать.
Без помощи, без обороны
Сирот и вдов не оставлять.

Державин

1. ПОМИРАТЬ СОБРАЛИСЬ

Мужики собрались помирать не в шутку.

Женки выли в голос. Страшно было смотреть, как мужья – здоровые, бородатые, краснощекие, жить бы таким и жить, – вдруг принесли в избу долбленные тяжелые гробы для самих себя.

Женка Лонгинова, Ефимия, запричитала, кинула об пол пустой горшок, горшок разбился вдребезги. Дети – сын Олешка да дочка Лизка – с интересом заглянули в гроб, чего там внутри. Из гроба пахло свежей сосной.

– Стели! – велел Лонгинов.

– Чего стелить-то? – взвизгнула Ефимия.

– Ой, Фимка! – с угрозой в голосе сказал Лонгинов.

Бобыль Копылов, пыхтя, тащил второй гроб – обмерзший, пахучий, тоже долбленный из целой сосны. Кузнец ему помогал. Ефимия, остервенев, взяла в руки помело, закричала истошно:

– Чтобы духу вашего не было, чтобы не видела я срамоты сей поганой! Неси вон гробы, иначе кипятком ошпарю, нивесть чего сделаю!

Лонгинов сел за стол, подперся рукою, Кузнец сверкнул на Ефимию глазами, она не испугалась, замахнулась помелом. Дети, Олешка с Лизкой, раскрыв рты, смотрели из угла на расходившуюся мамыньку, на присмирившего отца. Мужики посовещались. Кузнец предлагал идти помирать в избу к Копылову, он бобыль, там никто не помешает святому делу.

– Не топлено у него! – сказал Лонгинов. – Заколеешь десять раз до страшного суда. Не пойду!

– Натопим! – пообещался Кузнец. – А не натопим – все едино. О чем мыслишь, нечестивец.

– Натопим, натопим! – закричала Ефимия. – Чья изба-то, его? Он захребетник, шелопут, Федосей проклятуший, от всякого дела отстал, лодырь, сатана, одно знает – добрых людей смущать...

И вновь двинулась с помелом на Кузнеца.

Он вышел на крыльцо, от греха подальше, на скорую руку помолился, чтобы не побить скверную женку. Но от молитвы на душе не полегчало. Злобно думал: «Это я-то захребетник? Столь натрудиться, сколь я, – ни один рыбак не сдюжал. Захребетник! Дожил! Ну, ништо, помру, вот тогда припомнишь...»

Пришлось нести гробы в нетопленную, промерзшую избу Копылова. Покуда работали – ставили домовины на лавки и столы, – взопрели, Лонгинов повеселел, сказал Кузнецу:

– Фимка-то моя! А? Золото женка! Пугнула тебя метлою...

Кузнец сердито хмыкнул – нынче не следовало болтать лишнее. Копылов раздувал огонь в печи. Олешка и Лизка, босые, прибежали сюда по снегу – смотреть, как мужики помирать собрались, стояли у порога, посинев от холода, толкали друг друга локтями.

– Слышь, ребятишки! – сказал Лонгинов. – Слетайте духом к мамке, пусть какую-нибудь рогожку даст – постелить...

Олешка и Лизка стояли неподвижно.

– Ну ладно, не надо! – вздохнул Лонгинов.

Дрова в печи разгорелись, Копылов куда-то убежал. Лонгинов и Кузнец сидели друг против друга, вздыхали. Ребятишки подобрались поближе к огню, перешептывались. Кузнец вынул «Книгу веры» – стал читать вслух слова:

– Он же, Максим Грек, о зодии и планет глаголет: еже всяк веруяй звездочетию и планетам и всякому чернокнижию – проклят есть. Книги Златоструй Маросон – сиречь черные – прокляты есть. Беззаконствующий завет папежев Петра Гунгливого, Фармоса и Константина Ковалина еретика, иконоборца – проклят есть...

Копылов все не шел.

– Строгая книга твоя, – молвил Лонгинов, – ругательная!

– Молчи! – велел Кузнец.

– А кого в ей поносят – не разобрать, – опять сказал Лонгинов. – Как говорится – без вина не разберешь...

– Ты слушай смиренно! – приказал Федосей.

Лонгинова сморило, он подремал недолышко, проснулся оттого, что с грохотом отворилась дверь: Копылов, раздумавшийся от бега по морозу, принес штоф вина, хлеба, копченую рыбину. Кузнец хотел было заругаться, Копылов не дал:

– Ты не шуми! – сказал он строго. – Мы, брат, не праведники, мы грешники. Нынче в гроба самовольно ложимся, чего тебе еще надобно? Сам не пей, а нас не неволь. И в книгах твоих ничего об сем деле не сказано – может, Илья с Енохом сами пьющие...

Кузнец плюнул, отворотился в сторону, не стал смотреть. Лонгинов и Копылов выпили по кружечке, завели спор, как надобно брать нерпу, каким орудием сподручнее. Дети, угревшись у печки, заснули, Лонгинов не смог их добудиться, закутал в армяк, понес домой.

– И в гроб лег, а все винище трескает! – молвила всердцах Ефимия. – У других мужики как мужики, а я одна, горемычная, маюсь с тобой, с аспидом...

Лонгинов вздохнул: жалко стало Фимку.

На печи завыла вдовица покойного брата. Дети проснулись, тоже заревели. Лонгинов слушал, слушал, потом взялся за голову, закричал бешеным голосом:

– Не буду помирать, нишкни! В море такого не услышишь, что в избе...

Ефимия сразу перестала ругаться, поставила мужу миску щей, отрезала хлеба. Глядя, как он ест, утирала быстрые слезинки:

– Не станешь более помирать, Нилушка?

Он молчал.

Ефимия пообещалась:

– Ну, сунется твой праведник, живым не уйдет...

Кузнец с Копыловым ждали долго, Лонгинов все не шел. Копылов широко зевнул, кинул в гроб полушубок, лег. Кузнец лег в соседний, рвущим душу голосом завел песню:

Древен гроб сосновый,
Ради меня строен...

Копылов опять зевнул.

– Ты не зевай, – со всевозможной кротостью молвил Кузнец. – Ты выводи за мною...

– Я, чай, в певчие не нанимался...

– Поговори...

– А чего и не поговорить напоследки-то. Там – намолчимся.

– Пес! – выругался Кузнец.

– Я пес, да не лаюсь, а ты праведник, да гавкаешь...

Дрожащим от бешенства, тонким голосом Кузнец запел сам:

Я хоть и грешен,
Пойду к богу на суд...

– Заждались тебя там, – сказал Копылов с насмешкою. – Небось, сокрушаются: и иде он, любезный наш Федосеюшка?

– Ослобони от греха! – взмолился Кузнец. – Убью ведь...

– Да я для разговору...

И погода спросил:

– Так во сне и преставимся? Или как оно делается?

Федосей не ответил, только засопел сердито.

Проснувшись, Копылов рассердился, что застыл в гробу, мороз лютовал нешуточный.

– Иди, дровишек расстарайся! – велел Кузнец.

– А ты тем часом отходить станешь?

– Мое дело...

– Пожрать бы? – с сомнением в голосе молвил Копылов.

Поискал топора и вышел во двор.

Утром лонгиновские Олешка с Лизкой прибежали посмотреть, как соседи помирают. Кузнец, лежа в своем гробу, сердито молился, Копылова в избе не было. Лизка осмелела, подошла к Кузнецу поближе, спросила тоненьким голоском:

– Дядечка, а где соседка наш – Степан Николаич?

Кузнец ответил нехотя:

– Дровишек пошел поколоть, студено больно...

– А наш тятя сети чинит, – стараясь перевеситься через край гроба, сказал Олешка. – Мамка евону одежду всю спрятала, чтобы помирать не ходил.

К вечеру Кузнец вылез из гроба, стал от стужи приплясывать по избе. Копылов так и не пришел. Нисколько не отогревшись, Кузнец постучался в избу Лонгинова, Ефимия его не впустила. Надо было уходить, искать других мужиков, вновь готовиться к смертному часу. Творя молитву от злого искушения, вскинув за спину тошую котомку, Кузнец зашагал по скрипящему снегу вдоль вечерней улицы. Возле Гостиного двора он встретил Копылова – тот бежал по утоптанной тропинке, озабоченный, с сухой рыбиной подмышкой. Кузнец, завидев беглого, не удержался, облаял его мирскими словами. Копылов сказал в ответ:

– Нонче, брат, не помрешь так-то даром. По избам солдаты пошли, народишко имают – цитадель строить против свейского воинского человека. Всех берут – подчистую. Ежели готовый покойник – того не тронут, а которые еще дожидаются страшного суда – тех берут. Давеча на торге говорили, я слышал: Фаддейку Скиднева забрали – он шестеро ден в гробу лежал.

Кузнец слушал хмуро, на Копылова не глядел.

– Как будем делать? – спросил Копылов.

– Я-то уйду от них! – молвил Кузнец. – А ты как – твое дело.

– Не уйдешь! На рогатке возьмут.

Кузнец насупился, пошел своей дорогой.

2. ЗАЧЕМ ЧЕЛОВЕКА УБИЛ?

Архиепископ Архангельский и Холмогорский Афанасий пожертвовал на постройку Новодвинской крепости все оставшиеся после возведения стен Пертоминского монастыря припасы.

Иевлев ахнул: где взять людей, чтобы грузить суда, везти морем, выгружать?

Людей не хватало. На постройку забрали всех, кто мог передвигаться, – от детишек до стариков. День и ночь по архангельским, холмогорским, онежским, мезенским избам ходили дозоры стрелецких и драгунских полков, скрепя сердце гнали народ работать в цитадель. Конные бирючи осипшими глотками выкликали по посадам и селениям указы: беглых от крепостного строения имать миром, сечь батоги, везти на цитадель. Кто побежит во второй раз – тому будут ноздри рвать, третий – казнить смертью. И все-таки бежали в дальние, затерянные в бору усть-важские скиты, на Умбу, на Варзугу, спасались от лютой смерти по рубленным тихим келиям, молились двуперстно, читали старопечатные книги. В Пустозерске, в Лаптожне объявлялись старцы, кляли Петра антихристом, самосжигались в церквах под восьмиконечным крестом.

Дьяк Молокоедов ежедневно приходил к Иевлеву с доносами, пугал: то вблизи от города рейтары взяли странников с пищалью и рогатинами, те странники без роду без племени шли якобы поклониться мощам преподобных Зосимы и Савватия, а путь держали на Золотицу, – к чему так? То сказывал один верный ябедник, будто слышал, что собираются извести смертью его, капитан-командора Иевлева; то лихие люди поймали на зимнем пути приказчика баженинского, отрубили саблюкой ему голову, написали при нем записку с прелестными словами, что-де так всем будет, которые антихристовой печатью мечены. Еще ходят здесь побродяжки, увечные безместные бобыли, прохожие люди – приходимцы. От сих добра не жди – жди горя.

Иевлев слушал дьяка насмешливо, ничему не верил, один раз невесело пошутил:

– Князя на копьё? Не выдюжить копейщикам. Копья вразломаются...

По постной роже дьяка понял – перескажет, и совсем рассердился:

– Черт-ти что несешь, дьяк. Сами напужались и народишко пужаете. Ко мне с сим вздором более не показывайся. Бобыли, приходимцы... Делать вам, дьяволам, нечего...

Когда поехал к архиепископу в Холмогоры, в серый, мозглый день, – вдруг под розвальни кинулись какие-то двое, сзади засвистал лешачьим посвистом третий, кони

рванулись в сторону от дороги, застряли в сугробе. Иевлева далеко выбросило из саней, на него навалился пахнущий дымом хилый человечиска, все норовил взять за глотку. Сильвестр Петрович извернулся, сам ухватил разбойника за плечишки, надавил на тощее куриное горло. Егорша за сосною выпалил из пистолета. Сильвестр Петрович поднялся, отряхнулся. В снегу неподвижно лежал мужичок, задрал вверх бородавку. Иевлеву вдруг стало страшно убийства. Егорша с трясущейся челюстью говорил ямщику:

– Пистолет разорвался на куски. Вишь? Хорошо еще, что меня не убил...

– Вставай, что ли! – неуверенно сказал Иевлев мужику.

Мужик не двигался, не дышал. Заскорузлая от мозолей и ссадин рука его откинулась на чистый снег, кроткое бескровное лицо словно укоряло: «Чего ты надо мной сделал, офицер? Нехорошо сделал!»

Сильвестр Петрович, побелев сам не меньше мужика, опустился перед ним на колени, стал оттирать его, встряхивать, поднял лохматую голову, послал Егоршу к саням за водкой. Мужик икнул, открыл детские глаза.

В ветвях сосны, вверху, надсадно кричала ворона, точно проклинала на своем языке.

– Что ж ты, дурак экой, – сказал Иевлев. – Чего разбойничаешь? В чем душа только держится...

У мужика покривились губы, сказал едва слышно:

– Беглые мы... С верфи. Били там – тридцать кнутов... Раньше-то мы здоровые были, ничего...

– Вставай, застудишься! – посоветовал ямщик. – Мужик сел на розвальни, снял с себя драный кушак, подал ямщику:

– Вяжи, что ли... Чего так-то...

У Иевлева перехватило горло – таким страшным безысходным отчаянием повеяло от этого жеста: вяжи, что ли. Тихо, еле шевеля губами, мужик добавил:

– Разве сдюжаешь с вами. Вы, небось, и хлебушко едите...

– Иди отсюда к черту! – раздельно произнес Иевлев. – Слышишь?

– Оно как же? Вроде бы прощаете? – спросил мужик.

– Иди, иди! – заторопил ямщик. – Ну, вали, пока вожжой не ожег!

Мужик поднялся, подобрал на снегу свой кушак, шапчонку, спросил тонким голосом:

– Прощаете, значит?

Бородавка его дергалась, глаза блестели злобой.

– По-христианству, а? Мараться не желаете от своего боярства?

Он повернулся и пошел, проваливаясь в снег то одной ногой, то другой, бормоча:

– Ну, не марайтесь, не надо, – ну и не надо...

Ушел далеко и оттуда, из лесу, крикнул:

– Только я-то вам, господин, не прощаю. Слышь, эй, не прощаю! Еще встретимся...

До Холмогор ехали молча.

3. В ДАЛЬНИХ ЗЕМЛЯХ

Преосвященный Афанасий долго не принимал.

Архиерейские свитские – келейник, да костыльщик, да ризничий – о чем-то перешептывались; иподьякон, грузный мужчина с лицом, точно ошпаренным кипятком, дважды заходил в опочивальню, появлялся с поклоном, кротко извещал:

– Еще, милости просим, пообожди, господин...

– Пообожду! – соглашался Иевлев.

Он ждал предстоящей беседы с любопытством: хоть и видывал раньше преосвященного, но толком говорить с ним не пришлось, рассказывали же о старике разное. Раскольники предавали его анафеме, ненавидели с тех дней, когда в пылу состязания, в Грановитой палате, на Москве, он полез в драку в присутствии царевны Софьи. Духовенство, близкое ко двору, считало Афанасия мужиком и грубияном, но царь Петр, отправляя Иевлева

в Архангельск, наказал твердо:

– Советчиком тебе будет Афанасий Холмогорский. У него голова умная. Ему верь. Тертый калач, всего повидал, я на него надеюсь...

Подумал и добавил:

– Кабы помоложе да не архиерей – работник был бы. Воеводою бы такого, али еще повыше. Зело честен и прямодушен, генералом был бы добрым, – непугливый старик...

Афанасий вышел к Иевлеву – мужик мужиком, хоть и в шелковой, длинной, до колен, рубахе, нечесаный, хмурый. Сильвестр Петрович собрался было приложиться к руке, Афанасий совсем словно рассердился:

– Брось, не для чего! Я сколько ден, вино пия, грешен...

Иевлев не мог скрыть удивления, Афанасий усмехнулся:

– Что глядишь-то? Не веришь? Я не таюсь, все обо мне ведают. Почитай, с воскресенья и начал с ними, со своими. Очень прохладны давеча были, только отходим, в баньке попарились. Пойдем в покои, будем беседовать. Ты, я чай, с дороги от ренского не откажешься? Вино доброе, старое, я к нему привержен...

Келейник с испуганным и укоряющим выражением бледного лица принес на большом медном подносе золотые с чернью сулеи, янтарные точеные кубки, миндаль на венецианской, тонкого стекла тарелке. Афанасий сам задернул парчой красный угол с иконами Иоанна Богослова, страстей Христовых, Благовещенья.

– Не гоже им глядеть...

Покуда Афанасий осторожно, чтобы не взболталось, разливал темнорубиновое вино, Иевлев, как бы в рассеянности, перебирал книги, лежавшие на столе. То были «Поучения о нашествии варваров», «Право, или Уставы воинские», «О гражданском житии, или о направлениях всех дел, яже надлежит обща народу»...

– Чего смотришь? – спросил Афанасий. – Читаю вот, вино пью и читаю. Да здесь более вздора, нежели дела, – глупцов умствования! Суесловно пишут. Виргилия еще читать способно, а то все воду в ступе толкут. Пей. Постарел ты, – помню, помню тебя на яхте на царевой, и еще помню, как в первый раз увидел. Смотришь хорошо, прямо, – нелегко тебе будет жизнь прожить...

Мелкими глотками смаковал вино, бросал в рот миндалины, жевал крепкими белыми зубами.

– Видел, прибрал ты город Архангельский, изряден нынче город стал, дозоры ходят. Семен Борисыч, стрелецкий полковник, помолодел даже. Хвалю тебя, сударь, хвалю. Государю писал о тебе. Ты – пей, со мной можно. Для беседы пей, а то вот молчишь, а я говорить с тобой возжелал, слушать тебя хочу. Поначалу спрашивать стану, а ты отвечай. Воевода Прозоровский мешает делу?

– Покуда не слишком мешает, владыко. Да я с ним и не вижусь.

– Будет мешать! Писать на тебя грамоты будет, бесчестить, порочить. Будь к тому готов. Иноземцы в городе еще не зачали тебя клевать?

Иевлев засмеялся:

– Покуда тихи, владыко.

– Ожидают. Может, думают, он нашу сторону примет. Опасайся. А пуще всего пасись ты воеводу. Злокознен и пакостен. И в чести у государя...

– За что же в чести?

– Стрельцы, взбунтовавшись, для казни иноземца Францку Лефорта требовали. Того Лефорта ныне в живых нет. Требовали стрельцы, взбунтовавшись на Азове, князя Прозоровского. Ну, думай...

Сильвестр Петрович молчал.

– Тот Лефорт первым человеком при государе был. Дебошан французский, по верности един. Остался другой – Алешка князь Прозоровский. Вернейший для государя... Понял ли?

– Понял! – невесело сказал Иевлев.

– Состоит еще при воеводе думный дворянин Ларионов. Хуже собаки свет не знал. Сей

Семеныч, пужая воеводу смертью, бунтом, копьями, всю власть себе забрал; Алексей Петрович только лишь водку пьет, да, прохладен будучи, чего думный прикажет, то и сделает. А Петру Алексеичу об том говорить – безумно. Не поверит ни вот эстолько, да еще прибьет. Молокоедов дьяк там – изветчик, Абросимов, Гусев. Ты их сильно пасись, чадо, им всякое твое слово перескажут, они его переврут – и пропала голова. Тяжко тебе здесь будет, так многотрудно, что и не сказать. Да, милый, как жить-то станешь? Трудно, всем трудно, голова, ей-ей, бывает гудит... Вот – раскольники, приказано мне с ними управляться...

Тонкая, умная мгновенная улыбка тронула лицо Афанасия, когда он сказал:

– Раскольники-то сжигаются, в гробы живыми ложатся, чего не делают только! На что силища богатырская идет! Ну, народ, ну, дьявол, прости господи! Тут одного эдакого я четыре дня ломаю. Кузнец ему кличка, сколь вреда нанес двинянам – все улещивает в гроба ложиться. Диву на него дивлюсь, думаю: вытрясти ему из головы дурь раскольничью, посадить на коня, дать в руки саблю али меч – чего только не натворит...

– Вы с ним, что же, – беседуете? – спросил Иевлев.

– С ним побеседуешь! – усмехнулся Афанасий. – Лается – и всего разговору. Еще потомлю малость, потом к тебе пошлю на Пушечный двор, пусть работает... Ну, да бог с ним, мужик он неплохой, увидишь сам. Рассказывай мне – в заморских землях бывал?

– Бывал, отче.

– Как бывал? С великим посольством али когда стольники ездили?

– Со стольниками, отче.

– Рассказывай. Слушать буду. Столь ли там превосходно, как многие суесловы болтают, и столь ли они нас, русских, превосходят, как сами о том в своих сочинениях пишут? Говори. Где был-то? В каких краях? Только прежде выпей вот сего вина. Оно легчит мысли, сердце открывает, который человек вполпьяна сим вином наберется – солгать не сможет.

Сильвестр Петрович улыбаясь выпил несколько глотков, келейник принес ему жареной с орехами лососины. Тихо, ровными языками горели свечи, бросая блики на дорожную посуду, на атласную серебряную скатерть, на гладкие голубые изразцы огромной печки.

– Учился за морем? – спросил Афанасий.

– Учился, отче. Изучали мы геометрию, астрономию, механику, фортификацию, тригонометрию, на досуге – медицину. Были во многих странах...

– Что коротко говоришь? Говори длинно. Мне знать надобно, я от незнания утомился. Говори все в подробностях. Что пустяк – сам пойму, что дело – тоже догадаюсь. Пей да говори...

Иевлев опять улыбнулся, стал рассказывать подробно. Афанасий хохотал, качал головою, веселился. Узнав, что в Голландии народ более всего ласков не к путешественникам, а к их деньгам, совсем развеселился, закивал, крикнул:

– Верно, верно. Штиверы им давай, а коли не дашь – нету от них гостеприимства.

Не торопясь, прихлебывая вино, Сильвестр Петрович рассказал, как шли из Кадикса, как капитан, узнав, что русские стольники цехинов имеют мало и что взять им денег неоткуда, вперед потребовал уплаты за переезд и за еду. Они уплатили, оставшись без гроша, а капитан кормил их только в пути, на стоянках же не давал и сухаря. По неделям и более голодали, в гавани воровским обычаем целый день петуха ловили. Так петуха и не поймали, зато иноземцы словили одного из воров, долго его бесчестили и даже глаз ему испортили, – с тех пор худо видит...

– То-то учение в голову шло! – сказал Афанасий.

– Обкрадывали нас кому только не лень! – рассказывал Иевлев. – Ихние иноземцы, когда мы в учении состояли, наши деньги от посланников в обмен брали, и плата шла вдвое, втрое против настоящих цен. Поверить нельзя, но кроме воды никакого питья не имели, рухлядишку, белье сами стирали. Как чего посмотреть для пользы, что нам неизвестно, – так нельзя. Единственно, что можно, – арифметику и тригонометрию, которые и дома весьма

нетрудно при усидчивом прилежании изучить. Некоторые люди за большие ефимки могли еще пользу себе получить, а ежели по скудости по нашей, так единственно, что показывали, – диковины различных монстров: о двух головах младенец женского полу, да мужик в спирту весь волосатый, да еще печень человеческая в спирту, да крокодил, да скорпион...

Иевлев засмеялся, покрутил головой:

– Нынче и смешно и дивно, на что годы ушли! Цельный день ждешь, вдруг приходит наставник наш, собирает с нас цехины – чудо смотреть. Идем, и что же за чудо? Мужик о двух головах, одна голова где надобно, а другая из брюха растет. Одной голове имя Матвей, другой – Иоганн. И друг с другом беседуют стихами. Посмотрел я, посмотрел, взял нашего наставника за глотку, тряхнул малым делом: «Для чего, спрашиваю, ты нам сие скоморошество кажешь?» Ибо нетрудно понять: два мужика в одной искусной шкуре запрятались и морочат людям мозги. Наставник – в обиду, посланнику жалобу, а посланник еще меня – по роже.

– Смотрю – многому там научены? – смеясь спросил Афанасий.

– Ежели чего узнавали – случаем. Шли морем из Кадикса, дружбу свели с навигатором корабельным, кое-чего узнали. В академии в лейденской сторож принял от нас подарок, зато видели искусства многие и ремесла, да только тайно, ночью. Однажды только подвезло нам: свели дружбу с иноземцем, – человек добрый и во многих науках даже превосходный. Он слушал от нас гиштории про Россию, узнавал обычай наш, уклад жизни нашей, как что повелось у нас от отцов и дедов. Нам же премногие свои показал искусства: как надобно крепости строить, в математических науках весьма нас подвинул вперед, фортификацию объяснил с азав, – мы ее учили хоть и многие дни, да без всякого толку. Крепко подружились с ним. Нынче приехал сюда, строит со мной цитадель, работник отменный – Егор Резен. Никакого дела не чурается, своему слову господин, таких бы нам поболее, да нету. Алчущие да жаждущие – те едут, а добрых нет...

Лицо Сильвестра Петровича стало приветливым, видно было, что ему приятно говорить о Резене.

– Многое нам хорошее сделал еще Резен Егор. Бывало глобус хочешь купить, али астролябию, али трубу зрительную, – такую цену говорят, что оторопь берет. А купец смеется. Твой, говорит, царь – богатый, что скупишься? Резен Егор ногами бывало на них затопает, вы, говорит, воры, берите правильную цену, иначе я на вас лист напишу королю... Много от него нам пользы было. Собор Святого Марка он нам показал, как строен и в чем искусство архитектора. Город Венецию показал, что в нем прекрасного и худого, гошпитали, какие с умом строены, а какие – с дуростью. На верфях на голландских Ост-Индийской кумпании многие ремесла перед нами открыл, а что худо – мы с его помощью тоже разгадали.

– Ну, а хороши ли в Голландии мастера? – с живостью спросил Афанасий. Он слушал с интересом, забыв про кубок, налитый доверху.

– Мастера хорошие есть у них, владыко, у голландцев, но работая там, все я нашего Ивана Кононовича поминал да Тимоху Кочнева, которые, математики не зная, дивные корабли одним только своим талантом да смекалкой созидают. Что же будет, коли обучат людей, подобных им, еще и математике. Не менее славные мужи, нежели англичанин Исаак Ньютон!

– Что еще за Исаак Ньютон?

Сильвестр Петрович рассказал, что довелось ему видеть достойнейшего Ньютона, который в качестве смотрителя монетного двора был представлен Петру Алексеевичу и его свите.

– Да чем он хорош-то, Ньютон твой? – нетерпеливо спросил Афанасий.

– Многим хорош! – задумчиво ответил Иевлев и неторопливо, стараясь говорить понятными словами, стал рассказывать Афанасию сущность Ньютонова закона всеобщего тяготения, Ньютонову небесную механику. Афанасий внимательно слушал, уставив на

Иевлева умные глаза, и казалось, что он видит те движения комет, о которых говорил Сильвестр Петрович, видит приливы и отливы, видит лунные неравенства.

– Что ж, об сем книга написана? – спросил Афанасий.

– Написана, владыко. В Лондоне годов пятнадцать тому назад типографщик три тома выдал сего сочинения.

– А где взять? – с жадностью спросил Афанасий.

– Я сии тома привез. И вам, владыко, завтра же с нарочным из Архангельска пришлю.

– Пришли, пришли! – быстро и опять с жадностью попросил Афанасий. – Пришли, сыне. Ох, многое не прочитано, многое неизвестно, так и помрешь во тьме. Что ж сей Ньютон-то – какого роду?

Иевлев сказал, что не знает, но думает – Ньютон не графского и не княжеского происхождения, слышал-де, что оный Ньютон в молодые годы беден был до самой крайности, а упражнения свои в механике начал с забав: устроил ветряную мельницу, управляемую мышью, водяные часы, самокат. Потом стал изучать геометрию Декарта и элементы Эвклида.

– Предивный умелец! – вздохнул Афанасий. – Такой бы к нам приехал погостить, дак ведь нет...

– Едут иные, – подтвердил Сильвестр Петрович. – Ой, едут...

– А что до умельцев, то встречал и я оных, – сказал Афанасий. – Не надивишься бывало. В Соловецкой обители монах Иеремия во-до-про-вод проложил, вода по трубам сама бежит, – таково искусно. Да Кузнеца возьми здешнего, сколь умен и учен в железных работах...

Говорили долго, Иевлев рассказывал о виденных городах – о Лондоне, об Амстердаме, о Риме. Келейник сменил сулеи, от вина стало жарко. Афанасий вдруг спросил:

– Да ты для чего ко мне приехал? Развеселить старика? Душеспасительно побеседовать?

И, скомкав в кулак бороду, хитро посмотрел на Иевлева. Сильвестр Петрович ответил, что-де нет, приехал по делу, просить милости, дабы монахи потрудились для Новодвинской крепости – камень возить, известку, лес. Возможно ли сие?

– Ну и пусть возят. Небось, для пользы мяса свои порастрясут, жиры сгонят. Благословлю.

– Так ты, отче, грамотку бы игумнам разослал...

Афанасий промолчал, словно бы не услышал.

– Далее за каким делом приехал? Не молчи – говори.

– Колокола буду по звонницам церковным да по монастырям снимать, – решительно сказал Иевлев. – Как Петр Алексеевич по всей Руси делает, так и мы станем. Пушки нужны, отче, обороняться от шведа нечем...

– Колокола снимать?

– Так, отче...

– Раскаркается, поди, воронье. Да ништо! – задумчиво молвил Афанасий. – Чистая молитва, я чай, и без благовеста до господа дойдет...

– Опасаюсь, владыко, как бы монаси да попы противностей не чинили. Вой подымут, нам и без того трудненько...

– В рассуждении противностей да ехидства – умнее черного моего воинства не сыщешь, – ответил Афанасий. – Вот, говоришь, грамотку отписать. Пошлю на монастыри грамотку, а они ее анафемской, антихристовой и ославят. Пойдут доносы один другого чище на Москву, к патриарху. Угонят меня, раба божьего, в дальнюю обитель игумном, а ты что делать станешь? Пришлют тебе чурбана в саккосе да в омфоре с палицей и панагией, будешь перед ним столбом столбеть. А я мужик прост, на Беломорье издавна, здешнее житьишко с младых ногтей знаю, святости во мне нет, да и не об ней речь, с пользой бы прожить, и то ладно...

Он поднес кубок к губам, но пить не стал, только посмотрел вино на свет.

– Пошлешь стрельцов своих, драгун, рейтаров, – наберешь монасей сколько занадобится. Они ко мне с доносом, а я что поделатъ могу? Царская воля, наслышаны небось, что Прохор на Руси творит...

– Какой такой Прохор?

– А Петр Алексеевич. Его во чреве материнском некий провидец юродивый Прохором нарек... И вот еще что скажу, сыне: ты на монасей две деньги кормовые не трать. Небось, жиру у них поднакоплено, не то, что у черносошного мужика. А коли занадобится – игумны для своих мошной потрясут, небось – не бедные. Деньги же кормовые на мужика отдай, как бы жертвенно, от монастырей...

Задумался, сердито морщась, потом сказал, словно отгоняя трудные мысли:

– Пусть жалуются, пусть! Я словом божьим их к смирению призову. Бери монасей, снимай колокола, только бы татя на землю на нашу не пустить. Воевода в твое дело встрянет, ты свое работай, да с ним потише, много навредить может, пес смердящий. Пронырлив, скользок, не ухватишь. И богат, знает, кому мзду в какой час дать. Вреден, ох вреден.

Иевлев слушал, с интересом и радостью разглядывая преосвященного.

– Кузнеца звать? – вдруг вспомнил Афанасий. – Пушки-то лить из колоколов надобно? Слышал, иноземец у тебя на Пушечном дворе. Свой-то лучше, хоть и дерзок! Ты с ним веру только не трожь, ты с ним, сыне, о деле потолкуй...

Кузнец пришел, сел на лавку, сложил на груди руки. Лицо у него было изможденное, бороденка торчала вкривь, зрачки злобно сверлили Афанасия. На Сильвестра Петровича он и не поглядел.

– Ожидаете? Не наскучило? – спросил Афанасий.

– Ожидая! – с вызовом в сиплом голосе сказал Кузнец.

– Сколько ж еще тебе ожидать?

– До масленой.

– А ежели не придут Енох с Ильей, тогда как?

Глаза Кузнеца дико блеснули, он сильно стиснул руки на груди, вздохнул.

– Слушай, Кузнец, – заговорил Иевлев. – Я про тебя ведаю, что добрый ты мастер. Великая беда, страшное разорение грозят городу Архангельскому...

Кузнец повел на Иевлева взглядом, отворотился.

– Чем лежать в гробу, – горячась и раздражаясь, говорил Сильвестр Петрович, – чем людей отвращать от истинного труда, ты бы пошел на Пушечный двор да за дело взялся. Али не русская кровь в жилах твоих течет? Все пушечное дело в руках иноземца, а свой искусник, ведающий то художество, лежит живой в гробу, дабы в нем страшного суда дожидаться. В уме ты? Сирот, вдов, стариков архангелогородских не жалеешь? Отвечай, что молчишь?

В лице Кузнеца ничего не изменилось. Он отвернулся и не сказал ни слова.

– Уведите его в келью! – приказал Афанасий.

Кузнеца увели. Владыко, проводив его взглядом, сказал:

– Пострадать ищет, да я не даю. Четвертый день маковой росинки в рот не взял, не ест и даже воды не потребляет. Постится! Ничего, масленая скоро – не помрет... Еще дела есть ли? Говори быстро, не то сказывателя кликну!

Дел больше не было никаких. Афанасий кликнул келейника, велел ему звать деда. Пришел слепой старик, белобородый, с лицом, словно тесанным из камня, выпил ковш крепкой водки, закусил рыбой. Келейник подал ему гусли. Дед щипнул струны, запел могучим низким голосом. На мгновение Иевлеву показалось, что под ударами ветра заколебался, зашумел вековой сосновый бор. Сладкая дрожь прохватила его, на глаза вдруг навернулись слезы. Дед пел о бесстрашных дружинах, что шли каменными звериными тропами к океан-морю, пел о холодном океане, о кораблях, что режут соленые студеные воды, о кровавой битве богатырей. Ухало, стонало, грозило в удивительной его песне море, к небесам взметывались валы, молниями раскальвались тучи, в тех громах, бурях и

непогодах уверенно, спокойно рокотали струны, шел русский человек через все невзгоды, шел в далекую погожую даль. Афанасий плакал, нисколько не стыдясь слез, кивал головой, беззвучно шептал:

– Так, дедуся, так, милый, так, добрый, родненький...

Иевлев слушал, и перед ним почему-то стоял Рябов, кормщик, таким, каким видел он его когда-то на взгорье Мосеева острова: смотрит прямо, в зеленых глазах дрожат золотые веселые искры, широкие плечи точно облиты намокшим от дождя кафтаном, спокойно дышит богатырская грудь...

4. ЦЕЛУЙТЕ ШПАГУ, КАПИТАН КРЫКОВ!

В монастыри солдаты шли посмеиваясь, солоно пошучивали, не без радости били мушкетами в тяжелые ворота. В Николо-Корельской обители драгунский поручик Мехоношин, почтительнейше – на иноземный манер – поклонившись игумну, доложил, что с обители для строения цитадели следует двести сорок штук монахов.

– Штук? – въедаясь в поручика глазами, переспросил игумен.

Мехоношин стоял перед ним неподвижно, одетый во все иноземное, в завитом парике, надушенный, наглый.

– Виноват, отче, обмолвился: не штук, но экземпляров.

– Экземпляров? – трясась сухим тельцем, в бешенстве воскликнул игумен. – Да ты что? Ты как смеешь...

– А как же выразиться? – недоуменно спросил наглый поручик. – Монаху человеческое чуждо, и смею ли я, грешный, иноков человеками обзывать?

– В руку ему, в руку, – он возьмет! – шептал игумну монастырский келарь. – Он возьмет, владыко, беспрерывно возьмет.

Взгляд у поручика был наглый, но в то же время ожидающий. Игумен же не понял и ничего Мехоношину не дал. Тот повременил, поджал губы, велел начинать.

Под барабанный бой на весеннем дождике выстроили шеренгой всех – и пузатых, и худых, и схимников, и служников, и тех, кто еще только собирался принять постриг. Даже отца Агафоника поставили в ряд со всеми. Помиловали только одного игумна. Поручик Мехоношин, блестя злыми глазами, поигрывая плеточкой, шел от одного монаха к другому, всматривался в одуревшие от сна и обжорства лица, спрашивал тихонько:

– И все на постном едове? Здоров ли, отец?

Некоторые хныкали, что-де немощны, поручик верил не каждому. Дойдя до дюжего Варсонофия, усмехнулся, сказал пословицей:

– Об твоём здоровье, отче, даже и спрашивать скромно. Становись правофланговым, может еще и драгун из тебя сделается добрый.

Варсонофий стал, как велели, правофланговым, огладил бороду. Маленький солдат, что посмеивался рядом, шепнул:

– Бородку-то обреешь, совсем на человека станешь похожим.

Варсонофий плюнул, выругался не по-монашьему. Драгуны загрохотали, Мехоношин крикнул строиться, потом, словно вспомнив, велел Агафонику снарядить подводы с харчишками для монахов, пока на два месяца, а там будет видно. Отправились на остров, к цитадели, под вечер. Барабаны били поход, сзади тащились монастырские подводы, груженные мукой, сушеной рыбой, маслом в деревянных кадушках. Монахи шагали по восемь человек в ряд, путались, толкали друг друга. На выгоне, близ переправы, поручик Мехоношин спросил громко:

– Вы что ж, отцы честные, ногу, что ли, не знаете?

Монахи молчали.

– А ну вздень, какой рукой креститесь!

Двести сорок черных рукавов поднялось над строем.

– Так. Недаром, видать, в обители столько годов отмучились. Как скажу – правой,

значит и думайте, чем креститесь – тем и шагайте. А ну... левой делай!

Дородные откормленные монахи, сбиваясь, пошли левой, окрестные мужики с удивлением смотрели, как монахов учат боевому строю.

Переезжали Двину на крепостном пароме. Солдаты запели свою драгунскую, монахи со страхом вглядывались в приближающиеся балаганы и шалаши новодвинских работных людей.

Вслед за Мехоношиным обитель посетил стрелецкий голова полковник Семен Борисович Ружанский. Старец игумен, обессилевший от великих бед, павших на монастырь, сорвал с себя клобук, завопил:

– Клобук заberi, когда так. Ризы со святых икон рви! Басурмане, нехристи, антихристовы дети, тьфу!..

Полковник ответил:

– За такие поносные слова, отче, может и не поздоровиться. Колокола снимаю не для собственного своего прибытку, но дабы перелить из них пушки. Ежели же потребны они вам, чтобы колокольным звоном свейских воинских людей встречать, то с прямою и скажите, – будем знать, каков вы гусь!

Старцы вокруг зашевелились, – кого гусем обозвал, богопротивник! Но полковник поглядывал независимо, монахов не боялся. Игумен молчал, испугавшись. Келарь Агафоник, отозвав полковника, торопливо сунул ему монастырского шитья кошелек с золотыми. Полковник побурел, швырнул кошелек оземь, стал топтать его сапогами. Агафоник совсем потерял голову: Мехоношину не дал – худо, этого одарил – еще хуже...

Золотые, выпавшие из лопнувшего кошелька, так и остались лежать на талом снегу. Семен Борисович, ругаясь, пошел к звоннице, за ним, подобрав полы однорядки, поспешил Агафоник. Здесь, куря табачище, бритомордые, словно хозяева, похаживали солдаты в коротких мундирах. Одни становили лестницы, другие топорами тесали балки – спускать колокол, третьи мерили аршином, как делать работу. Со своих воинских подвод сваливали морские смоленые канаты, железные лапы, молоты. Братия крестилась из-за углов, шептала молитвы.

Смертно напугавшись такого великого разорения, престарелые игумены окрестных монастырей собрались в келье у Агафоника и решили по-добру откупиться от проклятого капитана-командора Иевлева. Тайно приговорили ударить Сильвестру Петровичу челом – кошельком о сотне добрых золотых талеров. Дело должен был сделать игумен Дорофей – хитрый, нестарый еще, рыжий и плешивый мужик из Сергиевского дальнего монастыря.

Дождавшись капитана-командора в избе Таисьи, он пал перед ним в ноги, обхватил лапищами мокрые от талой воды юфтовые сапоги, заплакал настоящими слезами. Иевлев отшвырнул его от себя, за шиворот поволок к двери, сбросил с крыльца в весеннюю мокреть, стал бить в темноте ногами. Дорофей был жирен, мягок, хлюпал в луже, ойкал, пополз окарачь к воротам. Цепные псы, страшно хрипя, рвались к ползущему в рясе жирному человеку, Иевлев швырнул ему вослед кошелек, пообещал следующего подсыла бить батоги нещадно на съезжей.

– С чего это ты, Сильвестр Петрович? – спросила Таисья.

Иевлев не ответил, хлопнул дверью, повалился на лавку. Его колотило, зуб не попадал на зуб, он задыхался. С того дня он стал еще суровее, говорил совсем мало и только подолгу молча ласкал Ванятку и иногда, редко, развеселившись, играл с ним.

В Пертоминский монастырь отправились моряки многими судами под командой боцмана Семисадова. Монахи о ту пору, не чая беды, гнали в своей отдаленности водку на продажу. Семисадов учуял беззаконие, монахи решили откупиться большим приношением. Боцман, увидев сладкие лица своих подручных, приказал водку вылить в море. Под крикание и оханье моряков водку из бочек вылили. Матросы озлились, колокола сняли быстро, в полдня. Тут же сделан был монахам отбор – кого оставить, кого гнать на работу. Вышло сто тридцать добрых работников, дородных и здоровых. Покуда шли морем в хорошую погоду, моряки затеяли на нескольких судах бороться с монахами. На одном карбасе едва не

свалились в воду, на другом монах отменного здоровья до того распалился, что вместе с пушкарем вывалился за борт и в воде продолжал кричать: «Живота али смерти?» Матросы закисли от смеха, едва отыскался один, который сообразил тащить утопых багром.

Вместе с монахами доставили в крепость камень, бут и известку, кирпич и пиленый лес, тесаные плиты и глину. С долгим печальным гулом скатили на Пушечный двор большие медные колокола старой обители – переливать на пушки.

Каменщики, плотники, землекопы чинили городскую стену в Архангельске; с рассвета до сумерек старые башни, что стояли над Двиной – Водяная, Набережная, Гостиная, – были облеплены людьми. Носаки подавали наверх, на ярусы камень – крепить бои; на пушечных и мушкетных боях взамен истлевших плотники настилали новые полы, ставили ящики для пороху, для ядер, пушечные мастера подгоняли пушки, чтобы бить калеными ядрами по кораблям швейских воинских людей. Между башнями, которые охраняли город с Двины, ставились боевые мосты со щитами, на кровлях башен плотники строили клетки, чтобы караульные смотрельщики далеко видели реку и все, что на ней делается. На Двине, на якорных стоянках, ставили тайные надолбы, спускали на дно огромных пауков, вязанных из бревен; покуда эти пауки отмечались особыми вешками. Тройные надолбы из бревен, поставленных тесно, возвели в местах, где врагу удобной могла показаться высадка. Там, где надолб не было, стояли пушки, хитро укрытые, невидимые глазу.

Из Гостиной набережной надежные люди, те, что умели держать язык за зубами, тайно, ночью прокопали подземный ход к самой Двине. Отсюда солдаты могли выскочить в тыл шведам в то время, когда они будут прорываться в город.

В холодные ветреные дни ранней северной весны, под мокрым снегом, под дождем, на санях по набухшему двинскому льду, верхом, пешком, всегда со складным аршином в кармане, быстрый в движениях, потерявший голос на сырости и в холоде, появлялся Иевлев то на шанцах в устье Двины, то на Новодвинской цитадели, то в Семиградской избе, где вороватый и хитрый дьяк Гусев управлял строительными припасами и казной, отпущенной для крепости. Сюда, в огромный двор, огороженный частоколом, сваливали бревна, доски, камень, кирпич, известь; сюда сгоняли людей, здесь чадно дымили костры, на которых варилось жидкое хлебо- для трудников, отсюда писались бумаги на Москву, сюда к Сильвестру Петровичу приходили со слезными челобитными, здесь принимал он стрелецкого голову, поручика Мехоношина, капрала Крыкова, морщась, вслушивался в их слова, соглашался или отменял их приказания.

От вечного недосыпания глаза у Иевлева стали красными, от снега, дождей, ветров лицо побурело. Однажды, провалившись под лед на Двине, он несколько часов не мог переодеться в сухое. Вскоре его стала крутить лихорадка. Он перемогался, страхась занемочь надолго; бабинька Евдоха лечила его своим вешетиньем, медвежьей мазью, горячей баней – не помогало. Воевода прислал иноземца лекаря, Сильвестр Петрович иноземные декохты вылил – лекарь ему не внушал доверия. Лихорадка миновала сама собой, но невыносимо стали болеть локти, колени, плечи. По ночам от боли сами собою из глаз выжимались слезы. Егорша растирал капитан-командора водкой с перцем, ставил припарки. К утру становилось легче, только ноги сделались не слишком послушными. Сильвестр Петрович велел Егорше вырезать трость, стал ходить, опираясь на палку. Думный дворянин Ларионов непререкаемо сообщил воеводе:

– Недолго, вовсе недолго протянет сей анафема. Как лето делается – почернеет, и отпоем...

Воевода вздохнул:

– Приберет господь, тогда и возрадуемся. Ныне – рано.

Дьяк Гусев, увидев Иевлева тяжело опирающимся на палку, шепнул о том палачествующим на съезжей Абросимову да Молокоедову:

– О трех ногах пошел, а годы еще не старые. Здесь и похороним...

– Со скорбию! – хихикнул Абросимов.

– Ужо поскорбим! – обещал Молокоедов.

В Сергиевском, в Николо-Корельском, в Пертоминском монастырях передавали радостно архангельские вести:

– Иевлев, песий сын, поддыхает: ликом исхудал, очи кровью налились, недолго нам ждать...

– Дьяк Гусев отцу келарю сказывал: в Семиградской избе чего-то делает, а потом вдруг и застонет. Видать, огнем его сатанинским так и палит, так и палит...

– То колокола ему наши святые отливаются. Слезы наши, горе наше, тишина наша беззвонная...

У воеводы Алексея Петровича не бывал Иевлев никогда. Все решал и делал сам, будто князя и на свете не было. Прозоровский помалкивал, боясь ввязываться, но свирепел с каждым днем все более. Съездил даже за советом к архиепископу Афанасию. Старик принял его в полном облачении, сказал смиренно:

– Молюсь за тя, воевода достославный.

Лекарь Дес-Фонтейнес на расспросы князя о силе шведского воинства пожимал плечами, отвечал односложно:

– Нарва, князь, на многие годы все предопределила.

Воевода кряхтел:

– Пожгут город-то?

– Много вероятно, что город будет сожжен. Король Карл слов на ветер не бросает.

– Большой ли силою придут, как думаешь?

– Малыми силами идти не имеет смысла, князь.

– Да ведь вот пушки капитан-командор льет, крепость строит, стрельцов учит...

Дес-Фонтейнес молчал. Темное его лицо ничего не выражало. Глаза смотрели в стену, мимо воеводы.

– Чего молчишь? Совета спрашиваю, а он молчит.

Однажды лекарь сказал, что мог бы предположить исход сражения, если бы знал, какова будет крепость. Воевода всполошился, послал дьяка Молокоедова в Семиградную избу, чтобы пришел инженер Резен и доложил, что за крепость. Инженер пришел к вечеру, обильно поужинал за богатым боярским столом, потом сказал, дерзко скаля зубы:

– Крепость будет превосходная, и могу поставить свою голову об заклад, что ни один корабль безнаказанно мимо крепости к городу не проследует.

Прозоровский разобиделся:

– Впервой слышу. Все тайно, все тишком... Самого воеводу обходите.

Инженер спросил с глупым видом:

– А разве князь не имеет копии чертежной крепости?

Дес-Фонтейнес сказал, что как это ни неприлично, но чертежей князь не видел.

– И вы, достопочтенный магистр, тоже не видели?

На мгновение взоры иноземцев – бременца инженера Резена и шведа, именовавшего себя датчанином, лекаря Дес-Фонтейнеса – встретились. Резен смеялся над шведом. Лекарь Дес-Фонтейнес подумал беззлобно: «Хитрец, хочет денег. Что ж, свой своему не враг, деньги будут. Для начала дадим поболее, не пожалеем».

Воеводу с Резеном лекарь не без труда помирил, застолье затянулось надолго, пили очень много, инженер заметно хмелел. Погодя пьяным голосом предложил воеводе оказать великую честь – побывать на цитадели. Провожая инженера к саням, лекарь сказал по-немецки, что хорошие услуги хорошо вознаграждаются.

– Кем? – спросил Резен.

Лекарь объяснил, что герр Иевлев напрасно так недружен с воеводою, с которым следует поддерживать добрые отношения. Князь – влиятельное лицо в государстве, он был в свое время воеводою на Азове, как раз в ту пору, когда стрельцы там взбунтовались. Стрельцы – злейшие враги государя. Не надо забывать, что бунтовщики требовали выдачи на казнь двух персон, только двух: ныне покойного достославнейшего адмирала господина Франца Лефорта и князя-воеводу Прозоровского. Государь многим обязан Прозоровскому и

сердечно его чтит в то самое время, когда князь здесь не имеет даже плана крепости.

Резен оскалился, показывая крепкие зубы, закивал головою, соглашаясь, но вдруг спросил:

– Вы долго жили в Швеции? У вас шведское произношение.

Дес-Фонтейнес от неожиданности смешался.

Ночь он провел тревожную, без сна.

На следующий день Резен сам приехал за воеводою, но лекаря на постройку крепости не пригласил. Дес-Фонтейнес не сказал ни слова, но воевода раскричался. Инженер ответил ему сухо:

– Я, князь, лишь исполняю приказание господина капитана-командора. Он есть для меня начальник, я есть для него подчиненный. Он сказал: на крепость поедет лишь только один, и более никто, – воевода князь Прозоровский. Что касается до господина лекаря Дес-Фонтейнеса, то он будет ожидать господина воеводу в избе в Архангельске. Вот – все. И никак иначе.

Воевода хотел покричать на Резена еще, но увидев его жесткий, непреклонный взгляд, сжатые губы, плюнул и сел в карету. Дес-Фонтейнес ссутулившись вернулся в воеводские хоромы. Его дела были плохи – он понимал это. Русские что-то знали про него, но что? И от кого? Разве он недостаточно осторожен?

День был ветреный, холодный, с косо летящим мокрым снегом. Дородный, брюхатый, в горлатной шапке, в тяжелой шубе, воевода с трудом взобрался на гору кирпичей, сразу же взопрел, не поспевая за быстроногим и легким инженером. То ему казалось, что они крутятся на одном месте, то что эту стену он видел с другой стороны, то будто крепость слишком большая, то мнилась она слишком маленькой. Всюду с грохотом стучали молотки каменотесов, тяжелые, на цепях бабы били сваи; неожиданно у самого уха князя рывкнула пушка; когда он обернулся, ему показалось, что пушкарки смеются.

– Испытывают! – объяснил серьезно Резен. – Здесь так все время. Очень трудно произвести верные расчеты, и потому вчера одному плотнику опалило лицо...

Ходили долго. Пот с воеводы лил ручьями, чем больше он смотрел, тем меньше понимал. Резен объяснял непонятно, некстати всовывал иноземные слова, крутился на одном месте, вдруг хватал князя за рукав и тащил за собой, вдруг оказывалось так, что им надобно ползти под бревнами, которые вот-вот могут обвалиться. В сумерках опять пальнула пушка; со стены, грохоча, стучаясь об леса, упала бадья с глиной.

– Провались вы все к бесу! – сказал князь. – Убьете тут. Веди на карбас, Двину перееду, сяду в карету...

Так, ничего не поняв, воевода вернулся восвояси, выпил квасу и залег спать. Наутро к воеводе вдруг явился Иевлев при шпаге, в перчатках, с тремя бритомордыми солдатами. Алексей Петрович опять заробел, – не Ромодановского ли поручение, не спознали ли что недоброе на Москве; с лупоглазого станется, ныне ты ему первый друг, а проведал про тебя чего не надо – живым манером в Преображенский: пытать!

Войдя, Иевлев долго молчал, солдаты стояли каменными изваяниями. Наконец, когда воеводу прошибла дрожь, Иевлев провещился – объявил, зачем пришел: лекарь датского происхождения, или же выдающий себя за датчанина магистр Ларс Дес-Фонтейнес должен не позже, как нынче же к вечеру, отбыть к себе за кордон.

– Ты что, мой батюшка, белены объелся? – храбрея, спросил воевода. – Али тебе не ведомо, что сей славный и ученый лекарь с царскими войсками под Азов ходил, при Нарве наших воинов увечных своим искусством пользовал, со мною был на прошлом воеводстве, многие годы превосходно свою должность в Архангельске исполняет...

Иевлев молчал, прямо глядя в лицо воеводы своими синими, льдистыми глазами.

– Смел больно, дружок, стал! – тряся жирными щеками, наступая на Сильвестра Петровича, говорил воевода. – Не поглядят по голове-то на Москве. Я, сударь мой, человек не прост, от отцов мы...

– Отцовыми костями торговать великий грех! – перебил воеводу Иевлев. – А про тебя,

князь, я слишком здесь наслышан. Но нынче не о сем речь, не для того я с солдатами к тебе пришел. Иноземный лекарь, имеющий местом своего пребывания твой дом, князь, замечен нами в действиях, кои не могут рассматриваться иначе, как служба ворогу – сиречь шведской короне. Зачем лекарю твоему надобно знать план крепости Новодвинской? Для чего сии гнусные его стремления находят поддержку в твоих действиях, господин воевода? Пенюар, подсыл, тайный шпион – вот кто есть твой магистр, и я властью своей, данной мне государем, приказал выслать его вон, ты же, князь-воевода, потеряв совесть, за него вступаешься. Ежели не отдашь лекаря добром, я предположить склонен буду, что и ты ему помощник, волею али дуростью, – об том на Москве спознают...

Воевода смешался, залопотал вздор, пригрозил государем. Иевлев дал ему выговориться и еще пугнул – посильнее. Князь поморгал, посопел, подумал, вздохнул; пожав плечами, согласился, что, может, он и не разглядел своего лекаря.

– Так-то лучше! – сурово заключил беседу Иевлев.

Во дворе уже стояла запряжка сытых таможенных лошадей. Капрал Крыков в горнице лекаря молча смотрел, как тот собирается. Дес-Фонтейнес, пытаюсь сохранить спокойствие, укладывал в дорожный сундук латинские книги, деньги, хирургические инструменты. Туда же, бережно обернув в тряпицу, положил резанную из кости фигурку, – Крыков увидел только верх горлатной шапки и сразу же узнал свою работу, пропавшую в давние годы, когда по приказу полковника Снивина рейтары ворвались в его жилище.

– Покажите! – спокойно сказал он.

Лекарь протянул фигурку. Крыков поставил ее на ладонь, – вот он когда отыскался, старый воевода с брюхом, мздоимец и несправедный судья, сощуривший свинные, заплывшие глазки, выставивший вперед толстую ногу.

– Сия вещь украдена у меня! – сказал Афанасий Петрович.

– Но мне презентовал ее господин полковник Снинин! – сказал лекарь.

– Он и есть вор! – ответил Крыков.

Дес-Фонтейнес пожал плечами. Крыков положил фигурку в нагрудный карман, застегнул пуговицу кафтана. Лицо его было угрюмо: увезет «воеводу», станет смеяться над ним, скажет – вот они каковы, московиты. Не тебе, пенюару, над нашими горестями глумиться. Сами, придет час, разберемся...

Криво улыбаясь, Дес-Фонтейнес со шкатулкою в руке вышел во двор. Три таможенных солдата были даны ему в провозачные до Летней Золотицы. Там соловецкие тюремные монахи должны были доставить иноземца до рубежа: Сильвестр Петрович отписал им грамоту.

Дес-Фонтейнес сел в сани, укрылся медвежьей шубой.

Крыков верхом проводил розвальни до рогатки, помахал дружкам-таможенникам рукою в перчатке, поскакал обратно к Семиградской избе – доложить Иевлеву, что пенюара вывезли.

Сильвестр Петрович велел Крыкову обождать. Егорша куда-то поспешно убежал, весело и таинственно подмигнув Афанасию Петровичу. В покой к капитан-командору, скрипя ботфортами, придерживая у бедра шпагу, быстрым шагом прошел стрелецкий голова, затем, в теплом плаще, поручик Мехоношин, еще два офицера – стрелецкие сотники Меркуров и Животовский, оба торжественные, при саблях. Прошагал на своей деревяшке, попыхивая трубочкой, боцман Семисадов.

Афанасий Петрович все ждал, горько думая: «Мне и пождать ништо. Я капрал. Куда там нашей скудости до их вельможеств. Ничего, что сед, что за напраслину опорочен, кому до того дело!»

Откуда ни возмись появился пропавший было Кузнец – суровый, строгий, худой. Афанасий Петрович усмехнулся беззлобно, сказал Федосею Кузнецу:

– А масляная еще когда миновалась! Все живой? Где твой страшный суд? Ждешь?

– Нынче не жду, хватит...

Он сел рядом с Крыковым, вынул из торбы горбушку хлеба, стал жевать.

- Чего ж нынче делать станешь? – спросил Крыков.
- Там поглядим. Может, пушки стану лить, ежели надобно. До времени.
- А позже?
- А позже отыщу, кто всему виной.
- Как так?
- Да уж так. Отыщу и накажу. По правде жить стану...

Он доел свою горбушку, высыпал крошки в рот, завязал котомку лычком. Наконец и его позвали к Сильвестру Петровичу. Он пробыл у капитан-командора недолго, вышел повеселевший, сказал, что идет на Пушечный двор. За Кузнецом к Сильвестру Петровичу пошел дьяк с пером за ухом, со счетами, потом толпою – посадские люди, за ними инженер с цитадели – Резен. Крыкова все не звали. К сумеркам, потеряв терпение, он вошел без зова. Иевлев велел ждать еще.

Когда зажгли свечи, вернулся запыхавшийся Егорша, принес длинный, замотанный тряпкой сверток.

– Долго еще столбеть мне тут? – со злобой спросил Крыков.

– Да коли не достать ее было нигде! – виновато ответил Егорша. – По всем мастерам бегал, ноги отбил...

– Чего не достать?

Егорша показал сверток, отмахнулся, ушел. И только когда ударили к вечерне, Егорша появился в дверях, возгласил с торжественностью:

– Афанасия Петровича Крыкова просит пожаловать к нему капитан-командор!

Крыков вошел, огляделся по сторонам. Стрелецкий голова, сотники Меркуров и Животовский, поручик Мехоношин, Семисадов, Егорша, иные офицеры – все были здесь. Ярко горели свечи в шандалах, по пять свечей на шандал, лицо у Ивлева было строгое, бледное.

– Всем встать смирно! – сказал он резким голосом и развернул бумагу, с которой свешивалась большая, на шнурах, печать. – Указом его величества государя Петра Алексеевича...

Крыков слушал, не понимая. Потом понял. Иевлев шел к нему через весь покой, держа на вытянутых руках шпагу с золоченым эфесом, с португеей и темляком. Офицеры стояли застыв, повернув головы налево, по жирной щеке стрелецкого головы ползла слезинка. Меркуров дышал всей грудью, часто. Семисадов бодрился, но на выбритых щеках его играли желваки.

– Целуйте шпагу, сударь капитан Крыков! – сказал Иевлев, стоя против Афанасия Петровича. – Надеюсь на то, что жало сей превосходной стали не в дальние времена, будучи в ваших руках, предоставит нам обстоятельства, необходимые к производству вашему из капитанов в майоры.

Афанасий Петрович встал на одно колено. Иевлев протянул ему шпагу, он взял ее на ладони своих больших сильных рук, поцеловал эфес, поднялся. Сильвестр Петрович обнял его, утер своим платком щетинистое, мокрое от слез лицо. Офицеры сгрудились толпою, мяли, тискали Крыкова, хлопали его по широким плечам; он улыбался растерянно, слушал слова Ивлева:

– А того всего и не было. Забудь, голубчик. Ну, идем, Таисья Антиповна стол раскинула, праздновать. Выпьем малым делом здоровье капитана Крыкова Афанасия Петровича...

5. В ЗАСТЕНКЕ

Поспав после обеда, воевода князь Алексей Петрович, сопровождаемый думным дворянином Иваном Семеновичем Ларионовым да дьяками Абросимовым, Молокоедовым и Гусевым, отправился послушать, что говорят с пытки пойманные ярыги Гриднев да Ватажников. Думный, помогая боярину спускаться с крыльца воеводских хоромин, говорил

доверительно:

– Един из них и видел своими очами того приходца азовского, что на тебя, князюшка, народ поднимает. Копейщики, тати, убивцы. Пасись, князь-воевода, пасись; охраняем тебя яко самого государя-батюшку, да разве углядишь? За каждым углом могут подстеречь...

Хлюпая по лужам во дворе, князь пугливо оглядывался, теперь он и вовсе не покидал жилья. У саней стояли провожатые караульщики с алебардами, с саблюками, с палицами – бить злодеев, коли нападут на поезд воеводы.

В богатой шубе на хребтах сиводушчатых лисиц, в горлатной шапке с жемчугом, боярин проехал санями до крепкого дубового тына, что окружал врытую в землю, потемневшую от времени избу, спустился по ступеням вниз и сел на скамью, отдуваясь и отирая лицо платком. Палач Поздунин быстро доедал в темном углу постную еду – мятый горох с маслом и жареные луковники. Ярыгу отливали водою со снегом, – надо было ждать.

– Квасу принесите! – велел Алексей Петрович. – С соленого на питье тянет.

Принесли квасу, князь попил, стал вертеть пальцами на животе – скучал. Дьяк Молокоедов, выставив вперед бороденку, нашептывал про Ивлева, до чего-де поганый человек. Из верных рук известно: в церквах его не видели, нынче пост, а он, треклятый, не говееет. Дьяк Абросимов кивал.

Наконец Гриднев застонал, его еще облили ледяной водой, палач Поздунин вытер руки полотенцем, подергал пеньковые веревки, огладил хомут, чтобы все было в исправности, не осрамиться перед боярином. Дьяк Молокоедов лучинкой зажег свечи на другом шандале, очинил перо, размотал сверток бумаги – писать.

– Ну, делай, делай! – приказал думный Ларионов палачу. – Шевелись живее...

Два бобыля, жившие при тюремной избе, принесли Ефима. Стоять он не мог – его посадили под дыбой. Поздунин заправил его руки в хомут, забрал петлю, вопросительно взглянул на думного дворянина Ларионова. Тот, раскидывая русые усы по щекам, навалился локтями на стол, приготовился слушать. Веревка пронзительно закрипела. На розовой коже Гриднева проступили ребра, тело сделалось длинным, словно неживое. Поздунин правой рукой взял кнут, плетенный из татарской жимолости, изготовился к удару.

– Ты легче! – велел думный. – Бей, да без поддергу!

И, оборотясь к Прозоровскому, объяснил:

– Хорош у нас палач, лучшего не сыщешь, да только тяжело бьет. А ежели еще с поддергом – жди не менее часу, покуда водою отольют...

Веревка все скрипела. Гриднев совсем повис, в тишине было слышно его свистящее дыхание. Думный, все раскидывая по щекам усы, спросил:

– Ну, дядя, будешь сказывать по чести?

Гриднев ответил сразу, спокойным голосом, будто сидел на лавке:

– Ты знай своего дядю палача Оську, орлений кнут да липовую плаху. Я тебе, суке, не дядя.

– Бей! – приказал думный.

Поздунин развернул руку с кнутом, скривился, крикнул, как кричат все кнутабои:

– Берегись, ожгу!

Кнут коротко свистнул в воздухе, по телу Гриднева прошла судорога, Ларионов посоветовал:

– Вишь – тяжелая рука. Сказано – легче!

– Как научены, – молвил Оська Поздунин. – Сызмальства работаем, не новички, кажись...

– Ты поговори!

Из груди Гриднева вырвалось хрипение, он забормотал сначала неясно, потом все громче, страшнее:

– Все вы тати, воеводу на копыя, детей евоных под топор, обидчики, душегубцы, змеи, аспиды...

Прозоровский, пожелтев лицом, подался вперед, слушал; Поздунин замер с

занесенным кнутом; думный Ларионов кивал, словно бы соглашаясь с тем, что говорил Ефим; дьяк Молокоедов, высунув язык от усердия, разбрызгивая чернила, писал быстро застеночный лист. Гриднев кричал задыхаясь, вися в хомуте на вывернутых руках, теряя сознание:

– Пожгем вас, тати, головы поотрубаем, детей ваших в Двину, в Двину, в Двину...

– Спускай! – велел Молокоедов.

Бобыли бережно приняли на руки бесчувственное тело, отнесли на рогожку. Поздюнин пошел в свой угол докушивать обед. Прозоровский укоризненно качал головой. Гусев сказал:

– Покуда отживет – другого попытаем.

Привели Ватажникова. Он, не поклонившись, взглянул на боярина, усмехнулся, скинул кафтан, рубашку, повернулся к воеводе спиной в запекшихся, кровоточащих рубцах.

– Пожгем тебя нынче, ярыгу! – пригрозился Молокоедов. – Иначе заговоришь!

Бобыли принесли огня в железной мисе. Вновь заскрипела веревка, смуглое, скуластое лицо Ватажникова побелело, он молчал. Бобыли захлопотали возле угольев, накидали сухой бересты, щепок. Лицо Ватажникова исказилось, было слышно, как заскрипел он зубами.

– Говори! – крикнул Молокоедов.

– Молчу... – не сразу произнес Ватажников.

– Бей! – грузно поднимаясь с места, велел Прозоровский. – Бей, кат!

Поздюнин заторопился, отошел шага на два, негромко упредил:

– Ей, ожгу!

– Дважды! – крикнул Ларионов.

Кнут опять просвистел.

– В третий? – спросил Оська.

– Дышит?

– Кажись, нет.

– Спускай! Да побережнее, чтобы темечком не стукнуть...

Покуда Ватажникова отливали водой, вновь подняли Гриднева. С огня он начал говорить быстро, неразборчиво, сначала тихо, потом все громче. Пламя в мисе горело ярко, черный дым уходил в волоковое окно. Прозоровский прихлебывал квас, дьяки писали, думный дворянин подавал команды.

– Свои, добрые везде есть, – хрипел Гриднев, – работные люди за нами, на верфях многие за нами, которые с голоду мрут, пухнут, цынжат. Стрельцы, драгуны – к нам придут. Хлебники в городе, квасники, медники, ямщики, рыбаки...

– Имена говори! – крикнул Ларионов.

Ефим не слышал.

– Мушкетеры у нас будут, – шептал он, – пистолы, пушки будут, кончим с вами, изверги...

Его опять сняли. В застенке стало жарко, боярин сбросил шубу, палач – рубаху. Молокоедов объяснял воеводе, что все делается по закону. В законе сказано пытаться до трех раз, однако с тем, что когда вор на второй или третьей попытке речи переменяет, тогда еще три раза можно делать. Ежели на шестой попытке от прежнего отпрется – еще можно пытаться. С десятой пытки, по закону, горящим веником по спине вора шпарят. То пытка добрая, редко кто выстаивает.

– Нынче ж у вас какая? – спросил воевода.

– А девятая.

– Речи переменили?

– Ранее молчали, князь, а теперь грозятся.

– Шпарь вениками!

Дьяки переглянулись, послали бобыля калить лозовые прутья. В открытое окошко донеслось бряканье маленького колокола, – все остальные в городе снял Иевлев. Алексей Петрович широко закрестился, дьяки закрестились помельче. Палач Поздюнин не посмел вовсе: не при том деле стоял, чтобы креститься.

Когда Ватажникова повели опять, Ларионов сказал рассудительно:

– Говори лучше не под дыбой. Говори добром. Повинись всеми винами, назови дружков. Так-то, не по-божьему, – черными словами ругаться да грозиться. Говори здесь, в спокойствии, с разумом. Сам посуди, человеке: лик опух, кровяца через кожу идет, глаза не видят, ноги сожжены, долго ли живот свой скончать, не покайся. Для облегчения тебе буду спрашивать, ты же отвечай разумно...

– Спрашивай! – хрипло ответил Ватажников.

– Спрашиваю: для чего лихое дело затеяли, когда ведаете, что свейский воинский человек идет землю нашу воевать?

Ватажников подумал, глотнул воздух, сказал внятно:

– То дело не лихое, то дело – доброе, что затеяли. А свейскому воинскому человеку мы не потатчики. И кончать его, боярина, и семья его, и судей неправедных, и мздоимцев дьяков, и тебя, думный дворянин, и всех, о ком на розыске говорено, – будем! Когда, тебе не знать и до века не узнать. На том стою и более никаких слов от меня не услышишь!

– Говори, какой приходимец от Азова здесь был, который весть о стрелецком бунте принес и вас на воеводу поднимал? Говори, куда ему путь? Говори, кто еще его прелестные слова слушал?

– Молчу! – с дико блеснувшими глазами, хрипло сказал Ватажников.

– Жги! – розовея лицом, тонко крикнул думный.

Ватажникова вновь подняли, палач Поздюнин выхватил у бобыля пылающий веник, резво вскочил на ножное бревно, подпернул веревку с хомутом, но тотчас же остановился.

– Чего не жгешь, собачий сын! – закричал Прозоровский.

– Кончился! – тонким голосом ответил Поздюнин. – Неладно сделали. Больно много для единого дня. Не сдюжал.

Дьяки подали князю шубу, горлатную шапку; крестясь на мертвое тело, пошли к дверям. Ефим Гриднев хрипел на рогожке в углу...

– Теперь худо будет! – пугая боярина и пугаясь уже сам, молвил думный. – Он, покойник, един того приходимца азовского видел. Теперь, опасаясь, не отыскать нам заводчика бунту...

– Иметь всех, кто в подозрении! – велел воевода. – Пытанных водить по городу скованными за подаванием, дабы посадские очами видели, какво делаем со злодеями. Да держи меня под крылья, оскользнусь здесь...

6. ХОРОШЕЕ И ХУДОЕ

Пока в горнице Сильвестра Петровича курили трубки, набитые кнастером, он полусушутя, полусерьезно напомнил офицерам старое доброе поучение: «Горе обидящему вдовицу, лучше ему в дом свой ввергнуть огонь, нежели за горькое воздыхание вдовицы самому быть ввергнутому в геенну огненну». Потом рассказал незнающим, что за человек был кормщик Рябов. Стрелецкие сотники слушали внимательно.

– Счастливое соединение! – говорил Иевлев, попыхивая сладким трубочным дымом. – Ум острый, веселое отходчивое сердце, способность к изучению наук удивительная. В те далекие годы, когда довелось мне быть здесь в первый раз, будущее флота российского открылось Петру Алексеевичу и нам, находящимся при нем, не тогда, когда мы увидели корабли и море, а тогда, когда познали людей, подобных погибшему кормщику...

Поручик Мехоношин, полулежа на широкой лавке, потянулся, произнес с зевком:

– Так ли, господин капитан-командор? Зело я в том сомневаюсь. Моя пронунация будет иная: иноземные корабельщики – вот кто истинно вдохновил, государя на морские художества. Форестьеры – иноземные к нам посетители – истинные учителя наши. Я так слышал...

– Ты слышал, поручик, а я видел! – отрезал Сильвестр Петрович и поднялся. – Тебе же от души совету: чего не знаешь толком – не болтай. И что это за пронунация? Изречение

не можешь произнести? Форестьеры? Когда ты сих премудростей нахватался, когда только поспел?

– Будучи за границею...

– Это за какой же границею? – спросил Иевлев. – Ты ведь, братец, муромский дворянин, за морем не бывал, – слободу Кукуй видел, верно, да она еще не за граница...

Мехоношин поджал губы, краска кинулась ему в лицо.

– Сбираясь для дальнего пути...

– Сборы еще не путь! – совсем сердито молвил Иевлев. – Вишь, каков хват. Еще давеча хотел тебе сказать, да забыл за недосугом: зачем не форменно одет? Что за дебошан заморский? Ты драгун, а камзол на тебе парчовый для чего? Булавкой с камнем красуешься – зачем? Кружева – воинское ли дело? Паче самоцветных камней украшает офицера славный мундир, запомни!

Поручик обиделся, Иевлев похлопал его по плечу, сказал, как бы мирясь:

– Ништо, это все молодость. Минует с годами. Пойдем-ка к столу!

Таисья встретила гостей низким поклоном, старым обычаем просила не побрезговать кубком из ее рук. Рядом, в лазоревой рубашечке, вышитой струями, чешуей и травами, подпоясанный щегольским пояском из тафты, стоял с ясной улыбкой мальчик, держал на вытянутых руках блюдо с тертой на сметане редечкой – для первой, дорожной закуски. Гости, теснясь в дверях, топоча ботфортами, пили кубок, целовали красавицу-хозяйку в нежно розовые щеки, закусывали редечкой из рук мальчика. Он смотрел весело, глаза его – зеленые с горячими искрами – так и обдавали хлебосольным радушием.

Застольем рыбацкая бабинька Евдоха удивила всех. Чего-чего только не было расставлено на белой вышитой скатерти, между штофами, сулеями и кувшинами, одолженными для такого случая у супруги стрелецкого головы: и сдобные пироги с вязигой, и пирожки с рублеными яйцами да с рыжиками, и котлома с перченой бараниной, и резаная красная капуста с репчатым луком, и заяц в вине, что подается после суточного томления на жару в малых, замазанных глиною горшочках...

На четвертую перемену бабинька и Таисья подали в полотенцах икрыники – икрыные блины, те, что пекутся из битой на холоду икры пополам с крупичатой мукою. За блинами гости перемешались: стрелецкий голова заспорил с мастером Кочневым, Иван Кононович отпихнул офицера Мехоношина, подсел к Крыкову. Меркуров, стрелецкий сотский, завел с Семисадовым вдвоем длинную рыбацкую песню. Поручик Мехоношин, захмелев, стал выхваляться своей родовитостью, хвастался родительской вотчиной, грозился, что еще немного послужит, а потом отправится в славные заморские страны – людей поглядеть и себя показать. Размахивая руками, зацепляя рукавом то солонку, то миску, он рассказывал, какие поступки он совершит, дабы обращено было на него внимание батюшки государя. И сейчас уже, говорил Мехоношин, его часто призывает к себе не кто иной, как князь-воевода, советуется с ним и, возможно, предполагает женить его на одной из княжен. Старые девки не лакомый кусок, плезира, сиречь удовольствия, от такого галанта – любезности – ждать не приходится, но нельзя же обидеть самого князя Прозоровского. Женившись на княжне, он отправится в дальние заморские земли, купит там себе шато-дворец и будет жить-поживать в свое удовольствие, не то что здесь – где и обращения порядочного не дождешься, одна только дикость и неучтивость...

Гости слушали, переглядывались, пересмеивались. Он ничего не замечал. Иевлев на него взглянул раз, другой, потом прервал его, велел отправляться к дому – спать. Мехоношин покривился.

– Иди, брат, иди! – сказал Сильвестр Петрович. – Пора, дружок. Ишь, раскричался. И неладно тебе, поручику, порочить и бесчестить Русь-матушку. Что ни слово – то поношение. А от нее кормишься, с вотчины денег ждешь. Иди, prospись, авось поумнее станешь!

Мехоношин поднялся; нетвердо ступая, пошел к двери, и было слышно, как он ругался в сенях. Сильвестр Петрович покачал головой; наклонившись к Семену Борисовичу, с укоризной сказал, что распустили поручика сверх всякой меры, с таким-де еще хлебом

горя...

Попозже пришли с поздравлениями три старых друга – таможенные солдаты Сергуньков, Алексей да Прокопьев Евдоким, холмогорский искусник, косторез и певун. За день Прокопьев выточил капитану для шпажного эфеса щечки из старой кости. Щечки пошли по рукам, на них Евдоким с великим и тонким искусством изобразил корабли, море и восходящее солнце. Все хвалили искусника. Евдоким сказал скромно:

– Что я, пусть сам господин капитан покажет свои поделочки. Мы с ним не ровня в том мастерстве...

Сильвестр Петрович с удивлением посмотрел на Крыкова, Таисья открыла сундук, выставила на оловянную тарелку рыбака в море, резанного из моржового клыка. Рыбак-кормщик стоял у стерна, ветер спутал ему волосы, рыбак смотрел вдаль, в непогоду, ждал удара разъяренной бешеной стихии.

– Тятя мой! – сказал в затихшей горнице Ванятка.

– Твой, дитятко! – тихо ответил Иевлев, глядя мягкие кудри ребенка.

Таисья смотрела на рыбака молча, спокойно. Но где-то в глубине ее глаз Иевлев увидел вдруг такую гордость, что сердце его забилося чаще. Понял: и по сей день счастлива она тем, что любил ее Рябов, и по сей день горда им, и по сей день верна не его памяти, а ему самому.

Поздно ночью, когда пили последнюю, разгонную за многолетие и славную жизнь капитана Крыкова, с визгом растворились ворота, во двор въехал стеганный волчьим мехом возок для дальнего пути, ямщик распахнул дверь, крикнул:

– Эй, кто живет, выходи гостей встречать...

Иевлев вышел, опираясь на палку, вглядываясь в ночную тьму. Из возка ямщик с трудом вынул один сверток, потом другой. Бесконечно милый голос попросил:

– Осторожнее, дяденька, не разбуди их...

Сильвестр Петрович охнул, сбежал вниз, обнял Машу, потеряв палку, понес детей в дом. Афанасий Петрович в расстегнутом кафтане светил на пороге сеней, фыркали кони, заплакала, вдруг испугавшись суеты, младшая иевлевская дочка – Верунька. Маша, став на колени, раскручивала на старшей меховые одеяла, младшую, плачущую, смеясь раздевала Таисья. Бабка Евдоха с Крыковым затапливали баню, проснувшийся Егорша метался с закусками – кормить путников; ямщика офицеры потчевали водкою, спрашивали, кто приехал. Ямщик выпил, утерся, поблагодарил, рассказал, что привез добрую женщину, за весь путь ни единого разу на него не пожаловалась, никто его в зубы не бил, кормила своими подорожниками.

Уже светало, когда Маша с дочками вернулась из бани и села за прибранный стол – не то обедать, не то завтракать, не то ужинать. Девочки ели молча. Ванятка, так и не уснувший в шуме и суете, с любопытством на них посматривал. Таисья угощала, радовалась, что вот нынче и Сильвестр Петрович заживет, как другие люди живут, – всем семейством. Глаза у Маши ласково светились, за дорогу она похудела, девичье лицо ее стало еще тоньше. Сильвестр Петрович, любясь на жену, сказал негромко:

– В другой раз в Архангельск приехала. Не миновать теперь и третьего. А может, навовсе тут останемся. Построим дом возле реки Двины, да и станем жить. А, Машенька?

Маша улыбалась, взгляд ее говорил: «Где скажешь – там и станем жить!»

– Что молчишь, молчальница? – спросил Сильвестр Петрович. – Рассказывай, что на Москве? Кого видала, что слыхала?

– Писем привезла – сумку, – сказала Маша. – Все тебе пишут, Сильвестр Петрович, – и Апраксин, и Измайлов...

– Измайлов? – удивился Сильвестр Петрович.

– Он. Из Дании – послом там в городе Копенгагене. Меншиков пишет, Александр Данилыч, другие некоторые из вашей компании...

Егорша принес сумку, расстегнул ремни, снял сургучную печать. Сильвестр Петрович, придвинув к себе свечу, хмурясь читал мелкие строчки письма Измайлова. Маша спросила беспокойно:

– Недоброе пишет?

– Андрея Яковлевича, князя Хилкова, шведы заарестовали, – сказал Иевлев сурово, – сидит за крепким караулом, всего лишен, а здоровьем слаб...

Маша всплеснула руками, перестала есть. Сильвестр Петрович снова зашуршал листами писем. В наступившей тишине Ванятка вдруг сказал иевлевским девочкам:

– А у дяди Афони нынче шпага есть. Показать?

Девочки, не отвечая, причмокивая, с аппетитом ели масляные блины.

– Вы безъязыкие? – спросил Ванятка.

– Мы кушать хотим! – сказала старшая.

– Ну, кушайте! – дозволил Ванятка.

Когда Маша с детьми и Сильвестр Петрович ушли на свою половину, Крыков, пристегивая шпагу, тихо, одними губами спросил:

– Какое же будет твое решение, Таисья Антиповна?

Таисья вздохнула, поглядела в сторону.

– Я не тороплю! – словно бы испугавшись, заговорил Крыков. – Я, Таисья Антиповна, буду ждать сколько ты велишь. Год, еще два... Ты только оставь мне надеяться, окажи такую милость...

– Много ты ко мне добр, Афанасий Петрович, и того я тебе вовек не забуду.

– Хорошее начало! – грустно усмехнулся Крыков. – Теперь-то я знаю, каков и конец будет...

– Люб он мне навечно, до гроба моего, Афанасий Петрович. Как же быть-то?

Крыков поклонился неловко, отыскал плащ, вышел, плотно притворив за собою дверь. Уже совсем день наступил, холодный, не весенний, с колючим морозным ветром. По кривой Зеленой улице, обгоняя Афанасия Петровича, пушкари на рысях провезли к Двине две новые пушки; стрельцы на гиканье пушкарей широко распахивали караульные рогатки. Во дворе, где отливались пушки, били в било, созывали народ на работу. Конные драгуны свернули в переулочек – отсыпаться с дальнего ночного дозора. Выйдя к набережной, Крыков замедлил шаг: весеннее солнце вдруг показалось из-за темных туч, заиграло на церковных куполах, на мушкетах стрелецкой сотни, идущей на учение, на остриях багинетов, на сбруе татарского конька под сотником Меркуровым.

– Капитану Крыкову на караул! – крикнул Меркуров веселым голосом.

Стрельцы скосили глаза, четко отбивая шаг, сделали мушкетами вверх и налево. Меркуров выкинул шпагу из ножен, салютуя. Крыков выбросил из ножен свою. Сердце его забило веселее, солдаты смотрели с ласковым сочувствием, – все знали его судьбу.

– Доброго учения! – сказал Афанасий Петрович малорослому солдатику, догонявшему остальных. – Слышь, что ли, Петруничев?

Петруничев ответил на бегу:

– Там видно будет, каково учены. У шведа спросим...

Разъехался сапогами по льду, ловко привскочил и встал в ряд. Крыков улыбнулся, со свистом опустил шпагу в ножны, зашагал быстрее – учить своих таможенников.

Но едва он свернул в узкий переулочек, носивший название Якорного – оттого что здесь держал кузню якорный мастер Шестов, – как ему повстречалось печальное шествие, от которого тяжело зануло его сердце: скованные кандалными наручниками попарно и взятые все шестеро на тяжелый железный прут, шли, устрашая собою посадских и собирая по обычаю милостыньку, питанные боярином воеводою острожники. Несмотря на мороз, они шли в рубахах, ссохшихся от крови, чтобы видел народишко подлинность пытки, тяжело хромали и, дыша с хрипом, просили у православных христовым именем, кто чего может посострадать. Православные молчаливой толпой провожали питанных и не жалели ни денег, ни калачей, ни сушеной рыбы. Один посадский вынес даже жбанчик зелена вина, и питанные здесь же выпили по глотку – всем кругом. Конвойный провожатый тоже хотел было хлебнуть, но ему кто-то наподдал сзади, он покачнулся и пролил последнее вино.

– На том свете тебе вино припасено! – сказал тонкий голос из толпы. – Там

нажрешься...

– Он невиноватый! – произнес один из пытаных. – Чего вы на него! Служба царева, куда поденешься...

Один пытаный, маленький, с обожженными ладонями, ничего не мог удержать в руках – его попоила молоком из глиняной чашки старуха. Он ей низко поклонился, сказал не прося, приказал:

– Ты за меня панихидку отслужи, бабушка. Меня нынче кончат...

Другой, повыше, с тонким лицом, с задумчивым взглядом, подтвердил:

– Его кончат...

А третий с причитаниями рассказывал народу о пытках – как вздевают на дыбу, как выворачивают руки, как жгут огнем. Другие молчали, едва держась на ногах. Ни Ватажникова, ни Гриднева среди них не было...

Крыков крепко стиснул зубы, пошел дальше...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

...Мне волки лишь любви;
Я волком остался, как был, у меня
Все волчье – сердце и зубы.

Гейне

1. ТАЙНЫЙ АГЕНТ КОРОЛЯ

Вечером в военную гавань Улеборга медленно вошла шестидесятивесельная галера под шведским военно-морским флагом – золотой крест на синем поле. На берегу, в мозглых сумерках, дважды рывкнула пушка. Капитан галеры Мунк Альстрем приказал ответить условным сигналом – двумя мушкетными выстрелами – и становиться на якорь, под разгрузку. Комит – старший боцман – Сигге засвистел в серебряный свисток. Шиурма – гребцы-каторжане, прикованные цепями, – подняли весла. Заскрипел брашпиль, и трехлапый якорь плюхнулся в воду.

– Спустить шлюпку! – кутаясь в плащ, подбитый лисьим мехом, велел Альстрем. – Иметь строгий надзор за шиурмой, в этом гиблом месте каторжане постоянно устраивают побеги. Начинайте разгрузку без меня, я вернусь нескоро.

Криворотый, обожженный в сражениях Сигге стоял перед капитаном навтыяжку. Капитан думал.

– Может быть, я напьюсь! – произнес он. – Здесь, в харчевне, бывает добрая водка. Почему не напиться?

Два помощника боцмана – подкомиты – проводили капитана до трапа. Капитан шел медленно, соблюдая свое достоинство. Комит засвистал в третий раз – к уборке судна. Музыканты в коротких кафтанчиках, синие от холода, баграми волокли к борту умирающего загребного, бритоголового каторжанина. Он еще стонал и просил не убивать его, но к его ногам уже был привязан камень, чтобы грешник потонул сразу, как и подобает паписту, врагу истинной реформатской церкви.

На берегу, в харчевне «Свидание рыбаков», капитан Альстрем встретился с капитаном над портом и передал ему бумаги с обозначением количества пушек, доставленных на борту галеры. Кроме того, галера доставила для войск сухари в бочках, крупу и масло.

– Часть пшеницы подмокла и более не может идти в пищу! – сказал капитан Альстрем. – Мы попали в шторм.

Капитан над портом кивнул головой. Альстрем отсчитал ему деньги – за пшеницу и за

все то, чем они делились по-братски. Слуга принес водку, яичницу и сливы в уксусе. Капитан над портом велел сварить английский напиток – грог.

Через час оба моряка ревели песню, выпучив друг на друга мутные глаза:

Кто после бури вернется домой
И встретит невесту мою,
Пусть скажет, что сплю я под синей волной
И нету мне места в раю...

Чья-то тяжелая рука легла на плечо капитана Альстрема. Он стряхнул руку не оглянувшись. Рука легла еще раз – тяжелее. Капитан Альстрем обернулся в ярости: перед ним стоял человек в черной одежде лекаря, с острым взглядом, с темным лицом.

– Какого черта вам от меня надо? – спросил Альстрем.

– Вы славно проводите свое время в ту пору, когда с вашей галеры бегут русские каторжане, – сказал незнакомец. – Шаутбенахт галерного флота короны вряд ли похвалит вас...

Альстрем начал медленно трезветь. Капитан над портом все еще пытался допеть песню.

– А кто вы такой? – спросил Альстрем нетвердым голосом.

Незнакомец сел на скамью, снял башмак и ножом оторвал каблук. В каблуке был тайник. Из тайника незнакомец достал медную капсулю, раскрыл ее и положил перед капитаном квадратный кусочек тонкого пергамента, на котором готическим шрифтом было написано, что Ларс Дес-Фонтейнес есть тайный агент его величества короля и всем подданным короны под страхом лишения жизни надлежит во всем помогать упомянутому агенту.

– Отсюда вы идете в Стокгольм? – спросил Ларс Дес-Фонтейнес.

– В Стокгольм, гере...

– Я имею чин премьер-лейтенанта! – сухо сказал Дес-Фонтейнес. – Вы возьмете меня на борт. Советую вам протрезветь и навести порядок на галере...

Ночью испуганный капитан Альстрем объяснял своему гостю, что шиурма мрет от голода, что три унции сухарей в день на гребца ведут к полному истощению сил, что за один только переход от Стокгольма до Улеборга в море выбросили шестнадцать трупов каторжан. Дес-Фонтейнес смотрел в переборку каюты пустыми глазами и, казалось, не слушал. О борт галеры стучались шлюпки, там, при свете факелов, шла выгрузка пушек, ядер и продовольствия.

– Сколько человек бежало? – спросил Дес-Фонтейнес.

– Девять. Трех уже поймали.

– Кто помог им расковаться?

– Русский из военнопленных.

– Я сам произведу следствие! – сказал Дес-Фонтейнес.

Комит Сигге и два подкомита привели в каюту закованного человека с бритой головой и с медленной, осторожной речью.

– Ты русский? – спросил Дес-Фонтейнес.

Каторжанин ответил не торопясь:

– Русский.

– Как тебя зовут?

– Звали Щербатым, а нынче живем без имени. Кличку дали, как псу.

Дес-Фонтейнес внимательно смотрел на каторжанина. Комит Сигге почтительно доложил, что перед побегом преступники получили от Щербатого письмо.

– Ты давал им письмо? – спросил Дес-Фонтейнес.

– Не было никакого письма! – сказал Щербатый.

– Ты тот шпион, который доносит москвитам о приготовлениях нашей экспедиции в город Архангельский. Так?

Щербатый молчал.

Премьер-лейтенант, не вставая, ударил его кулаком снизу вверх в подбородок. Русский покачнулся, изо рта у него хлынула кровь.

– Ты имеешь своего человека в Стокгольме. Так?

Щербатый молча утирал рот ладонью.

– Кто твой человек в Стокгольме? Говори, иначе я с тебя с живого сниму кожу.

Щербатый вздохнул и ничего не сказал.

– Посадите его в носовой трюм! – по-шведски приказал Дес-Фонтейнес. – Прикажете надежному человеку непрерывно каплями лить на его темя холодную воду. Люди, которые будут лить воду, должны сменяться каждые два часа – это не простая работа. Я сам буду следить за экзекуцией...

К рассвету галера снялась с якоря. Дес-Фонтейнес в длинном плаще, в шляпе, надвинутой на глаза, поднялся на кормовую куршею, где в своем кресле, под флагом, раздуваемым ветром, сидел капитан Мунк Альстрем. Музыканты литаврами отбивали такт для гребцов. Шиурма, по пять каторжан на одной банке, с глухим вздохом поднимала валец, весло опускалось в воду, люди откидывались назад – гребли. Однообразно и глухо бил большой барабан, высвистывали рога, со звоном ухали литавры. Два подкомита с длинными кнутами стояли на середине и на носу галеры, чтобы стегать обнаженные спины загребных. Матрос из вольных – длиннолицый голландец, согнувшись, чтобы ненароком не попасть под удар кнута, ходил между каторжанами, совал в рот ослабевающим лепешки из ржаного хлеба, вымоченные в вине.

– Ход? – спросил премьер-лейтенант.

– Пять узлов! – ответил Сигге.

– И на большее вы неспособны?

– Быть может, позже мы поставим паруса...

Премьер-лейтенант молча смотрел на шиурму. Каторжанин на шестой скамье повалился боком на своего соседа. Белобрысый голландец ползком пробрался к умирающему и стал бить молотком по зубилу, – загребный более не нуждался в оковах. Цепь отвалилась от кольца. Другой вольный – в меховом жилете – багром зацепил каторжанина за штаны и выволок в проход.

– За борт! – приказал Сигге.

– Так за борт! – повторил подкомит и, оскалившись, стегнул кнутом гребца, который, застыв, взглядом провожал своего погибшего товарища.

Теперь литавры ухали быстрее. Со скрежетом и скрипом ходили весла в огромных ключинах. От полуголых гребцов шел пар.

– Сколько у вас каторжан? – спросил Дес-Фонтейнес.

– Сотен пять наберется! – ответил Альстрем.

– Много русских?

– Более половины. После Нарвы мы получили пятнадцать тысяч человек. Их погнали в Ревель, но там нечем было их кормить. Они хотели есть и покушались на имущество жителей города. Жители получили оружие, чтобы каждый мог по своему усмотрению защищаться от пленных. Их стреляли как собак. Оставшиеся в живых были сданы на галеры. Кроме русских, у нас есть и шведы. Теперь наказываются галерами мятежники, дерзнувшие не подчиниться своему дворянину...

– А такие есть?

– Немало, гере премьер-лейтенант. А Лютер сказал: «Пусть кто может, душит и колет, тайно или открыто, – и помнит, что нет ничего более ядовитого, вредного и бессовестного, нежели мятежники».

Премьер-лейтенант кивнул:

– Старик Лютер был умен.

– Его величество король, – сказал Альстрем, – да продлит господь его дни, – верный лютеранин, и теперь вряд ли вы отыщете в Швеции мятежника, не понесшего заслуженную

кару.

Дес-Фонтейнес молчал, сложив под плащом руки на груди. Суровое темное лицо его ничего не выражало, глаза смотрели вдаль, в снежную морскую мглу.

– Не так давно возмутились крестьяне шаутбенахта Юленшерны, – продолжал Альстрем. – Это было незадолго до того, как шаутбенахт вступил в брак. Быть может, вы не знаете, что свадьба ярла шаутбенахта праздновалась в королевском дворце с пышностью и великолепием, достойными нашего адмирала...

Премьер-лейтенант спросил, зевнув:

– Невесте столько же лет, сколько ему? Шестьдесят?

Альстрем засмеялся:

– О нет, гере премьер-лейтенант. Баронессе Маргрет Стромберг не более тридцати...

Ларс Дес-Фонтейнес резко повернулся к капитану. В одно мгновение лицо его посерело.

– Маргрет Стромберг? Вы говорите о дочери графа Пипера?

– Да, гере премьер-лейтенант. Баронесса овдовела четыре года тому назад и по прошествии траурного времени вышла замуж вторым браком за нашего адмирала.

Премьер-лейтенант усмехнулся:

– Да, да, – сказал он, – все случается на свете, все бывает...

Он вновь отвернулся от Альстрема, и лицо его опять стало спокойным. Капитан рассказывал о возмущении крестьян Юленшерны и о том, как многие из них были отправлены на галеры. Дес-Фонтейнес слушал не прерывая. Потом он спросил:

– Значит, в Швеции все хорошо?

– Да, в Швеции все хорошо.

– А что говорят о войне с Россией? – странно улыбаясь, спросил премьер-лейтенант. – Наверное, после того как мы разгромили москвитов под Нарвой, все хотят воевать дальше?

– Шведы хотят того, чего желает король, – ответил осторожный Альстрем. – Шведы высоко чтят своего короля, заботами которого, с помощью божьей, весь мир трепещет перед нами.

2. НАЗОВИ ИЗВЕСТНЫЕ ТЕБЕ ИМЕНА!

Когда солнце поднялось высоко, премьер-лейтенант велел капитану галеры повесить на ноке первого из пойманных беглецов. Профос – галерный палач – принес готовую петлю. Беглец – плечистый и сильный человек лет тридцати, с наголо обритой, как у всей шиурмы, головой – медленно оглядел заштилевшее море, покрытые снегом далекие берега Швеции, высокое светлоголубое северное небо и сказал с силой в хрипловатом голосе:

– Что ж... и Минька Чистяков вам зачтется...

Поклонился низко всей бритоголовой, закованной шиурме и сам надел на шею петлю. Профос намотал на жилистую руку пеньковую веревку и хотел вздергивать, но премьер-лейтенант поднял руку в перчатке с раструбом и спросил у приговоренного, как смел он прощаться с каторжанами и кому угрожал. Каторжанин-беглец повел на Дес-Фонтейнеса усталыми, измученными глазами и молча опустил голову.

– Повешенный, ты еще можешь изменить свою судьбу! – сказал премьер-лейтенант. – Вот я ставлю песочные часы. Через три минуты песок пересыплется из верхнего сосуда в нижний. За это время подумай о том, как хороша жизнь и как рано тебе умирать. Ты можешь заслужить прощение тем, что назовешь известные тебе имена здесь и в Стокгольме.

Премьер-лейтенант опрокинул часы. Золотистый песок ручейком полился вниз.

Приговоренный молчал опустив голову. Профос стоял неподвижно, веревка была накручена на его голую руку.

Песок пересыпался.

– Тебе не удастся так легко умереть! – сказал Дес-Фонтейнес. – Я раздумал. Тебя не повесят, а будут стегать кнутом по голому телу до того мгновения, пока ты не назовешь

имена или пока не скончаешься.

Петлю с шеи Чистякова сняли.

На правой куршее профос поставил широкую скамью и привязал к ней Чистякова. К полудню беглец скончался, не произнеся ни одного слова.

– Таковы они все! – сказал премьер-лейтенант капитану Альстрему. – Надо быть безумцем или глупцом, чтобы затевать войну с этим народом.

Капитан переглянулся с комитом Сигге. Что говорит премьер-лейтенант? Понимает ли он, кто этот безумец и глупец?

– Шведский здравый смысл, где ты? – злобно воскликнул Дес-Фонтейнес. – Достаточно взглянуть на карту Московии, чтобы понять всю нелепость этой затеи.

Капитан переглянулся с комитом во второй раз.

Галера попрежнему шла со скоростью пяти узлов.

Дес-Фонтейнес приказал повесить на ноке тело запоротого кнутом русского и спустился в передний трюм. Щербатый, прикованный цепями к переборке, посмотрел на него блуждающим мутным взором. Вода тонкой струей лилась на его бритую голову. Губы русского шевельнулись, премьер-лейтенант наклонился к нему:

– Ты хочешь со мной говорить?

– Не буду я с тобой говорить!

Дес-Фонтейнес попробовал воду – достаточно ли холодна. Вода была забортная – ледяная. Щербатый дрожал мелкой дрожью, губы его непрерывно что-то шептали.

– Боюсь, что ему немного осталось жить! – сказал швед-матрос. – Быть может, оставить это занятие на время?

Премьер-лейтенант ничего не ответил.

Весь день премьер-лейтенант молча прогуливался по галере и думал свои думы. В сумерки вдруг сошел с ума маленький русский каторжанин. Голландец-надсмотрщик кошкой прыгнул к нему. Умалишенный, залитый кровью, рвался с цепи. Надсмотрщик ударил его коленом в живот и заткнул ему рот греческой губкой. Ночью умалишенного, еще живого, выбросили за борт, привязав к ногам камень.

На ноке покачивалось тело беглеца, повешенного после смерти.

Мерно били литавры.

По свистку комита, с каждой скамьи трое из шиурмы падали на палубу – отдыхать, двое – гребли. Тело повешенного вращалось на веревке. Каждый из шиурмы видел, что ждет его, если он осмелится бежать и будет пойман.

Капитан Альстрем в своей каюте дописывал донос на премьер-лейтенанта Дес-Фонтейнеса. Комит Сигге подписался как свидетель. Он тоже слышал слова, которыми премьер-лейтенант бесчестил его королевское величество.

– Наш король – безумец! – сказал Альстрем, присыпая донос песком.

– Пусть помилует его святая Бригитта! – молитвенно произнес Сигге.

– Московиты непобедимы! – сказал капитан Альстрем. – Король – глупец. Ты слышал что-либо более оскорбительное для его величества?

Комит покачал головою: бывают же на свете дерзкие!

– Такие, как он, кончают свою жизнь на плахе в замке Грипсхольм! – сказал капитан. – Но не сразу. Сначала их обрабатывает палач, лучший палач королевства. И подумать только, что этот проходимец еще смел кричать на меня, когда убежали пленные...

Наверху попрежнему бил барабан, повизгивали рога, ухали литавры.

Премьер-лейтенант стоял на носу галеры, смотрел вдаль и шепотом произносил звучные строфы «Хроники Эриков»:

И тогда было поднято оружие,
И сошлись они в смертном поединке,
Сошлись для того, чтобы один победил,
А другой умер...

3. ВАМИ КРАЙНЕ НЕДОВОЛЬНЫ!

Когда галера подошла к Шепсбру – корабельной набережной Стокгольма, вдруг посыпался частый мелкий снег. Шиферные и свинцовые крыши Стадена тотчас же скрылись из глаз, за пеленою снега исчезли горбатые мосты, дворцы, Соленое море – Сельтисен, корабли на рейде и у причалов...

Дес-Фонтейнес, в плаще, в низко надвинутой шляпе, стоял у борта, смотрел, как сбрасывают сходни. Капитан Альстрем, кланяясь, просил извинить его, если в пути премьер-лейтенанту было недостаточно удобно. Дес-Фонтейнес угрюмо молчал. Он не слышал болтовни капитана Альстрема. Теплые огни Стокгольма – города, о котором он так часто думал на чужбине, – зажигались на его пути. Несколько легких санок обогнали его; веселые мальчишки, пританцовывая, пробежали навстречу; фонарщик с лестницей, как в далеком детстве, вышел из узкого переулка...

Сердце премьер-лейтенанта билось часто, он волновался словно юноша. Много лет тому назад он покинул этот город. И вот он опять здесь – будто и не уезжал отсюда...

На маленькой круглой площади под медленно падающим снегом он постоял немного. Лев, подняв переднюю лапу, словно грозясь, сидел у фонтана – старый лев, высеченный из камня, с гривой, присыпанной снегом. А в таверне неподалеку играли на лютне, тоже как много лет назад.

В тот же вечер Дес-Фонтейнес в синем мундире премьер-лейтенанта королевского флота, при шпаге и в белых перчатках, легким шагом вошел в ярко освещенную приемную ярла шаутбенахта Эрика Юленшерны, в числе прочих своих многочисленных обязанностей начальствующего над всеми тайными агентами короля.

Премьер-лейтенанту было сказано, что ярл занят и сейчас не принимает.

– Я подожду! – произнес Ларс Дес-Фонтейнес и сел на старую дубовую скамью.

Мимо него проходили один за другим флотские фендрики с едва пробивающимися усами, спесивые и чванливые адмиралы в расшитых золотом мундирах, даже корабельные священники. Ярл принимал всех. Только он, Дес-Фонтейнес, вернувшийся из Московии с верными сообщениями, никому не был нужен. Но он сидел, сложив руки на груди, глядя исподлобья недобрым, острым взглядом, ждал. И не дождался: ярл отбыл из своего кабинета, миновав приемную.

– В таком случае пусть заплатят мне мои деньги! – резко сказал премьер-лейтенант. – Я надеюсь, деньги мне можно получить?

Древний старичок, знавший всех агентов в лицо, ответил ядовито:

– Ровно половину ваших денег успел получить ваш отец – ему тут пришлось туго, бедняге. А другую половину вы получите, но не слишком скоро, – нынче времена изменились. Что же касается до приема ярлом шаутбенахтом, то вам совершенно не для чего торопиться. Ничего хорошего вас не ожидает за этой дверью: вами крайне недовольны!

Выходя из здания особой канцелярии, Дес-Фонтейнес в снежной мгле почти столкнулся с капитаном галеры Мунком Альстремом. Премьер-лейтенант не узнал капитана и, вежливо извинившись, сел на лошадь. А капитан Альстрем, помедлив, постучал деревянным молотком в обитую железом дверь и, когда привратник открыл, с поклоном передал ему свой донос, адресованный королевскому прокурору Акселю Спарре.

В эту ночь Дес-Фонтейнес, впервые за восемь лет, напился допьяна. Пил он один. Слуга, высохший словно египетская мумия, наливал ему кубок за кубком. Премьер-лейтенант пил жадно, большими глотками. Медленно отщелкивали время старые часы на камине, маятник в виде черной женщины с провалившимися глазницами косил косою – смерть пожинала плоды скоропреходящих дней. Дес-Фонтейнес пил и смотрел, как косит смерть...

Ночью, пошатываясь, он вошел в таверну, где пили купцы, офицеры гвардии

драбантов, кавалеристы и рыночные менялы. Уличные девки в чепчиках и нижних юбках плясали на дубовом столе, рядом гадал гадалыщик, дальше бросали кости – чет или нечет. Четверо офицеров пели новую песню о позоре русских под Нарвой. Дес-Фонтейнес выслушал песню до конца и сказал офицерам, что они глупцы и вместо мозгов у них навоз.

Молоденький офицер, с пушком вместо усов, вскочил и завопил, что он не позволит произносить неучтивости. Дес-Фонтейнес потянул его за нос двумя пальцами. На рассвете, с тяжелой головой, ничего не понимая, он слушал, как высокий в оспинах капитан читал на память старый закон о ведении поединка:

«Если муж скажет бранное слово: “ты не муж сердцем и не равен мужу”, а другой скажет: “я муж, как и ты”, – эти двое должны встретиться на перепутье трех дорог. Если придет тот, кто услышал, а тот, кто сказал слово, не придет, то он три раза крикнет: “злодей!” И сделает заметку на земле. Тогда тот, кто сказал слово, – хуже него, так как он не осмеливается отстоять оружием то, что сказал языком. Теперь оба должны драться. Убитому надлежит лежать в плохой земле».

Дес-Фонтейнес выбросил шпагу из ножен и встал в позицию. Юноша, которого он давеча таскал за нос, сделал подряд два неудачных выпада и потерял хладнокровие. На шестой минуте поединка премьер-лейтенант клинком пронзил горло своему противнику, выдернул шпагу, обтер жало краем плаща и ушел в Нордмальм – в деревушку, чтобы пить дальше. Секунданты, опустив головы, стояли на сыром ветру, пели псалом над убитым. Его похоронили здесь же, на перепутье трех дорог, и выпили желтой ячменной водки на деньги, которые нашлись у него в кошельке.

Весь день Ларс Дес-Фонтейнес просидел за дубовым колченогим столом в харчевне «Верные друзья». Он был трезв и зол. Дурные предчувствия измучили его. С ненавистью он вспоминал вечер, проведенный в приемной ярла Юленшерны, наглых офицеров, поединков, годы, прожитые в Московии. Да, он, Дес-Фонтейнес, никому более не нужен. Нет человека, которому была бы интересна правда, та правда, которую он привез с собою. Что-то случилось за эти годы! Но что?

В сумерки из города вернулась старая карга, которую он посылал к кормилице Маргрет. На клочке бумаги Маргрет написала несколько слов, от которых его бросило в жар. Швырнув старухе золотой, премьер-лейтенант поехал туда, где бывал столько раз в те далекие, невозвратимые времена.

Над городом стлался тяжелый рыжий туман. При свете смоляных факелов разгружались огромные океанские корабли. Сладко пахло корицей, гниющими плодами и фруктами, привезенными из далеких жарких стран. Громяхая по булыжникам, из порта ползли тяжелые телеги с грузами. В домах предместья зажигались огни, лавочники закрывали ставни своих лавок, гуляющие девки, громко хохоча, приставали к матросам, побрякивающим золотыми в карманах...

И вдруг на плацу запели рожки солдат.

Дес-Фонтейнес попридержал коня: рожки пели громко, нагло, их было много, и солдат тоже было много. В прежние времена рожки не пели так вызывающе нагло и солдаты не маршировали по улицам такими большими отрядами.

Проехал на белом тонконогом коне полковник – тучный и усатый, за ним, осаживая жеребца, проскакал адъютант, потом пошли батальоны. И все остановилось: и подводы с грузами из порта, и матросы со своими девками, и старики, спешащие в церковь, и дети, и уличные торговки, и продавцы угля со своими тележками...

Мерно ступая тяжелыми подкованными башмаками, шли королевские пешие стрелки в длинных кафтанах с медными пуговицами, за ними двигались особым легким шагом карабинеры, потом показалась конница: тяжелая – кирасиры, средняя – шволежеры в плащах, все с усами, и, наконец, гусары на поджарых конях в сопровождении пикинеров при каждом эскадроне. Грубые солдатские голоса, брань, шутки, командные окрики покрыли собою мирный шум города; казалось, солдаты никогда не пройдут – так их было много, и было видно, что народ смотрит на войска покорно и не без страха...

«Вот для чего его величество король закалял себя в юные годы, – вдруг подумал Дес-Фонтейнес, – вот для чего он среди ночи вставал с кровати и ложился на пол...»

А солдаты все шли и шли, и рожки все пели и пели, извещая горожан о том, что дорога перед войсками должна быть очищена...

Наконец полки миновали перекресток, и город вновь зажил своей обычной жизнью...

Старуха кормилица Маргрет жила в доме, часть которого занимал амбар. На самом верху каменного здания, под черепичной кровлей, при свете масляных фонарей, четыре здоровенных парня, полуголых и белобрысых, крутили рукоятку ворота; пеньковый канат, наматываясь на вал, втаскивал наверх туго перевязанные кипы хлопка. Совсем как много лет назад, если бы издали не доносились еще наглые, громкие звуки солдатских рожков.

Премьер-лейтенант постучал в знакомую дверь так же, как восемь лет назад, – три удара. Загремел засов, и Дес-Фонтейнес вошел в низкую кухню старой кормилицы, где едва тлели уголья в очаге.

– Это вы? – спросила Маргрет дрожащим голосом. И вскрикнула: – О, Ларс!

Он усмехнулся: эта женщина была попрежнему в его власти, он мог делать с ней все, что хотел. Она всегда будет в его власти, за кого бы ни выходила замуж. В свое время она молила уйти с нею в глушь и поселиться в шалаше на берегу ручья, но он не согласился: с такими женщинами не слишком весело в шалаше на берегу ручья...

– Я не имел чести поздравить вас с браком, – сказал он холодно. – Впрочем, я не смог даже выразить вам соболезнования по поводу безвременной кончины гере Магнуса Стромберга...

Дес-Фонтейнес видел, как поднялась и бессильно опустилась ее рука, слышал, как прошелестел шелк.

– Но вы... вас не было! – плача сказала Маргрет. – Вас не было бесконечно долго. Мне даже казалось, что вы только снились мне в годы моей юности...

– Не будем об этом говорить! – сказал он. – Я беден, вы богаты! Я буду беден всегда, вы не можете жить без роскоши. Вы разорили гере Стромберга, теперь вы начали разорять гере Юленшерну. Золото жжет вам руки. Я здесь недавно, но уже слышал, какие охоты и пиры вы задаете чуть не каждый день. Вы не слишком горевали без меня, Маргрет, не правда ли? И, пожалуй, вы поступали правильно. Не следует связывать свою жизнь и свою молодость, свою красоту и все, чем вы располагаете, с таким человеком, как я...

Он вздохнул как бы в смятении. Ей показалось, что он застонал, но когда она бросилась к нему, он отстранил ее рукою.

– Я не нужен вам, Маргрет, – сказал он голосом, которым всегда разговаривал с ней, голосом, в котором звучало почти подлинное отчаяние. – Я не нужен вам. И не следует вам терзать мое бедное сердце, Маргрет. Мне во что бы то ни стало надобно говорить с вашим отцом. Помогите мне в последний раз...

– С отцом?

– Граф Пипер единственный умный человек в королевстве. Я должен видеть его непременно.

Она молчала, раздумывая. Потом воскликнула:

– Я это сделаю! Вы будете приняты. Но что с вами, Ларс? Вам угрожает опасность?

Премьер-лейтенант усмехнулся с горечью:

– Опасность угрожает не мне. Она угрожает Швеции.

Уже совсем стемнело. Маргрет зажгла свечи, поставила на стол бутылку старого вина, цукаты, фрукты. Все как прежде, как много лет назад. Лицо Маргрет раздурманилось, глаза блестели, золотые волосы рассыпались по плечам. Она была счастлива. И он вел себя так, как будто был растроган.

– Вы опять уедете в Московию? – спросила она.

– Я бы хотел этого.

– Я убегу к вам туда! – сказала она смеясь. – Я сведу с ума всех москвитов. Я поеду за вами в Московию...

Она пила вино и не торопилась уходить, хоть было поздно. Дес-Фонтейнес сказал, что близится полночь, она махнула рукой:

– Все равно он очень много знает обо мне. Пусть! Мне никто не нужен, кроме вас. Только вы, боже мой, только вы...

Он поморщился: ему вовсе не хотелось, чтобы ярл Юленшерна был его врагом. Но Маргрет целовала ему руки и молила не презирать ее. Он казался ей рыцарем, совершающим таинственные подвиги во славу своей единственной дамы. Она то смеялась, то плакала и клялась ему в вечной любви. О своих мужьях она говорила с презрением и ненавистью и одинаково глумилась над мертвым и над живым. Он улыбался ее страшным шуткам и целовал мокрые от слез глаза.

Глухой ночью, измученная любовью, низко склонившись к его лицу, она шептала, словно в горячке:

– Я очень богата, очень. Я дам тебе денег. Зачем они мне без тебя? Ты возьмешь столько, сколько тебе нужно. Возьмешь?

Он молчал и улыбался. Все-таки она была прелестна, эта женщина, в своем безумии. И кто знает, может быть, она ему еще пригодится?

4. ГРАФ ПИПЕР

Тот старик был прав: ничего хорошего не ожидало Дес-Фонтейнеса за дверью кабинета ярла шаутбенахта. Юленшерна принял агента короны стоя, не поздоровался, ни о чем не спросил и сразу начал выговор:

– Ваши донесения, премьер-лейтенант, по меньшей мере, не соответствовали истине. Вы крайне преувеличиваете военные возможности москвитов. Его величество король недоволен вами. Дважды его величество изволил выразить мысль, что вы плохо осведомлены и самонадеянны. Ваши донесения всегда расходились с донесениями других лиц, посещающих Московию. Шхипер Уркварт стоит на иной точке зрения, нежели вы. Почему до сих пор я не получил от вас подробного плана Новодвинской цитадели? Мне известно также, что вы принадлежите к тем, которые позволяют себе осуждать действия его величества...

Дес-Фонтейнес слушал выговор молча, но глаза его насмешливо блеснули. Ему был жалок этот надменный старик, много лет тому назад приговоренный к колесованию за свои пиратские похождения, этот сановник, прощенный покойным королем только за то, что пиратские сокровища пополнили отощавшую шведскую казну, этот властный и желчный адмирал, о котором матросы говорили, что он продал душу дьяволу и теперь у него вместо сердца кусок свинца. Что бы с ним было – с адмиралом, если бы премьер-лейтенант поведал ему хотя бы самую малость из того, что происходило вчера в кухне старой кормилицы Маргрет?

– Здесь вы пьете, – говорил Юленшерна, – и, как мне известно, уже успели на поединке совершить убийство юноши из хорошей семьи. Подумайте о своем будущем! Король выслушает вас в совете. Пусть же ваша речь будет разумной. Вы много лет провели в Московии, вы знаете слабые стороны русского войска. Говорите же о том, что может спасти вашу репутацию, а не погубить вашу жизнь. В дни вашего детства вы были друзьями с моей супругой, она просила меня за вас, и тот совет, который вы получили от меня сегодня, я даю вам по просьбе моей жены.

Премьер-лейтенант взглянул на шаутбенахта. Юленшерна смотрел на Дес-Фонтейнеса твердо и надменно, ничего нельзя было прочитать в этих жестких, кофейного цвета глазах.

– Идите! – сказал Юленшерна.

Дес-Фонтейнес вышел.

В этот же вечер он получил приглашение прибыть к графу Пиперу – шефу походной канцелярии Карла XII и государственному секретарю. В кругах, близких ко двору, было известно, что отец Маргрет в свое время не слишком одобрительно относился к войне с

русскими.

– Моя дочь просила меня принять вас! – сказал граф, когда Дес-Фонтейнес ему представился. – Вы были друзьями детства, не так ли?

– В давние времена, граф, – сказал Дес-Фонтейнес. – В те далекие времена, когда вы еще не стали гордостью королевства и не носили титула графа.

Пипер любезно улыбнулся. Он сидел в глубоком кресле – жирный, с короткими, не достающими до полу ногами. Из-под огромного завитого парика смотрели умные пронизывающие глаза.

– Я слушаю вас! – сказал он.

– Я бы хотел выслушать вас, граф! – сказал Дес-Фонтейнес. – Я давно не был в королевстве. Мне бы хотелось знать, что думают здесь о России.

– Царь Петр проиграл Нарву, – словно бы размышляя, начал Пипер. – Проиграл так, что медаль, на которой запечатлен его позор, ныне чрезвычайно популярна. Нам представляется, что единственная наша дорога – на Москву. Мы предполагаем, что когда наши флаги начнут развеиваться на древних стенах Кремля, тогда все остальное произойдет само собой. Курица в нашем супе будет сварена. Золотой крест на синем поле, поднятый над русским Кремлем, – единственное разумное решение восточного вопроса, не так ли? Его величеству благоугодно продолжать дело, о котором говорили блаженной памяти Торгильтс Кнутсон и достопамятный Биргер. Стен Стурре также учил гиперборейцев тому, что дорога у них – только на восток. Зачем же нам вязнуть в Ингрии или Ливонии, зачем нам мелкие победы, когда слава ждет нас в Москве?

Дес-Фонтейнес молчал, неподвижно глядя в широкое, розовое, спокойное лицо графа.

– Мне также доподлинно известно, – продолжал Пипер, – что блаженной памяти король Карл IX не раз говорил о необходимости для нас захвата северной части побережья Норвегии. Русские имеют один порт – Архангельск. Стоит нам захватить север Норвегии, и торговля с Архангельском пойдет через наши воды. Во исполнение этой мысли его величество, ныне здравствующий король, объявил своим указом экспедицию в Архангельск. Корабли для экспедиции достраиваются. Архангельск будет уничтожен. Но это только начало, временная мера для прекращения связи москвитов с Европой. Москва – вот истинное решение вопроса. Надеюсь, вы согласны со мной?

– Нет! – сказал премьер-лейтенант.

Граф Пипер округлил светлые ястребиные глаза.

– Вы несогласны?

– Решительно несогласен.

– В чем же именно?

Премьер-лейтенант помолчал, собираясь с мыслями, потом заговорил ровным голосом, спокойно, неторопливо:

– Многие поражения армий происходили оттого, что противник был либо недостаточно изучен, либо, в угоду тому или иному лицу, стоящему во главе государства, представлен не в своем подлинном, настоящем виде. Изображать противника более слабым, чем он есть на самом деле, унижать его силы и возможности – по-моему, это есть преступление перед короной, за которое надобно колесовать...

Граф Пипер слегка шевельнул бровью: премьер-лейтенант начинал раздражать его.

– Колесовать! – спокойно повторил Дес-Фонтейнес. – Дипломаты и послы, быть может, и правильно поступают, изучая сферы, близкие ко двору и заполняя свои корреспонденции описаниями характеров и слабостей того или иного вельможи или даже монарха, но в этом ли одном дело?

Пипер слегка наклонил голову: это могло означать и то, что он согласен, и то, что он внимательно слушает.

– Проведя восемь лет в России и не будучи близким ко двору, – продолжал премьер-лейтенант, – я посвятил свой досуг другому: я изучал страну, характер населения, нравы...

– Нравы?

– Да, гере, нравы и характеры. Я изучал народ, который мы должны уничтожить, дабы проложить тот путь к Москве, о котором вы только что говорили. Ибо иного способа к завоеванию России у нас нет. Царь Петр, несомненно, явление более чем крупное, но дело не в нем или, вернее, не только в нем.

– Это интересно! – произнес граф Пипер. – Прошу вас, продолжайте...

– Восемь лет я прожил в России, восемь долгих лет. Дважды я был под Азовом, испытал вместе с русскими поражение под Нарвой и был свидетелем многих происшествий чрезвычайных, чтобы не говорить слишком высоким слогом. Вы изволили упомянуть о медали, граф. На ней изображен плачущий Петр и высечены слова: «Изошел вон, плакася горько». Так?

– Да! – усмехнулся, вспоминая медаль, Пипер. – Медаль выбита с остроумием. Шпага царя Петра брошена, шапка свалилась с головы...

– К сожалению, граф, шпага не брошена. Жалкое остроумие ремесленника, выбившего медаль, направлено не к насмешке над порочным, но к затемнению истины для удовольствия высоких и сильных особ. Придворные пииты, так же как и делатели подобных медалей, есть бич божий для государства, если они, желая себе милостей и прибытков, бесстыдно лгут и льстят сильным мира сего, искажая истину...

– Мы отвлеклись от предмета нашей беседы, – сказал Пипер.

– Шпага не брошена, граф! – произнес премьер-лейтенант значительно. – Рука московитов крепко сжимает ее эфес. И нужны все наши силы, весь шведский здравый смысл, весь гений нашего народа, крайнее напряжение всех наших возможностей, дабы противостоять стремлению России к морю. Россияне считают это стремление справедливым. Мы стоим стеною на берегах Балтики. Они эту стену взломают, и если мы не послушаемся голоса разума, Швеция, граф, перестанет быть великой державой.

Пипер иронически усмехнулся.

– Что же делать бедной Швеции?

Дес-Фонтейнес словно не заметил насмешки.

– Шпага брошена только на медали, – сказал он. – Русские не считают Нарву поражением окончательным...

– Участники битвы с русской стороны во главе с герцогом де Кроа, – холодно перебил Пипер, – рассказывали мне, что разгром был полный, что русские бежали панически, что...

Премьер-лейтенант усмехнулся.

– Раненому битва всегда представляется проигранной, – сказал он. – Как же видит ее изменник? Герцог де Кроа, приглашенный русскими служить под русским знаменем, – изменник, стоит ли слушать его? Еще до начала сражения иностранные офицеры объявили битву проигранной и только искали случая, дабы продать свои шпаги его величеству королю. Брошенные своими офицерами, преданные и проданные русские солдаты тем не менее сражались до последней капли крови, и я никогда не забуду тот день, когда они уходили по мосту через Нарву, под барабанный бой с развернутыми знаменами, под прикрытием Семеновского и Преображенского полков. Кто видел это поражение, тот не может не задуматься о будущем.

– Но все-таки – поражение?

Дес-Фонтейнес молча барабанил пальцами по столу. Граф Пипер говорил долго. Премьер-лейтенант иногда кивал головой – да, да, все это, разумеется, так. Но в глазах его застыло упрямое холодное выражение.

– Вы все-таки несогласны со мной? – неприязненно спросил Пипер.

– Все это так! – сказал Дес-Фонтейнес. – Им приходится туго, есть еще налоги: берут за уход в море и за возвращение с рыбой, берут за дубовый гроб, берут уздечные, за бороды, за топоры, за бани. Мужиков гонят на непосильные работы; сотни, тысячи людей умирают на постройках крепостей, на верфях, на прокладке дорог, на канатных, суконных, полотняных мануфактурах. Все это верно, только мне хотелось бы остановить ваше внимание на другом.

Мне невесело об этом говорить, но тем не менее я должен предупредить вас, что корабли в России строятся, и их уже много, что на заводах отливают пушки, ядра, куют сабли, якоря, штыки, что багинет, который нынче в России вводится в пехоте, есть оружие чрезвычайно удобное, ибо оно позволяет одновременно вести и огонь и штыковое сражение. Русские гренадеры справляются с метанием гранат, конные войска, снабженные ранее только пикой и саблей, вооружаются нынче короткой фузеей, пистолетами и палашами. Московиты посадили пушечных бомбардиров на коней, у них есть зажигательные и осветительные снаряды, есть многоствольные пушки, картечь, есть недурные свои же русские офицеры. Для чего же, граф, поминать нам лстивую медаль или распевать песню о поражении русских под Нарвой, сочиненную глупым поэтом, когда надобно готовиться к смертной битве с врагом, которого еще не имела Швеция...

– Вы хотели сказать... – произнес Пипер.

– Да, я хотел сказать, – подтвердил Дес-Фонтейнес, и граф услышал в его голосе с трудом сдерживаемое злое волнение, – хотел сказать то, о чем нынче никто в Швеции не говорит: война с Россией – безумие! Мы можем презирать эту страну, как презирали ее до сих пор, но во всех наших внешних проявлениях мы должны искать дружбы с нею, вести торговлю, показывать себя добрыми соседями. Русские – сильный народ, в этом вы можете убедиться, повидав того галерного каторжника, который нынче заключен в крепости Грипсхольм. Поговорите с ним. Он передавал какие-то шпионские письма из Стокгольма в Московию. Он знает, не может не знать человека, который пишет эти письма. Заключенного пытаются уже четвертый день и не могут добиться решительно ничего. Вот о каком противнике нам надо думать.

– Это все, что вы имели мне сказать? – спросил граф Пипер.

Премьер-лейтенант коротко вздохнул.

– Все, что я выслушал от вас, – сказал Пипер, – небезинтересно как выражение крайнего мнения человека, слишком долго находившегося в Московии, – граф сделал ударение на слове «слишком». – Однако Швеции суждено идти тем путем, который предначертан рукой провидения...

– На провидение мы привыкли ссылаться, когда нам более нечего ответить, граф. Но я предполагаю, что многое зависит от человеческой воли. Здравый шведский смысл должен подсказать решение: если нет возможности не воевать с Россией, тогда нужно действовать немедленно. Ни секунды промедления! Наши войска увязли в Польше, меж тем каждое мгновение дает московитам возможность к усилению своих армий. Поймите же меня: королевство лишится своего могущества, если будет относиться к Московии с тем ужасным легкомыслием, с каким выбита эта проклятая медаль...

– Пожалуй, мне достаточно вас слушать! – холодно произнес Пипер. – Наша беседа слишком затянулась, и я не жду от нее никакой пользы...

Дес-Фонтейнес опустил голову. Единственный трезвый и умный человек в государстве не пожелал понять ни слова из того, что он говорил, а он никогда еще не говорил так много, как нынче. Что ж, пусть поступают как хотят.

Граф Пипер поднялся. Он был значительно ниже премьер-лейтенанта и смотрел на него снизу вверх.

– В дальнейшем я не рекомендую вам делать свои выводы! – сказал он. – Делать выводы и принимать решения может только его величество. Запомните это правило. Иначе вы дорого заплатите.

Граф говорил сухо, глаза его смотрели неприязненно.

– Головою? – спросил Дес-Фонтейнес.

Пипер молча проводил премьер-лейтенанта до двери.

Позже, играя в шахматы с ярлом Юленшерной, граф Пипер сказал, словно невзначай:

– Маргрет следует отказать от дома этому агенту в Московии, несмотря на то, что они были друзьями детства.

Юленшерна ответил, не отрывая взгляда от шахматной доски:

– Это произойдет само собою, граф. Против премьер-лейтенанта начато следствие. Но мне бы не хотелось огорчать Маргрет и побуждать ее к дальнейшему заступничеству. Я приложу все силы к тому, чтобы она ничего не знала о судьбе Дес-Фонтейнеса. Если же обстоятельства сложатся для него слишком неблагоприятно, мы скажем Маргрет, что он еще раз отправлен в Московию, в Архангельск...

Граф Пипер снял с доски ладью, задержал ее на ладони.

– Вы думаете, что к этому агенту будут так уж строги?

– Более чем строги, граф! – ответил Юленшерна. – Королевский прокурор беспощаден к лицам, сомневающимся в мудрости его величества. И он, несомненно, прав. Любыми путями, но мы должны добиться полного единодушия в королевском совете.

– Да будет так! – произнес Пипер.

5. КАКАЯ ПЕСНЯ ТЕБЕ НЕ ПОНРАВИЛАСЬ?

Вдвоем они сидели у камина, разговаривали негромко, почти шепотом: сейчас в Швеции даже в своем доме говорили тихо, боялись стен. Маятник – смерть с косою – со стуком отбивал время. Отец премьер-лейтенанта цедил красное итальянское вино, говорил сиплым голосом старого кавалериста, разглядывая на свет хрустальный кубок.

– Нам всем непрестанно говорят, что Россия, Московия есть варварский стан, подобие монгольского кочевья, обширное поле, которое ждет своего землепашца. Многие из нас уже нынче награждены землями в Московии. Его величество в молчании готовит план удара в сердце России – в Москву. Предположено, что царь Петр, о котором вы рассказывали мне, будет выгнан со своего трона, что этот трон займет один из вассалов его королевского величества – либо шляхтич Собесский, либо еще кто-нибудь, из ливонцев или эстляндцев. Псков и Новгород отойдут к нам на вечные времена, Украина и Смоленщина будут пожалованы шляхтичу Лещинскому, который станет королем Польши. Вся остальная Русь должна быть разделена на маленькие удельные княжества, которые междоусобицами совершенно ослабят друг друга. Север, разумеется, после нынешней экспедиции уже отойдет к нам, и все будет покорно его величеству, все, что только существует под полярным небом. Вы знаете об этом?

Премьер-лейтенант молча усмехнулся.

– Его величество постоянно слышит о себе, что он викинг средних веков, пришедший со своим мечом, дабы возвеличить гиперборейцев навсегда. Его называют еще первым рыцарем истинной церкви, шведским Александром Македонским и другими лестными именами. Вы еще не успели узнать, мой сын, что в Стокгольме нынче все читают старика Улофа Рюдбека, который написал сочинение об Атлантике. Вы не просматривали это сочинение?

Дес-Фонтейнес покачал головой, сказал, наливая вино:

– Нет, не читал...

Полковник сипло захохотал, щипцами вытащил из камина уголь, раскурил трубку.

– Швеция называется в сем сочинении островами саг. По словам гере Рюдбека, будущее человечества начнется отсюда, от викингов Швеции. Многие считают это сочинение достойным внимания и толкуют о нем так же серьезно, как о лютеранской библии... Более того, нынче в королевстве шведском не только не обсуждаются действия короля, но его иначе не называют, нежели наш Сигурд, юный шведский Сигурд. Вот как! И провидение всегда сопутствует юному Сигурду, какую бы очевидную нелепость ни затеял этот жестокий неуч, который выдумал самого себя, начиная от своей длинной дурацкой шпаги, своих непомерно огромных шпор и кончая простой пищей, которую он ест непременно на людях, дабы все говорили о его спартанском образе жизни. Вы не знаете, мой сын, что происходит здесь, и вы неосторожны, вы крайне неосторожны. Вы уехали из одной Швеции и вернулись в другую...

Полковник кирасир был недурным рассказчиком, и постепенно Ларс Дес-Фонтейнес

представил себе властителя Швеции таким, каков он на самом деле, неприкрашенным, наделенным сухим и односторонним умом, деспотически властным, с бешеным самолюбием. Посмеиваясь, полковник описал сыну сцену коронования, когда Карл отказался принять корону из рук духовенства, заявив, что он не примет ее ни от кого, потому что она принадлежит ему по праву рождения. Стиснув зубы, он выхватил корону у капеллана и сам возложил ее на себя – криво, набок, а когда Пипер шепнул королю, что надо корону поправить, то король так чертыхнулся, что стало страшно. Верхом на коне, подкованном серебряными подковами, он поехал из Риттерсхольского собора, но жеребец поднялся на дыбы, и корона свалилась бы на мостовую, если бы не ловкость гофмаршала Стенбока. Ему удалось подхватить корону в воздухе.

– Дурное предзнаменование! – заметил премьер-лейтенант.

– Только на это мы и надеемся, – с усмешкой сказал полковник кирасир. – Но когда это случится? Он полон замыслов, этот коронованный сумасброд. Он, например, твердо решил создать союз всех протестантских государств во главе с собой. Впоследствии – крестовые походы, всюду внедрение протестантизма силою, и, может быть, он король всей Европы... И если вы можете себе это представить, мой сын, в довершение всех бед он еще пишет стихи. Придворные лизоблюды с умилением передают строчку: «О чем кручинитесь? Еще ведь живы бог и я!»...

Полковник захохотал. Ларс Дес-Фонтейнес даже не улыбнулся.

– Я и бог! – так кончают эти мальчишки, – произнес он угрюмо. – Бедная Швеция...

Уже светало, когда премьер-лейтенант привязал своего коня у невысокого домика, крытого шифером, на тихой улице Шепсбру. Разносчики угля, продавцы пива, молочницы б огромных чепцах верхом на осликах двигались к городским рынкам. Из порта несло запахом водорослей, смолою, там грохотали якорные цепи, подымались паруса.

Премьер-лейтенант постучал в ставню рукояткою хлыста. Ему открыла дверь дебелая, добрая сонная Христина.

– Фрау опять ждала вас весь вечер и всю ночь! – воскликнула она. – Вы разбиваете ее сердце, гере премьер-лейтенант!

Стуча ботфортами, придерживая шпагу, он вошел к Карин. Она не спала, неподвижно лежала в кровати, лицо ее было бледнее обычного, в глазах блестели слезы.

– Ты плачешь? – удивился Дес-Фонтейнес.

Он раскурил трубку, крикнул Христине, чтобы принесла поесть и выпить. Карин все плакала.

– Ну, довольно! – сказал Дес-Фонтейнес. – Я прихожу к тебе не для того, чтобы видеть, как ты плачешь. Может быть, у тебя опять долги? Ты скажи, и мы покончим с этим делом...

Улыбаясь, он стал развязывать кошелек, который был полон золотом Маргрет.

– Ты глупец! – сказала Карин злобно, на этот раз золото не подействовало на нее. – Ты думаешь, что мне нужны твои деньги...

– И деньги тоже! – усмехнулся премьер-лейтенант. – Деньги нужны всем. Нет такого человека, который бы ими пренебрегал. Даже королю нужны деньги...

– Ты так думаешь, потому что никого не любишь! – крикнула Карин. – Ты плохой человек, очень плохой человек! Я не видывала человека хуже тебя. Недаром моя Христина называет тебя волком. И правда, ты похож на волка.

Сильными челюстями Дес-Фонтейнес быстро жевал горячее, наперченное, жаренное на вертеле мясо.

– Вот как? – спросил он равнодушно. – На волка? Раньше ты мне этого не говорила, малютка! Ты называла меня – мой птенчик, да, да, я это хорошо помню. А что касается моей любви, то я ведь тебе и не говорил о ней, и нам было недурно, не правда ли? Мы просто резвились, веселились и не тратили попусту слов...

Она села в постели, ночной чепец съехал на сторону, волосы рассыпались по плечам. Чем-то она напоминала ему Маргрет – может быть, цветом волос и нежным румянцем?

– Ну хорошо же! – воскликнула Карин. – Я посмотрю, как ты будешь резвиться и

веселиться, когда узнаешь то, что знаю я...

Дес-Фонтейнес обернулся к ней, отстранил тарелку.

– Что ты там наделал, глупец, на перепутье трех дорог? Ты убил офицера? За что? Тебе не понравилась песня, да?

– Я ничего не понимаю...

– Не понимаешь? Скажи, какая песня тебе не понравилась?

Она опустила босые ноги с постели, подошла к нему, придерживая сорочку на груди, заговорила дрожащими губами:

– Вчера ко мне приходил священник от королевского капеллана Нордберга. Тело убитого найдено. Офицеры поклялись на библии, что тебе не понравилась песня, они только не помнят – какая была песня... Следствие ведет сам королевский капеллан, дела о поединках поручены ему. Теперь они хотят знать, какая была песня.

– Глупая песня о Нарвской битве! – сказал премьер-лейтенант. – Но, пожалуй, этого им не следует знать. Вздор! Если офицеры были так пьяны, что не помнят причины поединка, капеллану никогда не проведать, с чего началось дело...

И он засмеялся глухим смехом, точно залаял. Карин вздрогнула, закрыла глаза: Ларс Дес-Фонтейнес никогда не умел смеяться.

– Пустые страхи, девочка! – сказал он. – Но ты хорошо сделала, что предупредила меня. Теперь я знаю, чего им от меня нужно... Ложись и вытри глазки. Тебе вовсе не идет, когда ты плачешь. Ты должна быть всегда веселой.

Во сне он кричал: ему снился русский беглец, повешенный на мачте галеры. Длинные ряды виселиц окружали его...

6. КОРОЛЕВСКИЙ КАПЕЛЛАН

У двери кабинета королевского капеллана стояли два штык-юнкера в касках и легких панцырях, с руками, сложенными на рукоятках мечей. При виде старого полковника кирасир с сыном они сделали мечами на караул и вновь замерли словно изваяния – огромные и неподвижные.

Камер-лакей распахнул перед полковником и премьер-лейтенантом тяжелые двери.

Капеллан Нордберг – духовник короля и первый каролинец Швеции, как его называли при дворе, – неподвижно смотрел на вошедших. Длинный, с исступленно поблескивающими глазами, с резкими движениями, он более походил на безумного, нежели на первое духовное лицо в государстве. О нем говорили, что он подражает баснословному епископу Хэммингу Гату, тому самому, который при Сване Нильсене, командуя осадой Кальмарского замка, мечом добивал раненых датчан и бесстрашно сражался с самострелом в руках – не хуже любого ландскнехта. Так же, как Хэмминг Гат, капеллан Нордберг прибегал к духовному языку только тогда, когда именем «распятого за нас Христа» требовал поголовного уничтожения пленных, или начала новой войны, или очередной расправы с католиками, православными, мусульманами... О непомерной жестокости и кровожадности Нордберга ходили легенды даже при дворе Карла, где мягкосердечие никем не признавалось за добродетель.

– Вы из Московии? – спросил капеллан премьер-лейтенанта.

– Да, из Московии.

У капеллана дергался рот. Он прижал щеку ладонью – рот перестал дергаться. Глаза его смотрели пронизывающе.

– Что они говорят о поражении под Нарвой?

– Русские не слишком часто вспоминают поражение под Нарвой, – ответил Дес-Фонтейнес. – Они более склонны беседовать о своих победах под Азовом...

Капеллан улыбнулся.

– Вот отчего вам так не понравилась песня о Нарве...

Лицо премьер-лейтенанта медленно пожелтело. Полковник с тревогой смотрел то на

сына, то на капеллана.

– Вы убили достойнейшего офицера, – говорил капеллан, – и за что? За то, что он в песне выражал чувства, пламеневшие в его груди! Философ, проповедующий вредные короне идеи, трус, не решившийся даже достать необходимый короне чертеж Новодвинской крепости, презренный перевозчик москвитов убивает храброго офицера, воспользовавшись его неумением драться на шпагах...

Дес-Фонтейнес молчал, опустив голову, не слушая капеллана. Кто предал его?.. И вдруг кровь прилила к его лицу: Карин – вот кто! Проклятая тварь всегда считала себя доброй лютеранкой.

– Мартин Лютер учит нас тому, что человек есть не более, как вьючное животное, – говорил Нордберг. – Это вьючное животное может быть оседлано и богом и дьяволом. Вас оседлал дьявол. Молитесь! Что есть вы в промысле божьем? Нынче вас будет слушать его величество. Вы еще можете смягчить вашу участь, если произнесете речь, достойную того, кому она будет направлена... Идите!

И, повернувшись к старому полковнику, Нордберг добавил:

– Мне душевно жаль вас, гере Дес-Фонтейнес. Но что можно сделать? Молитесь!

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Мы все – шуты у времени и страха.

Байрон

1. КОРОЛЬ КАРЛ XII

Речь была продумана даже в мелочах, но теперь Ларс Дес-Фонтейнес решил говорить иначе. Были минуты, когда он смирился, теперь же, когда на карту было поставлено все его будущее, а может быть, и сама жизнь, премьер-лейтенант более не сомневался в том, как ему следует поступать. Не может быть, рассуждал он, чтобы в государственном совете королевства шведского не нашлось трезвых голов, не может быть, чтобы сам король шведов, вандалов и готов, юный Сигурд, северный Зигфрид, не внял голосу разума. Надобно держаться смело и независимо. Король Карл, что бы о нем ни говорили, храбр, он оценит смелость. И, быть может, выслушав своего премьер-лейтенанта, он разгонит льстецов, невежд и воинов, подобных герцогу де Кроа, и прикажет Ларсу Дес-Фонтейнес занять причитающееся его уму и проницательности место в королевстве...

Перед тем как ехать во дворец, они с отцом выпили по кружке голландского флина – грегетого пива с коньяком и кайенским перцем. Теперь оба успокоились и перестали страшиться будущего. Премьер-лейтенант говорил по дороге:

– Я много лет ежечасно рисковал жизнью, кто же усомнится в моей верности короне? Король не может не выслушать меня. У него, разумеется, пылкая голова, но она остынет от моей речи. Смелость в суждениях – вот тот козырь, с которого я пойду. Кто знает Московию лучше меня? Кто возразит мне? Кто приведет доказательства разумнее моих? Придворные лизоблюды и льстецы? Лесть развращает властителей мира к старости, в молодости душа нечувствительна к ней... Мою речь король не сможет не оценить, я произнесу ее достаточно убедительно, а когда мои мысли подтвердятся жизнью, дорога для меня будет открыта. Плох тот игрок, который никогда не рискует всем, что у него есть. Я привык рисковать...

Полковник кирасир искоса взглянул на сына.

– Вы еще молоды, Ларс, – сказал он. – В Швеции нынче никто ничем не рискует. Слишком страшен риск в нашем добром королевстве... Впрочем, может быть, вы и правы. При дворе возвышения и падения совершенно необъяснимы. Кто знает, что может понравиться взбалмошному мальчишке? Кто знает, что может привести его в ярость? Во всяком случае, я прошу вас об этом, будьте крайне осторожны, внимательно следите за

впечатлением, которое произведут ваши слова, и, в случае надобности, резко измените курс...

В ожидании начала заседания совета они прогуливались по дворцу, по залам и галереям, разговаривали негромко, улыбались, чтобы все видели – они ничем не огорчены, все хорошо в их жизни. За окнами дворца шумели старые деревья парка, еще голые, но с набухшими почками. Полковник, прихрамывая – ныли старые раны, – говорил, тихо посмеиваясь, точно рассказывал светскую забавную новость:

– Все в сборе, но короля еще нет. Король забавляется либо весенней охотой, либо упражняет свои силы в том, что рубит головы баранам и телятам. Совет покорнейше ждет. Главное занятие совета – ожидание. У нас принято думать, что король точен, – он внушил это понятие тем, что не терпит, когда опаздывает даже самый ничтожный чиновник...

Кивнув головой на мраморного Диониса, стоящего в галерее против окна, полковник все с тем же непринужденным выражением лица полусшепотом объяснил:

– Мы гордимся тем, что здесь все награбленное. Известно, что этого Диониса долго не могли отмыть, столь много было на нем крови. Когда генерал Кенигсмарк обрушился на ту часть Праги, что раскинута за рекой Млдавой, чехи с львиным мужеством стали защищать свой замок Градчин и эти скульптуры – гордость страны. Тела четырех героев были разорваны грабителями у этого вот Диониса. А для того чтобы вырвать у чехов серебряную готскую библию, надо было отрубить палашом руки библиотекарю. Вот лавры, которые не дают спать многим льстецам его величества...

Шурша сутаной, перебирая четки, наклонив голову, мимо них быстро прошел в зал совета капеллан Нордберг. Щека его дергалась, опущенные глаза мерцали. Драгуны распахнули перед капелланом двустворчатые двери, генералы поднялись ему навстречу.

– Старая лиса знает, что король близко! – сказал полковник.

Действительно, в это самое время сверху на башне протяжно запел горн: дворцовый дозорный увидел короля.

Драгуны у лестницы вскинули фанфары, протрубили коротко: «Король жалуется к нам!» Штык-юнкера подняли мечи для салюта королю. Кирасиры отвели короткие пики – на караул. Горн на башне запел опять. Флигель-адъютант, гремя шпорами, придерживая шпагу, побежал вниз – встречать. В большом зале рыцарей, в галерее, в приемной министры, генералы, адмиралы, офицеры, сановники перестали шептаться, повернулись к лестнице с почтительными лицами. Придворные дамы застыли в низком реверансе. Никто не улыбался, – Карл ненавидел веселье, думал, что смеются над ним.

Стало так тихо, что все услышали шум ветра, – на море начинался шторм.

Еще раз запели фанфары, и на пороге большого зала показался король.

За ним шествовал только один человек – Аксель Спарре, королевский прокурор, друг Нордберга и будущий губернатор Москвы, как о нем говорили приближенные ко двору люди.

Карл шел быстро, подергивая длинным мясистым носом и на что-то сердясь. Его мальчишеское, но уже одутловатое лицо, красные глаза, узкие губы – все выражало недовольство. Ногой в блестящем ботфорте он пнул попавшуюся на пути веселую собачонку, сердито покосился на генерала Лавенгаупта, выставил вперед худое плечо и, никому не ответив на поклоны, вошел в зал совета. Тяжелые двери закрылись. Драгуны застыли, сложив руки на рукоятках мечей.

– Ну? – шепотом спросил полковник сына. – Вам все еще кажется, что он способен выслушать правду и отдать ей должное?

Премьер-лейтенант пожал плечами.

– Он весь – ложь. Такой размер шпаги только у одного человека в мире. Шпоры такой величины только у нашего короля. А стремена? Вы не видели нашего владыку в седле...

Они вновь прошли по галерее, полковник, сдерживаясь, говорил:

– Начать царствовать в пятнадцать лет от роду – не так-то просто. Мальчишеский каприз становится законом, нежелание учиться – доблестью. Кроме лютеранской библии и

одного, только одного рыцарского романа, он ничего не читал и читать не будет. Все вокруг непрестанно нашептывают ему о том, как он велик и какие пигмеи все бывшие до него владыки мира. Быть может, он и не до конца доверяет льстецам, но все же почему не отправиться завоевывать Москву? Вот, кстати, его главные советники по делам России. Его величество вполне доверяет этим господам.

Дес-Фонтейнес поднял угрюмый взор.

Навстречу под предводительством несколько полинявшего, но все еще блистательного герцога де Кроа пестрой толпой шли генералы и офицеры-иностранцы, отдавшие под Нарвой свои шпаги королю Швеции. В перьях и епанчах, в шведских и шотландских мундирах, сияя шитьем, регалиями, придерживая руками палаши и сабли, под мелодический звон шпор, они весело и гордо шли по дворцовым паркетам и коврам в зал совета его величества короля Карла XII.

Замыкали шествие трое: полковник Бломмберг, Галларт и полковник Джеймс из города Архангельска, оставивший свою должность якобы для того, чтобы воевать под знаменами Петра, и сделавший свою карьеру в шведской армии тем, что в Нарвском сражении, во время знаменитой снежной пурги, он первым отыскал короля и ему, Карлу XII, опустившись на одно колено, эфесом вперед отдал свою шпагу, сказав при этом:

– Величайшему из полководцев от его верного раба!

Молча, тяжелым взглядом Ларс Дес-Фонтейнес проводил шествие, и сердце его на мгновение сжалось недобрым предчувствием.

– Быть может, нам следует уйти отсюда? – шепотом спросил полковник кирасир. – Уйти и исчезнуть? Мы наймемся на службу к какому-нибудь князьку или королю и будем служить ровно на столько талеров, сколько нам будут платить...

– Жалкое будущее! – не сразу ответил премьер-лейтенант. – Ужели для того я столько лет провел в Московии?

Полковник опустил голову.

– Премьер-лейтенант гере Дес-Фонтейнес! – громко произнес дежурный флигель-адъютант. – Войдите в зал!

Драгуны распахнули двери.

Карл сидел в центре зала совета за маленьким столиком, покрытым сукном. Слева и справа от него горели свечи в тяжелых серебряных шандалах. Его лицо выражало неудовольствие и скуку. Ему надоели болтуны. Сам он был молчалив не потому, что таким родился, а потому, что однажды решил быть молчаливым и с тех пор обходился всего несколькими словами, такими, как: «да» или «нет», «начинать» или «подождать», «наградить» или «повесить», «дайте поесть», «я не желаю!» Этих слов ему вполне хватало.

Заседания государственного совета раздражали короля. Неужели они в самом деле думают, что ему нужны их мнения? И как заставить их понять, что только те, которые молчат и выполняют его желания, нужны богу, королю и государству.

Подняв тяжелую голову, он посмотрел на рыжего адмирала Ватранга и, сделав внимательные глаза, кивнул, как бы соглашаясь с ерундой, которую нес старик. Ватранг, чувствуя себя польщенным, патетически простер руку к королю и воскликнул:

– И тогда милостью божьей добрые шведские кони ворвутся в российские степи и знамя короля будет водружено над Кремлем. Слава королю!

Карл широко зевнул в лицо обескураженному адмиралу. Пипер отвернулся, пряча улыбку. Король зевал долго, на глазах выступили слезы. Потом наклонился к своему камергеру графу Вреде и приказал:

– Принесите мне поесть, иначе я усну.

Это была очень длинная фраза для короля. Вреде, изогнувшись, исчез из зала заседаний. Теперь говорил генерал Лагеркрон – тучный старик с громоподобным басом. Изо рта его летела слюна, когда он произносил фразы о том, что Россия готова к поражению и что покончить с Августом польским – задача куда более почетная, чем воевать с москвитями, которые теперь не смогут сопротивляться. После Лагеркрона поднялся барон

Шлиппенбах. Разбросав ладонью пышные усы, кривясь от старой контузии, он в резких выражениях обругал и Штакельберга и Реншильда, говоривших до него, и сказал, что воевать с Россией должно немедленно, а что касается Августа, то с ним расправиться всегда хватит времени...

Король опять зевнул.

После барона томным голосом заговорил герцог де Кроа. В выпранных выражениях он бранил русских солдат, тонко глумился над их боевыми качествами. В зале посмеивались. Герцог слыл за человека остроумного.

– Однако после того, как вы, герцог, и другие генералы оставили русские войска, преображенцы и семеновцы дрались столь мужественно, что даже его величество король выразил им одобрение! – раздался спокойный и холодный голос из глубины зала.

Карл повернул длинную голову: на фоне серебристой портьеры стоял человек в мундире премьер-лейтенанта флота.

Герцог поднял лорнет, поискал взглядом дерзкого, сделал вид, что не нашел, и заговорил опять. Но уже больше никто не смеялся его остротам. По всей вероятности, это происходило потому, что король перестал его замечать.

После герцога один за другим говорили генералы, которые служили русским. По их мнению, даже затруднять короля столь мелкой темой не имело смысла. А полковник Джеймс, много лет прослуживший в Архангельске и даже знающий несколько русских поговорок, в заключение своей речи попросил один корпус шведов для нанесения решающего удара в сердце России, в Москву.

Это королю не понравилось: если так уж просто завоевать Москву, то почему он, Карл, дал москвитам передышку после Нарвы?

– Глуп! – сказал король графу Пиперу, но так громко, что услышали многие.

Граф наклонил голову в знак полнейшего согласия.

Король на виду у всех ел свой солдатский ужин: кнэкеброд – сухую мучную лепешку и гороховую кашу с пшеном. В стеклянном кувшине была подана вода – все видели, что король пьет воду. Он громко, по-солдатски чавкал и утирал рот платком из холста. «Никаких нежностей!» – любил говорить Карл XII.

– Кто стоит там, у портьеры? – спросил он, запив водою свой ужин. – Этот, который вспомнил Нарву?

– Премьер-лейтенант флота и наш бывший агент в Московии, – ответил Пипер без всякого выражения в голосе.

– Тот, который дрался на шпагах?

– Совершенно верно, ваше величество...

Карл любил удивлять своей памятью приближенных и любил, чтобы этому удивлялись громко.

– Поразительно! – произнес граф Пипер драматическим шепотом, наклонившись к соседу.

– Пусть говорит! – приказал Карл, кивнув в сторону портьеры.

Он подпер подбородок ладонями и уставился на офицера красными колючими глазами.

Премьер-лейтенант заговорил скупыми, точными фразами, и Карл вдруг почувствовал, что все в этом офицере неприятно и враждебно ему: неприятен жесткий голос, независимый и неподвижный взгляд сосредоточенных глаз, неприятны мысли, которые высказывал офицер. И, чтобы он это почувствовал, Карл брезгливо сморщил свое оплывшее лицо и с рассеянностью во взгляде отвернулся к Пиперу, умевшему мгновенно понимать короля.

– Он еще молод, чтобы поучать совет! – сказал граф Пипер.

– Просто – нагл! – ответил Карл так громко, что многие в совете услышали эти слова и стали передавать тем, кто сидел далеко от короля.

Но премьер-лейтенант не почувствовал ничего. Он продолжал называть типы пушек, которые отливались на русских заводах, рассказывал о кораблях, которые вышли в Азовское море и отрезали турок от их крепостей, коротко сообщил о Новодвинской цитадели как о

препятствии на пути к городу Архангельскому...

– Где же чертеж крепости? – спросил со своего места ярл Юленшерна. – Почему мы не имеем чертежа?

И король повторил:

– Где чертеж?

Ларс Дес-Фонтейнес втянул голову в широкие плечи. Он понял: его решили затравить во что бы то ни стало. И он стал огрызаться как волк, над которым уже занесены копы охотников. Чертеж? Московиты стали куда осторожнее с иноземцами, чем в прежние времена...

– Но царь Петр покровительствует иноземцам! – сказал Аксель Спарре. – Почему вы не могли использовать это покровительство на благо короне?

– Царь Петр теперь осторожнее с иноземцами, нежели в дни своей юности, – ответил премьер-лейтенант. – Иноземцы, надо им отдать справедливость, сделали все, что в их силах, для того чтобы потерять покровительство русского царя. Нарва была для московитов хорошим уроком, и присутствующий здесь герцог де Кроа – прекрасным учителем. «Все они изменники», – так думает любой солдат в России об иноземцах, и тут ничем нельзя помочь. Более того, русские теперь имеют своих агентов в Стокгольме: каждый шаг готовящейся экспедиции в Архангельск им хорошо известен. И мы тут, к сожалению, совершенно беспомощны. Мы никого не можем поймать с поличным...

Карл повернулся к Акселю Спарре:

– Агенты московитов в Стокгольме?

Королевский прокурор ответил шепотом:

– Расследование ведется, ваше величество...

– Агенты московитов делают здесь все, что хотят! – продолжал Ларс Дес-Фонтейнес. – Их много, и они неуловимы. Даже королевский прокурор гере Аксель Спарре не изловил ни одного крупного резидента...

– Об этом не говорят вслух! – воскликнул Спарре.

– Именно потому, что никто не пойман и не будет пойман, – сказал премьер-лейтенант. – Мы любим хвастаться, но терпеть не можем искать причины своих поражений...

Смутный гул пронесся по залу совета. Аксель Спарре наклонился к графу Пиперу и прошептал:

– Вам не кажется, граф, что с этим молодчиком пора кончать? Еще немного – и его величество заинтересуется им...

Граф Пипер спросил громко:

– Нам неясна ваша мысль, гере премьер-лейтенант. Вы боитесь войны с московитами и ради этого страха изображаете русских великанами, а шведов пигмеями? Это так?

– Он куплен московитами! – крикнул Аксель Спарре. – Мы слушаем в совете не голос шведского офицера, но голос русского золота...

– Я ничего не боюсь! – спокойным голосом ответил Ларс Дес-Фонтейнес. – Я не подкуплен, нет! Мудрость его величества короля шведов есть порука тому, что война с московитами в конце концов принесет победу шведскому оружию. Я прошу только помнить, что Московия не такая жалкая страна, какой ее здесь представляют герцог де Кроа, полковник Джеймс и королевский прокурор Спарре. Жестокие испытания – вот что ждет королевство. К этому должны быть готовы все...

Его более не слушали. В зале стоял шум. Он был конченным человеком и понимал это. Тупое равнодушие овладело им. Он слишком устал за эти дни... Пожалуй, отец, был прав: конечно, следовало убежать, скрыться, исчезнуть. Но сейчас все было поздно...

После премьер-лейтенанта говорил генерал-квартирмейстер Гилленкрок. Король слушал его рассеянно и кивнул головой только один раз, когда Гилленкрок назвал речь премьер-лейтенанта болтовней человека с нечистой совестью. Старый барон Шлиппенбах усмехнулся. Жирный Лавенгаупт говорил последним. «Поменьше трусов в нашем войске!» –

сказал он, садясь.

К королю в наступившем молчании наклонились капеллан Нордберг и Аксель Спарре. Он выслушал их внимательно, качнул длинной головою и поднялся.

– Наше решение, – сказал он своим высоким каркающим голосом, – наше решение будет принято в соответствии с мнениями, которые излагал совет. Война с москвитями неизбежна. И мы надеемся, господа, что бог благословит наше святое дело.

– Мед годс хелл! – ответил совет. – Во имя божье!

Королевские драбанты распахнули створки дверей. Кирасиры, гренадеры и штык-юнкера взяли на караул. Протяжно запели фанфары. Тяжелыми шагами Карл спустился по лестнице и при свете смоляных факелов, чадающих на ветру, сел на своего горячего каракового жеребца.

Еще не стих стук подков королевской кавалькады, когда у решетки дворцового парка пять драбантов службы Аксея Спарре остановили полковника и его сына. Премьер-лейтенант спешил. Капитан драбантов потребовал у него шпагу. Ларс Дес-Фонтейнес медлил. Кони били копытами вокруг него, капитан взвел курок пистолета.

– Возьмите! – сказал Дес-Фонтейнес.

Покидавшие дворец генералы и министры видели, как конные драбанты повели Ларса Дес-Фонтейнеса в канцелярию Аксея Спарре.

Премьер-лейтенант шел медленно, руки его были скованы, голова низко опущена. Арест на глазах совета был хорошим уроком для всех беспокойных людей в королевстве шведском. Членам совета было также полезно видеть старого полковника кирасир словно застывшим возле окованной железом двери канцелярии королевского прокурора.

2. ЕГО БУДУТ СУДИТЬ НЕ СЛИШКОМ СТРОГО!

Ярл Юленшерна читал карту при свете свечей в своем кабинете и маленькими глотками прихлебывал сахарную воду, когда услышал шаги Маргрет. Он был без парика, лысый, в теплом меховом камзоле, в турецких сафьяновых туфлях с загнутыми носами. Маргрет шла быстро, почти бежала; он понял это потому, как она задыхнулась, опускаясь в кресло у камина.

– Добрый вечер! – сказала она, переведя дыхание.

– Добрый вечер, Маргрет! – ответил он, сворачивая карту. Искоса, быстрым взглядом он отметил бледность ее лица, усталую позу и понял: она все знает. Ну что же, пусть знает. Теперь они квиты. Он отомщен, его честь восстановлена. Разумеется, ему следовало заколоть премьер-лейтенанта на поединке, но судьба решила иначе. По воле провидения королевский прокурор Аксель Спарре покончит с этим делом раз навсегда...

– Я слушаю вас, Маргрет! – сказал он, садясь в кресло против нее.

Она молча смотрела на него. «Плешивый дьявол» – звали его матросы. Про него рассказывали, что он еще в молодости продал душу черту. Этот человек не знал милосердия никогда. Ни милосердия, ни жалости, ни сострадания.

– Я слушаю вас, Маргрет! – повторил он.

– Какой холодный и сырой вечер, – произнесла она, ежась. – Очень холодно, не правда ли?

– Я не нахожу этого...

– Конечно, вы не находите... Вы моряк... вы привыкли к сырости и холоду. Вся ваша жизнь прошла в море...

И она покашляла.

– Не простужены ли вы?

– Быть может, немного...

Хрустнув пальцами, она сказала с принужденной улыбкой:

– Вы огорчили свою жену, Эрик. Ларс Дес-Фонтейнес все-таки арестован?

Юленшерна смотрел на Маргрет неподвижными глазами:

– Разве?

Он видел, как задрожал ее подбородок, но она нашла в себе силы сдержаться.

– Представьте, Маргрет, я ничего об этом не знаю.

– Убийство во время поединка! – воскликнула она. – Какой вздор! Неужели нельзя заступиться за человека, который так полезен короне?

Ярл молчал.

– Чем это все ему грозит? – осторожно спросила Маргрет.

– Не слишком многим.

– Чем же?

Юленшерна сказал, что, весьма вероятно, офицера будут судить, но вряд ли слишком строго. Его ушлют в Польшу агентом, или в Московию, если это будет возможно, или в Данию.

– Мне жалко его, – слегка зевнув, сказала Маргрет. – И жалко его старого отца. Стариков всегда жалко.

– Его отец моложе меня на три года! – ответил ярл Юленшерна. – Вам следовало бы забыть эту тему...

– Мне жалко и вас, – передернув плечами, усмехнулась Маргрет, – особенно когда вы без парика. Парик все-таки украшает вас...

Юленшерна молчал.

– А когда-то вы мне подолгу рассказывали о вашем прошлом... О разных морях и жарких странах, о туземцах и о кровавых сражениях. Теперь вы всегда заняты, и мы живем так скучно. Дни похожи один на другой...

Он слушал настороженно: Маргрет хитра, сейчас она чего-нибудь потребует.

– Я просто зачахну от тоски. Обещайте, если пойдете в море, взять меня с собой?

– Я военный моряк, – сказал Юленшерна. – Мне подчинены военные корабли. А на военном корабле женщине не место.

– Мне не место?

– Маргрет, ни одна женщина...

– Жене адмирала и дочери государственного секретаря можно плыть и на военном корабле! – ответила Маргрет. – А если вы меня не пожелаете взять с собою, то я попрошу отца, и он вам просто-напросто прикажет. Понимаете? Я имею право на кое-какие капризы, вы это отлично понимаете...

И, резко поднявшись, она ушла из его кабинета к себе.

3. КАЗНЬ

Королевский прокурор Аксель Спарре вместе с тюремным капелланом посетил Дес-Фонтейнеса в его заточении в замке Грипсхольм на следующую ночь. Два тюремщика сопровождали капеллана и прокурора. Пламя факелов отражалось в гладких мокрых стенах каменного подземелья, было слышно, как неподалеку поют псалмы закованные католики, как визжит старуха, приговоренная к казни за колдовство.

– Ваше имя? – спросил Аксель Спарре.

Дес-Фонтейнес угрюмо назвал себя. Аксель Спарре прочитал донос, написанный капитаном галеры и комитом Сигге. Премьер-лейтенант сидел опустив голову. Капеллан прочитал свидетельство офицеров, присутствовавших при поединке. Ларс Дес-Фонтейнес молчал.

– Когда, где и сколько вы получили от московитов за то, чтобы превозносить их добродетели? – спросил Аксель Спарре.

Премьер-лейтенант не ответил.

– Чистосердечным раскаянием вы еще можете смягчить свою участь! – сказал Аксель Спарре. – Советую вам подумать.

– Но как мне раскаяться? – спросил, помедлив, Ларс Дес-Фонтейнес. – Научите!

Капеллан и Аксель Спарре в два голоса принялись ему советовать. Ларс Дес-Фонтейнес плохо соображал, но слушал внимательно. Он не слишком верил доброжелательности королевского прокурора: после всего происшедшего в зале совета тот не мог желать его спасения. Нет, он напишет королю по-своему, не имеет никакого смысла так глупо умирать...

И весь следующий день, словно в лихорадке, он писал униженное прошение его величеству королю. А рядом все визжала и визжала старуха, которую должны были казнить за колдовство. Было слышно, как она богохульствует и призывает бога, как она бьется в двери и рыдает. Поздним вечером ее проволокли по коридору на плац – казнить. И в замке Грипсхольм сделалось так тихо, как, наверное, бывает в могиле. Впрочем, подземелье и было могилой. Отсюда не выходили почти никогда...

На другую ночь премьер-лейтенанту был прочитан приговор. Дес-Фонтейнес выслушал его молча, с напряженным спокойствием. Но лицо его почернело и дрогнуло, когда он узнал, что приговорен к смертной казни трижды: за убийство в поединке, за бесчестье особы короля и за восхваление врага.

– А мое прошение? – спросил он тихо.

– Ответа еще нет! – ответил помощник королевского прокурора.

После исповеди и причастия, под медленный бой часов на ратуше, приговоренных вывели на плац. Крупными хлопьями падал мокрый снег. Двести королевских драбантов стояли правильным четырехугольником вокруг низкого эшафота, на котором палач в красном колпаке точил брусом свой двенадцатифунтовый топор. Трещали и чадили смоляные факелы.

Первым на эшафот, тяжело ставя опухшие, кровоточащие ноги, поднялся тот самый человек, которого премьер-лейтенант приказал на галере пытать водою, когда возвращался в Стокгольм, – Дес-Фонтейнес узнал его сразу. Щербатый, казалось, с любопытством оглядел высокие стены замка, ряды драбантов, капеллана, помощника королевского прокурора... Он о чем-то сосредоточенно думал и, может быть, даже хотел произнести какие-то слова, но не успел. Ударили барабаны, палач бросил его на плаху, подручные палача растянули его руки цепями, тюремный капеллан начал читать отходную, и вместе со словом «аминь» двенадцатифунтовый топор, со свистом разрубив воздух, отсек напрочь голову Щербатого.

Барабаны смолкли.

Ларс Дес-Фонтейнес поднялся на эшафот.

Помощники палача натянули цепями его руки, палач ударил его в спину и повалил на плаху. Он потерял сознание, а когда очнулся, то услышал слова помилования, которые мерным голосом читал помощник королевского прокурора:

– «...после чего, лишив офицерского звания, дворянства, имущества, имени и фамилии, сослать на вечные времена загребным каторжанином в галерный флот его величества короля, дабы примерным поведением, постом и молитвами, а также постоянным трудом, тот, который именовался Ларсом Дес-Фонтейнес, мог искупить свои грехи перед богом и преступления перед королем...»

Помощники палача дернули цепи. Ларс Дес-Фонтейнес встал на ноги. Барабаны ударили в третий раз. Начался обряд гражданской казни.

Жизнь он сохранил.

Но какой она будет, эта жизнь?

4. ПУСТЬ УНИЧТОЖАТ ГОРОД!

Король уезжал в Польшу, и потому последние дела доделывались наспех. У охотничьего замка Кунгсер, где под предлогом устройства весеннего карнавала Карл уже несколько дней готовился к тайному отъезду, ржали верховые лошади; свитские генералы, одетые по-походному – в кольчугах под плащами, – дремали под турьими, лосевыми и медвежьими чучелами в галерее замка; солдаты конного батальона гвардии драбантов, назначенные сопровождать его величество, построившись, клевали носами. Дремали на

ветру рейтары лейб-регимента, лейб-драгуны, трубачи, гобоисты, литаврщики, барабанщики...

В маленьком кабинете горели свечи.

Карл, в серо-зеленом походном кафтане, заложив руки за спину, нетерпеливо слушал графа Пипера, Нордберга, Акселя Спарре и генерала Штерна.

– Уничтожить Архангельск можно также через посредство посылки нескольких тысяч войск с берегов Ладожского озера, – говорил граф Пипер. – Они отправятся из Кексгольма через Ладогу и Свирь к северному берегу Онежского озера, где проходит стародавний путь по рекам и через волоки в Белое море...

– Путь слишком длинен, – отрывисто сказал Карл. – Московиты сомнут наших солдат... Помаргивая, он смотрел на карту, которую держал генерал Штерн.

– Еще что?

– Можно также послать несколько отрядов шведских храбрецов к северным рубежам, дабы оттянуть силы русских от Архангельска, – предложил Штерн. – Вот сюда – на Олонец-Кондуши...

Генерал показал ногтем – как пойдет отряд.

– В первую очередь – экспедиция, – произнес Карл. – Пять кораблей мало. Семь.

Граф Пипер поклонился.

– Командовать ярлу Юленшерне!

Пипер поклонился еще раз. Штерн стал сворачивать карту в трубку. Аксель Спарре вздохнул.

– Еще что? – спросил Карл. – Вы все крайне медлительны...

Капеллан Нордберг шагнул вперед к Карлу. Палаш висел у него на левом бедре, справа в сумке были уложены пистолеты. Когда он пошевелинулся, стало заметно, что под сутаной у него надета кольчуга.

– Что вам угодно? – спросил Карл своего духовника.

– Пусть уничтожат город, – быстро заговорил Нордберг, – пусть покончат с кораблестроением, затеянным московитами. Сжечь верфи, сжечь все корабельные запасы, повесить на видном месте корабельных мастеров – русских, датских, голландских, чтобы смертно боялись строить корабли, навсегда запомнили...

– Город сжечь тоже! – сказал Карл.

И отвернулся, насвистывая.

– Не щадить никого! – прижимая ладонью щеку, говорил Нордберг. – Не правда ли, ваше величество? Уничтожить все в городе. Всех и все. Пусть трое суток матросы и отряды абордажных команд грабят город. И взять контрибуцию. Ваше величество, не правда ли, следует взять контрибуцию?

Карл старательно высвистывал мелодию приступа: «Живее коли, руби и бей во славу богию». Мотив не давался ему.

– Солдат в экспедицию брать поменьше! – сказал Нордберг. – Наемники лучше справятся с этим делом. Наемники жаднее. Кто будет ими командовать?

– Предположительно полковник Джеймс, – ответил граф Пипер. – Он долго был в Архангельске и отлично знает город. Он, между прочим, считает, что нужно сжечь Холмогоры тоже. И еще одну верфь – Вавчугу.

– Да, да, – перестав свистеть, подтвердил Карл. – Вавчугу, Казань, Сибирь...

У графа Пипера приподнялись брови, капеллан Нордберг мягко напомнил:

– Казань и Сибирь пока еще далеко, ваше величество. Мы сожжем их несколько позже, когда, расправившись с Августом, пойдем на Москву.

Карл кивнул. Ему принесли перловую похлебку – подкрепиться на дорогу.

– Драбантов кормят? – спросил король.

– Да, ваше величество.

– Чем?

– Они получили похлебку из этого же котла.

Король ел стоя. Аксель Спарре быстро докладывал о секретных агентах.

– Что эти русские в Стокгольме? Изловлены? – чавкая, спросил Карл.

– Русский! – поправил Спарре. – Он казнен...

Граф Пипер держал тарелку на серебряном подносе, король отщипывал кнэкеброд, не читая, подписывал бумаги, – какой агент куда назначен.

– Барон Лофтус – в Архангельск, – подсказал Спарре. – Он изучал медицину и с успехом займет место лекаря у воеводы Прозоровского. В прошении, повергнутом к стопам вашего величества, наш бывший агент в Московии, рисуя картины жизни московитов, пишет, что князь Прозоровский не отличается ни храбростью, ни умом. Воевода на Двине – противник реформ молодого царя Петра и может быть нам полезен, так как чрезвычайно напуган нарвским поражением...

Карл подписал, насвистывая.

– И не щадить никого там, в Московии! – сказал он строгим голосом. – Даже дитя в колыбели должно быть уничтожено, ибо из него может вырасти противник нашей короны. Экспедицию надлежит отправить без промедления...

Король был на редкость разговорчив нынче. По всей вероятности он сам это почувствовал, потому что внезапно насупился и замолчал. Более он не сказал ни единого слова.

Генерал Штерн, встав на колени, поправил королю его огромные шпоры. Граф Пипер подал зеленый плащ, Аксель Спарре – шляпу. Нордберг пригладил Карлу косичку парика, уложенную в кожаный мешочек – по-походному.

На башне охотничьего замка запел горн, снизу ему ответили фанфары. На поляне, под лапчатыми елями, замерли артиллеристы с горящими пальниками в руках, готовясь к прощальному салюту в честь отбывающего короля. Второй Цезарь, викинг среди викингов, юный северный Сигурд, Зигфрид – отбывал вглубь Европы, в Польшу, в Саксонию, туда, где его ждала слава величайшего из полководцев мира. Отощавшие, промотавшиеся гвардейцы короля, зевая, звеня стремянами, шпагами и пиками, садились на рослых коней. Им уже грезилась жирные немецкие колбасы, скворчащие на сковородках, доброе пьяное пиво Баварии, харчевни, где победители не платят, веселые, ласковые, розовотелые польки...

На деревянных, пахнущих смолою ступенях замка капеллан Нордберг благословил коленапреклоненного короля, генералов Гилленкрока и Реншильда, свиту, воинство. Минутой позже Карл уже сидел в седле, суровый, молчаливый – воплощение рыцаря. На невысокой деревянной башне замка ударил выстрел из мушкета, одновременно загрохотали орудия под соснами. Королевский штандарт поднялся над полком гвардии. Барабанщики драбантов подняли и опустили палочки. Двадцать четыре барабана били «поход, господь осеняет нас благостью». Король Швеции покинул страну.

5. ПОСЛЕДНЯЯ НЕУДАЧА

Капитаны галер сидели в креслах. Возле каждого капитана стоял его комит – в парадном желтом кафтане с серебряным свистком на груди. Профосы с кнутами в руках сучали на шаг от комитов.

Капитаны пили бренди и закусывали жареным хлебом.

Мимо капитанов длинной чередой шли каторжане – будущие гребцы на галерах. Барабан бил медленно – каторжане едва волочили свои цепи.

Комиты опытным взглядом отбирали гребцов, которые еще могли работать. Когда такой каторжанин переступал жирную черту на каменном полу перед капитанами, профос, по знаку комита, дотрагивался до каторжанина кнутом. Каторжанин останавливался. Барабан замолкал. Профос и комит осматривали человека, как лошадь на ярмарке: есть ли зубы, целы ли ноги и руки, не сломаны ли под пыткой ребра. Если каторжанин годился, лекарь галерного экипажа при помощи кузнеца клеймил его раскаленными железными литерами. Затем каторжан, отобранных на одну галеру, сковывали цепью – по двенадцать человек.

Профос на память читал им «правила жизни и смерти».

Правила были простые: за проступки наказывались или «ударами кнута, вплоть до последнего дыхания», или «смертью, посредством повешения на удобной для сего рее».

Каторжане слушали молча, лица их ничего не выражали, кроме усталости. Капитаны лениво судачили и скучали. Только у комитов были озабоченные глаза: за ход галеры отвечали они. А что можно сделать, когда каторжан мало и все они истощены пытками и тюрьмами, а те, кто чуть поздоровее, делают все, чтобы убежать, галер же в королевском флоте много и гребцов всегда не хватает...

Бывшего премьер-лейтенанта капитан галеры Мунк Альстрем узнал сразу, так же как узнал его и комит Сигге. Кнут со свистом врезался в обнаженную широкую спину каторжанина. Ларс Дес-Фонтейнес остановился. Барабан замолк.

– Это тебе не нравилась моя галера? – с улыбкой спросил Альстрем. – Это ты ругал меня за то, что слишком много каторжан у меня убежало?

Комит Сигге и профос велели Дес-Фонтейнесу показать зубы, согнули руки в локтях, попробовали крепость мышц. Альстрем все еще улыбался, предчувствуя сладость мести. Подручный кузнец качнул мех, раскалил железные литеры клейма так, что они стали белыми. После клеймения лекарь присыпал ожог мелким серым порошком...

К вечеру тот, кто раньше назывался Ларсом Дес-Фонтейнесом, а теперь, как все галерные каторжане, имел кличку – Скиллинг, избитый кнутом по лицу, лежал на банке, прикованный к деревянному брусу. Над портом кричали чайки. Галера медленно покачивалась и тихо поскрипывала.

– Э, парень! – окликнул его кто-то по-русски, негромко. – Капитан на борту?

– На борту! – по-русски же, чувствуя охотничьим чутьем добычу, ответил Скиллинг. – А тебе для какой надобности капитан?

Незнакомец прыгнул с причала, потом спустился вниз – к Скиллингу. Видимо, он был здесь своим человеком, его не задержали часовые. Одет он был в кожаный короткий кафтан и в пестрый камзол, какие косят зажиточные ремесленники. На боку у него висела большая сумка, из которой торчали горлышки бутылок рома и водки.

– Здорово тебя разукрасили! – сказал незнакомец, вглядываясь в опухшее лицо Скиллинга.

Он достал из-за пазухи свернутый в трубочку листок пергамента и протянул его Скиллингу. Тот взял. Незнакомец шепнул:

– Щербатого казнили. Скажи кому надо.

Скиллинг засунул пергамент, свернутый трубочкой, за рубашку. Сердце его билось часто. Вот она, судьба. Сейчас он спасется. Сейчас кончатся все его мытарства. Стокгольмские шпионы в его руках. Он – каторжанин, конченный человек, не имеющий имени, раскроет то, что не удалось самому Акселю Спарре.

Незнакомец смотрел на него пристально. Скиллинг постарался ответить ему простодушным взглядом.

– Да я не обознался ли? – спросил настороженно незнакомец. – Семен, что ли?

Скиллинг кивнул.

– А ну, дай-ка назад цидульку! – приглушенным голосом потребовал незнакомец.

Скиллинг вжался в борт галеры. Теперь он старался молчать, чтобы не выдать свое иностранное произношение.

– Дай! – приказал незнакомец, и глаза его угрожающе блеснули.

У Скиллинга не было оружия, и он был прикован. Он оскалил зубы, приготовился кричать. Тогда вдруг незнакомец со страшной силой ударил его в подбородок и выхватил записку. Скиллинг потерял сознание, а когда оно вернулось к нему, он услышал, как незнакомец рассказывает комиту на чистом шведском языке:

– Этот пес хотел вытащить у меня нож. Я с ним беседовал как человек, а он кинулся на горло – душить...

Скиллинг закричал, что это не так, но комит замахнулся плеткой и стал стегать его по

бритой голове, по лицу, по щекам. С этого мгновения он стал отверженным среди гребцов шиурмы. Еще дважды он пытался заговорить с подкомитами, но в ответ получал удары кнутом...

В море вышли под вечер.

Над сизыми водами Балтики плыли холодные багряные облака. Свистел морской ветер. Со скрежетом двигались весла в огромных уключинах. Ровно, настойчиво, гулко бил барабан, ухали литавры. На корме, под трельяжем, за которым развевался флаг, сидели в покойных креслах капитан Альстрем и барон Лофтус – лекарь и разведчик, которого нужно было срочно доставить в Улеаборг, чтобы оттуда с документами датчанина он мог проникнуть в Архангельск. Попивая зеленый бенедиктинский ликер, барон Лофтус гнусаво говорил:

– Еще немного, совсем немного, и я буду иметь честь и счастье вручить шаутбенахту ярлу Эрику Юленшерне ключи от города Архангельска, который есть северные ворота Московии. Его величество примет Архангельск или то, что от него останется, под свою державную руку. Россиянам путь к морю будет закрыт навеки...

– Нет деятельности более опасной, нежели ваша! – сказал капитан Альстрем. – Мужество льва и мудрость змеи должны сочетаться в человеке, который посвятил себя делу служения короне вдали от Швеции...

– Да, это так, – охотно согласился Лофтус. – Точность и добротность сведений, исходящих от тайных агентов, иногда значат больше, чем победа в сражении. Конечно, то, что делает агент, представляет собою некоторую опасность для его жизни, но что она в сравнении с величием короны?

– Слава королю! – произнес капитан.

– Да продлит господь его дни! – набожно заключил Лофтус.

Словно замороженные торжественными мыслями, оба замолчали. Галера шла невдалеке от плоского берега. Огромный шведский флаг – золотой крест на синем поле – вился за ее кормою.

6. ВЫ КОМАНДУЕТЕ ЭСКАДРОЙ!

– Ну? – спросил Юленшерна.

Граф Пипер задумался над шахматной доской. Шаутбенахт ждал с нетерпением. Наконец Пипер пошел конем и отхлебнул бургундского.

– Король повелел готовить эскадру! – сказал Пипер.

– В Архангельск?

– Да, но пока об этом никто не должен знать.

– Разумеется! – сказал Юленшерна. – Я думаю, что и фрау Маргрет об этом не следует знать...

Пипер усмехнулся:

– Ну, она-то знает. Она всегда все знает.

– Если она узнает, то захочет идти с эскадрой, – сказал Юленшерна. – Она давно готовится к дальнему плаванию. И надеется на вашу помощь в том случае, если я не пожелаю взять ее с собою...

Граф пожал плечами:

– Вы командуете эскадрой, гере Юленшерна.

– Но вы первое лицо в королевстве, и я обязан повиноваться вам.

Пипер засмеялся ласково.

– Мы родственники, гере Юленшерна, не надо забывать, – вы муж моей дочери... И если рассудить здраво, то почему бы нам и не побаловать ее? Не так уж ей весело живется, не правда ли?

– У нее достаточно развлечений! – хмуро сказал Юленшерна.

Граф Пипер сделал еще один ход. Юленшерна смотрел на доску рассеянно. Он думал:

«Да, Маргрет, конечно, захочет отправиться в Архангельск. Что ж, пусть отправляется. Она предполагает увидеть там премьер-лейтенанта. Ее постигнет жестокое разочарование...»

– Чему вы смеетесь, гере Юленшерна? – спросил Пипер.

– Разве я смеюсь? – изумился Юленшерна.

Весь этот вечер он был в хорошем настроении.

– Фрау Маргрет очень добра! – сказал он Пиперу в присутствии жены. – Чрезвычайно добра. Она исхудала за те дни, пока велось следствие по делу ее друга детства премьер-лейтенанта Дес-Фонтейнеса. Она принимает очень близко к сердцу неудачи своих друзей детства. Я душевно рад, что гере Дес-Фонтейнес сейчас отправился в Архангельск, где попрежнему будет служить короне...

Провожая графа Пипера, ярл Юленшерна сказал ему негромко:

– Я надеюсь, граф, мы не огорчим вашу дочь правдой о судьбе несчастного премьер-лейтенанта...

– Но она может узнать сама...

– Тогда мы скажем ей, что слух этот пушен в Швеции нарочно, для того, чтобы московиты слышали о бесславном конце их злейшего врага и опытного резидента...

Граф Пипер дотронулся до локтя Юленшерны и, посмеиваясь, произнес:

– А вы ревнивы, гере шаутбенахт! Весьма ревнивы!

7. СКИЛЛИНГ УМЕР

В гавани Улеаборг во время ужина, состоящего из трех унций сухарей и пресной воды, на галере капитана Альстрем вспыхнул пожар. Запылали канаты в заднем трюме. Чтобы успешнее бороться с огнем, Сигге приказал расковать половину загрехных. В морозящем дожде и тумане несколько каторжан сразу же спрыгнули в воду с левой куршей. Второй подкомит ударил одного беглеца багром, на подкомита накинута и мгновенно убили. Капитан Альстрем приказал поднять на мачте сигнал «на галере бунт». Но за туманом и дождем сигнала этого с берега не увидели. Раскованные каторжане заняли всю носовую часть галеры и надвигались на корму, где с пистолетами и мушкетами отбивались вольные матросы, Альстрем с Сигге, первым подкомитом и бароном Лофтусом...

Через несколько минут после начала бунта комит Сигге спрыгнул в воду и поплыл к носу. Там он взобрался наверх по якорному канату и повернул пушку на бунтовщиков, штурмующих корму. Неверными руками, прячась за бухты каната, он, забив заряд картечи и тщательно прицелившись, поднес пальник к затравке. Картечь свалила с ног более половины раскованной шиурмы. Те, кто мог двигаться, прыгали с бортов в воду. Второй выстрел покончил с мятежниками. Вольные матросы добивали раненых баграми и абордажными крюками. Барон Лофтус, закусив губу, стрелял из пистолета в тех, кто готовился спрыгнуть с борта. Над галерой в пелене тумана тревожно кричали чайки.

Пламя удалось загасить без особого труда.

– Безумцы! – вытирая платком руки, сказал барон Лофтус, когда все кончилось. – На что они надеялись?

Капитан Альстрем продул губами ствол пистолета, ответил коротко:

– Они надеялись на побег, что им и удалось в небольшой мере. Кое-кто ушел!

И крикнул мокрому до нитки комиту Сигге:

– Живых зачинщиков – в передний трюм до Стокгольма. Там с них сдерут кожу. Мертвых – в воду.

На заре матросы из ведер скатывали окровавленную палубу. Высадив Лофтуса в Улеаборге и приняв на борт груз пиленого леса, галера возвращалась в Швецию. Опять бил барабан, ухали литавры. Скрип весел доносился в трюм, где во тьме и духоте задыхались каторжане, скованные по шеем, по ногам и по рукам.

Так как зачинщики скрылись в лесах Улеаборга, то Сигге заковал первых попавшихся. В числе закованных был и Скиллинг. В полубреду он просил пить по-шведски, его не

понимали, тогда он попросил по-русски:

– Воды! Пить!

– По-нашему знает! – отозвался один из темноты. – Слышь, Лексей, по-нашему просит воды.

– Наделал было делов в Стокгольме, – проворчал другой.

– Грамота тарабарская, – зашептал первый, – я видел. Не разобрали бы шведы. Который не знает – ни в жизнь не поймет.

– А разве ж ты письменный? – спросил второй.

– Дьячок малым делом учил...

Во тьме Скиллинг опять попросил:

– Воды!

– Поднеси ему, – сказал голос из тьмы. – Человек все же, не собака.

– Собака-то лучше. Собака того не сделает, чего он хотел сделать... Всех бы нас перевешали.

И все-таки тот, что не хотел давать воды, – дал. Разбитой рукой он зачерпнул корец и подал напиться, но Скиллинг вдруг оскалился, ударил по глиняной кружке, вылил воду. Во тьме злобно светились его глаза.

– Ополоумел? – спокойно спросил русский. – Чего бесишься?

Скиллинг не ответил, дышал прерывисто, со свистом. Вскоре он опять потерял сознание. Страшные проклятия всему сущему в мире срывались с его запекшихся, кровоточащих губ. Потом он начал читать стихи. Железные строфы «Хроники Эриков» звучали в трюме не скорбью, а неистовой злобой: >>> Заломленные руки и громкий плач – >>> Вот твой удел, жена шведа...

К утру он умер. Его тело расковали, багром вытащили из трюма, привязали к ногам камень и выбросили за борт. Холодные воды Ботнического залива навечно сомкнулись над ним.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Оружие суть самые главнейшие члены и способы солдатские, через которые неприятель имеет убежден быть.

Петр Первый

1. В МОСКВЕ

– Она? – воскликнул Егорша.

– Она, Егор, Москва! – ответил Сильвестр Петрович.

Город открылся путникам сразу – свежий, словно вымытый обильным и быстрым вечерним дождем, первым в эту весну. Небо мгновенно очистилось, под теплыми лучами солнца заблестали шатровые и луковичные крыши, маковки церквей, вспыхнули цветасто расписанные башенки с позолоченными и посеребренными львами, единорогами и орлами вместо флюгеров; в прозрачном воздухе весело зеленела листва огромных, на десятины раскинувшихся боярских садов, а в тишине подмосковной роши явственно послышался далекий, разноголосый, звучный перебор московских колоколов...

– Вишь ты! – даже с растерянностью молвил Егор.

– То-то, брат, вишь! – радуясь Егоршину восхищению, тихо ответил Иевлев. – Вон какво раскинулась...

Они вылезли из дорожного возка и постояли рядом, молча вглядываясь в зубчатые стены Кремля, в стройные высокие его башни, в Китай-город, обнесенный кирпичным валом, в бегущие по городу, такие тоненькие издали Язу, Неглинку, Пресню, Чичеру, Золотой Рожок, вслушиваясь в колокольный благовест, все более явственный в предвечерней

тишине...

– Ну? Нагляделся?

– Ее враз и не оглядишь, – молвил Егорша. – Небось, объехать тоже время надобно...

– И немалое надобно, да поспеешь, управишься. Вишь, все ты жаловался, Егор, что Европу-де со стольниками изездил, а Москвы не видал. Теперь дожил – на нее смотришь. Поклонись ей, да и поедем, не рано...

Егорша земно поклонился, опять сел в возок рядом с Сильвестром Петровичем. Утомленные длинным путем кони шли медленно, тряскую тележку вскидывало на ухабах, Сильвестр Петрович не торопясь рассказывал Егорше дальше – о Золотой орде, как злые набеги ее постепенно все жестче и кровавее разбивались о Москву, собирательницу великой Русской земли; рассказывал, как хитрые татарские ханы стравливали друг с другом русских князей и тем самым доставали себе прибитки: свары, споры и междоусобицы княжеские были на руку татарам.

Жадно слушал Егорша и про Ивана Калиту, и про Мамаево нашествие, и про сечь на Непрядве, и про то, как сложились наконец русские силы, дабы дать отпор страшному врагу, который столь долго, жестоко и глумливо истязал народ русский.

– Вот она какова, Москва! – говорил Сильвестр Петрович, пристально всматриваясь в окраины города, где – насколько видно было глазу – шли работы, похожие на те, что делались в Архангельске для спасения от шведского нашествия: копали рвы, ставили ловушки, вкапывали сосновые корявые надолбы.

У рогатки суровый поручик с нахмуренными бровями спросил подорожную, прочитал, велел пропустить путников.

Рогатку открыли.

Сильвестр Петрович отметил про себя, что и въезд с Ярославской дороги укреплен, выстроены здесь из крупных бревен боевые башни, где умелые солдаты могут успешно сдерживать натиск вражеской рати. В старопрежние времена над родником стояла ветхая часовенка. Теперь тут выведен земляной, хоть и невысокий, но крепкий и хитрый вал, за которым до времени могли бы с удобством укрыться воинские люди...

– И здесь, Сильвестр Петрович, вроде бы шведу готовят встречу! – с тревогой сказал Егорша.

– Добро! – со спокойным удовлетворением в голосе ответил Иевлев. – Кто, брат, знает? Может, Карла шведский на Москву порешит ударить! Ан Москва-то и в готовности. Вот ноне мы с тобою к Москве спехом едем за помощью, чтобы было чем обороняться от шведа. Немало мы получили от Москвы, я чаю – получим еще. Всея Руси Москва мать, владычица и заступница. Скажет слово свое – получим мы еще из Тулы мушкетов добрых, пушек новых, ядер. Другое слово скажет – пойдут нам полки в помощь. Еще скажет – пришлют нам мастеров славных, умельцев, художества знающих, как стены крепостные выводить, дабы ядра неприятельские их не рушили, а увязали в них. Много чего может дать Москва-матушка сыну своему городу Архангельскому...

Егорша засмеялся, сказал радостно:

– Словно бы сказку вы сказываете, Сильвестр Петрович...

Иевлев, улыбнувшись, покачал головой:

– Быль я сказываю, Егор, а не сказку. Далее слушай. Может и так случиться, что не даст Москва-матушка сыну своему Архангельску чего тот просит. Много у нее сыновей и дочерей. Может, другому сыну ее али дочери ныне не менее, а более забота нужна. Может, Новгороду, может, и Пскову куда печальнее, нежели нашему Архангельску. Ей виднее! И скажет она Архангельску: тяжело тебе, трудно тебе, да братцу твоему Пскову еще потруднее, а братцу Новгороду до того многотрудно, что куда хуже, нежели вам обоим. Да и мне не сладко. Потерпи...

Егорша сидел бок о бок с Сильвестром Петровичем. Как и во все дни длинного пути, с лица юноши не сходила счастливая улыбка, он то поглядывал на капитан-командора, то на шагающих по улицам солдат в зеленых кафтанах, то на белую зубчатую кремлевскую стену,

у которой работали сотни каменщиков, укрепляли ее, меняли обветшалый кирпич, возводили перед ней боевые широкие земляные валы...

– Ишь, крепость какова! – воскликнул Егорша. – Не чета нашей Новодвинской...

– Всей Руси здесь крепость! – ответил задумчиво Сильвестр Петрович.

Когда свернули к Замоскворечью, Егорша ахнул, впился глазами в две огромные пушки, обращенные на плавучий мост. Сильвестр Петрович объяснил:

– Для чего, думаешь, такие? Для того, что с сей стороны нападали на матушку Москву злодеи наши – татары, в память о воровстве, учиненном над столицей, и в бережение будущего стоят пушки те здесь...

Не кончил говорить, спохватился:

– Едем и едем! Дядюшку-то миновали! Ямщик, поворачивай!

И замолчал, задумавшись: другой стала Москва за время, проведенное им в Архангельске, совсем другой. Многому, видать, научила Нарва! Куда больше воинских людей на улицах, да все нового строю, шагают ладно, смотрят орлами. Народ по улицам и переулкам куда суровее, меньше раскидано товаров по рынкам, не так залиvisto и узывно, как в прежние времена, кричат менялы и банщики, цирюльники и костоправы. Домов новых в Москве нынче не строят, не велено, а подвод с камнем и кирпичом, с железом и бревнами куда больше, чем бывало: укрепляется Москва-матушка для всякого бережения от вора шведа...

Навстречу, грохоча коваными колесами, медленно двигался огромный обоз. На дубовых подводах, стянутых железными скобами, позеленевшие от времени, тяжелые, лежали церковные колокола. Их везли на Пушечный двор – лить пушки из колокольной меди. За подводами, визжа, плюясь, выкрикивая проклятия, звеня веригами, скакал юродивый, грозился иссохшим кулачком. Усталые солдаты, сопровождавшие обоз, не глядели на юродивого: сколь таких было на пути, которым ехали подводы...

Сильвестр Петрович проводил взором все телеги, спросил у последнего возницы:

– Много ли пудов?

– Тысяч двадцать верных! – ответил возница. – Да не мы одни. Со всей Руси нынче везут...

– Все нарвская беда! – сказал Иевлев Егорше. – Сколь много там потеряли... – И крикнул ямщику:

– Влево бери, вон забор покосившийся, к воротам!

За забором, в сумерках, виднелся дядюшкин старый дом в два жилья, с башенкой... Заскрипели кривые ворота, на крыльцо рундуком бойко выскочил некто в венгерском кургузом кафтанчике, схожий и несхожий с дядюшкой Полуектовым, крикнул дребезжащим голосом:

– Неужто Сильвеструшка?

И весело застучал костылем, сбегая по ступенькам навстречу.

2. НОВОСТЕЙ ПОЛОН КОРОБ

– Что глядишь-то? – улыбался дядюшка. – Псовиден? Пришлось и мне обрить браду, нынче утешаюсь – козел бородою длинен, а умом короток. Да иди уж, иди в дом. С тобою кто? Дружок? Веди и дружка, обедать будем, а я едва с делами управился, переодеться не успел...

Ничего не изменилось за прошедшее время в дядюшкиных покоях. Все так же повсюду лежали рукописные листы, так же чинно на полках стояли книги, так же пахло полыньей, мятой, чебрецом – травами, которыми лечился Родион Кириллович. Неугасимая лампада теплилась перед образом Спасителя, в сумерках дядюшкин старенький слуга Пафнутыч, шаркая негнушимися ногами, накрывал стол, ставил блюда с кушаньями, сулеи с винами, квас.

– Здорово, Пафнутыч! – громко, приветливо сказал Иевлев.

– Здорово, Сильвестр Петрович, здорово, голубь! – отозвался слуга.
– Свечи-то зажги! – велел дядюшка.
– Чай не больно темно-то! – ворчливо отозвался Пафнутьич. – Попадете ложкой в рот, и так свечей жжем не по достатку...

Дядюшка сел в свое кресло у открытого окошка, с удовольствием вдыхая вечернюю свежесть, запах лип, насаженных во дворе, стал спрашивать, как Маша, как девочки, каково им там живется в дальнем граде Архангельске. Сильвестр Петрович отвечал с подробностями, дядюшка кивал головою нетерпеливо, было видно, что сам хочет рассказать московские новости. И вдруг перебил Иевлева:

– А меня, Сильвестр, вновь к службе позвали. Ей-ей! И от кого, не поверишь, племянничек? От самого позвали. Пришел к нему наверх, принял ласково, чин чином. Пожурил, что-де рано на печь, что-де надобен я, что дела для меня – непочатый край. Еще бородой попенял, принуждать не стал, а знак бородовой мне принесли. Ну, обрился. Босое рыло-то, а?

Сильвестр Петрович утешил: лик как лик, дядюшка дядюшкой и остался, борода была нивесть уж какой красоты, жалеть не о чем. Старик в ответ покачал головою, повздыхал:

– Все ж не привыкнуть никак. Словно нагишом по улице водят...

Пафнутьич в сумерках сказал с сердцем:

– А меня пусть хушь вешают, хушь колесуют! Не отдам браду!

Дядюшка усмехнулся, стал рассказывать дальше, как Петр Алексеевич попенял его и платьем – не пора ли, дескать, по европейскому подобию одеваться, в кафтан польский али венгерский, зачем-де пыхтеть да потом обливаться в одежде до пят. Родион Кириллович ответил государю так, что тот и удивился и обрадовался.

– Славянину, государь, свойственна одежда короткая, легкая, боевая, – сказал тогда Родион Кириллович, – а однорядки да кафтаны турецкие, да терлики пришли к нам не с радости, а с горя, – то одежда рабья, холопья, так татары своих полоняников одевали, чтобы быстро бегать не могли. То – истинно!

Государь ответил, что и незачем парчу, да шелка, да бархаты переводить на длиннополые неудобные одежды. Сам он был в коротком кафтане серо-мышинного тона, шея повязана платком, чулки толстой шерсти, красные, башмаки с ремнями и пряжками.

– Весел был? – спросил Сильвестр Петрович.

– Весел, да веселье сердитое! – сказал Родион Кириллович. – Усы теперь кверху подкручивает, смотрит с насмешкой, смеется часто, да с того смеху не обрадуешься. Ха-ха, и замолчит – смотрит, словно сверлами сверлит. Да и то, Сильвестр, трудно ему приходится, ох, трудно. Я-то знаю, я-то вижу...

Сели за стол, Пафнутьич подал свечи, дядюшка налил доброго фряжского вина, принесенного ради дорогого гостя. Вино совсем его оживило, он нынче словно бы помолодел, говорил быстро, весело, ни на что не жаловался, даже похвастался, что чувствует себя куда здоровее, нежели в прошлые годы.

– Ей-ей, Сильвестр! Я как ушел на покой со службы за многими своими скорбями и болезнями, сразу словно бы пень трухлявый рассыпался. А нынче сам видишь – живу. И хожу легче и вижу как бы яснее. И не устаю, как прежде, когда не делал ничего, а дело у меня не из легких...

И стал рассказывать, что поручено ему ведать печатанием книг в Печатном дворе, здесь, на Москве, а также бывать в Амстердаме, где купец Тиссинг отлил по цареву приказанию славянский шрифт и где украинец Илья Федорович Копиевский, человек ученый, пишет и печатает книги для России...

– Копиевского я в Амстердаме видал и с ним беседовал! – сказал Иевлев. – Он премного полезного нам сделал, когда мы за морем пребывали. Умен и не своекорыстен, как иные, мужи тамошние. Да еще и земляк. Что за книги там печатать будете, дядюшка?

Родион Кириллович поднялся, положил еще пахнувшие типографской краской томики на стол. Это были «Руководение в арифметику», «Поверстание кругов небесных», «Введение

в историю от создания мира»...

Егорша протянул руку, открыл «круги небесные», развернул карту звездного неба.

– Что, мореход и офицер флота корабельного? – спросил Сильвестр Петрович. – Добрая книга? Сгодится, я чай?

Дядюшка налил еще вина, стал рассказывать новости про навигацкую школу, которой сверху велено быть в Сухаревой башне над Сретенскими воротами. Здесь будущим морякам можно горизонт видеть, делать обсервацию и начертания. Школа нынче уже существует, для нее прибыли нанятые за морем преподаватели и наставники – профессор шотландского эбердинского университета Генрих Фарварсон и два его товарища Гвын и Грыз. В школе будут изучать арифметику, геометрию, тригонометрию плоскую и сферическую, навигацию и морскую астрономию...

Егорша с книжкой в руке замер, слушал, вперив горячий взор в дядюшку Родиона Кирилловича.

– Кого ж туда берут? – спросил он вдруг.

Дядюшка сказал, что детей дворянских, дьячковых, посадских, дворовых, солдатских, умеющих грамоте не только читать, но и писать. Егорша дернул Иевлева за рукав кафтана, тот ответил:

– Успеешь, Егорша. Сам ведаешь, дружок, как нынче каждый человек надобен в Архангельске. Куда ж я тебя отпущу? Минует время, и поедешь...

Родион Кириллович, попивая вино, рассказывал. Есть, мол, в школе Леонтий Магницкий, он знает не менее, а более трех аглицких немцев, и когда они в обиде опиваются вином, учит навигаторов один только Магницкий, и так учит, что все довольны. В той навигацкой школе дядюшке частенько доводится бывать, и он туда доставляет учебники. Все бы давно и куда лучше обладилось, да трудные нынче времена, быть большой баталии.

– Чугуна поболее надо! – сказал Иевлев. – Меди, пушек, ядер.

– Я давеча в Преображенском повстречался с Виниусом, – сказал дядюшка, – говорит, будто Акинфий Демидов с Урала пятьдесят тысяч пудов чугуна в болванках везет. Сорок уже доставил. Толстосумы, купцы испугались после Нарвы, меж собою толкуют, что со шведом нам воевать нельзя, надобно, дескать, мириться, плачут, кубышки в верные места запрятали – никому не отыскать, волею ни гроша ломаного не дадут...

– Дадут! – спокойно сказал Иевлев.

– Ой ли?

– Вытрясем! А попозже и сами одумаются – им выгода, прибыль. Торговать, я чай, будем поболее, чем в нынешние времена. Монастырскую-то казну, дядюшка, не слышно, не начали брать? Там золота куда много, у воронья у черного...

Родион Кириллович замахал руками:

– Троицкий монастырь едва потрясли, так беды не обобрались: взяли-то всего тысячу золотых, а шуму! Не тот еще час, не время, Гришка Талицкий на торгу нивесть чего с крыши кричал, а таких Талицких на Руси не один и не два. Воронье, истинно воронье поганое. Туго с деньгами, туго, Сильвеструшка. Есть, правда, слух...

Он посмотрел на задремавшего Егоршу, заговорил шепотом:

– Да не слух – правда! Сам-то, государь-то наш... В палате Приказа тайных дел Алексей Михайловича, покойного государя, казну отыскал: льва золотого венецианского, павлина литого золота – византийского, кубки с камнями, ефимков четыре дюжины мешков – богатство!

Старик засмеялся тихонько, хитро сморщился всем своим маленьким, сухим, бритым лицом.

– Думали бояре – припрятут от него до времени, да не таков он, Петр Алексеич, не таков на свет уродился. Все отыскал, все сам посчитал, перстом вот эдак – один, два, три – и опись велел при себе писать, золото да серебро безменом сам вешал. Ай, молодец, вот уж хвалю молодца за ухватку...

И, перестав смеяться, стал рассказывать иное:

– Давеча прискакал с Воронежа дружок твой добрый, воевода бывший архангельский да холмогорский, нынче корабельщик на Дону Апраксин Федор Матвеевич. Все нынче скачут очертя голову, пыль по торным тропам нашим да по дорогам так и стоит столбом, все гей да гей, ямщики словно очумели, гоньба да свист по всей Руси крещеной, шагом никто не едет, все спехом...

Сильвестр Петрович улыбнулся: верно, всюду все спехом, в старину так не езживали, даже на его памяти езда была иная – без торопливости, прилично ездили бояре, а нынче сам царь в одноколке скачет и в два пальца свистит, коней пугает...

– Так вот говорю, – продолжал дядюшка, – прискакал Федор Матвеевич, навестил меня, порассказал кое-что: царь будто, Петр Алексеевич наш, послал польскому Августу войска в помощь против Карлы шведского – пехоты двадцать тысяч человек. Князь Репнин над ними голова, войско доброе, ружья имеет маатрихские и люттихские. Денег послано Августу тож немало. И павлин золотой, и лев венецианский, на ефимки перелитые, туда поехали. Иноземцы будто на наше войско не надивятся...

Как в давние годы, когда Сильвестр Петрович был еще юношей, дядюшка проводил его спать наверх, сел на широкую скамью, покрытую цветочным полавочником, стал рассказывать про новые налоги, которые еще не введены, но со дня на день будут объявлены: налог на дубовые гроба, на седла, на топоры, на бани. Сильвестр Петрович приподнялся на локте, спросил едва ли не со страхом:

– Да где же народишку денег набраться? И так чем жив – не знаю: корье с мякиной жует, дети мрут, мужики в голодной коросте...

Родион Кириллович спросил в ответ:

– А как станешь делать? Откуда брать? Пушки нужны, порох, сукно – полки одеть, сапоги – солдат обуть, крупа, мука, солонина – сию армию накормить. Гранаты, ядра, мушкеты, фузеи, штыки – оно нынче дорого, в сапожках ходит, каждый заводчик своего прибытку ждет, – как лучше быть? А того нельзя не видеть, сколь много славного, умного, доброго деется ныне: Петр Алексеевич пехоту на возки посадил, чтобы к бою в свежести подъезжала, не усталая от перехода, так ныне и именуется – «ездящая пехота». Конное войско ранее саблей да пикой билось, ныне получила конница русскую короткую фузею, палаш и пистолет. Пушки ранее кто какие хотел, так и отливал, оттого в бою беда: пушка такая, а ядро иное. Ныне льем пушки единые, всего три рода: пушка, мортира да гаубица. В старопрежние времена, да что в старопрежние, еще при Нарве, ты сам мне об этом и сказывал, при Нарве, голубчик мой, народ жаловался, что артиллерия опаздывала. Ныне тому не быть: бомбардиры посажены на коней, пушки от конницы отставать не станут. То все без денег не сделаешь, где ж их взять?

Сильвестр Петрович молчал. Сердце толчками билось в груди, лицо горело, – было и сладко и страшно слушать дядюшку: что, ежели не выдержать Русской земле безмерного сего напряжения всех сил? Что, ежели поднимутся один за другим – посадки, села, деревеньки, что, ежели народ пойдет на обидчиков с вилами, с топорами, с дрекольем? Есть же мера страданию. Налог на гроба! Где оно видано? И вспомнился вдруг мужичок, что тогда, в зимний день, по дороге в Холмогоры, в глухом бору бросился на вооруженных путников. Вспомнились изглоданные цынгою лица работных людей, трудников на обеих верфях – в Соломбале и на Вавчуге, вспомнились покойный кормщик Рябов, Семисадов, мастер Кочнев, подумалось о воре Швибере, воеводе Прозоровском...

– О чем ты, Сильвестр? – спросил дядюшка.

Сильвестр Петрович помедлил, потом сказал:

– Тяжко, дядюшка.

Дядюшка ответил сурово, словно осуждая слова племянника:

– Хилкову Андрею Яковлевичу куда тяжелее, однако не плачется. В злой неволе, под строгою стражею, немощный телом, светел духом Андрюшенька мой. Схваченный злодеем Карлой шведским, в остроге пишет горемычный «Ядро истории российской» и ни о чем в тайных письмах не просит, как только лишь, чтобы послали ему списки с летописей, дабы

мог он не только по памяти свое дело делать. Так-то, племянничек! Ну, спи, пора! Утро вечера мудренее, завтра дела много...

Сильвестр Петрович задул витую тонкую свечку, закрыл глаза: несмотря на усталость, как всегда в последнее время – сон не брал. Ясные, словно поутру, шли мысли – стал считать пушки, пороховой припас, фузеи, ядра – все, что надобно будет завтра просить у Петра Алексеевича.

3. ЗА КОФЕЕМ

Утром, со светом, за Сильвестром Петровичем приехал посланный от Меншикова – пить кофий в его новом доме на Поганных Прудах. Там-де дожидается старая кумпания, добрые друзья – Федор Матвеевич Апраксин да посол в Дании Измайлов, что на короткое время прибыл из города Копенгагена. Все трое еще почивают, но с вечера Александр Данилыч настроено наказал – привезти к утреннему кофею господина Иевлева Сильвестра Петровича живым или мертвым...

Иевлев поехал, отпустив Егоршу гулять по Москве до вечернего звона.

Посланный – молоденький капрал с тонкими усиками над пунцовым ртом, в форменной шляпе-треуголке с галунами, в башмаках с пряжками, в пестреньком кафтанчике – ловко правил одноколкою, болтал дорогою, что нет более Поганных Прудов, Александр Данилович велел их вычистить, гнилье выбросили, вода в прудах нынче такая славная, что хоть пей, хоть купайся, и названы теперь пруды – Чистыми.

– Сколько ж обошлась очистка? – спросил Сильвестр Петрович.

– А совсем недорого, почитай что и даром. Нагнали мужиков из деревеньки Мытищи, за прошлое лето и сделали все как надо. Теперь от прудов прохладною веет, истинный парадиз, очень приятно на их берегах препровождать досуги...

На меншиковский новый дом Иевлев только ахнул да головою покачал: не дом – дворец! Сколь денег сюда ушло, сколь бревен самонаилучших, железа, скоб, золота на позолоту! Экие ворота с коваными птицами, зверями, гадами ползучими... Ну, Александр Данилович, ну, плут, хитрец!

Слуга в алонжевом парике, в кафтане серогорячего цвета с искрою, низко поклонился Сильвестру Петровичу, провел его на малую крышу дворца – в потешный сад. Было слышно, как другой слуга распоряжался:

– Савоська, жми цитрона гостю для лимонаду. стакан протри, на серебряну тарелку ставь! Солому, чтобы сосать! Трубку разожги с табаком!

Савоська огрызнулся:

– Чай две руки, не разорваться...

Подали лимонад по новой моде, к нему соломинку, трубку с табаком. Сильвестр Петрович, усмехаясь, разглядывал диковины Меншикова дворца: самоиграющую на ветерке висячую лютню, которая издавала порою нежное мяуканье, деревья-карлики, посаженные в кадки, вьющийся на серебряных шестах виноград, душистый горошек, кусты смородины необыкновенной величины, алеющие цветы заморского шиповника...

– Не говорит? – спросил где-то за кустами голос Савоськи.

– Молчит, пес! – отозвался другой голос.

– Ты с него покрывашку сыми! – велел Савоська. – Сымешь, он и заговорит.

– Ему спать охота...

– А ты его раздразни! – посоветовал Савоська. – Ты с его засмейся, – он страсть смеху не переносит...

Внизу в утренней дымке серебрились Чистые Пруды, здесь, в потешном саду, в листве перекликались в своих золоченых клетках ученые перепела, немецкие канарейки, курские соловьи.

Сильвестр Петрович отведал лимонаду, покурил трубку.

– Ярится? – спросил Савоська.

В ответ мерзкий нечеловеческий голос прохрипел:

– Дур-р-рак!

Сильвестр Петрович оглянулся, никого не увидел.

– Дур-рак! – опять крикнул тот же мерзкий голосишко.

– Ишь, заговорил! – удовлетворенно сказал Савоська.

Иевлев отвел руками ветвь диковинного дерева, увидел спрятанного попугая, усмехнулся: небось, еще с вечера готовился Александр Данилович удивить гостя.

Над головою Иевлева, на башне, заиграла музыка, забили малые литавры, загудели словно бы рога, – то приготовились к бою Меншиковы часы, купленные им в Лондоне.

Сильвестр Петрович прикинул сердито, сколь золота переведено на сии игрушки, сколь пушек можно бы отлить на сии деньги. Но едва увидел умное, веселое, лукавое лицо Меншикова – все забыл и обнялся с ним крепко, помня только то доброе, чем славен был Александр Данилыч: и отчаянную храбрость его в Нарвском, уже проигранном сражении, и как при самомалейшей нужде отдавал все свое золото на государственные дела, и как безбоязненно вступался за старых друзей-потешных перед Петром Алексеевичем...

– Ну! – говорил Меншиков, крепко стискивая железными руками Сильвестра Петровича. – Ишь ты, поди ж ты! Приехал и глаз не кажет! Загордел? Да погоди, погоди! Ты что же, с клюшкой, что ли? Ноженьки не ходят? Погоди, дай взгляну! Нет, брат, так оно не гоже. Федор, дружок, ступай сюда живее! Измайлов, полно храпеть! Сильвестр тут...

Апраксин вышел в потешный садик уже прибранным, в парике, в коротком легком удобном кафтане. Протянул по новой манере руку, но не удержался, обнял, поцеловал. Толстенский, коротенький Измайлов выскочил из-за кустов смородины в исподнем, еще сонный, потребовал вина, дабы выпить за свидание старых друзей.

В столовом покое стояли иноземные кресла, обтянутые золоченой кожей, за каждым креслом дежурили с застывшими лицами слуги в ливреях с костяными пуговицами. Александра Даниловича, едва он сел в кресло, спешно позвали в покой, именуемый «кабинет»: приехал давно ожидаемый прибыльщик по государеву делу. Выходя, Меншиков сказал:

– Спокоя нет ни на единый час, веришь ли, Сильвестр? И кабы без нужды звали. Все – дело, и все неотложное, а коли не управишься – с пришествием времени сам себе не простишь...

Вернулся вскорости довольный:

– Хитры мужички, ей-ей. Такого удумают – диву даешься. Вы угощайтесь, гости дорогие, меня не ждите, там народу собралось – тьма тьмущая. Флот строим, деньги надобны, школу навигацкую открыли – еще деньги давай, шведа бить собрались – опять давай золотишка! Вот тут и вертись!

Выпил залпом чашку кофею, пожевал ветчины, утер руки об камзол и опять отправился в кабинет – вершить дела. Измайлов, провожая его взглядом, с тонкой своей усмешкой заметил:

– И ходит иначе наш Александр Данилович. Истинно – министр. Откуда что взялось...

Апраксин, тоже улыбаясь, ответил:

– Умен, ох, умен. И ум острый, и глаз зоркий, нет, эдакого на кривой не объедешь. Давеча было – иноземец один, инженер, печаловался: говорят, дескать, про Меншикова, что не знатного роду, а землю под человеком на три аршина в глубину видит...

Обернувшись к Иевлеву, спросил:

– Про Курбатова-то слышал?

И покачал головой:

– Большого ума мужчина! Большого! А кто угадал? Все он, все Александр Данилович. В Ямском приказе письмо подняли – подкинута было с надписью: «Поднести великому государю, не распечатав». Ну, поднесли, да за недосугом государевым прочитал Меншиков. Прочитал, за голову взялся; ах, мол, с нечаянной радостью тебя, Петр Алексеевич. Господин бомбардир письмо выхватил, а там про орленую бумагу, что ее-де надобно продавать: для

челобитных, для крепостей, для всякого купеческого и иного обихода со сделки – бумага с гербом от копеечки до десяти рублей. Крепостной человек Петра Петровича Шереметева – Курбатов придумал сей презент казне, а Меншиков сразу разгадал, сколь полезен такой человек. Нынче Курбатов у него правая рука.

Сильвестр Петрович всматривался в лица друзей. Постарели, особенно Федор Матвеевич, по годам не стар – сорок лет, а выглядит на все пятьдесят. И взгляд стал рассеянным, – одолевают думы, забот непосильно много, слушает внимательно, а слышит не все. И Измайлов, хоть и посмеивается, словно бы и веселый, сам призывает себя дебошаном, а видно, что тоже устал, – нелегко ему, видать, там, в далеком городе Копенгагене. И Александр Данилович уже не тот сокол, что в давние годы только и знал выдумки, проказы да пересмешки. Каково же самому Петру Алексеевичу?

Из кабинетного покоя на мгновение появился Александр Данилович; хитро глядя, бросил на стол большой лист бумаги:

– Прочтите, други. Сии универсалы тайно рассылаемы королем Карлом. Во многих дворянских семействах читаемы с пользою для короля шведов...

Измайлов стал читать, Апраксин с Иевлевым слушали. В шведском подметном письме говорилось, что царь Петр непременно изведет все боярское семя на Руси, вот и ныне ставит он править должности в государстве подлых людей – холопей и смердов, нисколько не считаясь с благородством происхождения. Дабы остеречь дворянство российское от сей горькой беды и разорения, надобно всем, кто разумен и вперед глядеть может, за царя Петра не воевать, а перекидываться к шведскому войску, где каждому российскому дворянину оказаны будут почести и даны должности, соответствующие его роду и знатности...

– Ну, хитер Карл! – молвил Измайлов, складывая универсал. – В больное место бьет...

– Для недорослей дворянских больнее сего места не сыщешь, – ответил Апраксин. – Да и многие старики так думают... Знает Карла ахиллесову пяту нашу...

После завтрака, когда принялись за кофей, Измайлов спросил Иевлева:

– Высыпаешься хоть, Сильвестр? Я, ей-ей, об ином и не мечтаю, как только собраться да ночь от солнышка до солнышка проспять...

Меншиков, еще в дверях услышав слова Измайлова, невесело засмеялся:

– На том свете, братики, отоспимся. Наш, слышали, что ныне удумал? Ездить извольте только ночью, а днем дело делайте. В повозке своей ремни пристроил, сими ремнями застегивается наглухо и так, застегнутый, цельную ночь скачет и спит. А наутро – где бы ни был – трудится. То же и нам велено. Помаленьку и я к сему приобвык... Да и как иначе делать?

Он подвинул к себе кофейник, налил чашку до краев, отхлебнул:

– Живем многотрудно. Сильвестру нашему тридцати пяти нет, а поспел, о трех ногах ковыляет. Федор Матвеевич годов на десять старше себя выглядит. Ко мне давеча родной дед наведалься – ей-ей, младше меня. Ты, говорит, винища поменьше трескай. А как его не трескать, когда иначе и не уснешь? Да что об сем толковать? Рассказывай, Сильвестр, мы тебя послушаем. Еще не заел Прозоровский?

Сильвестр Петрович сказал, что не заел, но к тому идет: иноземцам потворствует, пенюаров да подсылов милует, при нем самом такой лекарем служил – Ларс Дес-Фонтейнес. Сей воевода Прозоровский злонравен, глуп, труслив безмерно, можно ждать от него любой беды. В грядущей баталии от него, кроме помехи, ничего не будет.

Измайлов, наливая себе уже остывшего кофею, сказал Меншикову:

– Зато на Кукуй об нем добрые вести идут, что-де просвещенный воевода, много помогает государеву делу и иноземцев не бесчестит и не порочит. Мы с Александром Данилычем вчерашнего дни сами слышали.

Меншиков кивнул, стал набивать трубку.

– Для того он на воеводстве в Архангельске и сидит, – сказал Апраксин. – После того как мы с Сильвестром ворами-иноземцам ихнее место указали, они много челобитных сюда через Кукуй подали, те челобитные свое дело сделали. Князьенька Прозоровский о том

крепко помнит, что велено ему иноземцев не обижать. Что не слишком умен он – Петру Алексеевичу ведомо, что не храбр, то от бога, для того Иевлев там и сидит, да ведь зато верен не хуже покойника Лефорта. Того стрельцы хотели получить головою на Москве, а Прозоровского – в Азове. Об нем, что ни скажи, Петр Алексеевич все едино подумает: так-то так, да зато верный мне человек. Может, люди и врут, а я так слышал, что князь-кесарь и по сей день азовских стрельцов своими палачами пытает...

– Об сем нам не знать! – хмуро оборвал Меншиков.

– Да вишь – знаем.

– А знаешь, так и помалкивай...

Измайлов, отхлебывая кофей, говорил:

– Кто только в Московию не едет, кого только черти не несут, господи ты боже мой! Приедет ко мне в Копенгагене, я ему пасс не дам, он на Кукуй челобитную. Мне письмо: гей, гей, Измайлов, больно умен, собачий сын, стал. А мне-то там в Дании, небось, виднее? Приходит за пассом, словно датчанин, честь честью, а мне ведомо, что швед он, а не датчанин...

– Откуда ведомо? – спросил Апраксин.

Измайлов тонко на него посмотрел, ответил с легкой усмешкой:

– Везде русские люди есть, Федор Матвеевич, на них только и надеюсь.

Он оглядел лица друзей, заговорил жестко:

– Думал, Нарва научит. По сей день в ушах у меня стон солдатский: «Изменили немцы, изменили немцы, к шведу уходят». Я тогда с шереметевской конницей был, от сего крика последние силы нас оставили. И тут налетел на меня, будь он вовеки проклят, де Кроа. Вьюга метет, обознался, что ли, – спрашивает, где король Карл. По-немецки спрашивает. Я света не взидел, палашом его стал стегать, да что ему – он в латах, только палаш сломал... Нет, не научила Нарва. Никому не велено отказывать, всем пассы давать надобно. И, господи преблагий, – вор, тать, ничего не умеет, по роже видно, каким миром мазан, ей-ей не вру. Один пришел в посольство – ларец с чернильницей украл. Вот и давай такому пасс. Не дал, нынче буду в ответе...

Александр Данилович с грохотом отодвинул кресло, прошел по горнице, посулил:

– Нынче не тебе одному в ответе быть, Сильвестру тож. Негоциант-шхипер, что в город Архангельский морем приходил, Уркварт, толстоморденыкий эдакой, – не запомнил, Сильвестр? Вы с Федором не велели ему более в Двину хаживать...

Апраксин и Сильвестр Петрович быстро переглянулись.

– Ну, помню Уркварта! – сказал Иевлев.

– Коли забыли, – нынче бы Петр Алексеевич напомнил. Зело гневен...

– Да за что?

– А за то, Сильвеструшка, что давеча посол аглицкий челобитную в Посольский приказ отослал на бесчестье и поношение негоциантских прав шхипера Уркварта...

Сильвестр Петрович помолчал, подумал, потом поднялся из-за стола:

– Посол аглицкий? И что это все англичане за шведских подсылов вступаются? Ну, да чему быть – того не миновать. Поеду!

Апраксин тоже встал. Стал собирать раскиданные с вечера корабельные чертежи. Меншиков насупившись ходил из угла в угол. Шагов его по ковру не было слышно. Двое слуг неподвижно ждали, готовые одевать Александра Даниловича. Измайлов сидел у стола, шевеля губами, разбирал какие-то слова, написанные на узком листке бумаги.

– Напоишь меня нынче допьяна, – сказал он вдруг Иевлеву. – Вон он твой Уркварт – муж наидостойнейший. В экспедиции, что Карла шведский готовит на Архангельск, назначен капитаном корабля Ян?

– Ян Уркварт! – подтвердил Сильвестр Петрович.

– Ян Уркварт! – повторил Измайлов. – Старый военного корабельного флоту офицер, родом из аглицких немцев, на шведской королевской службе тринадцать годов...

– Ей-ей? – воскликнул Апраксин.

– Сей листок, – сказал торжественно Измайлов, и толстое, всегда веселое лицо его сделалось строгим и даже суровым, – сей листок получен мною еще в Копенгагене от верного человека, русского родом и русского сердцем, много годов живущего в Стокгольме. Сей муж, кому Русь ничем иным, кроме как монументом, поклониться не может за бесчисленные и славные его геройства, столь храбр, что даже к нашему Андриюше Хилкову в его заточение хаживает и тайные письма от него и ему носит...

– Да кто же он? – нетерпеливо спросил Меншиков. – Как звать-то сего мужа?

– Имя его я только лишь одному человеку назову, – ответил Измайлов. – Да и то не во дворце, а в чистом поле. Да ты не сердчай, Александр Данилыч, что тебе в имени прибытку?

Меншиков махнул рукой, не обиделся. Измайлов, отчеркивая на листке твердым ногтем, бегло читал тайнопись:

– Главнначальствующий шаутбенахт Юленшерна. Стар, опытен, смел, жесток, неколебим в сражении. Командир абордажной и пешей команд – Джеймс, сдался под Нарвою, был в России. Командир флагманского корабля – Уркварт Ян, бывал в Архангельске не один раз, опытный мореход...

Измайлов бережно спрятал листок, хлопнул Иевлева по плечу, посоветовал весело:

– Не робей, Еремей! Где наша не пропадала, ан все жива. Отобьемся. Оставим аглицкого посла в дураках.

Карета уже дожидалась, шестерка серых в яблоках дорогих коней била копытами. Александр Данилович нарочно малость помедлил, чтобы гости оценили павлиньи султаны на головах лошадей, бархатные, в жемчугах, шлеи, серебряные тяжелые кисти, малые, изукрашенные золотым шитьем седелки. Гости оценили, Александр Данилович смешно сложил губы трубочкой, пригорюнился в шутку:

– Ай, тяжелое мне нравоучение за нее, за упряжечку, было! Ай, век помнить буду...

– Палкой бил? – давясь смехом, спросил Апраксин.

– И ногами, и палкой, и глобусом медным...

– Глобусом?

Меншиков кивнул.

– Глобусом. А грех-то велик ли? Истинно птичий. Купцы запряжку с каретой поднесли...

Он покрутил головой, хохотнул и, залезая в карету, пожаловался:

– Мне дарят, а он дерется. По сей день не простил. При нем в карете сей не езжу. Нынче для милых дружков...

Шестерка взяла с места рысью, угрожающе запела труба фореитора, карета мягко закачалась на сильных упругих рессорах, с криками «пади, гей, пади!» вперед побежали скороходы в лазоревых кафтанах, в сафьяновых сапожках, в шапочках с перышками. Александр Данилович откинулся на подушках, сладко зажмурился, сказал со вздохом:

– Грешен, а люблю добрую езду. Может, кровь во мне играет? Как думаешь, Сильвестр Петрович? Батька-то – конюх, оттудова оно, что ли?

Всю дорогу вспоминали детские годы, службу в потешных, смешные и печальные события давних лет. Апраксин вдруг вспомнил, как Петр Алексеевич велел поставить в Крестовой палате деревянный чан на две тысячи ведер воды, как в том чане плавали малые кораблики, паруса тех корабликов надували ветром от кузнечных мехов, как палили маленькие пушечки настоящим порохом...

Измайлов захохотал, закрыв рот ладонью:

– Трон прожгли, по сей день никто не знает, кто сие зло учинил...

– А кто? – живо спросил Меншиков.

– Да я и прожег! – смеясь, ответил Измайлов. – Порох в мисе бомбардиру понес, а Якимка Воронин, проказлив был покойник, возьми уголек горячий, да и швырни в мису. Испугался я, мису возле трона и бросил. Далее сами видели...

– Окошко еще кто-то разбил, стекло синее, венецианское, дорогое было! – вспомнил Сильвестр Петрович.

– То я разбил! – хитро улыбаясь, сказал Меншиков. – И окошко разбил, и лампаду, и застенок с образом сорвал нечаянным делом. Было время – поиграли, позабавились корабликами. А ныне Сильвестр наш капитан-командор по флоту. Вот тебе и чан с корабликами в Крестовой палате...

Карета миновала заставу и мягко покатила по проселочной немощеной дороге. Меншиков опустил стекло, теплый ветерок шевельнул пышные кудри его завитого парика.

4. У ПЕТРА АЛЕКСЕЕВИЧА

Царя в Преображенском не застали. Дежурный денщик рассказал, что Петр Алексеевич на утренней заре с Виниусом ускакал на Пушечный двор – смотреть новые мортиры. Оттуда должен был побывать на учении Бутырского и Семеновского полков и собирался еще захватить в Кремль, – занемог царевич Алексей. Всем, кто приедет за делом, велено было дожидаться здесь.

К полудню в светелке, где в старые времена бояре дожидались царского зова, собралось много самого разнообразного народа: были здесь и полотняные мастера с образцами новой ткани; был и приказчик с Канатного двора; был и богатый гость купец Задыхин с железной рудой в узелке – показать царю; был и тучный полуполковник Угольев, прискакавший из Пскова, чтобы Петр сам посмотрел чертеж укреплений города; был и капитан Зубарев, назначенный царем оборонять Печерский монастырь после того, как нерадивый Шеншин был дран плетью и сослан в Смоленск солдатом. Из Новгорода приехал долговязый, быстрый, сметливый офицер Ржев. Он сидел в углу, листал новую книжку – устав пехотному войску, с удивлением крутил головой.

Сильвестр Петрович знал и Угольева, и Зубарева, и Ржева. Все четверо вышли на крыльцо, сели рядом, стали беседовать о том, кто как бережется от шведа. Ржев взял хворостинку, начал на песке выводить, как строит у себя палисады с бойницами, как насыпает землю – от ядер шведа. Угольев рассказал, что во Пскове за недостатком времени снимал все деревянные кровли с домов, поломал бани, – надобен лес. И дивное дело – народ не больно шумит, челобитных не пишет: люди понимают, что к чему. Зубарев вынул из сумки листок, стал спрашивать Иевлева, как у него в Новодвинской хранят порох, так ли, как здесь на листе обозначено, или иначе. Солнце стало припекать сильнее, потом на крыльцо упала тень, за беседою офицеры не замечали времени. Не заметили, как приехал Петр Алексеевич, как, вздергивая на ходу голову и что-то выговаривая Ромодановскому, пошел к себе другим крыльцом...

– Зубарев! – громко крикнул царев денщик. – Живо! Расселся!

После Зубарева пошел приказчик с Канатного двора, пробыл недолго, вернулся веселый. Угольев и Ржев отправились вместе, за ними был позван мастер с полотняного завода; в открытую дверь Сильвестр Петрович услышал голос Петра:

– Да живо делать, ждать недосуг, – слышь, Хиврин!

Мастер вышел пятясь, дверь опять закрылась, Измайлов спросил у мастера шепотом:

– Что делает сам-то? Точит?

– Точит! – ответил мастер. – Блок корабельный точит.

Измайлов обернулся к Сильвестру Петровичу, сказал ободряюще:

– Все ладно будет, Сильвестр. Он ежели точит, значит в добром расположении.

Примета верная...

Меншиков с Апраксиным пошли без зова, дежурный денщик позвал Измайлова. Последним вошел Сильвестр Петрович. Царь Петр без кафтана, в коротких матросских штанах, в тех же самых, что были на нем, когда работал на верфи в Голландии, точил на станке юферс для корабля. Его длинная нога в поношенном кожаном башмаке без усилия, плавно и спокойно нажимала на педаль приводного колеса; белая пахучая стружка, завиваясь, струилась из-под резца. Работая, он внимательно слушал Измайлова и иногда быстро поглядывал на него своими пронизательными выпуклыми темными глазами.

Сильвестр Петрович остановился у двери, за поскрипыванием станка слов ему не было слышно, лишь однажды он расслышал резкий окрик Петра:

– Ну? А ты, небось, думал – англичанам от нашего флота радость? Все врут, воры, ни в чем им веры давать нельзя!

Одно окно было открыто, там за стенами ветхого дворца шумела едва распустившаяся листва старых дубов, кленов, вязов, ясеней. Сквозь разноцветные стекла окон солнечные лучи – красные, зеленые, голубые – падали на богатые, рытого бархата полавочки, на шитые жемчугами наоконники, на башенку со старыми часами: медленно кружится циферблат, а над ним, словно усы, неподвижно торчат стрелки. И странно было видеть здесь, в дворцовом покое, где когда-то стояли рынды-отроки в золотистых кудрях до плеч, с ангельскими ликами, в белоснежных одеждах, в горностаевых шапочках, с серебряными топориками в руках, – странно было видеть здесь большой тяжелый черный токарный станок, груды стружки, а на аспидном столе – железные винты, циркуль, ствол для мушкета. Удивительным казалось, что здесь, где теперь стоят модели гукор и фрегатов, пушечный лафет, где валяются образцы парусной ткани, каната, где брошен на ковер малый якорь, – еще так недавно бояре окружали трехступенчатый помост трона, свершая обряды древнего чина византийских императоров...

– Сильвестр! – не оборачиваясь позвал Петр.

Сильвестр Петрович обдернул на себе кафтан, придерживая шпагу левой рукой, правой опираясь на трость, пошел к царю. Петр, нажав ладонью на колесо станка, остановил привод, отпустил винты зажима и бросил готовый юферс в корзину, в которой уже лежало несколько блоков и других мелких поделок. Зажав винтами новую плашку, царь обернулся к Иевлеву и несколько мгновений, словно не узнавая, всматривался в него, потом короткие, закрученные кверху усы его дрогнули, глаза осветились усмешкой, и он спросил:

– Ну, что? Рад, поди? Един раз угадал, ныне на тебя и управы не будет? Молись богу за Измайлова.

Иевлев молчал, светло, прямо и бесстрашно глядя в глаза Петру.

– Хитры вы с Федором! – все так же с усмешкою продолжал Петр. – Только я из Архангельска – вы сразу за Уркварта. Хитры, черти...

Он рукою снизу вверх дернул колесо, смахнул стружку со станка, но точить более не стал...

– Куда как хитры. Ну что ж, на сей раз ваша, видать, правда. Горько оно, да верно, что шлют нам из-за рубежа татей, вы же не возомните, что и впредь такие ваши дерзости вам безнаказанно спущу. Негоциантов, да ремесленников-умельцев, да мастеров-искусников от Руси не отвращать, в едином ошибетесь – другие не поедут...

Сильвестр Петрович молчал.

– Пишут мне, бьют челом на тебя, господин капитан-командор, дескать, утесняешь иноземцев. Для чего так скаредно делаешь? Отвечай!

– Воров, государь, да недоброхотов отечеству своему до скончания живота утеснять буду! – звонким от напряжения голосом произнес Иевлев. – Гостей же добрых, негоциантов, умельцев, мастеров не токмо не обижу, но сам накормлю, напою, спать уложу и ничего для них не пожалею...

Петр дернул головою, фыркнул:

– Ох, Сильвестр, дугу гнут не разом, коли сильно навалишься – лопнет.

– Для того, государь, я чаю, сидит на воеводстве в Архангельске боярин – князь Алексей Петрович Прозоровский. Он дуги гнуть превеликий мастер...

– Ты – об чем?

– О том, государь, что сей воевода, верность тебе свою доказав в давние годы, ныне...

– Что – ныне? – крикнул Петр.

– Ныне не токмо в воеводы не годен, но офицером к себе я б его не взял...

– А я тебя об этом и не спрашиваю! – с гневной насмешкой сказал царь. – Понял ли? Я своей головой думаю, – крикнул он бешено, – своей, а вы, советчики, мне ненадобны...

Он вновь отворотился к станку и стал точить, сильно нажимая ногой на педаль. Опять побежала стружка, он обрывал ее все более и более спокойно, потом заговорил ворчливо:

– Прозоровский на воеводстве два года сидит, и еще два сидеть будет. Воевода добрый, от посадских людей архангельских, да от гостей, да от негоциантов иноземных, почитай что от всего немецкого двора, челобитная послана нам на Москву, дабы сидеть князю Прозоровскому на воеводстве третий год и четвертый...

Сильвестр Петрович от изумления едва не ахнул. За Прозоровского челобитная подана? Темны дела твои, господи... Что ж, тогда и толковать не о чем...

– Пошто с клюкой? – вдруг спросил Петр.

– Застудил ноги, государь, прости...

– Чего серый-то? – опять спросил Петр.

У Сильвестра Петровича дрогнуло лицо, не нашелся что ответить. Царь велел сесть. Иевлев не расслышал.

– Сядь, коли клюкой подпираешься, – взглядываясь в Иевлева, приказал Петр. – Вот сюда сядь, на лавку...

Иевлев сел, растегнул крючки форменного кафтана, достал из кожаного хитрого бумажника план Новодвинской цитадели, разложил перед Петром. Тот кликнул Апраксина и Меншикова с Измайловым, раскурил коротенькую глиняную трубку, спросил, кто сей план делал, не Резен ли?

– Резен, Егор.

– Немец?

– Немец, государь.

– Что ж, вишь – немец, а план добрый!

– Немец немцу рознь! – спокойно ответил Иевлев. – Я за сего Резена, государь, коли надобно будет – на плаху пойду.

Петр косо посмотрел на Иевлева, подкрутил ус, подвинул план к себе ближе. Меншиков из-за спины Петра Алексеевича сказал вдруг, что пушки на башнях стоят неверно. Апраксин взял грифель, доску, циркуль, быстро рассчитал, с удивлением покачал головою:

– Ну, Данилыч, глаз у тебя, верно, соколиный. Сразу узрел.

Сильвестр Петрович, сидя рядом с Петром, показывал грифелем на плане, как что будет, где пороховой склад, где лежать ядрам, где дом для раненых, откуда может идти помощь. Царь слушал внимательно, попыхивал трубочкой, кивал с одобрением. Иевлев вдруг подумал: «Истинно в работе пребывающий. Коль что разумно и с сердцем сделано – первый друг».

– Чего не хватает? – спросил Петр и опять сбоку посмотрел на Иевлева: карие его глаза теперь горячо блестели.

– Многого чего, господин бомбардир, не хватает! – вздохнув, сказал Иевлев. – За тем и приехал...

Лицо царя стало настороженным, но когда Меншиков сказал, что есть пушки старого образца, которые можно отдать Архангельску, Петр оборвал его:

– Сильвестру рухлядь не надобна. Ему труднее будет, нежели нам. Думать надо, господин Меншиков, думать!

И сам задумался надолго, поколачивая трубкой по ладони, покрытой мозолями. Потом стал вспоминать, где есть пушки, еще не привезенные в Москву. Меншиков и Апраксин ему подсказывали, он задумчиво кивал. Иевлев писал пером на листке бумаги: гаубицы с Воронежа, мортиры из Новгорода. Измайлов наклонился к нему, шепнул в ухо:

– Ты не робей, Сильвестр, с запросом проси, он торговаться будет...

Сильвестр Петрович попросил с запросом ядер, фузей, мушкетов. Меншиков рассердился, сказал обиженным голосом:

– Не давай ты ему, бомбардир, ничего, сделай милость. Рвет с кожей! Все ему мало! Я тоже мушкеты да фузеи рожать не научен. Потом, небось, с меня спрос будет дубиною. У

нас беседа короткая: как чего нет – Санька виноват.

Петр Алексеевич велел:

– Помолчи!

И спросил у Иевлева:

– Монасей, божьих заступников, потряс? Колокола это еще ништо, пусть дьяволы толстомысые потрудятся – у меня нынче везде работают...

– Писали на Сильвестра челобитные, – сказал Меншиков. – Из Николо-Корельского монастыря писали, из Пертоминского, – я к тебе, господин бомбардир, те челобитные и не носил. Будто он всех на работы погнал, даже ангельского чина не пощадил. Великий, дескать, грех, быть ему преданным анафеме...

Царь засмеялся, хлопнул Иевлева по плечу, сказал басом:

– В том не сумлевайся, Сильвестр! Сей великий грех я на себя приму, отмолю тебя. Я, братики, на сии ответы пред господом помазан константинопольским патриархом. Чтобы на работы все шли, нам не токмо монаси работают, но и бабы-черноризки, им трудиться в поте лица своего куда как лучше, нежели беса тешить. А службы церковные служить успеется, так им и говори, своим монасям. Афанасий наш что?

Сильвестр Петрович рассказал про Афанасия, про то, что послал ему Ньютоновы книги, про то, как усовещал архиепископ раскольника Федосея Кузнеца.

– Усовестил?

– До масляной сей Кузнец держался, все смерти ждал, а на первый день масляной велел подать себе чарку водки, выпил, понюхал рукав и пошел ко мне на Пушечный двор пушки лить.

– Хорош мастер?

– Злой до работы, умелец предивный! – ответил Сильвестр Петрович.

Петр хохотнул весело, сказал:

– Хорош мужик Афанасий, зело хорош. Был бы он помоложе, я бы Алексашку в тычки прогнал обратно – пирогами с зайчатиной торговать, а Афанасия – сюда. За ним спокойнее, верно, Данилыч?

– Для чего пирогами? – раскуривая трубку, сказал Меншиков. – Я бы тогда в архиепископы подался. Тоже не бедно, я чай, живут...

Так, за шутками и делом прошел день, наступили сумерки, засинели за окнами дворцового покоя. Покуда Сильвестр Петрович грифелем на аспидной доске чертил фарватер Двины и толковал путь, которым шведская эскадра будет идти к Архангельску, – царский повар Фельтен принес большую сковороду яишни-скородумки, оловянные чарки на подносе, жбанчик с водкой. Петр выпил первым, хорошо крякнул, ложкой стал есть яишню, было видно, что он очень голоден. И опять Иевлев удивился, как порушен обряд застолья, начавшийся с византийских императоров. Сидят пять мужиков, скребут ложкой яишню, а в воздухе дворцового древнего покоя еще пахнет едва уловимо благолепием росного ладана, старым воском, духовитым теплом, что когда-то шел от муравленых печей. И кажется, что все нынешнее сон, игра детская, как в давние-давние годы, когда шумели потешные в Грановитой или Крестовой палатах и в испуге замирали: вдруг появится клубок, иссохший палец сердито погрозит – киш, нечестивцы, киш...

– Гей, Фельтен, еще яишни! – крикнул Петр. Налил по второй чарке; близко глядя на Иевлева, сказал:

– Ну, Сильвестр, будь здрав! Хорошо делаешь, ругать не за что. Трудясь над работой своей, думай: не один Архангельск берегу, не в нем одном первопричина пролития крови...

Жестом поманил к себе всех сразу, хитро подмигнул.

Апраксин, Измайлов, Меншиков, Сильвестр Петрович наклонились ближе. Усы царя угрожающе шевельнулись:

– Ну, ежели разболтаете!

И тотчас же смягчился:

– Не мальчишки, я чай, мужи государственные, а все глядишь – кто и не удержится...

Александр Данилович прижал кулаки к груди, страшно забожился, что-де не видеть ему света божья, умереть поганой смертью. Петр не дал кончить божбы, перебил:

– Подай грифель!

Измайлов подвинул шандал ближе. Царь, покусывая губы, быстро, криво выводил на аспидной доске линии, ставил кружочки. Сильвестр Петрович, вглядываясь до боли в глазах, узнавал Архангельск, Белое море, Соловецкие острова, берег, деревеньку Нюхчу. От Архангельска к Соловкам побежали гонкие дорожки. Петр, торопясь, говорил:

– Флотом, что построен на Вавчуге и в Соломбале, пойдем в монастырь, якобы для молитвы. Сопровождать нас по чину будут солдаты немалым числом; подсылы да пенюары предположат, что отбыли мы кланяться святым мощам преподобных Зосимы и Савватия. Отсюда же, из Соловецкой обители, как белые ночи сойдут, отправимся на Усолье Нюхоцкое – вот оно, на берегу.

Петр грифелем показал, где находится Усолье Нюхоцкое.

– Отсюда на Пул-озеро через болота новыми дорогами... Далее к Возмосалме... Будут с нами два фрегата, здесь те фрегаты спустим и водою по Выг-озеру и по реке Выгу на деревню Телейкину. Речки тут – Мурома и Мягкозерская... Далее болотами и лесами на Повенец...

– Нотебург! – воскликнул Сильвестр Петрович.

– Догадался! – усмехнувшись, ответил Петр. – Истинно Нотебург, древний новгородский Орешек, наш Орешек, прадедов наших. Коли раскусим сей орешек, быть нам твердою ногою навечно на Балтике...

– Ниеншанц еще! – сказал Апраксин.

– Многое еще чего, – стирая ладонью чертеж с аспидной доски, произнес Петр, – многое, да все наше, и Копорье, и Ям, и Корела, и Ивангород. Стеною шведы стали на Балтике, а нынче еще и Архангельск возжелали закрыть. То – не сбудется. Брат наш Карл все мечтает быть Александром, но я не Дарий...

Короткая усмешка тронула его губы, глаза заблестели, он спросил:

– Можно ли так рассуждать после Нарвы?

И сам себе ответил:

– После нее так и рассуждаем! Кто видел, как полки наши стояли в каре и, оградив себя артиллерийскими повозками, отбивали атаки шведов, тот иначе рассуждать не может. Кто видел, как преображенцы наши с семеновцами из сей несчастной баталии выходили, тот по прошествии времени ни об чем ином, как о виктории, и помыслить не смеет. За нее и выпьем чарку, да и к Москве пора...

Чарки слабо звякнули над столом, над сковородой с остатками яшени. Выпив, Петр быстро спросил:

– А что, Сильвестр? Может, послать тебе Данилыча в помощь?

Меншиков обрадовался, зашептал Иевлеву в ухо:

– Проси, проси, наделаем там Карле горя, узнает, почем русское лихо ныне ходит. Проси, мы такого там натворим...

Но Петр раздумал:

– Управишься с Афанасием, Данилыч тут надобен.

– То-то, что надобен, – проворчал Меншиков. – А все грозятся в тычки меня прогнать...

Когда совсем смерклось, поехали верхами в Москву. Карета Александра Даниловича тащилась далеко сзади кружною дорогою, кучеру было велено не попадаться на глаза Петру Алексеевичу...

Царь был тих, задумчив, молча оглядывал задремавшие в дымке ночного тумана густые подмосковные рощи. У рогатки сам проверил караулы, басом, без злобы пожурил за что-то офицера-караульщика. Покуда тот длинно оправдывался, Апраксин говорил Иевлеву:

– С мыслями никак не соберусь. Шутка ли – Нотебург, Ниеншанц, Балтика. Возвернуть то, ради чего еще Иван Васильевич с ливонским орденом воевал, выйти в море...

Петр из темноты позвал:

- Сильвестр!
- Здесь я, государь...
- Со мною поедешь...

Свернули в узкий, пахнущий горелой щетиной проулок, потом копыта коней прочавкали по болотцу, потом подковы звякнули о камень. Петр не оглядывался, не говорил ни звука. Этот путь был и знаком и незнаком, по дороге Иевлев что-то смутно припомнил и опять забыл. И совсем вспомнил только у больших, глухих ворот, где тускло мигал масляный слюдяной фонарь и так же, как тогда, когда пытали Шакловитого, прохаживался один верный караульщик. Это был монастырский воловий двор, в подклети которого еще с кровавых дней стрелецкой казни был спехом построен застенок. Так он здесь и остался – проклятая вотчина князя-кесаря...

Со стесненным сердцем Иевлев спешил в глубоком темном дворе, отдал повод солдату, пошел за царем. Крутые ступени, едва освещенные восковой свечкой, вели вниз в подклеть монастырских воловщиков, в низкий кирпичный подвал, где шла все та же страшная работа, постоянная и жестокая, та, о которой Сильвестр Петрович старался не вспоминать и не думать и о которой все же думал постоянно и даже видел во сне. Как в те давно прошедшие дни, для бояр справа у двери были поставлены две лавки с суконными вытертыми и засаленными полавочниками и между ними пустовал точеный стул с атласной пуховой спинкой, поставленный для царя. Как и тогда, горели свечи в шандалах, но свечей было поменьше и бояр никого, кроме князя-кесаря, зябко кутающегося в шубу. Он сидел один на широкой лавке, а дьяки писали у стола. Ромодановский еще более ожирел за это время, теперь его налитые щеки свешивались возле подбородка. Увидев царя, он не поднялся со своего места, а только лишь склонился набок, дьяки же поклонились земно, как и палачи, которых было много – человек с десятка. На дыбе в полутьме кто-то висел раскорякой – лохматый, старый, посматривал тусклыми зрачками. У стены на рогоже слабо стонал полуголый, статный, белотелый мужик. Помощник палача, сидя на корточках возле него, прикладывал к его ранам листы мокрой капусты. Другой мужик, завидев царя, постарался перекреститься правой рукой, но не смог и перекрестился левой. Палач, ловкий рыжеватый дядя, его обругал:

– Чего делаешь, шлопутный? В уме?

Лекарь-иноземец в чулках и башмаках, в красивом, тонкого сукна кафтане, курил трубку и объяснял что-то старшему палачу Василию Леонтьевичу, который соглашался с лекарем и посмеивался, скаля мелкие, крепкие, очень белые зубы...

Петр, не садясь на стул, приготовленный для него, оперся спиной о косяк двери и спокойно, своим сипловатым басом спросил:

– Ну?

– Да что же, батюшка, – колыхаясь всей своей утробой, ответил Ромодановский, – кое время отдыхали изверги, все на своем и стоят. Околесицу врут, толчем воду в ступе. Бьюсь нынче со старцем, ранее не могли, не был он обнажен монашества, а ныне расстригли, да что толку...

Петр, переведя взгляд на дыбу, спросил:

– Ты и есть старче Дий?

Старик молчал.

– Ты кто? – оскалась крикнул Петр.

– Оглох он, батюшка, – молвил Ромодановский. – Еще по первым пыткам и оглох. Нынче вовсе как пень, да еще и в уме повержен. Несет нивесть что...

– Так иного кого взденьте! – с неудовольствием велел царь. – Что ж так-то время препровождать...

Блок заскрипел, старика опустили наземь, вынули его руки из петель, обшитых войлоком, на рогоже отнесли подальше за кадушку с водой. Но он тотчас же оттуда выполз и стал опять неотрывно рассматривать царя. Худой, горбоносый дьяк деловито поднялся, пнул старика, как собаку, сапогом и вновь сел на свое место. Палачи подняли белотелого мужика

и стали заправлять его сильные, мускулистые, крупные руки в пыточный хомут.

– Кто сей? – спросил Петр.

– Стрелец Конищева полка Мишка Неедин. Заводчик всему делу, он первый зачал мутить, чтобы князя-боярина Прозоровского на копьа вздеть...

Сильвестр Петрович услышал, как стрелец негромко, но сурово сказал палачу:

– Бога побойся! Все помирать станем...

– Я-то богу верен, – веселой скороговоркой ответил Василий Леонтьевич. – Я-то, брат, не оскормился...

И, поплевав в ладони, он уперся сапогом в брус и потянул. Мишка крепко сжал зубы; руки его вдруг вывернулись, он протяжно вскрикнул, тело его, обвиснув, сразу сделалось длиннее.

– Говори! – велел Ромодановский.

Стрелец заговорил быстро, речь его перемежалась короткими вскриками, на губах пузырилась слюна:

– Противу немца мы оттого на Азове делали, что как на городовую работу погонят, так немец безвинно нас бьет и безвременно работать тянет. Говорено было, что-де немчина, который от князя-воеводы Прозоровского над нами смотрельщиком поставлен, пихнуть-де в ров, оттого пошел бы на бояр да иных татей первый почин. С того бы дела боярина на копьа самого вздеть...

– Кнута ему! – велел Петр.

Но до кнута не дошло. Стрелец задышал часто и обвис в хомуте. Палач, обжигая ладони веревкой, быстро опустил Мишку наземь, заспанный подручный плеснул ему водою из корца в грудь и в щеку. Стрелец зашевелился, еще застонал. Иноземец-лекарь сказал громко:

– Больше нет. Не сегодня. Только завтра.

– Цельный нонешний день так-то мучаюсь, – жаловался Ромодановский. – Что ранее было говорено, на том и ныне стоят, а нового никак не получить...

Покуда готовили к дыбе того мужика, что крестился левой рукой, Ромодановский говорил царю:

– Ума не приложу, батюшка, что и делать. Научи, сокол. Грабят боярские дети, убивают на Москве и по дорогам торным кого похотят – и богатого, и бедного, и купца, и солдата, и посадского, и мастерового. Кто сие чинит, ведомо, – Никитка Репнин с холопями, Зубов, Алаторцев, да народишко боится на них извет подать: убьют, и усадьбу пожгут, и людишек саблями порубят...

– Иметь всех сюда в застенок, – велел Петр. – Моим именем. К ним же – Толстого Ваську, Дохтурова, Карандеева, Репнина Сашку. Еще вот: князя Ивана Шейдякова, пса смердящего, за сии разбой казнить смертью на Болоте...

Князь-кесарь поклонился боком.

– Когда с сими кончишь?

– С какими с сими?

– Которые боярина Прозоровского на копьа взять хотели...

Ромодановский подумал, насупился:

– Не враз, батюшка. Все берем да берем. Тут торопиться невместно...

– Оно – так...

И, насупившись, рывком открыл перед собою дверь. С порога позвал:

– Иевлев!

Сильвестр Петрович на узкой лестнице догнал царя. Он обернулся к нему, сказал жестко:

– Вишь, что деется? Немчина пихнуть-де в ров, с того и начаток бунту. А Прозоровского на копьа?

Иевлев молчал.

– Так? Первый почин на бояр да на иных татей? Сего захотели вы с Апраксиным?

Во дворе Петр молча, легко сел в седло, вздохнул всей грудью, приказал Иевлеву не отставать. Когда подъезжали к Кремлю, услышали далекий голос дозорного, что по старому обычаю, как при дедах и прадедах, выкликал со своего места:

– Пресвятая богородица, спаси нас!

Ему ответил другой – от Фроловских ворот. И по дозорным побежало:

– Святые московские чудотворцы, молитесь бога о нас!

И словно эхо раскатилось, зашумело по Китаю и Белому городу, по всем дорогам, идущим от Москвы, протяжно, нараспев:

– Славен город Москва!

– Славен город Киев!

– Славен город Суздаль!

– Славен город Смоленск!

– Славен город Новгород!

– Славен город Вологда!

– Славен город Архангельск!

И вновь откликнулся Кремль голосами дозорных караульщиков:

– Пресвятая богородица, моли бога о нас!

5. ДАЛЕКО ЗА ПОЛНОЧЬ

Петр с треском распахнул окно, в низкую душную палату тотчас же ворвался холодный ночной воздух, заколебались огоньки свечей, освещая темную роспись сводов: райских птиц, диковинные цветы. Апраксина, Меншикова и Измайлова царь отпустил, Сильвестру Петровичу велел идти с ним...

Едва сели – скрипнула дверь, старушечий голос что-то зашептал. Петр поднялся, размашисто шагая, ушел из палаты. Сильвестр Петрович задумался. На душе было тяжело, страшный облик седого старца Дия, глядящего из-за кадушки, словно бы застыл перед глазами. И, как бы отвечая на его мысли, заговорил с порога Петр:

– Сколь худо! Бывает ныне все чаще и чаще, что облак сумнений закрывает мысль нашу, Сильвестр. Как быть? Ужели не вкусить делателю от плода древа, им насажденного? Братом Алексашку Меншикова зову, а он ворует нещадно. Жизни своей не щадя, тружусь, а вижу ли доброе от иных? Все ненавистники, супротивники, палки лишь одной и трепещут. Ужели мрак сумнений наших делами изгнан не будет?

У Сильвестра Петровича перехватило горло. Петр смотрел на него сухими, ярко блестящими, измученными глазами, словно бы ждал ответа.

– Тяжко! – едва слышно, шепотом произнес царь.

Тряхнул головою, заговорил быстро, по-деловому:

– После Нарвы конфузия архангельская, Сильвестр, непереносна чести нашей будет. Многое мы сделали, ко многому готовы, но надобна, ох, надобна нынче нам виктория. И нам надобна и шведу надобна, дабы не заносился на будущие времена, дабы и он помыслил: а вдруг побьют? Того иные и не понимают, мнят, глупые, что много у нас-де таких городов, как Архангельск, не велика обида. А вот Измайлов понимает, – об сем нынче и беседовали. В королевстве датском льстят себя люди надеждою, что при первом же поражении шведы с ними полегче будут. Понимаешь ли ты, об чем говорю?

Иевлев молча наклонил голову.

– Надеешься ли?

– Надеюсь, государь.

– Твердо ли? Знаешь ли, что и англичанин на тебя нынче смотрит – ждет тебе позора?

Сильвестр Петрович опять наклонил голову. Петр смотрел на него внимательно, напряженно.

– Все ли поведал мне нынче в Преображенском? Ежели не все – говори здесь!

Иевлев поднялся, плотно закрыл дверь, сел совсем близко от Петра.

– Мыслю я, государь, сделать так: шведские воинские люди без лоцмана в двинское устье войти не смогут. Лоцмана им надобно брать архангельского, не иначе. В страшной сей игре нужно найти человека, коему бы я верил, как... как тебе, господин бомбардир, и такого человека отправить на вражеские корабли. Сей кормщик-лоцман, не жалея живота своего, поведет головной, сиречь флагманский корабль шведов и посадит его на мель под пушки Новодвинской цитадели, где воровская эскадра будет нами безжалостно расстреляна, дабы и путь забыли тати в наши воды...

– То – славно! – воскликнул Петр. – Славно, Сильвестр. Да где человека возьмешь?

– Таких людей на Руси не один и не два, государь! – твердо ответил Иевлев. – Есть такие люди. Сам ты нынче говорил о полках – Преображенском и Семеновском...

– А ежели... изменит? Человек не полк!

– Не может сего произойти. Убить его злою смертью – могут, и для того ставлю я тайную цепь. Коли убьют моего кормщика, коли не совладаем мы с пушками, будет цепь под водою протянута, закрывающая двинское устье. А коли и цепь прорвут – угоняю я весь корабельный флот, выстроенный твоим указом в городе Архангельском, в дальнюю тайную гавань. Не найти его там шведу...

– Еще что?

– Еще город Архангельский, монастыри окрестные – все вооружаю пушками и полупушками, мушкетами и фузеями. Вплоть до ножей, государь, будем драться. Ежели и высадутся живыми шведы, то столь малая горсточка, что легко ее будет перерезать, и нечего им думать об виктории... Не отдадим Архангельск.

Сильвестр Петрович замолчал. Петр не спускал с него глаз. Дверь скрипнула, в палату опять просунулась старуха, нянюшка царевича, позвала:

– Батюшка, Петр Алексеевич...

Петр побежал, стуча башмаками. Вернулся скоро, словно бы просветлев:

– Алешка мой давеча занедужил, с утра полымем горел. Только ныне и отпустило. Вспотел, молочка попросил кислого, уснет, даст бог...

Налил себе квасу, жадно выпил. В углах палаты неумолчно трещали сверчки, ночной ветер колебал огни свечей, за открытым окном нараспев, громко, истово прокричал ночной дозорный:

– Пресвятая богородица, помилуй нас!

– Что ж, поезжай! – вздрогнув от ночной сырости, сказал Петр. – С богом, Сильвестр! И помни, крепко помни: Прозоровский тебе верная помощь, ему доверяйся, нарочно тебя давеча в подвал возил, чтобы сам увидел – он нам крепко предан. И еще помни, о чем давеча толковали: непустишь ныне шведов к Архангельску – быть нам в недалекие годы на Балтике. Одно с другим крепко связано. Поезжай немедля, нынче же. Пушки, ядра, гранаты, все, что писали, начнем завтра же спехом к тебе слать...

Сильвестр Петрович наклонился к руке. Петр не дал, коротко, мелким крестом перекрестил Иевлева, несколько раз повторил:

– С богом, с богом, капитан-командор. Торопись! В Архангельске строг будь с беглыми людишками, с татями, стрельцов оберегайся, многие среди них не без причины, хоть и не пойманы. Отсюда, от Москвы прогнаны, они все там живут. Следи, не уследишь – твоя беда. Ежели поспею, сам буду к баталии, да сие вряд ли. Паки справляйся без меня. Отписывай дела твои...

С рассветом Иевлев и Егорша выехали на Ярославскую заставу. Над Подмосковьем, куда хватал глаз, стоял розовый теплый туман. Егорша захлебываясь рассказывал, что нынче видел, где был, как с твердостью определил для себя идти впоследствии в навигаторы. Сильвестр Петрович напряженно вслушивался в голоса дозорных, стерегущих дальние подступы к Москве:

– Славен город Ярославль!

– Славен город Вологда!

– Славен город Архангельск!

Егорша удивился:

– Во! Об нас кричат, Сильвестр Петрович?

– Об нас! – строго подтвердил Иевлев. – Об нас, Егор. Славен-де город Архангельск. Крепко держаться нам надобно...

– А что? И удержимся! – ответил Егорша. – Как не удержаться? Пушки нам будут, ядра будут, фузеи тоже. Нынче справимся...

Иевлев молчал, хмурился, сурово глядел на дорогу, что ровно и гладко убежала вперед – далеко, далеко на север...

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Кабы на горох не мороз – он бы и через тын перерос.

Пословица

1. ЛЕКАРЬ ЛОФТУС

Новый датский лекарь Лофтус застал воеводу князя Прозоровского не в Архангельске, а в Холмогорах, где князь занемог и куда переехала вся его фамилия с домочадцами, приживалами, слугами и полусотней стрельцов, которым надлежало неусыпно оберегать особу строгого боярина.

Дьяк Гусев – длинноносый и пронырливый, с утиной, ныряющей походкой – принял иноземного гостя учтиво, и лекарь без промедления был допущен к самому воеводе. Князь, измученный недугами, сердито охал на лавке. Голова его была повязана полотенцем с холодной погребной клюквой, босые ноги стояли в бадейке с горячим квасом. Супруга воеводы, жирная и крикливая княгиня Авдотья, пронзительным голосом уговаривала воеводу не чинить ей обиду – скушать курочку в рассоле. Алексей Петрович отругивался и стонал.

Сделав кумплимент князю и поцеловав княгине руку, Лофтус выразил сожаление, что прибыл так поздно, не застав болезнь в самом ее начале, но что и теперь он надеется оказать своим искусством господину великому воеводе хоть некоторую помощь, тем более, что во всей округе нынче, кажется, не сыскать ученого лекаря...

– Один был – выгнали! – сурово сказал князь. – Не своим делом занялся. А иноземцы бегут, многие уже убежали. Которые морем уйти не могут – те на Вологду подаются, а оттуда к Москве, на Кукуй. И товары с собой утягивают, досмерти напужались...

Лофтус сделал непонимающее лицо, моргал, взгляд его показался князю бесхитростным.

– Да ты что? Али в самом деле ничего не ведаешь? – спросил воевода.

– Что могу ведать я, бедный лекарь? – спросил в ответ Лофтус.

– Воевать нас собрался король Карл, вот чего! – сказал князь. – Архангельский город собрался воевать. Жечь будет огнем, посадских людей резать, а меня будто повесить пригрозился на виселице за шею, со всем моим семейством...

Рядом в горнице завывала княгиня Авдотья; чуть погода басом заголосил за нею недоросль, боярский сын Бориска; за недорослем зашлись старые девы-княжны. Воевода ногой наподдал бадью с квасом, крикнул сурово:

– Кыш отсюда, проклятые!

Княгиня с чадами затихла, князь заговорил, проникаясь постепенно доверием к учтивому иноземцу, который умел со вниманием слушать, умел во-время поддакнуть, умел посокрушаться, покачать с укоризной головой. Такому человеку приятно рассказывать...

Лофтус вздыхал с сочувствием, напоминал, что говорит князь, говорил сам, как вся Европа нынче боится проклятого шведа, как его соотечественники датчане и не надеются победить короля Карла. Август, король польский, конечно, тоже не выдержит натиска

шведского воинства...

Беседовали долго, душевно. Лекарь сделал выводы: Тут шведов боятся смертно, воевода от страха прикинулся немощным, ворваться в Двину кораблям его величества никакого труда, конечно, не составит, верфи будут сожжены, город уничтожен...

– Ранее еще сомневались – придут ли шведские воинские люди, – сказал воевода. – А ныне и сумнений нет. Получили грамоту из Стокгольма, от верного человека, – ищут-де повсюду шхиперов, что знают морской ход до города Архангельского...

– Грамоту?

– Тарабарскую будто грамоту принес беглый от шведов галерный раб...

Лофтус покачал головой, занялся здоровьем князя. Болезнь воеводы он нашел не слишком опасною, но значительной и происшедшей от сгущения крови в главной и отводной головных жилах. По мнению лекаря, князю следовало немедленно лечь в постель и не думать ни о чем печальном, ибо сгущение в жилах происходит только от черных мыслей. Кроме того, лекарь нашел, что в воеводе накопилось от огорчений много серы, ртути и соли, которые вызывают меланхолию, легкую лихорадку и воздействуют на дуумврат – духовное начало сути человека, расположенное в желудке. Поврежден также и архей – жизненное начало. Прежде всего лекарь рекомендовал князю разжечь в себе флогистон – иначе дух огня, от которого свершается все последующее, а затем по отдельности лечить головные жилы, меланхолию и вздутие живота.

Чем больше говорил лекарь, тем громче охал воевода. Слова, которых он не понимал, внушали ему уважение к собственной болезни, а ласковый голос лекаря обнадеживал конечным выздоровлением.

Весь день лекарь делал для князя тинктуры и бальзамы, а также осматривал чад и домочадцев, которые тоже страдали разными немощами и недугами. Княгиня Авдотья мучилась колотьем в подкрылье, княгиня-матушка – дурными снами, недоросль – звоном в ушах, отец воеводы, князь Петр Владимирович, – затяжными икотами и боязнию мышей. И от боязни мышей датский лекарь тоже сделал декохт.

Днем позже лекарь устроил себе от князя-воеводы поручение: побывать на Новодвинской цитадели и посмотреть там, каково здоровье работных людей, не занесут ли в город моровое поветрие или еще какую-либо прилипчатую болезнь. Лофтусу снарядили карбас воеводы, и на погожей заре он с попутным ветром отправился по Двине к Архангельску.

Здесь иноземец сделал визиты своим соотечественникам, проживающим в немецкой части города на подворьях – под видом бременских, голштинских, датских и голландских негоциантов. Церемонно представившись, он дождался мгновения, когда оставался с нужным ему человеком один на один, из своих рук показывал ему документ, хранящийся в капсуле, и гнусавым голосом задавал несколько вопросов. Соотечественники отвечали по-разному, кто пространно, кто коротко и сухо. Но за всеми ответами чувствовалось одно: особой веры в экспедицию шаутбенахта Юленшерны ни у кого не было.

В каменном английском подворье недоверчивый негоциант Мартус потребовал документ в свои руки, не торопясь прочитал, потом спросил:

– Значит, вы будете вместо гере Дес-Фонтейнеса?

– Да, теперь я во всем стану заменять его.

Мартус покачал головой:

– Гере Дес-Фонтейнес – умный человек. Заменить его трудно.

Лофтус нахмурился, спрятал капсулю с документом и стал задавать вопросы. Мартус отвечал коротко, не глядя на лекаря.

– Что за человек пастор Фрич? – спросил Лофтус.

Негоциант ответил, что пастор человек мужественный, быстрый в решениях, но, к сожалению, он здесь недавно и не понимает еще многого.

– Собирал ли он прихожан в эти дни? – спросил лекарь.

Мартус ответил, что собирал не один раз. Вчера, например, после богослужения пастор

Фрич объявил себя начальником тайной иноземной бригады и прочитал список всех тех русских, кто должны быть уничтожены в городе самыми первыми.

– Велик ли список?

– Велик. В нем обозначены те, кто не покорится короне даже под страхом лишения жизни.

– Кто же они?

– Капитан-командор Сильвестр Иевлев. За сокрытие его пастор Фрич объявил смертное истребление всего того семейства, где его отыщут. Далее – капитан Крыков. За ними – унтер-лейтенант Пустовойтов и брат его Егор. Казнены должны быть корабельные мастера из русских – старый Иван Кононович и другой, Кочнев. Далее идут те мастера, которые обучились своему искусству от Ивана и Кочнева... Еще – стрелецкий голова, офицеры – Меркуров...

Лекарь не дослушал:

– Имеете ли вы тайный знак для своих домов, дабы в замешательстве трехдневного грабежа не пострадало имущество верных короне?

Негоциант ответил, что тайный знак есть, так же как есть и тайное слово.

– Сколько нынче кораблей строится на верфи Архангельска?

– Шесть больших кораблей, гере, почти закончены постройкой. На Вавчуге строится четыре. К тем кораблям россияне имеют матросов, которые понюхали порошу под Азовом и знают мореходное искусство в совершенстве.

Лофтус усмехнулся с сомнением:

– Много ли иностранных мастеров работают на здешних верфях?

– Нынче очень мало, гере. Русские строят свои корабли сами.

– Имеете ли вы оружие? – спросил Лофтус.

– Да, имеем.

– Много ли?

– Имеем пистолеты, полупищали, ножи, порох. В кирке имеем две пушки. На Пушечном дворе служит главным мастером наш добрый прихожанин Реджер Риплей. Он постарается так подобрать пушки и ядра к ним, что в час испытания московиты не смогут ни разу выстрелить...

– Кто нынче командует стрельцами в городе?

Негоциант нахмурился:

– Семен Ружанский, гере. Когда бы полковник Снивин не передался под Нарвой шведским войскам, а служил здесь, все шло бы куда лучше, нежели нынче...

– Может быть, вашего Ружанского можно купить?

– Ни Ружанского, ни Иевлева, ни Крыкова, ни Пустовойтовых купить нельзя.

Лофтус помолчал.

– Значит, вы склонны предполагать, что русские будут сопротивляться?

– Да, гере.

– Есть ли у вас свой человек на цитадели?

– Есть, гере. Инженер Георг Лебаниус. Но он крепко напуган и держит себя с крайней осторожностью. До сего дня достопочтенный пастор Фрич не может получить от него чертежей пушечного вооружения крепости и Маркова острова...

– С чего же инженер Лебаниус сделался таким осторожным?

– Московиты стали иными, гере. Они менее доверчивы, чем были раньше. Ненароком высадившийся на цитадели рыболов Генрих Звенбрег до сих пор томится в тюрьме. И даже заступничество воеводы ничему не помогло, а воевода потратил много сил, дабы освободить ни в чем не повинного страдальца.

– Откуда здесь узнали о грядущем нашествии? – спросил Лофтус.

Мартус пожал плечами:

– Есть разные слухи, гере. Но чаще всего говорят о русских пленных, бегущих из Швеции и Эстляндии. Они приносят сведения, добытые в Стокгольме...

– Это им не поможет!

– Пока помогает. Они деятельно готовятся...

О воеводе негоциант отозвался пренебрежительно: весь город знает, что воевода трус. Своими требованиями посулов, поборами и казнокрадством он снискал себе дурную славу. Раньше здесь был на воеводстве Апраксин, но царь вытребовал его в Воронеж – строить корабли. Апраксин забрал из Архангельска с собою многих русских кораблестроителей и моряков-поморов. Теперь те, кто били турок под Азовом, вернулись домой; их, к сожалению, не страшат слухи о грядущем приходе шведской эскадры. Воевода должен бы вести себя умнее, ибо так он только вредит короне: если царь Петр пожелает сменить его и пришлет сюда человека храброго и деятельного, каким был, например, Апраксин, надежды на победу шведов не останутся вовсе.

– Войска короля уничтожат город в любом случае! – резко сказал Лофтус. – Победа нам предопределена провидением, и я не советую вам вмешиваться в замыслы высших сил!..

Мартус лениво усмехнулся:

– Я человек дела и говорю о деле! – сказал он тоном, который показался лекарю наглым. – Ежели мы будем во все наши дела вмешивать провидение и высшие силы, то нам и думать ни о чем не понадобится, ибо думать за нас будут высшие силы. Его величество предполагает своей экспедицией уничтожить русские корабли, разрушить верфи и этим самым прекратить всякие сношения русских с Европой. Московиты предупреждены и хорошо понимают, чем грозит нашествие. Доколе нам считать их за детей? Я здесь давно, хорошо их знаю и говорю вам, только нынче увидевшему город: как бы мы ни готовились и сколько бы пастор Фрич нам ни говорил разных важных слов, дело предстоит крайне трудное, и результаты его зависят не только от воли провидения, но и от нашего разума.

– Что же вы предлагаете? – раздражаясь, спросил Лофтус.

– Я рекомендую найти способ, который дал бы возможность флоту его величества хитростью, а не боем войти в устье Двины, встать на якоря и овладеть городом.

– Я вижу, вы не рассчитываете на силы флота его величества?

– Я знаю, как готовятся к сражению русские. Всегда и во всем я был согласен с гере Дес-Фонтейнесом.

Лофтус поднялся. Он был раздражен.

Во дворе работные люди копали огромные ямы, ставили в углы по столбу, обшивали досками. Лекарь понял: на время трехдневного грабежа негоцианты, не надеясь на свои тайные знаки, собирались спрятать сюда товары.

– Наши матросы догадаются! – сказал он, желая причинить Мартусу неприятность. – Три дня – большой срок. Ужели они поверят, что в таком дворе, как ваш, ничего нельзя отыскать...

– Для тех, кто не поверит, у нас найдется еще и пуля! – ответил Мартус.

На площади конный бирюч, держа в руке палку с жестяным двуглавым орлом, выкликал указ воеводы посадским людям, корабельщикам, негоциантам и рыбакам: в крепость, что строится нынче на Лапоминском острове, никому под страхом лишения живота не хаживать...

Мартус проводил гостя до Воскресенской пристани.

– В крепость! – велел Лофтус гребцам.

Они переглянулись.

– Я сказал – в крепость! – повторил лекарь.

– В крепость никому хаживать не велено! – сказал кормщик, плотный, угрюмого вида человек. – Вон бирюч ездит, кричит...

Мартус спокойно стоял на берегу, ждал, куда отвалит карбас.

– Мне от самого воеводы приказано быть в крепости! – крикнул Лофтус. – Слышишь ли, мужик? От князя-воеводы, вот от кого мне приказано быть в крепости...

Кормщик потоптался, перекинулся словом с гребцами, отпихнул корму баркаса багром. Лофтус помахал негоцианту рукой. В парусе заполоскал ветер...

2. НИКИФОР

Расшифровывали грамоту вдвоем – Иевлев и стрелецкий голова. Сильвестр Петрович работал быстро, споро, легко, полковник от труда побагровел, запутался в буквах. Пришлось дать ему трубку – пусть курит и не мешает.

Таблица лежала от Иевлева слева: буква б – соответствовала щ, в – ш, г – ч, д – ц, ж – х. Иевлев писал твердым почерком странные слова – надо было восстановить тарабарщину в ее первоначальном виде, как получили бумагу каторжане в Стокгольме. С тех пор побывала она и в воде, и рыжее пятно крови растеклось по ее краю, и соленый пот каторжанина развел многие слова.

– Вон оно как, – сказал Иевлев и прочитал: – «Гомашси цощые гилсор лерь иреюк нубти ццапъдак кмизцак а шлегчо гилсор нубти лко целякь...»

Полковник моргал, сипел трубкой.

– Как оно по-нашему получится? – сказал капитан-командор и принялся подставлять буквы. Потом прочитал: «Корабли добрые числом семь имеют пушки двадцать три, а все числом пушки сто десять...»

Стрелецкий голова запыхтел, разглаживая усы. Сильвестр Петрович переводил дальше. В дверь застучали, он крикнул:

– Некогда, некогда, после зайдешь, кому надо...

Дописал грамотку до конца, прочитал ее стрелецкому голове. Тот еще попыхтел, подумал, погодя, не глядя Иевлеву в глаза, сказал:

– Ты вот чего, Сильвестр Петрович... оно как бы половчее вымолвить... может, позабыл ты...

Иевлев, догадываясь, о чем заговорил старик, отворотился: больно было видеть и волнение и смущение Семена Борисыча.

– Нам ноне веры давать не велено, – строго и грустно сказал Ружанский. – Мы здесь-то, в Архангельске, не по своему хотению, а по цареву велению, от Москвы подальше, постылых с глаз долой...

– Да ведь натешили бесей вволю, Семен Борисыч?

– Оно так, всего было...

– Ну?

– Я к тому и говорю, господин капитан-командор, что доверчив ты со мною, тайную грамоту вот прочел, беседуешь почасту, подолгу. Как бы за сию простоту твою со мною да с иными стрельцами не было тебе с самого сверху – остуды. Мы, батюшка, не прощенные, мы за грехи наши сосланные, об том не забывай...

Сильвестр Петрович нахмурился, коротко вздохнул, ответил решительно и даже сурово:

– Пожалуй, вздор несешь, Семен Борисыч. Я человек воинский, не князю-кесарю служу, не Преображенскому приказу, но матушке Руси. Что бесей тешили – за то и крови стрелецкой пролито не счесть. Ныне же ждем свейского воинского разорителя. Тебя, слава богу, и под Азовом люди видели, и под Нарвою честно ты бился. В давноминувшие годы рубил ты и татар и иных неприятелей, – как же мне тебя стеречься, коли ты живота своего не щадил, покуда я и на свет еще не народился? И более о сем говорить не будем, ибо не мочно воинское наше дело работать, коли без веры оно деется в самого близкого по фрунту соседа. Так ведь?

Старик не нашелся что ответить; побагровев откланялся, уехал в город.

Крепостной солдат принес срочное письмо. Сильвестр Петрович сломал печать, прочитал цыдулю прапорщика Ходыченкова, присланную из Олонца. Начальник порубежной заставы писал из Кондушей, что свейские воинские люди числом более тысячи пригнаны в приход Сальми, откуда пойдут они на Олонец жечь, вешать и грабить. Шведы веселы, горя не ждут, думают идти маршем, брать под руку короля Карла Корелию и иные

богатые местности. В заключение своего письма Ходыченков просил дать посланным сколько только можно более доброго пороха, фузей, новоманерных ружей и иного воинского имущества, дабы поучить шведа и не пустить его прорваться через порубежную заставу.

Сильвестр Петрович задумался ненадолго, потом, потолковав с посланными, сам пошел в арсенал – делить свою бедность с солдатами прапорщика Ходыченкова. Делили долго и ругались беззлобно, одному востроносенькому капралу больно уж понравилась малая медная пушечка, все он улещивал Иевлева отдать ее на порубежную заставу и так оглаживал ствол, что Сильвестру Петровичу даже стало смешно. Дал он Ходыченкову и пороху, и изрядных ружей, и фузей, и иных добрых воинских припасов. Солдаты ушли довольные, перемигиваясь на простоту архангельского капитан-командора...

Проводив посланных, пожелав им славной виктории над ворами, Иевлев прошелся по крепости, посмотрел, где что работают, поговорил с инженером Резеном насчет ходыченковского народу и зашел в избу, где лежал беглец с галеры – прозрачный, чистый, неподвижный, как покойник.

– Легче тебе, Никифор? – спросил Сильвестр Петрович.

– А все как и было. Ни лучше, ни хуже. Видать, пора...

– Зачем пора? Отживешь еще.

– Отживу? – Он тихо усмехнулся. – Нет, господин, пора. Да ты садись, буду далее сказывать...

Уже третий день он ровным голосом, спокойно, строю рассказывал Иевлеву страшную свою жизнь.

– Тяжело тебе, я чай?

– Чего тяжелого? Не пни корчевать...

И он заговорил негромко, гладкими фразами, словно бы читая:

– Человек злобен, дик и темен, в злобе своей превышает хитростью наидичайшего зверя. Продавали меня из рабства в рабство шесть раз, и не было так, чтобы сделалось мне лучше, а только лишь горчее и страшнее делалась моя участь. Однажды в Туретчине не уследил я за баранами моего господина, не видел, как лихие люди угнали отару. И тогда тот, кому я был продан после азовского пленения, приказал городскому палачу вырезать мне веко на правом глазе – дабы не мог я больше не видеть. Палач вырезал мне веко, и глаз мой высох. Остался я калекою и вижу теперь только лишь одним левым...

Сильвестр Петрович взглянул на галерного раба. Он лежал неподвижно, только губы его шевелились.

– Так делали из меня цепного пса, но не сделали, потому что непрестанно надеялся я вернуться на свое место, где родила меня матушка, и показать себя людям, дабы видели они, что будет с ними, коли одолеют нас воры шведы...

Дверь в горницу скрипнула, вошла иевлевская дочка Иринка, принесла в кувшине молока немощному. Другая, погодок Верунька, стояла в сенцах, войти опасалась. В руке у нее были две ржаные шанежки да кружка. Никифор отворотился от девочек, чтобы не пугать своим уродством.

Сильвестр Петрович приласкал девочек, вздохнул, представив на мгновение судьбу их, ежели одолеет швед, велел идти гулять. Иринка взяла Веруньку за толстую ручку, повела степенно, притворяясь нянькой... В сенцах вежливо кашлянул Семисадов, – нынче он был первым помощником Сильвестру Петровичу по оснастке брандеров – поджигательных судов. Да и многое в морском деле крепости держалось на нем...

– Чего у тебя? – спросил Иевлев.

– Рога пороховые хотел заливать воском, да воску мало! – сказал Семисадов. – Как быть?

– Успеет. Сядь, послушай!

Семисадов, стуча деревяшкой, сел на полence возле двери, закурил трубку, приготовился слушать. Никифор молчал. Во дворе крепости ухали деревянные тяжелые бабы: загоняли сваи в тонкий грунт. Со свистом зудели длинные пилы; перебивая друг друга,

словно разговаривали топоры. Под раскрытым окошком пробежал с ремешком на лбу, как у работного человека, инженер Егор Резен, за ним шагал голенастыми ногами другой инженер – венецианец Георг Лебаниус.

– Чего опять стряслось? – спросил Сильвестр Петрович в окошко.

Инженеры не услышали капитан-командора, ничего не ответили. С Двины поддувало прохладным ветерком; каменщики, выводя надолбы, пели длинную невеселую песню.

– Ну, далее? – сказал Иевлев.

Никифор вновь лег на спину, протянул руку, лишённую трех пальцев, взял кружку с молоком. Семисадов смотрел на него, морщась, как от боли.

– А был я там наслышан о том, как будут они нас воевать и все государство русское возьмут под свою руку. Был наслышан: покончат они с нами на веки вечные, дабы впредь таких слов даже не было – «русский человек»...

Семисадов потянул из трубки, негромко выругался.

– Ты бы по порядку! – попросил Сильвестр Петрович.

Никифор стал говорить по порядку, от первого дня своего пленения: как продали его в Силистрию, как из Силистрии гнали с другими рабами до самого города Брюгге и как здесь, посулив добрую и вольную жизнь, взяли в моряки на аглицкий корабль большого плавания. Корабль был весь в решетках, в потайном трюме хранились цепи для людей, а для каких людей – то никому не было ведомо. Как оказалось потом, корабль этот принадлежал арматору, который ходил к берегам Гвинеи и в другие места, где жили негры. Этих негров нужно было покорять обманным образом или стрельбою, а затем на арканах приводить на корабль, где их заковывали в ошейники и грузили в трюмы, не имевшие ни одного окошка...

– Какие такие негры? – спросил Семисадов.

– Черноликие люди, – сказал Иевлев.

– Люди?

– За людей они вовсе не почитаются, – говорил Никифор, – и коли кто проведает, что такой полоняник занемог, то для всякого опасения его живого кидают в море акулам, дабы «товар весь не испортить» – как они шутят между собою. Бывало также, что купец живого товару покупал тех негритянских людей у ихнего негритянского царя за бусы, за зеркальца малые, за ножи, за топоры. Потом купец – по-ихнему арматор – привозил мучеников морем в иное место. И те, которые оставались живыми, в кандалах, скованные друг с другом, плетями гнались на торжище, на человеческий рынок. С кобелями злющими на цепи по торгу прогуливались ихние помещики, именуемые плантаторы, которые выбирали себе невольников, работных людей из негров. Те торжища мне вовеки не забыть. Которая женка негритянская в тягости – стоит дороже: как за полтора человека за нее платят. Калеки и убогие стоят дешевле, их плантаторы не покупают, их покупают лекаря, дабы вылечить и продать за хорошую цену.

– А ты чего ж там делал? – спросил Семисадов.

– Матросом был, говорю! – ответил Никифор.

Семисадов покачал головой с укоризною:

– Русский мужик, а сколь сраму на себя принял! – сказал он сурово. – Те негры, небось, на своем-то языке осудили: зачем к нам пришел...

– Неволею, а не сам! – крикнул Никифор. – Нас не спрашивали, чего коришь? Убег бы я, да разве оно легко деется?

Иевлев смотрел в окно, вспоминал, что сам слышал о работорговле в Лондоне, в Гааге, в Амстердаме, в Пилау от тамошних шхиперов и негоциантов: в портовых тавернах за джином и коньяком развязывались языки, мореходы хвастались своими похождениями, золотом, драгоценными камнями, нажитыми в дальних странствиях...

– Убежал потом? – спросил Семисадов.

– Трижды убегал, да не в добрый час, видать, за что наказан был со всей суровостью: в первый раз посадили в железную клетку, и ту клетку трижды с корабельной реи спускали на канате в море. Не чаял живым остаться. В другой раз присужден был аглицким арматором к

килеванию. Перед вечерней зарею в гавани Дувр провели канат под килем нашего корабля с борта на другой борт. Сам арматор с трубкою в зубах вышел на ют – смотреть. На его глазах привязали меня цепью к канату. Семь аглицких матросов со смехом взяли сей канат, сбросили меня в море и зачали протаскивать йод килем. Как чего было – не помню. Сломали мне ногу, и лишился я сознания...

Убежать случилось мне лишь через полгода, другим летом. В гавани Ярмут продали меня немецкие матросы, связанного, в мешке, шведам. В Нордчепинге, в королевстве шведском, убежал я, чтобы идти лесами на Торнео, а оттуда на Ковду и Кереть. Но так не сделалось, а поймали меня воинские люди и погнали рабом на Большую Медную гору, что в стране Делакирии, на рудники, под землею копать медную руду. Оттуда закованными послали нас в Даннамуру – на железные рудники. На пропитание отвар давали ячменный да лепешку ячменную же – на один укус. Били железными палками в палец толщиной, там и остался беззубым. Повстречался я тут с русскими, с полоняниками, и нашел себе дружка – Саньку, курский он, стрелецкого полка солдат. С ним крест целовали, что уйдем, жить так не станем. С ним и на галеры попали...

– Тут ты и услышал про Архангельск?

– Про Архангельск я, господин, услышал ранее, в городе Гефле, где оснащался большой фрегат. Тот фрегат, сказывали галерные рабы, назначен для большого флоту, что пойдет Архангельск воевать. И тогда попросились мы с Санькой на фрегат, надеясь с него выброситься, но нас не взяли, а лишь выпороли кнутами до бесчувствия. Однако господь смилостивился, и галера наша пошла в гавань Улеаборг – отвозила туда некую персону. В гавани сделался на галере нашей пожар и большое смертоубийство, многих наших побили, и Саньку моего тоже – умер он в лесу, в каменном логоу, день спустя. Умирая, дал мне грамоту, чтобы донес, коли доживу. Об тех грамотах и ранее я слыхивал, колодники-каторжане их пуще глаз берегли, да мне видеть не доводилось, что за грамоты. Однако знаю верно, что те грамоты пишут наши русские люди, злую судьбою попавшие в королевство шведское. Тебе еще скажу: колыванец некий много доброго делает, русской матерью рожден, хоть Руси будто бы и не видывал. Слышно про него, что служит трактирным слугою и смел безмерно. Ты об нем не слыхивал?

Сильвестр Петрович ничего не ответил.

– Молчишь? Ну, оно, может, и верно, что молчишь...

– Похоронил Саньку? – спросил Иевлев.

– Похоронил, господин, в логоу, камнями заложил тело новопреставленного раба божия и пошел странником до самого до Сумского острова. Монаху Соловецкой обители открылся – откуда иду и что грамоту имею тайную. Игумен меня благословил со всем поспешанием идти к Архангельску. Дали мне карбас монастырский и сюда привезли...

Никифор замолчал. Семисадов встал со своего поленца, спросил, думая о другом:

– Чего же с воском будем делать, Сильвестр Петрович?

Капитан-командор тряхнул головой, отгоняя невеселые мысли, тоже поднялся. Вышли из избы вместе. Сидя на крыльце, инженер Резен полдничал.

– Шел бы к Маше! – сказал Иевлев. – Она накормит. Какая еда – сухоядение...

Резен усмехнулся, сказал, что и так хорошо.

– Пушки-то с Москвы пришли?

– Фузеи пригнаны да мушкеты, гранат две подводы добрых. Пушек еще мало.

– Фузеи хороши ли?

Резен ответил, что хороши – на удивление. Раньше таких не дельвали. И мушкеты славные, легкие, прикладистые, не хуже люттихских.

Семисадов покуривал в стороне. Иевлев негромко спросил Резена:

– Что венецианец?

– А все то же! – ответил Резен. – С утра закричал мне, что непременно надо быть ему в городе...

Несмотря на то, что они говорили по-немецки, Сильвестр Петрович еще понизил голос:

– Не пускай, пусть хоть как шумит...
– Не пускаю! Только так долго продолжаться не может. Раз не пустил, еще не пустил, потом тоже не пушу...

– Ко мне вели идти, ежели крик поднимет... Пошли, боцман!

Семисадов улыбнулся – один опирается на палку, другой на деревянной ноге...

– Чего больно весел? – спросил Сильвестр Петрович.

– Посмотрел на вас да на себя. Вот и вы с палкой...

– Ништо! – сказал Сильвестр Петрович. – Шведа одолеем, тогда и палку брошу...

На крепостных стенах скрипели немазанные блоки, пушкарки цепями втаскивали наверх коробки с ядрами для пушек, чугуны с порохowymi зарядами, лафеты. Стрельцы меняли караулы на угловых крепостных башнях, по двору грохотали телеги с камнем, с бревнами, с досками. Бородатые каменщики из Соли-Вычегодской, плотники и столяры из Мезени, кузнецы из Вятки, землекопы из Устюга, Тотьмы, из деревень и погостов, рыбаки и промышленники-зверовщики били сваи, выводили бойницы, ставили надолбы, мазали печи под крепостными стенами, чтобы на тех печках варить смолу, жечь ею неприятеля. Мастерские люди из Архангельска здесь же, в крепостном дворе, чинили и ковали наново крюки для абордажного бою, копья, шестоперы, точили матросские ножи, сабли, палаши. Из Пушечного двора на лодьях и карбасах без конца везли все, что там было: старое и новое, ломаное и целое. Все приводили в порядок, – сгодится в грядущем сражении...

В известковой пыли, в скрежете пил, в грохоте, здесь же, под крепостными стенами, поблизости от своих мужиков, женки укачивали ребятишек, кормили их похлебкой, сваренной на тех же кострах, на которых мастерские лили свинец и олово, пели младенцам невеселые песни:

Бай-бай, да еще бог дай,
Дай поскорее, чтоб жить веселее,
Бай да люли, хоть сегодня помри,
Завтра похороны...
Хоть какой недосуг,
На погост понесут;
Матери опроска,
И тебе упокой,
Ножечкам тепло,
И головочке добро.

Семисадов покачал головою, прикрикнул:

– Чего поешь, дурья голова!

– А ты меня не учи! – злобно ответила женка.

Семисадов сказал Иевлеву негромко:

– Намучился народишко, Сильвестр Петрович. Покормить бы получше, что ли?

– А где взять харчей-то? – спросил Иевлев. – В море рыбаки не ходят, народ весь на работы согнан, во всей округе не пахано, не сеяно...

– Помирают много, – опять сказал Семисадов. – Лихорадка бьет, цынга тож. Кто занемог – на корье не больно поправится...

Сильвестр Петрович сжал зубы, шел, не оглядываясь на Семисадова. У амбара с воинскими припасами сказал:

– Зайдешь ко мне в избу попозже, я денег дам, в Архангельске на торжище купишь требухи. Посвежее ищи. Щей наварят трудникам...

Семисадов угрюмо ответил:

– Разве сим поможешь, Сильвестр Петрович? Ну день, ну два, а далее что? Опять голодуха? Вор на воре сидит, воров подпирается...

– Вешать будем! – сказал Иевлев. – Головы вора рубить. Нам нынче не до шуток!

Ежели человек такой нашелся, что работных людей обворовывает, петлю ему на шею, и весь сказ...

Он вынул из кармана большой ключ, велел караульщику отойти, отворил тяжелую дверь. Семисадов свистнул в два пальца, по свистку прибежал амбарный приказчик. Стали мерять оставшийся воск. Покуда меряли, Семисадов сказал:

– Всякого-то не вздернешь на сук, Сильвестр Петрович. Который поплоче да грошами ворует – того вздернуть дело нехитрое. А вот который на каменные палаты золотом гребет – как его ухватить? Скользкий, небось...

– Ты про что? – спросил Иевлев.

– Сами знаете...

– Больно разговорчив стал, боцман! – сказал Сильвестр Петрович. – Язык долог...

– Народ говорит, не я один! – усмехнулся Семисадов.

– Хватит! – приказал Иевлев.

Семисадов замолчал. Лицо его стало замкнутым. Когда Иевлев ушел из амбара и шаги его затихли вдалеке, приказчик сказал шепотом:

– Как бы воеводу нашего, прости господи, не зашибли ненароком. Лютует народишко повсюду...

3. ЕЩЕ ШПИОН!

Крепостные караулы стояли вверх и вниз по Двине на протяжении всего острова Лапоминского, на котором строилась цитадель. В тылу крепости, там, где раскинулись топкие болота, в гнилых низинах, Иевлев распорядился выстроить две караульные вышки. Там круглосуточно дежурили солдаты, с которыми проходил учение Афанасий Петрович Крыков. Он же ведал всей охраной постройки цитадели и на Лапоминском острове и на Двине, где наряжен был постоянный караул из матросов, имевших четыре удобные для такого дела ходкие лоды. Чужих к крепости не подпускали никого. Ежели кто шел на веслах водою, приказывали поднять весла, если парусом – издали давали предупредительный выстрел – стой! На крепостных карбасах, что возили из города кирпич, бутовый и тесаный камень, железо, известь, глину, гвозди, боевые припасы, были малые опознавательные прапорцы, но и прапорцам не слишком верили, опрашивали кормщиков поименно, обыскивали груз, отбирали бирку. Только тогда судно допускалось к берегу. Здесь тоже стояли матросы-караульщики в вязаных шапках, при палашах, строгие и неразговорчивые.

Карбас воеводы подошел к Лапоминскому острову незадолго до вечера, когда барабаны в крепости уже пробили смену работным людишкам. Издали лекарь Лофтус ничего особого не приметил: цитадель большая, с выносными бастионами, с боевыми башнями, на одной из которых уже развевался, шелкая на ветру, морской флаг. Далее за березками виднелся подъемный мост, по которому сновали плотники с топорами и откуда доносились удары молотов – кузнецы натягивали железные цепи. Более ничего Лофтус увидеть не успел, потому что матрос-караульщик без всякой вежливости взял его грубыми пальцами за нос и повернул ему голову в другую сторону.

– Туды гляди, – велел он со смешком. – А на крепость глядеть нечего – оскоромишься!

Лофтус топнул ногой, закричал, матрос спокойно пригрозился:

– Лаяться будешь, неучтивец? В трюм посажу, там прохладнее...

Лекарь замолчал. Над Двиною пищали комары, больно кусались. Карбас медленно покачивался на воде, с цитадели донесся звук трубы, потом опять все затихло.

– Долго вы меня будете тут держать? – спросил лекарь.

– А разве дело твое спешное? – участливо спросил матрос.

Лофтус воодушевленно объяснил, что дело крайне спешное, на цитадели много недужных, надо их по-христиански пожалеть, облегчить им страдания. Кроме того, есть на цитадели человек именем Никифор – великий страдалец. Князь-воевода велел помочь...

– Жалеете вы нашего брата, как же! – сказал матрос. – От вас дожدهшь...

Кругом засмеялись недобрым смехом. Лофтус прижал руки к груди, сказал текст из священного писания – о добре.

– Заткнул бы глотку! – посоветовал ему кто-то грубым голосом.

Лекарь обиженно замолчал, щелкая комаров на шее и на щеках. Всю ночь провел он под арестом в деревянном балагане, построенном над самой Двиной. Хотелось пить, но водой из ушата, стоящего на лавке, лекарь брезговал. Хлеба, что ему принесли, он тоже есть не стал. Другие, что были задержаны караульщиками, поели хлебushка, попили водицы и полегли спать. Лекарь же не спал, шепча под нос оскорбления, которые скажет он наглому капитан-командору. Но оскорбления высказать не удалось.

Утром его вывели к офицеру. Капитан-командор, садясь в карбас, сказал ему, что здесь лекарю делать нечего, что иноземцев он сюда не пустит ни одного и чтобы лекарь забыл сюда путь на веки вечные под страхом лютой смерти.

– Но сам князь-воевода направил меня к вашей милости! – по-английски воскликнул Лофтус.

– Здесь я начальник! – по-русски ответил Иевлев.

– Воевода – начальник над вами.

Офицер промолчал, с усмешкою глядя на Лофтуса.

– Я должен быть в крепости.

– Вы не будете в крепости. Уезжайте и забудьте сюда дорогу, иначе вам будет вовсе худо...

И офицер повернулся к мужикам, которые ночевали вместе с Лофтусом в балагане. Мужики поклонились низко, офицер велел их отпустить. Лекарь все еще не двигался с места. Тогда офицер сказал:

– А ну, ребята, посадите его в карбас!

Два матроса огромного роста подошли к нему, взяли за плечи. Лофтус, потеряв власть над собой, извернулся, хотел драться. Тогда его толкнули шибче. Парик с него слетел, матросы и мужики громко хохотали. С башни цитадели бесчестье лекаря видел инженер венецианец Георг Лебаниус...

– О, нравы московитов! – сказал он позже Резену. – Как они поступили, эти матросы, с бедным лекарем, прибывшим сюда из милосердия.

Егор Резен прищурил глаза, сказал насмешливо:

– Тут, господин Лебаниус, что ни иноземец, то шпион. Подождите, еще головы полетят с плеч, истощится у русских терпение...

Венецианец пожал плечами. Егор Резен беззаботно мурлыкал песенку о двух любящих сердцах, мерил циркулем расстояние от главного пушечного вала до фарватера реки, говорил будто между прочим:

– Удивления достойна человеческая натура. Чуть что, готовы мы всячески поносить дикость нравов московитских, но кто из нас удивляется тому, что торгуют просвещенные наши европейцы душами человеческими? Давеча вы, на рассказ мой о страданиях и муках того галерного пленника, что лежит в госпитале, изволили выразиться, что не видите в судьбе его ничего особо примечательного; повесть о торговле неграми, которую изложил вам капитан-командор, ничем вас не поразила. Но что вытолкали в вашей отсюда еще одного праздношатающегося лекаря – удручает ваше сердце...

Резен опять засвистел, поставил номера пушек на валу, перебелил чертеж и, забыв его на столе, вышел на крепостной двор. Венецианец поглядел ему вслед, заглянул в чертеж, подумал, вынул из кармана записную книжку в толстом свиной кожи переплете и, держа ее в руках, стал делать заметки гусиным пером. В это мгновение Резен неслышно появился в низком окне. Венецианец не заметил, не ждал его оттуда. Резен смотрел долго, поджав губы, сложив руки на груди, смотрел до того времени, пока венецианец не спрятал книжку.

Погодя, он спокойно вошел в горницу, сел на лавку, вытянув ноги в рыбацких бахилах, и стал набивать глиняную трубку черным крепким табаком. Венецианец чертил опускной механизм для цепного цитадельного моста.

– Дайте-ка мне вашу книжку в переплете из свиной кожи! – спокойно сказал Резен.

Венецианец стал бледнеть.

– Мне нужна ваша книжка! – повторил Резен.

Венецианец выронил угольник, лицо его сделалось пепельным. Иевлев в дверях сказал кому-то, кто пришел вместе с ним:

– И под окошко караульного поставь. Чтоб никто сюда не ходил!

Инженер упал на колени. Он трясся и долго не мог выговорить ни одного слова. Сильвестр Петрович не торопил его, ждал. Егор Резен курил свою трубку, глядел в сторону.

– Пушечный мастер Реджер Риплей принадлежит к вашему сообществу? – спросил Иевлев.

– Я и он – да! – сказал венецианец. – Он и я.

– Кто стоит над вами?

– Того нет. Он уехал и не вернулся.

– Лекарь Дес-Фонтейнес?

– Лекарь Дес-Фонтейнес.

Сильвестр Петрович неторопливо, лист за листом, просматривал записную книжку венецианца. Вот нарисован лебедь, но это не лебедь, а Новодвинская цитадель. Взглядом строителя он уловил точность снятых размеров: травка – это северная, восточная и южная стороны крепости, где роют сейчас водяные рвы. Вот и ширина рвов замечена в углу странички – три сажени. Вот домик с наличниками и ставенками – пустычная якобы картинка, а это не картинка, это крепостной равелин...

– Зачем приезжал сюда иноземец Генрих Звенбрег? – спросил Иевлев.

Венецианец не смог ответить, так колотила его дрожь.

– Говори! – крикнул Сильвестр Петрович. – Говори, или убью сейчас на месте!

Венецианец заговорил, плача и всхлипывая: он еще ничего не успел отослать из того, что тут в книжке. Или почти ничего. Очень мало, во всяком случае... Генрих Звенбрег был арестован до того, как они увиделись.

Иевлев слушал не перебивая, лицо его с жесткой складкой у рта было особенно бледно, синие глаза неотрывно смотрели на венецианца. За открытым окном двинский ветер вздымал известку, в клубах известковой пыли четыре каменотеса пронесли на полотенцах открытый гроб, из которого торчала русая бороденка веселого каменщика из Чаронды – Гаврюшки Хлопотова, помершего нынче в крепостном госпитале от грудной болезни. За покойником, воя, хватаясь за гроб руками, шла простоволосая женщина – вдова, стряпуха артели. Старенький крепостной попик, в съехавшей на одно плечо позеленевшей ризе, в скуфейке, нетвердо ставя больные ноги, помахивал кадиллом и надорванно пел: «Со святыми упокой... иде же несть болезнь, ни печаль, ни воздыхания». А жизнь в крепости шла своим чередом – били сваи, визжали пилы, грохотали молоты кузнецов.

– Иди, Егор, я тут и один управлюсь! – сказал Иевлев.

Резен вышел, закрыв за собой дверь. Иевлев все вслушивался, не донесет ли ветер старческий голос попика, провожающего в последнюю дорогу Гаврюшу Хлопотова. Но за визгом пил и грохотом кованых колес во дворе уже ничего не было слышно.

Венецианец все говорил, – теперь он не мог остановиться.

– Еще в те времена, когда я только собирался ехать в варварскую Московию, – услышал Иевлев, – еще тогда, когда мои близкие не советовали мне пускаться в столь опасный вояж...

Сильвестр Петрович, неподвижно глядя на венецианца, достал из широкого нагрудного кармана пистолет, ощупью подсыпал на полку порошу... Венецианец, пятясь, пошел к двери, закричал, замахал руками. Иевлев поднял руку, прицелился, синие его глаза смотрели беспощадно, и венецианец внезапно смолк, стал оседать на колени...

Дверь дернули из сеней, Иевлев не успел выстрелить. Широко шагая, в горницу вошел Крыков, огляделся, взял пистолет из рук Сильвестра Петровича, дал ему попить воды. Венецианца увели.

– Чудом не убил! – говорил Иевлев, успокаиваясь. – Чудом! Варварская Московия, а? Варварская! Это за то, что кафтаны носим иные, за то, что едим не по-ихнему. И кто варварами обзывает? Шпион, человек без чести и совести. Ох, Афанасий Петрович, вдвое нам берегтись против прежнего надобно, вдвое, втрое, вчетверо. Иначе – гибель...

Афанасий Петрович молчал, слушал, в глазах его светилось участие.

– Устал я! – сказал Иевлев. – Страшно не верить, а надо. Нынче лекаря прогнал, от воеводы лекарь, я не поверил, и верно сделал, что не поверил. Венецианец сознался: прежний лекарь и был у них за начального человека... Все кругом куплено. А наши мужики здесь мрут, кормить их нечем, кормовых нет. Что делать, Афанасий Петрович?

Крыков молчал, лицо у него тоже было усталое, небритое; сапоги, рейтузы, плащ – в грязи.

– Как жить-то будем? – спросил Иевлев.

Крыков не сразу ответил, рассказал, что в городе плохо, ходит такой слух, будто иноземцы взяли вместе с воеводой князем Прозоровским всех русских извести, для того свои подворья окапывают, новые частоколы ставят, в своей церкви в неурочное время молятся. Говорят еще, что думный дворянин Ларионов с дьяками тайно людей имает и те люди под пытками других обносят, съезжая полна народишком и ожидает архангельский люд страшных казней. Говорят также про воеводу, что нарочно он рыбарей в море не пускает, дабы рыбой не запасались, а чем кормиться, как не рыбой? Конный бирюч непрестанно по Архангельску ездит и государевым именем выкликает воеводский указ: в море для бережения от свейских воинских людей никому не бывать под страхом кнута, дыбы и петли.

– Петли? – переспросил Иевлев.

– Петли, сам слышал, Сильвестр Петрович, своими ушами.

– Азов проклятый! – негромко молвил Иевлев. – С тех пор он такую власть забрал, с Азова...

Хрустнул пальцами, поднялся с лавки:

– Пойдем, Афанасий Петрович, сходим в город. Людей возьми своих посмышленее. И я матросов прихвачу...

Крыков ждал у ворот цитадели. Иевлев зашел в свою избу, к жене. Маша месила тесто, девочки играли на полу с лоскутными куклами. Сильвестр Петрович обнял жену за плечи, посмотрел в ее ясные глаза, сказал шепотом, чтобы дети не услышали:

– А я, Маша, сейчас едва человека не убил...

Машины глаза округлились, брови испуганно дрогнули:

– Правду говоришь?

– Шучу, шучу! – быстро ответил он. – Как бы только не дошутиться когда. Ох, Машенька...

4. ТРУДНОЕ ЖИТЬЕ

У Воскресенской пристани, огороженной нынче в ожидании свейских воинских людей надолбами, под грозными стволами пушек цепочкою стояли стрельцы воеводы Прозоровского, многие с пищалями, иные с мушкетами. Был торговый день – по Двине шли лоды, карбасы, шитики, кочи. Причаливать нигде, кроме как к Воскресенской пристани, не позволялось. Здесь, на холодочке, стоял стол, за столом позевывал дьяк Абросимов. Сначала Иевлев с Крыковым даже не поняли, зачем поставлен строгий караул и что за вопли несутся из толпы стрельцов. Подошли поближе, раздвигая, расталкивая людей с испуганными лицами. Дьяк Абросимов поклонился, разъяснил, что-де по добру бороды не режут, боярин велел нынче резать силою. Здесь же на коленях стоял портной с ножницами – резал кафтаны выше колен, как было сказано в указе. К портному двигалась очередь, мужики вздыхали, один негромко пожаловался Иевлеву:

– Худо, господин. У кого мошна тугая – откупится, заплатил за бороду да за кафтан и

пошел гуляючи, а нам погибель...

Матросы, таможенные солдаты хмуро смотрели на мужиков, на воющих баб. Одну стрельцы потащили силою из карбаса, она опрокинула короб; луковицы, что везла на торг, высыпались в реку. Мужик в лодье, увидев, что делается, отпихнулся багром. Стрельцы побежали за ним по мелководу, поволокли за бороду, мужик стал драться, ему скрутили руки.

– Не по добру делаешь, дьяк! – крикнул Иевлев. – Не гоже так! Ладно, выберу время, ужо потолкуем!

Дьяк обиделся, лицо его скривилось, заговорил визгливо, плачущим голосом:

– Не по добру, господин? А как по добру делать, научи! Где денег брать на цитадель твою? Кормовые нам с Москвы, что ли, шлют? На Пушечный двор кто будет платить? Абросимов да Гусев? А где они возьмут? Нет, ты стой, ты слово сказал, ты и слушай. Хлебное жалованье давать стрельцам велено? А где его взять? Которые солдаты в свейский поход набраны – детишкам их и сиротам по гривне платить надобно? А где взять?

– Воровать надо поменее! – сказал Крыков. – Вон избы какие себе понастроили – дворцы, а не избы...

Абросимов вздохнул:

– Кто богу не грешен? Кто бабке не внук?..

– То-то, что не грешен, да грех больно велик!

Дьяк опять вздохнул покаянно.

– Вздыхай, вздыхай, бабкин внук!

Когда миновали пристань, Крыков сказал задумчиво:

– А ведь он не врет, Сильвестр Петрович. Татьба татьбой, что воевода не подобрал – то они сорвут, об этом и речи нет, а насчет цитадели, и Пушечного двора, и хлебного жалованья, и сиротских гривен – все верно!..

Иевлев шел опустив голову, тяжело опираясь на трость.

– Денег-то вовсе нет! – говорил Крыков. – Ты, капитан-командор, в городе редко бываешь, а на торгу нынче, знаешь, каковы денежки ходят? Разрубят монету на четыре части – вот тебе и плата. Да вместо серебра кожаные жеребья поделали. Как до Архангельского города золото али серебро доехало – так сразу и пропало: иноземцы хватают.

Унтер-лейтенант Аггей Пустовойтов сердито вмешался:

– Вовсе житья не стало, господин капитан-командор. Воет народ. С бани в сие лето по рублю и по семь алтын дерут, с погребов – по рублю, с дыма – по гривне, валежных – по пять денег, от точения топора – гривна. Где такое слыхано? А коли сам топор поточишь – батоги: казну, дескать, обокрал. Гривну, говорит, сиротам за свейский поход, слышали? Ни единой гривны еще не дали, а которая вдова за дым, али за погреб, али за баню не заплатит – берут за караул и бьют на правеже по ногам палками. Как жить станешь? Рыбаков нынче в море никого не пускают, а лодейные берут по три рубля со снасти...

Иевлев шел, стараясь не встречаться глазами с Аггеем. По узкой Пушечной улице двинский ветер гнал пыль, золу. Неподалеку за тыном два голоса выпевали злую песню:

Не для про меня, молодца, тюрьма строена,
Одному-то мне, доброму молодцу, пригодилася:
Сижу-то я в ней, добрый молодец, тридцать лет,
И тридцать лет и три года...

– Весело живем! – сказал Крыков.

– Да уж чего веселее! – отозвался Аггей Пустовойтов.

Навстречу, молчаливые, сурово поджав губы, прошли местные негоцианты – бременцы, голландцы, англичане, в чулках, в туфлях с бантами. Пастор Фрич надменно поклонился Иевлеву, англичанин Мартус остановился для короткой просьбы. Таможенные матросы и солдаты тоже остановились, неприязненно поглядывая на иноземцев.

– Слушаю вас, сэръ! – сказал Иевлев.

Мартус почтительнейше изложил свое дело: он уполномочен шхиперами пришедших негоциантских кораблей просить достоуважаемого капитан-командора позволить кораблям вернуться на родину. Торга в сем году, разумеется, не будет. Россияне берегутся шведа, пасты иноземцам на въезд во внутренние области Московии капитан-командор тоже не дает. От того – большой убыток торговле. Выполняя обязанности торгового консула некоторых государств, он, Мартус, убедительно просит господина капитан-командора разрешить негоциантским кораблям покинуть Архангельск и выйти за шанцы в море.

Иевлев улыбнулся.

– Помнит ли господин консул негоцианта Уркварта? – спросил он, словно желая поделиться веселой новостью.

Мартус ответил, что, конечно, помнит: такой маленький, толстенький, добрый человек. Он не только помнит, они были хорошими друзьями. И конвое Голголсена он тоже помнит – истинный моряк. Иевлев на лету подхватил слова Мартуса о конвое Голголсене. Кто может спорить с таким утверждением? Действительно, конвой Голголсен – истинный моряк.

Пастор Фрич подошел поближе, услышав имя Голголсена.

– Не только хороший моряк, но и верный христианин! – сказал он. – Всегда, приходя с кораблями, он усердно молился...

Иевлев кивал задумчиво:

– Да, да, именно так, именно так. Вот они и командуют теперь шведскими кораблями, которые должны разорить город Архангельск. Шхипер Уркварт бывал здесь как негоциант, как добрый друг, конвой Голголсен сопровождал корабли, охранял от морского пирата. Они знают фарватер, знают город, у них есть тут знакомые, вот они и собрались опять сюда...

Сильвестр Петрович развел руками, с учтивостью поклонился Мартусу:

– Скорблю, сэръ, но выпустить корабельщиков не могу. Лишен возможности доверять...

Поклонился и пастору Фричу:

– Да, господин пастор... Кто бы мог тогда подумать о недружелюбии господина Голголсена?

Поклонился остальным иноземцам:

– Добрый день, господа...

Мартус переглянулся с пастором, сказал угрожающе:

– Моряки будут крайне недовольны, господин капитан-командор. Они выйдут на берег и устроят дебош в городе.

Сильвестр Петрович ответил не сразу:

– Я бы им не советовал дебоширить, сэръ. Я бы, на вашем месте, именем консула запретил им вести себя нескромно. Мы находимся в ожидании врага. Повсюду у нас караулы. Мы не потерпим никаких неучтивостей...

– Моряки дружественных держав, господин капитан-командор! – заметил Мартус.

– А ежели они моряки дружественных держав, то пусть себя и держат как дружественные! – сказал Иевлев и продолжал свой путь.

– Об чем толковали столь продолжительно? – спросил Крыков, когда иноземцы исчезли за углом.

Иевлев подробно рассказал Крыкову и Пустовойтову, о чем шла речь.

– Поставишь матросские караулы! – приказал Аггею Иевлев. – Сам, дружок, нынче не поспишь! И ты, Афанасий Петрович, свой народ, который поспокойнее и понадежнее, дозорами выведешь на пристани и в прочие людные места. У кружала караулу быть всю ночь. Коли что зачнется, пусть сами на себя пеняют, а зачнется, как я думаю, непременно...

– На Москву опять жалобы отпишут! – сказал Крыков.

– Двум смертям не бывать, а одной не миновать, Афанасий Петрович. И еще помни: много на Руси русских, и не все ябеды иноземцев непременно ход получают. Научены мы немало. Стучи, Аггей!

Аггей Пустовойтов взял молоток, застучал в чугунную доску на воротах Пушечного

двора. Сильвестр Петрович вошел первым, за ним, придерживая шпаги, шли Пустовойтов, Крыков. Пушечный мастер Реджер Риплей встретил гостей любезными поклонами и повел их к себе в очень чистую горницу – пить пиво. Сильвестр Петрович отпил несколько глотков, посмотрел на пушечного мастера своими яркосиними глазами, сказал приветливо:

– Господин мастер, ваш друг господин Лебаниус шлет вам наилучшие пожелания. Мы бы хотели, чтобы вы составили нам нынче кумпанию и отправились на цитадель.

Реджер Риплей был осторожным человеком. Он ничем не выразил свое удивление. Он даже как бы не решался оставить Пушечный двор. Но Иевлев утешил его: он нашел все в таком добром порядке, что пушечный мастер вполне мог отлучиться на два дня.

Вместе они обошли все закоулки двора. Невысокий, очень худой, сутуловатый мужик, в рубахе распояской, с напряженно светящимся взглядом сопровождал их повсюду, и было видно, что он знает пушечное дело не хуже, нежели мастер Риплей. Да и сам мастер отозвался о нем с похвалой.

– Подойди сюда, Федосей! – сказал он. – Вот человек, по прозвищу Кузнец, господин капитан-командор. Со временем из него будет добрый пушечный мастер. К сожалению, он не всегда и не во всем меня слушается и имеет своего мнения больше, чем ему может позволить его знание искусства...

Кузнец взглянул на Риплея презрительно и умно, точно понимал чужеземную речь.

– Останешься за мастера! – по-русски сказал ему Иевлев. – Управишься?

– Управимся! – спокойно ответил Федосей.

Риплей на карбасе отправился в цитадель под стражей из трех толковых матросов, которые знали, как с ним там распорядиться. Когда карбас отваливал, он обеспокоился, но было уже поздно.

Сильвестр Петрович в это время говорил Кузнецу:

– Мистер Риплей останется в цитадели, будет там долго. Тебе, друг, тут пушки лить, ядра; покуда шведа не прогоним, будешь на дворе за хозяина. Говори по чести, верно говори, время не для шуток: все ли ладно сделаешь?

– Сделаем! – спокойно ответил Кузнец. – Верно говорю! Будь в надежде!

5. НОЖ МЕТНУЛИ...

Возле Семиградской избы сидели, стояли, лежали сотни людей, нагнанных приказом, чтобы крепить остроги – Кольский, Сумский, Пустозерский, Кемский, Мезенский, Соловецкий монастырь тож. Народ из Устюга-Великого, из Вятки, Соли-Вычегодской, Тотьмы, Чаронды, Кевролы, Мезени маялся в огромном дворе, работные десятники перекликали своих людей, будили уснувших пинками, бранились в испуге, заранее предчувствуя расправу, прикидывали в уме беглых, божились приказчикам, сотским, дьякам. Здесь же, во дворе Семиградской избы, у амбарушек, женки-стряпухи, пришедшие пешим ходом вместе с артелями мужиков, получали харчи: хлебушко ржаной, овес, молотое корье для доброго припеку, соль, горох, уксус, соленые бычьи уши с хвостами, требуху, вяленую рыбу, лампадное масло, дабы не забывали в дальних острогах артели молитву.

Амбарщик, юркий мужичонка, норовил обсчитать, подсунуть чего потухлее. Стряпухи сначала пытались упросить добрым словом, потом визжали, скликали своих мужиков в помощь; мужики, злые, невыспавшиеся, шли драться, да шалишь – из амбарушки выглядывал стражник с алебардою, рыжий детина с кислым взглядом, в дощаных доспехах, чтобы кто не пырнул ножом. Посапывая, приказывал:

– А ну, тараканы, по щелям!

Мужики почесывались, переглядывались. С таким свяжись! Амбарщик, не теряя времени, обвешивал, обсчитывал, приговаривал:

– Мы миром, миром, по-хорошему, по-доброму. Разве мне для себя чего надо? Вот хлебушка пожевал, и слава богу – сыт, веселыми ногами пошел. Принимай, матушка, рыбинку. Соль принимай. У нас по весу, все у нас, слава богу, все как надо...

Отсюда, пересчитав своих людей, десятские выводили артели на карбасы, на посудинки, на прочие суда; вздевали парус на мачте; крестясь, оглядывались на маковки архангельских церквей. Суда шли по острогам, на тайные аппроши, что воздвигались по двинским островам, на редуты, на укрепления, где должны были ставиться пушки. Женки и мужики, не выдавшие большой воды, тараша глаза глядели на двинские волны, а в море и вовсе валились с ног и при каждом ударе взводня отдавали богу душу. А лихие беломорские кормщики только похохатывали да круче клали руль, позабористее упражнялись в моряцком празднословии: грешен человек, любит посмеяться, попугать да пошутить.

Здесь, во дворе Семиградской избы, за эти месяцы прожил Сильвестр Петрович как бы несколько жизней. Тут падали ему в ноги, со слезами просили отпустить к своему хозяйству, хватая за кафтан, жаловались на неправды и утеснения. Здесь он искал обидчиков, здесь судил своим скорым судом мздоимцев и воров, здесь видел горящие злобой глаза – и понял, как мало он может сделать своим судом, своими расправами, своими попытками жить по правде. С каждым днем жалоб делалось все больше, казнокрадствовали все хитрее; надо было либо бросить строение цитадели и только разбираться в воровствах и мздоимствах, либо махнуть на неправды рукою и делать свое дело – строить цитадель.

Махнуть рукою на воровство и обиды не было сил; подолгу искал он причину, виновников постоянного голода работных людей, видел, что его обманывают, терял спокойствие, приходил в бешенство, потом корил себя. Вслед ему посмеивались: «Не пойман – не вор!» Обиженные вздыхали: «Разве вора и обидчика эдак возьмешь! Оно вон куда идет – к боярину воеводе. Снизу доверху рука руку моет!»

С течением времени Сильвестр Петрович стал куда молчаливее, чем был раньше, куда реже смеялся, жил, поставив себе одну цель: отбить от Архангельска вора шведа! Отбить во что бы то ни стало, помереть здесь самому, но позора не допустить...

Спал мало, что к обеду ставили на стол – не замечал. Теперь он не отворачивался, когда видел покойника во дворе Семиградской избы, не бледнел, когда юродивые или кликуши сулили ему, бритомордому табакуру, припечатанному антихристовой печатью, геенну огненную, лютые муки кипения в смоле. Так они и должны были о нем думать. Кто он им? Попозже, авось, поймут, со временем простят.

И все-таки горько было на душе...

Однажды, когда в сумерки туманной весенней сырой ночи выходил из Семиградской, кто-то ловко метнул в него хорошо отточенный нож с тяжелой костяной ручкой. Попади – ослеп бы, – так близко от глаза вонзился нож в резную балясину крыльца. Сильвестр Петрович послушал, как убегает тот, кто хотел его убить, взял нож себе на память. Когда вернулся домой, Иринка и Верунька не спали, он погладил их легкие волосики, подумал с тоской: «Остались бы без отца. А за что?»

Как-то в добрый час рассказал об этом Маше. Она всплеснула руками, заплакала:

– За что?

Сильвестр Петрович ответил хмуро:

– То-то – за что, Машенька? Я им разоритель, я им обидчик лютой. Гоню от сел, от пашен, от лугов, – на строение неведомой цитадели, люди мрут, накормить нечем. Сколь горя нестерпимого приношу! Сколь слез по моему наущению пролито!

– Да как же быть-то? – прошептала Маша.

– Им, трудникам, – обидчик, – хмуро, ровным голосом продолжал Иевлев. – И вора – обидчик! Не даю воровать, грожу виселицей, застенком, сам дерусь, – тоже враг злой...

Попозже Маша при Афанасии Петровиче ласково попросила мужа надеть под кафтан панцырь. Крыков посмотрел на Машу, спросил:

– От кого панцырь-то?

– Не от добрых людей, вестимо! – ответила Маша. – От лихих...

– Не лихие они – горькие! – сказал Афанасий Петрович. – Сколь человек терпеть может? В испуге ума, не ведая, что творит, метнул нож по наущению такого же горемыки...

Сильвестр Петрович быстро взглянул на Крыкова; лицо у Афанасия Петровича было невеселое, плечи опущены. Большой сильной рукою он стискивал вересковую трубочку.

– Все ли горькие? – усомнился капитан-командор. – Может, есть и лихие на белом свете?

– Разные есть! – медленно ответил Крыков. – Разные, Сильвестр Петрович, да горьких куда более на свете мается, нежели лихих злодействует...

Поручик Мехоношин в тот же день пригнал во двор Семиградской избы таких вот горьких бродячих мужиков человек семьдесят. Мужики были оборванные, изголодавшиеся, затравленные. Мехоношин гонял их, словно зверей, гонял давно – и в бору, и по Двине, и за Холмогорами. Никто его к этим подвигам не понуждал, действовал он от себя, и нельзя было понять, зачем он отправился на эдакий промысел.

– Вишь, каковы! – говорил он про мужиков. – Разбойники. Я-то знаю, такие пускают петуха по боярским вотчинам. Ярыги, крапивное семя. У нас на Волге братец мой их собаками травит, а позже – батогами, чтобы присмирели...

Он сидел отваясь, сытый, в завитом заморском парике, в кружевах, выхвалялся перед Иевлевым и Крыковым, обижался:

– Нелегкое дело совладать с сим зверьем. А возвратился, и никакого к себе расположения не замечаю. Сильвестр Петрович даже спасибо не сказал, капитан Крыков сидит отворотившись, не смотрит...

Крыков поднял голову, заговорил грубым голосом:

– Не расположен я твои орации слушать, господин поручик, да еще за увраж почитать то, что есть для меня не более, как мерзость. Что ты там ранее дельвал на Волге с братцем твоим – мне слушать не надобно, а здесь крепостных нет, здесь, слава богу, народ вольный, и не тебе свой порядок наводить...

Мехоношин с кривой улыбкой перебил:

– Поелику ты, господин капитан, сам низкого звания – сии мужики тебе друзья, ты об них и хлопчешь...

Сильвестр Петрович ударил по столу ладонью, прикрикнул:

– Довольно вздор молоть, поручик! И впредь без моего указа ловлею людей заниматься не изволь! Не об сем нынче думать надобно! И встань, когда я с тобой говорю!

Мехоношин медленно поднялся с лавки. Иевлев, задыхаясь от ярости, затряс кулаками перед самым носом поручика:

– Опять вырядился, словно девка? Офицер ты есть али обезьяна заморская? Коли еще раз в сем обличий увижу – быть тебе в холодной за решеткою не менее чем на три дня! Запомнил?

– Запомнил! – с перекошенным злобою лицом ответил Мехоношин.

Вышли на крыльцо, на то самое, где весною метнули в Сильвестра Петровича ножом. Мужики, окруженные конными драгунами, кто сидел, кто лежал на низкой, вытопанной, чахлой траве. Солнце уже садилось. Лениво мычали за частоколом Семиградской избы коровы, и тонко бляели овцы, сухо, словно выстрелы, щелкал пастушеский кнут. Драгуны, истомленные усталостью, дремали в седлах.

Сильвестр Петрович, опираясь на трость, неловко передвигая больные ноги, спустился с крыльца, рукою отвел с пути морду драгунского коня, встал среди мужиков. Один ел корку, полученную Христа ради, пока гнали через город; другой, тяжело дыша запекшимся ртом, неудобно повернув голову, перевязывал себе тряпкой раненое плечо: третий, громко хрупая белыми зубами, жевал капустную кочерыжку. Еще один – черный, всклокоченный – что-то быстрым шепотом говорил своему соседу, указывая глазами на Крыкова.

– Вот что, мужики! – сказал Иевлев. – Кто вы такие – мне дела нет. Отчего по лесам хоронитесь – знать не хочу. Одно приказываю: становиться всем, кто на ногах держится, работать. Есть такие, что ремесла знают? Плотники есть? Каменщики? Столяры? Шорники?

Мужики молчали, исподлобья поглядывая на Иевлева.

– Чего с ними растарабаривать! – зло крикнул Мехоношин. – Всыпать каждому по

сотне – шелковыми поделаются...

– Еще погоди – встретимся! – посулил черный мужик Мехоношину. – Попомнишь слова сии!

Крыков подошел к Сильвестру Петровичу, сказал негромко:

– Дозволь мне с ними, господин капитан-командор. Я сделаю. Тихо будет и все как надо. Убери, для бога ради, поручика Мехоношина от греха подальше...

Иевлев велел Мехоношину идти отдыхать, сам прошел к частоколу. Крыков сел среди мужиков на пиленные доски, драгунам приказал ехать за своим поручиком, от капрала принял ведомость, сколько числом взято беглых. Имен в ведомости не было, – капрал сказал, что беглые имена свои открывать не хотели.

– Ладно, дело невеликое! – ответил Крыков.

Уехал и капрал. Черный мужик – Молчан – подсел к Афанасию Петровичу.

– Делай как скажу! – шепотом приказал ему Крыков. – На Марковом острове нынче ставить будем столбы, на столбах – вертлюги, на тех вертлюгах – цепи. Цепями перегордим Двину от Маркова до самой цитадели. Сбери артель, всех, кто твои люди; сидите тише воды ниже травы, нынче же вас туда облажу. Там вам и харчи пойдут казенные и воеводским людишкам туда ходу нет. Работайте по добру, понял ли?

Молчан кивнул, сказал тихо, что здесь, почитай, все свои – народ добрый, верный, попались случаем, оголодали и деревней ошиблись.

Крыков оглянулся на Иевлева, встал, крикнул Молчану:

– Ладно! Разговорчив больно! Иди да делай как сказано, не то с рваными ноздрями отсюда уйдете!

Молчан ухмыльнулся и отошел к мужикам.

– Покормить их надо бы! – сказал Иевлев.

– Можно и покормить, а можно и голодных наладить! – ответил Крыков. – Все можно.

Сильвестр Петрович с удивлением посмотрел на Крыкова, тот объяснил с горечью:

– Долго у нас не живут, господин капитан-командор, да мы и не больно об том печемся.

Один помрет – другого солдаты приведут, другой помрет – третьего на цепи волокут...

Иевлев положил руку на широкое плечо Крыкова:

– Полно, капитан!

– Чего полно?

– Думай об сем горьком поменее. Наше дело воинское, забота наша – присяга. Далее не гляжу.

– Ой ли? Да и выучился ли ты сам, господин капитан-командор, думать об сем поменее?

Иевлев, сделав вид, что вопроса не слышит, пошел в избу.

6. НЕДОРОСЛЬ МИМОЕЗДОМ...

К ночи погода испортилась: небо над Двиною и над городом заволкло тяжелыми, медленно плывущими тучами, по узким улочкам и проулкам Архангельска, по кривым мостовицам, по ямам и колдобинам холодный морской ветер завертел водяную пыль, захлопали незапертые ворота. Иностранные корабельщики на реке отдавали добавочные якоря...

Сильвестр Петрович, хмурясь, хлебал рыбные щи. Перед ним на лавке сидел недоросль лет осмнадцати – сытенький, кругломорденький, чем-то напоминающий поросенка, рассказывал томным голосом:

– В том славном граде Париже я более двух годов, почти что три, обучался шаматонству и иным галантностям. Да в одночасье батюшка мой в калужской вотчине от желчной колики помре. Пришлось возвращаться, вояж немалый. Для некоторых дел прибыл к Москве и нечаянным манером попал я на глаза Петру Алексеевичу. О, господи...

Иевлев косо взглянул на недоросля.

– О, господи! – повторил тот. – Сей же час было на меня топание ног и иные неучтивости, дабы без промедления возвращался я в Париж. Всегда он у вас столь яростен?

– Кто он?

– Он, Петр Алексеевич.

– Тебе, молокососу, он государь великий, а не Петр Алексеевич, – жестко сказал Иевлев. – Запомни покрепче, избудешь беду...

Недоросль поморгал, склонил с покорностью голову набок, сложил припухлые губы сердечком. Иевлеву стало смешно.

– Величать-то тебя как?

– Василий, сын Степанов Спафариев.

– Из греков, что ли?

– Вотчина наша, сударь, под Калугою, сельцо Паншино, да Прохорово тож...

– Один ныне едешь?

– С денщиком, сударь.

– Незадача тебе. От нас-то ныне дороги нет. Ждем здесь шведа.

– Для чего ждете? – спросил Спафариев.

– В гости.

– Неужто?

– Да ты, братец, не полудурок ли? – с серьезной миной спросил Сильвестр Петрович.

– Многие таковым меня почитают, – нисколько не обидевшись, ответил дворянин. – Да я-то не прост, свой профит вот как понимаю. Батюшка покойник в давние времена иначе, как полудурком, меня и не называл; что греха таить, сударь, почитай до тринадцати годов штаны-то мне не давали, в халате голубей гонял, ну а с возрастом и батюшка ко мне переменялся. Ты, сказал, Васька, хитер безмерно...

Иевлев молчал, вглядываясь в дворянина, в безмятежные его голубенькие глазки, в бровки домиками, в розовое лицо, так и дышащее сытостью, добрым здоровьем, безмятежным спокойствием.

– Иные недоросли за море боялись ехать, – продолжал Спафариев, – а я, сударь, по чести скажу – нисколько не боялся. На Руси нынче как говорят? На Руси, говорят, жить – значит служить. А служить, так и голову можно сложить. Некоторые сложили, живота лишились. Я и рассудил скудостью своей: это у кого кошелек пуст – тому за морем холодно да голодно, а я, чай, не беден, мне в заморских землях и славно будет, и сытенько, и весело. Да и пережду там тихохонько...

– Чего же ты, к примеру, переждешь?

– Времечко пережду. Все минуется, сударь. Батюшка мой бывало говаривал: все на свете новое – есть то, что было, да хорошо позабылось. Я бы сие новое и переждал. Иные в заморских землях печаливаются, а я нисколечко. Обучаюсь новоманерным танцам, галанту французскому, амурные некоторые приключения испытываю, дружась с ихними добрых родов кавалерами, счастливым себя почитаю...

– Да ведь тебе, Василий Степанович, навигатором быть?

– Мне-то? Для чего, сударь? Меня море бьет, я на корабле пластом лежу, молюсь лишь прежалостно...

– Прежалостно али не прежалостно, да послан ты государем в учение?

– Ну, послан.

– А раз послан в учение, то и спросят с тебя со строгостью...

– Уж так непременно и спросят...

– Верно толкую – спросят. И должно будет ответить.

– Чай, нескоро еще...

Недоросль сидел отваясь, разглядывая руку в перстнях, любуясь блеском камней.

– А вдруг да скоро спросят? Тогда что станешь делать?

– Не всем же навигаторами быть, – в растяжку молвил Спафариев. – Надо в государстве и порядочных шаматонов галантных, сиречь любезников, иметь. Мало ли как

случится: прием какой во царевом дворце, ассамблея, иноземная принцесса прибыла, к ей кого в куртизаны для препровождения времени в амурах определить требуется...

– Вона ты куда метишь?

– А для чего, сударь, не метить? Какая ни есть метресса, все же с ей забавнее, нежели над пучиной морской в корабле качаться и, не дай бог, еще из пушек палить...

– Есть ли только должность такая – куртизан при дворе? – с лукавством в голосе спросил Иевлев.

– Должности нет, да дело есть куртизанское, – молвил недоросль, – то мне точно ведомо. А к сему делу я надлежаще выучен. Сам посуди: политес дворцовый мне не в новинку, во всякую минуту могу пахучими духами надушиться, для чего их всегда при себе в склянке ношу, собою я опрятен, лицо имею чистое, тело белое, не кривобок, не горбат, в беседе говорлив и забавен, росту изрядного, да ты сам, сударь, взгляни...

Он приподнялся с лавки и встал перед Иевлевым в позу вроде тех, в которых находились статуи, виденные Сильвестром Петровичем в заморских парках: одну руку с отставленным мизинцем недоросль держал возле груди, другую пониже.

– Что же сие за позитура? – спросил капитан-командор.

– Сия позитура уподобляет кавалера Аполлону, али еще какой нимфе летящей...

– Ишь ты! – покачал головою Иевлев.

– Истинный кавалер завсегда, сударь, думать должен об своем виде и являть собою пример живости, легкости и сублильности...

– Эк хватил! Да разве ты субтилен?

– Я-то не субтилен, но замечено мною, сударь, что некоторые тамошние метрессы – виконтессы и маркизы немалую склонность имеют к таким куртизанам, кои подобны мне и румянцем, и доблестью, и добрым своим здоровьем. Плезир, сиречь удовольствие...

– Плезир плезиром, – перебил Иевлев, – ну, а как спросит с тебя государь навигаторство, – тогда что станешь делать?

Спафариев сел на лавку, вздохнул, пошевелил бровками, ответил погодя:

– Тогда я паду в ноги, откроюсь, сколь нелюбезно мне море, сколь не рожден я для сей многотрудной жизни. Простит...

– Ой ли?

Недоросль задумался.

Сильвестр Петрович набил трубочку, поискал трут с огнивом, не нашел. Недоросль его и злил и забавлял. «Чего только не навидеешься за жизнь-то! – раздумывал он, с усмешкою вглядываясь в Спафариева. – Чего не встретишь на пути на своем. Темны дела твои, господи!»

– Простит! – уверенно молвил дворянин. – Ну, поколотит, не без того. А со временем и простит. Лучше единый раз крепко битым быть, нежели состариться, галанта не увидев. Да ты, сударь, сам посуди – навигаторов у него, у государя, все более и более числом деется, а истинных шаматонов – ни души. Я един и буду. Не токмо не осердится, увидев мое к себе рвение, но всяко отблагодарит. Не может такого потентата быть, чтобы без кавалеров-шаматонов-галантов при своем дворе обходился. Вот Париж город? Сколь в нем достославных шевальеров ничего более не делают, как только различные увражи, веселости и штукачества, к украшению быстротекущих лет жизни служащие. И при дворе с благосклонностью принимаемы сии кавалеры, и в любой дом вхожи, и все их чтят за острословие ихнее, за веселость и куртизанство амурное...

«Кто только на свете не живет!» – опять подумал Сильвестр Петрович и сказал:

– Одначе больно мы с тобой разговорились, а мне недосуг. Так вот – морем отселева вояж тебе не совершить. Ступай в свой Париж иным путем. Здесь не нынче, так завтра быть баталии, и ни единого корабля мы не выпускаем...

– Быть баталии?

– Быть.

– Здесь, в Архангельске?

– Здесь.

Недоросль опять сложил губы сердечком.

– Со шведами, сударь?

– Однако догадался все же... С ними.

– Так я, пожалуй, переночую и назад подамся...

– А ежели нынче ночью швед нагрянет? – жестко спросил Иевлев.

– Нынче?

– Нынче. Нагрянет – и попадешься ты ему. Он разбирать не станет, кто ты – шаматон али навигатор. Он живо на виселицу тебя вздернет...

– Тогда я, сударь, истинно нынче же назад и отправлюсь. А переночую уж на постоялом дворе, где прошедшую ночь ночевал. Там-то потише будет.

Иевлев помолчал, потом, стараясь сдержаться, отдельно произнес:

– Пожалуй, не отпущу я тебя. Мне нынче каждый человек надобен. А ты парень в соку, дебелый, вот и шпага при тебе, и пистолет добрый...

Недоросль несколько приподнялся на лавке, тотчас же сел, заморгал, залопотал:

– Да что ты, господин капитан-командор, разве сие мыслимо? Мне царевым именем велено в город Париж...

– Да ведь что ж Париж? Коли тебя тут в доблестном бою убьют – какой спрос? С покойника Парижа не возьмешь. Другие туда отправятся на навигаторов учиться... Останешься здесь, а как баталия минует, ежели жив будешь, – в вояж и тронешься...

Но тотчас же Сильвестру Петровичу стало тошно, он встал и велел недорослю проваливать ко всем чертям. Спафариев поклонился, попятился, не веря своему счастью, еще поклонился. И тотчас же во дворе, по бревенчатому настилу, загрохотали кованые колеса дорожного возка.

Шаматон уехал.

Скрипнула дверь, вошел Егорша.

– В городе что? – спросил Иевлев.

– Иноземцы гуляют. К Тощаку в кружало и не войти. В немецком Гостином дворе лавку с питиями открыли, песни поют, бранятся на нас, на русских. Возле Успенской церкви один ходит, кричит: «Вот погодите, шведы придут, тогда узнаете, какво лихо на свете живет...»

Сильвестр Петрович попросил уголька – разжечь трубочку. Егорша сбегал на поварню, Иевлев закурил, зашагал по горнице из угла в угол, думал. Потом спросил Егоршу:

– Вот ты по улицам бегал. Много ли иноземных матросов с кораблей спущено?

– Много ли, мало ли – того, Сильвестр Петрович, не ведаю, сам же видел сотни три, не более.

– Вооружены?

– Кто их знает. В плащах больше. Шпаги кой у кого видны, ножи тоже.

Иевлев кивнул.

– Наши везде стоят, – продолжал Егорша. – И у монастыря, и у арсенала, и возле Гостиного, во всех улицах караулы. Матросы, стрельцы, драгуны, рейтары...

Сильвестр Петрович докурил трубочку, выколотил ее у печки, велел седлать. Через малое время, под дождиком, пряча лицо от ветра, выехал двуконь с Егоршей – смотреть дозоры, караулы...

А в городе в это самое время уже начались бесчинства.

Из Тощакова кружала на мокрую улицу вывалилась толпа иноземных моряков, человек сорок, не слишком пьяная, но и не трезвая. На иноземных корабельщиках были надеты кожаные панцири, широкие с железом пояса, шляпы с полями скрывали лица, изрытые шрамами, опаленные порохом. Палаша, шпаги, кортики колотили по тощим ляжкам, по обтянутым чулками икрам, по широким коротким штанам.

Возле кружала корабельные люди немного поспорили друг с другом, что делать дальше и как занять свой досуг – не сломать ли бедную избу, что мокла неподалеку под дождем?

Вдруг из-за угла показался дозор русских матросов. Иноземцы смолкли и уставились на трех молодых парней, что в бострогах, при лядунках и палашах, в низко натянутых вязаных шапках, гуськом шли вдоль забора.

– Матросы! – сказал один иноземец.

– Русские матросы! – воскликнул другой.

– Матросы из поганой лужи! – крикнул толстый низенький боцман.

– Давайте с ними играть! – предложил еще один.

Разбрызгивая грязь, он перебежал улицу, снял перед матросами шляпу и сделал им кумплимент, отбивая ногой. Три русских парня с улыбками смотрели на выпившего чудака. Другие иноземцы, гогоча, как гуси, тоже перешли улицу...

Первый все еще кривлялся, когда другие стали хватать матросов за эфесы палашей. Не прошло и нескольких секунд, как самый молоденький матрос оказался связанным и брошенным в лужу, другому разбили лицо, третьего боцман рвал за уши и приговаривал с наслаждением:

– Русская свинья! Русская свинья! Молись мне!

Матрос вырывался. Мысль о том, чтобы заставить матроса молиться, очень понравилась иноземцам. Они поставили его перед собою на колени и велели кланяться, как будто он видит икону. Матрос вскочил на ноги, его ударили палашом по голове, он без сознания упал лицом в жидкую грязь, захлебнулся. Толстый боцман опустил палаш в ножны и шутейно запел молитву. Другие подхватили. Победа над тремя русскими матросами разгорячила кровь. Иноземцы выпили еще водки из фляги и, взяв бревно, принялись, как тараном, бить им в стену той избы, которая еще раньше привлекла их внимание. В избе закричали женщины. Старая изба шаталась, бревна, уложенные в лапу, вылезли из гнезд, крыша вот-вот могла провалиться и задавить людей. Но иноземцев ничего не смущало, и неизвестно, чем бы это все кончилось, не показись из-за Тоцакова кружала унтер-лейтенант Аггей Пустовойтов со своими ребятами. Народ у него был молодой, весеннего набора, только из беломорских жителей. На взрослых матросов Аггей вполне полагался, и потому отправил их в караулы с менее опытными офицерами, себе же взял молодежь, которую еще только начал обучать воинскому строю. Обучал он своих матросов и сейчас, не желая терять дорогого времени.

–левой, правой, левой, правой, ать, два, вздень, отдай, – командовал Аггей, выходя из-за кружала и пятась перед матросами, – живее, матросы, ать, два, ать, два...

Матросы шли бойко, молодежато, сердце у Аггея радовалось. Но вдруг, сбившись с ноги, они стали наступать друг другу на пятки и мгновенно сгрудились в толпу. Унтер-лейтенант готов был закричать на них, но посмотрев туда, куда глядели его ребята, застыл на месте: два русских матроса лежали около избы замертво, а третий, в крови, привалился к тыну. Иноземцы, подняв бревно, били им в стену избы.

Сладкое бешенство словно на теплой морской волне качнуло Аггея Пустовойтова. Черные брови его сошлись, он тихо сказал:

– А ну, робятки!

Кинул в сторону, в лужу, щегольские свои перчатки с раструбами, смахнул шляпу прочь, чтобы она не мешала биться, да и пошел вперед не оглядываясь, чувствуя за спиной дыхание матросов, слыша их могучий шаг.

Кто-то из корабельных людей обернулся, засвистал в пальцы, иностранцы вытащили из ножен шпаги, палаши, кортики, но было поздно. Матросы навалились вплотную всею своею горячей лавою, сердце каждого сжималось от давней ненависти, нынче можно было с честью вспомнить старые обиды...

– Не дра-аться! – длинно, врастяжку крикнул Аггей. – Вязать, а не драться! Вязать воров!

Ох, как врезался бы Аггей первым в толпу иноземцев, вытащил бы к себе поближе, к самой груди, вон того, рыжего, усатого, жующего никоциант, как, щурясь, взглянул бы в мерцающие зрочки и ударил бы раз, другой, третий – за все прошлое, за город свой

Архангельский, где стали иноземцы хозяевами, за этих троих матросов-дружков, что лежали сейчас не шевелясь у стен избы... Поток пошел бы за ним матросы, с яростно веселым воем били бы без правил, – коли бить так уж бить, ошую и одесную, не замай наших, иноземец, коли ты гость, то и будь гостем, а коли недруг – получай, что заслужил, полностью с лихвой, и на том прощения просим...

Но нельзя! Не велено драться!

Можно лишь вязать пьяных зачинщиков. Ну, а уж коли кто очень бесчинствует – того, на крайний случай, уронить словно бы нечаянно, словно бы сам упал. Ежели кусается и царапается – того тряхнуть можно или с осторожностью сунуть кулаком в сытый бок, чтобы вернулась память, – не дома-де, в гостях, не шуми...

Вязали кушаками – кушаков не хватило. К тому времени стало потише. Связанные испугались; те, на которых не хватило поясов, стояли в сторонке под дождичком, платками обтирали усталые лица, советовались, как быть дальше, сетовали на будущие огорчения...

Аггей, увидев, что гости присмирели, поставил связанных особняком, других отогнал подальше, потом велел положить на траву, на чистое место, двух убитых матросов из дозора. Некоторые иноземцы стали было расходиться, но унтер-лейтенант не велел никого отпускать.

Матрос Подбойло вынес из избы, которую едва не развалили иноземцы, ведро с водою, обмыл лица убитых матросов. То были ребята из последнего набора – Яблоков да Микешин. Матросы, переговариваясь, сняли с голов вязаные шапки. Иноземцы угрюмо молчали. Ярыги из Тоцаковского кружала, стрелецкий караул, рейтары – все больше народу собиралось возле бывшего побоища. Было тихо. В тишине вдруг завывла старуха, вышедшая из избы посмотреть обидчиков, – увидела двух мертвых, встала на колени в мокрую жухлую траву, поправила светлые мягкие кудри Микешина, сложила руки Яблокова крестом на груди, заплакала...

Избитый, оставшийся живым матрос из дозора негромко рассказывал Аггею, как все получилось. Аггей слушал внимательно, переспрашивал. Матрос отыскал глазами толстого боцмана, кивнул на него. Стрельцы спешили, вывели боцмана к избе. Тот закричал, что он не один был, еще были с ним люди. Взяли и тех, на кого он указал.

Рысью, верхами подъехали капитан-командор с Егоршей. Иевлев, кутаясь в вощеный, из канифаса плащ, молча выслушал все, что сказал ему Пустовойтов; выпростал руку из перчатки, вытер мокрое лицо; сузив глаза, оглядел боцмана и его людей, велел вести их под караул. Остальных иноземцев – гнать на корабли, пусть пребывают там в конфузии. На берег им спуску не будет до особой команды...

Мертвых – Яблокова и Микешина – матросы подняли на плащи, понесли, обнажив головы. Наступило утро. Город проснулся. Матросы пели тихо, пристойно «Вечную память». Конные рейтары, стрельцы, драгуны провожали убитых, скинув шапки, держа обнаженные палаши у плеча. Посадские люди, женки, ремесленники, дрягили, окрестные мужички теснились в узких улицах, с ненавистью смотрели на связанных иноземцев, вздыхали, крестились на убитых матросов...

Когда Сильвестру Петровичу подали карбас – плыть на цитадель, у Воскресенской пристани его окружили шхиперы с извинениями и словами сочувствия. Иевлев молчал. Консул Мартус сказал короткую скорбную речь. Иевлев не ответил ни единым словом. Иноземцы еще раз зашаркали подошвами башмаков, еще раз поклонились, еще произнесли слова сочувствия. Иевлев оперся на трость двумя руками, вытянул шею, сказал глухим голосом:

– Россия, Русь – есть государство, Русь – не безыменные острова, которые надобно еще открыть, на карту нанести...

Иноземцы закивали головами: о, конечно, разумеется, да, да, иначе не может быть.

– Иноземцев мы встречаем приветливо, – продолжал Сильвестр Петрович, – гостю мы всегда рады, русский человек добр, гостеприимен, широк душою. Гостеприимство же наше вы обращаете во зло, полагая, что оно есть то же, что простота или глупость...

Иноземцы зашаркали: о, нет, мы никогда так не думаем.

– Покуда премного зла принесли вы нам! – с силой сказал Иевлев. – И, ежели подумать, чего больше от вас – зла или добра, – то, пожалуй, зла более. Так вот, господа мореплаватели, господа шхиперы-навигаторы! Доброму совету мы всегда рады, и нет более признательных учеников, нежели мы. А признательный ученик для учителя есть прибыток, не так ли? Учимся же мы для нашего государства – для сильного, мудрого, справедливого. А славное государство сынам своим – родная матушка. Добрая же матушка разве позволит гулливому, да пьяному, да срамному заезжему детушку свою обидеть?

Шхиперы кивали – да, да, очень справедливо.

– А раз справедливо, то справедливо будет и убийц за караулом подержать, и судить их как надлежит, и наказать, чтобы более не повадно было лихими делами промышлять. Другие же корабельщики в ваших странах о том расскажут. И новые будут поосторожнее.

Сильвестр Петрович повернулся и пошел по сходням к карбасу. Шхиперы, перешептываясь, гугня, поспешили за ним. Он еще обернулся, напомнил вежливо:

– Кораблям вашим, господа шхиперы, объявлена от меня конфузия. Не советую их покидать, дабы сим не понудить нас содержать ваших матросов, как преступников, за караулом. Еще добрый совет: впредь берегитесь происшествий, подобных случившимся! Что же касемо надежд некоторых на шведских воинских людей, что-де от сего пирога, как Архангельск станут грабить, и им кусок отвалится, – так не быть тому!

Шхиперы молчали.

Иевлев вошел в карбас, сам сел за руль. Матросы оттолкнули судно крюками. На мачте поднялся узкий прапорец: «Капитан-командор здесь».

Сильвестра Петровича от бессонной ночи познабливало. Внезапно вспомнился ему давешний недоросль дворянин Спафариев. С гневом, шепотом повторил навязшие, словно оскомина, чужие слова:

– Шаматон, галант...

И прибавил свое:

– И откуда сие берется?

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

На чужбине, словно в домовине, – и одиноко и нemo.

Пословица

Идут убийцы потаенны,
На лицах дерзость, в сердце страх

Пушкин

1. ПЕРЕД ПОХОДОМ

На Стокгольмском рейде корабли эскадры приняли добавочный балласт – чугунные брусья и битый камень сотнями бочек. Когда балласт был уложен, малые грузовые суда стали возить питьевую воду. Лекарь эскадры, попыхивая трубкой, подсыпал в каждую бочку совок извести – чтобы вода не загнила во время длительного похода.

В ахтерлюки матросы сваливали провизию – солонину, масло и уксус в долбленных деревянных бутылках, копченые тощие, жилистые туши овец, кули сушеной рыбы, горох, соль. В брот-камеру, обшитую свежими сосновыми досками, сверху, из люка сыпали жесткие с соломой морские сухари, пахучие солодовые лепешки. В винный трюм спускали на канатах бочки с хлебной водкой – для раздачи на походе королевской чарки.

Эконом-содержатель по счету принимал матросские бачки для супа, чугунные котлы, кружки, весы с гирями, черпаки, оловянные блюда, посуду для офицерского стола.

В адмиральский и офицерские погреба буфетчики торопясь ставили в лед устрицы, свежую рыбу, развешивали на деревянные гвозди дичь, вяленые седла козули, кабаньи окорока, уток, гусей, кур. Здесь же корабельные констапели складывали оружие и пороховые запасы, которые могли потребоваться офицерам на случай матросского бунта.

Боцманы, срывая хриплые глотки, командовали укладкой сменных запасных канатов, кабельтовых перлиней, буйрепов, вант-тросов. Под нижней палубой считали запасные комплекты шлюпочных весел, шестов, вымбовок. Нок-тали и гинцы со скрипом спускали в фор-люки кораблей смолу, гарпиус, гвозди. Плотники и конопатчики, повиснув над водой в своих «беседках», в последний раз загоняли в пазы шерсть и паклю, стуча деревянными молотками и распевая песни.

На «Злом медведе» принимали дополнительно артиллерийский припас: фитили, ломы, ганшпуги, приборники, клинья, блоки. На флагманском корабле «Корона» парусиной обносили загородку между грот- и фор-люками: здесь, где полагалось бы быть лазарету, печально мычали коровы, блеяли овцы, кудахтали куры. На «Справедливом гневе», по приказанию шаутбенахта, меняли пушки средней батареей палубы. Штурманы эскадры в последний раз перед дальним походом проверяли карты атласа «Зеел», что значит – факел, смотрели флагдук, склянки, лоты, лаги, линии. По особому секретному приказу шаутбенахта корабли должны были иметь английские и датские флаги в запечатанных мешках – впредь до уведомления, как с ними поступить.

Ярл Эрик Юленшерна – флагман эскадры – ежедневно по несколько раз объезжал на своем вельботе все корабли. Его сопровождали капеллан эскадры, флаг-офицер и два наиболее свирепых профоса – палачи. К полудню, обычно, шаутбенахт менял перчатку на правой руке: тонкая лайка не выдерживала, шаутбенахт бил людей по своей манере – кулаком снизу вверх, в рот, чтобы провинившийся вместе с кровью выплюнул и зубы.

С утреннего барабана до вечерней зари на баках кораблей свистели розги и английские линьки – веревки с узлами, вымоченные в соленой воде. Полумертвых от порки матросов поили водкой и пороли дальше.

Люди выбивались из сил, падали на трапах, на палубах. Шаутбенахт никогда никого не хвалил, ему все не нравилось, с каждым днем он хмурился все больше и наказывал людей все жестче. К концу недели на «Ароматном цветке» матросы, обессилевшие от непосильной работы, потребовали воскресного отдыха. Шаутбенахт велел выпороть каждого третьего, а зачинщика – до смерти. Капеллан эскадры отправился на шлюпке исповедовать и причащать приговоренного.

Совет капитанов эскадры был назначен тайно ночью на «Короне», где ярл Юленшерна держал свой флаг. Капитаны линейных судов, фрегатов и яхт прибывали по одному, без своих офицеров, отвечали вахтенным у трапов условленным паролем и рассаживались в адмиральской каюте с плотно занавешенными окнами. Кают-вахтер в мягких туфлях подавал капитанам раскуренные трубки, кают-юнга наливал желтое ячменное пиво в глиняные кружки. Капитаны, эконом эскадры, капеллан, полковник Джеймс – курили, мочили усы в пивной пене, опасно прислушивались к тому, как за переборкой, в своей спальне, убранной золочеными кожами, кашляет и отплеивается шаутбенахт Юленшерна. По кашлю было понятно, что флагман недоволен, более того – зол. Приглашенные на совет робели, как мальчишки. Ярл Эрик Юленшерна издавна внушил страх всем, кто когда-либо плавал под королевским флагом – золотой крест на синем поле.

Небольшого роста, сухой, с морщинистым желтым лицом, он вышел из спальни вместе с боем часов, коротко поклонился, сел в зеленое сафьяновое кресло. Бесшумно ступая, кают-вахтер подал ему коньяку, кают-юнга в это же мгновение поставил чашку кофе. Шаутбенахт размешал ложечкой сахар, медленно обвел взглядом лица своих капитанов, опаленные порохом, изрубленные в абордажных боях, дубленные ветром Балтики, Немецкого моря, холодного океана.

Капитаны притихли совсем. Шаутбенахт позвонил в колокольчик, велел флаг-офицеру убрать кают-вахтера и кают-юнга, поставить возле трапа адмиральных покоев двух солдат с мушкетами, никого не пускать на галерею, что расположена на корме за окнами его каюты. Флаг-офицер ушел. Опять наступило молчание. В тишине было слышно, как посвистывает ветер в море да скрипят якорные канаты в клюзах.

– Я недоволен, – внезапно произнес шаутбенахт.

Капитаны молчали.

– Я крайне недоволен! – тоном выше сказал Юленшерна. – Мы разучились, черт возьми, молчать. Мы стали болтливы, как женщины. Весь Стокгольм от ребенка до старухи знает, что в ближайшие дни экспедиция направится в город Архангельск. Всем известно, что мы ищем шхиперов, знающих фарватер реки Двины. Корабли, которые вооружались в Гетеборге и в Кальмаре, известны не только шведам, но и иностранцам. Известны даже имена капитанов, шхиперов, главных артиллеристов; известно, каковы наши запасы пороха, сколько мы берем с собою ядер; известно наконец, кто командует эскадрой и каково прошлое вашего командующего...

Капитаны качали головами, удивлялись.

– Следует думать, – продолжал шаутбенахт, – что не только в Стокгольме провели о нашей экспедиции. О ней, несомненно, известно и москвитам. Ослом будет тот, кто предполагает, что осведомленность русских пойдет нам на пользу...

– Истинная правда! – вздохнул Уркварт.

– Ваши лицемерные вздохи теперь ничему не помогут! – сказал Юленшерна. – Я собрал вас у себя, дабы предупредить: экспедиция в Архангельск отменяется. Все, кто принимал участие в ее подготовке, могут получить свои деньги по завтрашней день и идти путем, который подскажет им разум и воля божья...

Старый конвой Голголсен даже открыл рот от изумления. Командир абордажных команд полковник Джеймс, подняв брови, откинулся на спинку кресла. Толстый шхипер Ферколье бессмысленно улыбался.

Флагман молча пил кофе.

– Это все, господа! – сказал он, допив свою чашку и поднимаясь.

Капитаны встали.

– Впрочем, желающие могут остаться на кораблях эскадры, чтобы идти в иное плавание – на уничтожение китов. Многим нынче известно, что китов развелось чрезвычайное множество и что они причиняют большое беспокойство мореплавателям. Мы должны истребить некоторое количество этих тварей с тем, чтобы другие отошли подальше в море. Вот и все наши задачи. Желают ли что-нибудь спросить господа капитаны?

Голголсен поморгал, спросил хриплым басом:

– Мой фрегат имеет на борту двадцать две пушки. Продовольствие и боевые припасы взяты на три месяца. Ни гарпунов, ни прочей китобойной снасти у нас нет. По всей вероятности, пушки и боевые припасы нам не понадобятся, в то время как люди, умеющие охотиться на китов...

Капитаны задвигались, зашумели.

– Это так, гере шаутбенахт.

– Нижние палубы нужно очистить от тяжелых пушек...

– Надо изменить грузы...

– Абордажные команды требуют большого запаса продовольствия, а раз команд не будет...

Юленшерна молчал. Его насмешливые глаза оглядывали лица капитанов.

– Гарпуны и соответствующие китобойные припасы вы получите от эконома эскадры, – сказал он. – Команды пусть остаются в тех комплектах, в которых они набраны, кроме, разумеется, наемников, не желающих менять свои сабли на ножи китобоев... Это все, господа.

Он коротко поклонился и ушел в свою спальню – прямой, надменный, в зеленом

мундире, с презрительной улыбкой на тонких губах. Переглядываясь, пожимая плечами, растерянные, злые капитаны прощались у трапа, чтобы разъехаться по своим кораблям. Они понимали и не понимали, догадывались и размышляли, боясь перекинуться друг с другом даже несколькими словами. Один только Голголсен проворчал:

– Этот старый пират вовсе выжил из ума. Чего он хочет от нас? Если он не верит даже нам, пусть ищет себе других офицеров...

2. КИТОЛОВЫ

На шканцах сорокапушечного корабля «Злой медведь» в неурочное время рожок запел «сбор всей команды». Из люков – заспанные, повязанные по-пиратски платками, драные, грязные, босые, не торопясь, один за другим пошли наверх матросы, артиллеристы, абордажные солдаты. Над люками стояли боцманы с плетками – били по спинам, гнали становиться в строй.

По шканцам прогуливался капитан Уркварт, в предчувствии неприятного разговора обтирал платком краснощекое лицо, улыбался приветливо. Два лейтенанта с пистолетами в глубоких карманах на всякий случай прогуливались рядом с ним. Профос острым взглядом всматривался в команду – в итальянцев, англичан, испанцев, бременцев, голландцев, – поигрывал кортиком. Старший помощник и главный боцман испанец дель Роблес вывел из кормового люка дюжину своих головорезов, поставил с мушкетонами за палубной надстройкой, осторожно растолковал им, что может произойти и чего следует опасаться.

Уркварт ласково поздоровался с командой, прошелся вдоль строя, сказал, что поход на Архангельск отменяется, что команда может получить свои деньги нынче же за все прошлое время.

– А за будущее? – спросил Бирге Кизилова нога, палубный матрос.

– Пусть платит за прошедшее, тогда станем говорить о будущем! – крикнул рыжий ирландец.

– Казначей на шканцы!

Матросы зашумели все сразу, строй сломался. Опухший от пьянства, сизый, с голой седой грудью наемник Бэнкт по кличке «Убил друга» навалился на капитана, прижал его к борту, спросил, обдавая запахом перегара:

– Куда же мы теперь денемся?

– Вы не дослушали меня! – произнес Уркварт, пытаясь оттолкнуть от себя Убил друга. – Дайте мне договорить, проклятые пьяницы...

Дель Роблес оттащил Бэнкта от капитана, головорезы с мушкетонами встали за спиной Уркварта, матросы притихли. На шканцах показался казначей со своим железным сундучком, его привели лейтенанты. Уркварт, обдергивая на себе мундир, сдувая пылинки с рукава, заговорил о китобойном походе...

– Киты? Сейчас? – закричал Бирге Кизилова нога. – Наверное, меня пора посадить в сумасшедший дом на цепь, ребята, потому что я ничего не понимаю...

Боцман стегнул Бирге по спине кнутом. Капитан продолжал говорить.

– В океан вышел царь китов, – говорил Уркварт. – Этот свирепый царь приносит великие бедствия. Кроме плавников и массы своего тела, которая, как известно, может рассечь корабль пополам, китовый царь вооружен еще и роговым мечом с пилою, которым он, незримо подкравшись к судну, подпиливает киль. Ум этого зверя таков, что с ним трудно состязаться даже опытному китобой и бывалому морскому промышленнику. Дело в том, что китовый царь наделен способностью видеть незримое, то есть видеть мысль человека, замышляющего зло против китов...

Наемники, не раз служившие под черными флагами пиратов, закоренелые преступники, которым грозила виселица во многих странах Европы, словно дети, слушали своего капитана. Даже Бирге Кизилова нога, служивший на китобойных судах, сокрушенно вздыхал и шепотом поминал святую Бригитту, покровительницу моряков. Пожалуй, сжечь

Архангельск куда проще, нежели идти на такой промысел...

– Для того чтобы посеять страх в царстве китов, – продолжал Уркварт, – ярл Эрик Юленшерна, шаутбенахт флота его величества, приказал нам, его слугам-капитанам, просить вас все-таки остаться на судах, дабы морские пути стали проходимыми. Более я ничего не смогу вам сказать. Желаящие пусть получают свои деньги у казначея. Если же кто из вас раздумает и вернется обратно на корабль, я буду рад.

Капитан учтиво поклонился. Матросы, переговариваясь, выстроились в очередь возле казначея, рядом с которым, согласно уставу, стояли два капрала с обнаженными палашами. Над гаванью спускались сумерки, в портовых тавернах приветливо зажигались огни. Уркварт в своей каюте пил лимонный сок с сахаром и ромом и говорил дель Роблесу:

– Все вернутся на «Злого медведя». За ночь они пропьют свои деньги до последнего скиллинга и придут обратно – жрать луковую похлебку с солониной...

Дель Роблес согласился:

– Да, они вернутся. Но зачем нам с вами эта глупая затея с китами?

Уркварт не ответил. Он только взглянул на испанца, и тот все понял. Они научились понимать друг друга, эти два человека, за годы совместных плаваний.

3. КОЛЫВАНЕЦ ЯКОВ

В этот вечер и всю ночь в Стокгольме только и говорили о царе китов и о том, как славные моряки его величества покончат с проклятым чудовищем.

О китобойной экспедиции говорили и в семейных домах за вечерней кружкой пива, и в трактирах, и на галерах, и в порту, и даже в церкви, где несколько капелланов вечером произнесли проповеди о мужестве моряков, расчищающих морские дороги от страшных чудищ...

Говорили по-разному: наиболее смысленные обходились без слов – перемигнутся, и достаточно. Иные хвалили хитрость предусмотрительного шаутбенахта Юленшерны. Третьи вздыхали:

– Уж эти киты. Недешево они обойдутся нашим морякам...

Были, впрочем, и такие, которые верили этой басне безоговорочно. Но этих попадалось не много. Даже старухи-бабушки не пугали своих расшалившихся внучат царем китов.

В погребеке «Веселые приятели», что всегда был открыт для моряка, имеющего деньги, собрались матросы и офицеры почти со всех кораблей эскадры Юленшерны. Здесь моряки, со смехом поминая царя китов, стуча монетами по столам, требовали еще бренди, пива, джина, водки, ели жареное сало, хлопали трактирщика по жирному плечу, пили с ним за успех охоты, пели песни и, наконец, под свист рогов и звон литавр стали танцевать английскую джигу. Трактир ходил ходуном. Матросы и офицеры шумно пропивали свои деньги: не следует возвращаться на корабль, имея хоть скиллинг в кошельке, – так говорит старая флотская примета.

В углу, возле камина, где было чуть-чуть потише, подручный трактирщика Якоб – еще молодой человек с умным и упрямым взглядом серых глаз – жаловался лейтенанту Улофу Бремсу на свою невеселую жизнь.

– Каждый день одно и то же! – говорил он. – Убери, да подай, да вымой кружки, да снеси капитану галеры семь бутылок рому, а на фрегат бочонок джину, а на яхте у шхипера потребуй долг. Или вот здесь, – ну что хорошего, судите сами, гере Бремс...

Лейтенант был пьян. Кроме того, он порядочно задолжал трактирщику, и то обстоятельство, что Якоб долга не требует, было приятно ему. Да и вообще парень чем-то нравился лейтенанту, – возможно, что своим упрямым взглядом.

– Недурно танцует этот здоровенный матрос! – сказал лейтенант.

Якоб обернулся.

– Его зовут Убил друга, – продолжал болтливый лейтенант. – Где-то в чужой стране он не поделил золотые со своим другом и всадил ему нож в горло. Его руки в крови по локоть.

Якоб не ответил. Улоф молча на него посмотрел.

– Ты швед? – спросил лейтенант.

– Я колыванец, гере лейтенант.

– Что значит – колыванец?

Подручный трактирщика не был расположен болтать о Колывани, но лейтенант привязался:

– Отвечай, что значит колыванец?

– Из города Колывань – вот что это значит, гере лейтенант.

– Такого города нет.

– Когда я родился, он был.

– Был город Ревель. Отвечай, был?

– Город Ревель есть.

– Да, есть. Это хороший город.

– Хороший! – подтвердил Якоб.

– Если ты из Ревеля – значит, ты эст?

Якоб молчал, глядя на танцующих.

– Ты эст! – сказал лейтенант. – У тебя светлые волосы и серые глаза. Все эсты светловолосые. Это ничего, что ты не швед. Эсты хоть и хуже шведов, но прислуживать они могут. На больших кораблях есть должности буфетчиков. Вот туда мы тебя и определим...

– Благодарю вас, гере лейтенант! – скромно произнес Якоб.

– Да, Ревель! – говорил Улоф Бремс. – Как же... я был там не так уж давно, как раз тогда, когда пригнали русских военнопленных из-под Нарвы. Его величество государь наш король приказал ничем не кормить московитов, потому что они приучены питаться древесной корой и снегом. Их гнали пешком от самой Нарвы, этих варваров, и было довольно холодно...

Подручный буфетчика не отрывал теперь своего упрямого взгляда от лица лейтенанта...

– Было довольно холодно, – повторил он ровным голосом.

– Да, мороз. Они совсем обезумели во время перехода. Но бургомистр Ревеля получил приказ от генерал-интенданта вооружить всех эстов и, если московиты будут просить хлеба, – просто стрелять...

– Просто стрелять?

– Самое нехитрое дело! Пусть едят древесную кору...

– Кору! – словно эхо повторил Якоб. – И эсты в них стреляли?

– Нет, но мы стреляли, если видели этих варваров на нашем пути. Благодарение господу, они недолго там пробыли. Их угнали на рудники и роздали зажиточным крестьянам, как раздают рабочий скот... Я сам взял для своего отца двух московитов... Я служу короне на флоте, я моряк, должен же кто-то работать в имении...

И лейтенант ударил кулаком по столу.

– Моряки – это люди! – говорил он. – Но не всякие моряки – люди. Люди – это шведские моряки. Все прочие моряки, вместе взятые, не стоят и скиллинга. Шведский моряк – это моряк! Верно я говорю или неверно, – отвечай мне, Якоб из погребка «Веселые приятели»!

– Я бы хотел, гере лейтенант, быть моряком! – ответил Якоб. – С вашего разрешения, гере лейтенант, мне бы очень хотелось быть моряком. Если бы вы шли в Архангельск, я попросился бы к вам. Все-таки это военное плавание, гере лейтенант, в котором, несомненно, можно отличиться перед короной...

Лейтенант Бремс налил в свою кружку бренди, разбавил его пивом и выпил залпом.

– Ты не дурак! – сказал он, стукнув кружкой по столу. – Моряк – хорошая работа. У моряка порою в кармане что-нибудь да позванивает, не правда ли?

Якоб кивнул:

– Конечно, гере! Но настоящий человек – это военный моряк!

– Ты умный парень! – сказал Улоф Бремс. – Может быть, в твоей жизни произойдет

перемена...

Колыванец Якоб смотрел выжидающе.

– Да! Или я не буду лейтенантом! Вот как! Плесни-ка мне в стакан еще этой дряни!

Теперь он выпил бренди, не разбавляя его пивом.

– Якоб, ты долго будешь там сидеть? – крикнул трактирщик. – Меня разрывают на части, а он уселся...

Якоб нехотя пошел за стойку. Два матроса с фрегата «Божий благовест» танцевали новый танец – алеманд. Один матрос изображал даму, другой кавалера. В погребке стоял густой хохот, «дама» очень смешно кривлялась и показывала кавалеру свое благорасположение. А кавалеру, по всей видимости, она была противна, эта «дама» с красным от пьянства носом и разодранным ухом.

К лейтенанту Бреmsу подсел другой лейтенант с яхты «Резвый купидон» – Юхан Морат. Он был пьян до того, что не сразу узнал своего старого друга лейтенанта Бреmsа. Сначала он принял его за эконома эскадры, потом за своего родного брата.

– Тебе, как я думаю, пора на корабль! – сказал лейтенант Бреms.

– К черту! – ответил Морат.

– Ты зол? – спросил Бреms.

– Да, зол... Киты... какие киты? Такие киты разве бывают? Царь китов...

Подручный трактирщика Якоб опять подсел к лейтенантам. Улоф Бреms выпил еще бренди. Багровый от выпивки Морат ревел хриплым басом:

– Киты? Я не дурак, вот что! Я плаваю шестнадцать лет... Мы идем туда же, куда шли. Но нам нужно, чтобы никто не знал... Здесь все свои, слушайте меня, если хотите знать правду: зачем такому флоту идти на китобойный промысел? Где это видано? Только тупицы или молокососы могут верить сказкам о китовом царстве...

– Китовое царство есть! – сказал упрямый Якоб.

– А я говорю – нет! – крикнул Морат.

– Но вы все-таки идете на промысел? – спросил Якоб.

– Да, парень, мы идем на промысел! – крикнул краснорожий человек с серьгой в ухе. – И пусть я не буду Билль Гартвуд, если я не вернусь оттуда богатым, как сорок тысяч чертей с Вельзевулом впридачу...

За соседним столиком матросы сдвинули кружки:

– За русское золото в наших карманах!

– Вечная слава богатому!

– Да здравствуют архангельские киты!

– Мы не побрезгуем червонцами царя московитов...

– Вот слышите, что говорят люди! – крикнул Морат. – А они-то немало поплавали на своем веку.

И лейтенант Морат пошел пить со своими матросами.

– Все-таки в Архангельск? – задумчиво спросил Якоб. – Вы, он говорит, идете в Архангельск...

Лейтенант Улоф Бреms плохо видел своего собеседника. Иногда Якоб раздваивался в его глазах, потом вдруг превращался в самого шаутбенахта ярла Юленшерну, потом делался очень большим, походил на кита...

– Гере лейтенант! – попросил Якоб. – Возьмите меня на свой корабль.

Лейтенант широко улыбнулся, показывая желтые зубы:

– Нет ничего проще, парень. Имя Улофа Бреmsа кое-чего стоит на нашем флоте, клянусь своей шпагой...

– Вы обещаете, гере лейтенант?

– Что?

– Взять меня на свой корабль?

– Ребята, – крикнул лейтенант. – Ребята! Этот парень хочет быть нашим. Вот этот подручный трактирщика желает быть моряком! Что вы на это скажете?

Матросы повернулись к лейтенанту. Бремс велел Якобу подняться, чтобы все видели, каков он из себя. Якоб поднялся и спокойным, упрямым взглядом оглядел трактир.

– Я не пушу его! – крикнул трактирщик. – Зачем ему ваше море! Ему и здесь недурно. Эдак, если все пожелают быть моряками, то кто станет трудиться на суще...

Но трактирщику не дали говорить – Бенкт Убил друга запустил в него оловянной тарелкой, а Бирге Кизилова нога замыкал кошкой, которой наступили на хвост...

– Ты должен хорошо угостить твоих будущих соплавателей! – произнес лейтенант. – Не пожалей этим дьяволам вашего пойла, и они станут тебе добрыми друзьями...

– Добрыми друзьями, – как эхо повторил Якоб и поднял над столом большую бутылку рома, оплетенную тонкими лозовыми прутьями.

Матросы, роняя скамьи и табуретки, рванулись к бесплатному угощению. Якоб не жалея наливал кружку за кружкой, и весь этот сброд пил за здоровье будущего моряка.

– Пусть всегда десять футов воды под килем! – засыпая в своем углу, бормотал лейтенант Улоф Бремс. – Надо пить только за десять футов...

Бубен забил джигу.

Новые гости вошли в трактир.

Якоб стоял, опершись плечом о плесневелую стену, и думал свою думу. Это сосредоточенное и угрюмое лицо вдруг вывело трактирщика из себя.

– Ты опять ничего не делаешь! – крикнул он. – Проклятый моряк! Пока что ты не получил своих денег и рискуешь не получить ни скиллинга, если не отработаешь нынешнюю ночь. Подай этим дьяволам джин и пиво...

Бубен все бил и бил джигу.

Трактирные девки в чепцах с пестрыми лентами плясали, высоко вскидывая ноги, чадили и трещали сальные свечи в ржавых железных подсвечниках, на каменном полу валялись черепки и кружки, растекалась большая ромовая лужа. Бенкт Убил друга таскался от стола к столу, вздымал кулак, поросший волосами, требовал:

– Угощай меня, потому что так велел Мартин Лютер.

– Мартин Лютер?

– Кто не любит вина, женщин и песни, тот останется дураком на всю свою жизнь, – так говорит Лютер. – А деньги у меня кончились. Как же мне исполнить заповедь?

4. ПРОЩАНИЕ СО СТОКГОЛЬМОМ

По скрипучим, истертым ступеням Якоб быстро поднялся в комнаты трактирщика. Отсюда, из окон этого высокого дома было видно море и узкие, яркие, развевающиеся на мачтах корабельные флаги. Уже вошло солнце, внизу шумел, просыпаясь, город, гремели по булыжникам колеса огромных, окованных железными полосами фур, ржали лошади торговцев углем, зеленщицы и молочницы выхваляли на разные голоса свои товары; было видно, как закусывают на ходу плотники, как пошли в порт таможенные писцы, как проехали сменять ночную стражу королевские драгуны. Из переулка, с корзиной свежих хлебцев подмышкою, пробежал знакомый подмастерье булочника Кринкера. С песней прошли каменщики, и старейшина их цеха мастер Доринг помахал Якобу рукою. «Нынче зайдет выпить в долг стаканчик, другой, – подумал Якоб. – Магистр туго платит этим беднякам за их работу. Все меньше и меньше денег в Швеции». За каменщиками прошли кузнецы со своими молотками, клещами и мехами на тачках. Много честных тружеников жило в этом городе, в этом большом, красивом, богатом городе, где всегда пахло морем и откуда постоянно уходили корабли в далекие удивительные страны. Многих людей здесь хорошо знал Якоб, и многие знали его – простого малого, трактирного подручного, круглого сироту...

Он улыбнулся, все еще глядя в окно: как удивились бы они, увидев его на эшафоте, как не поверили бы своим глазам и долго после казни вечерами говорили бы о нем шепотом, качая своими головами в ночных колпаках. Нет, он постарается не попасть в лапы палача,

пусть досточтимый палач города Стокгольма – папаша Фридерик, как его здесь называют, – поищет себе другого простака.

Морской ветер трепал его легкие волосы, он все смотрел и смотрел в окно, на город, где прошло столько лет его жизни: нет, он ничем не повинен перед ними, перед своими знакомыми горожанами. И вряд ли они подумают о нем дурно. Они не слишком жалуют наемников-моряков, этих пиратов и проходимцев с больших дорог, которым ничего не стоит убить человека. Без восхищения они смотрят на парады рейтар и драгун, на королевскую гвардию и легкую пехоту. Все дороже и дороже делается жизнь, все больше и больше молодых ребят угоняют на войну, и все это только для того, чтобы про Карла XII говорили как про Александра Македонского...

– Ты уже здесь, – сказал за его спиною трактирщик.

– Я здесь...

Жалуясь на проклятую одышку, трактирщик сел в свое кресло у стола и принялся шепча, считать ночную выручку. Он раскладывал монеты столбиками по достоинству и ласково их поглаживал. Потом, прочитав над деньгами короткую молитву, пересыпал их в мешочки и уложил в тайник. Как всегда после этой работы, он заметно повеселел и спросил ласково:

– Ты твердо решил уходить от меня, парень?

– Да, дядюшка Грейс, твердо.

– Ты во что бы то ни стало решил стать моряком?

– Да, я решил стать моряком.

– Моряки часто гибнут в пучине. Моряков убивают в сражениях. Эскадру, на которую ты поступишь, могут разгромить враги...

– Вы так думаете?

– Все бывает в битве! – осторожно ответил трактирщик. – Пути господни неисповедимы...

– Король Швеции непобедим! – сказал Якоб. – Ужели вы в этом сомневаетесь, дядюшка Грейс?

Трактирщик торопливо согласился с тем, что король Швеции непобедим. Он давно держал погребок и знал, что случается с людьми, которые сомневаются в королях.

– Что бы ни произошло, – сказал он, – знай одно: я приму тебя в любой час. Ты недурной парень, ты сейчас почти что и не москвит. Тебя можно принять за шведа. Конечно, если бы ты перешел в лютеранство...

Трактирщик вздохнул:

– Со временем ты поймешь и это. Служа во флоте, тебе придется принять лютеранство... Что же еще посоветовать тебе на прощанье? Я могу, пожалуй, посоветовать тебе не попадаться в плен к москвитам. Москвиты – варвары, и хоть в тебе течет русская кровь, кровь славянина, они, несомненно, жестоко расправятся с тобой. Если они тебя повесят, я от души пожалею...

– Благодарю вас! – сказал Якоб. – Вы всегда были ко мне добры.

– Я был к тебе добр, да! – опять вздохнул трактирщик. – Я пожалел тебя, сироту. Многие меня упрекали тогда, что я так жалостлив, но что можно поделать со своим сердцем?

– Вы добрый человек! – согласился Якоб. – Вы всегда кого-нибудь да жалели и давали работу за кусок хлеба или миску ячменной каши...

Трактирщик подозрительно взглянул на Якоба: может быть, колыванин смеется над ним? Нет, Якоб не смеялся. У него было серьезное лицо.

– Да, в свое время я спас тебе жизнь! – опять заговорил трактирщик. – И вывел тебя в люди. Ты это должен всегда помнить. Я не погнушался тобой, нисколько не погнушался...

Якоб молчал. Трактирщик еще поговорил про Московию и про то, что самый лучший народ – это шведы, Якоб смотрел в окно – на корабли. Сердце его билось: эти корабли пойдут в Россию. Там он будет спать спокойно – целую ночь, или неделю, или еще больше. Он не будет думать, что кто-то услышал, как он бредил во сне. Ему не будут мерещиться

тайные агенты короля. Еще немного – и он бы уже не выдержал. Он стал хуже работать, чем раньше. Он может сорваться на пустяке, и тогда всему конец...

– Почему ты меня не слушаешь? – спросил трактирщик. – Ты опять о чем-то размышляешь? Вечно размышляешь...

После раннего завтрака трактирщик открыл свой тайник и принялся вновь считать деньги. Считал он долго, задумывался и опять считал.

– Вот тебе все, что причитается от меня! – сказал он ласково. – Надеюсь, ты останешься доволен?

Якоб подкинул на ладони три монеты.

– А вы не ошиблись?

– Разве я дал тебе слишком много?

Теперь Якоб улыбался весело. Так весело, что трактирщику стало не по себе. Еще никогда за все эти годы Якоб не улыбался так широко и ясно, как сейчас.

– Ты помнишь, каким я подобрал тебя в Колывани? – спросил трактирщик. – Разве ты тогда хоть чем-нибудь оправдывал тот хлеб, который ел?

Якоб улыбался, глядя в глаза трактирщику.

– Ты тогда очень много ел и мало работал. И я ведь еще тебя одевал, если ты помнишь? Десять лет чего-нибудь да стоят, не правда ли? Потом ты давал покупателям в долг ром, бренди, водку, и не все тебе возвращали деньги. А товар-то был мой?

– Ваш. Я разносил его по вашим приказаниям...

– Но теперь, раз ты уходишь от меня, мне не собрать эти долги. Ведь так? Я их тоже подсчитал. Ты всегда ел вместе со мной, ведь не станешь ты это отрицать? Ну и, наконец, твои земляки – эти несчастные военнопленные? Ты вечно что-нибудь для них просил...

Якоб все еще улыбался. Улыбка точно приклеилась к его лицу. Но глаза не улыбались. Глаза смотрели со всегдашним выражением упрямства.

– Вот и получай что приходится! – сказал трактирщик. – Я никогда никого не обманывал...

Якоб положил деньги в карман, встал.

– Ну, спасибо!

– Ты, кажется, недоволен?

– Нет, я доволен! – сказал Якоб. – Я очень доволен, дядюшка Грейс!

– Но ты не слишком доволен?

– Нет, я доволен! – повторил Якоб. – Конечно, вы недорого взяли за то, что не донесли на меня, когда началась война с русскими. Тогда бы мне было куда хуже...

– Вот видишь! – оживился трактирщик. – А это было не так уж просто для меня. Я многим рисковал, ты не можешь этого не понимать...

– Я и говорю, – продолжал Якоб, – мне пришлось бы хуже. А так все-таки голову я сохранил. Так что я доволен и очень вам признателен...

– Если бы я донес, кто ты такой, – сказал трактирщик важно, – то ты, конечно, не сносил бы головы на плечах. Тебя бы забрали на галеры или еще куда-нибудь пострашнее. А что это такое, ты видел сам...

– Да, я видел! – согласился Якоб.

– Значит, ты мне благодарен?

– Да, гере, очень благодарен.

– Ну, тогда прощай, я лягу спать. Ты ведь нынче болтал всю ночь с этими проходимцами и пьяницами, а я трудился. Тебе, наверное, пора на корабль?

– Да, мне пора на корабль! – ответил Якоб. – Все мои дела сделаны...

Трактирщик вдруг хлопнул себя по лбу:

– Слушай, Якоб! – воскликнул он. – А кто же снесет обед русскому князю на его подворье? Не станет же это делать повар? А я не могу – как-никак я старшина цеха трактирщиков, это что-нибудь да значит. Завтра ко мне придет новый служащий, но сегодня?

Якоб молчал. Можно было подумать, что ему не хочется нести обед.

– Я бы снес, – сказал он наконец, – но опять сюда придет этот тайный агент и станет выпрашивать, зачем я хожу на княжеское подворье. Повар рассказывал, что он уже дважды толковал с ним... Мне это неприятно, хозяин, тайный агент может испортить мою будущую жизнь в королевском флоте...

Трактирщик поклялся, что никто ничего Якобу не испортит. Все знают, что Якоб носит обеды князю не по своему желанию. А тайные агенты нынче суют свой нос повсюду, такое время, – война.

В конце концов Якоб согласился, хоть и с неудовольствием. В кухне повар положил в миску кусок жареной баранины с чесноком и завернул в салфетку два пирога.

– Не мало ли? – спросил Якоб.

– Пусть скажет спасибо за то, что я не кормлю его ячменной похлебкой! – сказал повар. – Я добрый швед, и мне противно думать, что этот москвит жиреет на еде, которая готовится моими руками...

– Но все-таки он платит большие деньги! – возразил Якоб.

Это было неосторожно. Повар швырнул шумовку и обернулся к Якобу.

– Как я посмотрю, агент недаром сюда приходил! – крикнул он. – Слишком уж ты заступаешься за этого князя. А ему место на эшафоте, да, да, по нем давно скучает папаша Фредерик, да и по тебе тоже. Вы с этим князем, наверное, снюхались, он тебе платит русским золотом, а ты ему рассказываешь все, что тебе удастся узнать...

– А тебе завидно? Ты сам бы охотно нанялся за золото, да тебя никто не берет...

Повар сделал шаг к Якобу. Тот стоял неподвижно, усмехаясь и глядя на повара своими упрямыми, потемневшими вдруг глазами.

– Проваливай! – велел повар. – Проваливай, а то у меня дрожат руки от бешенства. Уходи сейчас же...

– Осел! – сказал Якоб. – Осел, вот ты кто! Старый дурак...

Он вышел из кухни.

Возле дома его никто не поджидал, как бывало в последние дни, и он вздохнул с облегчением. По дороге в мелочной лавке подручный трактирщика купил стопу наилучшей бумаги, связку перьев и бутылку водки. На крыльце сырого и гнилого дома, в котором содержался русский резидент князь Хилков, два пристава играли в кости. Якоб вежливо поздоровался и похвалил погоду, но приставы ответили очень коротко и уставились на него так, будто видели его в первый раз.

– Я вам принес презент! – произнес Якоб.

– Можешь сам пить свою водку! – ответил старший пристав.

– Да, можешь сам ее вылакать! – подтвердил второй и отодвинул от себя бутылку, но так, чтобы она не упала с крыльца и не разбилась.

– О! – воскликнул подручный трактирщика. – Разве я в чем-нибудь провинился? Или водка, которую я приношу, недостаточно хороша? Или ее мало?

Оба пристава переглянулись, и тот, что был помоложе, сказал сурово:

– Отнеси обед и проваливай поскорее! Нечего тебе там расслаживаться!

«И эти предупреждены! – подумал Якоб. – Плохи мои дела. Я на свободе последние часы. А уж если схватят – тогда прямо в лапы к папаше Фредерику».

Когда Якоб вошел, Хилков, держа в левой руке потухшую трубку, диктовал секретарю русского посольства Малкиеву:

– Из тамошних граждан купец, мягким товаром торговавший, Козьма Минин...

– Минин, – повторил, макая перо в чернильницу, Малкиев...

Андрей Яковлевич кивнул Якобу и на мгновение задумался, потом продолжил:

– Минин, зовомый Сухорукой, встав посреди народа на площади, говорил к людям: «Видим конечное Русского государства разорение, а помощи ниоткуда не чаем, для того я вам советую и прошу – казну со всех нас до последнего имени собирать»... Написал?

– Поспешаю! – ответил Малкиев.

– До последнего имения собирать, жен и детей закладывать и, казну собрав, полководца нам искать, дабы с ним идти на Москву для очищения сего града нашего от ворога...

Малкиев писал, стоя у конторки, сколоченной из грубых сосновых досок. Хилков был без парика, в камзоле из мягкой кожи, шея была повязана теплым фуляром: князю опять недомогалось, и мешки под глазами сделались еще тяжелее, чем раньше. Было видно, что он совсем расхворался. Пока он диктовал, Якоб думал о том, как трудно будет нынче сказать Андрею Яковлевичу, что он собирается покинуть Стокгольм и что князю придется остаться без его помощи...

– Ну, иди, Малкиев, – сказал князь секретарю, – иди, дружок, много нынче натрудились мы с тобой, отдохни покуда...

Секретарь посольства поклонился, пошел к двери. Его лицо чем-то не понравилось Якобу, он проводил его недоверчивым взглядом и повернулся к Хилкову.

– Откуда сей господин здесь?

– Отпросился ко мне помогать делу моему...

– Знает много?

– Откуда же ему знать, когда он и в летописи не заглядывал. Говорю – я, он пишет. Надо временем, дружок, пользоваться с поспешностью, ибо грозит король упечь нас на сидение в подвал крепости некой в городе Вестерас и будто назначено мне заключение одиночное...

– Одному вам?

– Будто так. Вчерашнего дни был от короля здесь посланец. Именем государя своего Карла Двенадцатого говорил мне различные кумплименты и сулил, коли я лютеранство приму, место при Карле – советником королевским по делам Московии...

– Ну?

– Я ему, в невеселом будучи духе, некое русское ругательство сказал, а как он его не понял, то я то ругательство латинскими литерами начертал и вручил в руки. А нынче уж поутру совсем худо сделалось, сулят мне великий Карлы вашего гнев...

И, махнув рукою, Хилков добавил беспечно:

– Да шут с ним, с Карлой. О другом толковать будем...

– О чем? – улыбаясь спросил Якоб.

Об отъезде надо было сказать сразу, но Якоб все не решался, молча слушал сетования Хилкова на то, что под рукою нет тех заметок и списков летописей, которые скопил он в Москве, а память нынче не все хранит.

– Веришь ли, – сердито посмеиваясь, говорил Андрей Яковлевич, – по ночам все един сон вижу, прискучило, а не отвязаться: будто получил из Москвы от старого своего учителя Полуектова Родиона Кирилловича нужные мне списки летописей. И так мне на душе легко, так славно, будто праздник какой. А проснешься – худо, проснешься – знаешь: теперь не получить, теперь долго не получить. Писал в королевскую канцелярию, просил некоторые наши книги – ответили высокомерным отказом. А годы идут, сколь еще война продлится, – суди сам, весело ли жить бездеятельно, запертым под караулом.

С трудом шагая опухшими ногами по гнилым половицам, сунув руки в широкие рукава теплой фуфайки, поеживаясь от озноба, Хилков твердым голосом говорил, что единственное, благодаря чему он живет и еще надеется пожить малость, есть писание труда «Ядро российской истории», но что каждый день встает все больше и больше преград, с которыми сил не хватает справляться. Прошел нынче слух, что его, Андрея Яковлевича, непременно лишат перьев, чернил, бумаги, – на чем тогда писать дальше? А книга вовсе не закончена, написано пока не все и даже не перебелено...

– Бумага вот, тут много! – сказал Якоб, кладя на стол стопу. – Надолго хватит!

– Много не велено держать, – ответил Хилков, – ругаться, поди, будут...

– Спрятать надо, рассовать по разным углам, чтобы не вместе была...

Хилков вдруг с подозрением взглянул на Якоба.

– Значит, более не принесешь? – спросил он тихо.

– Не принесу.

Они помолчали. Да и трудно клеится разговор, когда один из друзей уезжает, а другой остается.

Якоб коротко рассказал о своих планах.

– Ну, когда так, – строго заговорил Хилков, – в Копенгагене увидишь Измайлова. Скажи ему моим именем, да что моим! Не для себя, я чай, делаю, – пусть отыщет здесь каких ни есть сребролюбцев, даст им денег, дабы писать мне не запрещали. А коли сам сробеет, на Москву пусть отпишет.

– Понял, – сказал Якоб и поднялся.

– С чего заспешил уходить?

– Более нельзя мне здесь оставаться, – сказал Якоб. – Не сегодня-завтра схватят. Проведали чего-то или просто опасаются – не знаю, но только присматриваются...

Хилков усмехнулся:

– Упреждал я тебя, милого друга, не ожгись! Смел больно и повсюду все сам делаешь. И на галеры, и письма тайные, и по городам – где какие корабли строятся, и по пушечному литью...

Якоб ответил упрямо:

– Коли война, так не помедлишь. И то сколь много времени делал безбоязненно: видно – пора, отгулял свое по королевству шведскому.

Андрей Яковлевич разгладил седеющие усы, сел рядом с Якобом, обнял его за плечи, сказал душевным голосом:

– Имена не запоминай, скажи просто – консилия. Так-то, друг добрый... Скажи еще: завидовал, дескать, Андрей Яковлевич галерным каторжанам. Из них кто посмелее – бежит, Хилкову же не убежать никак, два пристава – днем, четыре – ночью, да решетки, да от короля указ – беречь неусыпно под страхом смерти. Ну и ноги пухнут... Засим прощай, молодец. Был ты мне другом, много помог, много славных минут, да и часов, провели мы вместе...

Андрей Яковлевич взял Якоба ладонями за щеки, поцеловал. Якоб заговорил, сдерживая волнение:

– Вы пребывайте в спокойствии, Андрей Яковлевич. Я все, как вы велели, сделаю. Ничего не забуду. И еще скажу: никогда не забуду, как рассказывали вы мне краткие повести об истории российской, как отвечали на вопросы мои, которых такое множество я задавал, как последние деньги свои давали мне для несчастных пленных.

– Ну-ну, – остановил Хилков. – Еще чего, – русский русскому на чужбине не поможет, тогда, брат, и свету конец. Иди. Прощай. Спасибо за все, что делал!

Когда Якоб был уже у двери и даже взялся рукою за скобу, Хилков вдруг окликнул его:

– Стой, погоди!

– Стою!

Он обернулся. Князь, улыбаясь, молчал...

– Что вы, Андрей Яковлевич?

– Последнюю цыдулю, что от меня отправлял, тайную, не ведаешь?

– Не знаю, князь.

– То-то, что не знаешь. Умная цыдуля, пригодится, я чай, нашим. Об лоцмане там речь идет. Дабы доброго лоцмана отыскали...

– Какого лоцмана?

– Узнаешь со временем. Ах, досадно мне, дружок! Ты знать все будешь, а я здесь ничего не узнаю. Ну, прощай, иди...

Якоб вышел, спустился с крыльца, вежливо дважды поклонился приставам, сказал на всякий случай, что завтра, когда принесет князю обед, захватит с собою не водку, а рому, и отправился домой.

Трактирщик, дядюшка Грейс, дремал в своем кресле. Открыв один глаз, он спросил:

– А может быть, ты, парень, еще раздумаешь и останешься?

Якоб не ответил.

– Если ты останешься, я тебя возьму. Но за ту же плату...

– Если бы заплатили побольше...

– Неблагодарная тварь...

Молча сложил Якоб в сундучок белье, пару будничного платья, теплую фуфайку, башмаки на деревянных подошвах и, надев свой праздничный красный кафтан, спустился с сундучком подмышкой по скрипучим ступеням. У него было еще много дела нынче.

Прежде всего на железном рынке он купил три маленьких напильника, полдюжины матросских ножей и дюжину испанских стилетов. В тихом месте, у моря, он туго стянул все свои покупки бечевкой, бережно привязал к оружию заранее приготовленное письмо и замотал все вместе тряпкой. Потом, захватив несколько бутылок рома, Якоб отправился на галерную пристань и спросил у голландца-надсмотрщика, на борту ли капитан Альстрем.

Альстрем был на борту.

Якоб поднялся по трапу, громко поздоровался с комитом Сигге и закричал ему, словно глухому:

– Теперь и я моряк, гере Сигге. Больше я не слуга в трактире.

Сигге принял эту новость равнодушно, но кое-кто из шиурмы поднял голову. Якоб пошел дальше, к капитанской каюте. На пути его – снизу, со скамей, где были прикованы каторжане, – поднялась рука с раскрытой ладонью, а у Якоба как раз в это мгновение расстегнулась пряжка на башмаке. Он нагнулся и пошел дальше уже без свертка – только с сундучком.

Капитан Альстрем поблагодарил за ром и со своей стороны высказал пожелание помочь молодому человеку на его новом пути.

– Я знаю эконома на эскадре, – сказал он, – эконом нуждается в опытном помощнике адмиральского буфетчика.

И Альстрем написал Якобу, который словно забыл о долге капитана трактирщику, записку к эконому эскадры.

– Теперь встретимся в море! – сказал Якоб, прощаясь.

– К сожалению, мы нынче уходим в Ревель! – сказал капитан. – У нас разные дороги...

Рекомендации Альстрема и лейтенанта Улофа Бремса пригодились, и в этот же день Якоб уже числился помощником адмиральского буфетчика на флагманском корабле «Корона». Теперь он был почти уверен, что агенты короля потеряли его след. Мало ли людей по имени Якоб служат в королевском флоте, а фамилию он себе придумал. Скорее бы в море!

– Ну, да у тебя золотые руки! – говорил буфетчик, глядя, как Якоб готовит посуду для завтрака шаутбенахта. – Ты понимаешь толк в этом деле. А я был обер-шенком в некоем баронском доме, но обер-шенк только подает вина, как тебе известно, здесь же надо сервировать стол и заботиться еще о том, чтобы шаутбенахту понравилась еда. А к нему нынче приехала из Упсалы молодая жена; ты можешь себе представить – этот старый черт женился на молоденькой. Вот она и вьет из него веревки... Пошел даже такой слух, что она отправится с нами на бой китов...

– Женщина – на бой китов? – удивился Якоб.

– Женщина! – передразнил его адмиральский буфетчик. – Но какая женщина! Впрочем, ты сам увидишь, что она такое – фру Юленшерна.

Якоб увидел ее, когда вносил серебряные тарелки в адмиральские покои. Вся розовая, с огромным узлом волос ниже затылка, супруга шаутбенахта сидела на адмиральском столе, покрытом зеленым сукном, и, высоко держа в обнаженной руке гроздь винограда, веселилась, глядя, как ярл Эрик Юленшерна подпрыгивает, словно собачонка, которую дразнят вкусной косточкой.

– Вон! – крикнул шаутбенахт, повернувшись на скрип двери.

– Нет, пусть войдет сюда! – сказала фру Юленшерна. – Я хочу знать всех на моем корабле. Ты – слуга?

Якоб поклонился.

– Ты постарайся, чтобы мне было удобно и весело во время путешествия? Ты будешь мне угождать?

Якоб поклонился опять.

– Очень хорошо! – похвалила фру Юленшерна. – А ваш адмирал говорит, что все здесь грубы, неотесанны и злы, как дьяволы. Он еще говорит, что женщина на корабле приносит несчастье в бою. Но о каком сражении может идти речь, если вы отправляетесь бить китов. А я никогда не видела, как их бьют...

– Иди! – приказал Юленшерна, наступая на Якоба.

– И чтобы завтрак был вкусный! – крикнула вдогонку фру Юленшерна.

Закрывая двери, он слышал, как фру говорила шаутбенахту:

– Ах, вы, кажется, надулись, мой грозный муж? Быть может, вы хотите повесить меня, как вы вешаете ваших матросов? Или наказать кнутом?

В буфетной Якоб сказал:

– Я много лет работал в трактирах и видел таких девиц не раз. Но чтобы эдакая командовала адмиралом – тут есть чему удивляться.

Адмиральский буфетчик засмеялся.

– Дочь графа Пипера ты называешь трактирной девкой?..

– Она дочь графа Пипера?

– И единственная притом.

Вечером в адмиральской каюте было весело: два лейтенанта и эконом эскадры сопровождали фру Юленшерне на скрипках и лютне. В открытые настежь окна лилась музыка и новая трогательная песенка, написанная другом короля – пиитом Хольмстремом – по случаю смерти королевского пса – Помпе.

Помпе, верный слуга короля,
Спал каждую ночь в постели короля,
Наконец, усталый от лет и происшествий,
Он умер у ног короля...

Матросы на юте, артиллеристы на гон-деке, солдаты на галереях перемигивались, слушали красивый, нежный голос супруги шаутбенахта.

Многие милые и прекрасные девушки
Хотели бы жить как Помпе,
Многие герои бы стремились
Иметь счастье умереть как Помпе...

В адмиральской каюте захлопали в ладоши, закричали «браво»; матросы, сидя на бухтах канатов, загоготали.

– Ловко сказано, – произнес один. – Умереть, как собака, у ног короля, – вот, оказывается, чего мне только не хватает...

– Так то ведь – для героев! – сказал другой. – А ты, брат, всего-навсего – Швабра.

Внизу засвистела дудка, запел рожок.

– Эге! – сказал Швабра. – Похоже на то, что придется поработать.

Рожок запел во второй раз. Подошел лейтенант с хлыстом, гаркнул, замахнувшись:

– А вы тут оглохли?

Боцман кричал вразряжку:

– Ста-а-ановись!

К флагманскому кораблю швартовались малые суда, груженные ящиками пороха, ядрами в лозовых корзинах, запасными пушечными станками. Артиллеристы тянули огромные парусиновые рукава от крюйт-камеры к фор-люку – пороховые припасы могли

взорваться от случайной искры. На шканцах ударил барабан – под страхом смерти тушить все огни на корабле. В камбузе дежурный по фитилю залил очаг. У корабельного запала, всегда горящего посередине кадки с водою, встали караульные с короткими копьями. Матросы спешно выколачивали из трубок пепел. Вахтенный лейтенант бил в зубы всех, кто заставлял его ждать...

У трапа в крыйт-камеру трижды ударили в колокол. Швабра, выбирая гордень сей-тали, пригрозился:

– Ну, гере китовый царь, берегись! Достанется тебе, бедняге...

5. ФРУ ЮЛЕНШЕРНА

Раздеваясь, Маргрет спросила у мужа:

– А как вас собрались колесовать? Это было очень страшно? Вы мне никогда об этом не рассказывали...

Шаутбенахт ответил кислым голосом:

– Бог знает что вам приходит в голову...

– Вы много пролили христианской крови, когда были пиратом? – опять спросила фру Юленшерна.

Он возвел глаза кверху, как бы прося заступничества у бога.

– Много?

И зевнула:

– Никогда не думала, что бывает такая скука...

– Мне некогда скучать, дорогая, – произнес ярл Юленшерна. – У меня много дел...

– Да, у вас у всех государственные дела...

Она сбросила туфли и потянулась:

– Вы, конечно, ничего не замечаете, вы стары, вам все это неинтересно. А я так скучаю, просто не могу жить. Каждый день король подписывает указы один глупее другого. Почему, например, свадьба не может продолжаться более двух дней? Почему дворянину нельзя позвать в гости более двенадцати персон сразу? Почему нельзя устраивать балы, фейерверки, красивые охоты с егерями? Почему?

Ярл ответил твердо:

– Потому что деньги нужны для войны, а ваше дворянство готово пустить по ветру все золото страны...

Он, кряхтя, стащил с лысой головы парик с косичкой, напялил его на болванку, бережно огладил и натянул на лысину полотняный ночной колпак с кисточкой.

– Королю-то все можно! – продолжала Маргрет, бросив на мужа косой, быстрый, брезгливый взгляд. – Я-то хорошо помню, как весь Стокгольм ходуном ходил от его забав, когда он со своими молодыми разбойниками рубил на улицах баранов и травил волкодавами честных людей...

– То была молодость, – пожевав губами, сказал шаутбенахт. – Теперь его величество серьезен и полон величайших замыслов. Европа будет принадлежать Швеции, вы можете в этом быть совершенно уверены...

– Да?

– Да, дорогая...

Он надел парчовый халат и пополоскал рот душистой водою.

– Король мудр и скромн, – сказал Юленшерна. – А скромность есть величайшая добродетель...

– Он ест простую солдатскую пищу! – засмеялась Маргрет. – Боже, как мне надоели эти глупые рассказы. Вы, ярл, наверное забыли, что я не деревенская девушка, а урожденная графиня Пипер и кое-что понимаю с детства. Скромные вкусы Карла стоят Швеции не меньше, нежели роскошь Людовика – французам... Так говорит мой отец, а он достаточно знает... Принесите мне грушу!

Ярл принес блюдо с фруктами, но фру Юленшерна вдруг захотела сыру. Юленшерна опять ушел. Она легла в постель, распустила косы, посмотрелась в ручное зеркало, сделала себе гримаску. Было слышно, как шаутбенахт требует у буфетчика сыра. На юте забегали, блоки закрипели, буфетчик на адмиральском вельботе отправился за сыром в Стокгольм. Шаутбенахт, крихтя, лег рядом с женой. От нее пахло вином. Ярл закрыл глаза, ему хотелось спать. Он знал: если сейчас не заснет – начнется бессонница. Фру Юленшерна наклонилась над ним, сдернула ночной колпак, пошлепала по лысине:

– У вас голова, как у младенца, в пуху... Вы были блондином или шатеном? Расскажите, коль скоро этого нельзя увидеть... Должна же я знать...

– Вряд ли это теперь имеет значение! – ответил шаутбенахт серьезно и грустно.

Она посмотрела на него беспокойным взглядом, притворилась, что засыпает. Юленшерна покосился на нее и увидел, что она белыми пальцами перебирает косу и ее большой рот сердито улыбается.

Через несколько минут Маргрет осторожно поднялась с постели, надела теплый, на гагачьем пуху, халат, крытый серебряной парчой, накинула на плечи тонкий толедский платок и, распахнув дверь, вышла на галерею адмиральской каюты.

В гавани, словно светляки, сновали грузовые суда, пели рожки, били колокола. На баркасах везли к кораблям пьяных солдат, грубыми глотками они орали непристойные песни. Далеко в ночном тумане едва поблескивали огни Стокгольма.

Фру Юленшерна ударом ноги разбудила спящую в каморке чернокожую девушку-рабыню, подаренную ей отцом, и велела принести на галерею бутылку старого бордоского вина и сыру. Девушка тотчас же появилась с подносом. Тогда ей было велено позвать сюда сейчас же гере полковника Джеймса. Тот пришел запыхавшись, испуганный, не поняв, что его потребовал к себе не адмирал, а фру Юленшерна.

– Гере полковник, – сказала Маргрет, – вы долго были в Архангельске и все там знаете...

– О да, я вполне им наслаждался! – сказал Джеймс, успокаиваясь и веселея при виде доброго вина, хрустальных бокалов и красивой супруги ярла шаутбенахта. – Я знаю Архангельск...

– Вот я и хочу говорить с вами об этом городе...

Полковник поклонился.

– Вы должны мне рассказать об иностранцах, которые там жили. Московиты мне неинтересны.

Джеймс начал говорить. Он умел рассказывать бархатистым голосом, делая изящные жесты правой рукой. Рассказывая, он учтиво улыбался. Но несмотря на все старания Джеймса, Маргрет слушала его невнимательно. Ей не было никакого дела ни до денег консула Мартуса, ни до красноречия пастора Фрича, ни до негоциантских хитростей живущих в Архангельске иностранных купцов.

– Есть ли там хоть хороший лекарь? – спросила она вдруг, поднеся ко рту ломтик сыру.

Полковник быстро взглянул на Маргрет и вспомнил некоторые слухи о тайном агенте короля в Архангельске. Погодя он ответил значительно:

– В мое время там был лекарем некто Дес-Фонтейнес, Ларс – так его звали. Ларс Дес-Фонтейнес...

– Расскажите мне про него все, что знаете...

– Но я знаю очень мало! – возразил полковник.

– Мне будет интересно и это...

Она разлила вино в бокалы. И, помолчав, сказала:

– Он теперь опять в Архангельске. Мы были друзьями в нежные годы детства, но очень, очень давно не виделись. Рассказывайте...

6. К ПОХОДУ!

Утром капитаны кораблей докладывали флагману о том, что амбаркация, иначе – посадка войск на суда эскадры, закончена благополучно. Происшествий особых не было. Только на корабле «Справедливый гнев» оборвался трап, и четыре пьяных солдата утонули.

Шаутбенахт кивнул головой.

После докладов шаутбенахт объявил приказ о перемещении капитанов. Уркварт, как опытный шхипер, знающий Белое море, был назначен командовать «Короной». Голголсен направлялся на «Злого медведя». Лейтенант Улоф Бремс шел капитаном на «Справедливом гневе», яхту «Ароматный цветок» флагман поручил лейтенанту Юхану Морату. На других кораблях эскадры все сохранялось попрежнему.

– Где мне надлежит иметь постоянное местопребывание? – спросил полковник Джеймс.

– На «Короне», – ответил шаутбенахт. – Вам отведено помещение, соответствующее вашему воинскому званию.

Полковник поклонился.

– Можно ли спускать людей на берег? – спросил Голголсен.

– Нет, – ответил шаутбенахт.

– Скоро ли мы поставим паруса? – спросил лейтенант Улоф Бремс.

– Вы их поставите, когда получите от меня приказ! – сурово ответил шаутбенахт.

Улоф Бремс покраснел пятнами.

К завтраку на «Корону» прибыл государственный секретарь и отец фру Юленшерны граф Пипер, только что приехавший из Польши от доблестных войск короля Карла. Его величество приказал Пиперу принудить «этих олухов из государственного совета» к тому, чтобы на ведение войны деньги отпускались безотказно. В совете не оказалось ни одного смельчака, который посмел бы возразить государственному секретарю, и Пипер пребывал в очень хорошем настроении.

Завтракали втроем – фру Юленшерна, шаутбенахт и граф Пипер.

– Я доставил вам приказ короля! – произнес Пипер за десертом. – Вы вскрыете конверт на пути в Московию, после посещения кораблями города Копенгагена...

И он протянул Юленшерне конверт с пятью королевскими печатями.

– Что-нибудь новое? – спросил шаутбенахт.

– Насколько мне известно, нет. Просто церемониал овладения городом Архангельском и милости короля матросам и офицерам эскадры...

Юленшерна спрятал конверт в железную шкатулку, повернул ключ в замке и опять опустился в свое кресло.

– На словах его величество ничего не приказал передать?

– Его величество государь наш король недоволен, – ответил граф Пипер. – Крайне недоволен. Вы слишком долго собираетесь...

– Слишком долго? Напомните его величеству нашему королю, граф, что я много лет ведал нашими агентами в Московии и знаю о ней больше, чем... – он запнулся, – чем многие другие. Я хочу сбить людей с толку. Пусть они думают, что мы действительно идем промышлять китов...

– Ни один мальчишка в королевстве не поверил этой сказке! – улыбаясь ответил Пипер. – И вы напрасно спорите, мой друг! Его величество государь наш король весьма резко выразился насчет продолжительности сборов экспедиции...

– Как – резко?

– Мне бы не хотелось вас огорчать, мой друг...

– Но я должен знать мнение моего короля обо мне, граф!

Пипер вздохнул:

– Как вам будет угодно: его величество государь выразился в том смысле, что такой старый и упрямый осел, как вы...

– Старый и упрямый осел?

– Да, гере шаутбенахт. И еще его величество государь наш король изволили сказать,

что даже пираты к старости делаются слишком осторожными...

– Это все?

– Да... – неуверенно сказал Пипер. – Впрочем, еще было сказано насчет того, что вас можно заменить...

Шаутбенахт молчал. Пипер налил ему вина. Он отодвинул от себя кубок и произнес, сдерживая бешенство:

– Хорошо, граф, я снимусь с якоря сегодня же.

– Если все подготовлено, то вам действительно следует сниматься немедленно. Говорю вам об этом как ваш искренний друг. Его величество убежден в успехе экспедиции, тем более, что на кораблях негоциантов в Архангельске есть ваши люди, не так ли?

Юленшерна сказал, что действительно есть.

Проводив графа Пипера, ярл шаутбенахт кликнул цирюльника и велел поставить себе пиявки, дабы очистить жилы от дурной крови. Потом, отдохнув и выпив вина с водой, он приказал поднимать сигнал: «Эскадре иметь полную готовность к походу!»

– Но вы дурно выглядите! – воскликнула фру Юленшерна.

– Для своих лет я выгляжу отлично! – возразил шаутбенахт.

После сигнала «Командам пить королевскую чарку и обедать» взвился флаг, означающий: «Внимание». И сразу же шаутбенахт велел передать эскадре: «С якорей сниматься, следовать за мной!»

От берега отвалили гребные суда – выводить корабли из порта.

– Начинайте! – велел шаутбенахт.

Босые матросы пошли по палубе, налегли на вымбовки, начальный боцман с плетью побежал возле матросов. Шаутбенахт приказал идти бейдевинд левым галсом. Корабль медленно разворачивался. Ветер наполнил фор-марсель, заиграл в грот-марселе и в крьюселе. Капеллан эскадры набожно произнес за плечом ярла Юленшерны:

– Да покровительствует нам святая Бригитта!

– Аминь! – отозвался шаутбенахт.

На шканцах барабанщики били на семи барабанах: «Поход во славу короля!»

– Вот тебе и киты! – сказал матрос по кличке «Швабра» другому матросу, длинному и сердитому Кристоферу. – Слышишь, что бьют барабанщики?

– А мне наплевать, что бы они ни били! – ответил Кристофер.

– Они бьют «Поход во славу короля», – сказал Швабра, засовывая за щеку кусок жевательного табаку. – Мы идем в Московию.

– Московиты богаты! – сказал Кристофер. – Пора и нам немного погреть руки.

Полковник Джеймс и фру Юленшерна стояли на полуяте. Джеймс, в парике, в треуголке, с мушкой у рта, кутался в черный суконный плащ, говорил галантно:

– Буду счастлив, фру Маргрет, если в городе Архангельске найду хоть что-либо, что вызовет улыбку столь прекрасных губ...

– А разве мы все-таки идем в Архангельск? – насмешливо спросила Маргрет.

– Мы, фру, идем убивать китов...

Матросы на баке мерными голосами пели старую, страшную пиратскую песню:

Руки не мыть и пить, фифаллерала,
Поскорее пить, потому что отмыть нельзя...
Фифаллерала-лерала,
Нам кровь не отмыть...

– Я, кажется, знаю эту песню, – сказала фру Юленшерна. – Несомненно знаю. Я только не слышала раньше ее слов.

– Очень грубая песня! – заметил Джеймс. – Вам, пожалуй, не стоит ее и знать, фру Юленшерна...

Она топнула ногой:

– Молчите!

Принимай-ка, ведьма, гостей!
Таверна нас не ждала и трактирщица тоже,
Налей же, старуха, налей!
Ты не знаешь чего?
Не того, что мы проливаем, а еще покрасней!
Налей!
Фифаллерала-лерала!
Ла-ла!..

– Теперь я поняла! – сказала фру Юленшерна. – Эту песню свистит мой супруг. Да, да, когда он в духе, он непременно насвистывает эту песню. Так протяжно, словно ветер завывает в море...

7. В ГОРОДЕ КОПЕНГАГЕНЕ

К заходу солнца в субботу эскадра шаутбенахта Юленшерны бросила якоря в Христианхазен – в гавани датской столицы Копенгаген. Матросы и солдаты, столпившись у бортов, с вожделением смотрели на богатый город, живописно раскинувшийся под вечерними солнечными лучами. Рыжий Билль Гартвуд рассказывал:

– Я имел честь участвовать в бомбардировании этого города в тот день, когда соединенная эскадра решила покончить с датчанами. Линейные корабли стояли как раз за тем мысом. Я служил тогда канониром на стопушечном «Хук». Надо было видеть, что тут делалось...

Матросы вздыхали: вот бы здесь погулять! Датчане, небось, притихли после того, как их заставили выйти из союза с Россией и Польшей. Теперь-то они поняли, кто настоящий хозяин их страны.

– И все-таки мы их не добились до конца! – сказал боцман Окке, прозванный «Заячий нос» за то, что всегда шевелил носом, точно принюхиваясь. – Мы их не добились! Пятьдесят лет тому назад мы им здорово всыпали, но тоже не до конца. Шведский флаг над городом – вот что нам нужно. Вы видите городскую ратушу? Вот там и должен быть шведский флаг...

На баке флагмана ударила погонная пушка.

– Старик вызывает капитана над портом! – сказал Сванте Багге – корабельный палач. – Сейчас будет потеха!

Датчанин – капитан над портом, высокий человек в синем кафтане и белых чулках, – на своей шлюпке подвалил с визитом вежливости к борту «Короны». Парадный трап поставлен не был. Матросы видели, как побледнел датский офицер, когда ему предложили подниматься по шторм-трапу на глазах у гогочущей команды. Ни шаутбенахт, ни капитан корабля Уркварт с датчанином не разговаривали. Беседа была поручена всего только главному боцману дель Роблес.

Боцман принял офицера стоя, вопреки правилам учтивости не осведомился о здоровье датского короля и не сказал, зачем пришла эскадра. Датчанин молча кусал губы.

– Ввиду трудности похода ярл шаутбенахт решил спустить часть команды на берег! – сказал дель Роблес. – Надеюсь, город приветливо примет моряков, пришедших под славными флагами флота его величества короля Швеции Карла Двенадцатого, да продлит господь его дни...

Дель Роблес замолчал, ожидая, чтобы датчанин сказал «аминь». Но датчанин не сказал ничего. Он стоял, положив руку на эфес шпаги, гордый, широкоплечий, высокий. Одним ударом кулака он мог бы свалить боцмана с ног.

– Город встретит матросов и солдат его величества как родных братьев? – сказал дель Роблес. – Магистрат не поскупится на угощение, не правда ли?

– Город и магистрат не находятся в родстве с матросами флота его величества Карла Двенадцатого! – ответил капитан над портом. – Что же касается до еды, то датчане издавна никому не отказывали в угощении.

Через несколько минут офицер откланялся, запросив время для подготовки города к встрече «друзей».

– Сколько вам нужно для этого часов? – спросил дель Роблес.

– Не более двух часов начиная с той секунды, когда моя шлюпка подойдет к берегу.

Дель Роблес согласился. Капитан над портом спустился по шторм-трапу в свою шлюпку. Команда проводила его гоготом, свистом и улюлюканьем.

Солнце уже давно зашло, когда на кораблях забили барабаны, извещая матросов и солдат о том, что они могут отлучиться на берег. Люди как горох посыпались в шлюпки. Над заштилевшим морем загремели матросские песни, при свете полной луны шлюпки одна за другой подходили к молчаливому берегу, и здесь веселье сразу сменялось недоуменными возгласами:

– Это что же такое? Кавалерия?

– Да они с мушкетами...

– Какого черта?

На набережной неподвижно стояли всадники с саблями, короткими копьями и мушкетами. Лунный свет блеснул на стальных панцырях.

– Зачем ты здесь стоишь? – спросил Бирге Кизилова нога у неподвижного всадника.

– Проходи своей дорогой! – ответил тот таким голосом, что Бирге больше не захотелось спрашивать.

На мосту Книппельсбру, который соединял город с портом, стояли пешие солдаты, опираясь на пики. Билль Гартвуд попробовал пошутить с одним, но солдат его обругал, и англичанин потерял охоту веселиться.

– Где они набрали столько войск? – спросил Убил друга у Сванте Багге – корабельного профоса. – Всей Дании разрешено иметь шесть тысяч солдат, а здесь не меньше тысячи!

Лейтенант Бремс, обгоняя матросов, услышал вопрос Убил друга и сердито ответил:

– Здесь нет солдат, это горожане. Они хотят, чтобы вы вели себя потише, вот и все. Как это ни грустно, а ничего не поделаешь. Веселья нынче не будет, так я предполагаю. И хорошо бы мне ошибиться!

Город точно вымер. Когда шведские моряки вошли в городские ворота, ни одно окно не светилось. Двери домов были заперты, на тавернах и трактирах висели замки, у закрытых лавок прохаживались караульщики с хрипящими псами на ремнях.

Старший артиллерист «Короны» премьер-лейтенант Пломгрэн спросил всадника, показавшегося ему офицером:

– Что все это значит? Почему столько войск? Разве мы не дружественные державы?

Всадник ответил:

– Проваливай, пока я не задавил тебя моим конем, грязный разбойник!

Пломгрэн схватился за шпагу. Тотчас же из железных ворот, которые до того казались запертыми, выехали еще всадники. Их кони храпели, сдерживаемые удилами, доспехи сверкали при свете катящейся в облаках луны. Пломгрэн со своими офицерами стоял посередине мостовой. Их было всего четверо против многочисленной датской стражи.

– Идите куда вы шли! – сказал всадник. – Идите и разговаривайте между собою. На площади Ратуши вас ждет выпивка и угощение. Идите! Что вам нужно от нас? Дружеской учтивости? Наша память не так коротка, как вам кажется. Мы все помним. И дети наши тоже будут все помнить! Идите, пока здесь не пролилась кровь!..

На площади Ратуши горели смоляные факелы и стояли огромные столы с жареным мясом, овощами в сале и белым хлебом. Сорокаведерные бочки с пивом и десятиведерные с вином были расставлены у фонтана. У дверей ратуши стояли караульщики с алебардами и пистолетами. А вокруг площади неподвижно застыло не менее сотни всадников, часть которых была ярко освещена луною, а часть скрыта в тени.

– Кто же нас будет угощать? – громко крикнул Билль Гартвуд. – Где хозяева пиршества?

– Угощайтесь сами! – звонко ответил всадник, лошадь которого била копытами у дома магистрата. – Угощайтесь сами, и пусть бог отпустит вам ваши грехи!

Офицеры, обидевшись, ушли на корабль. А матросы и солдаты принялись пить и есть. Водка была добрая и еда тоже хорошая – жирная и обильная. Офицеры на полпути раздумали обижаться и вернулись обратно. Еды и питья было вдосталь. Убил друга и Окке Заячий нос, упившись, полезли в бассейн под фонтан купаться. Бирге Кизилова нога пошел к всадникам – отвести с ними душу.

– Кто ты такой? – спросил он у юноши, дремавшего в седле.

Юноша-датчанин поднял голову, зевнул, ответил спокойно:

– Я кузнец.

– Простой кузнец?

– Да, простой кузнец.

– И у тебя свой конь?

– Нет, это конь моего друга – ломового извозчика.

– А копьё? Чье у тебя копьё?

– Копьё я выковал сам, своим молотом, на своей наковальне.

– Выпей со мной, парень! – попросил Бирге. – Хоть ты и датчанин, но я ничего не имею против тебя.

– Я не стану с тобой пить! – ответил юноша. – Когда придет время мне выпить, я найду друзей. Иди к своим и выпей с ними. Пожелайте друг другу благополучно унести головы оттуда, куда вы собрались!

– А куда мы собрались? – спросил пьяный Бирге.

– Уж это вы знаете!

Бирге ушел покачиваясь. Луна поднималась все выше и выше. Матросы ревели песню:

Вербовщики его облюбовали
И в королевский флот завербовали,
Вербовщики служить его берут,
И корабли на смерть его везут...

Песня гремела на площади Ратуши. Якоб прислушался – невеселая песня. Он шел переулком. Его никто ни разу не остановил благодаря тому, что был он в красном кафтане, не похожем на синие мундиры моряков и зеленые мундиры солдат. Всадники смотрели на него как на жителя Копенгагена. Один предупредил шутливо:

– Шел бы ты, братец, домой, а то еще попадешься в шведские лапы и стащат с тебя твой щегольской кафтан. А милая подождет до завтра...

Якоб ответил смехом.

На ратуше часы били одиннадцать, когда чугунным молотом он постучал в низкую дубовую дверь русского посольства. Ему отворили не сразу: в двери заскрипело окошечко, чьи-то глаза подозрительно осмотрели Якоба.

– Кого надо?

– Господина Измайлова.

– Господин посол не принимает в эти часы.

– Меня зовут Якоб из Стокгольма. Передайте господину послу, что его спрашивает Якоб из Стокгольма...

Страж ушел ненадолго. Потом низкая дверь отворилась. Слуга с шандалом в руке проводил Якоба в большую холодную залу. На столе горели свечи, проснувшаяся в клетке немецкая канарейка тихо чирикала. Якоб стоял неподвижно. Лицо его пылало, сердце часто билось.

Русский посол Андрей Петрович Измайлов вышел к нему скорым шагом, положил

маленькую крепкую руку на плечо, заговорил радостно:

– Жив? Я рад, очень рад! Не чаял живым увидеть... Покажись, каков? Молод еще, думал – ты старше. Действовал разумно – не как юноша, как муж умудренный... Говорил о тебе в Москве государю. Велено сказать тебе спасибо за службу...

– Я не для того! – смущенно сказал Якоб.

– Ведаю, что не для того, однако царское доброе слово поможет в дальнейшем определить направление жизни. Садись!

Якоб сел. Измайлов позвонил в серебряный колокольчик, велел слуге подать ужин, зажечь еще свечей. Теперь Якоб увидел, что Измайлов немолод – более сорока лет, лицо открытое, смуглое, быстрый взгляд, черные стрелками усы над полногубым ртом.

– Что Хилков?

Слуга накрывал стол, внес вино, блюда с едой. Якоб рассказывал. Измайлов внимательно слушал, в глазах его светилось доброе участие. Иногда он сердито кряхтел, иногда ругался. Когда Якоб кончил свою невеселую повесть о Хилкове, Измайлов вздохнул:

– Ах ты, горе какое. Ну как ему помочь? Ведь молод он, совсем молод, а ты вот говоришь: сед стал! Надобно думать, думать, авось, что и придумаем. Далее рассказывай! Впрочем, погоди, вот что скажу: великую службу сослужил ты отечеству своему...

Якоб краснел, но смотрел на посла прямо, хоть и боялся, что слезы выступят на глаза.

– Великую службу. Грамот твоих тарабарских я сам получил более десятка, ключ у тебя к ним добрый, тем ключом грамоты открывал, пересылал на Москву – государю, через Польшу и иными путями. Твои грамоты, что шли от тебя из Стокгольма, все своего места достигли через город Улеборг. Умирили наши пленные, но свое дело делали. В крови многие грамоты, но доставлены непременно. Слава, великая слава павшим!

Посол помолчал, задумавшись.

– В оковах, страшными муками мучимые, не забывали присягу, крестного целования, верные добрые люди. Имена знаешь ли?

– Нет! – сказал Якоб. – Ни единого имени не ведаю, кроме того, кому палач отрубил голову в замке Грипсхольм.

– Щербатый, слышал. Пытали его?

– Пытали тяжко.

– Тебя знал он – кто ты есть?

– Знал хорошо. Он был первым из русских пленных, которого я увидел. Я о нем рассказал господину Хилкову, которому уже тогда носил обеды из трактира. Господин Хилков подал нам многие нужные мысли – как что делать для большей пользы, и денег не пожалел, хоть не слишком богат. Ему же обязан я тем, что многое из давнопрошедших времен истории россиян узнал...

– Ты ведал, что рискуешь жизнью? – перебил Измайлов.

– Понимал.

– А России никогда и не видел?

– Не видел, господин. Однако многое о ней узнал от Андрея Яковлевича Хилкова и от Щербатого. Слова покойных моих родителей, сказанные мне в Колывани, хорошо помнил: все силы положить, но вернуться в Россию.

– Теперь идешь с эскадрой?

– С эскадрой. Взяли меня помощником адмиральского буфетчика. В Стокгольме на подозрении я, оставаться более не мог...

Слуга ловко сменил на столе скатерть, налил мед в кубки.

– Что это за напиток? – спросил Якоб.

– Не знаешь? – улыбнулся Измайлов. – Это мед. Доброе старое русское питье. Хорош?

– Хорош...

Глаза у Измайлова смотрели лукаво:

– Как вернешься в Россию, будь осторожен с сим напитком. Многим он развязывал языки, многие с непривычки слишком резво болтали о том, что не по душе в своем дому;

оттого и худо приключилось...

Внезапно спросил:

– Что ж Щербатый рассказывал тебе о Руси?

Якоб взглянул на посла своим упрямым взглядом, помолчал, словно размышляя, потом ответил с разумной осторожностью:

– Везде по-своему хорошо и по-своему худо, господин, но не было для меня хуже жизни, нежели тут. Рассуждаю так: рожден человек на свет недаром, должно ему нечто свершить. Чувствую в душе своей стремление к делу, а какое же дело мое тут? Ужели всего и предначертано мне судьбою, что угождать трактирщику да подавать в погребке пиво и водку загулявшим матросам?

Измайлов слушал внимательно. Слуга убрал блюда с едою, подал кожаную сумку с табаком, вересковые и глиняные трубки. Посол, удобно откинувшись в креслах, раскуривая трубку, сказал:

– То справедливо, хоть и несколько туманно. Теперь будем толковать о деле, философию оставим для часов досуга. Расскажи мне с подробностями, что за адмирал у вас, каковы офицеры, много ли солдат для пешего бою, для abordажу, для пушек... Надобно немедля обо всем отписать, пошлю завтра же курьера в Либаву, оттуда к полякам, те доставят к нашим.

Якоб говорил все, что знал. Слушая, Измайлов кивал головой:

– Славно, славно! Остер у тебя глаз, умница, хорошо...

За закрытыми, занавешенными окнами процокали копыта лошадей, послышалось бряцание оружия, смех. Измайлов объяснил:

– Стража разъезжается – значит, шведы на корабли ушли. Весь город нынче поднялся, крепко не любят своих победителей, полвека с ними храбро бились, да, вишь, нынче – конфузия. Когда будешь на Руси – скажи: многие датчане ныне говорили в открытую – завязнуть бы проклятым шведам в Московии с их кораблями...

– Что же, всего одна эскадра шведская викторию не определит! – сказал Якоб.

– Пустое! Не определит, но вдохновит наших к последующему, – понимать надобно! По нынешний день шведа мы не бивали. Ежели эскадру близ Архангельска разгромят – будет шведам первая морская конфузия. И от кого? От россиян, которых почитают они лишь пехотинцами, да разве еще и конниками, но никак не моряками. А россияне – мореплаватели природные, то мне и многим другим доподлинно известно. Архивариус здешний, почтеннейший человек, преизрядный философ и близкий мне приятель, недавно снял для меня копию с письма Фредерика, писанного датским королем в марте 1576 года, то есть более ста лет тому назад, некоему Людовику Мунку. Сей Мунк оповещал короля датского о том, что русский кормщик из Мальмуса знает дорогу в Гренландию и на Грумант... А вот что король пишет Мунку...

Измайлов поднялся, открыл ключом замок в небольшой, орехового дерева шкатулке, достал вчетверо сложенный лист, прочитал по-датски, пропуская лишнее:

– «Людвигу Мунку об одном русском, который посещает Гренландию. Известно нам стало из твоего сообщения, что прошлым летом несколько тронгеймских бургеров вступили в Варде в сношения с одним русским кормщиком Павлом, живущим в Мальмусе и...»

Посол поднял палец, прочитал с особым выражением:

– «...обыкновенно, ежегодно около Варфоломеева дня, плавающим в Гренландию. Кормщик Павел уведомил их, что если за его труды ему дадут некоторое вознаграждение, он, пожалуй, сообщит им данные об сей земле и проведет их суда...»

Он сложил бумагу, спросил:

– Понимаешь, что сие означает? Король датский в давнопрошедшие года обращается к своим бургерам с тем, чтобы они под предводительством русского кормщика помогли ему спасти своих людей, закованных льдинами в Гренландии. Вот что сие означает.

Измайлов запер бумагу в шкатулку, опять сел в кресло, сказал громко:

– Российские поморы – хозяева и в море и в океане. В то самое время, как многие

немецкие, аглицкие и иные ученые со славою для себя печатают преглупые трактаты, в которых изображают несуществующих вовсе в полярных странах полулюдей с единым глазом, – поморы наши давно зимуют на Груманте, на Медвежьем, на Колгуеве и на Вайчаге, на Мангазею ходят...

Часы пробили два. Посол усмехнулся:

– Ишь, наговорил я тебе сколь много, – не с кем тут, от дум иногда голова пухнет. Слушай внимательно: попадешь живым в Архангельск – ищи капитан-командора Иевлева. То добрый мне приятель, много мы с ним стран вместе исколесили, всего было – и дурного и хорошего. Он тебя знает по моим к нему письмам. Завтра буду эскадру вашу провожать. Есть тут такое место, что виден каждый корабль, идущий через Зунд. Провожу и курьера отправлю к Сильвестру Петровичу – дескать, эскадра миновала пролив, готовьтесь к достойной встрече...

Якоб, улыбаясь, смотрел Измайлову прямо в глаза.

– А тебе – еще спасибо! – сказал посол. – Яков... как по батюшке-то величают?

– Федором.

– То-то, Яков Федорович. И не обижайся, что Русь пушечным огнем тебя встретит. Пойми сей шум как салют благородству твоему и храбрости. Давай по-русски попрощаемся. Небось, и не знаешь, как оно делается, обасурманился?

Они обнялись, поцеловались трижды. В серых глазах Якоба блестели слезы. Измайлов сделал вид, что не видит их, сказал озабоченно:

– Нехорошо тебе после всех на корабль приходиться... Вот что... ты у них помощником буфетчика. Прояви, братец, догадку, снеси адмиральской бабе как бы презент.

Он наморщил лоб, думая, потом засмеялся:

– Икры битой снесешь. Они, шведы, ее весьма почитают, а ты будто икру отыскивал для удовольствия своей госпожи. Все гладко и сойдет... А до порта тебя мой Степка проводит – его тут все знают, пойдете тихими улицами. Его не пасись: не человек – могила!

Адмиральский буфетчик на «Короне» ахнул, увидев лубяную коробку с черной икрой. Ахнула поутру и фру Юленшерна.

– Видите! – сказала она шаутбенахту за завтраком. – Видите, как меня тут все стараются порадовать? А вы все еще собираетесь отправить меня домой, в эту скучную Упсалу!

Ярл Юленшерна не ответил. Он писал меморандум – письмо королевскому послу в Копенгагене по поводу вчерашнего бесчестья. Шведский посол в Дании сидел здесь же, в глубоком кресле, покачивал ногой, обутой в щегольской туфель с бантом, играл лорнеткой. Полковник Джеймс ел русскую икру серебряной ложечкой, говорил томно:

– Я имел несчастье вчера проехаться в коляске по городу – действительно, невыносимо!словно бы во враждебном государстве. Вооруженные всадники, вооруженные пешеходы, запертые дома! Как вы это терпите?

Посол пожал плечами:

– Приходится, гере полковник! С тех пор как его величество разгромил их, пройдя с флотом восточный рукав Зунда-Флинтрэдэн, они не выносят шведского флага... К сожалению, меморандум ничему не поможет. Одна хорошая победа над московитами стоит многих меморандумов.

8. ВО СЛАВУ КОРОЛЯ!

После сигнала «Командам пить королевскую чарку и обедать» последовал второй сигнал: «Командирам кораблей немедленно пожаловать к ярлу шаутбенахту».

Юленшерна принял офицеров стоя и никому не предложил садиться. Перед ним на ворсистом сукне стола лежал пакет за пятью восковыми печатями. Оглядев всех собравшихся своими кофейными, недобрыми зрачками, Юленшерна произнес:

– Наш государь, да продлит господь его дни, повелел мне собрать вас и прочитать вам

его королевский приказ. До выхода в море никто из матросов не должен ничего о нем знать, и только когда мы оставим порт, сей приказ может быть объявлен морякам флота короны. Вы поняли меня?

Капитаны прогудели, что поняли.

Юленшерна двумя руками взял пакет, переломил по очереди печати, вынул лист бумаги и прочитал твердым, жестким голосом:

– «Вам, мои офицеры и матросы, дарую город Архангельск с его Гостиным двором, с его торговыми палатами, с его складами и амбарами, с его храмами и часовнями, с домами обывательскими и казенными, с домами священнослужителей и именитых людей на полное разграбление сроком на трое суток...»

Он помолчал ровно столько времени, сколько ему понадобилось для того, чтобы увидеть впечатление, произведенное королевским подарком на офицеров, и стал читать дальше:

– «Вам, мои офицеры и матросы, приказываю всех русских корабельных мастеров, так же как и нанятых русскими иноземных корабельных мастеров и подмастерьев, вместе со всеми теми, кто хоть чем-нибудь споспешествует брату моему царю Петру в строении задуманного им флота, – ловить...»

Юленшерна мгновение помолчал:

– «...ловить и предавать смертной казни через повешение на площадях города Архангельска, дабы в будущем никому не повадно было делать того, что от провидения предопределено королевству шведскому...»

– Всех повесить? – хриплым басом спросил Голголсен.

– Всех повесить! – ровным голосом повторил шаутбенахт.

И, кашлянув, стал читать дальше:

– «Все корабли русские достроенные приказываю угнать в мою столицу, в город Стокгольм. Все корабли русские недостроенные приказываю предать огню. После чего шаутбенахту моему ярлу Юленшерне приказываю поджечь город Архангельск с четырех сторон и не покидать пожарища, покуда от одного города не останутся лишь одни уголья, дабы сим нашим действием навеки лишить брата моего царя Петра места, где бы мог он строить и оснащать суда для морского и океанского хода».

И, повысив голос, шаутбенахт прочитал дату и место подписания королем приказа, потом еще раз поцеловал бумагу и велел капитанам отправляться на свои корабли.

Капитаны расходились молча. У трапа Голголсен сказал негромко:

– Нелегкое дельце нам задано...

Ему никто ничего не ответил.

Едва капитаны покинули «Корону», Юленшерна приказал сниматься с якорей. Было тихо, тепло, легкий ветер донес из города перезвон колоколов. Уркварт улыбнулся толстым лицом, маленькие глазки его словно бы утонули в жирных щеках, сказал сладким голосом:

– Датчане молятся о нас!

– Они благодарят бога за то, что мы уходим в море, – ответил полковник Джеймс. – Подлая страна. И заметьте, гере капитан, как все было устроено: когда два наших матроса подрались и выхватили ножи, датчане связали их и сами доставили на эскадру. Знаете, почему такая любезность? Потому, что если бы у нас погиб матрос, мы бы могли предположить, что это сделали датчане, не так ли? И тогда им пришлось бы отвечать!

– Жаль, что такого же приказа, как про Архангельск, мы нынче не услышали насчет Копенгагена. Со всеми с ними пора кончать...

В сумерки приказ короля, переписанный писарем шаутбенахта для каждого капитана, читался на всех кораблях. Матросы яростно кричали славу королю шведов, вандалов и готов. Корабли шли строем кильватера. Утром, обогнув мыс Скаген, лавировали до тех пор, пока ровный ветер Атлантики не наполнил паруса. Стало холодно. Вахтенные тайком, чтобы согреться, пили водку, запасенную еще в Стокгольме, подвахтенные играли в кости и пели старую песню о гере Шетере, который спрашивал свою матушку, какой смертью ему

суждено умереть.

Матушка отвечала:

Я вижу, я знаю судьбину твою,
Мой милый, возлюбленный сын
Не бойся ты биться на суше в бою,
Но бойся ты синих пучин!

Матросы пели сиплыми глотками, швыряли кости, ругались, но песня делалась все громче и громче, ее знали все на корабле и везде ее подхватывали: и на шканцах, и в кубрике, и на гон-деке, и на камбузе, и на опер-деке. Вот уже гере Шетер построил корабль и ушел в море. Началась буря. Грешником прожил гере Шетер, и не хочется ему умирать:

Корабль закачало, и киль задрожал,
Гер Шетер в каюту пошел,
Гадальную книгу и кости достал,
И высыпал он их на стол.
Последний, друзья-корабельщики, час,
Последний нам час наступил!
Узнаем, кто более грешен из нас,
Кто более всех согрешил!

Геру Шетер мечет жребий, он падает на него. Воющими голосами матросы пели:

И начал товарищам каяться он
В своих превеликих грехах
Невест он позорил, обманывал жен,
Кошунствовал в божьих церквах...
Не знал, не боялся он грозных судей,
Ходил по дорогам с ножом,
И грабил и резал невинных людей,
Закапывал в землю живьем...

Матросы пели; констапель Клас, под звуки песни, в предвечерних сумерках, на соленом океанском ветру, рассказывал о богатствах московитов. Наемники слушали жадно, зрачки их светились так, словно им стоило только протянуть руку, чтобы схватить жемчуга, червонцы, дорогую парчу, меха соболей и чернобурых лисиц. И о русских женщинах рассказывал всеведущий Клас. По словам констапеля выходило, что русские красавицы – статные, с высокой грудью, румяные, податливые...

Московия казалась близкой. Еще несколько дней океанского пути – и эскадра будет у цели.

Тогда барабанщики ударят на шканцах «отпуск», и матросы в кольчугах, с ножами у бедер съедут в Архангельск. Колокола русских церквей будут звонить, приветствуя нового владыку всего Севера – короля Карла XII и его храбрых воинов. Русские бояре, смертельно напуганные флотом его величества, в парчовых шубах и высоких шапках упадут перед завоевателями на колени. А матросы пройдут гордыми шагами по улицам навечно покоренного города и будут выбирать себе дома побогаче – для грабежа и для любви...

Не знал, не боялся он грозных судей,
Ходил по дорогам с ножом,
И грабил и резал невинных людей,
Закапывал в землю живьем...

У погонной пушки, глядя вперед на пенные морские валы, стоял, задумавшись, Якоб. Буфетчик подошел к нему сзади, хлопнул по плечу, спросил:

– Что, парень? Обдумываешь приказ его величества короля? Доволен? Еще бы! Тебе повезло, здорово повезло. Ты разбогатеешь на первом же походе. Слышал, что эти разбойники рассказывают об Архангельске? А уж они-то знают что к чему. В Архангельске мы все кое-чем поживимся...

– Да, мы поживимся! – без всякого выражения повторил Якоб.

Он смотрел вперед, в беспредельный, ровно шумевший простор океана. Неподалеку корабельный палач-профос Сванте Бегге, вплетая в плетку-треххвостку пули, выводил жалостным тенором:

Ах, если б господь смилосердился к нам,
Привел воротиться бы в дом:
Я церковь построил бы, каменный храм,
И всю обложил бы свинцом...

Капеллан эскадры, коленопреклоненный, молился в своей каюте, половину которой занимал ствол пушки. Бормоча псалом, старик морщился, разбойничья песня мешала ему беседовать с богом.

Я церковь построил бы, каменный храм,
И всю обложил бы свинцом...

Фру Юленшерна слушала песню, мечтательно глядя в пенный, серо-белый океан. Полковник Джеймс, сопровождая прогуливающуюся по кораблю фру Маргрет, думал о том, как потребует себе белого коня, чтобы на нем въехать в дымящийся пожарищами, черный от копоти, распростертый перед победителями город Архангельск.

Эскадра шла на всех парусах, шведские флаги трепетали на мачтах, ветер свистел в снастях, соленые океанские брызги налетали на палубу.

Далеко-далеко мелькнули и исчезли огни Ставангера.

Матросы пели последний куплет песни:

И только он эти слова произнес,
Вдруг стало, как ночью, темно,
Попадали мачты, корабль затрещал
И канул на черное дно...

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке BooksCafe.Net](#)

[Оставить отзыв о книге](#)

[Все книги автора](#)

[Другие книги серии «Золотая классика»](#)